



НИКОЛАЙ
УСПЕНСКИЙ

НИКОЛАЙ
УСПЕНСКИЙ

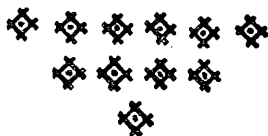




НИКОЛАЙ УСПЕНСКИЙ



ПОВЕСТИ,
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1957

Вступительная статья Е. Покусаева
Подготовка текста и примечания
М. Блищевской

Оформление художника
С. Иодлович

Н. В. УСПЕНСКИЙ

1

Начало жизненного пути Николая Васильевича Успенского отмечено некоторыми характерными и типическими чертами социального самоопределения русского разночинца-шестидесятника. Будущий писатель родился в 1837 году в селе Ступине Ефремовского уезда Тульской губернии в семье священника. Подобно многим деревенским поповским сынам, уже с детства хлебнул он горя, узнал нужду и бедность, не раз попадал под крутую руку отца — скандалиста и пьяницы, вымещавшего на многодетной семье скуку и мрак своей жизни. С детства же Н. Успенский близко наблюдал жалкий, нищенский быт крепостной деревни и протекавшую тут же рядом в помещичьем имении другую жизнь — богатую, праздную, с барскими забавами и весельем, с шумной дворней, погрязшей в тунеядстве и распутстве.

Положение деревенского поповича хотя и выделяло юного Успенского из крестьянской среды, но не настолько резко, чтобы воспрепятствовать общению с ней. Мемуарные источники свидетельствуют, что он охотно делил с крестьянскими сверстниками свой досуг, брался за мужицкую работу, «косил, пахал, сеял, в ночное с лошадьми ездил».

Позже Чернышевский верно отметил в творчестве Н. Успенского черты естественного, органического демократизма, внушающего величайшее доверие к себе в людях социальных низов. «Мы уверены, — писал Чернышевский, — читая его книгу, думаешь, что когда он сидит на постоялом дворе или за обедом у мужика или бродит между народом на гулянье, его сиволупые собеседники не делают о нем такого отзыва, что вот, дескать, какой добрый и

ласковый барин, а говорят о нем запросто, как о своем брате, что, дескать, это парень хороший и можно водить с ним компанство»¹.

Н. Успенский всегда оставался верен демократическим симпатиям юности, любил общаться с деревенским людом, умел найти с ним общий язык. Но заметный след в душе писателя, в его характере оставили и влияния косной поповской среды, воспитавшей вредные привычки, пошлые наклонности, которые с годами развились, окрепли и отравили жизнь пьяной безалаберщиной. Не последнюю роль в этом процессе нравственной «порчи» личности сыграла и обстановка Тульской духовной семинарии, в которой Н. Успенский провел около девяти лет (1848—1856). «Бурсак, воспитывавшийся на «медные деньги» и содержавшийся в «черном теле», — такими словами характеризовал писатель себя в этот период жизни². Тульское духовное училище, как и все иные церковно-казенные учебные заведения, славилось иссушающей ум, затхлой, схоластической системой преподавания, тупой богословской зубрежкой, скукой, невежеством большинства учителей, невероятной бедностью семинаристов. О диких нравах, царивших в бурсе, о тяжелых переживаниях юнца-семинариста Н. Успенский поведал в повести «Декалов» (1862), во многом автобиографической.

Мы не располагаем вполне достоверными источниками, которые более или менее полно воссоздавали бы духовную жизнь Н. Успенского-семинариста. Мемуарные свидетельства сохранили лишь отрицательные характеристики. В них вырисовывается знакомый нам по очеркам Помяловского тип бурсака-лодыря, охочего до всякого рода грубых проказ и озорства, бурсака—пьяницы и удалыца, готового перенести любую экзекуцию ради трактирных удовольствий. Некоторые из этих отрицательных черт и качеств, по всей вероятности, действительно были свойственны Н. Успенскому-семинаристу. И даже если посчитать «злое озорство» особой стихийной формой протеста талантливого бурсака против семинарской зубрежки, против удушающей живую мысль семинарской науки, все же не следует забывать и того обстоятельства, что эти пороки привились, они по-своему проявились потом в жизни писателя, проявились в бродяжничестве, в гаерстве, в скандальных замашках, в пристрастии к вину. И вполне вероятно, что Н. Успенский вспоминал и свою собственную молодость, когда цитировал слова Н. Г. Помяловского: «Бурса наложила на меня такие вериги принижения человеческой личности, что я никак не могу ориентироваться среди

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, М. 1950, т. VII, стр. 889.

² Н. В. Успенский, Из прошлого, М. 1889, стр. 130.

непроглядной и грозной тучи «вопросов жизни»... а в конце концов, по примеру многих своих собратьев, я стал искать *veritas in... vipo*¹.

Но совершенно ясно, что в семинарские годы Н. Успенский был захвачен и какой-то другой жизнью, которая будила и развивала его духовные интересы и которая осталась неизвестной мемуаристам или не замеченной ими. Иначе было бы трудно понять, как могли в этом отбившемся от рук бурсаке возникнуть стремления к писательству, к продолжению образования, и никакого иного, а именно сугубо светского. Сам писатель об этой стороне своей жизни в семинарии почти ничего не говорит. В скурых дневниковых записях сообщается о первых литературных пробах, о попытках писать очерки семинарского быта. Как и на многих других воспитанников семинарий, на одаренного юношу, по всей вероятности, воздействовало творчество крупных писателей эпохи — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского. Их произведения проникали в среду семинаристов, будили свободолюбивые стремления, вызвали страстное желание вырваться из душной атмосферы бursы. В том, что Н. Успенский бросил семинарию, не окончив в ней курса, нельзя не увидеть признаков растущей критической мысли одаренного юноши.

Начавшееся после поражения царизма в Крымской войне общественное оживление еще более укрепило Н. Успенского в мысли о необходимости выбрать иной жизненный путь. Он тянется в Петербург, собирается заняться естественными науками, столь популярными в кругах рвущихся к знаниям разночинцев. В уста Брусилова, героя одноименного автобиографического рассказа, писатель вложил восторженные слова о северной столице, точно выражавшие те чувства, которые он сам испытывал накануне поездки в Петербург. «Петербург! Петербург! Сколько ты вдыхаешь в мою душу жизни, святых надежд!.. Ты кажешься мне великим сокровищем... Без тебя здесь глушат молодость. В доказательство, как я тяготеею к тебе, я иду к тебе пешком... Да я ли один? Мысль о тебе озаряет много сердец...»

В 1856 году Н. Успенский был зачислен студентом С.-Петербургской медико-хирургической академии. Рассказы Н. Успенского, изображающие жизнь студентов («Брусилов», «Студент» и др.), переполнены до отчаяния мрачными картинами полуголодного существования, жилищных невзгод, болезней, надрывного чахоточного умирания. Не понаслышке автор судил о быте столичных студентов-разночинцев, он сам изведal все прелести его, он сам жил, перебиваясь с хлеба на воду.

В академии Н. Успенский пробыл недолго. Осенью 1858 года

¹ Истину в... вине (*лат.*). Н. В. Успенский, Из прошлого, М. 1889, стр. 112—113.

он оставил ее. Причины ухода из академии неясны. То ли Н. Успенский разочаровался в медицинских науках, то ли его оттолкнула самая система преподавания в академии, лишавшая студентов самостоятельности, то ли, наконец, побудила его порвать с ней материальная необеспеченность. К этим вероятным соображениям необходимо прибавить еще одно, возможно решающее. Студент Успенский активно занялся литературной деятельностью. В 1857 году в еженедельном журнале «Сын отечества» появились два первых его рассказа («Старуха», «Крестины»). К концу года было написано еще несколько. Писательство увлекало Н. Успенского, в то же время охлаждая интерес к медицине. Не случайно сразу же после оставления академии Н. Успенский, правда ненадолго, поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. Сам Некрасов обращается к ректору университета Плетневу с просьбой обеспечить Н. Успенского стипендией, аттестуя молодого писателя «человеком очень талантливым»¹. Во всяком случае, к 1858—1859 годам литературное творчество становится главным делом жизни Н. Успенского.

С февраля 1858 года произведения Н. Успенского начинают систематически публиковаться в журнале революционной демократии «Современнике», затем в «Искре». Знакомство с Некрасовым (январь 1858 г.) и Чернышевским (февраль 1858 г.), активное сотрудничество в журнальных органах демократии бесспорно было самым крупным событием общественно-литературной биографии Н. Успенского.

Если обращение к темам из «простонародного быта» естественно подсказывалось прежним жизненным опытом писателя, то демократическая устремленность его очерков и рассказов несомненно определялась общим направлением «Современника», творческими достижениями лучших русских писателей, сотрудничавших в этом журнале.

В этом отношении свою роль сыграли призывы Чернышевского в «Очерках гоголевского периода» расширять тематические границы русской литературы, углублять ее критическое, обличительное содержание. Видное место в литературе того времени принадлежало Салтыкову-Щедрину. Появление его «Губернских очерков» вызвало широкое распространение обличительных идей в массовой беллетристике. Все то, что было сказано в 1857 году Добролюбовым о крестьянских рассказах Салтыкова-Щедрина, непосредственно могло сказаться на первых литературных опытах Н. Успенского.

«Мы думаем,— писал критик,— что самый эстетический, самый восторженный человек может отдохнуть на общей картине бого-

¹ Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, М. 1952, т. X, стр. 393.

мольцев и странников, ожидающих на соборной площади появления святых икон. Тут нет сентиментальничанья и ложной идеализации; народ является как есть, с своими недостатками, грубостью, неразвитостью. Тут и горе, и бедность, и лохмотья, и голод являются на сцену... Но эти бедные, невежественные странники, эти суеверные крестьянки возбуждают в нас не насмешку, не отвращение, а жалость и сочувствие...»¹.

Публиковавшиеся в некрасовском журнале в 1858—1859 годах «Очерки народного быта» Н. Успенского («Хорошее житье», «Поресенок», «Грушка», «Змей», «Ночь под светлый день» и др.) написаны как раз в духе вышеизложенных требований и установок критика-демократа. Талантливые крестьянские рассказы Н. Успенского отвечали эстетической программе журнала. Этот факт важен, он проливает свет на те причины, по которым молодой писатель так тепло был встречен в редакции «Современника».

Показательно, что «Очерки народного быта» помещались в отделе беллетристики на первом месте и печатались крупным шрифтом. Редакция «Современника» очень дорожила сотрудничеством Н. Успенского. Ведь в то время, когда он писал свой цикл «просто-народных» очерков, в журнале еще не принимали участия ни Слепцов, ни Левитов, ни Решетников, ни Гл. Успенский, собственно никто из тех писателей-шестидесятников, которые потом своим творчеством обогатили демократическую беллетристику «Современника».

На средства редакции Н. Успенский в 1861 году совершает поездку за границу. Об этом писатель рассказал впоследствии в своих воспоминаниях.

«Однажды, в трескучий зимний мороз, я пришел к Некрасову, чтобы передать ему один из своих очерков. С знаменитым поэтом сидел известный ветеран-беллетрист Д. В. Григорович.

— Знаете, что я вам посоветую, Успенский,— начал Николай Алексеевич,— поезжайте-ка за границу.

— Да на какие же средства?

— У вас есть прекрасные средства...

— Правда, правда,— произнес бархатным баритоном Дмитрий Васильевич.

— Средства эти,— продолжал Некрасов,— ваши рассказы... Их в «Современнике» напечатано так много, что из них выйдет довольно солидный томик. Я издам их в свет, а вам дам денег на путешествие, которое для вас будет очень полезно... В Париже теперь живет Тургенев, в Ницце Добролюбов, во Флоренции Боткин, автор «Писем об Испании». Если хотите, мы вас снабдим письмами к ним.

¹ Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах, ГИХЛ, 1934, т. I, стр. 201.

Я отправился за границу, где пробыл около года»¹.

Н. Успенский побывал в Италии, Швейцарии и Франции.

Пожалуй, было бы ненужной крайностью утверждать, что заграничное путешествие ничего не дало Н. Успенскому. Уже тот факт, что именно на Западе у писателя возникает замысел написать большой роман, говорит сам за себя, свидетельствует о расширившихся творческих интересах писателя. Он не был равнодушным туристом, его живо интересовала жизнь народов тех стран, где он побывал. В его письмах и заметках нет-нет да и промелькнет острое критическое суждение. В Риме ему сразу бросилась в глаза бедность жителей «вечного города», их замасленные куртки, грязные заштопанные панталоны и дырявые сапоги.

При встрече с Вас. Боткиным писатель-демократ не стал скрывать своих отрицательных впечатлений, чем и привел в ярость своего собеседника — эстета, либерала-постепеновца. Политические настроения Н. Успенского в эту пору отмечены несомненным радикализмом. Это хорошо видно из его отзывов о крестьянской реформе 1861 года. Откликаясь на заявление Герцена в «Колоколе», что «народ правительством обманут», Н. Успенский писал поэту К. К. Случевскому 24 июня 1861 года:

«Я давно предчувствовал это, поэтому и не интересовался манифестом и не читал новых положений. Но находятся же такие пакостные люди, как, например, Боткин, которые стоят за Александра Николаича (т. е. за царя Александра II.— *Е. П.*). Боткин, когда я сказал, что мне Рим не понравился, как всякий город, задыхающийся от бедности и лишений, потом, что манифест русский— вероятно вздор и что я не верю в освобождение, он меня принялся ругать закорузлым невеждой... потом сказал: «Новые положения, недавно объявленные правительством,— превосходны, и пусть ваш мужик околеет, если не воспользуется этими положениями,— наконец, он заключил:—А я давно говорил Герцену про Александра Никол[аевича]: «Не ругай ты его, пожалуйста!». Да, как Герцену, так и Боткину пора-пора прочитать отходную, а то просто спеть вечную память! Знаете, что теперь Герцен пишет: «Мозг разлагается, кровь стынет в жилах при рассказах о ужасах в России». Это говорит тот, кто до сей поры все изливал свою веру и надежду на Алекс[андра] Н[иколаевича]. Да! По всей вероятности — у этих людей мозг уже разлагается... а у Боткина первого, это я знаю верно»².

В этом ярком высказывании слышны отголоски полемики «Современника» с «Колоколом». В статье-фельетоне «Very dangerous!!!»³

¹ Н. В. Успенский, Из прошлого, М., 1889, стр. 6—7.

² «Щукинский сборник», М. 1907, вып. 7, стр. 330.

³ «Очень опасно!!!» (англ.)

(июнь 1859 г.) Герцен обвинил Чернышевского и Добролюбова в том, что они резко критикуют либералов, беспощадно осмеивают литературное обличительство и «гласность» и тем самым будто бы «ослабляют фронт прогресса». Эта статья Герцена была проявлением его колебаний, его отступления от демократизма к либерализму. Он в то время еще надеялся, что проводимая правительством крестьянская реформа даст положительный результат. Отсюда, как указывал В. И. Ленин, его апелляция к «верхам». Н. Успенский всецело на стороне Чернышевского и Добролюбова, он чуть ли не словами знаменитого «Письма из провинции», помещенного в «Колоколе» и подписанного псевдонимом «Русский человек», осуждает Герцена за его веру в царя-реформатора. Характерна и другая деталь, Н. Успенский оценивает реформу 1861 года резким словом «вздор», как будто бы подслушав его у Чернышевского. Совершенно очевидно, что Н. Успенский разделял враждебное отношение к крестьянской реформе, прочно утвердившееся в кругах «Современника» в годы революционной ситуации¹.

Однако время показало, что демократизм Н. Успенского не был настолько глубоким и осозанным, чтобы стать основанием для цельного и последовательного мировоззрения. Революционные идеи остались чужды писателю. Не увлек его и социалистический идеал, так настойчиво пропагандировавшийся тогда публицистикой «Современника». Вообще в произведениях Н. Успенского широкие проблемы жизни почти не затрагивались. Конечно, героям произведений Н. Успенского, по самому их характеру и положению, такие проблемы недоступны, но показательно, что и в авторских размышлениях сколько-нибудь заметного интереса к ним не проявлялось.

Ко времени возвращения Н. Успенского в Россию в Петербурге по печениям Некрасова был издан сборник рассказов писателя (август 1861 г.). В ноябрьском номере «Современника» Чернышевский публикует статью, в которой весьма положительно расценивает талант писателя, подчеркивает серьезное историческое значение его народных рассказов. Идейный вдохновитель русской демократии воспользовался художественным материалом книги Н. Успенского, чтобы высказать свои надежды на близкое революционное

¹ Странники «Современника» уже в конце 1858 года в письмах к редактору «Колокола» заявляли: «У нас теперь все ясно видят, что правительство на стороне помещичьей партии...» («Опоздавшие письма из Петербурга», «Колокол», 1858, 15 сентября, № 24, стр. 190); «Все надежды на преобразования — лопнули», «напрасно сохранять еще веру в Александра» («Письмо к редактору», «Колокол», 1858, 1 октября, № 25, стр. 201).

выступление крестьянства, зажечь революционную веру в сердцах единомышленников. Это выступление Чернышевского способствовало тому, что по поводу рассказов Успенского разгораются горячие споры, завязывается борьба мнений, сталкиваются противоположные литературно-эстетические и политические концепции¹.

Однако для самого автора нашумевшей книги все это не стало источником глубоких идейно-художественных раздумий. Принципиальная сторона общественно-литературной полемики, возбужденной «простонародными» рассказами и очерками, не была понята Н. Успенским. Успех своих рассказов он поспешил использовать прежде всего для того, чтобы улучшить материальные дела. Он требует от Некрасова высоких гонораров, обвиняет его в «эксплуататорстве», на этой почве происходит разрыв писателя с «Современником». В позднейших воспоминаниях Н. Успенский пытался объяснить свое скандальное поведение принципиальными мотивами. «Следуя,— писал он,— примеру Тургенева, Толстого, Гончарова и Достоевского, я прекратил всякие сношения с незабвенным поэтом и издателем «Современника»².

Толстой и Тургенев приняли участие в писателе. С начала 1862 года он учительствовал в яснополянской школе, затем, в 1864 году, ему пришел на помощь Тургенев, который, узнав о желании Н. Успенского заняться сельским хозяйством, выделил ему в своем орловском имении несколько десятин земли.

Теперь ясно, что для столкновения с редакцией «Современника» никакого сколько-нибудь серьезного идейного повода у Н. Успенского не было. Напротив, условия для его активного сотрудничества в журнале складывались исключительно благоприятные. Но в силу ограниченности своих идейных позиций Н. Успенский не воспользовался этими возможностями.

Наступившая вскоре правительственная и общественная реакция толкнула писателя еще дальше вправо. Н. Успенский начинает помещать свои новые произведения в либеральных, а потом и в явно реакционных органах. Жизненное неустройство преследует его по пятам. Ни на одной из многочисленных преподавательских должностей он долго не удерживается.

Стесненное материальное положение заставляет его часто обращаться за денежной субсидией в Литературный фонд. В 1878 году

¹ См. К. Чуковский, Судьба Николая Успенского. Вступ. статья к Собранию сочинений Н. Успенского, ГИХЛ, М.—Л., 1931; Н. Бельчиков, Н. Успенский и классовая борьба в критике 60—70-х годов, из кн. «Народничество в литературе и критике», М., 1934.

² Н. В. Успенский, Из прошлого, М., 1889, стр. 8.

Н. Успенский неудачно женится. Нужда и пьянство окончательно выбивают его из колеи. Вся вторая половина 80-х годов проходит в бездомных скитаниях. Выходившие от времени до времени сборники и собрания сочинений писателя (1871, 1872, 1876, 1883), не пользуются популярностью в читательской среде и почти не вызывают внимания критики. В новых рассказах и очерках демократические идеи постепенно мельчают, глохнут. Некоторые же печатные выступления (например, воспоминания «Из прошлого») носят характер литературного скандала. В ночь на 21 октября 1889 года Н. Успенский перерезал себе горло перочинным ножом.

Трагический конец Н. Успенского подготовлялся постепенно и, казалось бы, незаметно. Здесь сыграли свою роль и вредные воздействия социально-бытовой среды, с которой он был связан происхождением и воспитанием, и отрыв писателя от передовой литературной общественности, и ограниченность идеологического горизонта, и неспособность противостоять уродливой нескладнице общественных и личных условий, в которых проходила его жизнь.

2

Для русской литературы второй половины пятидесятых годов образы крестьян, как и картины народной жизни, не были, конечно, новостью. У всех в памяти был Антон Горемыка с его сложными человеческими переживаниями, при всей грубости и неприглядности окружающего его быта. «С легкой руки Григоровича,— писал Салтыков-Щедрин в «Круглом годе»,— мысль о том, что существует мужик-человек, прочно залегла и в русской литературе и в русском обществе». Все помнили одухотворенные образы тургеневских крестьян, целый крестьянский мир, в котором выделялись люди здравого смысла и деловой хватки, люди долга, глубокого чувства и разнообразных творческих дарований. Внимание читателей привлекали незаурядные характеры простолюдинов из «Плотничьей артели» Писемского. Салтыков-Щедрин уже успел познакомить читающую публику с толпами богомольцев и странников, раскольников северных окраин России. Сквозь фольклорную стилизацию в очерках этого писателя проглядывали социально-конкретные образы крепостных старух Аринушек, отбывающих оброк нищенством, покорных мужиков-арестантов, которых голод, нужда, чиновничьи беззакония загнали в острог. Литературе были известны толстовские типы крепостных мужиков. Наконец, немалый интерес представляли и этнографические зарисовки народного быта в очерках Даля, Максимова, Якушкина.

Одним словом, в русской литературе в пору, когда начали появляться в печати рассказы Н. Успенского, вошедшие в его первую книгу, имелись сложившиеся традиции в разработке народной темы. «Простонародные» рассказы Н. Успенского возрастали на хорошо подготовленной и обработанной литературной почве. Нетрудно отыскать в его произведениях отдельные мотивы, эпизоды, образы, которые можно было бы сопоставить с соответствующими частями повестей и рассказов и Григоровича, и Л. Толстого, и Салтыкова-Щедрина, и Писемского. Не случайно в воспоминаниях Н. Успенского имя «ветерана-беллетриста» Григоровича упоминается с таким подчеркнутым уважением. Не случайно Л. Толстой увидел нечто себе родственное в «Хорошем житье» Н. Успенского и перепечатал этот рассказ в журнале «Ясная поляна» (четвертая книга за 1862 г.). У Достоевского в статье об Н. Успенском утверждалось даже, что писатель «нового не сказал еще ничего, во всех своих двадцати четырех рассказах... надо тотчас же принять во внимание, что он явился после Островского, Тургенева, Писемского и Толстого. Хотя и очень немного пользы сделал еще г. Успенский нашей литературе, но если б он первый, раньше поименованных писателей, явился к нам с своими картинками из народной жизни, мы бы судили о нем совсем по-другому»¹.

Сразу же отметим, что на этом высказывании отразились полемические намерения автора, стремившегося опровергнуть взгляд Чернышевского на рассказы Н. Успенского. Все же мысль о том, что Н. Успенский шел в литературе по дороге если и не проложенной другими художниками, то уже намеченной ими в существенно важных пунктах, несомненно верна.

Тем не менее Н. Успенский не стал эпитимом, его произведения заметно выделялись из массы повестей, рассказов и очерков, написанных «под Тургенева» или «под Щедрина». Критические по своему содержанию, очерки Н. Успенского преодолели инерцию и шаблон таких мелочных и поверхностных обличительных повествований. В хоре массовой журнальной беллетристики голос писателя прозвучал негромко, но самобытно. Это вынуждена была признать и враждебная демократической литературе критика. Н. Успенский продемонстрировал свой собственный подход к художественному изображению народной жизни.

Наиболее полно и точно своеобразие этого подхода и особенности таланта, художнического стиля писателя определил Чернышевский. Он указал, что писатель, сделавшийся одним из любимцев «лучшей части публики», снискал ее симпатии не увлека-

¹ Ф. М. Достоевский, Рассказы Н. В. Успенского, Полное собрание сочинений, ГИЗ, М.—Л. 1930, т. XIII, стр. 547.

тельными сюжетами своих рассказов, не обрисовкой характеров или силою и глубиной психологического анализа, не «жгучей тенденцией» или «превосходным слогом», блещущим остроумием и изяществом. Как правило, Успенский заполняет свои рассказы будничными, незамысловатыми «историями», «разговорцами», порою забавными, «коротенькими описаниями», иногда «очень художественными». Его повествовательная манера — это «лоскутки», «маленькие отрывочки, как будто листки, вырванные из чего-нибудь». И вот именно эти лишенные цельности, недосказанные «маленькие пьесы» Н. Успенского нравятся читателю. Главным основанием их успеха является то, что Н. Успенский «пишет о народе правду без всяких прикрас», чуждается какой бы то ни было идеализации народного быта, характеров, понятий. «Заслуга г. Успенского состоит в том, — заявлял Чернышевский, — что он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов»¹.

Действительно, «рутинная» сторона жизни дореформенной, а впоследствии и пореформенной русской деревни обозначилась в рассказах Н. Успенского очень рельефно, во всей своей суровой и неприглядной наготе. Без какого-либо смягчения в рассказе старухи крестьянки раскрываются перед читателем картины ужасающей бедности, бескормицы, жалкого выпрашивания «творожка» для голодающих «ребятинок», из милости живущих в чужой семье.

Н. Успенский не обходит социально-классовые конфликты, противоречия и контрасты своего времени. Но он и не сосредоточивается на них. Они присутствуют в его очерках в примелькавшемся житейском обличье, как некая обязательная данность жизни, как некая неизбежная принадлежность бытовой среды его «простонародных» героев. Мужики Н. Успенского сталкиваются и с помещиком, и с купцом, и с чиновником, еще чаще с кабатчиком, приказчиком, попом, дворовой барской челядью, старостой. Писатель при этом не задается какими-либо особыми обличительными тенденциями, не ведет читателя к широким общественным выводам. Все те, кто хоть на самую малость поднялся над мужиком, обижают его, теснят, в чем-то ущемляют его интересы. Но это уж так заведено, это неизбежно. Это зло известное. Автор указывает также и на то зло, которое совершается как бы собственными руками крестьян и в свою очередь уродует их жизни.

Достоевский необыкновенно тонко и метко прокомментировал рассказ Н. Успенского «Поросенок». Вдова бесхитростно рассказы-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 876.

вает, как у нее на базаре украли поросенка. Иные бы, говорит Достоевский, по этому случаю стали распространяться о том, что вот бедную женщину обидели, а когда она обратилась с жалобой, то с нее же содрали взятки, а пропажу не отыскали; нет, надо усовершенствовать законы, поднять материальное обеспечение и т. д. и т. п. А у Н. Успенского суть дела в другом: баба идет к начальству, все с нее берут: «...это бы еще ничего, так водится, сразу не выскоблишь, но важно то, что берут с нее не за то, чтоб сыскать ее поросенка, а для того, что ее как бы самое считают виновною. Попалась в лапы, так уж себя одну вини. По всем приемам видно, что баба сама, наконец, считает себя в чем-то виноватою... Простодушие, добродушие и вместе с тем извращение самых обыкновенных, самых естественных понятий»¹.

Н. Успенский ведет читателя в крестьянскую избу, на пашню, на мирскую сходку, на ярмарку, в царев кабак, на постоянный двор, в ригу, на деревенскую улицу в день «храмового» праздника и здесь показывает своих героев в их текущих, повседневных заботах, делах, думах. И вот тут-то обнаруживается, как сер и забит деревенский люд, какое темное невежество гнездится в его понятиях, как грубы и уродливы его нравы.

Стоном стонет деревня от беспробудного, дикого пьянства. Пропивается все, что можно пропить. Мужики несут в кабак полушубки, везут телеги, ведут телят, коров, лошадей и прочую живность, выклянчивают водку и умильно благодарят грабящего их целовальника. Хмельная сходка способна на тупые, бесчеловечные поступки и действия. Она пропивает соху бедняка Федыки за то, что последний нарушил «постановление» и вместо четверга собрался пахать в среду; вместо задобрившего ее водкой «вора» и «лошевода» Петрушки Носа сходка отдает в солдаты многодетного, хворого Ахрема, у которого «дома жрать нечего», «последняя коровенка издохла», а на гумне ни былинки, ни травинки.

Похваляющийся «хорошим житьем» кабатчик из одноименного рассказа такими словами заканчивает свое мрачное повествование: «Кажинный, почесть, день гульба, кажинный день: подрался кто — выпивка! Скотина на чужой огород зашла — выпивка! Чья собака взбесилась — опять выпивка! К примеру, вечером пьют, ране идут опохмеляться; таким обычаем зарядят недели на три! От кабака совсем не отходят; при нем и днюют».

Озлобленные непосильной барщиной работой, нищетой, крестьяне равнодушно проходят мимо чужого горя.

¹ Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений, М.—Л. 1930, т. XIII, стр. 554.

В небольшой зарисовке крестьянского ужина, скудного, молчаливого, при коптящей лучине, особенно сильное впечатление производит образ всеми покинутого сироты. «Мальчик-сирота продолжал сидеть на полу, оборванный, грязный... Он был подпоясан под самые мышки. Из-за лазухи виднелся медный крест; на щеках яснились ручьи слез и кучами пировали мухи; истрескавшиеся ноги были чрезвычайно тонки, и потому сирота не мог не только ходить, но и подняться с места. Он жалостливо смотрел на ужинавших, думая, не возьмет ли его кто к себе.

Мальчик беспрестанно кашлял и неровно дышал. Завидев у пасмурной Аксиньи хлеб, он простуженным голосом начал просить его, простирая к бабе руки. Аксинья сердито вскрикнула: «Я тебе, ишь прося!» Мальчик вздохнул и устремил взгляд к себе в подол, низко опустив черные ресницы» («Ужин», 1859).

Такие жуткие до отчаяния картины нищего деревенского быта часто встречаются в рассказах Н. Успенского. Когда знакомишься с образом мальчика-сироты, невольно думаешь, как много сделали для развития русского реализма беллетристы-демократы с их правдивыми художественными исследованиями народной жизни.

Жизнь «простоародья», как ее изображает Н. Успенский, окутана со всех сторон суеверием, невежеством, интеллектуальной спячкой («Змей», «Колдунья», «Сельская аптека», «Бобыль»).

Толпа ямщиков и слуг, которую ни за что ни про что поколоти приезжий барин, из рук этого же грубияна и самодура работлепно принимает водку, поет для него песни, нимало не помышляя о своем человеческом достоинстве («Проезжий»). Невероятная, почти дикарская несообразительность отличает обозных мужиков, которые так и не смогли рассчитать: обманул или не обманул их хозяин постоянного двора. «Два мужика у печи сидели друг против друга и говорили:

— Примерно, ты будешь двугривенный, а я четвертак... этак слободней соображать...» («Обоз»).

Все эти, казалось бы, забавные сценки и эпизоды при внимательном рассмотрении оборачиваются мрачной характеристикой «видиотизма» деревенской жизни.

В более или менее зажиточной среде кабатчиков, причетников, мещан, уездной чиновничьей и торгашеской мелкоты царят те же пошлость и грубость нравов, безобразная стяжательская грызня («Сцены из сельского праздника», «Грушка», «Ночь под светлый день», «Обед у приказчика», «Заочный жених», «Уездные нравы» и др.).

Характером речи своих героев Н. Успенский стремился донести до читателя атмосферу духовной ограниченности, в которую погружена социально-бытовая среда, ставшая объектом наблюде-

ния автора. Писатель показал себя большим знатоком «народной» речи. В его очерках читатель слышит гвалт пьяной сходки, грубую брань ссоры, непринужденные интонации множества диалогов, бесед, в которые так охотно вступают персонажи Н. Успенского. Читатель слышит бойкий говорок разбогатевшего мещанина-торгаша или целовальника, комически уродливую речь лакея или конторщика, силившихся казаться «образованными», испещренную славянизмами речь причта, своеобразный и колоритный язык крестьян.

Как бы под стать серой, душной жизни деревенской и уездной России в очерках и рассказах Н. Успенского рисуется угрюмая, тоскливая природа. У него очень редко встречаются зарисовки жизнерадостного, бодрящего пейзажа. Даже весна лишена оживления и яркости. «Был в поле; пахал мужик... вились кое-где вороны... все было грустно, одиноко вблизи стоял дремучий лес, какая-то тихая жалость от песней шумевших деревьев». («Из дневника неизвестного»). Над жалкими селеньями, над всеми этими Горемыкинами и Голопятовками простирается либо хмурое сентябрьское небо, либо мутно-белесая зимняя хладь. Писатель любит изображать осеннюю распутицу, невылазную грязь, навевающий тоску и скуку дождик, ненастье, пасмурные, темные, скрывающиеся в тумане леса. «На горе стояла мокнувшая деревенька, словно заливавшаяся слезами»,— вот лейтмотив многих описаний Н. Успенского.

Другой излюбленный пейзаж писателя— это метель, сильный вьюжный ветер, сугробы, в которых утопают деревни со своими сараями, закопченными избами и овинами.

На фоне тоскливых пейзажей еще мрачнее, еще бесприютней выглядит жизнь бедного деревенского люда. «Аксинья в разорванной поняве и грязном платке шла по полю с своим разутым мальчиком, у которого развевались на голове волосы и пустые рукава рубахи трепетали за спиной.

Ветер был сильный, осенний... дождевые облака неслись по небу.

— Черт тут не жил,— говорила Аксинья,— на месте не посидишь... свиньи все ноги изгрызли... словно вертел какой заведен... Пойду к куму Андрону, что будет не будет... не возьмет ли из хлеба?» («Работница»).

Мытарства мужиков в рассказе «Обоз» сопровождает картина разыгравшейся метели,— «ветер рвал с возов рогожи и веретья; лошади ныряли в ухабах, под полозьями сердито ревел снег». Так же сурово сложилась и дальняя поездка крестьян-обозников, которых обездоливают не только охочие до барышей богатеи, не только дорожные невзгоды, но и собственное невежество.

«Недели через три тот же обоз порожний ехал обратно... Му-

жики все изменились за дорогу; у одного был подбит глаз, у другого висела огромная шишка на щеке. В обозе везлись сломанные сани, за обозом бежало несколько незапряженных хромых лошадей в одних хомутах; одна лошадь лежала в санях, накрытая ветрём».

Из рассказов Н. Успенского складывалось представление о крестьянстве как о массе бесправной, разоренной, стерпевшейся с подневольным своим положением, социально еще не разбуженной, в понятиях и жизни которой укоренились вредные предрассудки, патриархальщина и рутинная жизнь без конца. Все это как проклятье тяготеет над жизнью масс и не легко устраняется и не скоро исчезнет.

Вот почему Н. Успенский с такой иронией относился ко всякого рода либерально-реформистским, филантропическим планам «просветить» мужика. В рассказе «Деревенская газета» писатель зло вышучивает эти «просветительские» затеи. В нем остроумно пародируются корреспонденции, в которых громкие слова о прогрессе и просвещении соседствуют с обычной усадебной сплетней, а «несколько мыслей о воспитании» с жалобой помещика Кобелева на соседа, навьючившего на свою телегу «вовсе ему не принадлежащий воз сена». Показательна сценка чтения газеты мужиками — они с «замиранием сердца» хотят вычитать то, чего в газете не содержится. Мужики толкуют о «грамоте» из Питера, обещающей, по-видимому, «волю», о которой они наслышаны (рассказ написан в 1866 г.), но «откопать получше весточку» в помещицкой газете так и не удается крестьянам, и они молча расходятся. В названных и других рассказах выразилась неприязнь писателя-разночинца к господствующим, враждебным трудовому народу порядкам.

Творчество Н. Успенского безусловно способствовало развитию в русской литературе трезвого критического реализма в изображении народной жизни. Вслед за «родоначальником и зачинателем чисто народнической и народолюбческой литературы» — так М. Горький не совсем точно именовал Н. Успенского — и другие беллетристы-демократы начали правдиво описывать в своих произведениях тягостный труд, невероятную «мирскую» нужду, дикость и невежество, так отуплявшие деревенского труженика, лишавшие его радостей жизни. «Беллетристы-народолюбцы, — писал М. Горький, — дали огромный материал к познанию экономического быта нашей страны, психических особенностей ее народа, изобразили его нравы, обычаи, его настроения и желания...»¹

Каждому из писателей-разночинцев был свойствен свой особый художественный почерк. Критикой и читателями был замечен и

¹ М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, М. 1939, стр. 219—220.

юмор В. Слепцова, писателя, лишь изредка касавшегося трагической стороны народного быта («Питомка»), и скорбный лиризм повествования А. Левитова, и глубокая психологичность народных повестей и романов Ф. Решетникова.

Своеобразие повествовательной манеры Н. Успенского его современники справедливо видели в лаконизме содержания, в спокойном и «объективном» тоне его рассказов, который иногда ошибочно воспринимался как выражение холодности и равнодушия автора.

Рассказы Н. Успенского по большей части лишены развернутых, последовательно развивающихся сюжетов. Это — краткие, но выразительные, блестящие живыми красками зарисовки с натуры. Дар вдумчивого наблюдателя, конкретное знание изображаемой среды позволили писателю в бытовой сценке, в эпизоде, в описании отдельного случая или типа подчеркнуть характерную частность, выражающую сущность данного социального пласта жизни, данной социальной группы.

Собственно авторские описания в рассказах Н. Успенского обычно скупы, в них отсутствуют разъясняющие характеристики, личность рассказчика как бы ступшевуается, не напоминая о себе каким-либо эмоциональным эпитетом или «лирическим» отступлением. «Среди крестьянского двора, во многих местах разрушенного, стояли занесенные снегом шершавые клячи и овцы, подбирая солому; под навесом жались воробьи, колыхалось замерзлое белье, валялись обледенелые колеса, плетушки и разная рухлядь. Баба, в худеньком кафтане, высоко подпоясавшись тряпкой, несла вязанку хворосту; шла метель; с поветей валил снег и крутился по двору» («Зимний вечер»). Суровая простота этого описания, предметного и точного, создает у читателей тягостное впечатление бедности, заброшенности, неустроенности крестьянского быта.

Портреты в рассказах Н. Успенского также предельно экономны. Благодаря тому что автор превосходно знает жизнь своих героев, он одним штрихом дает живое представление о действующих лицах в своих рассказах. «На реке у почерневшей проруби стояли бабы с *толстыми, завернутыми в тряпки ногами*» («Зимний вечер»).

При чтении Н. Успенского вспоминаются слова А. Чехова о том, что не нужно тратить много слов для того, чтобы подчеркнуть бедность просительницы, надо вскользь сказать, что она была в «рыжей тальме». По такому пути и шел Н. Успенский, правда шел еще ощупью, не всегда уверенно, но все же его можно считать одним из открывателей того изобразительного лаконизма, который затем с таким огромным мастерством был развит Чеховым.

Н. Успенский пробовал свои силы и в крупной жанровой форме — в повести. Но опыты его в этом отношении были не совсем

удачными. Большие повествовательные полотна писателя как бы рассыпались на отдельные эпизоды и сценки, они оформлялись в цепь небольших очерков и рассказов, композиционно непрочно скрепленных, объединенных лишь общей темой¹.

Пореформенное творчество Н. Успенского заключало в себе немало живых и верных наблюдений над жизнью современного русского общества. Он с горечью отметил бедственное положение крестьянства после реформы («Издали и вблизи»). Он метко и с хорошей изобразительностью показал засилье крепостнических пережитков («Старое по-старому»), удачные и неудачные попытки помещиков уберечься от разоренья, сохранить фамильную собственность, укрепить свое положение за счет «освобожденного» мужика («Записки сельского хозяина», «Производительные силы»). В обличительном освещении в повестях Н. Успенского предстало либеральное земство. Одним из первых в литературе писатель разработал тему буржуазного хищничества, создал колоритный тип русского кулака, прибирающего к рукам барские имения и земли, беззастенчиво грабящего массы деревенских тружеников («Федор Петрович», «Егорка-пастух»). В этих повестях, как и в более поздних, семидесятых и начала восьмидесятых годов, более четко выявились сатирические тенденции в изображении пореформенной действительности, была достигнута более глубокая психологическая мотивировка характеров. Но, что показательно, и в этих произведениях Н. Успенского не чувствуется широты понимания исторических задач и целей общественной жизни и борьбы. И в этих своих произведениях он часто не выходит из границ идейно разрозненного, дробного бытописания. Это надо поставить в связь с тем, что в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств, о которых речь шла выше, писатель отрывался от передовых сил литературы, и на его творчестве все глубже стало сказываться состояние идейного разброда.

3

Талант Н. Успенского — бытописателя народной жизни был замечен критиками разных общественно-литературных направлений. После статьи Чернышевского «Не начало ли перемены?» внимание к творчеству писателя еще более усилилось.

Помимо отстаивания общих принципиальных суждений о путях и способах отображения в литературе жизни народа, развернувшаяся в критике борьба вокруг рассказов Н. Успенского имела и более частные цели: внушить новому, идейно и эстетически только

¹ См. статью Л. Лотман «Н. Успенский» в «Истории русской литературы», изд. АН СССР, 1956, т. VIII, стр. 574.

еще формирующемуся писателю свои общественно-литературные взгляды, привлечь свежий талант на свою сторону. А так как самое значительное воздействие на писателя могла оказать статья Чернышевского, то в откликах журнальной критики ей всегда уделялось особое внимание: оценки Чернышевского либо поддерживались, либо нейтрализовались, либо просто опровергались.

В своей знаменитой статье Чернышевский доказывал, что очерки Н. Успенского знаменуют собою назревший новый, критический подход литературы к изображению народной жизни и народных характеров и что русское крестьянство, несмотря на свою приниженность и забитость, в данный исторический момент способно подняться на демократическую революцию.

Чернышевский утверждал, что «прежние наши беллетристы» относились к народу как Гоголь к Акакию Акакиевичу. Они, жалея и любя народ, прикрашивали его нравы и понятия и сторонились критики, «укоризны» в его адрес. «Читайте, — восклицал критик, — повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича»¹.

А вот «мальчишки» (так реакционные органы полемически называли демократов-разночинцев), в их числе и Н. Успенский, решительно порывают с традициями сентиментально-сострадательного народолюбия. Они сурово, требовательно говорят о слабостях и недостатках народа, ибо верят, что он способен сам выбраться из «беды». Поднять общественное самосознание народа, открыто указывая ему на его недостатки, — такова историческая задача литературы, таков ее долг.

Конечно, мы теперь внесем существенный корректив в суждения Чернышевского об авторе «Записок охотника», реалистические рассказы которого о народе принадлежат к числу лучших произведений русской и мировой литературы. Но ведь и Чернышевский особенно не углублялся в свою критическую параллель. Ему важно было поставить перед отечественной литературой новые идейно-художественные задачи, диктуемые требованием времени, запросами русского освободительного движения.

Содержание, направление и самый характер очерков и рассказов Н. Успенского дали удачный повод для этого. И в этом их большое значение. Поддержать свежий талант в литературе — обязанность критики, а вдумчивым анализом творчества молодого писателя направить его развитие в нужное русло — ее прямая задача. Чернышевский выполнил в отношении Н. Успенского и то и другое.

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, М. 1950, т. VII, стр. 859.

Своими литературными, историческими, общественно-политическими обобщениями он ориентировал писателя, как бы подсказывая ему, к каким идейно-художественным высотам он должен подняться, чтобы закрепить свой успех новатора в литературе.

Но пафос статьи Чернышевского был в другом: в пропаганде идеи революции. Всех сторонников Чернышевского глубоко волновал вопрос: поднимется ли крестьянство на борьбу? Наблюдения свидетельствовали, что «простолудины» темны, живут и действуют по правилу: «так заведено». Именно такими их изображал Н. Успенский. Однако, заявлял Чернышевский, не делайте из этого факта поспешных заключений. «Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, *бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа*»¹.

И дальше автор статьи разъяснял, что народ может встать на путь «отважных решений», то есть революции, или под «влиянием чрезвычайных обстоятельств», или потому, что «не может же навек хватить ему силы холодно держаться в неприятном положении»².

Волнения и бунты начала шестидесятых годов показывали, что народ уже не может терпеть прежнее положение. А царская реформа только усиливала недовольство крестьянства. При таких условиях можно было рассчитывать, что масса поднимется на восстание. В этой же статье Чернышевский, прикрываясь житейским сравнением о способности «смирной» лошади к «экстренной деятельности», развивал мысль о необходимости создания революционной организации. «Будет ли какой-нибудь прок,— писал Чернышевский,— из такой выходки, или принесет она только вред, это зависит от того, даст ли ей направление искусная и сильная рука. *Если вожжи схвачены такою рукой, лошадь в пять минут своей горячности передвинет вас (и себя, разумеется) так далеко вперед, что в целый час не подвинуться бы на такое пространство мерным, тихим шагом...* Чтобы не заблудились мы относительно приложений, какие мы имеем в виду, укажем достопамятный пример из отечественной истории, именно незабвенный 1812 год... Россия возвысилась до такого грозного могущества, о котором никто не мог и мечтать прежде. *Вот пример великости прекрасных результатов, совершаемых народным одушевлением при надлежащем его направлении*»³.

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, М. 1950, т. VII, стр. 877. (Подчеркнуто нами.—Е. П.)

² Там же, стр. 881.

³ Там же, стр. 882. (Подчеркнуто нами.—Е. П.)

В этом блестящем отрывке, являющемся образцом иносказательной речи, Чернышевский высказал свою горячую веру в народное восстание под руководством организации революционеров.

Свою программную революционную статью Чернышевский строил, опираясь на творчество Н. Успенского, которому, как полагал критик, «удалось так глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить перед нами коренную причину ее тяжелого хода, как никому из других беллетристов»¹.

Эта высокая аттестация Н. Успенского не была поддержана другими критиками «Современника». В значительной мере в этом был виноват сам писатель, пошедший на разрыв с журналом Некрасова. Да и в последующих произведениях Н. Успенского о народе сохраняли силу старые творческие установки, не было скольнибудь заметных сдвигов в сторону разработки более глубокой идейно-художественной концепции народной жизни.

В отзыве о новом издании рассказов писателя критик «Современника» А. Головачев поддержал данную Чернышевским оценку Н. Успенского как художника, который «хронологически» стоит во главе беллетристов-демократов, иначе взглянувших на жизнь народа, чем старые писатели». За Успенским, утверждал критик, «остается слава первого шага»². Однако автор статьи находит, что Н. Успенский, как и другие писатели-разночинцы, хотя и успел выйти из «тесных границ этнографии», но еще не достиг того, чтобы «воссоздать народную жизнь чисто художественным образом», проникнуть в ее внутреннее содержание³.

Разница во взглядах Чернышевского и других критиков «Современника» (после ареста вождя революционной демократии) на Н. Успенского бросается в глаза. В «Современнике» допускались излишне резкие отрицательные оценки писателя, хотя они и правильно нащупывали коренной недостаток его литературной деятельности. Следует иметь в виду, что «Современник» писал об Н. Успенском в период спада революционных настроений в обществе, в пору, когда сам писатель ушел из демократического лагеря.

Немаловажное историко-литературное значение имела статья Ф. Достоевского, который сочувственно отнесся к очеркам Н. Успенского, подчеркнув, что последний «подходит к народу правдиво и искренно»⁴. Вместе с тем автор статьи правильно заметил слабые

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, М., 1950, т. VII, стр. 873.

² А. Головачев, Рассказы Н. Успенского в 3-х частях, «Современник», 1864, № 5.

³ Там же.

⁴ Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений, М.—Л., 1930, т. XIII, стр. 555.

сгороны художественной манеры рассказчика, его цепляние за «случайности» и «ненужности», некоторую «фотографичность» его очерковых зарисовок.

Критика либеральных журналов шестидесятых годов в своих отзывах об Н. Успенском отдалась полупризнанием его таланта. Она занялась опровержением традиций «натуральной школы», последователем которых считала Н. Успенского, дискредитацией тезиса Чернышевского о новаторском значении рассказов писателя-разночинца, рекомендациями последнему сохранить чисто художественную точку зрения помимо всяких «заданных» идей и тенденций.

Критика семидесятых—восьмидесятых годов не часто откликнулась на выходившие в свет сочинения Н. Успенского, относя его к второстепенным и забытым писателям.

Часть народнической критики, игнорируя принципы историзма, вопреки Чернышевскому отрицала достоинства даже лучших ранних рассказов Н. Успенского. П. Ткачев утверждал, например, что Н. Успенский, сознательно не желая того, часто впадал в тон «рассказчиков-скоморохов», которые потешали публику комическими сценками из народной жизни. По мнению критика, это было неудачной реакцией на «идеализацию народа» в прежней литературе, следствием неглубокого, эмпирического знания крестьянского быта¹.

Критик либерального народничества А. Скабичевский пошел еще дальше, он обвинил Н. Успенского в клевете на крестьянство, в невольном служении «приверженцам крепостничества»².

И только Н. Михайловский в лучшую, революционную пору своей деятельности, когда он был наиболее близок к традициям Чернышевского, поднял свой голос в защиту писателя-разночинца. Критик сочувственно вспомнил положительный отзыв о рассказах Н. Успенского автора статьи «Не начало ли перемены?». Михайловский писал о том историческом повороте к правдивому изображе-

¹ П. Ткачев, Разбитые иллюзии, «Дело», 1868, №№ 11 и 12. Ср. также. С. Ш[а ш к о в], Живописатели «новых людей» и «печальники» народного горя, «Дело», 1878, № 3.

² А. Скабичевский, Живая струя (вопрос о народности в литературе), «Отечественные записки», 1868, № 4.

Эту точку зрения А. Скабичевский сохранил и в последующих работах, а в «Истории новейшей русской литературы» (1893) даже усилил отрицательную характеристику творчества Н. Успенского, заодно упрекнув и Чернышевского в отсутствии эстетического чутья. Против этих оценок и характеристик народнического критика в конце 90-х годов выступил Г. В. Плеханов (см. Сочинения, ГИЗ, 1923, т. X, стр. 312—313 и др.).

нию народной жизни, который произошёл в литературе в середине пятидесятих годов. «Признаком этого поворота,— утверждал критик,— и прямым его выразителем явилась небольшая группа молодых, талантливых беллетристов, среди которых Николай Успенский сразу занял очень видное место».

Н. Михайловский ценил в народных рассказах писателя «дух правды», юмор. «Смех, «веселость» есть здесь (в очерках Н. Успенского — *Е. П.*) просто свойство таланта, а не результат презрительного отношения к Савоске»¹.

Объясняя охлаждение читателей к творчеству Н. Успенского, критик указывал, что писатель все еще остается «рисовальщиком частных». Н. Успенский забыт, потому что он остался, заявляет критик, «тем же, чем был», и потому, что он «перестал быть тем, чем был». Последним своим утверждением Н. Михайловский намекал на то, что Н. Успенский изменил демократическим убеждениям своей молодости.

Некоторые круги народнической и либеральной критики, не говоря уже о реакционной, осуждали суровый реализм, с каким писатели-демократы изображали народ. Сильнейшим нападкам подвергался за это автор знаменитой «Истории одного города». Со страниц либерально-реакционной печати на всем протяжении семидесятых—восьмидесятых годов не сходили фарисейские обвинения сатирика в будто бы глумливом и высокомерном отношении к народу.

Великие художники революционной демократии в предвидении новых исторических схваток с самодержавием открывали народу глаза на его слабости, на воспитанные веками неволи рабские черты его психологии, его общественного поведения. И делалось это с глубокой верой в народ как решающую силу прогресса, с мыслью поднять революционную активность в народных массах.

Тот *критический* подход в художественном изображении народных типов и народной жизни, начало которого Чернышевский связал с именем Н. Успенского, при всей ограниченности мировоззрения этого писателя, оказался плодотворным и исторически необходимым. Он оформился как существенно важная традиция русского критического реализма. И эта традиция была подхвачена, развита идейно и художественно обогащена в творчестве Г. Успенского и В. Короленко, А. Чехова и М. Горького.

Е. Покусаев

¹ Сочинения Н. В. Успенского, «Отечественные записки», 1877, № 2, стр. 212—221.

СТАРУХА

Был сентябрь в исходе; вечерело; шел дождик. В середине села Горемыкина, перед грязным мостиком с изломанными перилами, по ступицу в грязи стоял длинный обоз с рогожами. От усталых лошадей валил пар, некоторые из них встряхивались, громыхая уздами и бляхами на шлеях; иные вытягивались, перекашивали свои челюсти и заносили морду вверх, чтобы вытянуть из переднего воза торчавший клоч сена; а иные уныло посматривали на постоялые дворы, от которых неслись хриплые голоса дворников, сидевших на крылечках в нагольных тулупах: «Ночевать пора, ночевать!»

Извозчики, стоявшие по бокам обоза, молчали. Из дворников никто не двигался с места и не решался подойти к ним, понимая всю важность пропасти, утвердившейся на улице. Наконец, спустя немного времени, один из них, с рыженькой бородой, соскочил с своего крыльца и, хляская ногами, подбежал к извозчикам.

— Что же?.. Пожалуйте,— заговорил он,— просим милости; двор просторный, чистый, никого нет... изба теплая — с трубой.

И дворник показал на трубу.

— Овес почему? — спросил один извозчик.

— Лишнего не возьмем,— произнес дворник.— Поворачивайте.

— Да что поворачивать... ты скажи, овес-то почему?

— Экой чудак! думает, что его тут облупят. Ну, обыкновенно, семь гривен; поезжай куда хошь — везде равно.

— Нет, не равно: в Яшках небойсь мы платили по шести.

— То в Яшках, а то здесь,— продолжал дворник,—

разя мы строим? чай, бог. Трогайте, ребята... любо будет.

— Да Яшки-то отсюда всего десять верст; в Камчатке они, что ли?

— Ну будет толковать: шесть гривен и я возьму; да уж овес какой, парень! истованное золото. Задвигайте.

— Задвигать-то задвигать,— произнес другой извозчик, снимая шляпу и почесывая виски,— да раненько.

— Какой раненько? ночь на дворе. Нешто дальше поедете?

— Неужли ж тут останемся? десять верст отехали, да и ночевать? — подхватил третий извозчик.

— В гибель такую...— покачивая головою, говорил дворник,— разя не видишь, что это такое? каторга... давеча один купец бился, бился,— так и остался у меня ночевать.

— Ты нам не указывай, мы знаем без тебя...

— Как знаете... А куда, примерно, трафите?

— В Калугу.

— Подряду везете?

— Подряду.

— А то задвигайте, ребята: ночью прихватите, не совсем ладно; грязь, слякоть... упаси господи.

— Эй, Петруха, трогай! — раздался голос сзади обоза.

— Пехра, пропади вы совсем,— забормотал дворник, направляясь к двору.— Только знает, как бы поголдить, набить цену. Поезжай! Авось держать не стану... калянется, как ахремовский мужлан.

Обоз тронулся. Дворник, взошедши на свое крыльцо, увешанное лаптями, котелками и большими кусками сырой баранины, принялся обчищать лучинкой сапоги. На лавочке, облокотясь на резные перила крыльца, сидел купец в калмыцком тулупе, покрытом синим сукном, и курил сигару.

— Грязненько,— сказал купец, глядя на сапоги дворника.

— Есть...— помолчавши, произнес последний.— Народец, пропасти на вас нет... выбежишь — думаешь: будет прок; а он почешет с тобой зубы и завернет рыло на сторону.

— Русский мужик любит покаляниться,— проговорил купец и отплюнул в сторону.

— Еще как любит-то: иную пору ломается, ломается,

из себя выйдешь.— «Фаддей Семеныч! хоть трыночку сбавь, хоть грошик...» А не знает, что тут грошика если не возьмешь,— разоришься, кругом разоришься; а для меня таперича он копейку, другой копейку... говорится пословица: «С миру по нитке...» Эко грязь, притка тебя вольми... никак не отскоблишь.

— Это справедливо,— сказал купец, закинув одну ногу на другую.— Вот теперь, куда ни поверни, наш брат то же самое...

— То-то и есть,— приподнявшись, заговорил дворник,— эхти-хти... век жить — не орех грызть... что это за черствел как ситник-от? надо отдать его распарить — работники съедят,— заключил он, снимая с полки хлеб.

Купец молчал.

— Вы где спать будете, Иван Осипыч? — спросил его дворник.— Если угодно, так на сеннике; там важно...

— Нет, признаться, я боюсь на сене спать: говорят, в нем бывают разные веретеницы и казюльки всякие. Оно, может статься, и впрямь: обыкновенно, сено, значит, привозят с лугов; а на лугах, бывало, ходишь, сколько их под ногами!.. кишмя кишат...

Купец отплюнул.

— А мы вот всё на сеннике бесперечь... и то сказать, как намаешься день-то, забудешь про веретениц и про все...

— Где-нибудь лягу, не беспокойтесь.

— Да у нас, слава богу, есть где лечь, окромя сенника: дом, кажись, не маленький... Чушь, куды, куды, гладкая, чу-ушь!..— завопил вдруг дворник на свинью, которая из сеней заносила свою ногу на крыльцо. Чрез минуту свинья и дворник скрылись в сенях за дверью.

Купец погладил свою бороду.

— Здравствуй, касатик,— всходя на крыльцо, произнесла какая-то старуха с мутными впалыми глазами, одетая в дырявый зипун и повязанная истертой, мокрой тряпицей.

— Здорово, бабка,— сказал купец.

Старуха молча вынула из-за пазухи красную деревянную чашку, поставила ее на лавку и, покряхтевши, села.

Дождик усилился; с повети потекли ручьи; загудела подставленная к крыльцу кадушка. На улице с мокрым платком на шляпе быстро проехал мужик в порожней телеге; от которой летели в разные стороны брызги; под

крыльцом брехнула собака и с визгом заежилась от пробиравшегося к ней дождя.

Купец запахнулся полою тулупа.

— Эж, какой полил!..— сказал он, глядя на дорогу.

— Да; так и хлещет,— заговорила старуха.— Теперь других мужичков застанет в поле... ишь, зги не видать... Как бы, избави господи, хлебушек не попрел.

Старуха вздохнула.

— Ты чья? — спросил ее купец после небольшого молчания.

— Да я здешняя, кормилец, — горемыкинская; а живу за этой слободой, туда... назади, недалеко от этой церкви. Можя, когда проездом видел нашу слободу; барский дом там стоит... высокий, каменный; в нем никто не живет.

— Отчего ж так?

— Да барыня-то наша в Москве.

— А при вас, значит, управитель или староста?

— Управитель и староста — оба.

Купец и старуха помолчали.

Из сеней отворилась дверь, и на крыльцо вошла толстая высокая дворничиха, во всем ситцевом.

— У! какой!..— глянув на дождь и сморщившись, пронесла она.

— Да, хорош; дробен дождик!..— проговорил купец, доставая из пачки сигару.

— Здорово, Кузьминишна! — сказала дворничиха приподнимавшейся старухе.— Что ты?..

— Да все к тебе, родная моя; вот творожку пришла попросить ребятенкам: голодают ни на што не похоже... не откажи, матушка,— кланяясь, говорила старуха.

— Ладно. Я вот подою коров, кстати и молочка дам.

— О кормилица ты наша! дай бог тебе здоровье! Век буду молить.

— Не видали тут нашего малого? — перебила дворничиха, обращаясь к купцу.

— Он давеча лошадей вел на реку поить.

— Пропал, шельмец,— пробормотала она и, повернувшись, ушла в сени.

Купец закурил сигару.

— Ай у вас коров-то нет? — спросил он старуху.

— Да нетути, сударик,— третий год никак не обогорим коровенки; телочка одна... восьмой месяц пошел с сердохрестной недели.

— Не на что, видно, купить?

— Вестимо, не на што: живу в чужой семье, кормилец, с своей невесткой; бедность...

— В чужой семье?

— В чужой, родимый,— жалобно произнесла старуха.

— Отчего так?

— Да двух сыновей отдали в солдаты, касатик мой; старик помер, невестка вышла за другого,— осталась я одна; меня и перевели в их семью. Копочусь теперь с малымя ребятенками. Просилась было на птичный двор,— приказчик не позволяет, говорит: без тебя птичницы есть.

— Гм... А за что, примерно, сыновей отдали?

— Да кто знает, кормилец... отдали — и все тут. Другого, младшего-то, полагать надо, отдали за дело; а другого — как есть ни за што, так-таки ни за што, родимый мой.

— Ну, верно, качества какие-нибудь строил?.. За какое дело младшего отдали?

— Вишь... как бы тебе сказать... да если бы старшего не отдали, и младший не пошел бы.

— Каким же манером?

— Да так, касатик.

— Ну, за что старшего отдали?

— Я тебе баяла, желанный мой, что ни за што, вот как есть ни за што: диви б мужик был плохой, а то работающий мужик-то; бывало, чего-чего он... — на все горазд: и плотничал и того... санки ли сделать, другое ли что... Без него мы были как без рук. Опосля он бросил все, ничем не стал заниматься, это перед солдатчиною-то: ходит как помешанный; а то пропадает, уйдет куда ни на есть, неделю целую не показывается домой,— да что я? больше недели; вот словно чуял... вестимо, не перед добром...

Старуха понурила голову и вздохнула.

— Вишь ты,— снова начала она,— это было Михайловым днем: женили мы его; сыграли это свадьбу; глядь-поглядь, примечаем: молодая, жена-то его,— красивая была, бог с нею, баба,— его недолюбливает и так совсем вот не ластится. А он, сердечный, был на лицо не совсем гоже: оспа, еще когда он был махоньким, всего изуродовала. Да ведь и то сказать, кормилец, что не родись хорош-пригож, а родись счастлив. А он, голубчик мой, соколик ясный, родился непригож, да и несчастлив.

— Так, так,— вникая в слова старухи, сказал купец.

— Все ничего. Ну, она это, значит, его недолюбливает; уж видим все, что недолюбливает: за обедом ли сидит... хоть бы те одно слово промолвила. Он к ней там зачнет: «Что ты, Варвара Борисьевна?—ее звали Варварой,— что ты невесела?..» — кусочек ей подложит. Он ее любил и уж и-и... вот как любил! перед богом... А она, касатик, все нет, да и на поди... такая мурогая завсягды. Вот как обжились они, Петруша,— его звали Петрушей — начал следить за ней: нет ли, дескать, на сердце кручинушки, али зазнобушки, не любит ли она кого. Подмечает раз, другой — все нет... и виду никакого... на работе такая же, как и дома. Ну, тем и кончилось, что нет да и нет. Вот раз к нам приходит староста и говорит... дело было летом... «Петр Семеныч, говорит,— это приказчик,— велел вашей Варваре собираться на барский двор, и муж, говорит, пускай придет с ней». Думаем промежду себя: «Зачем это?» У нас о ту пору все были дома, и она и Петруша. Старик говорит: «Что ж? сходи, Петруша; за чем-нибудь понадобился; авось он тебя не съест». Петруша надел зипун, собрался это: «Ну, говорит, Варвара Борисьевна, пойдем прогуляемся»; шутник был, голубчик мой. А она на него так и зевнула: «Да ступай, говорит, лихоманка тебя возьми», и черным словом его... «Ступай один; без тебя дорогу знаю». Старик в это время ковырял лаптенки, сидел на конике; обидно ему, стало быть, показалось; да как же не обидно? грубая... известно, баба, кормилец. Сидел, сидел, жалко ему стало Петрушу, да и молвил: «Когда ты, Варвара, будешь умна, за что всегда зычишь на него? иной бы тебя, говорит, чем ни попада...» — и побранил ее. Она невзлюбила: должно, не по нутру... накинула зипун, повязала платок писаный,— она все в писаных ходила,— и хлопнула что ни есть мочи дверью. Старик мой покачал, покачал головою—и только. «Жалко, говорит, Петрушу,— смерть жалко!..» Вот они ушли к приказчику, а мы ждем; помню, я тут качала на обрывке ее мальчика, это невесткина-то: сижу... качь да качь... Смотрим, приходит он один уж перед вечером.

— Так. А вы всё поджидали?

— Да, а мы всё поджидали. «Ну, Петруша, зачем?» — спросили мы. «Да что, говорит, приказчик оставляет Варвару на кухне работницей; ласково таково со мною общелся: «Я, говорит, с твоего согласия... если не хочешь,

как хочешь; у меня ей будет хорошо; я хошь платы не положу, зато от работы ослобоняется. Известно, когда понадобятся ей деньги, я дам и деньжонок; платок коли куплю». Мы подумали... «Что же, говорим, отчего не так? Приказчик, знамо, если захочет, и так возьмет ее к себе — насилкой; а коли добрым словом молвил, так и быть по сему; хошь одна баба была в доме, да ведь и при ней-то, подумали мы, не красно было: иногда сердце изнывает, глядячи на ее грубости». — «Если ты, Петруша, — это говорит старик, — соглашаешься, так, пожалуй, и мы согласны». — «Отчего же, говорит, не согласиться! Я рад, что ей это по ндраву; почему что, когда мы выходили от приказчика, она на меня: «Живи, говорит, Петька, да не тужи», — это она-то ему, — и ухмыльнулась... Она его все Петькой называла. «Что ж ко мне, Варвара Борисьевна, часто будешь ходить?» — спросил он ее. Она опять засмеялась, да и сказала: «Разя на деревне баб мало, окромя меня?»»

— Вор-баба, — произнес купец, разевая рот и осеняя его крестным знамением.

— Что и говорить, кормилец! — продолжала старуха, утирая нос рукавом, — какая вор-то; вот послухай. Ну, это она живет у приказчика; а я забыла сказать: старику моему не совсем хотелось отдавать ее; еще перед этим он говорил: «Не годится, мол, отпускать»; да и тут же баял, что поперечить приказчику не ладно: пожалуй, ссору заведешь с ним — и не приведи господи... Он же у нас был зелье такое... теперь его сменили. Ну, живет она у него месяц, другой, — глядим, баба переменялась, право! Словно вот тебе другая стала: разбитная такая... в курагодах, в гульбищах бесперечь... поет, пляшет... просто совсем другая; а запреже с ней и этого не бывало. Только вот что сделалось... одна беда: Петрушу она совсем кинула.

Старуха замолкла.

— Вишь... это, изменила... Ну, ну, — проговорил купец, — скажи-ка ты мне: приказчик холостой был али женатый?

— То-то что нет, кормилец.

— Смекаю... — сказал купец, доставая третью сигару. — Ажно ль вор и приказчик; штука, я вижу...

— Известно, — продолжала старуха, — наше дело темное... кто знает?.. я уж тебе буду говорить по порядку,

как было: знамо, судить — не наше дело; а что одно я знаю, желанный мой, Петруша пошел ни за что.

— Рассказывай, рассказывай!

— Вот ладно. Не забыть бы тебе: у меня был другой сын, меньшей, я тебе говорила; он был в то время парнюгой, — Григорьем звали. Важнеющий был; только, как бы тебе сказать, угрюмый такой завсягды. Тот-то веселый; а этот, кормилец, нелюдим больше: николи он не причешется и умывался редко. Бывало, перед праздником говоришь ему: «Ты бы, Гриша, подрезал виски-то, вишь какие лохмы, да причесался»; тряхнет головой, бывалыча — и вся недолга. Не любил чисто ходить; а славный был сынок, соколик мой ясный: николи грубого словечка не скажет. И с тем-то братом, с Петрушей-то, жили они душа в душу — неразрывно: куда один, туда другой. Тот, старший, на задворке, бывалыча, сидит, санки строит да прибаутки читает, а этот супротив его... Придешь к ним, они как раз перестанут балясничать и оба примутся за работу; да я все видела, все знала, что они делают. Вестимо, сударик, мать: своему детищу не чужая. Голубчики мои, лебеди мои, оба вспорхнули, улетели, бог ведае куда. Оставили мать-старуху мыкать горе... Господи, царь небесный!..

Рассказчица отерла свои глаза концами головной тряпицы.

— Вот как сейчас вижу их, — произнесла она и замолчала.

— Известно, дело материнское... жаль... — сказал купец. — Так что же приказчик-то?

— Сейчас, кормилец, — продолжала старуха. — Ну вот, что бишь?.. Варвара-то сначала ребенка у себя на барском дворе держала; а то одна, праздником, принесла его к нам в люльке и говорит: «Пускай он у вас будет; мне неколи за ним ходить: работищи пропасть, говорит, с утра до ночи ног не слышу». Мы взяли ребенка: худищий такой сделался, заживрил вовсе. То ходить было начал, когда у нас был; а то поставишь его на ножонки, а он так и гнется, так и подгибается, как плетка, сердечный, — рубашка на нем закорюзла. Старик тут сказал невестке: «Ты, мол, наведывай ребенка-то, да не забывай, что у тебя и муж тут». А слухи, кормилец, пошли нехорошие: кто е знает... начали болтать на боярщине разные разности. О ком толк? Все, бывалыча, об нашей невестке: в приказ-

чицы, говорят, попала, такая-сякая... касят ее ни на что не похоже. Петруша приуныл; ходит повеся голову. Только одна старик и говорит ему: «Не сходить ли, Петруша, к приказчику, да не взять ли бабу-то?» А Петруша молвил: «Хорошо, как даст он ее теперича». Тут старик как гаркнет: «Как, говорит, не даст? Я ее насилкой вытащу оттуда».—Так и расходился старик-от мой. Это с ним бывало редко: знать, задело за живое... а уж ума... ума... злата... перед господом... уж такой-то был ум, что и-и-и... я его смерть боялась; так-то...

— Дело известное, муж...

— Как же можно, сударик, знамо... Вот Петруша говорит: «Нет, батюшка, не тронь ее: почем знать? можа, она и ни в чем не повинна; мало что говорят... мужик дурак: соврет, и слухать нечего. А вот, говорит, я буду подсматривать за ней; уж во что ни станет, всю подноготную открою». Старик промолчал.—Опосля я узнала, что Гриша — меньшей-то — сделал вот что: я говорила тебе, что они с Петрушей жили душа в душу, ну, и стакнулись, должно, между собою: каким ни было побытом разведать все. Так Гриша, я узнала, сделал что же? Раз зимою, только что выпал второй, не то третий снежок, он пришел на барскую кухню к невестке, известно, проведать,— пришел, да и залег на печку; говорит, издрог до смерти, сем погреюсь.—Приказчик был дома; невестка сидела за столом, вышивала подзатыльник и потихоньку наигрывала песню. Вот Гриша лежит, да и высматривает: не придет ли в кухню приказчик, да не выйдет ли чего? А притворился, что спит,—уж он не раз так делал, да все не удавалось, что ли, не знаю, а тут случилась какая оказия: вдруг входит в кухню приказчик; высокий был такой; прямо осмотрелся кругом и подходит к невестке, а сам ухмыляется и ловит ее... хочет обнять; то-то грех, кор-милец...

— Это приказчик-от?

— Да, он.

— Затейник ажно ль был; нечего сказать. Ну, что же?

— Только невестка вдруг заморгает ему... так, вишь, и встrepенулась—и указала рукой на печь.—Он, приказчик-то, повернулся, глянул на печь и вышел вон. Гриша как раз, не будь дурен, прибежал к Петруше, да и все рассказал. А мы эвтим делом с отцом ничего не знали. Слышу послушу, Петруша уж был у приказчика, отпрашивал

Варвару. Дело было так: пришел он к нему и говорит: «Петр Семеныч! отпустите, говорит, жену, не терзайте моего сердечушка, что вот так и так...» Приказчик только послушал эвти речи, как затопает, как загорланит: «Как, говорит, что?.. пред кем ты?.. смеешь?.. зазнался, говорит, захрюкался...» — да так его в шею и прогнал, совсем прогнал.

— Ну, а что же старик-то?

— Дальше, больше, тут перед заговеньем старик мой захворал: горячка сделалась; одно к другому. Петруша мой совсем руки опустил, словно кто ворожбу навел на него: мрачный такой. Глядь-поглядь,— слышу он побил жену. А за что побил? Известно, как, разузнавши все ее шашни-то, стал говорить ей, чтобы она сама сошла от приказчика; а она и говорит: «Мне и тут хорошо»; он начал ее ругать, выпытывать у ней, правда ли, что она живет с приказчиком, ай нет?.. Согрешенье, сударик... увещать стал, это счунять; а она отвернулась от него, ругнула и пошла: «Харя твоя дурацкая, говорит, шут тебя скудахтал, дурака этакого». Он, вишь, стоял, стоял, да как пустится за ней, истованный тот... догнал ее у барской конюшни и давай буздать... что сделаешь, касатик? И поколотил ее; поколотил, желанный ты мой, да и закаялся: уж как за это ответил-то, господи!.. Завтра приказчик призывает его к себе: «Ты как, говорит, смеешь бить жену? Знаешь, она тебе закон, то, другое...»

Вот... а старик все лежит; лопочет бог ведае что; горячка, вестимо дело, нешто она шутит; извелся, бедный, словно сухая былинка. Вот, кормилец мой, смотрю: на ране Петруша пропал, сгинул совсем... ни дома, ни на боярщине — нигде нетути: пропал... Проходит день, все нетути; я спрашиваю у Гриши: «Не знаешь ли, куда подевался?» А он: «Сам, говорит, ума не приложу»; староста приходит, спрашивает: «Куда того...» — «Сами, говорим, не знаем».

Только одна, поздно вечером, сидели мы вдвоем: я старику давала, пить, а Гриша шлею чинил. Откуда ни возьмись, входит Петруша, хмельный, расхмельный,—и так вот его и швыряет в стороны. «Здорово, говорит, матушка-кормилица, как живешь?» А сам все шатается по избе. Мы ему тут инды как обрадовались; Гриша вскочил это, бросил шлею и прямо к нему... Петруша говорит: «Давай, Гриша, поцалуемся». Стали цаловаться. Потом подошел

ко мне и со мной поцаловался. Я ему говорю: «Где, мол, Петруша, пропал?» А он махнул рукой и молвил: «Там гулял, говорит, матушка, куда ворон костей не заносил». Я вижу, что допытаться у хмельного трудно, не стала спрашивать, а только сказала: «Поесть не хошь ли, Петруша? Чай, проголодался?» — Мы о ту пору хочь и поужинали, а я тогда в залавке на всякий случай спрятала картох; да, признаться, и есть-то было некому. Он говорит: «Нет, матушка, картох я не хочу, а вот спать хочу». Мы: «Ну приляг, говорим, себе, приляг, касатик». Он брякнулся на хоры — это подле отца — и захрапел. А две недели пропал. Приказчик про это знал; да как не знать? И раза два уж посылал старосту искать его; но, знамо, не нашли. Он все бродил по постоялым дворам, а то больше по заводам. Недалече от нас тут заводы: один винный, а другой сахарный.

— Так он на винном больше? — сказал купец, заслоня ладонью рот, чтоб унять зевоту.

— Право слово, не знаем, кормилец; может, больше и на винном.

— Так что же? ты говоришь, он пьяный пришел.

— Да, да, пьяный. Лег он это заснуть, уснул; немного годя и мы легли. Ребенок у нас о ту пору не кричал, здоровенький такой был: поправился, живучи у нас, и спал он со мною. Ну полеглись все, старик все лежит в забытьи: нет, нет — да и забормочет... Вот рано-ранешенько встаю я; слышу, вторые петухи... оделась это, засветила лучину, подхожу к хорам—хватъ, Петруши нет. «Господи, батюшка, не ушел ли опять? — думаю себе.— Разя на задворке? да зачем? незачем бы ему туда: еще рань какая...» Одначе я не утерпела: взяла, накинула полушубчишко и пошла на задворок. Темно, никого не видать; я на задворке-то давай его кликать, это гаркнула разов пяток: мол, Петруша, а Петруша!.. нет, не откликается, и нигде ничего не шелохнет... только куры спросонья трюкают... как мне стало тошно! перед господом богом... скука ододела такая...

Рассвело. Петруши все нет; Гриша пошел его искать; искал долго — не нашел. Вот тут, кормилец, подступило к нам такое горе, такое горе, что и-и сказать нельзя... вишь ты: на другой день, это, значит, после второго побега моего Петруши-то, на барском дворе у скотницы пропали деньги, и диви бы маленькие... ажно триста рублей.. Э-э... ну...

того... скотница эта, старушка, бог с ней, была добрая такая и бережливая.

— Откуда же у ней такие деньги?

— Вестимо, касатик, копеечками собирала: то вытчет холсты кому, выбелит, то тальки прядет, бывалыча, на сторону, и что дадут ей за работу — она все в сундук да в сундук; в холсты завертывала. А все это она для своей дочери: дочь была лет уж, почитай, двадцати; только сватались за нее как-то плохо; не то чтобы она, как тебе сказать, была полуумная; а вот с дуринкой больше, но смиренная и работающая, нечего таить. Ну, пропали деньги, сгибнули совсем и невесть куда. Скотница тут сейчас к приказчику жалиться... что так и так, сударик, пропали; а сама и-и плачет, и-и голосит. Как же можно, — жалко, родимый. Только приказчик выслушал ее и говорит: «Ступай, я знаю, кто это поддел...» Смотрим, он пишет к барыне в Москву, что вот мужик Петр, говорит (мой Петруша-то), блажит, распутничает, бьет жену, пьянствует, находится в побегах. В другой, говорит, побег, — в тот денек, когда он убежал это, — у скотницы пропали триста рублей, ну и там... что окромя некому: все мужики, говорит, хорошие: только вот один напался блажной; его надуть в солдаты беспременно. Известно, сердит был, родимый ты мой; гнал, что ни на что не похоже. Сколько раз добирался до него, — говаривал старосте: «Найди, мол, ты мне его; пропасть ему некуда...»

— Однако того... — сказал купец, выгибая спину и заводя руки за затылок, — не пора ли на боковую...

— Чай, день-то нахмытался, касатик, — проговорила старуха с видом участия.

— Досталось. Пойдем, бабка, в избу; холодно вато, кажись. Я вот в тулупе озяб, а тебя, чай, в кафтанишке пробирает напорядках. Пойдем погреемся.

— И то, родимый. Оно, вестимо, наше дело крестьянское: иногда бывает такая стыть... знамо, привычка... а студено и теперь: напуше вот ноги *околели*...

На улице совсем стемнело; дождик перестал; только слышались с крыши капли. На селе в разных местах мелькали огоньки. Старуха и купец пришли в избу; в ней у стола ярко горела лучина, воткнутая между зубцов длинного светца; на лавке у окон сидела дробненькая девочка лет тринадцати в запачканной рубашонке и держала на коленях беловолосого жирного мальчика в ситцевой

рубашке: он ел из горшочка молочную кашу, кривлялся и поминутно съезжал с коленей своей няньки.

Старуха, поклонившись на все четыре угла широкой избы, медленно села на край коника.

Купец снял с себя тулуп, положил его на хоры и, оставшись в одном жилете, из-под которого выбегала в складках дикая ситцевая рубашка, проговорил: «Господи, благослови!» — и завалился на боковую.

У печи в это время хозяйский малый с широким лицом, обложенным пушистой бородой, в полущубке и с палкой в руке — вел разговор с бабою над лоханью с помоями.

— Ну, чего ты гогочешь? — говорил он бабе, закрывавшей свои губы передником.

— О, провалиться тебе! — щуря глаза, бормотала баба. — Хи-хи-хи, ну, уж... ха-ха... бедовый, право слово.

— Так вот тебя и поддену палкой-то, — говорил малый. — Вишь, скалит зубы, как кобыла на овес... ну, что же ты?..

Баба закатилась со смеху.

— Бери, что ль, палку да поддевай, тебе говорят, лоханку-то. Понесем.

— Как я поддену? ишь ты, не даешь... О! да домовой те расшиби, — о-о-о... ха-ха-ха...

В это время вошла в избу хозяйка с подойником в руках. Баба с малым в одну минуту подхватили лоханку и понесли ее на двор.

— Посиди, Кузьминишна, — сказала хозяйка старухе, снимая с бруса ситцевый передник. — Вот иду доить; коровы только закусили.

— Хорошо, матушка, посижу, родная моя: мне спешить некуда.

— Кто это? — внимательно разглядывая купца на хорах, проговорила хозяйка.

— Я, — произнес он, выставив кверху одно колено и держа правую руку поперек лба.

— Это Иван Осипыч. Да что же вы тут легли? вы бы в горнице: там есть кровать.

— Ничего, все едино; да я еще не совсем размундирлся; полежать вздумалось, не больше того... после, пожалуй, перейду в горницу.

— В горницу перейдите; вас тут прусаки поедом съедят... намедни как-то я легла на печке... все ноги изъели... пятнами, пятнами... особенно это место...

— Ваш хозяин куда это пошел? — спросил дворничиху купец.

— Да кума проведать, Ивана Орефьича, на ту сторону.

— Чудачина,— произнес купец.— Сейчас он со мною встретился в сенях; значит — темь хоть глаз выколи... и не узнает меня: щупает руками и спрашивает: «Кто это такой?» — «Я». — «Кто ты?» — «Да узнай», — говорю: Он теперича и принялся перебирать: «Гаврил Сидорыч, там... Семен Захарыч». Я ему: «Эно куда полез, говорю, а еще арихметчик... своего постояльца не узнает».

— Гм... — произнесла хозяйка, — он у меня такой... тоже иную пору и меня не узнает, когда в сенях придется; обыкновенно, темнота...

Вскоре хозяйка вышла.

В избе настала тишина; у стола по временам шипели в ведре горячие оскретки, падавшие в него с нагоревшей лучины. За печкой однообразно чирикал сверчок.

Купец зевнул во весь рот.

— Что ж, старуха, замолкла? — сказал он, наконец.— Досказывай, чем кончилось дело.

— А спать-то разя не будешь? можа, я тебе помешаю?

— Ничего; я не засну еще долго; рассказывай.

Старуха крикнула и начала:

— Ну, слухай, касатик. Вот видишь ты это, я тебе сказывала, приказчик написал барыне письмо, как триста рублей пропали.

— Да, да, ну?.. — произнес купец, поворачиваясь на бок и подкладывая руку под голову.

— Так вот дела какие: написал он. Петруши все нет, пропал, да и шабаш. Вот опосля крещения, слышим, снаряжают старосту, десятского, с ними мужиков — человек шесть — искать Петрушу. Мы думаем и дивуемся: что, мол, это значит? Вдруг заегозили, искать да искать. Ну, это поехали они; на дворе уж было голомя. Глядь, часа через два — везут его, голубчика, на санях, и прямо к барскому двору. Мы так и всполошились: скорей бежать туда... Гриша мой давно там; а я, известно, дело старое, ковыляю полегоньку; хоть и рада бы душенькой добежать поскорееча, да ничего не сделаешь. Подхожу к приказчикову дому: батюшки! народу целый полк; я это спрашиваю: «Где он, Петруша-то?» Говорят, у приказчика. А тут парни и мужики голдят мне: «Ну, бабка, прощайся теперь, Петрухе несдобровать: деньги украл. И диви бы,

говорят, мужик блажной, а то смирный мужик: никто не чаял от него даже вот тебе дурного слова». Я... ах ты, господи... неужли это правда? а самое вот так и подмывает, так и подмывает; сердце вырваться хочет; тошно как, и-и... я спрашиваю: «Где его нашли?» Говорят: «Вот тут, за лесом идет по дороге».

— Куда ж это он шел?

— То-то я сама спрашиваю: «Куда ж он это шел?» — «А кто знает, говорят, можа шел и сюда, в село». Только промолвили это мужики, — вижу: он выходит из приказчикова дома, сходит с крыльца и вот худищий, прехудищий, узнать нельзя: голову повесил, смотрит в землю, а по бокам идут староста с десятским. Я сейчас бросилась к нему и так и заголосила на всю улицу. Он, Петруша-то, говорит: «Не плачь, матушка, не плачь!» — эхма!.. ну, того.. а я знай голову. Тут староста говорит: «Садись, Петруха, я тебя доведу до двора». Он сел и баял мне: «Садись, матушка, вместе». Я прилепилась на наклейке, а сама залилась... и поехали. А с нами, не забыть бы тебе, ехал еще мужик — Фролка, высокий такой, здоровый: говорят, дубы с корнем дергал, когда был навеселе. Сошли мы с саней, приехали-то; староста говорит этому Фролке: «Останься, мол, здесь с Петрухой: приказчик велел его караулить». Фролка с нами идет в избу, я смотрю... а у самой рубашка так и дрожит. Пришли мы в избу. Петруша помолился образам, поклонился нам, а мы ему поклонились. Дальше он обернулся к хорам и говорит: «Батюшка не выздоравливал?» — «Нет, говорим, сударик»; а старик весь в жару, так и мечется; одежду всю скопал. Петруша посмотрел, посмотрел, глянул на ребенка, — ребеночек-то спал на загнетке, — сел на коник, облокотился на стол и, что ни есть мочи, залился слезами... так вот его и колышет; как река льется, сердечный, инды страсть глядеть... горя-то, горя что видели, кормилец, не приведи господи! Годя немного я спрашиваю у Фролки: «Что, дескать, родимый, зачем это Петрушу брали к приказчику, что он ему говорил? беспременно тут что-нибудь есть». — «Да аль не знаешь, говорит, его в солдаты везть приказано? от барыни пришел приказ». Батюшки! как услышала я это, так и не помню... словно он меня дубиной шарахнул. Подбежала я как раз к Петруше, повисла ему на шею и закричала благим матом: «Петрушенька, родимый ты мой, золотой ты мой! что с тобой хотят делать?»

Перед вечером,— о ту пору мы все были дома,— Петруша маленько остепенился, не плакал; а только все сидел, закручинившись, и бесперечь вздыхал. Я подхожу к нему, избрала времечко, и говорю: «Петрушенька, касатик, не терзай ты моего сердечушка, скажи правду: ты взял деньги у скотницы ай нет? скажи, родной, я так и буду знать». Он, голубчик, поднял голову, глянул на меня, а слезы так и брызнули из его глазушек... «Эх, матушка, говорит, матушка! знает одна моя грудь да подоплека, что я вынес за напраслину... бог с ними»,— говорит и махнул рукой. Ну, ничего... что бишь?.. вот в сумерках посылаю Гришу к Варваре на барский двор, чтобы она пришла сюда к нам, последний вечерок хоть провела с мужем да помогла мне замесить лепешек, курицу ощипать ему на дорогу. Теперича, стало быть, Гриша сходил на барский двор и говорит, что не застал ее. Маланья, старуха там проживала,— Маланьей звали,— говорит, что, кажись, пошла в горницу к приказчику; «А я,— это Гриша-то,— ждал ее долго, да не дождался». Только Петруша на это и молвил: «Пускай уж, когда так, лучше не приходит,— не надать»,—она вечером так и не пришла. Вот перед тем, как зажигать лучину, Петруша говорит Фролке и Грише: «Ну, ребята, прощайте. Бог знает, коли увидимся. Знать, пришла неминучая, говорит... пойдите, так и быть, ребята, напоследках к Акулине...» — и взял шапку; Акулина, солдатка, шинок в то время держала от нас через два двора. Я... «что ж, голубчики, сходите себе!» уж рада, что Петруша, можа, на время забудет горе; а деньжонки были: мы уж успели взять три целковых у десятского под жеребенка-стрыгуна. Я говорю: «Подите себе». Фролка молвил: «Как бы приказчик меня не увидал с вами в шинкет?» — одначе ничего, пошел. Осталась я одна в избе: жуть после них такая... вот сем, думаю, потороплюсь, просею муку; хватилась — ночевок нет; поскорей надела чекмень Петрушин и пошла к соседке, чтобы кстати занять у ней яиц. Ну, там поговорила это с ней, поплакала и прихожу опять домой; скука такая, смерть... помню, отворила дверь, а мальчик-то проснулся, стоит подле двери, держится за притолоку и кричит, зовет меня, уж собирается плакать. Я взяла его на руки, и как мне его жалко было!.. дала ему яичко в руки забавиться и посадила его на лавку; а сама стала вытирать чугуны. В избе глушь, никого нет; только сверчок за печкой жужжит да старик иногда

залопочет... Припомнила я, вот так-то одна останусь, каждый день все так-то будет: все никого нет да нет. Старик не надежен, Петруша скоро сокроется с моих глаз — и замерещилось мне тут: как его повезут, покатит он невесть куда, в дальнюю сторонушку... давай я плакать; вытираю чугуи и голошу, вытираю и голошу... Э-эх... а мальчик-то сидел, слухал, слухал, да как себе.

— Верно, смыслил, каналья, мальчик-от!

— И-и... где? еще несмыслечек был... вовсе махонький... ну, в это время вошел Петруша с мужиком и Гришей; увидал, что мальчик плачет, и говорит: «Чему ты, Федя? не плачь, братик». Вижу, хмельненек. Взял он его к себе на руки, да: «Ай затянем, говорит, ребята: «Сидит ворон на березе»? — любимая, бывалыча, его песня: вчастую все поет, как «пропадать тебе, мальчонка, в чужой дальней стороне; ты зачем это с своей родины бежал, ни у кого не спросился, окромя сердца своего, бросил мать свою...» — да и тут же раздумал: «Нет, говорит, что-то не по себе, лучше даром...» — и опять задумался. Фролка все у нас: известно, приставлен караулить; а Гриша около печки стоит, все смотрит... он о ту пору не пил ничего; а ходил с ними к Акулине так: все от Петруши-то отстать не хочется; вестимо, последний вечерок с ним проводит. Поужинали мы тут, тихо таково, скучно... собираемся спать; Петруша стал раздеваться... «Ах, говорю, Петрушенька, забыла я тебе на ночь принести рубаху, кормилец ты мой. Что сделаешь? Из ума вон». Ну, эвтим делом полеглись спать; я, почитай, всю ночь глаз с глазом не сводила. Пропели первые петухи; это слышу все. Старик так и мечется, кричит, что не след: перед зарей ему всягды хуже было. Вот вдруг слышу, кто-то стучит в окно; глядь, Петруша слезает с печи; а он, сердечный, тоже не спал. Я говорю: «Куда ты, Петруша?» Он: «Да вишь, говорит, стучит кто-то, пойтить отворить» — и пошел. А это староста; и дает Петруше приказ, чтобы он на рассвете был совсем готов, что лошади под него будут. Петруша входит в избу и говорит: «Матушка, ты бы печку затопила», — а сама слышу, он плачет. Как мне подступило вдруг тошно: душа с телом расстается... Ну, как раз я затопила печь, все поднялись; я это сучусь как угорелая: принесла из пуньки рубах, трое чулок, говорю: «Переоденься, Петруша», — и поставила ему отцовские сапоги: они были покрепче. Он стал одеваться; Гриша ему помогает, а сам утирает глаза;

потом они оба примутся говорить между собою полегоньку. Я смотрю на них, так-то рогачом подперевшись, а у самой слезы, слезы... перед господом богом... просто руки и ноги подкашиваются. Вестимо, кормилец, разя шутка?.. Соколы вы мои дорогие, голубчики сизые, где вы, касатики мои? По белу свету, на чужой сторонешке бродите... Оставили меня, горемычную, беззащитную...

Старуха заплакала.

— Так что же? — произнес купец.

— Сейчас, кормилец...

Молчание.

— Вестимо,— продолжала старуха,— разя не больно: свое детище всякому того... что бишь я?.. ну, это Гриша себе стал сбираться, говорит: «Я провожу Петрушу до города». Я ему сказала: «Ты бы, касатик, у приказчика спросился, а то серчать станет, еще неравно побьет». Гриша пошел к приказчику, увидел там Варвару и наказал ей, чтобы она пришла проводить Петрушу. Немного годя они оба с Варварой приходят. А приказчик в то время еще не вставал: как быть? мы послали Гришу к старосте, хоть у него спроситься; староста говорит: «Не мое дело». Петруша и сказал: «Собирайся, не бойсь; брата да не проводить? Авось он едет не куда-нибудь на праздник; ступай, говорит,— запрягай свою лошадь,— поедем». Гриша взял и пошел. Ну, это к нам пришла невестка; пришла, помолилась образам, поздоровалась и стоит у двери, словно чужая; вестимо, уже одичала. Вот Петруша ей говорит: «Прощай, Варвара Борисьевна! не поминай лихом». Она молчит. «В солдаты разгуляться едем...» — это он-то ей. Она все молчит. «Так-то, говорит, теперь ты на слабоде... одна, погуливай...» Она знай, молчит, голову повесила. «Эх, говорит, загубила ты меня! не миновал-таки неминучей дороженьки... оставайся, бог с тобою! верно, доля моя такая...» Глядь, она и прослезилась,— право слово! верно, в укор пришло. Дальше он ей говорит: «Поплакать у меня есть кому, вот что; да слезы, вишь, не помогают горю»,— и замолчал. Тут вдруг старик опомнился; просит пить; опомнился и того... это с ним бывало редко: почитай, все лежал в забытье. Правда, он приходил в себя и запрежа, вот когда Петруша бегал, да все ненадолго. В то время, бывалыча, я ему толковала: «Петруша, мол, бегаёт невесть где»; а он скажет: «А?..» — и смотрит... «Петруша

бегают, слышишь?» — «Кто это?» — спросил он. «Петруша». — «А-а-а...» — и опять в забытье, опять забормочет. Вот и тут тоже: опомнился он, я подаю ему пить и говорю: «Простись с Петрушей-то!.. едет в чужую сторону, — благослови его, простись», — говорю. Петруша подошел к нему и баял: «Прощай, кормилец батюшка! должно, николи тебя не увижу, — прощай!..» — обнял отца-то и зарыдал. Старик только проохал и залепетал, как ребенок, по-прежнему. Петруша стоит, плачет над ним, совсем убравшись. «Вот, говорит, и благословить некому». — «Поди, говорю, поди, касатик мой, — сама тоже голошу, — поди я тебя благословлю, все равно, и за отца и за себя». Сняла с божничка два образа и благословила его. Тут слез было, желанный мой, тут слез, что и-и... плачу сколько было... только входит вдруг староста и говорит: «Что, совсем?» — «Совсем, сударик». — «Ну, с богом!.. Лошади приехали... помолись, говорит, Петруша, да и ступай». Эх, пришла, родной ты мой, последняя минута. Петруша как обхватил меня, так и замер... «Прощай, говорит, матушка, родная моя! не оставляй в молитвах». Я уж тут ничего не помню. Помню только: вышла я на улицу — на дворе метель такая была; Петруша сел это; санки покатались, заехали за плотину. Он сидит да машет мне, машет шапкой-то, все машет, дескать... ну! все машет... Гляжу, и совсем скрылись. Грохнулась я наземь и долго годя очнулась, когда меня принесли в избу.

Соколик ты мой! Вот другой год и весточки не шлет, — заключила старуха, потупилась, крепко зажала рукой глаза и зарыдала.

Долго раздавался в пустой избе ее глухой, бессильный плач. Длилось молчание; купец продолжал лежать навзничь; сидя на лавке под окнами, в которые равномерно барабанил крупно дождик, спала девочка, запрокинув к стене свою голову.

Лучина начинала гаснуть; старуха, как будто очнувшись, наскоро отерла полой зипуна свои глаза, поправила светец и села на прежнее место, поддерживая концы головной тряпки у своего подбородка.

— Охма-хма... Я тебе говорила, что если бы старшего не отдали — и младший не пошел бы. Оно так вот и прилучилось. На другой день, после отправки Петруши, старику сделалось так плохо, так плохо, что и сказать нельзя: охает, мечется в разные стороны, то туда бросится, то

сюда. Вижу, дело не ладно; пошла за священником. А Гриша еще не оборачивал из города. Не то чтобы было далече, а он там дожидался, пока Петруше забреют лоб. Ну, ничего; сходила за священником. Пришел причт. Исповедовали старика, дали глухую исповедь, причастили, оособоровали. Перед обедом он богу душу отдал — царство ему небесное! Какой был старик-то... Ума сколько, право слово... я его смерть боялась.

Что ж? мы жили с ним хорошо. Ну, вот мы похоронили его. Гриши все нет, и помочь было некому. Невестка как проводила мужа, так ни разу и не пришла ко мне. Я к ней тоже не ходила. Позвала я тут родных: всё больше кумушки у меня, куманьки там... сватьюшки. Аграфена Федоровна Ухабовская была, это Егор Петрович, Анна Егоровна — дьяконица. Много было народу, всех не пересчитаешь.

Вечером, опосля похорон-то, гляжу это, приезжает Гриша. А ему уж сказали там на селе, что, мол, отец твой помер. Вот он не отпряг еще лошадей, летит в избу, сердечный. «Матушка, говорит, батюшка помер?..» — «Помер, говорю, голубчик мой, соколик ясный, помер. Видно, на то воля божия...» Он посидел, посидел за столом, потом как махнет рукой: «Эх!» — говорит, — и ушел из избы. Закручинился малый, — беда, закручинился как...

Проходит месяц, другой. Мой Гриша в избу, почитай, отвык ходить; только ночевать придет. А то сидит на огородах али в овин забьется — и кто его знает, что он там делает? Вестимо, должно, все плачет. И Петрушу-то жалко, ведь, бывалыча, шагу без него не сделает, и отец-то помер — поневоле запечалишься да загорюешь.

Дальше-больше, проходит весна, лето, Гриша в одном положении. Бывалыча, станешь его уговаривать: «Что ты, Гришенька, того... горем не поможешь...» — куды!.. малый как раз возьмет и уйдет. Вот наступила осень; свозили, убрали рожь, овес. Только слышим — что ж слышим? — скотницы деньги нашлись. И не то чтобы нашлись совсем, а разведали, что их украл конторщик. И каким побытом?.. Тут-то мы вспомнили Петрушу... Ах, мол, Петруша, Петруша! сгиб понапрасну. Ну.. дело было вот как: повадился конторщик ходить к скотницыной дочери. А она, я тебе баяла, с дуринкой; была такая нескладная, бог с нею, девка; окромя там, известно, работы, чего другого... Вот повадился. Ходит раз, другой к ней и прочухал,

что у ее матери есть деньги. Можя, сама дочь же проболтнулась ему про них. Он стал ее замасливать, уговаривать, что я тебя замуж возьму, пятое, десятое... Девка поверила и, должно, тут как-нибудь проболтнулась, что деньги в холстах. Он, не будь дурен, и схапал их. Обыкновенно, не наше дело осуждать,— бог с ним; да вот Петруша-то пошел ни за что, как есть. Враг ажно ль силен. Тут все мужики так и ахнули; все вот наповал толкуют про Петрушу, перед господом богом. «Ах, Петруша, Петруша!» Бывалыча, придут ко мне, говорят: «Срезали твою головушку ни за что ни про что». А больше озлобились все на приказчика. Известно, дело прошлое; а ведь и вправду он всему виной.

Только что после этого прилучилось, родимый ты мой?—такая беда, такая сокруха, что и на поди... Гриша... то-то молодость, обыкновенно, неопытность — незнайка... что бы так, того... а то... видишь ли — он, Гриша-то, горевал, горевал по брату да по отцу-то,—ну, вдруг, как узнал, что деньги нашлись, что Петруша изведал напраслину, думать, думать, да и задумал... о, ихма, ихма... Ну, я тебе баяла, что он почитай со мной не сидел дома, а бродил невесть где. Вот одна сижу я долго вечером,—пряла; сижу и думаю: «Где ж, мол, это Гриша? бывалыча, он приходил ужинать, а теперича давно ночь на дворе — его нет. Да сем, думаю, закушу одна; ему оставлю». Только я и поужинала без него, убралась, стало быть: потушила лучину, а сама легла спать. Признаться, мне тогда вовсе не спалось: дума одолела, и тут же зубы болели; так, бывалыча, и ноют... Вот лежу я, не сплю; уж за полночь дело, слышу: кто-то колотит в дверь, так колотит, что вся изба трясется; поднимаю голову: пуще, пуще... Сейчас вскочила я, вынула из горнушки лаптенки; пока обулась, пока что... никак ничего не сыщу. Выбегаю в сени, отворяю: что ни есть мочи кричит какой-то мужик: «Бабка! твоего сына поймали!» — «Где поймали, как?» — «На барских скирдах... поджигать хотел.— Ну!»

— Что это ты такое рассказываешь, Кузьминишна,—входя в избу, сказала дворничиха.— Вот тебе творожку и молочка. Возилась, возилась, тряс ё расшиби...

— И-и, желанная ты моя! дай бог тебе здоровье, катка моя,—воскликнула старуха, с неизъяснимым выражением благодарности глядя на горшок с чашкою в руках хозяйки.

— В закутах грязь какая ужасенная... проходу совсем нетути. Как ты пойдешь, Кузьминишна? дождик полил словно из ведра.

— О-о...— произнесла старуха, покачивая головой.— Небойсь сильный?

— Да, силен. Что ж это Иван Осипыч так и не пошел в горницу; ишь растянулся. Иван Осипыч, Иван Осипыч! — толкая купца, твердила дворничиха.— Прусаки вас тут поедом съедят.

— Аль он заснул? — спросила старуха.

— Да, вишь, как заснул, и не растолкаешь. Иван Осипыч, Иван Осипыч, эй, Иван Осипыч!

Дворничиха дотолкалась-таки до того, что купец забормотал: «Рассказывай, рассказывай! я слышу»,—и повернулся к ней спиной.

— Вестимо, намаялся, сердечный,— проговорила старуха.— Чай, все в дороге да в дороге, нешто она шутит?

Через минуту старуха, попрощавшись с дворничихой, вышла из постоянного двора.

ПОРосЕНОК

— Вот к слову пришлось, Акси́нья Тихоно́вна, про воров-то... дом-от яма, гляди прямо... У одного мужика была лоша́денка, ляда́щая такая: все, бывало, на огородах и днюет и ночует. Приходит к ней вор ночью. Видит, нечего взять, живот плетень плетнем, ног не волочет. Подумал маленечко, да и говорит: «Сем, штуку выкину»,— и зажег ей хвост. Как ты думаешь?.. известно, лоша́дь со всех ног бросилась куда глаза глядят. Вор за ней, кричит: «Берегись!..» — а огонь так и развеивается.

— Царь небесный!..

— Да-а-а!.. вот что делают озорники. Говорит пословица: «Кошке игрушки, а мышке слезки».

— Точно-с... точно-с... Что же, Федосья Николавна, лоша́дь-то жива осталась аль уж где?..

— Жива... поди! на другой день ноги протянула.

— Грех какой!..

— А вечер она убежала на большую дорогу. Там ее и нашли. Говб́рят, ехали о ту пору чьи-то господа, глядят: что за по́лымя такое?.. Верно, салом каким намазал, разбойник: долго горело... Это лоша́ди господские как увидали, что мчится огонь навстречу, так и бросились в сторону, насили кучер сдержал.

— Насилу сдержал... чего не бывает, Федосья Николавна, на белом свете! Я думаю, это все по злобе... Вот тоже, говорят, в Осинках, когда еще покойник был жив, мерина удавили...

— Воры?..

— Полагают, что воры. А вестимо, дело божие... под самый перемет подпихнули-с... вон как!..

— Э! не скалзубят ли, Ани́сья Тихоно́вна? вор скорейча сведет животину долой со двора, чем того...

— Думают, так точно сделалось... одначе кто знает? А вот, Федосья Николавна, я вам расскажу сущую правду про вора... Со мной случилось... Только никакой особенности не было... украл, и вся недолга... про поросенка-с... Ей-богу! Сказать?..

— Ну-ко, ну-ко... я послушаю.

— Извольте послушать. Знаете, у меня прежде, при покойнике, существовали свиньи, то есть как снег белые,— господь с ими,—таких завсегда поросят жаловали, что ни на есть самых лучших: с дивушки дашься; провалиться, не вру...

— Я помню...

— Право-с. Теперь, стало быть, поехала я, осенью, поросят продавать в город В... я, и Агап мужичок со мной... поросятенок пяток всего взяли. Вот, мать моя, приехатчи в город, сейчас остановились на хлебной площади. А народу там, знаете, в базарный день бесчисленное множество-с... додору нет. Вы, чай, бывали там?..

— Как же, бывала.

— Хлебушек продавали-с?

— И хлебушек продавала, и по разным оказиям всяческим...

— Так извольте видеть: остановились мы на площади, отпрягли лошадь. Агап мне говорит: «Анисья Тихоновна! я пойду ведерочек купить». — «Поди, говорю, поди купи». Он и ушел. — Слышите? осталась я одна: села на телеге с плетушкой и сажу с поросятами. Вокруг меня эвто торговки всякие с пирогами, с грушей горячей, мужики, купечество разное, с посудой, кто с чем. Я взяла подтыкала платье-с и села, ожидаю покупателей. — Вскоре, сударыня ты моя, подходит ко мне купчик молоденький такой, щеголек, подходит и спрашивает: «С какими товарами?» — «С поросятами», говорю. «Покажи». Я открыла плетушку. Он вынул одного и осведомляется касательно цен. «Как цена?» — «Без лишку: полтора рубля». — «Таких, говорит, цен нонеча не бывает, а ты скажи настоящее». Я говорю: «Уж для почину, так и быть, рубль с четвертью». Он вынимает кисетик и выкладывает мне. Пересчитала я, «так точно-с», говорю, и перекрестилась. Подходит другой покупатель, также полюбопытствовал товар, спросил цену и отдал денежки. Гляжу-с, идет третий, Федосья Николавна. Идет в синей поддевке, худощавенький, на лице у него шов. А глядеть, честный. Право-с. Как раз подходит и осведомляется: «Почем поросята?» — «Рубль с чет-

вертью». Знакомых же, сударыня моя, вокруг меня никого нет. Засим говорит такие речи (прасол он, что ли, какой): «Держи гривенник задатку, остальное сейчас принесу». И пошел. Я сажу. Годя немного, друг ты мой, вижу, он идет обратно.— «Что, цел, говорит, поросенок, которого я торговал?» — «Цел, милый человек; как давича двоих продала, только и есть, причь никто не брал». — «А цел гривенник?» — «Цел-с»,—и показала ему в горсти гривенник.— «Дай его сюда, отвечает он мне, я тебе огулом все деньги отдам». Я отдала. Полез он после того в плетушку, выбрал поросенка, вытащил его за заднюю ножку и несет... сам удаляется от меня... Я кричу: «Сударь! почтенный человек! куда вы?.. деньги пожалуйста!..» Он издали вопиет: «За мной иди, за мной, дома отдам». В одну минуту нырнул в народ и исчез, аки прах какой. Что делать, Федосья Николавна? как быть?.. поросят бросить не на кого; бежать вслед ему не приходится: товар весь растаскают. Я кричу: «Ах, батюшки, заступитесь за вдову: поросенка унес один человек». Подвернулся тут какой-то мещанин, спрашивает меня: «Чего ты, говорит, тетушка?» Я: «Так и так, поросенка унес один человек, я его совсем не знаю». Он говорит: «И я не знаю»,—и отошел. Потом подходят ко мне, сударыня ты моя, два молодых юношей, обнявшись промежду собою, и спрашивают: «Что ты кричишь, тетенька?» Я отвечаю: «Покража, голубчики мои, сотворилась; не знаете ли сего человека? в синей поддевке?» — «Э! говорят, у него рубец на щеке?» — «Так, так, рубец...» — «Нет, говорят, не знаем»,—засмеялись и ушли.

— Бедовые!.. тут держи ухо востро да востро: с ног смотают,—женское дело...

— Именно с ног смотают, мать ты моя родная...

— Ты бы жаловаться скорее... чего ж смотреть?

— Вот-с извольте дослушивать, Федосья Николавна. Я, конечно-с, намеревалась жаловаться. Ведь вы сами посудите: мое дело вдове, — кто мне что припасет?.. Следственно, сами рассудите, по-божьему... Приходит Агапушка с ведерками. Я ему сказываю: «Как нам, Агапушка, быть? — рассказываю ему все,—примета, дескать, такая-то, в синей поддевке...» Только что вы думаете? А Агап его знает... «Эвто, говорит, Анисья Тихоновна, прощальга надменный, ибо всем известный; я его и дом знаю». Как раз, значит, уложил ведерки, перепоясался

и пошел к нему на дом. «Одначе вряд ли мы, Анисья Тихоновна, разыщем»,— объяснял он мне таким манером. «Почему?..» — «Так как он есть вор, по этой причине вора изловить трудно».— Но я доказала ему: «Ты хоть посмотри сходи, поросенок с приметой: правое ушко сечено и хвостик в дегтю... Затем Агап приходит туда, всходит в горницу, сидит хозяйка, что-то работает; а поросенок по полу ходит... Слышите? дай бог исчезнуть, не лгу... ходит, вот как есть ходит, похрюкивает себе полегонечку... Примерно, Агап ведет такие речи с хозяйкой:

— Здравствуйте, матушка. Где ваш супруг?..

— Тебе на что?

— Да дельце есть.

— Мой супруг на торгу...

— На торгу... А я у вас поросенка возьму. Почему возьму?.. потому что он наш собственный...

— Не смеешь брать, его мой супруг купил.

— Нет, не супруг; а в спасов день его нам законная свинья пожаловала. Следственно, я должен взять.

— Ступай вон,— говорит,— мужик. Ты,— говорит,— сам свинья, рыло нечесаное.

Агап приходит и докладывает: не дает поросенка. Вот тут, Федосья Николавна, я встала и говорю: «Агапушка! покарауль, голубчик, поросят, видно, сидемши-то, ничего не высидишь; что будет, то будет, иду к купеческому голове». А сейчас помереть, ни за тысячи рублей не пошла бы жалиться, если бы голова не был мне знаком; то есть я, сударыня ты моя, теперича порешусь на какое другое дело, опричи жалобы. Истинно справедливо говорю. Всегда дрожмя-дрожу, как злодейка какая, ежели придется что касательно начальства. Такой характер.— У Агапа же я не забыла спросить дом того человека... недалеко от площади он... такой низенький...

А купеческий голова знаком мне по тому случаю, что я брала у них в лавке, что требовалось; покупала, значит, харчи всякие, ни у кого больше, только у них. Прихожу. Он собирается куда-то идти и встретил меня уже на лесенке.

— Здравствуй, Анисья Тихоновна,— говорит он мне.

— Здравствуйте, батюшка Прохор Антипыч.

— Что ты?..

— Заступись, отец родной: поросенка украли.

— У тебя украли?

— У меня, Прохор Антипыч.

— Как так?

— Сажу я на торгу с плетушкой; подходит человек. «Почем поросята?»...— и все подробно описала.

— Давно? — спрашивает он меня.

— Недавно-с...

— А как недавно?..

— Не могу вам подлинно рассудить, только очень недавно.

— Посиди,— говорит,— здесь. Я собрался по одному делу к его высокородию тутошнему городничему, потолковать с ним о важной материи, так намекну ему и про твою покражу. Поди сядь,— говорит. Я вошла в лавку и присела там. Городничий же как есть, мать моя, жил насупротив головаина дома — руку подать... Пошел он, а у меня сердце так и замерло... Ну, да потребуют к городничему?.. что я могу сказать ему с своим бабьим толком?.. трясусь, точно самодерга какая. Глядь, вижу, Федосья Николавна, действительно входит в лавку солдат, возглашает:

— Кто здесь женщина?..

— Я, милый человек.

— Вы просительница?

— Я просительница.

— Пожалуйте к городничему.

— Ну! иду, голубушка ты моя, иду... ногами совсем не обладаю... ступить не могу... Дорогой служивый меня спрашивает:

— Относительно поросенка дело затеваете?

— Относительно поросенка-с...

После этого я ему:

— Научи ты меня, господин служивенький, как, примерно, объясняются супротив городничего? как его величают?

Он сказал:

— Говори: ваше высокородие, да смотри в ноги не забудь шаркнуть.

Всхожу в палаты, стою у двери, жду, а сама, родная ты моя, перед господом богом шепчу про себя: «Помяни, мол, царя Давыда и его кротость; помяни царя Давыда и его кротость...» Вдруг из дальних покоев грядет он ко мне в шелковом, матерчатом таком балахоне, с трубкой;

этак из-за пазушки крестик виднеется. А за ним, мать моя, голова, почтительно сложимши руки за спину. Подходит.

— Ты просительница?

— Я, ваше высококордие...

Сама в ноги.

• — Встань,— говорит. .

Я встала.

— У тебя поросенка украли? — Каким манером?...

— Так и так, ваше высококордие... сижу с плетушкой на хлебной площади, жду покупателей,— и все расписала... а у самой в глазах такие нешто огоньки, беда-с... Что с моей натурой делать, Федосья Николавна? Намесь, ей-же-ей не лгу, старшины в церкви испугалась: «Передай, говорит, свечку Смоленской»,— и толкает меня; всполошилась ужась как... Даже он заприметил; опосле выговаривает: «Чего ты, говорит, взбеленилась, дурища этакая!»

Дальше-с, городничий, выслушавши меня, подумал и пошел в комнаты. Я стою у двери. Выносит мне, государыня моя, купеческий голова писульку и гласит: «Ступай к квартальному во вторую часть на Пощечинскую улицу». Потом сам городничий кричит мне: «Сходи, тетенька, с моим солдатом, он тебе укажет дом». Я и побрела. Солдат со мной. Идем да поговариваем, беседуем, дорогой-то. Разговорились. Слово за слово, мать моя, он и держит такие словеса: «Не тужи, сердечная! поросенок теперича отыщется, ежели милость твоя будет пожаловать мне на полштоф...» Конечно-с, совестно было отказать. Деньги я, Федосья Николавна, завсегда при себе находила; ибо, знаете, дело мое вдове, неравен всякий случай может случиться... дала ему. Он то есть зашел, выпил; скоро управился. В это самое время зазвонили к вечерни. Дом у квартального такой особенный, деревянный; отдельно стоит на пустыре; на воротах лежат хищные звери, зеленой краской выкрашенные. Недалече будка-с. Ну-с, вот мы входим в хоромы самые. У двери стоит солдат, вычищает платье. Он обращается к нам:

— Что вам угодно?

— Доложите,— говорю,— вашему барину,— и подаю записку.

— Касательно чего потребствие имеете?

— Касательно поросенка-с... так и так.

Он пошел и доложил про нас. Хвартальный выходит с стаканом чаю в руке и с моей записочкой. Читает. Прочитал и говорит:

— Ты просительница?

— Я-с, ваше высокоблагородие.

— У тебя поросенка украли?

— У меня-с.

— Что же, ты хочешь найти его?.. Поди-ко сюда в комнату, потолкуем о твоём деле.

Поставил стакан на прилавочек в прихожей и ведёт, голубушка ты моя, меня в махонькую каморочку, тут и есть направо. Запер за мною дверку и вопиет:

— Ты как смеешь беспокоить городничего? а?

Я так с испуга и раскисла. В глазах, верите богу, вот как замутилось, что хвартального из виду потеряла.

— Да говори: почему ты беспскоила городничего? почему не обратилась ко мне?

— Ваше высокоблагородие,— говорю,— я и не ведала даже, где городничий жительствоует, и не думала к нему ходить. Первоначально я осмелилась утруждать купеческого голову.

И слышать не хочет; шумит:

— В часть тебя, дрянь такую... в часть запру... эй! солдаты!..

— Батюшка! помилосердствуйте... что хотите с меня извольте взять, только избавьте муки... все возьмите...

— Да что с тебя взять-то, с пасквили?

— Вот целковый...

Он протянул руку... и отворил дверь.

— Смотри,— говорит,— ежели ты теперича когда вторично будешь жаловаться городничему, я с тобой не расстанусь так.

— Не буду,— говорю,— никогда...

Слава богу, отлегло от сердца.

— Как же,— спрашиваю,— ваше высокоблагородие, относительно поросенка, прикажете уйти мне?..

— Сейчас,— говорит,— со мной пойдешь вместе.

Ну, думаю, Федосья Николаевна, не чаяла вживе остаться... такой характер заноза у меня...

— А знаешь,— спрашивает он,— дом того человека, что унес у тебя поросенка?

— Знаю-с. Недалече от площади.

В скором времени мы пошли с хвартальным; вдобавок с нами два солдата идут. Только что мы, сударыня моя, приходим к тому домику, крохотный такой, и идем прямо в покои; хвартальный упереди. Видим: на лавочке сидит женщина, вяжет чулок; вокруг ее никого нет. Сейчас хвартальный вскинул взорами и спрашивает:

— Где твой муж?

Она поднялась, обдернула фартук и гласит:

— Мой муж на работе-с.

— На какой работе?

— Канаты сучит.

— В котором месте?

Она маленько подумала и доложила:

— В Грязной улице, у своего хозяина.

— Ты врешь? — сказал хвартальный.

— Никак нет-с. С мальства не училась этому делу, чтобы врать...

Хвартальный обернулся и повелел солдату сходить в Грязную улицу и разведать все. Мы стоим, ожидаем. Хвартальный сел, закурил пипочку такую, а сам ни слова. Солдат приходит уж долго годя.

— Что?..

— Да что, хозяин говорит, у меня его нету. Я не знаю, что за человек такой есть.

Хвартальный как разозлится, милая ты моя, только нешто зубами поскрыпел.

— Я тебя попотчую,— говорил он ей на прощанье, как совсем выходил.

Вся причина, поросенка не отыщем никак.

— За мной идите,— говорит хвартальный.

Мы пошли. А уж, Федосья Николавна, становилось поздно. Куда ведет, в толк никак не возьму. Сердце у меня не на месте. Думаю: «Как Агап на площади? чего доброго, не растаскали бы последних...» Вот-с идем из одной улицы в другую, как повернем за угол, так хвартальный обращается:

— За мной идите. — И все дальше да дальше.

Очутились мы перед чистеньким домиком. Хвартальный остановился у калиточки и начал дергать за веревку... зазвенел колокольчик... Калиточка отворилась, и показался кто-то с надворья. Он спросил: «Дома?» — и ушел

туда. Слышите? Ждем, сударыня ты моя, после этого; проходит с час времени, ничего нет, проходит другой, мы разговариваем: «Что, мол, такое значит?»

Солдаты мне объясняют:

— Он еще долго не воротится. Ежели уж засиделся на месте, то скончания не будет сиденью...

— Как же, служивенькие, так?

— Да так. Не будет ли вашей милости пожаловать нам на полштоф, а то нам пора отправляться...

— А я-то, господа кавалеры, с кем останусь? Теперича я и дороги не найду.

— А с нами же,— говорят,— и останешься, ежели жертвуешь опохмелиться... Мы даже проводим вас после таких делов...

Размышляю в своем разуме: «Надо дать!.. что, как взаправду они уйдут?..» Дала. Вторая причина, отказать не приходится, взяла и дала. Недалече, сударыня моя, тут был кабачок... Я осталась у калитки, стою. Солдаты вышли скоро. Глядим, выходит с надворья хвартальный, смотрю — за ним другой, тоже хвартальный, стало двое их. Теперь, Федосья Николавна, милая ты моя, тот, что с нами был прежде, сделался хмелен, а другой нет: не совсем чтобы хмелен. Хмельной идет да покачивается и называет другого своим приятелем. Другой отвечает только: «Спасибо»,— говорит... Захмелявший шумит: «За нами идите!» — и все шатается... А тот глаголет ему. «Нехорошо, говорит, не качайся!..» Таким манером, сударыня моя, мы идем. Солдаты ведут речи промеж себя, что хмельной хвартальный, когда тверезов, дока бывает... на все дела мастер... Только что как выпьет, нехорош делается... Приходим, мать моя, к прежнему дому, где вор-то жительствовавал; всходим. Опять его хозяйка сидит, чулок вяжет. Сию минутую тверезой хвартальный обращается не к ней, а ко мне:

— У тебя поросенка украли?..

— У меня, ваше высокоблагородие.

— Кто,— говорит,— видел твоего поросенка в эвтом самом доме?..

— Мой Агапушка,— говорю...

— Позвать!..

Я как раз отправляюсь с одним солдатом за Агапом на площадь и больно уж рада, что по крайности узнаю,

как он там, сердечный, справляется? Дорогой, Федосья Николавна, — что вы станете делать? — солдат опять просит опохмелиться. Ну, уж тут я ему прямо сказала: «Ты, мол, голубчик служивенький, посмотри, сколько у меня деньжонок осталось? на, пожалуйста, посмотри: всего, вишь, навсего три четвертака». Он отвечает: «Ну не надо!.. главное дело, говорит, я так спрашиваю: дескать, нет ли опохмелиться?» Ну приходим мы на площадь; стало темненько; вижу — вдалеке сидит Агапушка, ждет... никого нет на площади. Подхожу, смотрю, поросят всех раскупили... ну, слава богу!.. «Пойдем, говорю, Агапушка, к хвартальному»; сели на телегу и подъехали к тому дому.

Спрашивает хвартальный Агапа:

— Ты тут видел поросенка?

— Тут-с, как же не тут, когда наш поросенок меченый, хвостик в дегтю и прочее...

Потом говорит хвартальный супротив хозяйки:

— Ты что ж говоришь, анафема, что у тебя не было поросенка?

А хмельной хвартальный себе:

— Ты что ж, анафема, разговариваешь, будто у тебя нет поросенка?.. В часть ее! эй!..

Но тверезой отвечает ему: «Не кричи, говорит, нехорошо!..»

Хозяйка же только твердит: «Знать не знаю, что есть за поросенок такой на свете». Бились, бились! вдруг хмельной хвартальный подходит ко мне и спрашивает:

— Да ты что ж, говорит, дурища, молчишь? а? Я за тебя стараюсь, шумлю здесь от души сердца, а ты не разговариваешь?..

А тверезой на Агапа:

— Ты врешь, дурья порода! ты здесь и не был.

— Как не был?..

— Я тебе говорю, что ты не был... ты послушай меня, что я говорю: ты не был!..

— Нет, я был...

— Врешь!..

Да как пошли, как пошли... батюшки!..

— В полицию вас всех, — кричат.

А хмельной хвартальный объясняет мне:

— За водкой надо посылать!.. Ты у меня не размыш-

ляй, а дело делай. Я тебе сказываю так точно... чтоб в акурате водка явилась...

Только после таких разговоров, голубушка моя, окончилось тем, что поросенка так-таки не разыскали (вор — бедовый). Хвартальные же между тем сказали друг другу: — Пойдем в трахтир, их сам шут не разберет!..

И пошли. Мы постояли маленько и себе пошли.

Жалко поросеночка-то... право слово... как налитой, господь с ним!.. сама три недели кормила...

ХОРОШЕЕ ЖИТЬЕ

Целовальник с подстриженной бородкой, одетый в синюю суконную чуйку, распахнувшись и упершись левой рукой в свое колено, сидел за столом против своего приятеля, низенького мещанина, который пристально смотрел ему в лицо и курил трубку. Дело происходило за двумя бутылками пива.

— Да, братец ты мой, такой жисти, кажись, не будет супротив той, как я служил целовальником в Покровском... Нет!..

— Ты ведь перва был приказчиком у какого-то купца?

— Как же, как же... три года выслужил в Ливнах.

— Ну, а как торгашом-то сделался?

— Попросту: стало быть, сказать тебе по секрету, у хозяина поддели на Егорьев день пудов шесть сахара, чистого рефинаду.

— Вон как! и сделался торгашом?

— И сделался торгашом. Да что! должность самая пу-стая эта, Иван Иванович. И какой случай, сударь мой: прихожу опосле к одному купцу найматься, в сидельцы,—«нет, говорит, мне таких не надо». А хозяин, тресни его бока, все расписал про меня; вся причина, толстобрюхой вникнуть не мог, как было дело: воровал-то не я, значит, а товарищи; я только принимал. Прихожу к другому, тот говорит: «Не надо!» Бился, бился, так приписался в торгаша. Что сделаешь! Блиско локоть, да не укусишь.

— Эвто точно...

— Бывало, едешь, едешь с горшками али с дегтем, смехота, ей-богу!.. орешь, хочь бы те на грош кто купил. К примеру, в рабочую пору: в целом селе ни души. Горланишь: «Соли, дегтю, табаку, мол, лежит баба на боку».

Хоть что хочешь делай! ей-же-ей... индо горло распухнет кричамши. На твое зеванье только собаки вякают.

— А никак, Андрей Фадеич, тут прибаутки какие-то читают! Мне их не приходилось знать.

— Есть и прибаутки, там: «Ей тетки, молодки — охотницы до водки, старые старухи — охотницы до сивухи...» Мало ли! Да все пустое, Иван Иванович. Я б, кажется, теперича не взял тысячи рублей ездить опять по деревням да распевать эти прибаутки. Вот целовальничья жизнь! ай люли!.. надо прямо говорить.

— За что тебя сменили?

— Вспоминать не хотца! (целовальник шепчет на ухо мещанину): то есть в моем кабаке убийство приключилось... ну и...

— М-м...

— Да я не роблю; разве я роблю? У меня опять будет место, целовальничье же, и скорехонько.

— В Запиваловке?

— В Запиваловке. Говорят, кабак не плоше нашего Покровского... пьяниц довольное множество.

— А видно, хорош был кабак в Покровском? Расскажи-ко мне что-нибудь про него.

— Одолжи-ко мне своей трубочки... что-то в горле першит. Год назад я там сидел. Слободка порядочная; народ все однодворцы, такие забубенные головы... люди важные! Вся причина, покровский народ пить здоров.— Уж как пойдет пьянствовать — держись шапка. Оттыкай бочки!.. жену пропить готов совсем с утварью. И житье, Иван Иванович, было расчудесно: благоприятели, мужики-то... Вот сказывают целовальники, что на больших дорогах, говорят, на хлеб не добудешь... а тут знай разевай пошире рот... Оно хоть и сменили меня, не замай! лучше авось не сыщут. Ноне кто живет по чести? бают: «Своя рубашка к телу ближе». Так ли?

— Подлинно, Андрей Фадеич.

— Как же можно? Да ты, братец мой, рассуди: теперича идет мужик в кабак, несет он, положим, полушубок али везет телегу, телега новая, колеса шинованные, недавно обтянул, просит: «Дай ведерку!..» Ну с чего же не дать? и-их! По мне, вещь ли хорошая, деньги ли, статья одна: что в лоб, что по лбу, все едино! Перва-на-перво я, как только поступил в кабак, тоже почеремонился, не хотел брать... Приводит мужик теленка,—говорю:

«Ты отвяжись от меня лучше... здесь кабак, не скотный двор». Он вдруг на меня: «Да ты что ж куражишься? первый ты у нас, что ли? законодатель, вишь, пришел; до тебя небойсь жил целовальник, не токма телят, лошадей принимал». Точно, принимал лошадей. Думаю: «Что же?..»—и пошел с того времени, да как пошел... хе, хе, хе... благодарствуют мужики... кланяются, кричат: «Отец!»,—примутся иную пору обнимать, ей-богу! «Вот так боготворитель, вот защититель! отцов таких мало...» Смотрю на них, смеюсь...

Сидишь иногда этак, помышляешь: что значит поставить кабачок-то родной в селе, что твой улей с медком; ишь льнут!.. со всех сторон; отбою нет... завсягда народу злей, чем на ярмарке. Поди же в поле, на большой дороге... разя уж стыдь загонит какого проезжего, и тот — выпил шкалку, косушку много, закусил крендельком и марш вон; ты жди.

И такое диво, Иван Иваныч: наш священник раз до трех пытался снести кабак в сторону, подальше от села: говорит, на церковной земле стоит, помнишь, истребить задумал пьянство и подавал-куда-то прошение — нет! о сию пору стоит себе, дескать, мне и тут хорошо... Как следует быть, приезжали судьи, мерили землю (в акурате у меня попили). Говорят священнику, Лександром его звали, Погожев прозывался: «Дело твое, бачка, маленько с хвостиком; кабак на пол-аршина стоит от церковной земли; законное он место занимает». Бачка и остался, кабысь несолоно хлебал. Опосле почал в церкви гласить проповеди, увещает мужиков: «Что вам, православные, кабак-то, сласть какая, что ли?» Мужики слушают...

Вспомнил я про одного мужичонка, пьяница был, оторви голова! и плутина... бесперечь сидит на своем крыльце, выжидает: как бы где ломануть?.. с кабака глаз не сводит. Кабак же, надобно тебе сказать, стоял на самом на юру, ровно среди улицы. В тихую погоду я возьму нарочно выдвину из сеней бочки, что были с вином, всполосну их, да с боку на бок переворачиваю, и-и-и запах идет... а мужик сидит...

Одна в воскресенье заблаговестили к обедни, тронулся народ, эвот мужик тоже: честь честью вышел из двора, снял шляпу, перекрестился и бредет, словно к обедни. Отошел чудок, да как вдарится к кабаку и прилетел, говорит: «Давай скорей!» — вынимает подпояску. Смотрю,

дверь отворилась, бежит его жена, цап его за виски, кричит: «Вор, мошенник, куда те родимец занес?». Схватила его, давай куделить... Сама ведет вон. Меня смех так и разбирает. Что же? убежал-таки. Ну мы с ним тут посмеялись порядком; говорит: «Баба дура, нешто она понимает!..»

Главная вещь, доложу тебе, кабачок был самою что ни на есть благостынею, истинно тихая пристань. По этому случаю он не токмо что для выпивки находился, а как палата какая. Там и суд, и питра, и все: уж ежели задумали порешать какое дело, сейчас все гурьбой идут к кабаку, почему что нет места гоже; чувства такого нет в другом месте. У них, знаешь, всеми вещами орудует ихняя сходка. Сходку собирает староста: с прутиком, понимаешь, расхаживает; за ним дела больше никакого нет. По правде сказать, пустая башка. А повыше там есть еще начальство: писарь, старшина, голова. Эвти жили не в нашем селе, а верст за пять, в деревне Анишине: в Анишине опять есть кабак и гульба такая же, как у нас: вчистую сам голова сберет мужиков к кабаку, на ихний счет нарежется и растянется; а мужики над ним песни поют; голова только бормочет: «Хорошенько, ребята!» Наша сходка почесть никогда не обращалась к начальству, кроме как ежели убийство, пожар сотворится где; сами все обделывали. Да ведь, поди, к примеру, покража учинилась, поди проси голову: сперва надо его небойсь упоштовать,—упоштвуй; а там он пошлет к старшине; этого тоже надуть уботворить; а там привяжется писарь—ему... Да неизвестно, пойдет ли дело в ход; а то правого и виноватого отхолят, и ступай, почесывай спину: «Ты, дескать, не воруй, а ты не разевай рот, не беспокой начальство». Что и толковать! А вот сами миром, собором... лучше!..

Расскажу, братец ты мой, я тебе оказию, как, стало быть, наш мужик пить-то охоч, да здоров. Пьянствует так, не роди мать на площади!.. ахти!.. Знамо, для меня эвто лучше требовать нельзя! мне какое дело! По мне, хочь (в рассуждении чего избави боже, защити мать пресвятая богородица всякого православного христианина), хочь на месте опейся... мне все равно; что я, матка али дядька их, что ли?

Первым делом покровский мужик замешан вот на чем: как, значит, утро забрезжилось, заря еще не занималась:

нӣ р̄осинки во рту нет, гла̄з путем не прочистил, а уж чу-
хает: как бы дерябнуть где да как бы объегорить кого!
Ежели надуть некого, тащит что-нибудь свое; а если
есть — прижидает времечка. Одно слово, один под дру-
гим подкапывает, один другого поддевает. Так расскажу...
историй, сударь мой, не оберешься... Хоть, к примеру,
возьмем такого сорта материю: весенней порой нашей
сходке нужно было решать, когда выезжать в поле, —
запахивать землю? с которого дня? с легкого али еще с
какого? У мужиков делалось все собца: косить ли,
жать ли, колодезь ли чистить, обманывать ли кого,
всегда собиралась сходка. И прежде, как станут тол-
ковать, сложатся перва на четверть, ведерку, как какое
дело потребует, и почнут судить. Тут тоже, касательно
запахиванья. Выпили они четверти с полторы, давай су-
дить: «Как? что? когда?» Ну порешили таким манером:
запахивать чтобы беспрременно в четверг, не в среду. «Смо-
три, мол, ребята, в четверг!» Так. После все разошлись по
домам. Вот проходит понедельник, вторник. В среду,
батюшка мой, и выезжает один мужик в поле (по чести
сказать, бедный); помолился, занес соху и пошел пахать
свою землю, сам озирается: не видит ли кто его; знает,
что в среду не положено. Пашет. Прошел ряд, другой,
глядит: идет мужик; за плечами несет мешок с мукой.

— Здорово, кум.

— Здорово.

— Бог помочь.

— Спасибо.

— Что, рыхла земля-то?

— Рыхла... ничего... Земля добро... Знатная.

Прохожий мужик поглядел на небо:

— А что, небойсь теперя давно журавли прилетели?

Ишь парит как!

— Таперь прилетели. Мишутка сказывал, недели две,
как прилетели.

— Гм... Ну, прощавай.

— Прощавай.

И пошел мужик, идет дорогой да говорит:

— Постой ты у меня, я те журавлями такими попо-
штвую, другу-недругу закажешь по середам запахивать.

Приходит на село — прямо к старосте. Староста взял
тросточку и ну ходить по дворам, постукивать под окнами:

— Эй! православные! ко цареву кабачку!..

Живо все собрались.

— Что?

— Да что? Федька запахивает землю.

— Как?

— Да так.

— Ребята! беги туда, к нему.

Человек шесть бросились в поле, подхватили у Федьки соху — и к кабаку. Я сижу под окошком, шелкаю подсолнышки, сам ухмыляюсь: «Мол, дружки!.. к чему прицепились».

— Ну-ко,— говорят,— Фадеич, отпусти две четвертки. Бог послал поживу: соху в поле нашли; вишь, до четверга забралась туда.

Я говорю: «Подите возьмите» (вижу, соха добрая). Две четверти невелика важность. Да смеюсь им: «Когда вы, бояре честные, перестанете кабак-от набивать всякою упряжью?»

— А все тогда же,— говорят,— когда нас на свете не будет.

Хорошо. Федька же, братец ты мой, стоит, смотрит на соху, так и дрожит: умолять не может сходку, а дрожит. Ну, ладно! Взяли мужики вино, выносят из кабака, а в сенцы ко мне волокут соху. Федька глянул на ее, да как бросится всем в ноги, кричит:

— Братцы! сошник хочь отдайте!..

Мужики ему бают:

— Одначе ты, Федор Зобов, ловок; словно набитых дураков нашел; кабысь мы не знаем, что в сошнике все и дело-то!.. Ловок, нечего сказать!

Потом обращаются к нему:

— А вот, Федор Зобов, не хочешь ли с нами выпить? Ладней будет.

Мужик совсем отказался; стоит, не знает, что делать, растерялся. Опосле, выпивши, ему толкуют: «Э! Зобов... Соха куда ни шла! вещь нажитая... живы будем, сыты будем!» И то дело! А староста успел назюзиться переж всех: тычет палочкой в землю, себе бормочет: «Живы будем, сыты будем...» (Зобов Федька все молчит). Комиссия, Иван Иваныч, с эвтим народцем! Главная сила, любопытно смотреть на них, как расчагокаются, как расчагокаются, берись за бока да покачивайся. Так-то иное время долгонько не видишь никого, может не поверишь, ей-же-ей! скука берет... право! а показалась

эвта сходка, чуешь, гвардия-то идет, размахивает руками... Ге, думаешь, вот они, голубчики!.. и ничего...

— Как же, Андрей Фадееч, а начальство ежели?.. Ничего, что принимаете рухлядь всякую?.. чай, не показано...

— Знамо, не показано. Ты, Иван Иванович, гляди сюда: все эвти вещи разя держишь в кабаке? и-и!.. Кто же себе враг, живьем так-таки, и отправляешь куда след: имеешь на стороне ботворителя такого... Да ко мне хочь за полночь приезжай, хочь чиновник какой — ни крохи не найдет: все спущено! Тоже ведь надо налицо иметь деньги, как же быть? и раболепствуешь...

— Вот что...

— А ты полагаал, у меня в кабаке-то лавка? шалишь!.. кажинную тряпку живьем на базар. Так-то, сударь мой. Ты бы лучше спросил вот о чем: что было бы нашему брату делать, ежели бы не было кабаков в селах? Что тогда?.. какая жизнь целовальнику была?.. Нешто понес бы тогда мужик за десять верст соху или женину поняву? Нет!.. А это милость божия, что несут: неси, пожалуйста!.. душа наша кривая, все примая, и мед и тот прет.

— Расскажи-ко, Андрей Фадееч, еще какую историю; право, занято.

— Как занятно-то, слушай!.. Выпьем-ко... Эй, Карпуша! дай нам другую парочку... Например, такого рода случай: в запрошлом году требовалось из нашего села выбрать ратника. Ну, здесь мужикам много не удалось попить; не на того напали. Сходка должна была выбрать ратника из своей братии, кого, значит, заблагорассудит. И сошлись они к кабаку. Староста похаживает посередке, понукивает:

— Что же? как? кого, ребята? надуть что ни на есть лядашего, понимая, вора какого али лошевода.

— Да знамо,— говорят,— кого ж больше, как не Петрушку Носа, что два раза в остроге сидел за покражу.

— Его!

— Ну его, так его! туда ему дорога... поделом, незымь его разгуляется... незымь!

Все согласились — и пошли было; только отошли шагов десять от кабака, один и кричит: «Стой, малый!» — сам думает. Мужики остановились: «Что?» — «Да вот что: оно Петрушку-то мы сдадим, да как бы не было худо; ведь ратников скоро обещались распустить по домам; а Петрушка ежели воротится назад, так подпустит красного петуха—и шабаш!.. вот что сделает!» Мужики так, знаешь,

и разинули рты: «Э, малый, заговорили, и впрямь так; не надуть: вор захочет, все сделает,— он своей головой не дорожит. Коли так, пускай идет Ахрем, он же на очереди». А Ахрем, Иван Иванович, точно был на очереди; но запржде его совсем не думали отдавать, потому что одинокий был: никак человек шесть детей имел, мал мала все меньше, жену (она в то время была брюхата), больше никого; а сам был хвор, нездоров. Иные из мужиков тут упирались, не хотели его сдавать; мол, на кого бросить семью? на что лучше — вору есть: иначе нет! Все порешили таким обычаем: ежели Ахрем не напоит допьяна всю слободу, и толковать много не след: в ратники! Я тебе докладывал, что так и чухают, с кого бы сорвать выпивку? Сам себе говорю: «Да! напоить всю слободу машина порядочная... кабы согласился!»

Призывают Ахрема, сбились к кабаку.

— Ну, Ахрем, как полагаешь?

— Да что,— говорит,— ребята: у меня не токма что напоить всю деревню,— кажись, дома жрать нечего! поди вон, ноне зиму последняя коровенка издохла; а на гумне ни былинки, ни травинки.

— Неужели уже на четыре ведра не достанет?

— Я ж вам баю, у меня вот до чего дошло: хлеба скоро не будет!

Мужики думают, соображают, как ухитриться?

— Это,— говорит один,— того... балы, чтобы, к примеру, на четыре ведра не достало. Врет! вишь, гнет экося околесицу: трескаться нечего! Одно калянство, упрямость одна. Не хотца попештовать...

— И то, малый,— заговорили все.— Ежели бы боялся ратников, последние колеса заложил да поднес бы. Верно, не боится, а не боится — не трожь, идет!

Тем и покончили. Меж тем пошли они к Петрушке Носу, к вору, говорят ему: «Пожертвуй, Петр Анисимыч, на ведедку: остаешься, голубчик... мы тебя пожалели; малый-то ты добрый. Ахрем за тебя идет». И сдернули с Носа, только не ведедку (ведерки не дал, собачий сын), а всего пол-осьмухи.

Опосле, братец ты мой, как повезли Ахрема, смех!.. окружили его телегу, шумят: «Прощавай, Ахрем! вся причина, не помышляй много... не отчаявайся!.. Слышь, царь-батюшка обещал ратников скоро воротить».

Ахрем сидит, сам утирает слезы... Жена его шибко убивалась! от телеги-то никак не отволокут...

Он не воротился назад. До Ливен почитай дошел, идучи из Севастополи; передовым будучи, песни играл и говорил своему земляку: «Микит! придем в свой город, надену красную рубаху, пойдем песни заиграем». (Что на уме-то подержал!) А Микита говорит: «Хорошо, Ахрем, как велит бог дойти до своего города, я заприметил, что ты пить воду бестолков». Он, глядь, под Ливнами попил воды и скочурился.

Я панахвидку об нем отслужил в Туле; ездил упряжь разную продавать...

Мужики наши услышали про смерть его, рассуждают, стоят у кабака: «Верно, на роду ему напечатано, что не воротится: другие вон воротились». Хе, хе, хе, хе... Обращаюсь к ним из окошка: «Что ж, ребята, товарищ-то ваш воротился?» Стоят, почесывают виски: «Нет, не воротился...» — «Соломатники! говорю им, что бы вам тогда урезонить его? и сами бы населезенились, и товарищ был бы цел». — «Такой, говорят, каменный по-пался...»

Одно слово, день-деньской шляются, то и норовят, как бы попьанствовать, взогреть кого. Смотрю на них: ну корову за рога! али имущество какое; чего дремать? Однова, что ты думаешь? вот чудо! Сидят они супротив кабака на срубленном дубу и говорят о чем-то; смекают, должно, дерябнуть... сидят, думают. Думали, думали да взяли пропили дуб, на котором сидели. — бог свидетель! вот, дивись, колено какое сотворили... Что значит замысловатый народ-от. Мне же и невдомек об дубе; год целый валялся, общий — ихний; его и колыхнули! Отпущаю вино, говорю:

— Ишь дерево-то!.. Я об нем словно и забыл; без призору совсем валялось.

— Мы, — бают мужики, — думали, что ты не примешь.

— Какой? подавай знай!.. толковать там!

Опосле облапили меня, кричат: «Заступитель! отец!» ха, ха, ха... Стало быть, уважение им делаю. А за дуб-от я в тот же день дал пятачок свезть в город и получил билетиками три целковых. У меня будь знаком, ходи дальше!

Да, Иван Иваныч, житье было хорошее, хорошее... знатное житье... Кажинный раз продовольствие чувствовал:

пей, ешь сколько влезет; и карман никогда засухи не выдывал.

А вот, доложу тебе, ежели у кабака не приходится иметь дела, положим дождь ежели идет али сиверка, ненастье, так мужики собирались в ригу, недалече стоит она, пустая: громадища такая, на каменном фундаменте построена. Над воротами же у ней содержится надпись такого происшествия, написано: «Вход в сарай... для, теперича, угощения и поштванья крестьян покровских вином из питейного кабака с продажей пива». Как то есть важно выведено! грамотей какой-то постарался.

Раз летом, во время дождика; мужики заключались в этой самой риге, сидели, запивали наемные луга; десятинадцать купили, и попойка была богатая: три ведра взяли. Народу собралось много; был там с ними тоже вкладчик, отставной дьячок, он находился для потехи больше: веселил компанию. Еще некий мужик Еремка. Он слыл запевалой; мухортный такой мужичонка: на вид две денежки, грош сдачи. Но пел ловко; как залется: «Сидит ворон на березе», — унеси ты мое горе! аки певчий какой, и руку приложит к виску. Дьячок же петь вовсе не умел; за то, говорят, и отставили его, что уши в церкви драл до самой до болятки... А игрец был лихой: захочет откачать вприсядку, откачает! сдествует миловидно: смотри! и больше — прибаутки сочинял. Мой кабак он все звал «капернаум... пойдем в капернаум». Вчастью мужиков учил, чтобы как можно пошибче пьянствовать: «Я, говорит, однова ехал из Тулы, когда на шест садились куры (дьячок стихами бесперечь говорил). Пришло мне на ум заехать в капернаум. Хорошо. Тогда я заехал в харчевню, лошадь женную пропил: потом телегу с хомутом, седелку с кнутом, узду с махрами, дугу с вожжами, чулки с сапогами, хе, хе, хе... мешки с пирогами, трубку с чубуком, кисет с табаком». Подлинно, Иван Иваныч, оно было так: он дочиста пропился, маленько только жаль, что не у меня, а в Анишином кабаке; но вот что случилось с ним в нашем селе: некогда Руднев «принял на себя труд гонять лошадей своих на пруд; он с пруда домой пошел, на пути в кабак зашел». И пропил, батюшка ты мой, как бы тебе сказать, не солгать, что бишь... дай бог память... забыл... нет: да что же я? я-то что? Гнедую кобылу пропил... Он было хотел саврасую; но я не взял, почему что жеребая лошадь: где мне с ней

возжаться? Он, сударь мой, и пропилил гнедую. Ну, таким манером гуляли мужики в своей риге; я тебе хочу рассказать про одно воровство. Воров мужики больно презирали: попался вор, аминь! лучше улепетывай куда подальше: всего оберут, последние сапожонки снимут. Про дьяка будет речь впереди, мы порасскажем про Еремку-запевалу. Когда все в риге шумели, кричали, смеялись на Руднева, иные боролись, иные плясали, хояин той риги вдруг как заорет во все горло:

— Ребята! стой! несчастье приключилось.

Все в одну минуту притихли.

— Что?

— Пропажа сделалась.

— Где? кто? где?

— Здесь. От ворот замок пропал.

— Обыскивать!

— Обыскивать! Обыскивать!

— В кружок!

— Становитесь в кружок!

Пошла работа: давай обыскивать всех дочиста. Сейчас ворота приперли, стали в кружок: «Раздевайся!» Старосту первого... посмотрели — нет! другого — тоже нет. Третьего, четвертого... С кажинного снимали чекмени, сапоги, у дьячка за галстуком осведомились. Вот Еремка-запевало видит, что до него очередь доходит — шмыг замок в сторону... отбросил. Сам, ни в чем будто не бывало, стоит, кричит: «Обыскивай кругом!» Ан дело то и сметили.

— Ты что бросил?

— Ничего.

— Врешь! ты бросил вот замок.

— Я не бросал.

— Васька, ты видел? бери, держи, вяжи!..

И уж как все обрадовались вору-то, как батюшке родному.

— Веди к кабаку!

Грязь на улице, — ничего! прут гурьбой. Доскреблись до кабака. Крепко держат вора.

— Ну, малка, как?

— Да много разговаривать нечего: бегите к нему домой, везите телегу.

Вор бросился бухать в ноги то тому, то другому. Нет, поздно. Староста дал ему в спину, чтоб попусту не вякал.

Привезли телегу: телега, Иван Иванович, новая и такая, знаешь, всё с резьбой. На Миколу я продал ее веневскому ямщику за четырнадцать рублей. Важная посудина!

— Ну, сколько же вам?— говорю.

— Три ведра!

— Ведро, больше не дам; поверенный бранится, спрашивает: «Куда так много вина выходит, слышь?»

— Давай хоть ведро,— кричат.

Я отпустил; телегу живо отправил на постоянный двор к куманьку. Вот они у меня в сених принялись пить; сажают с собою Еремку-вора. Он не отказывается; присуседился к ним. Дьячок за прибаутки взялся; поднялось веселье, куда что!.. Некоторые спрашивают у Еремки:

— Ну, что? таперь не будешь воровать?

— Я, ребята, право слово пошутил,— говорит.

Мужики отвечают:

— Да и мы шутим с тобой. Коли ж не шутим? Ведь тебя бы следовало драть, домового; а мы, вишь, что делаем? угощаем твою милость. За эвто, мотри, чтобы ты нам спел песню.

— Нет, братцы, сил не хватает.

— Врешь, споешь, чертов сын. У нас благим матом затянешь.

Точно; как нализался Еремка, все позабыл: играл песни напропалую. Когда мужики распили вино, начали они придумывать, чинить совет, что бы еще пропить у вора. Народец эвтом чем больше пьет, то больше ожесточается, входит в настоящую силу: норовит натесаться до самого нельзя... Кричит:

— Ребята! иди опять к Еремке: бери, что на дворе увидишь.

А вор Еремка захмелел: кабыть ополоумил совсем, срет:

— Там,— говорит,— у меня передки от водовозки стоять, цопай их сюда; смотри овцу не вздумай привесть али живота какого.

— Ладно,— говорят мужики.

Гляжу в окно: один везет передки, другой ведет овцу. Помираю со смеху:

— Сколько?— спрашиваю.

— Ведро!

— Полведра!

— Давай!

И пошли гулять; дождик тут перестал маленько; вышли на улицу; вино поставили на траву, и кто во что!.. Еремку заставили песню играть: он подбоченился, разинул пасть, задрал, закатился в вышину (голос звонкий), подхватили — трогай! Только по всему селу раздается. Горланили, горланили,—перестали. Обратились к дьячку.

— Ну-кася, Руднев, следствуй трепака! кажи нам, где раки зимуют.

Дьячок подобрал полы, невзирая на грязь, ударил трепака. «В обмочку, кричат, в обмочку». Согнул колена, зачал в обмочку¹ ногами вывертывать; сам прибирает: «Ходи, изба, ходи, печь, хозяину негде лечь...» Веселье поднялось такое!.. На селе бабы, девки выступили из домов, смотрят... истинно праздник! А тут же промеж сходки кто цалуется, кто лезет к рылу с кулаками; известно, пьяному чего не взбредет на ум!

Между эвтим вино опять вышло все; спохватились они, сбились в кучу, шумят: «А что, малый, почто вор-то не поштвует нас? Забыл? мы не токма пропьем догола весь дом его, в острог упрячем: воров не приказано держать в деревне!»

Послали в третий раз к Еремке на дом. Он же ничего не слышит, не чувствует и знать не хочет: топчется в грязи ногами, покручивает платком на воздухе.

Через четверть часа, смотрю, ведут жеребенка (стригунок чаленький,—славная скотинка). И какая, Иван Иваныч, история: здесь мужики берут у меня вино, а Еремка, еле жив, увидал своего жеребенка, подошел к нему, заломил шапку набок и кричит: «Ты зачем сюда? а? вон пошел отсюда! Вина захотел? Ты у меня не смей... Чтобы этого не было... Ни, ни... Хозяин будет пьянствовать и лошади тоже?.. прочь пошел!» Потом: «Коняш, коняш!..»—комедия!

А как разведал, что его жеребенка пропивают, облапил его за шею и говорит: «Вот оно что!.. прощавай же, коняшка! Родимая моя!.. Верно, судьба твоя такая... плохая... пропьют тебя мужики — черти... Вишь, жеребятины, дьяволы, захотели».

Как взяли мужики еще ведро — ну гулять! Я тебе говорю, праздника веселей.

К вечеру все так натискались, нарезались, ног не волокут: растянулись у кабака на грязи и хрюкают...

¹ Вприсядку (Прим. Н. В. Успенского).

Один бормочет, насилу язык поворачивает: «А! говорит, попался... Не воруй! Поделом вору мука...» Еремка же, братец мой, то-то разбойник!.. лег носом в грязь и тоже кричит: «Не воруй!» Ха, ха, ха... Чудеса!..

Вот так-то пьянствуют,— коси малина! Кажинный почеть день гульба, кажинный день: подрался кто.— выпивка! Скотина на чужой огород зашла — выпивка! Чья собака взбесилась — опять выпивка! К примеру, вечером пьют, наране идут опохмеляться; таким обычаем зарядят недели на три! От кабака совсем не отходят; при нем и днюют. Один мужик, слышь, до того пропился, что приходит однава ко мне в кабак с мешком в руках и говорит:

— Фаденц! дай полштофик. Я тебе штуку принес.

— Какую?

— Да вот... (и развязывает мешок). Боюсь, что ты не возьмешь.

— Ну-ко, покажи.

Гляжу, в мешке собака. Залился я со смеху.

— Ах ты,— говорю,— молодец, молодец!.. С чем привалил... Нет, под эвти сбруи мы не даем...

Через никак день он сговорился с дьячком Рудневым меня обокрасть, выкачать вино из бочек. Действительно, в полночь в самую они подступили к кабаку, проломали в крыше щель, залезли в сени, где стояли бочки, выкачали семь ведер и только было стали отправляться, как в то время нагрянула на них сходка. Она подкараулила дружков. (Я сплю; ничего не слышу.)

— Что несешь?

Воры смешались. Говорят сходке:

— Ребята! вот вам три ведра, отвяжитесь.

— Давай!

Сходка взяла три ведра и идет к кабаку. Воры как раз останавливают мужиков, говорят: «Куда вы? Ступайте дальше от кабака; целовальник неравно узнает: он все скрость брюхо-то у тебя видит». Сходка говорит: «Небойсь не увидит. Мы тихо разопьем». (Я все сплю.) Подсели мужики к кабаку и принялись за питру. Перва тихо шло, а как напились, давай шуметь, потом засучили рукава да драться. Слушаю: что за крик? Выбегаю в одной рубахе; такое несказанное пьянство!

— Ребята,— говорю,— вы воровать!..

— Кой черт, воровать!..— И рассказали мне все как

следует, докладывают только: «Мы с тем уговором, Фадеич, тебе открыли, чтобы ведро нам за работу».

— За ведром не постоим; а где теперь они?

— У дьячка.

Народом нахлынули мы на дьячков дом и слаудили воров. Мужик, что собаку-то приносил, вывернулся, оправдался перед начальством, а обвинил одного дьячка. Его представили в острог.

Перед отъездом он как нешто отзванивал трепака! приговаривал: «Эх, прощай, голубчик Ваня, скоро будет тебе баня!..» Его Иваном звали.

Так-то, сударь ты мой, Иван Иваныч; такие-то дела! Да, хорошо, очень хорошо было жить в Покровском. Вспомнить любо!

Молчание.

— А что, Андрей Фадеич? Слушал я тебя, слушал, знаешь ли, что пришло мне в голову? Брошу я кошатничать! наймусь-ко я себе в целовальники! такой жизни я, признаться, нигде не слыхивал...

— И отменно сделаешь. Один тебе совет от меня, выбирай кабак не тот, что в поле стоит, а в селе: как в бывшем моем Покровском; да спуску ничему не давай!..

ГРУШКА

Жив еще старичок-то — мой тятенька... ни единого волоска на голове, а тоже иное время пустится в присядку! чуден родитель!.. Когда же захмеляет, то всегда запеваёт: «Ай ты, молодость... буйная!» разинет рот, а там ни одного зуба нет!

— Потап Егорыч! а вы знавали Ипполита Иваныча?

— Нет-с. А что?

— Ничего. У него все, знаете, поговорка: болван!

— Г-мм...

— Потап Егорыч!

— Чего-с?

— А я, значит, вот что: мне теперича хотелось то есть знать от вас: почему вы не женитесь?

— Да я, Сидор Семеныч, уже был женат. Разве в другой раз?..

— Ну в другой.

— И то ведь думаю посвататься; но боюсь, Сидор Семеныч: моему-то тятеньке до меня дела нет; я кажиную материю должен сам сообразить. Жениться, говорит поговорка, не напасть, да чтоб женившись — не пропасть...

— Я понимаю. Но поискать девку-то можно.

— Обвенчался я, Сидор Семеныч, с одной купеческой дочерью, — истинно закаялся; подхватил, можно сказать, такую скотину, — сам не рад... Грушкой дразнили...

— Что ж так?

— Так-с...

— А как вы, Потап Егорыч, мыслите насчет супружества?

— Я так мыслю, что жена должна быть супружницей своему мужу... одно слово жена... она обязана чувство-

вать все, понимать всякие мужнины добродетели; так как чрез это самое может произойти глупость...

— Справедливо. Я знавал некоего купца, так он свою жену в гроб вогнал.

— Известно; мы знаем доподлинно, что жену во гроб вогнать — ничего не стоит, потому что жена для своего мужа — все равно — плюнуть да растереть...

— Вот! я сейчас тоже доказать хотел. А ваша жена плоха была?

— Так плоха, Сидор Семеныч, что прямо одёр была супруга... и первое дело — обманщица... Значит, не судьба моя! хорошо, что убралась она, царство ей небесное!..

— Позвольте, Потап Егорыч, табачку понюхать... Вы мне опишите поподробней... Готово!..

— Я с ней познакомился еще очень далеко до свадьбы. В ту пору я был приказчиком, сидельцем.

— Да, да, приказчиком.

— Вот и да! Однажды гулял я летним вечером... Сначала-то, Сидор Семеныч, пойдет весело... ничего... занятная история. Ну, и гулял. Вот этак в одной руке держу тросточку, а в другой пеньковые перчатки и помахиваю ими на все четыре стороны. Стало темнеть. Я начал теперь размышлять: «Не пора ли, дескать, домой?» Думаю: «Пора!» — и пошел. Смотрю — на тротуаре идут две девушки: одна то есть горничная, а другая самая моя супружница, примерно, куда девушка Аграфена. Хорошо; глаза у ней черные, брови черные... «Сем, говорю, подлабынься, попытаю счастье...» В случае, какова ни мера, можно тягу дать. Захожу сбоку и веду речь...

— Позвольте, Потап Егорыч, к кому это вы подходите?

— Да то-то к Грушке: купца Мурашкина дочь.

— Ну?

— И говорю: «Куда, сударыня, гуляете?» Она отвечает: «А вам на что, мон шер?»¹.

— Нам, значит, особенной важности мало... осведомиться желательно — не больше того.

— В эвот раз иду, — говорит, — с гулянья.

— А нельзя ли полюбопытствовать, как ваше имечко?

— Аграфена Власьевна Мурашкина.

¹ Мой милый? (от франц. *mon cher*).

— Так-с. Что же вы, Аграфена Власьевна Мурашкина, стало быть, тепереча домой отправляетесь?

— Домой,— говорит.

— Ну, а ежели внезапно смеркнется?.. Не опасно одним вам, примерно, идти?

— Нисколько: наш дом-то вот он!

— Где?

— Вот он.

— Гм... так, следовательно, до свиданья!

— Прощайте-с... А как вас зовут, мусьё? — спрашивает она.

— Меня, стало быть, зовут Потап Егорыч Свиньин.

Комедь эвта тем и кончилась. Одначе я дела не бросил. Зачал я с того времени прогуливаться у ее дома, все, знаете, по вечерам. Попробовать не мешает. Дом у них каменный; мезонин слишком здоровый выведен. Разгуливаю себе. Она сидит у окошечка, вяжет чулок али колбает что,— сама, понимаете, романсы поет. И пела она, скажу вам, Сидор Семеныч, ладно; пела, как бы доказать — чисто певчая какая... голос манерный и такой, что, к примеру, нашей мещанке тягаться далеко, куда! Грудью она не брала, а, значит, визгом больше... одно слово — важно!

Прохожу раз, Сидор Семеныч, мимо окошечка, в другой прохожу, говорю: «Дай поклонюсь, сделаю почтение». В третий иду, сымаю шляпу: «Вот, мол, вам... изволите видеть?..» Она увидала, себе кланяется. Я усмехнулся — она ничего, только глаза под лоб подкатила. Тут я смекнул, что надо работать дальше...

На другой день иду опять. Гляжу — сверху из окна вылетает записочка, порхает по воздуху. Мигом схватил я ее, бегу в ресторацию, потребовал пару чаю и читаю. Пишет, стало быть: «Душанчик... ангел мой (девка горячая была). Ежели бы вы знали, как теперича у меня стремление к вам... от души всего сердца пылаю к вам девушка Аграфена... Сладострастию же моему, говорит, не имею границ — ибо свидание наше в Гречихином переулке должно непременно быть завтра в 9 часов ночи: всячески ожидаю вашего согласия...»

Формально, Сидор Семеныч, свидания я желал. Ведь девчонка она была добротная, румянец во всю щеку. Карахтером ажно ль дрянь вышла. Наране, как следует, я приделся, подвязал желтый шелковый платок под шею,

запер лавку и отправился в Гречихин переулок. Прихожу; она там, с девкой стоит. Скидаваю шляпу.

— Здравствуйте, Аграфена Власьевна.

— Здравствуйте,— говорит,— Потап Егорыч. — Вижу, совестится.

— Здоровы ли?

— Слава богу-с.— Молчит. Потом обращается ко мне: — Что, Потап Егорыч, вы вчера получили цидулочку? — а сама перебирает пальчиками и смотрит мне на сапоги.

— Так точно-с. Имел даже оказию прочитать... Вот ахнул, ей-богу!..

— Так вы, — говорит,— прочитали?

— Прочитал-с.

Опять молчит да вдруг как цапнет:

— Желаете вы, говорит, быть моим предметом?

.. Меня эвто вскуражило. Докладываю:

— Аграфена Власьевна! неужели ж эвтого не желать? надо мною всякая, то есть бессловесная скотина содрогнется, ежели я не пожелаю...

Прошла неделя.

В некий день является ко мне ее девка и дает мне от Груши наказ такого качества, чтобы я по средам и пятницам ходил к ней в четыре или пять часов утра, как лишь только заблаговестят к заутрени. «Ее отец и мать, говорит, стало, уезжают тем временем к заутрени, так, слышь, извольте, говорит, пожаловать для, значит, препровождения скуки ради... в ее комнату... я, девка, вас провожу туда».

— С моим одолжением,— говорю.— Только вот что: как бы теперича шкандалу не было? Ведь, — говорю, — меня там должны оглоухами накормить за мои посещения.

— Не сумлевайтесь. Ничего.

— Ничего так ничего.— Принялся я похаживать к ней. Хожу благополучно день, другой. Бывало, Сидор Семеныч, не поверите,— ночь не спишь: все боишься, как бы не прозевать. Слышу, благовест в соборе: «До-он!» — сейчас луплю к ней, в чем ни на есть: в халате, в чуйке ли. Приближаюсь,— ворота отворяются, выезжает купец с купчихой, сидят и крестятся,— на рыжем мерину; ужастенный был мерин, домовым, Сидор Семеныч, всё звали. Эвто так-с. Затем ворота затворяются, а на место их

отворяется калиточка, выглядывает девка и дает мне знак, чтобы я шел за ней. Вступаю в комнату... а не забудьте, на дороге, перед крыльцом, у входа-то я всегда снимал сапоги, сбрасывал их долой, приходил в Грушкину комнату в одних чулках, понимаете,—дабы шуму не было. Так иду тихо, скромно, с ноги на ногу.— Грушка сидит на кровати, я помещаюсь подле нее, она хватает меня за руку.

— Знаете ли,— говорит,— я вас очень обожаю...

Я отвечаю:

— Помилуйте, напрасно беспокоиться изволите, не стойт-с...

Она:

— Мерси, Потап Егорыч...

— Ну, а если нас захватят?— говорю.

— Нет, этому никогда не бывать...

Таким манером проводим время. Особенностей же между нами ровно никаких не было. Путешествовал я к ней не раз и не два. Время, можно сказать, проводил в пустяках; кроме ласк да пересыпки из пустого в порожнее ничего не было.

Осенью, Сидор Семеныч, не помню в какой-то праздник, встретил я ее на углу Подъяческой, шел было к кажуховым лавкам. Увидал ее, остановился. Она чуть не бросилась ко мне на шею. Кричит: «Жисть моя!.. шагай ко мне ноне ночью, сделай такую милость... У нас будут гости, станут гулять до зари до самой. В моей комнате никого не будет».

— Пожалуй,— говорю.— В котором часу?

— В таком-то.

Наступила пора. Являюсь. Комната ее действительно пустая, и даже огня нет. Только слышу, в соседней зале идут пляски, крик. А Груша тотчас обращается ко мне и говорит:

— Потап Егорыч, слышите: давайте играть.

Я смотрю.

— Да как же? не взошел бы кто. Чего доброго, в шею накладывают, недорого возьмут.

— Нет,— шепчет.— Вы разденьтесь, скиньте сюртук, становитесь промеж банками.

— Дальше что же-с?

— Да вы, — говорит,— разденьтесь: Амур и Венера будут представляться.

Мудрит мною, и на! Думал, думал, хочу раздеваться и нет. Что станешь делать? Взял разделся. Стал за цветами. Стою. Вдруг, голубчик мой, растворилась дверь, бежит из соседней комнаты ее брат, за ним целая куча девок. Хохот несется: «Ха-ха-ха...» — девки за ним, он от них, балуются между собою. Я ни жив ни мертв. Как вспомнишь, ални страм, Сидор Семеныч, берет, что эвта Грушка со мной делала... Брат увидел ее и говорит:

— Что ж ты, Грушенька, тут одна?

А меня не видно за банками.

— Да так,— говорит,— скучно что-то стало. Мне эвти гости тоску наводят.— И так важно притворилась... «Ну, думаю, вздуть умеет». Брат приласкал ее и повел с собою в залу. Теперича на эвтом еще дело не остановилось. Вскорости я опять-таки забрался к своей любезной. Как услышал колокол... то-то грех! чем бы бежать в церковь, а я к Грушке. Избаловался ловко. Вся причина, глуп был... можно сказать — сволочь! А всему виною Грушка... она, она вовлекла меня в свои сети, да! Прихожу. Сбросил у крыльца сапоги, и к ней... Пошли цалования, милования. Ее девка тут же. Скалит, стоит зубы на нас. Вдруг что же? Слышу, скрип дверь... я живо в угол, к лежанке. Девка ко мне и заслонила меня. Я присел. Грушка на кровати. Входит ее мать. К ней:

— Ты что тут? с кем разговариваешь?

— С Анютой,— говорит.

— А ты что здесь стоишь? (Эвто к девке).

— Да так,— говорит,— постоять вздумалось.

А я за ней сижусь; держу ее за хвост.

— Ну-ко посторонись...

Анюта посторонилась... как я шаркну! почал стрекать, Сидор Семеныч, как почал... ай-ай-ай... слетел с лестницы, выбежал на улицу в одних чулках. Продрал две улицы без оглядки, прибежал домой — хват, ни одного чулка нет... все растерял... разожгли!..

Больше туда я ни ногой. Кончен бал. Говорю себе: «Нет, Потап Егорыч, отгулялся, будет! Дождешься, что тебе на спине горбов наделают». Ну, и не ходил. Бросил Грушку совсем. Теперича, Сидор Семеныч, насчет же моих походов к ним, кроме Грушки и девки, так никто и не узнал. Кто таков был, что за персона, по сие время неизвестно.

— Одначе вы, Потап Егорыч, повеселились на своем веку.

— Сидор Семеныч! где же я повеселился? Ежели бы, к примеру, вы побыли на моем месте, ан не то... ведь сколько одних лихорадок переносил я за эвими слонюшками...

— А как же вы женились-то?

— Слушайте-с про сватовство. Вещия любопытная. Тут, глядите, какие зачнут строиться гогули. Грушка здесь пойдет уж гадить: такую скверность учинит! Можно сказать, натянет мне нос вот какой, ахтительный. Раз сижу я в своей лавке, всходит ко мне товарищ.

— Здорово!

— Здорово!

— Не хочешь ли,— говорит,— жениться? девка есть.

— Какая?

— Мурашкина купца, Аграфенка. Две тысячи приданого.

— А не врешь, что две тысячи?

— Так точно.

Порассудил я: ай посвататься? две тысячи не маковое зерно. По крайности была не была,— повидался. Пойду. Наряжаться я много не стал; надел бекешку, теплый картуз,— рубль с пятаком дал у Гусевых. Ни в чем словно не бывало, иду. Перва-наперво, как можно чиннее, тихеньким прикинулся. Картуз сейчас скидаваю, вступаю в переднюю; в ней никого нет, а стоит на столе умывальник посеребренный, мыло, полотенце тут. Мыло раскрашенное такое, я даже изумился, подумал: «Аль попробовать, что за товар?» Взял в руки, нюхнул, так и хватил *амбрем* настоящим, издохнуть — не вру!..

— Благородство, должно быть!

— Ка-ак же... то есть человек, Сидор Семеныч, я вам скажу, хоть бы пятьсот душ... да пока до эвтого дела ни-сколько. Вижу, выходит ихний молодец (заместо лакея он) и хотел было сымать с меня бекешку; я ему докладываю: «Пожалуйте ручку, будьте завсегда знакомы... лапочку сюда... я об вас думаю и полагаю... А что, хозяин дома?»

— Уехачи-с.

Там же в залах шум раздается: «Жених, жених пришел!» Шествуя в покой, сам помышляю: жалко, не надел сюртука-то... развернулся бы! ишь, старика нет дома.

Помнишь, золы-то напустил бы... Купец, прочим, эвтого не любил. Вот, Сидор Семеныч, навстречь мне, значит, выходит мать с невестой. Невеста Грушка разоде́та так,— ходи прочь! юбки, с позволения, фу!.. так и трещат. Одно слово, нет барыша, да штука хороша. И не усмехнется на меня, словно впервой видит. Поразговорились, сели на диваны, слово за слово... Мать мигом и отвечает:

— Потап Егорыч!

— Чего изволите-с?

— Дочка моя,— говорит,— всякие танцы умеет рассматривать... на гуслах... кадрили разные... на пуртуфьянах, фруктами голову улащает...

Думаю: «Все эвто немудрено, может быть; только что тепереча скажет сама невеста?» Мне хотца проникнуть про приданое. Обманывать наш брат мастер. Невеста здесь подходит ко мне, очи свои воздвигает на потолок и говорит:

— Желаю пондравиться... (кабысь между нами ничего не было).

Я:

— Покорно вас благодарим-с. Желательно, чем вы докажете любовь?

Она:

— Здоровы ли вы?

— Помаленьку.

— Слава богу, лучше всего...

Я:

— Эвто,— говорю,— справедливо.

Ну, тут подали чай; попили чайку, попотели маленько.

Я, примерно, избрал времечко, говорю девке,— Грушке:

— Что, между тем, Аграфена Власьевна, позвольте понять: какой вокруг вас интерес есть?

— Найдется,— говорит.

— А как то есть?

— Да найдется. Чего сумлеваетесь? А помните,— говорит,— как вы ко мне ходили?..

— Да-с... именно... помнить кажинную малость помню; касательно же интереса любопытно спросить?..

Она:

— За интересом дело не станет. А вы, Потап Егорыч, сообразите, что предмет главная сила: он прежде всего обращает на себя внимание...

— Точно,— говорю,— предмет многое означает.

Тем делом, Сидор Семеныч, приводят меня в спальню. Осмотр идет. Спальня богатейшая: подушек до потолка до самого. Говорят мне:

— Эвто наша почивальня, Потап Егорыч.

Я говорю:

— Для отдохновения-с?

— Для отдохновения.

Иду обратно, гляжу, возносят мне на показ салфетки и скатерти. Как подали на руки — подоби вот писчей бумаге, ах ты боже! Я подивился. Дальше, наступила пора обедать. Обед значительный был: ветчина... заливное там... вина разных сортов... и попойка была порядочная. Я пил мало. Но бабы, случились за обедом, качали крепко: под конец стола настегались так;—заду не подымают:

Вот хожу к ним почесть кажинный день. Про приданое: пока молчим... Проходит полгода, проходит страшная... четверг,—ничего. В пятницу на святой мы снюхались совсем, порешили. Через никак неделю, что вы думаете? Слышу-послышу, за Аграфенку присватывается офицер. Только узнал об эвтом, тотчас бегу туда, к ним; зло взяло меня.

Вхожу в дом, являюсь в залы, вижу, действительно стоит офицер, усы расправляет, держится за саблю рукой. Аграфенка сидит на стуле разодетая, разукрашенная: тут ли ты!.. юбки оттопырились на полкомнаты. Говорили ребята, что она к подолу-то пришивала обруч; конечно, подлинно проведать об эвтом женихам нельзя. А в замужестве она нет, обручей не носила. Да и не пригоже; теперича ежели она с обручами взняхнется на кровать, — ведь эвто что выйдет?..

Ну сидит она, сама чванится, знаете; шею вытянула, губы сжала... ни полслова,— великатная такая. Подле нее стоит ее бабка, поправляет на ней ленточки и шепчет ей сплошь: «Не шевелись, мать моя, не шевелись; а то его благородию не понравятся такие дела...» Меня, Сидор Семеныч, рассердило; как? то за того, а то за другого?.. Теперича рассудите по правилу: хорошо она поступила? а? Я вам говорю, одер девка, царство ей небесное... такая продувняга,—поискать на редкость: сейчас в одно тебе ухо влезет, в другое вылезет. А тятенька-то мой был тут в стороне. Нет, чтобы так-то присмотреть за мной: дескать,

как сын женится? Просто, Сидор Семеныч, кажинный шаг я должен был сам обдумывать, чтобы впросак не пасть.

Гляжу, мать Грушкина опять зачала расхваливать офицеру свою дочку, как мне прежде, что и танцы и всякие... гримасы ногами выкидывает, и пятое-десятое... Отец тоже себе указывает офицеру на девуку, говорит:

— Вот, стало быть, ваше благородие-с, товар лицом: извольте заключить,— говорит,— белизна-с какая... одни ручки — что твоя мука пшеничная; первый сорт... манность!..

И шепчет офицеру, сам ухмыляется... «Как, ежели бог даст, женитесь, ваше благородие-с, таких поросенок препожалует,— любо-дорого смотреть!..»

«Ну, думаю, провела... не замай же!..»

А она, Сидор Семеныч, Грушка-то, запрежде как услышала, что офицер свататься хочет на ней, кричит: «Я благородная... Я благородная»,— говорит. Видите? что значит необузданность-то.

— Так как же-с? какая будет крайняя цена?

— Пять тысяч,— говорит. (Куда ляпнул!)

— Нет, таких цен ноне не бывает. Вы походней просите. А не можно ли, ваше благородие, взять две тыщки?

— Нельзя-с,— говорит,— убыток будёт.

— А то по рукам?..

Грушка смотрит на них.

Я не стал слушать их разговоров, взял подсел к ней. Завожу речь такого калиберу:

— Что же, Аграфена Власьевна, вы теперича мне изменяете?

Она ни слова. А бабка подгвазживает ей на ухо: «Не шевелись!..» Постой же, думаю себе, ты у меня зашевелишься. Пересел на другое место. В самую эвту минуту, Сидор Семеныч, Аграфенка уронила что-то на пол. Офицер бросился, подхватил и подает ей. Она говорит: «Бонжур¹ за внимание!..»

Я сижу. Никто со мной и разговаривать не хочет: притча какая! Встал, нимало не медля, беру картуз и доношу: «Мое почтение-с».

Отец обернулся.

¹ Неправильное употребление французского слова *bonjour* — добрый день.

— А! Потап Егорыч... ну, прощайте!

Как мне было тошно, Сидор Семеныч; право... много муки узнал я с эвтой Грушкой. Пришедши домой, говорю себе: какая она мне будет жена,— верность, ежели и к одному и другому вешается на шею. Пропади ты совсем, дурища!

Офицер женился на ней, слышите? да и голова же был! вот так искусник: в самую первую же ночь хватились, а его след простыл. Шарили, все углы, трещины высмотрели в дому, нет офицера. А он, говорят, заехал в какой-то трактир, там богу душу отдал. Болтали, что ему кием голову проломил; иначе, кто знает? может, и другое что случилось, только Грушка овдовела. Вот тебе и благородная!

Сказываю своим ребятам: «Как, мол, полагаете? что бы мне сделать с Грушкой? Злыдни такие учинила...» Положим, я не женился на ней, а она за меня не вышла,— все же таки помятовать ей надобно. Зол был я на нее. Сначала объявил ее девке: «Скажи своей Грушке: как встретится где, так угощу, язык высушет...» По городу, Сидор Семеныч, уже пошли ходить разные разности, всё про Грушку... Слушайте, что дальше. На вешнего Миколу приходит вдруг ко мне ее отец.

— Егорыч!

— Что?

— Так и так... прости меня... я тебя обидел.

— Чем, Влас Гаврилыч?

— Да как же: дал тебе тогда честное слово, а сделал пошлость...

— Ну, эвтого не воротишь,— говорю.

— Нет,— говорит,— оно можно воротить.

— Как?

— А вот как: я офицеру-то покойнику дал две тысячи, а тебе, ежели хочешь, дам три.

«Ишь как, думаю, куда полезло!»

— Вот что,— говорю,— Влас Гаврилыч: деньги ничего, их можно, пожалуй... я не прочь. Одна статья меня в сумленье приводит.

— Какая?

— Боязно мне... то есть касательно Аграфены Власьевны: ведь она, будь меж нами сказано, уж женщина. Следовательно, цена теперича ей не та.

— Вот тебе, провались я на сем месте,— говорит,—
девка неповинна. Слышь, офицер после ужина удрал...

— Так ли?

— Лопни мои глаза.

— А ежели нет, тогда что?

— Будь я анафема, коли лгу. Будь друг, избавь
девку. По городу такие шкандалы ходят — смерть!..

— Изволь, изволь. Но чтобы, смотри,— говорю,— на-
счет того...

— Я тебе сказываю, убей меня бог, ежели...

— Ладно.

Сладились. Через месяц, Сидор Семеныч, мы об-
венчались. Но дивитесь теперича, как, значит, наш брат
купец, как он обдывать-то ловок. Вместо всего, что мне
сулили... обманули меня во всех частях... какова сквер-
ность...

ЗМЕЙ

В ветхой избенке, стоявшей на краю одного уездного города, в ненастный осенний вечер, при свете ночника, сидели за ужином два молодых парня. Они только что пришли с бочарной работы и, как видно, сильно проголодались, потому что ели с большим усердием, хотя ужин их состоял из одной тюри, которую приготавливала грязная баба, сидевшая в углу избы с поникшей головою. Один из работников был худ, бледен, однакож не угрюм, и имел на вид не больше восемнадцати лет; другой несколько постарше, с открытым, полным лицом и слегка смеющимися глазами. Они рассказывали друг другу, сколько выручили за день капитала, в какие заходили дома, какую сбивали посуду и проч.

Между тем под окном шумел проливной дождь, в трубе завывал и посвистывал ветер, на всю избу звенели дрожавшие стекла. Работники порою замолкали и прислушивались к дождю:

— Как хлещет!— говорил один из них.

— Да, малый,— задумчиво отвечал другой.

Затем снова начинались разговоры. А сидевшая в углу баба продолжала дремать, покачиваясь взад и вперед.

— Тетка Арина! — обращаясь к бабе, проговорил старший малый,— не знаешь, хозяин дома?

— Чего?

— Хозяин дома?

Баба зевнула, потянулась и пробормотала:

— Господи Иисусе Христе... не знаю... Кажись, ушел куда-то. А-а-а...— опять зазевала она и почесала у себя правый висок, запустив пальцы под головную тряпицу.

— А что, тетка Арина, нет ли у тебя другого какого хлёбова? тюрю-то, слышь, ели, ели, ажно вспотели.

— Какого там тебе хлёбова! Ишь что выдумал: дай ему хлёбова... Где я возьму?..

— Ну, так нечего, верно, попусту сидеть. Ступай, собирай со стола.

Работники вышли из-за стола, помолились образам и поблагодарили за хлеб за соль бабу, которая, поправляя на своем затылке съехавшую повязку, медленно подошла к столу, позевала немножко и начала собирать посуду.

— Тетка Арина! ты бы нам когда-нибудь теста наварила,— сказал старший малый, стоя позади бабы и застегивая ворот своей рубашки.

— Чуден ты, Иван, право слово. Ты какой-то неразумный: теста, вишь, ему навари. Хозяйка я, что ли? Кабы я хозяйка была? их! я сама жру не лучше вашего: часом с квасом, порой с водой.

Иван проворно повернулся и пошел к печи, чуть-чуть напевая, как бы про себя: «Тетушка Арина, ты б нам тестица сварила».

— Семен! пойдем на печь, — сказал он товарищу,— ноне я тебе расскажу сказку, волос дыбом станет; такая занятная, пропади она. Давеча, братец ты мой, иду по Воронежской улице и кричу: «Обручи набив-а-а-ать». А сам думаю: «Эх, забыл сказать Сеньке одну сказку; беспрерменно, мол, вечером скажу».

— Ну, рассказывай, рассказывай,— проговорил Семен, почесывая обеими руками свой живот,— да смотри, хорошенько.

— Уж отзвоню такую лихорадку — любо! Полезай на печку.

— Погоди маленько, дай напиться, сейчас...

В углу избы зазвенел жестяной ковшик. Через минуту работники забрались на печку и приготавливались к рассказам.

Работница вытерла мочалкой стол, поправила ночник, перекрестила свой рот и отправилась к загнети.

— Ребята, тушить ночник-от? — сказала она разуваясь.

— Погоди, может хозяин призоидет.

— Не замай же его, погорит. А-а-а-их-ну! Господи отец небесный... Христос милосливый...

— Ну вот, это мне рассказывал верный человек. У некоего купца была дочка, самая что ни на есть красавица и любимая его. Звали Машенькой. Такая расприкрасная красота, что все купчики стадами бегали... Случились именины. Отец, пришедши от обедни, зачал ее поздравлять со днем ангела: «Дескать, честь имею поздравить тебя, дочка милая». — «Благодарим покорно, папенька». Потом отец пошел в другую комнату и вдруг выносит на серебряном блюде кольцо золотое.

— Погоди, да я эту историю знаю, — прервал Семен.

— Как знаешь?

— Именинница получит кольцо и ненароком подавится им, так?

— От кого ты слышал?

— Не помню. А дальше там ее схоронят и за кольцом полезут к ней ночью воры, то есть в могилу. Вытащат из горла кольцо, она и воскреснет.

— Так, так. Ну, коли эту знаешь, надо другую говорить.

В это время в избу вошел с черной бородой, в длинной чуйке, хозяин. Он двумя пальцами сучил край своей бороды и глядел на печь, прислушиваясь к разговору работников. Но работники скоро замолчали.

— Что, ребята, вы не спите?

Иван бросился было слезать с печи.

— Лежи, лежи; я так пришел. Ну, как вы ноне день поработали, хорошо?

— Не совсем хорошо, Григорий Петрович. Я-то сорок копеек принес, а вон Семен тридцати не выработал.

— Да, плоховато. Выше бога не будешь.

— Прикажете теперь деньги отдавать?

— Нет, завтра отдашь, лежи себе. Я так, на минутку зашел. Плоховато, плоховато! А я ходил к Еремею Иванычу; жена у сердечного померла.

— Померла? — спросил Иван.

— Померла.

Не переставая сучить пальцами бороды, хозяин задумчиво пошел вон из избы; на пути ногою подсунул под лавку ведро с помоями и скрылся за дверью.

— Ребята! — вдруг спросонья забормотала баба, — кто это приходил? Ребята!

— Воры, тетка, воры!.. ха-ха-ха-ха.

— Провалиться вам, жеребцы стоялые, — с сердцем

сказала баба и завернула голову в дырявый армяк, из-под которого слышалось: «Чего хохочут? Насмешники, прости меня господи...»

Впрочем, двух минут не прошло, как она успела уже захрапеть на всю избу.

— Что бы тебе рассказать?— начал Иван, почесывая макушку.

— Про мертвецов знаешь? Вот Расскажи.

— А ты веришь в мертвецов?

— А ты?

— Я не верю,— сказал Иван.

— А я верю.

— Ну, напрасно. Да ты размысли, разве может мертвец вставать?

— Может завсегда. У нас в слободе каждую осень мертвецы бродили, потому отчего же им не бродить?

— Глупо, братец мой, ты рассуждаешь.

— А в писании сказано, говорят: мертвые восстают из гробов,— так ты должен поверить.

— Знамо, должен. Я должен поверить, ежели в писании сказано. Только про мертвецов рассказывать тебе не стану. Потому я про них ничего не знаю. Но вот... Сенька... погоди, брат.

— Что?

— Вспомнил. Сейчас Расскажу. Такая история...

— Про мертвецов?

— Нет, про змея.

— Хороша?

— Эту, брат, только слушай; смотри не засни. Длинная... пойдет за полночь.

— Правда это?

— Истинная правда, вот увидишь.

По обычаю всех рассказчиков, приготовляющихся угостить слушателя занимательной историей, Иван несколько раз кашлянул, плюнул, немного помолчал и начал:

— Слушай. В нашем селе некогда жил молодой огородник, по имени Антошка, человек безобразный собою и высоченного роста. Рост у него был так велик, что когда Антошка стоял на пустыре у нашей версты, то издали казалось, будто два столба торчали, ровные между собою. Одной слегки недоставало на верх, чтобы вышли качели. Такой удивительный рост. Ходил он всегда почесть в соломенной шляпе, с палкой или балалайкой в руке.

При нем еще находилась белая собака, «Секрет» прозывалась. Мужики ее звали курятницей, ибо она кур ела. Этот Антошка, слышишь ты, был человек необнаковенный. Он имел у реки, на своем огороде, избушку и жил один; занимался такими делами: шил сапоги, вязал сети, строил клетки с западнями и обучал всякую скотину разным артикулам. Что то есть ему ни попадись — кошка ли, дятел ли, свинья ли... нет бишь, свиней он ничему не учил, так как свинья глупа. Но примерно вот цапля; эту он обучал. Одна у него, помню, под дудочку плясала на Фоминой недели. Кроме того, Антошка был отчаянный бабник... Что, спит Арина-то? — вдруг спросил рассказчик, подняв голову.

— Спит, спит, — рассказывай.

— Так, понимаешь? Главное, умел подделаться под баб: прибауток знал гибель. Любил он припевать такое стихотворение: «Как под мельницей, под вертельницей, там и старчики (нищие) дерутся, только сумочки трясутся». Во время пения строчит на балалайке и ногами маленько семенит.

Я его знал вот словно тебя и ходил к нему частенько за подсолнухами, за огурцами, а то просто какую-нибудь книжку спросить. У него были «Сухарева башня», «Змей Горыныч», «Правда о мужчине и женщине». Еще, как ее... от запоя что-то... кажется, «Польза от пьянства».

Прежде всего я тебе буду говорить, каков у него дом. Сейчас тыходишь в избу (изба чистая и светлая), видишь: в углу направо разбросаны саложные струменты, на стене картины наклеены, и висит под шляпою балалайка. По полу ходит аглицкий петух и куца галка бегает; галка у него предназначена для прусаков, имя ей Матренка. Перед окнами висят две клетки с синицами; по жердям порхает чиж. На лавке под образами привязана к гвоздю крыса, а под столом лежат две собаки: одна белая — курятница-то, другая — щенок, Кубариком прозывалась.

— Зачем же у него крыса?

— А все же для выучки служила. Он, видишь ты, крысу учил на задние лапы становиться, держать трость через плечо и плясать. Да у Антошки не токмо крыса, даже мерин был ученый, лошадь лет пяти, рыжей шерсти: он умел носить в зубах плетушки, ведра с водою, воровать корм. Воровать выучил его Антошка таким обра-

зом. В сумерках водил его в чужие скирды и приставлял прямо мордой к сену, а сам из-за валу выбегал и пугал его; да так настроил животину, что она чуть слышит шорох, так и пустится бежать, только копыта засверкают. Мужики сколько раз дорывались поймать его, — нет, погоди: лошадь не та, чтобы далась тебе. Этот мерин вот какого разума достиг, что знал, каким манером обойтись с мужиком и бабой, в случае, ежели нападут на него: от бабы он никогда не бегал, а заложит уши назад и напустится на нее; баба закричит благим матом, не знает, сердечная, куда деваться. Но от мужика мерин бегал без всяких то есть отговорок; потому смыслит, что мужик — не баба: пожалуй, по ребрам съездит. Одно слово, лошадь четыре целковых стоила прежде, а после выучки сделалась без цены. В наше село приезжал один казак, — так он заподлинно сказал, что этаких мереньев на Дону мало. А ведь на вид, братец мой, войлок просто: пять лет от роду, шея длинная, вся в оrepьях, да еще выдерганный хвост; ноги косматые. Опричи всех этих забав, у Антошки находились на чердаке голуби турманы; штук до двадцати было. Как он за ними ухаживал! бывало, схватит помело, встряхнет волосами и начнет пугать, сам присвистывает: фю, фю, фю... Иногда зарядит, с утра до ночи охотится. Ежели же нечаянно налетит на стадо ястреб, то Антошка сам не свой бывает: и помелом тычет вверх, и кричит, и бегаёт — весь народ взбаламутит. Однажды он в одной рубахе гнался за ястребом верст пять по деревням. Народ в изумление пришел, глядя на него; руками махает, горланит изо всех сил. А то как-то улетела у него молодая голубка; Антошка живо схватил себе в подол кормочку овсеца и поскакал за голубкой. Она пролетела версты три, в селе Пестрове села на дом благотворительного. Антошка второпях стал прямехонько перед окнами и принялся шептать: «Ксь, ксь, ксь...» Сам одной рукой держится за подол рубахи, а другой выхватывает оттуда овес, рассыпает его по земле и не замечает, что у окна сидит благотворительного дочь, орехи щелкает. Право! голова был этот Антошка.

Расскажу тебе, как он жил дома, как обращался с своими птицами и собаками. Собирается, например, он обедать. Ну, вестимо, сам накрывает на стол, режет хлеб, выставляет из печи горшки. Вся скотина, которая у него в хате, собирается к столу. Антошка садится среди ее,

берет в подол к себе щенка и сидит, словно отец в семье, и со всеми разговаривает. А синицы и чиж в это время заливаются песнями. Чиж летал повсюду: то на вербы порхнет, то на блюдо сядет. Подле хозяина на лавке стоял обнаковенно петух. Он все присматривался к щенку: чуть щенок зашевелится в коленях, тотчас он его в голову стук, стук и пойдет долбить. Тогда Антошка говорил: «Смотри, смотри, Петька,— я те клевну!.. Глупец».

У нас на селе у парня Илюшки были тоже аглицкие петухи, так Антошка часто говаривал своему за обедом:

— Ты у меня, Петр Петрович, ныне скочетаешься с Илюшкиным петухом: если выручишь, я тебя тогда этак по головке поглажу... да ты не дерись... я тебе чертоплешину закачу; хозяин говорит, а ты должен слушать.

Потом, когда видел, что галка, назобавшись, скакала по избе, обращался к ней:

— Галка, галка, Матренушка, куда ты? сыта?

Галка, известно, ничего не ответит, а юркнет под печку и оттуда уж что-нибудь прокричит на ответ.

Как должно понаевшись, Антошка вылезал из-за стола, поддергивал штаны и читал вслух молитву: «Благодарю тя, яко насытил мя».

Животные разбрелись по избе. Петух садился на перекладину, собака искала зубами что-то в своем хвосту. Хозяин, подошедши к окну, набивал в трубку корешки — жилку. После отправлялся голубей гонять.

— Да кто был прежде этот Антошка?

— А вот кто. Антошка — сын одного земского. Сначала он учился в городе в училище, потом года четыре шлялся без должности: шалаем был. Отец приказал ему искать место. Антошка нашел себе место у некоей барыни, на конюшне. Должность заключалась в присмотре за лошадьми. Но только ему там не посчастливилось; раз, в жаркий летний день, случилась оказия: барыне вздумалось съездить на пруд искупаться. Кучера не было дома, приказано собираться Антошке. Он заложил самую что ни есть лучшую пару в дроги, посадил барыню и покатил с нею на пруд, версты за полторы от села. Дорогой с ней разговорился. Барыня словоохотная была. Зашла речь об женитьбе:

— Что ты не женишься?— говорила барыня Антошке.

— А почему вы желаете, чтобы я женился?

— Да,— говорит,— лучше, как женишься: покойней...

— Это действительно, — говорит Антошка, — что покойней: по крайности нет этих тревог, — говорит...

Барыня доложила ему, что он не туда заехал, и приказала замолчать. Антошка только кнутиком замахал на лошадей.

По приезде на пруд Антошка высадил барыню на берег, сам отъехал подалее к кустам и стал там.

Барыня любила купаться вдоволь. Рассказывают про нее, истинная белуга плавает: то на спину повернется, то боком. Наконец, выкупалась она, вышла на берег, прыгнула к платью, да как ахнет и чуть не упала. А из ближнего-то куста выскочил Антошка. На другой же день формально приказано было прогнать его, чтобы и духу не пахло.

Ну, снова здорово, Антоша начал придумывать, где бы отыскать себе место. Пока думал, а в ту пору он по воскресеньям ходил в нашу церковь; пел тенором на крылосе, читал Апостол и тушил свечи у икон.

Апостол читал он здорово: ух, заберет, бывало, всех галок из-под крыши выгонит. И как прочтет, то всегда мужикам подмигивает: «Дескать, каково?» И хлопнет крышками. Тоже звонил он на колокольне нередко — и мастерски: на светлой неделе начнет отхватывать, так все прохожие подплясывают, идучи по выгону. В прошлом году на святой у церкви собрались бабы лен барской стлать; десятской был хмелен. Антошка мигом вскочил на колокольню и тронул в колокола; бабы крепились долго: всё слушали да посмеивались, но как Антошка хватил «барыню», все бросили работу, подобрали юбки и пустились плясать. Пьяный десятский поднял руки вверх, шлепает ногами и кричит: «Наша матушка Росея всему свету голова!»

А то Антошка имел обычай на колокольне галок ловить: страсть его. Раз, во время тоже светлой недели, когда попы были в приходе, он нагребастал целый мешок галчат с старыми галками и пришел к молодой дьяконице; дьяконица лежала на своем крыльце; над ее головой сидела старуха с гребенкой в руках. Антошка снял шляпу и говорит дьяконице:

— Здорово живете, матушка. Вот супруг ваш из приходу прислал кур хригославных.

— Ну, спасибо, — отвечает дьяконица, — поди снеси их в курятник.

Антошка снес в курятник.

Веришь ли, как разозлился на это дьякон, приехавши из прихода: «Как он смел!» На другое утро сел и написал прошение благочинному с жалобой: «Ваше высокоблагословение, такого-то и такого-то числа Антошка огородник в мою закуту высыпал целый мешок галок с птенцами; сказал моей жене на крыльце, что это христомаславные куры. Помилуйте меня: я человек семейный; во-вторых, мы на пасху кур не собираем, а больше рождеством, следовательно в самое во время собираем...» Благочинный даже бородой потряс от гнева; вон что наделал Антошка!

Я тебе рассказываю все про те штуки, которые Антошка творил, живучи у отца. Отец ненавидал его шибко. «Хоть бы уж в острог поскорее его взяли»,— говорил он. Да и Антошке с отцом не всласть было жить. Однава как-то, осенью, что ли, отец Александр объявил в церкви энифест: «То и то, православные христиане, на нас восстает англичанин; просим покорно в солдаты». Антошка, выслушав энифест, возрадовался. Вскорости пошел в город и там нанялся за мещанского сына в солдаты. Уговорился, получил вперед денежки триста рублей. Прогулявши их, он подступил к мещанину и говорит:

— Вот что, почтенный, ты должен сообразить: что можно ли меня нанимать в солдаты? Ты сперва должен спросить у моей родимой матушки. Что она скажет? А так-то, ни уха ни рыла не смысла, не делают.

Мещанин посмотрел на Антошку и воскликнул (простачок он такой был):

— Да что ж значит? что это такое? Значит, грабеж? Значит, примерно, по-свинячьи поступаешь со мной? Стало быть, на тебе суду нет?

Однако пришел с ним вместе к его матери; мать — сердитая баба. Она в то же время страдала родами. Мещанин начал объяснять ей:

— Вот, значит, матушка Анна Ивановна, теперича благословите вашего сына; значит, удалиться он хочет от вас.

— Куда?

— В солдаты.

— В какие солдаты? Да ты у кого ж спросился? Ты не видишь, сын болван? не видишь, он дурак?

Вскочила баба и давай полосовать мещанина за виски. Мещанин как вскрикнет: «Караул, значит,— убили! виски все повыдергали!» Дошла очередь до Антошки.

— Поди-ко ты сюда,— сказала ему мать.

Антошка подошел и с покорностью наклонил голову.

Она его за волосы. Только мещанин отвечает:

— За что же вы, сударыня, деретесь? Значит, ваш сын триста рублей прогулял, а я виноват?

— А ты знаешь, лошавод этакой, у него порок на спине, шрам? (порока не было). Куда его возьмут? А без моего-то благоволения материнского разве возьмут?

Мещанин поговорил крошечку, видит — с бабой не столкнешь, махнул рукой и вышел вон. Антошка себе за ним. На улице говорит взад мещанину:

— В ус не вдунулось, как я тебя надул.

— Да,— отвечает мещанин.

Вечером, с балалайкой под мышкой, Антошка забрался в заречную слободу в хоровод, всем рассказывал эту историю и угощал баб прибаутками. «Ишь те леший поддернул наняться,— говорили бабы ему,— да что это ты? право слово».

Не хуже мещанина он обманул бабу солдатку. Потребовался ей паспорт; она пришла к Антошке и сказала: «Иду, Антон Митрич, для проживания в город Пензу, как мне быть?»

Антошка отвечает: «Сейчас напишу тебе паспорт». Написал ей грамотку и подает: «Ступай, матушка, на все четыре стороны». Баба с этой грамоткой пошла да в первом же городе и застряла. Ее остановили. А там в паспорте написано. «Очистим чувства и узрим...» — целая песня праздничная. Печать приложена; под печатью подписано: «Сликатарь Мерзавцов». Одно меня в сомнение приводит: как он не попался? Чего, чего не делал? Главная причина: счастлив был. Он, вот ты увидишь, еще не то сработает: он в дураках все наше село оставит.

Надо тебе сказать, что в ту пору, как солдатке он написал паспорт, отец совсем выгнал его из дому. Тут Антошка нанялся к нашему огороднику. Огородник был человек старый, вдовый. Году не прошло после поступления к нему Антошки, как он умер. Антошка заступил его место. Огородником он стал жить пожизненно так, как я тебе описывал, то есть: занимался сапожным мастерством, обучал животных, продавал огурцы и увеселял баб. Бабы, нечего таить греха, любили его, хоть и безобразным считался. Иногда завидят его где-нибудь, закричат: «Антон, Антон Митрич!» — и махнут к себе рукой. Он подойдет,

снимает шляпу, а ногу отшвырнет назад и хватит на струменте с припевом: «Кости болят, все суставы гонорят». Сам то и дело подмигивает. Домовой был насчет этих делов! Но вот, слышь, жениться он ни за что не хотел. «Э, скажет, то ли дело — свобода: одно слово, Акулька, вздохни!»

Слушай, теперь пойдет история такого рода. Сейчас Антошка примется ворочать делами как следует. Ты, Сенька, спишь или нет?

— Где же? посмотри.

— Полюбилась Антошке одна девка на селе, по имени Апроська. Девка красивая, толстая, но маленько с придурью, так немножечко. Тем больше понравилась она ему, что толста была. Подбрюдок висел у ней, словно у кормной свиньи; а ходила разваливалась: ступень давала ровно по рублю. Привычка у ней была такая: станет, бывало, у своих ворот, возьмется за брюхо руками и бацит: «Чу-ух, чух, чух...» И такая незамайка. Подойдешь к ней, скажешь:

— Апроська!

— Чего?

— Ну, ничего.

Завернется, пойдет.

Я, братец ты мой, был сердит на нее за то: как-то зимой мы с ней молотили рожь; я по колосу, она по поясам. Молотили, молотили, она как ожжет меня по лбу цепинкой. Месяцев шесть шишку носил! Вся в матушку свою родимую. Мать ослопина изрядная была. Я тебе расскажу, каковы эти люди дочка с матушкой: обе разини такие, что сказать не хочется. Года с два назад в нашем селе случился пожар. В Апроськином доме сидела одна ее мать, качала ребенка. Когда пожар начался, Апроська пришла с пруда домой, вправо, влево поклонилась (любимая ее ухватка), поздоровалась с матерью и затягивает не спеша:

— Матушка.

— Чего?

— Горят.

— Где, дочка милая, горят?

— Да Николаевские горят. (А Апроськино село и есть Николаевское.)

— Ну, господь с ними, дочка любезная.

Апроська и ушла на двор рубахи вешать.

На селе крик раздается, все гамят: слышно, пожар недалеко от Апроськина дома. А ее мать сидит и шепчет: «Шум какой... поди ты!..» Опять дочь приходит в избу. Мать на прежнем месте шепчет по-прежнему: «Дела какие... Оборони господи...» Апроська говорит:

— Матушка, горят.

— Чего?

— Горят.

— Да где, дочка милая, горят?

— Да Миколаевские горят.

— Да чего Миколаевские горят?

— Да как чего?

Насилу встала мать; пока обрывок снимала с ноги, пока иглу в голову втыкала, Апроська успела куда-то пропасть. Выходит в сени, дочь ей навстречу. Стали они в сенях друг против друга, смотрят одна на другую и начинают. Сперва дочь (на селе голоса раздаются):

— Матушка!

— Чего?

— Горят.

— Да где, дочка милая, горят?

— Да Миколаевские горят.

— Да чего ж они горят?

— Как чего? Не видишь, дым в сенях?

Вдруг над ними обрушилась повесть и на голову огонь посыпался. Вот тебе горят! до чего дотолковались. Мать маленько еще поглупей будет дочери. Ты заметь, что Апроськи теперича вживе нет; она скончалась давно; потому осуждать ее я не хочу, бог с ней! Но что глупенька была! Насчет же красоты девка добро. Вот и полюбилась она Антошке. Сама, впрочем, Апроська не думала его любить. Антошка, невзирая на то, принялся ухаживать. Лишь где увидит ее, подскочит и начнет ублаgotворять балалайкой, песенкой, рассказами разными. Девка в это время, известно, смотрит куда-нибудь в сторону или наземь. Потом слушает, слушает его и брякнет: «Не дури; бачке скажу...» И отвернется. «Что за диво такое? — думает Антошка.— Я к ней всей душой, жить не могу, а она, как дерево; может, подарков хочет?» Принесит ей подарков: ленты, пуговицу там — нет! Замечает, девка пуще дичится, даже встречаться боится, наконец вовсе не показывается. Иногда выйдет на крыльцо и опять скроется. Антошка будто призадумался.

Наступила весна. Сельские девки показались на лугах, на пустырях: явились хороводы. У нас хороводы бедовые бывают. Апроська с девками гуляет, Антошка тоже. Пошли игрища всякие. Антошка своего дела не бросает. По-прежнему прибаутками потчует Апроську. Иной раз среди игры, словно не нарочно, насунется на нее. Смотрит, девка снова заартачилась. «Что за оказия такая?»—рассуждает Антошка.

Дальше Апроська и в хоровод бросила ходить. Заревует у своего дома на завалинке с шитьем в руках, штопает и поет про себя басом: «В той кузне молодые кузнецы куют, дуют да наваривают». Долго ли, коротко, Антошка порешился вот на что: он принялся подсиживать ее. Где ни на есть в канаву заляжет или возьмет под скирдами притулится. Больно, стало быть, в любви захотелось изъясниться. Уж он вчастую отзывается о ней: «Эх, девка-то прелесть!» Подсизживал день; другой — не показывается Апроська. Что ты будешь делать? «Погоди же, думает Антошка, я тебя подкараулю в другом месте; у тебя же на дворе. Ах ты дерево проклятое!»

Дом Апроськин стоял на горе с краю слободы. Той же весною, поздно ночью, Антошка забрался к ней на двор. Перешагнул через плетень, обошел закуты, высмотрел кругом и стал под навес в угол, где лошадиная сбруя вешалась. Темь была, глаз выколи. Антошка, одначе, поместился так, что мог видеть избенную дверь. Он надеялся, что в нее выйдет как-нибудь Апроська за каким ни есть делом. Стоял он долго: не видать ничего, не показывается девка. Вдруг около двора что-то затрещало, заскрипели ворота, и на двор въехал на телеге мужик. Антошка про себя говорит: «Ну, кого-то привалило». Это был Апроськин отец. Он слез с телеги, отпряг лошадь, снял хомут, взвалил его на плечи и идет к тому месту, где стоял Антошка. Антошка видит эту церемонию, только не знает, куда скрыться. Мужик поднял над ним хомут и пялит на голову, думает, что на крюк вешает. Антошка как ударится бежать мимо мужика, мимо плетня, да в ворота и исчез. Вот тебе премудрость.

Мужик хомут уронил, разинул рот, растопырил руки, не понимает. Постоял, покачал головою, сотворил крестное знамение, плюнул и стал размышлять: «Кто, мол, это такой? Нечистая сила? Нет, господи спаси. Вор? Нечистая сила? Кто же это?»

Хомут лежал на земли, лошадь шлялась по двору. Пришедши в избу, мужик долго сидел под иконами. повся голову. Все домашние с изумлением смотрели на него: бледный сидит; шепчет про себя. «Не помешался ли?» — думали они.

Жена подошла к нему, дернула за рукав и сказала:

— Захарыч, а Захарыч, опомнись!

Он вздохнул и объявил:

— Так и так. На дворе у нас невесть что завелось.

— Что ж такое завелось?

Призадумались домашние. И так и этак прикладывали умы свои — ничего не выходит. Апроська лежала на печи, себе прикладывая ум — тоже ничего не выходило.

Немало мужики растабарывали промеж себя касательно, что на дворе не чисто. Заключение же тем: вор приходил — кобылу свести. Однако у образа свечу поставили и помолились на сон грядущий крепко.

Наутрево, после своей прогулки-то, Антошка, как ни в чем не было, сажал на своем огороде капусту, бегал с ведрами на реку. А после обеда поехал с дьячками на крестины в приход. Дьячков он любил: часто обнимался с ними, цаловался, хоть заочно и называл их долгогривыми жеребцами. Когда Антошка ехал с дьячками в приход (у нас пятеро дьячков), то на телеге тряся пуще всех и выдвигался, будто каланча; обычай они все имели дорогой кнутиком собак дразнить. Ежели теперь слышишь на улице особенный брех, то знаешь, что это едут дьячки с Антошкой. Легонько на крестинах подвыпивши, Антошка ручался перед компанией, что он может комаринского пробежать, в случае, как позволит ему отец Александр, — то есть даст свое, примерно, благословение. Но мужичок-хозяин отклонил его намерение, объяснивши, что новорожденный чуть жив, не до комаринских... «Ты пляши, говорит, да разум помни, Антошка. Тутось не девки тебе попались». И озадачил его. Антошка притих. После с сердцов говорит себе: «Уж ежели так, — значит, девками попрекать стали, затешусь же опять к Апроське, я ей дам».

Пришел май месяц. Мужики выбрались на дворы спать. Антошка знал это и, наверное, рассудил, что пора поспешить Апроську посетить; потому надо проведать, где она спит? Апроськины домашние спали кто где попало.

Теплою, погожею ночью Антошка при первом куро-

глашении появился на Апроськином дворе. По обычаю, выглядевши все вокруг себя, зашагал он под навес, как словно дворной, что лошадям косы заплетает. Ночь была ни светла, ни темна: звезды горели, месяц не восходил, — знаешь, майские ночи. Перевел Антошка дух, недалеко, слышит, храпенье распространяется. В соседней закуте едят лошади корм, едят, едят да вздохнут. Антошка стоит себе, вздохнет: «Дескать, эхма! шутка ли, забрался куда, в какую погибель! Ну, вдруг проснется кто, увидит? На месте уколотят». Мужик относительно сего безмилосерд. У нас в селе, знаешь, случай был: столяр увидел в сарае свою жену с холопом. Холоп и жена стояли спиной к столяру и не видали, как он подкрался к ним и посадил обоих их на вилы. «Ну, ежели совершится то же событие? — думает Антошка, — была не была, начну. В главности, подсмотреть должно, где спит дерево Апроська?» А дерево знать не хочет рассуждений Антошки, почивает под навесом. Подошел Антошка к соломе, кто-то лежит; пощупал — борода чья-то. Антошка пошевелил бороду, борода вздохнула и повернулась к нему спиной. Догадался Антошка, что это отец. Приступил к саням: лежит Апроськин брат. Подошел к телеге, запустил руку, пощупал — что бы такое значило? Тронул в другом месте, — ничего. Тронул в третьем — как крикнет Апроська. Антошка драло. Вскричали мужики. Антошка в ворота. «Что за диво?»

— Апрось!

— Чего?

— Что ты кричишь, матка?

— Чего?

— Что ты кричишь?

— Да кто-то приходил.

— Кто же это приходил... Господи помилуй. Кому приходиться в такую пору? кому приходиться? Феноген, а Феноген, — говорил своему сыну отец.

— Что, бачка?

— Слышь ты, что скажу: мякаю я, словно то есть у нас на дворе-то не чисто, а?

— Не знаю, бачка.

— Право слово, не чисто. Не чисто, говорю я. Соберайте-ка зипуны свои. Право, что-то... Пойдемте в избу. Господи! за что такая немилость? чем прогневили тебя, создателя?

Как встрепанные, все встали, собрали зипуны, кафтаны, сбились вместе и побрели боязливо по двору. Идут, прижимаются друг к другу, творят крестное знамение. Гроза будто на небе зашла и разыгралась. Испугались сердечные мужики. «В грозу, дескать, страшно спать на дворе... пойдём в избу... помолимся иконам... Авось пройдут тучи-то... Ишь как молния-то сверкает! Господи защити!..»

Да, братец мой Сенька, жуть была в ту пору во всем нашем селе. Всем ведь втемяшилось, что к Апроське летает змей, не кто иной. О-о-хма! бывают на свете дела, тяжкие дела, Семен. Может, такие люди свыше насылаются, как Антошка, почем знать? На белом свете много чудес и таинств совершается. Иногда мне жалко становится Апроську, и оченно: пострадала она, бедная, на своем веку.

Прошла ночь. Мужики, только солнце взошло, явились к нашему священнику, рассказали ему все, что случилось ночью. Апроськин отец как плакал! Говорит: «Батюшка! За что такая невзгода?»

Антошка забыл думать о своих путешествиях. Раноранешенько он с бабами прогонял в стадо скотину. А когда мужики пошли к священнику, в это время он сидел на солнышке у своей хаты, поглядывал на поповский дом и зубами колок на балалайке вправлял: стало быть, приготавлился разыграть что-то.

Пред обедом дьячки с стихарями, с книгами, с кадилами тронулись в Апроськин дом. Шуму довольно было: на улице барщинские мужики остановили лошадей с возами, снимали шляпы. Антошка, не будь дурен, оделся, схватил палку в руки и с дьячками побрел. Дорогой Пузину дьячку, у которого он купил шенка, рассказывал в смех, как некоего села дьячки подрались меж собой и как одному из них вырвали бороду. Эту бороду обиженный словно представил в консисторию при своем прошении и надписал внизу: «В удостоверение бесчинства прикладывается борода. Сию бороду выщипал пьяница, который обесчестил меня на крестинах».

— Ну,— говорил Антошка хозяину,— теперь у вас будет все благополучно. Помолились знатно!

Мужик зарыдал, послушавши эти речи.

Антошка сказал: «Не плачь. Видишь ли: помолились мы... следовательно, что ж тут? И разговаривать нечего: ведь заступница-то, она, брат, того... спасает; а твое дело, вестимо, правое».

За обедом Антошка советовал двум дьячкам затянуть погрустней, как можно: «Зряща мя безгласна».

На пиршество смотрел народ, стоял у дверей избы.

Пообедавши, причт поблагодарил хозяина, пожелал Апроське благополучия и вместе с Антошкой отправился домой.

Неделя миновала. Змей, кажись, призатих. Домашние Апроськины долго не ходили спать на двор, кругом заперались; но с Ильи-пророка начали спать и на дворе. К Апроське на селе боялись приступить. Ежели же кто приступал, то обходом, стороной, вглядывался в нее и отходил прочь. Посмелей человек заводил с ней разговор: «Что, мол, змей-то обширен?» Апроська стояла и косилась.

Однажды перед вечером приходят к Апроськину отцу два мужика: один мельник, другой простой мужик. Говорят: «Что, Петрей, как поживаешь?»

— Плохо, братцы, плохо. Наказал меня бог: ни одной ноченьки покойно не засну.

— Знамо, житье такое скверно; хотя, конечно, всякий может согрешить. Только мы, видишь, пришли к тебе по делу. Поставь-ко нам сивухи на стол, мы с тобой потолкуем.

Апроськин отец достал водки. Мельник слыл у нас за знахаря.

— Вот дело какое,— заговорил мельник.— Рассуждали мы немало о тебе. Можем мы тебе сказать одно: ты подлинно наказан есть от бога; ты согрешил перед ним здорово!.. В хате у тебя кто-нибудь есть?

— Как же.

— Гони вон.

Апроська с матерью вышли из избы.

— Слушай, Петрей,— заблаговестил мельник.— Сказать, кто к тебе ходил?

— Ума, батюшка, не приложу. Полагать нужно, нечистота какая-нибудь. Известно, люди мы безграмотные: может, еще что шлялось.

— Нет, ты скажи мне: как зовут твою дочь? Апроськой?

— Апроськой.

— Так я тебе говорю: к твоей Апроське ходит не змей, а домовый... Слушай дальше: ежели же не домовый, то беспрременно дворной...

— Так, батюшка...

— Ну-ко, давай водки-то, не жалей. Объясню тебе еще притчу: девки существуют различные, какова натура: натуры тоже бывают различные. Поэтому Апроська Апроське рознь и девка на девку не находит...

Охолостивши водку, мельник поднялся с места и сказал Петрею:

— Мотри же, не забудь, что я тебе толковал...

Мужик простой-то, что приходил с мельником, при выходе говорит Апроськину отцу:

— Ты понял, что тебе говорили? К твоей дочери приходил не змей, а домовый... Видишь?

— Вижу.

На пяту никак ночь, после Ильи-пророка, Антошка появился снова на Апроськином дворе. Забава эта была не широка. Он много не стал думать, раздумывать: прямехонько-таки подлетел к телеге, в которой спала Апроська, охватил ее за оглобли и повез долой со двора — в конопляник. В эту минуту встрепнулся Апроськин брат.

— Бачка, бачка,— крикнул он.— Девку увезли.

— Увезли?

— Увезли.

— Пошел!

Подбежали к воротам, телега на боку стоит, завязла между кольев. А Апроська в ней дрыхнет.

С надворья же, поодаль от конопляника, в анбарчике такой стук раздается, словно барабан гудет. Подступили мужики, глядят: дверь приперта колом (это Антошка припер Апроськину мать). За дверью баба кричит: «Отприте, Христа ради». Думают мужики: «Вон как! стало быть, значит, заточил бабу наглухо!» Сам Антошка, как слышал гомозню, пробрался через конопляник и был таков.

Пришли мужики в избу. Начался суд.

Что, мол, теперь делать? Как быть? Просто издыхать остается, боле ничего. Откуда такая пропасть?

— Бяда,— говорил сын.— Пропадешь, как червь капустная.

— Сгибнули совсем. Что ты станешь делать? Ах ты, тварь оглашенная! Ни единого часу нет спокойствия: то есть на волос забыться не дает.— Что теперь делать?

— Послушай, бачка,— объявил сын.— Надо безотменно ехать к ворожее: не замай ее осмотрит девку. Докуда мучиться?

— К ворожее, — крикнул отец. — Запрягай лошадь!

Апроська с матерью в ту пору входили с надворья в избу, глаза прочищали.

Почесть немедля мужики собрались и поехали к ворожее. Утро покуда не наступало. В Апроськиной хате горел огонь; в ней сидели дочь с матерью. Они молча смотрели друг на дружку; мать зевала и почесывала в голове. Только Апроська запеваёт:

— Матушка!

— Чего?

— Куда это бачка поехал?

— Не знаю, милая моя. О-ох!

— Змея искать?

— Кажись, что так: змея искать...

— Вот!

Поглазели маленько и завалились спать. До солнца дрыхнули.

Как скоро мужики стали упрашивать ворожею лечить девку, она, братец мой, не на шутку запировала, — вскричала на них: «Вы, говорит, крещенные или нет? Зачем я пойду к вам? Да меня змей тогда закатает до смерти!» — «Не оставь, родимая, — твердили мужики, — не дай погибнуть». Вечером, набравши с собою горшков, трав, ладану росного, она приехала в Николаевское.

Апроськин отец приказал домашним своим по двору разостлать соломы и холст протянуть, чтобы по нем пройти ворожее. Ворожея повидалась с Апроськиной матерью и принялась по столу припасы раскладывать. У образов, как водится, зажгли свечу; Апроську вывели на средину избы. Тут собралось сельское начальство: бурмистр, староста, приказчик. Тоже ребяташки нахлынули со старухами и девками. Апроська осматривает всех. Ее посадили на лавку и под лавкой затопили в горшке ладан; пошло лечение. Народ наблюдает, как ворожея орудует. Приказчик в картузе стоял и поплевывал назад, нередко попадая в бороду бурмистра. Он любопытствовал спросить у мужиков: видела ли Апроська змея и кто он такой? Ворожея ему сказала, что, ваше благородие, видеть змея человеку нельзя, ибо он есть дух. Приказчик с носом и остался, закурил трубочку. — К Апроське ворожея подбегала то с пойлом каким-то, сама все губами нашептывала, то с куреньем. Чад в избе подняли. Мать стоит у прито-локи, спрашивает Апроську:

— Ну что, дочка милая моя, каково?

— Теперича легче,— отвечает Апроська.

— Как же можно,— прибавляет ворожея,— много помощи приносит...

Мать подойдет, погладит девку по голове.

Одним словом, через полторы недели Антошка опять забрался к Апроське. Ровно в полночь настужь растворил ворота, впрягся в сани (девка в санях спала) и повез их по двору. Так развадился путешествовать.

— Бачка!— гаркнул сын.

— Что? что?

— Вставай! Увезли.

— Увезли?

— Так точно.

Сани очутились уж близ конопляника. Мужики прибежали, глядят: в санях сидит Апроська, глаза кулаком чешет,— прислушались кругом — ничего нет.

— Апрось! кто тебя увез?— спрашивают.

— Змей, бачка.

— Так, бачка,— сказал сын,— это его работа; кому ж больше?

Отец, будто полоумный, смотрел на сына с дочерью. Пришедши в избу, он сел на коник, схватил себя за волосы и заголосил:

— Господи! когда ж будет конец всем этим мукам? Жизни сейчас лишусь я; подайте мне оружие. Спать мне не дают; потому глаз сомкнуть нельзя!

— Бачка, остепенись; послушай меня,— заговорил сын.— Коли на то пошло, сию минуту надо ехать к начальству, прямо к становому.

— Ей-же-ей, к становому! — сказал отец.— То есть к становому! Скорей седлай поди лошадей.

Еще первых петухов не было, как мужики, снарядившись в путь, отправились в деревню Быковку к становому. Апроська с матерью заперли за ними двери и легли спать.

Становой любил уголовные дела: так и возрадуется, бывало, как скажут ему, что там-то один другого зарезал или кнутом засек. Звали его Федор Федорыч; низенького роста, руки длинные, толстая шея.

Но касательно указов, предписаний становой за лихача слыл. Навалиет и ловко и бойко: «По моему, дескать, мнению, то и то надобно, да чтобы про это дело

никто не знал; иначе мне в тюрьме сопреть немудрено...» Привычки у него были такие: ежели, например, сбирался к какому-нибудь мужику на следствие, то обходился с ним ласково, трепал его по плечу и спрашивал:

— А что у тебя в дому, старичок, имущества много? Я, ты знаешь, леший: мне ничего на глаза не вешай.

Когда случай выходил, что в его передней мужичок доставал из кармана деньжонок (известно, мужик копается долго, когда достает деньги; будто о чем-то раздумье его берет), тогда становой обнаковенно курил перед ним трубку, водил себе рукой по макушке и говорил:

— Да ты, любезный, шляпу-то с рукавицами положи на пол: тебе ловчее будет.

Наших николаевских мужиков он принял хорошо: расспросил подробно все и справился, точно ли труды его не останутся без награды? И присовокупил: «Я, братцы, не поеду к вам сам; случай-то пустяшный. Ежели бы убийство...» Однако снабдил их, чем следует: рассказал, каким родом поймать змея, и строго запретил говорить про это на селе.

В обед мужики возвратились. Антошка, гонявши голубей на огороде, видел, как они ехали по улице, и издали снял им шляпу. Становой дал приказание: каждую ночь напролет караулить змея тридцати человекам, да так, чтобы его поймать и на месте уничтожить. «Я, говорит, его впрах расшибу». Затем, никому не болтать про стражу. Вдобавок мужики от него привезли писанный указ нашему приказчику об отпуске на караул мужиков.

Народ, хоть становой и заказывал не болтать, живо пронюхал его указ. Да как не пронюхать? Вечером Антошка первый пришел к дьячкам и говорит:

— Господа! не угодно ли кому со мной на караул отправиться? Становой дал приказание змеев уничтожать.

Один из дьячков согласился. В сумерках, после скотинного вгона, они вместе с толпами крестьян двинулись к Апроськину дому. А туда набежало народу — ужась. На дороге по селу девки, бабы шныряют. Кричат:

— Акулька!

— Ау-у-у!

— Погоди меня, погоди.

— Матрешка, куда бежишь?

— Ох, matka; чудеса бегу смотреть. Говорят, становой змеев наловил.

Антошка с дьячком пришли к Апроськину дому. Народу видимо-невидимо вокруг двора; пушкой не прошибешь. Кто просто глазееет, а кто уж посылает за водкой.

— Что, касатка,— тараторят бабы,— говорят, змей-то шестиглавый?

Стража началась поздно сумерками. Караульные, выслушав указ станового, устроили дело так: они воздвигнули по дубине на плечи, приказали народу расступиться, потом с божией помощью вывезли телегу на улицу на средину дороги между конопляником и стали класть в нее девку — для приманки. Становой дал на это особое приказание: «Положите вы девку на ночь с тою целию, чтобы змея приманить, и не болтать никому про мое распоряжение, не то, говорит, я вас!» Апроська видит, обступили ее мужики с дубинами, возмечтала, что ее убить хотят. Шум подняла. Ее кладут в телегу, а она кричит: «Батюшка, заступись!» Мужики над ней стоят и говорят: «Лежи, девка, становой велел...»

Около полуночи мужики говорят: «А что? чай, не ладно торчать с дубинами среди дороги? Змей-то не с ума спятил, чтобы полетел тебе прямо навстречу». Один за другим, разбрелись по сторонам; человек пятнадцать затесались в коноплю и всю ее переломали. Остальные разместились обapol двора под навесом. Антошка также в числе караульных был. Он с дубиной гулял по двору: от нечего делать забежит в избу бражки попить, закурить трубку, а то подступит к Апроськину отцу и скажет: «Вот так-то, братец ты мой, вдревле оный змей свирепствовал в пустыне!» Мужик вздохнет крепко-прекрепко, индо слезы навернутся. Антошка выйдет наружу, постучит дубиной по воротам и грянет: «Слу-ша-а-а-ай!» А там вдальеке ему отвечают: «Подсматрива-а-а-ай!»

— Да цела ли девка-то? — крикнет Антошка.

Пойдет смотреть. Запустит в телегу руку, словно в огурцы, и скажет: «Цела!» Потом запятит снова: «Слушай!»

Так минула ночь.

Утром мужики едут к становому с отчетом.

— Ну что, как? — спрашивает он.

— Все благополучно, ваше высокоблагородие.

— Мелодцы! А змея не видать?

— Нет, ваше высокоблагородие, не видать.

— Отчего же?

— Да не можем знать. Кто его знает?

— А приманку кладете?

— Как же, ваше высокоблагородие, кладем. Уж и бог его ведает... Мы и «слушай» кричим изо всей мочи, и «подсматривай».

— Ну вот и вышли невежи. Разве можно такую птицу пугать своим зёвом: «слушай» да «подсматривай»?

В следующую ночь «слушай» и «подсматривай» не кричали, тихо было.

Таким образом, стража продолжалась аккурат месяц. Апроська не на шутку исхудала, сердечная.

Вдруг от станового приезжает верховой с объявлением: «Приманку не класть в телегу... Глупо класть приманку в телегу, тогда как... змею все равно: с приманкой ли телега, или без приманки, сиречь пустая она или с приманкой, значит с Апроськой. Не разберет ночью».

Приманку отменили. А Антошка бросил ходить. «Дурак, говорит, я, что ли: стану без приманки шляться?»

Тем дело и кончилось.

НОЧЬ ПОД СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

По заведенному исстари обычаю во всех селах ночь под светлый день проходит без сна, в сборах к празднику. С вечера в каждом доме затапливаются печи и вплоть до заутрени идет стряпня. Так как заутреня начинается очень рано, то с вечера же народ одевается в праздничное платье. Всякий мужик долгом считает обуть хотя старые, но во всяком случае вымазанные дегтем сапоги; бабы надевали расписные понявы; парни — красные рубахи. Старушки принаряжаются для светлого Христова воскресенья в темные растегаи, купленные на ярмарке, в новые лапотки и снежной белизны платочки, драгоценные для них тем, что они же самими старушками предназначены препроводить их на тот свет.

С закатом солнца окрестные деревни и слободы пустеют. Народ с куличами, пасхами отправляется на ночь в приходское село. В церкви, до благовеста колокола, обыкновенно читают жития святых и чудеса разные; туда стекаются богомольные и желающие провести время в благочестивых размышлениях. Большая часть людей идет в дома своих знакомых.

Часов в восемь вечера сельская улица наполнена народом. Во всех окнах светятся огни. Около слобод поповской и дворовой толпятся мужики, дворники, приказчики, лакеи. Где просят ночевать, поздравляют с праздником; где предлагают услуги, расспрашивают о здоровье и проч.

— Наше почтение Савелью Игнатьичу. С наступающим праздником имею честь поздравить.

— Многолетнего здравия, Петр Акимыч, Лукерья Филипповна!.. Авдотья Герасимовна!.. Что? и вы к заутрени жалуете?

— Да-с; и мы...

— Дело... Вот и я с супругой тоже. Нельзя. Вся причина праздник обширный...

— Не знаете ли, Савелий Игнатьич, где бы мне переночевать с семейством?

— Право слово, не знаю. Мы с супругой у отца дьякона. Да вы попробуйте, спросите вон в кабаке: теперь там просторно...

— Как можно...

— Ей-богу! Да что ж вы думаете? Да мы с супругой, я вам скажу, раз в конюшне ночевали...

Кто-то ведет в темноте даму.

— Ко мне, ко мне, Марья Павловна, пожалуйста. Сюда. Лужицу-то пересигните...

— Куда это?

— Прямо! Валяйте!..

— Сигать?

— Сигайте...

— Темь какая, господи... У-у-ух! Ну!..

— Что, втесались?

— Втесалась...

— Да где ты, Настя? — кричит какая-то женщина.

— Я? вот...

— Иди скорей. Пойдем. Или ты не видишь, повсюду лакеи шляются? Как же можно одной?

— Он, маменька, ничего...

— Кто?

— Лакей... барский. Он только говорит: Христос воскрес!

— А ты?

— А я говорю: воистину.

— Ну, и дура за это... вот тебе и сказ!

В дьячковском доме, при свете ночников, хозяйка с засученными рукавами переваливает с боку на бок на столе тесто. Ее крошечный сынишко, весь в муке, стоит на полу и смотрит на нее, чего-то ожидая.

— Рано, голубчик, — говорит дьячиха. — Ни свет, ни заря... Бог ушко отрежет...

Мальчик кладет в рот палец.

Дьячку, сидящему за церковной книгой и тихонько напевающему: «Тебе на водах»; дочь заплетает косу.

В кухне священника, напротив пылающей печи, молодой работник с молодой работницей изо всей мочи щип-

лют кур и поросят, так что животные даже по смерти своей издают писк.

— Пойдешь к заутрени?— спрашивает работник, обдирая ухо на поросенке.

— Неколи... Я бы пошла.

— Так к обедни.

— Приду к обедни.

Земский примеривает только что принесенный сюртук. Портной осаживает полы, самодовольно встряхивает головой и говорит:

— Графу не стыдно надеть... Какова работа!

Земский ухмыляется. Он хочет показаться жене.

Земчиха в другой комнате снаряжает бабу в амбар. Она говорит ей, доставая из-под платья ключ:

— Сходи ты, любезная...

— Варя,— перебивает земский,— погляди-ко, хорошо?

— Пошел ты отсюда! затейник...

Земский идет назад обескураженный.

В конторе идет спевка. Лакей, с тростью в руке, стоит перед толпою крестьянских ребятишек и задает им тон, делая своим голосом раскаты:

— Го-го-го-тр-р-р-тон-тон-тон... Начинай! ну?

Ребятишки разевают рты. Лакей взмахивает тростью; певчие от страху жмурят глаза.

— Трогай! Яко-о-о-да царя-я... всех поды-ы-ы-ы... ну, что же вы? начинай!

Мальчишки пыхтят.

— Качай! Я-ко-о-о-да царя-я-я... Ну, я опять дам тон: го-го-го-го тр-р... нет, погоди! лучше пойти хворостину принести...

В небольшой чистой горенке, устланной свежей соломой, стоит перед образами хорошенькая вдова. Перед образами висят голубки, разноцветные лампы. Вдова вздыхает. У ней слезы на глазах.

— Можно ночевать?— раздается под окном голос.

— Кто это?

— Я, я, Таюша!..

Входит краснощекий парень; сапоги новые, шляпа новая с пряжками и зелеными перьями...

В хате птичницы с чашкой воды стоит баба перед закутанной печью, в которой шуршит и треплется веник.

Веник замолк. «Откутай!..» — кричит кто-то умирающим голосом...

Горница приказчика блистает огнями. Красный от бани приказчик пьет чай. В передней чистят сапоги. Хозяйка перед зеркалом убирает голову.

— Филимошка! — возглашает приказчик.

— Чего?

— К заутрени не ходи.

Чистка сапогов прекращается.

Входящая работница доносит:

— Кучер Феноген приказал спросить, можно ли ему идти?

— А лошади с кем останутся?

— Мужик Лаврентий вас спрашивает.

Входит мужик.

— Что?

— Заступитесь.

— Ведь я тебе сказал... Дурачье вы!

— Петр Прохорыч, ради светлого Христова воскресения...

— Пошел вон!.. Чтоб я видел...

— Петр Прохорыч, помилосердствуйте! у меня дети...

Батюшка!..

— Эй, гоните его!.. Живо! эй!

Мужика выгоняют.

— Ишь каналья, мерзавец!.. Ему в солдаты не хочется... Вас, грубиянов, не давить, толку не видать...

— Он вас обругал!..— донос раздается.

Приказчик стоит, как врытый. Он вдруг накидывает на себя шинель, захватывает что-то в углу и бежит из дому. Ему вслед мигнул Филимошка, державший сапог в руке.

— Не слыхала, Прасковья Федоровна, новость? — говорят на улице старухи.

— Какую?

— Будто ноне после заутрени начнется светопредставление...

— Неужели?

— Да, матушка.

— Это верно-с,—подхватывает мещанин, взявшийся откуда-то.— Потому опосле заутрени подымется самая трагедь...

— Да ведь что, родная? сказывают, сейчас бесы пробежали у скотного двора... какое стадо!

— А что, курочки-то у тебя хорошо несутся?

— Плохо...

Скоро десять часов; говор на улице утихает.

Дом священника битком набит народом. Столы и лавки завалены узлами, пасхами, писаными яйцами.

По стенам сидят дворовые девки, приказчики, лакеи и пр. В кухне, смежной с горницей, в разных положениях, на полу, на печи, на кониках лежат и сидят мужики. В горнице пахнет пирогами; потому что целое решето пирогов проносит попадья. Она на дороге останавливается перед сонной купчихой и спрашивает:

— Вы не хотите ли вздремнуть, Аграфена Карповна?

— Нет-с... я уж дождусь заутрени.— Купчиха почесывает под мышками у себя и закрывает глаза.

— А то возьмите подушечку.

Купчиха не отвечает более.

Один из лакеев тоже вздремнуть предлагает девкам. Девки поднимают его на смех. Он упирается затылком в стену. Другой, рядом сидящий, вытянув ноги, поет про себя: «О, любезного, о, сладчайшего твоего гласа». Третий лакей шевелит лучиной под лавкой: начинается такой шум, хохот, крик гусынь, что из спальни выходит священник и просит кричать полегче. Ему говорят, что это гусыни взахались перед заутреней.

Напротив двора, в углу, мещанин рассуждает с другим мещанином о том, что надобно уметь пить; а то опиться недолго,— и приводит много несчастных примеров. Его собеседник не без хвастовства говорит:

— Мне, Иван Тихоныч, господь бог дал такой ум, что я теперь с ведра не захмеляю.

— А у нас, господа, прошу прислушать,— начал худошавый башмачник,— один лакей у своего барина (лакеи наострили уши) выпил бутылку и проглотил рюмку...

Лакеи вступают с башмачником в спор. Священник снова выходит из спальни, чтобы прекратить шум. Его просят быть посредником и разобрать дело.

В кухне разговоры не менее оживлены. На печи один парень рассказывает сказку про Ивана-царевича. Его слушает много народу, облепивши печь кругом.

— Меньшаго,— говорит парень,— звали Иван-царевич. Повадилась в их сад летать жар-птица и клевать золотобрез-яблоч...

На конике, окруженная толпою баб, сидит в белом платке разутая девушка Мариша, как сказывают, поме-

шанная на любви к барскому сыну. Ее расспрашивают, чем она кормится? Мариша, утираясь концами черной шали, отвечает:

— Где поиграю, попляшу... Петь-то ничего: вместо стихов... Купцы в Ахремове надьсь три копейки мне дали.

— Ну, а родные-то твои? постой... что ты толкаешь...

— Ты спроси ее про любовь...

— О, выдумала!.. А родные-то твои желанны до тебя?

— Снохи нароют картофелю и от меня прячутся... Я сплю в клетки... (Молчание.) Мне помещица вуаль подарила; все девки на него смеются.

— погоди, ты не умеешь!.. Дай-ко я спрошу... Вишь, она вовсе глупа... А в селе-то, Мариша, любят тебя?

— Да старостины ребята всё колотят. Как праздник, так беги вон из деревни... пьяные бьют. Наши мужики шулки-то не принимают. Нешто где они что видели? Все как бы подраться. Я в монашки пойду. Говорят, на мне младенческая.

— Посторонитесь! — говорит поповская работница, держа плиту с жареными поросятами.

Народ расступается.

— Важно запахло!.. — замечает с печи мужик.

— Да-а... — присовокупляет другой. — Ведь подумаешь, братец мой, праздник-то; оттого-то он дорог, что еда прекрасная... А уж как у этих попов жрут сладко!..

— Ну, у приказчиков лучше. У тех еда царская... в десять раз лучше поповской... Одно слово, трескотня здоровая!

— Что ж им?

Под иконами старуха говорит про смерть своего сына-ратника.

— И там народ, и по ту сторону народ. Я кричу ему: «И где ж наш-то соколик белый?» А он, касатка моя, руку вот так и приложил к ланите. «Что ж, умер, что ли?» он рукой и махнул!

В детской комнате происходят уборы. Дочь священника, невеста, в коротеньких юбках, приготавливается надевать розовое платье. Ей хотят помочь дворовые девки. Попадья снимает с себя повойник. Двое мальчиков семинаристов, одетых в новые казакины, выбирают из лукошка красные яйца. Они пробуют их об зубы и говорят: «Давай биться»; семинаристы бьются, и одно из яиц трещит. Все так заняты работой, что никто не замечает, что в углу

сидит в темноте лакей, жадно впившийся глазами в поповскую дочь. Он в руках для виду держит молитвенник.

В спальне, при свете лампы, в полудремоте сидит приказчик с узлом, рядом священник; поодаль, в стороне, в черном одеянии — монахиня. Монахиня приказчику рассказывает про чудо св. Макария.

— И сидит перед двумя монастырями бес, — прости меня, господи, — и дремлет. Идет Макарий. — Что ты дремлешь?

Приказчик вздрагивает и открывает глаза.

— К заутрени скоро, — говорит монахиня, — двенадцатый час... Ну, а что вы говорили насчет равенства, то оно будет при конце мира, не ранее... Тогда, по писанию, сын не будет знать отца, раб — господина и запустеют церкви...

Приказчик всхрапывает и ухом не ведет насчет равенства.

Мало-помалу в доме священника становится тихо. Лакей угомонился; разговоры замолкли, народ по большей части дремлет и спит. Петух запел на дворе.

— Эй, вставай к заутрени... благовестят!.. — раздаются голоса.

В самом деле, к заутрени заблаговестили. Будят сонных; поднимается суетня. С полатей, с печи слезает народ. Со стола разбираются куличи. Повсюду говор. Шумят накрахмаленные платья. Священник с палкой выходит из спальни. Все спешат за ним. В опустевшем доме никого не остается, кроме работников.

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА

I

При черепахинской аптеке есть все удобства: есть подвал, в котором хранятся химические и фармацевтические препараты; чердак для трав, комната для посетителей; есть даже лаборатория, где изготавливаются decoкты, припарки, сиропы, а иногда — яичницы.

Черепашинский приказчик чрез каждые два месяца извещает своего барина, живущего в Москве, что аптека стоит благополучно на прежнем месте, рассыпает дары своих щедрот на недужных и в соседях помещиках возбуждает зависть.

Как всякое полезное заведение, сельская аптека была с радостью встречена народом. В день ее открытия в Черепашино наехало множество телег с калеками, параличными, кликушами — и благотворительное заведение, будто Овчая купель, кругом обложила больными. Много добра было сделано в этот день. Фельдшер (дворовый человек, учившийся в московской фельдшерской школе) осматривал больных, делал операции, становил банки, пускал кровь. В полдень два хора певчих пели молебен. Приказчик, в честь торжества, произносил своим мужикам речь, которую слушатели приняли с первых же слов за объявление «вольной» и, волнуясь, зашумели: «Она, матушка!» — но были долго упрекаемы оратором в легкомыслии.

Долго и пламенно молился народ за основателя аптеки: всякий желал ему многих лет, счастья, блаженства на

земле, — невиданное, неслыханное чудо он совершил, выстроив аптеку. Живо в памяти народа ее открытие.

Мысль построить аптеку пришла черепахинскому помещику совершенно случайно. В бытность свою в имении, он задумал за какую-то провинность отдать одного молодого лакея в солдаты; намерение свое он открыл жене, которая советовала ему лучше продать лакея. После небольших колебаний помещик согласился на это; но покупателя не нашлось, хотя лакей имел в себе некоторые достоинства, например умел читать и писать. Однажды помещик, кончив письмо к одному из своих московских знакомых, расходился по комнате, позвал к себе старосту и приказал ему как можно скорее снаряжать подводу и запрягать пару лошадей.

— Кому прикажете? — говорил староста.

— Знай запрягай! — отвечал барин.

— Сколько кормочку приладить?

— Запрягай! — твердит помещик, весь объятый задуманным планом.

Лошадей запрягли, подкатили к барскому дому и посадили закутанного лакея.

— Вези в Москву... вот тебе письмо к его превосходительству. — Слава богу, — уладив дела, говорил помещик, — кабалу свалил! Теперь я знаю, что делать: у меня все рты разинут, что я устрою в имении!..

— Куда это везут, Степанида Ивановна? — спрашивала на сельской дороге одна женщина другую, видя, как неслась подвода с лакеем. — Уж не в солдаты ли?

— Нет; говорят, в московскую цирюльню, в доктора...

Через месяц черепахинский помещик получил из Москвы письмо: «Ваш лакей Андрей принят в фельдшерскую школу. Прилагаю вам устав о приеме, содержании, образовании и выпуске фельдшеров».

Прочитав письмо и поблагодарив своего знакомого, помещик стал читать устав, в котором говорилось: «При избрании питомцев в школу должно обращать особенное внимание, имеют ли они здоровое телосложение и достаточные умственные способности».

— Все это Андрюшка имеет, — воскликнул помещик и бросил читать устав. — Дай-ка ему образование-то: это выйдет законодатель!

В скором времени помещик отпраздновал закладку аптеки и уехал с семейством в Москву.

В одно ненастное, осеннее утро на крыльце аптеки стоял народ. Дверь в аптеку была заперта. Посетители от дождя жались в кучку; некоторые из них садились на лавку, некоторые стояли молча и смотрели на село, где мужики подсобляли на грязной дороге лошадям везти мокрые воза, а бабы насильно гнали скотину в поле.

— Что, не вставал?— шел разговор.

— Не вставал. Вчера, должно быть, воротился поздно. Кровь Захару пускал.

— Захар упал с возу-то?

— Захар.

— Ох, видно немного нам жить осталось. Что-то уж жутко приходит!.. Мертвецы опять стали ходить... За что это господь наказывает?

— Ночью ныне покойник Давыд ходил. Склиницу все с собой держит... видно, от ней помер.

— Собаки, милая ты моя, до зари до самой лаяли, словно ловили кого, и-и-и заливались: мы с невесткой совсем не спали; приложишь ухо к окну, слышишь — ногами хляскает; да вдруг загудет и захохочет, и всё туда... к лесу-то идет...

— Говорят, война подымается.

Шаршавый, худощавый мальчик отворил дверь и впустил народ в аптеку.

В аптеке, не имевшей особенной чистоты и порядка, стояли с стеклянными дверцами шкапы, наполненные штофами, бутылками, банками, мензурками, ступками. На стенах висели картины.

Фельдшер, лет двадцати пяти, в коротеньком сюртуке, причесанный, с белыми воротничками, сидел за столом и вписывал в книгу расходы и приходы по имению. (На нем лежала обязанность помогать земскому.) Близ него сидел, с гармоникой в руках, сельский кузнец, угрюмо глядевший в угол и слегка скрипевший инструментом. Мальчик, помощник фельдшера, у окна делал из тряпич корпию.

Кончив работу, фельдшер раз пять хлопнул пером об край стола, выгибая спину встал, взглянул на посетителей и пошел к окну набить трубку. Посетители приготовлялись говорить свои болезни. Одна баба выступила

вперед, держа на руках ребенка, который, улыбаясь, тянулся к стклянкам.

— Не балуй, Вася... в хоромах разве смеются?— шепотом говорила баба.

Позади толпы, у двери, старуха другой старухе тоже шепотом рассказывала:

— И в живых, ягодочка моя, не чаяла я быть: это — грудь, и ноги, и руки совсем измаяли!.. Только ономеднись, голубушка, стою я, слышу будто глас: «Ты бы, Федоровна, сходила в баню, растерлась...»

— Что пригрезилось...

Закурив трубку, фельдшер подошел к бабе.

— Что у тебя?

— Здравствуй, Андрей Егорыч, как поживаешь? Вот посмотри-ко,— заговорила баба, трогая голову ребенка.

Один из солдат, сложа назад руки, смотрел на большую голову.

— Скрофулезис, — произнес фельдшер, — гипертрофия... поверни-ка сюда: *cortex*росло...

Фельдшер выпустил изо рта дым.

— А отчего, родимый, эти ухабы-то?

— Это *Fossa navicularis*... Да ты тут ничего не понимаешь; что ты спрашиваешь.

Фельдшер обратился к другому больному; но его баба спрашивала:

— А ворковская ворожея, Андрей Егорыч, не так эту болезнь называла.

— Ты что?

— Дедушка ногу расшиб,— начал мальчик, вылезая из толпы и вытаскивая за собою большую шапку, — в лесу березой... дюжо схватило...

— Скажи, чтобы он лошадь прислал сюда; а так я не пойду. — Ты, бабка, опять пришла?

— Вот грудь у меня, желанный... промежду сердца-то, и...

— Я сказал тебе: *tuberculosis*! болезнь неизлечимая.

— Помоги, кормилец!— задыхаясь и держась за грудь, промолвила старуха.

— Ты трефоль пила?

— Я пила тряхволи.

— Ну, когда-нибудь банки поставлю,— сказал фельд-

шер и отнесся к солдатам. Старуха уныло пошла в дверь; ее кашель глухо раздавался за порогом...

— Мне,— начал солдат, надвигая на плечо шинель,— позвольте, Андрей Егорыч, прежнего, то есть, ку... ку... потому — дело оказывается плохо.

— А, по-прежнему? — затягиваясь, спросил фельдшер.

— Еще хуже...

— И мне уж того же,— прибавил другой солдат,— да нельзя ли на минутку одолжить симфончика. И ротный просит этого...

Фельдшер достал из шкапа пузырек с белой мазью, взболтал ее и сказал бабе:

— *Unguentum!* мажь ребенку голову; три раза в день, запомнишь?

— Как же, родимый...

— Смотри, внутрь не дай: вы глупы!

— Глупы, касатик.

— Пропусти-ка меня, бабка, дай достать лекарство.

— Пройди, пройди.

— Ты чем нездорова?

— Сынок у меня болен, соколик мой, четвертые сутки лежит недвижимо: травкой его хочу попоить.

— Что же, Андрей Егорыч, кашицы-то!.. — вскрикнул солдат.

— Сейчас! — доставая с полки лекарство, проговорил фельдшер. — Алеша, да ты сыграй что-нибудь на гармонике, сдействуй: «Что ты, Катя, приуныла...»

Кузнец тряхнул головой и заиграл на гармонике, выделывая разные колена. Получившие лекарства и не дождавшиеся их выходили из аптеки.

Фельдшер закурил новую трубку и опять подошел к оставшимся больным.

— У меня,— говорил хворый, худой мужик,— рана на ноге, Андрей Егорыч... Нельзя ли вам замолвить словечко приказчику, чтобы погодили маленько меня гонять на работу?

Фельдшер обратился к другому.

— А ты?

— Для Захара пришел попросить лекарства.

— А он еще говорит?

— Как же. Говорит: зачем мне кровь пускали?

Фельдшер снял трубку, продул чубук, помахал им по комнате и начал смотреть в его дырочку.

— На что кровь пускали?— спросил он.— У него, верно, голова болит... Васька, принеси проволоку: в чубуке застряло... А ты, Алеша, с басами-то двинь!..

— Однако до свидания!— сказал фельдшеру кузнец, укладывая под мышку гармонику.

— Куда же ты? Да посиди... Скука, брат, одолевает...

— Нет, пойти шкворень поправить.

Мало-помалу аптека опустела. Фельдшер остался с одним мужиком, которому для больного пальца начал готовить пластырь. Мужик глядел, как он готовит, и, между прочим, спрашивал:

— Небось, Андрей Егорыч, в вашей школе трудно было учиться?

— У кого резвые способности — не трудно!

— Каким там наукам учат?

— Всяким. Мы разглядываем у человека внутренности...

— То есть внутри-то? А что, и трубуха у человека есть, как у скота?

— Разумеется! но она благороднее; потому что человек — не скот!

— А вот, Андрей Егорыч, я хотел вам все сказать: нельзя ли вам попросить обо мне приказчика? Видишь, у меня тягло одно; а я правлю за два...

— Держи-ка пластырь-то; мы с тобой до вечера не кончим... Посмотрю я, у вас в голове-то *species pectoralis!*..

В аптеку вошел кучер с кнутом и рукавицами за поясом.

— Здравия желаем, Андрей Егорыч.

— Здравствуй, Семен Титыч,— сказал фельдшер.— Что ты?

— Да наши журавлевские господа просят вас к себе. Несчастье маленькое стряслось.

— Какое?

— Да барыня своей дочке становила пиявки и не сумела — кровотечение крови показалось, так еду за доктором. А в город Ливны опять за доктором поехали, и будет у нас наподобие докторского совещания.

— Консилиум?

— И, к примеру, все доктора будут говорить на разных языках, и мы будем их слушать.

— А не знаешь, отчего кровотечение-то?

— А вот извольте: наметили они изо всей мочи в са-

мую жилу этими пиявками.. Вы, будем говорить так, ежели, положим, вы делаете операцию, то уж вы ее делаете с размаху; а не и легкость от этого... Али так возьмем: заметили вы у кого больной член, то вы норовите его выдернуть, а не оставить на месте. — До свидания, Андрей Егорыч!

III

У крыльца журавлевского барского дома теснились дворовые люди, собравшиеся посмотреть консилиум. Впереди толпы стоял кучер. Он упрашивал лакея, выносившего на улицу медный таз:

— Фаддей, скажи, пожалуйста, барыне, нельзя ли посмотреть? Ты скажи — кучер желает. Главная вещь, ежели уж затеялось представление, то надо, чтобы его все видели.

— Погоди, — отвечал лакей. — Я пойду налью в таз воды, а ты его снесешь в детскую.

— А мы-то не увидим? — заговорили дворовые люди, глядя с завистью на кучера, который тотчас же принялся убеждать их:

— Вам тут, по душе скажу, любопытного малость. Разочтите: ведь двенадцать языков! махина аль нет?

В доме помещика около постели больной девочки лет десяти сидела помещица, ее муж, с трубкой в зубах, и доктор. На стульях, на полу были разбросаны полотенца, которые сбирала горничная. В углу стоял фельдшер в сюртуке нараспашку и в белом жилете. Помещица утирала остатки слез на своих глазах и спрашивала дочь:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Это скоро пройдет, — выговорил доктор, — я такие же муки сам на себе испытал.

— А вы были больны, Лука Лукич?

— Да, в молодости: я был очень резв...

— У Сашечки, Лука Лукич, — прервала помещица, — сначала под шейкой зоб был.

— Это опухоль, — сказал доктор.

— И отчего это у ней?

— Причин много может быть, — отвечал доктор, — определить их трудно.

— Известно, — в свою очередь, заговорил фельдшер, —

от разных причин делается эта болезнь: от ушибов, от простуды... Например, у млекопитаемых лошадей тоже под горлом бывают шишки...

— А ты, любезный, помолчал бы,— перебил помещик.— Вы, доктор, знаете: ведь это он назначил пиявки к шее дочери; по его милости мы испортили артерию...

Доктора пригласили в столовую закусить. Помещица осталась с дочерью в детской. Фельдшер тоже был в столовой.

— Ты, почтенный, назначил пиявки к самому нежному месту,— сказал доктор.

— Так точно: промеж стерноклей до мастоидными,— отвечал фельдшер.

— Да, между этими мускулами.

Доктор выпил.

— Вот видишь,— начал он,— это нехорошо; почему? пиявки ставить должно; но при такой организации детской, так сказать, и нервной, какова у больной,— этого допустить нельзя. Ты назначил их *ad arteriam carotidem*, причем открылось сильное кровотечение.

— Вот что ты сделал! — возопил помещик.— Пиявка прокусила артерию...

— Надо полагать,— сказал доктор,— пиявка артерию... повредила...

— Что к шее!— выпив наливки и заткнув бутылку, воскликнул помещик. — Он вот какую штуку удрал, Лука Лукич: приставил дворовому мальчику мушку к виску... Ушам не верю! в первый раз слышу такую чепуху! Что ж вы думаете? Мальчик окривел!.. Вот что ты сделал!

— Варфоломей Игнатьич, — сказал фельдшер, — всякий человек может окриветь; этим шутить нельзя... а радикальное пользование мушки уже нам доказано; следовательно, мы были вправе ее присадить.

— Но, однакож, — заметил доктор, — мальчик окривел!

— Как же-с,— сказал фельдшер,— одним глазом ничего не видит, даже матери своей не узнает...

— Отчего же он окривел?

— На это, ваше превосходительство, сказать мудро-с: мы в практике часто встречаем не такие случаи, однако лечение свое продолжаем.

Явилась помещица.

— Вы, кажется, Андрея браните здесь?— сказала она, садясь за стол.

— Заметить надобно, Анна Ивановна.

— Нет, Лука Лукич, я всегда готова оправдать Андрея; он, право, услужливый такой. Нынче весной со мной дней пять мучился...

— Нездоровы были?— спросил доктор.

— Полнокровием страдали,— ответил фельдшер.

— Врешь, воспалением,— перебил помещик.

— Я не знаю,— заговорила помещица,— но мне кажется, что полнокровие причиной: душило меня... Сначала он мне постановил банки, потом сорок пиявок — не унялось! потом кровь пустил — опять сорок пиявок, опять банки.

— Легче стало?— спросил доктор.

— Гораздо легче!

Помещица тихонько подозвала к себе горничную и шепотом дала ей приказание, чтобы фельдшеру дали обед в кухне. Горничная, сделав фельдшеру мину, повела его за собой.

— Много легче!— продолжала помещица.

— Но кровопускание вредно, Анна Ивановна.

— Знаю, Лука Лукич... Нынешние медики не одобряют кровопускания; но я не боюсь: у меня кровь не истощится... Заметьте, как только я отворю кровь, сейчас чувствую невыносимый аппетит; стало быть, когда я поем, у меня потеря крови вознаградится,— не так ли?

— Так,— усмехнувшись, сказал доктор и прицелился вилкой в колбасу.— Вы как будто, Анна Ивановна, учились физиологии. Ваша правда: все, что ни поступает в наш организм (доктор опустил колбасу в свой организм), перерабатывается сначала желудком: что называется,— делается каша... *chilus*... Это *chilus*, представьте себе, переходит в кишечный канал. Далее, все жидкие части посредством всасывания поступают в кровь; и вот, когда вы покушаете, пища превращается в кровь.

— Ну, вот видите?— торжествующим голосом произнесла помещица.

— Вы, верно, когда-нибудь читали медицинские книги?

— Кажется, читала, Лука Лукич, когда еще была дитятей.

— Лука Лукич! — возразил помещик, раскуривая трубку, — растолкуйте мне: отчего, например, на ране или так где-нибудь вдруг нагноение является?

Помещица шепнула что-то мужу на ухо.

— Что ж такое, если меня интересует этот предмет? — ответил помещик.

— Можете себе вообразить, — начал доктор, — нагноение бывает двух родов: доброкачественное, во-вторых — злокачественное. Гной под микроскопом...

— Я Лука Лукич, Лука Лукич! — заголосила помещица, простирая к доктору руки.

— Что, вам неприятно? Но скажу — чрезвычайно важная вещь этот гной: в медицине у нас даже его вкус определяется.

Помещица ушла в другую комнату. Доктор встал из-за стола с красными щеками.

IV

Перед сумерками в Черепяхине шел проливной дождь, заставивший фельдшера сидеть в своей аптеке. К нему снова прибегал мальчик от лесника и просил посмотреть ушибленную ногу. Фельдшер обещался прийти, как скоро дождь перестанет. Он сидел у окна и смотрел на улицу. Против аптеки под поветью крестьянского сарая стояли две мокрые бабы, захватив полы своих зипунов, и молча глядели на ручьи по дороге; среди улицы на траве мокнула спутанная кляча с хвостом, похожим на горсть пакли. Широкая река усеялась частыми брызгами, у плотины дружно рылись утки, уткнувши носы в воду; вдали на горе, будто в тумане, дремали леса, один другого темней; все имело скучный, пасмурный вид.

Около пяти часов дождь перестал. На улице посветлело. Фельдшер отправился к леснику. Было холодно; река сильно волновалась, и у берегов скоплялась пена. Навстречу фельдшеру попадался народ.

Фельдшер остановился на краю села, недалеко от изб, и смотрел на бежавшую к нему из проулка сгорбившуюся бабу; ее головная повязка трепалась длинными концами. Она, запыхавшись, очутилась близ фельдшера: на лице ее было беспокойство.

— Ну, что ты? — крикнул фельдшер.

— Кормилец...— начала баба, едва переводя дух,— что ж, родной... болезнь-то моя... полечи, касатик...

— Я вам не раз говорил, что туберкулезных я не лечу: нет спасения...

Баба смотрела в землю и кашляла; фельдшер заключил:

— Дом тебе пора строить,— дом!..

— Какой, родимый?

— Из четырех досок... сосновый...

Фельдшер пошел. Баба, закрыв глаза тряпицей, зарыдала.

Темнело; народ расходился по домам; улица пустела. Фельдшер направился к гумнам и к пустынному кладбищу, с покосившимися крестами и голобцами, на которых в разных местах сидели крошечные птички со взъерошенными от ветру перышками, не зная, куда приклонить свою голову; над некоторыми из могил лежали неправильные, большие камни; иные могилки не были обложены даже дерном, другие готовы были сравняться с землей или скрывались в колыхавшейся крапиве. По одну сторону от кладбища тянулся густой, черный лес; впереди над полями, распластав крылья, усиленно боролся с ветром ворон. По узенькой тропинке фельдшер пришел в чащу леса; в нем было темно: справа и слева сновали трепетавшие своими сухими листьями осины и березы. По всему лесу равномерно распространялся широкий, плавный гул,— точно где вблизи шумела вода; ни одного птичьего голоса; кругом полумрак, вместе с гулом расплывавшийся к тяжелым думам. Ровные березы уныло покачивались и тихо шуршали своими верхушками.

Далеко слышался мерный, замирающий стук топора; неохотно лаяла на пчельнике собака... Опять стонет лес; отрывать слуха не хочется ото всего, что слышится во круг...

Фельдшер пришел к леснику. У стола, с опухшим от слез лицом, сидела молодая баба и втыкала в светец зажженную лучину. На хорах стонал лесник. С появлением фельдшера баба встала с своего места, а больной начал принимать полусидячее положение.

Фельдшер снял фуражку и обтер на лбу пот.

— Что ты?— сказал он, приступая к больному.

— Отец родной!

— Ну-ка, покажи, где это ты так?..

Лесник развернул тряпицу и обнажил ногу.

— Мне недосуг к вам ходить-то... Акулина, посвети сюда!..

Акулина поднесла к хорам лучину и вдруг, взглянув на рану, зарыдала на всю избу.

— Держи, держи лучину-то,— сказал фельдшер.

У лесника на глазах показались слезы.

— Андрей Егорыч, больно, батюшка!— вскрикнул старик, хватая его за руку.

— погоди! (фельдшер скинул с себя верхнее платье).
Надо растереть...

Больной затрясся, с ужасом глядя, как фельдшер начал засучать свои рукава. Он взял стклянку и налил себе на ладонь мазь.

— Держись!

— Ой! государь мой!

— Акулина! бери за ногу...

Лесник упал в бесчувствии навзничь.....

.....
.....

V

По прошествии двух дней посреди сельской улицы несли гроб. Фельдшер возвращался с практики. Позади гроба в отдалении шли бабы; раздавался плач.

— Кого это несут? — остановив одну бабу, спросил фельдшер.

— Лесника,— произнесла она.

Фельдшер задумчиво перекрестился.

— Верно, антонов огонь; забыл тогда пивок-то припустить!..

БОБЫЛЬ

У нас, на краю села, жил мужик Карней; он ни роду, ни племени не имел; при нем находился только его сынишко лет десяти. У Карнея был дом, очень чуден! Ни тебе соломы на нем, ни жерди. Один угол в срубе поднялся вверх,— Карней его взял да скрутил веревками. Зимой снег валил в избу. Зимой Карней редко жил дома, а спасался кое у кого у соседей.

Насчет благородства — Карней... толковать нечего! умный!.. и так старателен насчет ежели обмануть кого... Он никогда не работал, а сыт был всегда. Шапка на нем вышла из употребления; но на обувь он обращал свое внимание, ходил больше в сапогах.

Хлебопашеством Карней не занимался сроду. Сперва он все коммерцию устроивал: табачную лавочку у себя открывал, ездил по деревням с мелким товаром. Но как у него не было капитала, так он бросил все, и вышел из него последний человек.

Угодить начальству — это за ваше почтение! Карней умел с важными лицами поговорить и услужливостию своею всех превзошел: например, наловит в реке раков лаптями и понесет к становому. Зато, случись где-нибудь несчастье, глядь, Карней с становым катит на следствие; на козлах сидит. А то иному в день ангела принесет зайца в подарок, иному добудет живую драхву.

Карней почти никогда не платил обществу податей. За это его часто секли. Случалось так: сидит он в своих сенях и рассказывает, как один казак на Дону влюбился в казачку. Народ слушает. Вдруг прибегают к нему и говорят: «Эй, Карней! на сходку!» На сходке спрашивают:

— Что ж деньги?

— Повремените, братцы: отдам.

Ну, сейчас наказывать за неплатеж податей.— Он подернет штаны, прибежит опять в свои сени и опять рассказывает: «Ну, вот, братцы мои, и влюбился казак в казачку... На Дону дело было...»

Раз его чуть не засекали до смерти. Карней уж тут не вытерпел, встал и начал говорить миру:

— Вы наказывайте, да не забывайтесь... В одной деревне одного мужика, не плошь меня — тоже Карнеем звали,— совсем уходили. Вот тут и дивись!

Ну, голова велел его освободить. «А то, говорит, взаправду мы его укокошим...»

Пропитывался Карней таким манером: к примеру, услышал он, что у попа пекут блины,— как раз добудет цеп, прилетит на поповский ток и давай молотить с работниками. Близ обеда приходит туда священник. Карней сбросит с себя шапку, вытянет руки и подходит под благословение.

— Как дела? — спросит священник.

— Все благополучно, ваше высокоблагословение! Работники ваши усердно стараются. Давеча гляжу на них и думаю: надо пособить. Уж цеп добыл.

— Спасибо. Бросайте-ка цепи, идите есть блины.

Карней опять пустится под благословение, а после обеда и исчезнет.

Будь где ни на есть крестины, Карней первый тащит купель, носит воду, зажигает свечи... одним словом, набаловался — шабаш! Ни одной вечеринки, ни одного собрания не обходилось без него. Он даже, вот ежели скот мрет, с бабами опахивает землю... поет с ними... И бабы ему ничего. А в опахивании у нас мужиков не должно быть.

Только вежливостью своею Карней заставлял каждого любить себя. Однажды священник с попадьей уехали в гости за пятьдесят верст и дома оставили грудного ребенка. Карней этого ребенка качал в люльке и кашей кормил. Был заместо старухи.

За такое благодеяние поп сделал его караульным при церкви и положил ему церковное жалованье. Но Карнюха был не очень усерден к службе: всякому рассказывал, что он ночи не спит напролет, а на самом деле заляжет в караулке, проведет от колокола к своей ноге веревку, лежит и благовестит; а мы думаем, он караулит. И все

говорит: «Каждую ночь мертвцов вижу». Сидит это на завалинке у караулки, перед ним стоит какая-нибудь баба.

— Здорово живешь, Карней Левонич!

— Здравствуй!

— Ничего ты ныне не видал?

— Ныне ночью страшно было! В глухую полночь столько мертвцов провалило, что я думал — настает страшный суд...

— А невестка моя ходит?

— Ходит.

Однако скоро наскучило Карнею быть караульным, и он опять пустился по крестинам, по вечеринкам разным.

А вот наступает святая неделя. Карней первый вызовется в оброшники (оброшники носят образа), ударится с попами по приходу. Чтобы не носить божьей матери или Николы (у нас это самые большие образа), Карней схватил фонарь и несет его впереди всех, а то кропило, которым людей кропят.

На улице примется с дьячками пироги делить.

— Ты что там делаешь? — спросит его, в ризах, священник.

— А вот хлеба делю, ваше высокоблагословение! У Сидоровых вашей матушке пожертвовались драчена, так я их в общество не кладу.

— Не клади!

Карней тоже любил запевать духовные песни. В избе еще не совсем молебен кончился, а он уж выносит фонарь и на всю глотку орет, — мужики подтягивают. Таким образом, все шумят: «Христос воскрес!»

Тогда дома что-нибудь работает, непременно поет. В доме ни крохи нет, — так и быть! Стоит с топором в сенцах, глядит вверх — бревно хочет стащить, а сам тянет: «Я-ако под державою...»

— Отчего ты, Карней, не работаешь? — спросишь его.

Заголосит:

— Братцы! повесьте меня, не могу я работать... Я человек не такой...

На Кирика и Улиты он помер. Сыну своему отказал шапку с кафтаном.

Один барский лакей сочинил ему на могилу стишок:

Здесь лежит Карней,
Скончавшийся в 7 дней.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ГАЗЕТА

I

В один летний день на краю леса, пред которым расстилались луга с болотами, с сигарой во рту сидел помещик деревни Ивовки; подле него лежал молодой человек, недавно поступивший в дом к этому помещику учителем. Оба они ходили с ружьями и ничего не убили.

— Я замечаю, Егор Кирилыч,— говорил помещик,— вы у нас скучаете. Отчего это?

— Я всегда таков, Петр Иванович,— отвечал учитель.— Я, собственно говоря, болен: у меня печень болит,— говорят, от водки... Ну, я не могу!..

— Конечно... Только я вам хотел сказать,— не обижайтесь, Егор Кирилыч,— вы, пожалуйста, ученику своему этак излишних намеков насчет вашей страсти... Понимаете?

— Я с вами согласен, Петр Иванович... Разумеется, я не могу иногда за себя ручаться: я вам и прежде говорил, что я должности гувернера не беру на себя... Но, насколько станет моих сил, я буду укрощать свою привычку...

— Ну да,— сказал помещик.— Что касается до меня — мне все равно: трезвы ли вы, или нет,— и вы у нас не стесняйтесь, по-домашнему будьте. У вас есть своя комната: приехали вы выпивши — никто вас не видит... Жена моя пьяных не шибко боится. Я сам частенько приезжаю к ней подгулявши.

Из лесу явился молодой человек в белом пальто, с ружьем в руках. Это был из той же деревни помещик Гал-

кин, недавно вступивший в управление наследственным именем и живший в Ивовке с одной своей бабкой.

— Здравствуйте, господа,— заговорил он.— Ну, что, ничего не застрелили? И ведь выбрали же мы время охотиться! Такая жара! Я шатался часа четыре и вот убил одну иволгу.

— Садитесь-ко,— сказал помещик.

— Нет, благодарю. А, что, вы давно, Петр Иванович, были у Хоботовых?

— Давно уже.

— Я был у них вчера: скука смертельная! На днях я тоже ездил к помещику Кобелеву—что это за лежни! ба-тюшки мои! Представьте, Кобелева я застал на балконе,— лежит в одной рубахе!.. Однако пойдёмте домой, что вы засиделись?

Помещик и учитель встали и пошли вместе с Галкиным.

— Да-с, скука, скука...— говорил Галкин дорогой.— Я, в Москве живши, совсем забыл деревенскую жизнь: тошна иногда она бывает! А я вам не сказывал, господа? Я думаю здесь издать газету...

— Что такое?..— воскликнули помещик и учитель.

— Да, газету... ну, деревенскую газету. Надеюсь, что вы, господин Чаркин, не откажетесь быть сотрудником,— отнесся Галкин к учителю.

— С удовольствием. Это вы хорошо придумали.

— Я полагаю!.. Я попрошу писать всех помещиков, даже их жен... Ведь, господа, согласитесь, так жить в деревне, как мы живем,— ей-богу, мочи нет! Надо же чем-нибудь заняться... И как это мне пришло в голову! Ныне поутру лежу я и думаю: «Как досадно, что почитать нечего, этакое легонького — газетного»,— ну, и напал на эту мысль. Да какие планы-то начертил!..

Помещик шел молча, повеся голову. Газета Галкина, по-видимому, несколько смутила его.

— Программа уже готова,— продолжал Галкин,— ну, а сотрудники найдутся.— Я вам, господа, скажу: газета может принести огромную пользу, если ее аккуратно повести. Само собою разумеется, не надо допускать ее до сплетней и тому подобного; вот вся и задача! Да, это предприятие, как хотите, так современно — и вдобавок крайне оригинально! Газета, конечно, будет *рукописная*... Переписчики у меня есть. Надо будет завестись еще та-

ким человеком, который бы ездил по окрестностям и собирал новости... Но я имею в виду такого... Я пушу эту газету на возможно большее расстояние: брошу на постоянные дворы, на станции, предложу приказчикам... и все это будет бесплатно... Не правда ли, господин Чаркин, будет хорошо?..

— Превосходно,— сказал учитель.

— Не знаю, удастся ли, Федор Семеныч, ваше дело,— сказал помещик.— Я думаю, как всякое неожиданное явление, ваша газета многих поставит в тупик.

— Помилуйте, в чем вы тут сомневаетесь? Ради одной уже новости, что выходит деревенская газета, все примутся не только читать — писать!.. Ну, вы первый—разве откажетесь участвовать?..

— Пожалуй... Я хоть напишу о выжигании тока... Я хотел напечатать в «Московских ведомостях» о выжигании тока.

— Ну, вот видите! Вы — о выжигании тока, другой — об эманципации женщин,— и пойдет дело!.. Притом разве вы не знаете, сколько между нашими соседями найдется современных людей!.. Посмотрите, как многие из них рассуждают!.. Если газета пойдет успешно, мы выпросим позволение у губернатора и будем ее печатать... Непременно издам!.. Кстати, ныне вечер у Хоботовых: объявлю всем об этом! Я уже половину объявления намахал. Говорю там: «Милостивые государи! Россия на пути своем к просвещению так рванулась вперед, что недаром Гоголь воскликнул: «Куда ты мчишься?..» — и так далее...

— Это вы недурно заметили!..— проговорил помещик.— Начинайте! Главное, действуйте не спеша...

— Отчего же не спеша? Я ныне же всем объявляю, завтра рассылаю людей — кого с поручением собирать новости, кого с чем, и, не дальше как через неделю, все будет готово!—Господин Чаркин! вы съездите в село Быково, тут недалеко,— и попросите там регента, чтобы он написал статейку?

— Съезжу. Мне регент приятель.

— Он, как вам известно, запивает; но у него есть талант, я это знаю. А я завтра съезжу тут к офицерам; говорят, ротный хорошо сочиняет... Да еще у тыквинского помещика есть учитель Вьюгин,—я и к нему съезжу.

Охотники расстались. Галкин еще раз решительно повторил, что он издает газету.

При закате солнца Галкин, одетый, сел в пролетку и уехал на вечер к Хоботовым. Почти в то же время отправился на беговых дрожках к регенту учитель.

II

В сумерки Галкин приехал к высокому, новому дому Хоботовых, перед окнами которого изнутри выглядывало множество медных и бронзовых амуров, собачек, рыцарей, охотников и проч.

В зале Галкина встретил с ежовыми волосами хозяин. Схватившись за руки, ходили по комнате девочки в распущенных платьях. Хозяин подал гостю руку и лениво сказал:

— Ну, что же, того... как ее... ваша бабушка?

— Она нездорова...

В гостиной на мягком диване, с томными глазами и полуоткрытым ртом, сидела хозяйка, имея на голове очень красивую куафюру¹. Ей было лет двадцать семь. С видимым желанием выразить всю нежность и грацию молодой женщины, она слегка привстала перед Галкиным, слегка поклонилась, но так, что ее глаза еще более сделались томными,— и вообще она как будто говорила: «Вглядитесь в меня, хоть, например, вы, господин Галкин,— я могла бы целое блаженство доставить человеку, достойному меня!..»

Впрочем, такая истома хозяйки замечалась преимущественно в начале представления гостей. Но после Катерина Ефимовна делалась просто милою хозяйкою, наблюдающею за вами, сколько вы съели чего и не дать ли вам еще чего-нибудь; как, проводив гостей, она делалась милою помещицею, которая в кругу горничных и лакеев поверяет в кухне и кладовой, сколько чего вышло на гостей и т. д.

В зале стояла толпа съехавшихся помещиков, окружив хозяина, который что-то рассказывал. Хозяин на время прервал свой рассказ и пошел к дверям встречать приехавшую соседку помещицу с четырьмя взрослыми дочерьми и сыном-гимназистом. Он, как-то пасмурно (у хозяина был от природы такой взгляд) глядя на гостью,

¹ Прическу (от франц. *la coiffure*).

прежде всего за необходимое счел ей сказать, что он весьма здоров, и посмотрел на нее уже не пасмурно, а сердито...

— А Катерина Ефимовна? — спросила помещица.

— Она там... в гостиной.

Хозяин был такой человек, про которого ходило в окрестностях много небылиц, как, например, будто он раз с особенным вниманием смотрел на себя в зеркало и нашел, что его лицо ужасно напоминает свинью, о чем сообщил жене...

В зале явились три офицера с саблями. Между тем комнаты осветились огнями.

После чаю гувернантка Хоботовых сыграла на фортепьяно серенаду Шуберта и произвела в гостях необыкновенное уныние, а больше всего в помещиках, которые встосковались до того, что обнаружили покушение ехать домой. Но Хоботов удержал их и дал слово попросить гувернантку сыграть что-нибудь повеселей, хотя помещики ровно ничего не хотели слышать.

Галкин в это время сидел в гостиной и объявлял дамам о своей газете.

— Я вижу, — говорила хозяйка, — вы хотите нас описывать... Конечно, много найдете пищи для себя.

— Помилуйте! — отвечал Галкин, — я не литератор, я не имею сатирического ума... Но вы, Катерина Ефимовна, поймите: тут просто будет листок от скуки...

— Нет, — твердила непреклонная хозяйка, — вы хотите насмеяться над нами, я вижу... Да опять, что за деревенские такие газеты? что с вами? Вам, как помещику, право, стыдно этим заниматься...

— Да ведь, Катерина Ефимовна, эта газета несколько не будет похожа на все литературные газеты, какие вы знаете... Это будет листок собственно наш, с своим направлением, домашний и, без сомнения, удивительно оригинальный... Что литературные газеты!..

— Только я вам скажу, — говорила хозяйка, — вам меня описать не придется... Тут нужен талант да талант, потому что вы со мной не живете и, значит, вполне меня не знаете... Сверх того, я не хочу, чтобы вы меня описывали: для меня достаточно того, что я узнаю себя нередко в героинях Шекспира и других...

В зале играли вальс; шаркали танцующие. Галкин встал и попросил хозяйку; она, расправив платье, пустилась с ним...

— Нет, Катерина Ефимовна,— говорил Галкин,— вы жестокосерды... как вы не хотите покровительствовать моей газете!

— Что вам далась эта газета, господин Галкин? — отвечала хозяйка, поправляя куафюру и улыбаясь,— ну, издавайте, когда так... да что вы так вертите меня?.. Я не могу... В самом деле, издавайте... я шутила...

Катерина Ефимовна попросила Галкина остановиться и села на стул.

— Право, издавайте...— ласково повторила хозяйка и с одушевлением посмотрела на Галкина.

Офицеры танцевали с каким-то ожесточением: кто прихлопывал каблуками, припрыгивал вверх; кто припевал даже что-то... Один офицер, высокого роста, сделал несколько кругов на одной точке, посадил даму и гордо пошел прочь, неся на шпоре откуда-то выхваченный клоч кисеи...

Галкин подошел к двум гулявшим помещицам и обратился к одной из них, большой охотнице до русских песен, особенно до «Ночки темной, осенней» и «Я калину ломала».

— Василиса Антиповна! Вы не слышали,— я намереваюсь издать деревенскую газету? Не угодно ли вам получить.

Помещица почему-то вдруг сконфузилась.

— Видите ли, это будет преинтересная вещь. Вы будете знать, во-первых, все, что ни случится в ваших окрестностях, во-вторых, тут будут подниматься разные вопросы...

— Извините,— промолвила Василиса Антиповна,— я не могу ничего сообразить... Я вам лучше после отвечу...

— Ну, а мне позвольте получить, господин Галкин,— подхватила другая помещица,— только чтобы не было сатирического в этом журнале... Вы козней не строите ли над нами?..

— Боже сохрани! Смею ли я подумать... Я, кажется, помещик...

— Что это издается? — спросил подошедший к Галкину офицер.

— Деревенская газета... Не угодно ли быть сотрудником?

— Извольте... Я вам пародию представлю на нашего ретного.

— Что это, может быть, ругательное?..

— Ругательное! Но мило!

— А как того... называется эта газета? — перебил хозяин, несший в боковую освещенную комнату колоду карт.

— Да хоть «Борей», или как угодно...

— Ну лучше «Револьвер» или «Эскадрон»... Вот «Якорь»... ну, мало ли можно придумать?

В гостиной дамы окружили любительницу русских песен и упрекали ее в том, что она не изъявила прямого желания получить газету Галкина. Но она отвечала, что причиною тому было опасение, что раз в одном уезде издал кто-то, вместо газеты, глупость какую-то.

— А вот мы у него потребуем программу,— вскричали дамы и послали одного помещика к Галкину — просить программу. Помещик принес целое объявление.

— «Милостивые государи,— читал помещик, стоя у лампы и отдуваясь,— и милостивые государыни!.. Россия на пути своем к просвещению так рванулась вперед, что Гоголь ей сказал: «Русь! куда ты мчишься?» При виде такого всеобщего морального движения, мы уверены, умы многих просвещенных и передовых людей заняты в настоящее время вопросами: «Отчего в наших русских селах и деревнях до сих пор не явится ни одной газеты, которая бы служила, так сказать, оружием, бьющим во все внутренние стороны деревенской жизни?.. Отчего это?» — спрашивают передовые люди.— Но нет ответа...

Милостивые государи! Откликнемся первые мы на эти безответные вопросы и на эту народную нужду: создадим газету! Да зарядим ее хорошою гласностью!.. не тсю, однако, что марает без разбору все лица, не исключая и благородных, а чистою и вместе легкою... В нашей душе кроется одна надежда, что со временем мы будем главною причиною того, что повсюду распространятся сельские газеты и (что мудреного?) Россия вдруг превратится в Северо-Американские Штаты!..

Не слышите ли вы, милостивые государи, в этом последнем слове магического обаяния для вашего просвещенного ума!.. Не замирает ли ваше сердце при виде той высоты, на которую я вам сейчас указал!.. Но... авось бог милостив...

Милостивые государыни! Вы первые громко откликнетесь на мой зов — я убежден!.. Ваши сердца, одаренные от природы чудесным пониманием всего прекрасного,—

повторяю — я убежден, сольются в один аккорд искренней радости при одном намеке на мое предприятие...

Итак, милостивые государи!.. Но уже вы своим орлиным оком проникли в глубину моего намерения, и я заранее счастлив... Я издаю газету!..

Галкин»

По окончании чтения все решили, что объявление очень умно написано и что Галкин человек очень образованный.

— А это он что-то важное затевает!..— сказала одна помещица другой.

— Уж я не знаю!..

— Ну, важного здесь немного...— сказал помещик, читавший объявление,— так пишут все объявления — витиеватым слогом! Тут обыкновенно и Русь вперед и назад, и всякая всячина...

Начался ужин. О газете Галкина знали уже все.

— Какая же будет программа? — спрашивали помещики.

— Программа, господа, зависит от вас,— сказал Галкин.— Избирайте какую угодно...

— Только чтобы гласности не было! — раздались голоса.

— Вместо нее можно сделать отдел, под названием: «Дневник происшествий»,— предложил Галкин.

— Да вы смотрите, господин Галкин, не вздумайте с нами чего-нибудь сыграть!

— О господа!.. как вам не стыдно... Просто хочу разогнать вашу скуку,— а вы что говорите!..

— Это хорошо! Это, господа, Галкин придумал славно! Газета у нас будет вроде домашнего альбома. Тут я помещу о своей молотилке,— сказал хозяин.

— Да, вообще эта газета может иметь всемирную славу! — заметил один помещик.

— А как вы думаете? Очень может быть!..

— Главное — личности не задевать! — кто-то произнес.

— Не в личности дело, а что газета может отозваться на всю Россию... А Галкину во всем можно довериться.

Некоторые из дам обещались писать. Хозяйка сказала, что она пришлет Галкину сочинение своего девятилетнего сына, который недавно написал восход солнца.

Другая помещица тоже обещалась прислать Галкину сочинение своей двенадцатилетней дочери.

— А вы, господин Галкин,— говорил один помещик при прощании,— можете в газете сделать небольшой отдел для гласности и там легонько касайтесь — приказчиков, станowych... Через это газета будет серьезней.

Вообще газета была принята благосклонно.

III

Возвращаясь домой, Галкин представлял, как его газета будет ходить по рукам,— и вот внезапно оживет знакомая ему окрестность, все будут толковать о новостях, о статьях, в ней помещенных... говор, спор, крик... Помещики, возбужденные интересами, близкими их сердцам, воспрянут от своего сна, задвигаются, примутся писать, возражать, шуметь — точно члены английского парламента... Что за диво! И вдруг все это уже разносится далеко... доходят слухи до начальства, узнает губернатор, вызывает Галкина к себе и... благодарит, жмет руку и дает позволение печатать газету, говоря:

— Да помилуйте, благороднейший господин Галкин, вы все это печатайте... Ведь сколько, я воображаю, вам трудов-то с этим переписыванием...

Галкин кланяется и отвечает, сильно тронутый:

— Не знаю, ваше превосходительство, но мне кажется, что руководил меня в моем намерении — мой генерал...

Губернатор внимательно смотрит на Галкина...

«Однако действительно,— подумал Галкин,— надо заняться газетой посерьезней...»

IV

В ту же ночь в деревне Быкове в ветхой избе сидел учитель Чаркин с регентом. Перед ним на столе стоял полштоф водки.

— Выпейте, Егор Кирилыч,— говорил регент.

Прятели пили, закусывали и смотрели друг на друга молча.

У окна сидела жена регента. Ее лицо выражало, что пьянство мужа для нее не новость...

Регент и учитель снова начинали:

— Выпьем, Егор Кирилыч.

— Выпьем, Семен Семеныч.

Явился другой полштоф. Дело, может быть, и кончилось бы тем, что приятели молча допились бы до беспамятства; но прежде чем это случилось, к ним явился мужик — голова из соседней деревни.

— Ну, будьте здоровы! — говорил голова, входя в избу и пошатываясь. — Ныне что-то спесивы стали ученые: никто в гости не пожалует... Егор Кирилович, а ты, я тебе скажу, имеешь в своей голове воно какого царя... Ты меня за пояс заткнешь... (Голова взялся за полштоф.) Вы не взыщите... Эко, подумаешь, что значит образованность-то!.. Ну, будьте здоровы...

— Вы слышали, Галкин газету издает, — сказал регенту учитель.

— Ну, что ж?..

— Напишите что-нибудь.

— Какую газету? — спросил голова. — Историю?

— Газету. Тебя будут описывать, как ты ведешь себя на сходке...

— Понимаю... на сходке... значит, я действую там... обладаю своим народом... А вы, господа, посмотрю я, — очень хитры!.. Только что давайте сперва порешим: кто из нас кого умней?.. А этак мы без толку просидим... Семен Семеныч!.. ты регент! я тебя за это люблю! Ведь ты человек горемычный?.. Тебя барин выписал, да пренебрегает тобою, в конуру поселил. А я тебя озолотил бы!.. Ну, теперича разгадай же мне, что значит — «Вскую отринул мя»? «Яко лядвия моя наполнишася поруганиями»? Изволь раскусить; да чтобы было складно.

Скоро беседа кончилась. Учитель, прислонясь к стене, спал; регент, свалившись на пол, тоже спал. Голова один сидел за столом и с иронией глядел на приятелей.

— Анна Федоровна! — сказал голова, поднимаясь и обращаясь к жене регента, — давай, матушка, приберем твоего мужа на постель; нехорошо ему валяться!.. Мне, право слово, Анна Федоровна, жалко вас; ей-ей, смерть жалко! Вскую отринул мя... Ну, бери его за ноги...

Голова уложил регента на кровать и сам лег с ним рядом, бормоча: «Дай нам сперва выспаться... никак из раннего утра пили...»

Галкин сильно хлопотал насчет газеты; он был у учителя Вьюгина, у ротного, ездил по помещикам и кого просил написать об эманципации женщин, кого — о движение вперед. Учитель Чаркин, дрожа с похмелья, дал ему статью под заглавием «Нищий солдат»... Раз, возвращаясь пешком от ротного, Галкин был остановлен звеневшим колокольчиком. По деревне Ивовке ехал, качаясь туда и сюда, офицер. Поравнявшись с Галкиным, офицер закричал:

— Господин Галкин, господин Галкин!

— Здравствуйте, господин Загвоздкин!

— Здравствуйте! здравствуйте! Стой, кучер... Господин Галкин! я слышал, вы издаете газету?..

— Издаю...

— Ну, так!.. нарочно хотел заехать... Поместите вот эти стишки... я хочу, чтобы их дамы прочитали... Я буду постоянным вашим сотрудником... Да нельзя ли вам хорошенько разжечь в газете помещика Ерыгина... Что это такое? вчера я насилу от него уехал!..

— Неужели?

— Да что на него смотреть! Так и напишите в газете: «Ерыгин — дурак!»

— Вы заезжайте ко мне,— сказал Галкин,— поговорим...

— Да я не одет... Погодите... Разве переменить панталоны?..

Офицер сошел с телеги и стал доставать из узла что-то, говоря:

— Как вам покажется... Сейчас у Куропаткина пять бутылок рому выпили...

— Уж не лучше ли вам ко мне заехать в другое время? — сказал Галкин.

— Ну, ладно... можно и в другое время,— отвечал согласный офицер.

Колокольчик снова зазвенел...

Пришедши домой, Галкин получил письмо.

— Кто это принес? — спросил он лакея.

— Хоботовский человек... от барыни...

Письмо было таково:

«Федор Семеныч! посылаю вам сочинение моего Пеньки и прошу его поместить в вашей газете. Да вот

что (это между нами): пожалуйста, напишите про Акулину Васильевну, скажите: такая-то и такая-то барыня (имени не говорите) в разговоре беспрестанно повторяет «сэ врэ»...¹ и шляпу носит набок... Ради бога... Ваша газета, я слышала, будет ходить по всему уезду... (Смотрите, про это никому не говорите.)

Уважающая вас *Хоботова*».

В комнату к Галкину вошел помещик Ерыгин.

— Мое почтение,— сказал Галкин,— давно вас не вижу... Ну, что новенького?.. слышали про газету?..

— Слышал, слышал,— сказал Ерыгин и затворил за собою дверь.— Превосходно, батюшка, вы выдумали; я приехал нарочно к вам: сделайте одолжение (Ерыгин начал шепотом)... обяжите меня; мы как-то с Хоботовым поссорились; он возьми раз ночью — отправился к моему дому и всех собак борзых перестрелял... Клянусь богом!.. Ведь вот разбой какие!.. Я бы и судом это дело повел, да улик налицо нет... Я это, однако, не оставлю так... А покамест вы на него составьте что-нибудь,— да пожестче! Да, черт его возьми!.. Ну, ради самого Христа!..

— Ведь, господа, рассудите,— сказал Галкин,— этак у нас газета превратится — я не знаю во что...

— Да ничего!.. Вы там сделайте с благородною целью... Назовите: «Гласность».

— А там поручик Загвоздкин на вас просит написать...

— Пускай его!.. Вы только Хоботова залепите.

— Отчего вы сами не напишете?..

— Я не могу!.. Клянусь вам... не могу писать... У меня, ежели я стану писать, пойдет и подлец и скот,— не могу!..

— Ну, мы увидим. Вы же, между прочим, напишите сами и покажите мне после...

Не прошло получаса после того, как Ерыгин уехал, к Галкину явился Кобелев — помещик.

— Я вот вам написал статью о воспитании,— начал басом помещик,— но дело не в том; а прошу вас, скажите в газете следующее: у одного человека помещик Куропаткин стог сена украл... так-таки буквально украл...

¹ Это правда (от франц. *ce vrai*).

И добавьте, что такие поступки называются низостью... До свидания...

— Для чего же вы меня-то заставляете писать? — спросил Галкин.

— А для чего же вы затеяли газету? Ну, так я сам напишу...

— Да уж лучше вы напишите; только полегче, Прохор Прохорыч.

— Я посмотрю... А то прямо озаглавлю статью: «Вор!»

Через неделю деревенская газета была готова. Галкин разослал ее, куда только мог: всем своим знакомым, даже некоторым дворникам и приказчикам.

VI

ДЕРЕВЕНСКАЯ ГАЗЕТА

Программа

- 1) Современные вопросы.
- 2) Изящная литература.
- 3) Сельское хозяйство.
- 4) Дневник происшествий и слухи.
- 5) Стихотворения.

ЖЕЛАНИЯ

(Посв. М-те Хоботовой)

Луна, прошу, укрой свой луч
Там дальше, дальше среди туч.
Во мраке ночи мне милей
С прелестной девою мечтать,
Во тьме приятнее мне с ней
Средь поцалув засыпать...
Тогда лишь жизнь мне так приятна,
Душа желания полна...
Меж тем, как бы сквозь сон,— невнятно
Мне про любовь твердит она...
Луна! прошу, укрой свой луч.
Там дальше, дальше среди туч.

Рот. ком. *Ведеркин.*

СЦЕНА

У редакции «Деревенской газеты» на крыльце сидит с пасмурным видом лакей. Перед ним без шапок стоят два мужика.

Лакей. Разве не слышали? — газета издается... сочинения пишут.

Мужик. Про кого?

Лакей. Про кого? Про вас!

Мужик. Что пишут?

Лакей. А то, что вы никакого просвещения не имете... И натурально, это предписание прочтут помещики, потом становые, и все утвердят, что вы точно народ ничтожный... Грубости в вас дюже много...

Мужик. А дальше что?

Лакей. Дальше пошлют это доказательство к военному начальству.

Мужик (*помолчав*). Зачем?

Лакей. Это спрости у военного начальства; уж наверно этого дела не пропустят даром...

Мужик (*печально*). Ну, за что же?

Лакей (*сердито*). Говорю—за невежество ваше! Ежели бы вы себя вели деликатно, ничего бы этого не было...

Уч. *Вьюгин.*

ДНЕВНИК ПРОИСШЕСТВИЙ

9 июля. В наши окрестности вступил Г-ский полк,—с чем и поздравляем почтенную публику.

11 июля. В селе Утине совершалось поминовение по дьячку Андронову. Звонкий голос покойного и усердие к службе, без сомнения, долго будут жить в памяти утинских прихожан.

12 июля. В деревне Шинках суд производил следствие по повесившейся бабе и нашел, что баба лишилась жизни по причине сумасшествия. Суд обедал у приказчика. После обеда, говорят, становой пел песни...

13 июля. Помещик Х. давал вечер, на котором было до 25 человек гостей; играли в ералаш; молодые люди танцевали и выказывали в танцах необыкновенную ловкость и даже силу... В гостиной читали объявление о «Деревенской газете»... Ужин был отменный; было до трех сортов вин: херес, сотерн и кагор...

14 июля. В селе Горлове был храмовой праздник.

Одна помещица, приехавшая к обедне, была одета великолепно: ее белое платье, при ярких лучах солнца, представляло невыразимое зрелище... Эта дама на паперти объяснялась с другою дамою на французском диалекте, и между ними слышались следующие иностранные слова: «вузавэ резон, о жур дюи¹ и сэ врэ», что также составляло особенную прелесть среди толпы мужиков и баб... (Продолжение ниже.)

О НЕВЕЖЕСТВЕ МУЖИКОВ

(Статья помещика Ерыгина, направленная на некоторую личность)

Говорить мне или молчать?.. Недавно я собрал своих крестьян и начал их спрашивать о разных теоретических предметах, имея в виду ту мысль, каковы у этих людей нравственные способности?..

— Для чего вы созданы?

Иные отвечали, что не знаем; другие сказали, что «мы созданы для своего господина...».

— Неужели только?—говорил я, но ответа не добился.

— Илья! Для чего тебе дана жена?

— Известно,— сказал он,— на потребу...

— Что это значит?

— Не знаю...

— Ефим! ты что скажешь?

— Жена нам дается,— сказал Ефим,— на подмогу.

— На какую подмогу?

— Стало быть, чтобы тягло выходило.

— Отвечай, Петр! что с нами будет на страшном суде?

— Да все помрем, батюшка...

— Ну, говорите, для чего вы созданы?

— Для вашего здоровья!!.

После того, что я привел, нечего более доказывать заглавие этой статьи... Это и было именно предметом моего исследования... Но обратимся теперь к другому.

Если так невежлив мужик, говорящий сказанные нелепости, то как же невежлив должен быть помещик, который в ночи 18... года, августа... перестрелял всех моих борзых собак?..

П. Ерыгин.

¹ Вы правы, сегодня (от франц. *vous avez raison, aujourd'hui*).

Слушая постоянные толки о воспитании крестьян, я молчал и долго не решался высказывать своего мнения. Но как просвещение стало распространяться даже и по деревням, чему доказательством служит сия газета, то я думаю вкратце передать свои мысли. По моему наблюдению, надобно детей, во-первых, учить так, чтобы они были, так сказать, с ног до головы и с головы до ног пропитаны — повиновением... Для этого надобно сочинить такую особую книгу под заглавием: «О повиновении». Как же можно допустить, чтобы воспитанники — кого-нибудь не слушались?.. А что из них будет, когда они сделаются взрослыми?.. Например: можно ли допустить следующее: раз я зашел из любопытства в училище экономических крестьян. Там сидел учитель и толковал одному крошечному мальчику — вычитание. Он объяснял ему так:

— Ну, положим, ты имел у себя десять бабок; слышишь?

— Слышу.

— Положим, теперь ты из них проиграл пять. Сколько у тебя осталось?

— Когда же я проиграл? — вдруг возражает мальчик. Нет, этак нельзя!..

Во-вторых, следует воспитанникам внушать дух смирения... Тут нужна тоже книга попространней «О повиновении». Мы понимаем, как люди уже образованные, что эта доблесть необходима каждому...

Далее, кажется, читатели сами видят, что нужно говорить о самоотвержении... Со временем я буду много говорить о самоотвержении, но теперь спрошу об одном: где всему этому учить? Нужна отдельная для этого изба. Я скажу, не только изба, но даже и библиотека, состоящая из предложенных мною книг. Вот поэтому-то я и советую: наложить на жителей сбор, а пред этим собрать их и сказать им хорошую речь...

Таким образом, сбор на избу будет очень хороший. В этой избе и начать учить... «Что же дальше?» — спросят меня. «А дальше остается вознести хвалы к небу», — отвечаю я. Разве еще нужно разъяснять, как скамейки ставить в школе, какие иметь розги и пр...

НВ. Теперь приступаю к описанию одного человека, которого знают все; я имени его пока не скажу; он высок ростом, брюнет, довольно приятен на вид; имя ему: вор!.. 18... года во время сенокосу, перед вечером, этот человек приказал навьючить на свою телегу вовсе ему не принадлежавший воз сена!

Пом. *Кобелев.*

БАЛ

Люблю на шумном я балу
С красавицей вальсировать,
Люблю и в темном уголку
Ее к груди моей прижать.
Но во сто раз милее мне
Остаться с ней наедине...

Поруч. *Загвоздкин.*

ДНЕВНИК ПРИКЛЮЧЕНИЙ

(Продолжение)

14 июля. За селом Горловым (во время храмов. праздника) помещик Ч. вывалился из своего экипажа и сломал себе шею. Уездный доктор ежедневно бывает у больного и советует ему не употреблять в будущее время спиртных напитков: насчет же шеи уверяет, что она будет кривая.

16 июля. У помещика Д. родились вдруг две дочери. Сердечно радуясь такому сюрпризу, родитель от многих из своих соседей уже принял поздравление. Он, между прочим, сказал, что «любопытно знать, что из этих малюток выйдет? Умрут они или нет?..»

17 июля. В деревне Пискареве какой-то проезжающий, на станции, утром, заплатил дворнику за ночлег гривенник и вышел на улицу к своему экипажу. Когда дворник сказал, что ему гривенника мало и при этом (в виде упрека) показал деньги, тогда проезжающий, развернувшись, рассыпал эти деньги по грязи... В этой грязи после дворник отыскал несколько своих зубов...

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО¹

Лечение молодых телят

(Ст. пом. Хоботова)

Новорожденные телята, по наблюдению моей скотницы, бывают подвержены опасной болезни: воспалению языка. Лекарство, по словам той же скотницы, есть тряпка, намоченная в холодную воду.

В будущем № я намерен побеседовать с читателями о своей новой молотилке, за которую я заплатил 400 рублей; еще об аглицкой свинье, которую вчера привез.

САТИРА НА Г-ГО ПИСАРЯ

(Соч. дьячка села Нового)

Егор удалый был детина —
Самый хвацкий молодец!
Крестьяне все пред ним — скотины.
Душил он их, как волк овец.
А ныне он — Егор
Носит лапти без обор (веревки).

Дьяч. Щукин.

САТИРА НА ЛЕСНОГО СТОРОЖА

(Сочин. того же поэта)

Для солдата Щедрина́
Купить надо штоф вина.
Он щедрит, как отец сыны —
Велит всем рубить осины.
В лесе негде сесть кукушке;
Одни пенья да макушки!..

Дьяч. Щукин.

¹ В будущем № поместятся статьи: «О выжигании тока» и «О лечении мыта».

ВОСХОД СОЛНЦА

(Сочинение 10-летнего автора г. Хоботова)

Заря позолотила восток. Птицы уныло кое-где повесили головы и спали. На небе были серые полосы. С одной стороны полоса похожа на нитку, с другой стороны она тянется будто бы полено... Везде безмолвно... С одной стороны дома крестьян кажутся покосившимися, с другой развалившимися.

Наконец, появилось солнце, улыбаясь, точно юноша, беспечно играющий на руках своей матери¹.

10-ти летний г. Хоботов.

РАДОСТЬ

Прекрасна, светла и любовна,
Душа веселится моя.
Да здравствует Марья Петровна,
И ручки, и штучки ея...

Поруч. Загвоздкин.

НИЩИЙ СОЛДАТ

(Из моих записок)

(Статья учителя Чаркина)

В наших окрестностях бродит один побирающийся старый солдат, которого, вероятно, все знают; у него обыкновенно сума в руке и шапка, которую он никогда не надевает; он, как известно, ходит очень тихо, потому что очень дряхл и слаб и вдобавок почти слеп.

Однажды он против окон нашей кухни пел: «Помяни, господи, благородителей во царствии твоём!» Пение было дикое и наводящее ужас...

— Поди, дедушка, закусить,— сказала старику наша работница.

Нищий вошел в избу и сел за стол. Работница подала ему щей. Я завел разговор с ним.

— Сколько, дедушка, тебе лет? Лет сто будет?

¹ Редакция не может не изъявить благодарности родителям 10-летнего автора, сочинение которого носит в себе задаток настоящего таланта.

— Нет, не будет сто лет,— ответил он, разламывая корку хлеба.

— Плохо тебе жить?

— Плохо...— равнодушно ответил он и стал есть щи.

— Пенсию получаешь?

— Нет, не получаю...

— Отчего?

— Просить некого... оттого побираюсь... Я две медали имею...

— А начальство?

Старик молчал.

Что он говорил — говорил таким спокойным тоном, что делалось больно!.. Лицо его ничего не изображало... Глаза его не отрывались от щей...

— Надо губернатора просить,— сказал он,— может, пансион дадут. Я служил все двадцать пять лет.

— Отчего же ты не просишь его?

— Из-за паспорта начальство не пускает. «Как тебя пустить, говорит, паспорта нет». А паспорт мой сгорел, как деревня сгорела.

— Так ты бы так и объявил.

— Я говорил... просили у меня целковый... я не дал...

— Стало быть, все дело из-за целкового?

— Мне теперь целковый не нужен. Я скоро умру.

— Ну, если ты болен сделаешься, долго будешь лежать — кто тебя станет хоронить?.. У тебя есть родные?

— Никого нету...

Старик перестал есть, достал из-за пазухи кошелек и сказал мне, забыв, по-видимому, все:

— Берегу... два рубля сорок... когда умру — помянуть меня...

Старина! старина! Отчего так равнодушно и холодно лицо твое?

Неужели это правда?

Уч. Чаркин.

К ГАЗЕТЕ

Пусть раздается на полсвета —
Деревенская газета!..

Редактор *Галкин.*

НВ. Редакция просит гг. читателей присылать, если можно, своих людей для получения газеты, адресуя: в деревню Ивовку—Галкину. Газета выходит по воскресеньям.

Газета читалась повсеместно: около десятка селений вошло в круг читателей, про нее знали даже крестьяне, которые объяснили ее по-своему...

Села Горлова приказчик, прочитав газету, велел позвать к себе земского.

— Кто прислал эту газету? — спросил он.

— Да всем разносят... от помещика Галкина.

— Ты знаешь, здесь надо мною смеются?

— Да, это я давеча прочитал... насмежаются...

— Что же это такое будет? — в отчаянии произнес приказчик.

— Что ж мудреного? многих зацепили...

— Стало быть, требуется...

— Верно, куда-нибудь это пойдет?

— Должно быть, к исправнику... а то в суд... что ж, на миру и смерть красна...

— Еремей! слышал, грамота какая-то ходит? — говорил мужик в толпе народа, стоящего у постоялого двора...

— Слышал, малый. Это бумага из Питера доставлена...

— Братцы! дворник сейчас обещал нам ее дать...

— Ой ли?.. Пойдем попросим... Ну, Илья, Егор, трогай!..

— Что вы орете-то!.. Разве можно так?.. Тут полегоньку надо... Иван, поди ты один и спроси у дворника: нельзя ли, мол...

Дворник дал мужикам газету. Они с замиранием сердца побрели с газетой в ближний пустой сруб, и один из мужиков начал читать...

— Повнятней, Гриша! Ну, начинай...

— Стой, ребята! Не шелохнись! Должно, она самая...

— Читай...

— Погодите, братцы, — дай ухом приладиться: с богом! отчаливай!

— Начинать?

— Погоди... Егор! прими голову-то!.. не слышно... Валяй!..

— Начинать?..

— Начинай...

— Смирно... Ей-богу, она!

- Читай знай! Увидим...
 - Постой ты, братец, мне виски-то прижал больно!
 - Эх, дураки!.. Когда вы уладитесь!..
 - Да вот все Еремей... Ну, читай: я знаю, это не она...
 - Знахарь! пошел прочь!..
 - Давай об чем?
 - Давай!..
 - Да замолчите, что ли, вы?..
 - Ну, ну!.. Не пикни! пригнись, Федор... Я на плечи-то к тебе навалюсь...
 - Навались!.. Начинай!..
 - Постой, дай дверь затворю...
 - Когда там затворять?.. Тише!
 - Тише!..
 - Погоди, я на полати влезу...
 - О, дурак!.. выдумает!..
 - Ребята!.. а что, я вижу — лучше грамоту нести
- вон...
- Как вон? трогай! готово!..
 - То-то, готово!
 - Т-с-с-с-с-с-с...
- Один мужик начал читать:
- Второе!.. нет, так!.. второе: мальчикам внушать дух сми-ре-ния.
 - Нет, должно, не то!..
 - Что там такое?
 - Да вот, говорит, дух смирения...
 - Чего там? Ты, верно, не туда забрал, повыше возьми! Сызнова...
 - Ты сперва перекрестись...
 - Да, по делу-то надо всем перекреститься...
 - Ну, что ж?..
- Мужики все перекрестились...
- С богом!..
 - Начинай!.. Смирно!..
 - Гриша! откопай получше восточку-то!
 - Готово!..
- Мужик зачитал: «Я и советую наложить на жителей сбор, и ежели...»
- Что, Гриша? как?
 - Наложить на жителей сбор...
 - Братцы, пойдем же лучше в другой сруб: тут как-то не ладно...

Все решили идти в другой сруб. В другом срубе снова Григорий зачитал...

— Погоди, Гриша, я разденусь: послободней будет...

— Давай уж, коли так, все разденемся...

— Свиньи вы, свиньи!.. Я вижу — вы слушать-то не хотите!..

— Как не хотим?.. Ну, мы в одеже останемся...

— Начинай!..

— Шапки-то снимите...

— Сняли... Читай!..

Вдруг в толпу ворвался дворник и закричал:

— Эй, газету давайте!.. Один благородный приехал... желает любопытствовать.

Дворник вырвал у Григорья газету и скрылся. Мужики молча вышли из сруба.

На третий день после выхода газеты, когда Галкин ждал о ней слухов, учитель Чаркин сидел в доме быковского регента. У окна по-прежнему сидела жена регента.

— Анна Федоровна! — говорил учитель, — выпейте же с нами... Ну, хоть в честь газеты...

— Нет-с... Вы знаете, я не употребляю...

— Ну, выпей, — сказал регент, читая газету, — сколько можешь...

Анна Федоровна немного выпила.

— Что, как газета? — спросил учитель.

— Хороша!.. Кажется, Галкин никого не щадит...

Учитель выпил и сказал:

— Тут вот в чем штука: Галкин — увлекся... он начал заходить туда, куда помещики не заходят, он начал карать свою братию. «Я, говорил он мне, хочу из газеты сделать пистолет да стрелять из него... а то несерьезно будет...» Ну, он своих соседей хорошо не знает... Я живу с ними семь лет... Я об этом Галкину говорил: он только твердит, что ныне такое время, все стремится вперед, и помещики...

В избу вошел Галкин.

— Сейчас ездил к Вьюгину, завернул по пути и к вам, — сказал Галкин. — С газетой бог знает что делается!..

— Что такое?..

— Да вот, получил несколько писем.

Галкин достал из кармана одно письмо и прочитал (письмо было от Хоботова).

«Получил я вашу газету и с нетерпением распечатываю. Читаю и, во-первых, нахожу, что там моей жене какой-то ротный пишет, как он среди поцелуев засыпает... Во-вторых, в газете пишет и дьячок, и пономарь, и какой-то Ерыгин, у которого я будто перестрелял собак... Об этом я с ним лично потолкую... Теперь позвольте у вас спросить: кто сочинял у вас слухи?.. Я знаю, что это вы... Так вот как я с вами поступлю!.. Так как вы газету свою раскидали на постоянные дворы и, одним словом, по всему уезду, — то я, значит, как опубликованный, имею для вас один гостинец... Вы увидите его после... я не оставляю вас так...»

— Хорошо? — спросил Галкин. — Вот другое... от Куропаткина: «Федор Семеныч!.. Что вы, взбесились? Пишете на весь свет, что моя жена родила двойню!.. Я отказываю вам от своего дома... Ведь это — я не понимаю!..»

— Вот третье, — от помещицы Сундуковой: «М. г. Федор Семеныч!.. благодарю!.. благодарю!.. Как я рада, что вы задели Акулину Васильевну!.. Это *сэ врэ* — превосходно... Как будет этим довольна Хоботова!.. Муж мой просил передать вам благодарность за то, что вы поместили — о его неприятеле и сердечном враге Воронине, который сломал себе шею... Он вам от себя напишет после... Он поехал в город... Прощайте... *Цалую листки вашей газеты...*»

Галкин прочитал четвертое письмо от помещика *Ужина*.

«Господин Галкин! Вы отчего не поместили моей брошюры насчет Ерыгина?.. Что я его называю стервой и пр., так вы и поцеремонились?.. Нет, вы не церемоньтесь!.. Я с вами разделаюсь. Брань других вы помещаете, мою нет!.. Я вам сюрпризец приготовлю... Поверьте, я свое слово сдержу... черт возьми...»

Наконец, было пятое письмо, Ерыгина:

«Федор Семеныч! Завтра у Кобелева вечер: будут все... Приезжайте непременно... будем строить планы насчет второго номера... Я и Кобелев тискаем вас в своих объятиях за вашу милую газету и от души благодарим, что вы наши статьи поместили и ни словечка из них не выкинули. Bravo!.. Россия, вперед! Вы говорили правду

в объявлении: да здравствуют Северо-Американские Штаты... То есть я до сих пор не пойму: каким это образом вам взошла такая идея! Ну, да после... Одним словом, гласность, гласность!.. Я вам столько чудес открою... Приезжайте же!..»

Приехав от регента домой, Галкин еще получил два письма: одно было от помещика Чухина, жившего очень далеко от Галкина.

«Поздравляю вас, г. Галкин, с успехом!.. Каким-то образом в нашу окрестность залетела ваша газета и произвела такой взрыв, что до сих пор,— когда я пишу эти строки,— дым и чад не перестает... Просто битва на Куликовом поле... Многие узнали в обличениях ваших себя... Один говорит, что я действительно у какого-то дворника зуб выбил, другой, что он сломал себе шею,— и пр. Но главное, все кричат, что вы ренегат, что вы хотите против своих же открыть полную гласность да заставить читать мужиков и т. д. Целая гурьба хочет ехать к вам... Но некоторые обещаются жаловаться губернатору... Между всем этим идет спор такой ожесточенный, что многие подлетают во время прений друг к другу с красными лицами... Прощайте — вы гениальную штуку выкинули».

Помещица Хоботова писала:

«Прекрасный Федор Семеныч!.. Мой муж сердит на вас, как зверь какой!.. Но это ничего... Не ослабевайте,— (спасибо вам за Акулину Васильевну). Я вас еще кое о чем попрошу... А мужа моего не бойтесь... Я его укрошу мигом!.. Он ручной... жаль, что глуп непомерно... Он ныне утром все рылся в своем кабинете, звенел и громыхал чем-то... а вечером говорил: «Он, говорит, зарядил в меня гласностию, а я заряжу в него пулею...» Не пугайтесь!.. Завтра у Кобелева вечер, приезжайте, я там буду... От всего сердца жму вам руку...»

Галкин, сидя один в своей комнате, смотрел в потолок и самодовольно улыбался.

VIII

На другой день вечером Галкин был у Кобелева, который ждал к себе гостей; Ерыгин, помещица, любившая русские песни, помещица Сундукова с четырьмя до-

черьми — были уже там. Первым делом Галкин прочитал Кобелеву и Ерыгину письма, полученные им от писателей.

— Это вздор! — кричал Ерыгин, — продолжайте!.. продолжайте!.. на этих господ нечего смотреть. Они себя не понимают, где же им понять благородную цель газеты?..

— А какова моя статья о воспитании? — спросил Кобелев.

— Славная! — воскликнул Ерыгин. — И так вы всё говорили о воспитании... вдруг — вор!.. Все равно как я: говорил о невежестве мужиков, вдруг — цап!.. на собак и свернул...

— Действительно, — подтвердил Галкин, — вы изложили мило!.. А что же, вы приглашали к себе нынче кого-нибудь?

— Как же! всех поголовно, — сказал Кобелев. — Я даже врага своего, Куропаткина, пригласил. Хоботову написал, что Ерыгин у меня не будет — приезжайте; Куропаткину, что вы не будете; Загвоздкину, что Ерыгин не будет... Ерыгину, что Хоботов не будет... Ерыгин не боится встречи с своим приятелем.

Наконец, гости все съехались, а именно: Хоботов, которого насильно привезла жена и который, никому не кланяясь, прямо засел в угол и принялся курить трубку, Куропаткин, который, завидев Галкина, пошел от него в сторону, да и хозяину почти не поклонился, как несправедливо обвиненный им в покраже сена... Наконец, офицеры, в числе которых был ротный и Загвоздкин, несколько избегавший дам как сочинитель неблагопристойных стихов.

Стали пить чай. Все шло тихо: переговаривались о сенокосе, о собаках — и уже после чаю зашла общая речь о газете.

— Нет, господа, я так чернить себя не дам, — вдруг закричал Хоботов.

— Тише, что с тобой? — сказала его жена, — ну, ты разве первый? Всех там коснулись... благородная цель газеты этого требует...

— Помилуйте, что вы обижаетесь? — сказал Галкин. — Я вас и не думал трогать... там *икс* написано...

— А позвольте узнать, — перебил Ерыгин, — кто у меня собак перестрелял в прошлом году?..

— Господа, надо говорить хладнокровно; помилуйте! —

сказал ротный, — ведь этак может наш дебош далеко отозваться... Как вы думаете?

— Именно!.. Затеяли газету — такую высокую, можно сказать, вещь... и вдруг...

— Я знать ничего не хочу! — воскликнул Куропаткин. — Я завтра еду к исправнику, чтобы он донес губернатору.

— Успокойтесь! — сказал Ерыгин. — Губернатор все знает; он Галкина вызывает к себе и хочет ему позволить печатать газету... Это известие мы вчера из губернии получили...

— Пустите-ко меня! — тихонько сказал вдруг Хоботов.

— Куда? куда? Что с вами?

— Куда? — завопила жена Хоботова.

— Пустите меня! — закричал Кобелев.

Офицеры оказали всю свою храбрость. Они ловко придержали помещиков.

— Прочь газету! Что это за мода? Что за газеты такие в деревне? — крикнул Куропаткин. — Я приехал объяснить, что никто не смеет писать, что моя жена там...

— Ну, вы и объяснитесь... Но запретить газеты вы не можете; необходимость ее создало все общество.

— А что, господа, я слышал! — сказал ротный. — Кто-то, будто бы из помещиков, вчера и ныне ездил по деревням и обирал газету.

— Это я! — сказал Куропаткин.

— И я обирал! — прибавил Хоботов. — Но я с вами говорить не хочу...

Он взял фуражку и вышел в переднюю, за ним Куропаткин. В зале слышно было, как хлопнула уличная дверь.

— Господа, — тихо сказал Галкин, — знаете ли, какая мысль пришла мне в голову?

— Какая?

— Изволите видеть... мы с вами затеяли газету, вещь неслыханную... газета идет... Все вы прекрасного мнения о газете... При всем этом мне сейчас и показалось...

— Что?

— Что мы забрали с вами в голову ужасную глупость! Поверьте — глупость! Ну, рассудите холодно: куда мы стремимся?

Все будто оцепенели...

— Куда идем с этой газетой?.. Друг друга бить и колотить? Что из всего этого выйдет? Да, что? Бед наживем!..

— Так! так! — твердили все.— Это вы заметили верно...

Все нашли, что в их головы забралась точно глупость...

IX

Прошел целый год. Газета давно прекратилась. Галкин по-прежнему ездил к своим соседям — но не как простой Галкин, а как человек с гениальной головой, потому что умел когда-то так сильно одурачить такую бездну народа. Некоторые, видимо, и не всегда признавали его за гения, — это потому, что он был им врагом; но в душе и они не могли не сознаться, что Галкин точно человек необыкновенный; потому что кто бы мог произвести такую знаменитую катастрофу деревенской газетой из обыкновенных людей?.. А тут еще прошел слух, что Галкин все это сделал преднамеренно...

ВЕЧЕР

В небольшой, очень опрятной комнате на диване лежал молодой человек, перед которым стоял пожилой мужчина с черными бакенбардами и в очках.

— Ну, вставай же, Ефимов,— говорил последний,— половина девятого.

— Да серьезно не хочется ехать. У этих Аркадских скука невыносимая.

— Что ж прикажешь делать? Везде одна история. Еще у Аркадских ничего: сегодня там будут танцы, профессора разные, много хорошеньких.

— Если бы ты знал, Семенов, какая хандра разбирает; ты посмотри, что с нашим обществом делается?

— Полно тебе! вот помяни мое слово,— с своею желчью ты не много наживешь.

— Да помилуй,— вставая и закуривая папироску, начал Ефимов,— вовсе не желчь! ей-богу, нет! Я ведь люблю веселье... Но такой скуки, какая на этих вечерах свирепствует, ни одна порядочная душа не вынесет: не только ничего говорить не можешь,— не знаешь куда деваться!

— А ты от скуки потанцуй; ныне обещались Линские...

— Сколько раз я давал себе заклятие не ездить на вечера; с моей стороны подлость, что я не сдерживаю слова. Ну, о чем там будут толковать? Наперед каждую фразу передвижу...

— Разумеется, говорить будут о театрах, об опере — о чем же больше? Согласись, что нельзя же рассуждать об астрономии.

— Как это у людей неостанет соображения: зачем, дескать, они собираются на вечера с восьми часов до

трех; толковать о Бозио? о Крейцберге? И это каждый божий день...

— Да что же дома-то? Дома еще скучней.

— Ну, если так,— после этого надо спасать отечество!.. Клянусь богом — еду в последний раз, хоть и скучно жить без человеческого общества...

Семенов и Ефимов наняли извозчика и поехали к Невскому.

— Ты говоришь,— продолжал дорогой Семенов,— не о чем толковать... Можешь говорить о литературе, о вопросах разных, об эманципации женщин...

— Ты возьми поговори с этим извозчиком об эманципации,— будет похоже на салонные рассуждения.

— Что ж? Извозчик все-таки не лишен ума! У него есть здравый смысл, которым можно любоваться. Эй, извозчик!

— Чего-с?

— Скажи на милость, кто умней, по твоему наблюдению, мужчина или женщина? Женщины утверждают, что они умней!

Извозчик сделал пол-оборота к седокам:

— Это, я вам скажу, сударь, действительно, что женщина умнее...

— Почему?

— А вот почему,— и извозчик сделал полный оборот к седокам,— теперь я, примерно, мужик... как, значит, в праздничное, что ли, время напился пьян, так ругаться... Женщина этого не сделает... Потом возьмем иное: я теперича выпью полштоф, а баба рюмочку; стало, ум имеет...

Вскоре Ефимов и Семенов явились в ярко освещенной зале, наполненной гулявшими парами разряженных дам, офицерами с эксельбантами и статскими во фраках, с золотыми цепочками на жилетах, непременными принадлежностями наряда. Ефимов шел по зале, раскланиваясь с знакомыми... Повсюду шел говор. Кавалеры волочили за дамами, но иные еще только приготавливались к этому, сидя в углу и обдумывая фразы. Везде слышались разговоры о певцах и певицах, предметах избитых, но все-таки служащих всегда и во всяком случае благонадежными средствами — не быть невеждой, не молчать.

— Да! — шел разговор,— он здесь необыкновенен. А как вы его находите в «Севильском цирюльнике»?

— Но особенно она прекрасна в третьем акте,— говорил офицер, сопутствовавший двум дамам и игравший каким-то винтом на своих эксельбантах.— Помните вы ее предсмертную арию... Ведь это... я не знаю... Только одни фаты не поймут...

— А вы, mademoiselle, изучаете классическую музыку? — робко спрашивал тощий молодой человек.

— Я беру уроки...— отвечала девица.

— Но как вам кажется Бозио? Не правда ли?..

— Да, прекрасно поет: мы ее больше слушаем в «Травьяте».

Ефимов с Семеновым пришли в гостиную и, расклавшись с хозяйкой, окруженной пожилыми дамами и мужчинами, уселись в креслах; шел не очень оживленный разговор. В гостиной вообще было как-то скучно, кажется оттого, что были лишние люди, при которых двум или трем знакомым между собою дамам нельзя было при всех отвести душу интимными рассказами, так и оттого, что каждый наперед предвидел, что скажет другой; например, входивший и кланявшийся хозяйке гость тотчас видел, что хозяйка сейчас его спросит: «Давно ли он был в опере?» Также, когда общий предмет разговора прекращался,— всякий из гостей видел, что хозяйка силится снова придумать предмет — и непременно выдумает певца; действительно, выходило, что ни Монжини, или Тамберлик, или Дебассини назначаемы были хозяйкой на всеобщее рассмотрение. Заговаривал ли кто из гостей о погоде, она, чтобы поощрить гостя к дальнейшим подвигам, даже и погоде старалась придать характер необычайности. Многие из гостей видели всю ее дипломатию, поправляли на себе галстуки и сами приискивали в голове поинтереснее новости для общего разговора, но скоро не находили и говорили про себя: «Хоть бы пострашней какой анекдот выдумать...» А другие рассматривали дело как оно есть и, чувствуя сильное стеснение в груди, решали про себя: «Хоть бы яблоки подали, что ли...»

— Вы, Иван Иванович, в «Троваторе» были в субботу? — спрашивала хозяйка одного статского.

— Да-с, в субботу!

— Но мне кажется, что Бозио, право, все лучше и лучше делается.

— Да-с; и главное действительно с талантом певица...

А я слышал от одного моего знакомого, что во Франции певица Лагруа имеет большой успех в «Норме».

— А ведь «Норма» чудная опера и, однако, весьма трудная.

От «Нормы» разговор мало-помалу склонился к Дебассини.

«Что бы такое мне сказать вслух? — думал один из гостей, поправляя волосы, — нешто о Наполеоне? Но, о... черт возьми!.. пожалуй, все испортишь...»

— А вы недавно были в «Гугенотах»? — спрашивала хозяйка, все еще силясь поддержать разговор об опере.

— Я была в «Гугенотах»... позвольте... когда это?

«Как бы это отсюда убежать? — думал Ефимов и другие гости. — Ах, постой, кажется, несут десерт... слава богу!..»

В зале послышались звуки фортепиано. Ефимов с яблоком в руке бродил по зале, давая дорогу танцевавшим. Около стульев тощий молодой человек гулял с институткой и спрашивал ее:

— Вы, конечно, Гоголя читали?

— Нет. Ведь нам запрещено его читать, да оно и следует так, потому что Гоголь был насмешник...

— Именно-с, — подтвердил молодой человек, которого, разумеется, более интересовала институтка, чем Гоголь.

— Позвольте с вами танцевать, — воскликнул один молодой офицер, обращаясь к хорошенькой девице.

Девица положила свою руку на плечо офицера и понеслась по зале.

«О чем бы с ней заговорить?» — думал офицер.

— Что вы, mademoiselle, любите польку?

— Да, очень...

— Превосходный танец.

— А как вы находите Бозио?

— Да, она хороша. Мерси!

— Ты о чем с ней говорил?

— Об опере... но только, брат, прелесть что за девица!..

— Да! — шел разговор, — здесь он великолепен!..

— Нет-с, представьте: ведь берет ут диез в «Отелло»...

Какая тут грудь нужна!.. — восклицал офицер перед дамой. — А помните площадь в «Трубадуре»... замок... и он сидит в башне.

В одном из углов сидели два студента и говорили:

— А ты слышал, подрались в Благородном собрании?

Уставшие от танцев два офицера стояли и говорили:
— А в мазурке ты ее не бери... Ты в прошлый раз о чем говорил с ней?

— Больше о Кальцоляри... «Нормы» также коснулся... Я, брат, признаюсь — ужасно много потратил денег на эту оперу и именно с тем, чтобы быть в состоянии говорить в обществе. Теперь же, я во всякое время могу насчет Бозио...

Ефимов вошел в комнату, где играли в карты, но, услышав: «Дама, валет, туз... туз, дама, сам-четверт... без трех» и пр., завернул в кабинет хозяина, в котором сидело много мужчин с Аннами и другими знаками отличия, с сединами и плешивыми головами. Здесь рассуждали — серьезно и важно.

— Вопрос этот вообще иначе нельзя решить. Экономисты и социалисты... вы понимаете... Старая песня...

— Да, вообще. Россия до тех пор останется Россией, пока в ней... Да вы возьмите Англию... Францию... какое сравнение!..

— Кстати: слышали вы, говорят, Наполеон третий — новую мерзость сделал...

— Вы говорите про Рим?..

— Кто это такой? — спрашивали стоявшие в углу студенты.

— Это профессор...

— А этот?..

— Тот пишет в журналах... Сейчас он всех писателей обругал!..

— А как вопрос о Суэзском перешейке?..—продолжали ученые.

Ефимов снова пришел в залу, где только что кончили кадрили,— между прочим, раздавались голоса:

— Давно, mademoiselle, вы слышали «Карла Смелого»?

Ефимов прошелся в угол: там шел разговор о Бозио и ее симпатичном голосе. Ефимов прошелся в другую сторону и услышал разговор о Крейцберге.

«Не повеселей ли стало в гостинной?» — думал Ефимов и пошел в гостиную.

Все сидели на прежних местах.

— И заметьте,— говорила хозяйка, обращаясь к одной даме,— Бозио еще тридцати лет нет.

— Да, я об этом слышала...

«Хоть бы еще десерту принесли,— думал один из гостей, ругаясь про себя.— Убежал бы отсюда...»

В гостиной напролет было слышно, как в зале вдали кто-то спорил о Монжини...

«Странно,— думал про себя один из статских, глядя на хозяйку,— как это до сих пор не напечатают такого руководства, по которому бы можно было отыскивать предметы для разговоров: что при встрече говорить, что за десертом или во время танцев. Книга эта, я уверен, разошлась бы в два дня... А то, что ни слово — то опера... Нет, руководство непременно, непременно нужно!..» — И статскому нарисовалась картина, как разбирают книжку.— «Что стоит руководство к салонным разговорам?» — «Пять целковых». — «Позвольте, сделайте милость!»

«Точно билеты в театре на бенефис Бозио», — подумал статский.

— В Павловске ведь постоянно Штраус дирижирует? — спрашивала дама в гостиной.

— Да, он вообще повсюду, — отвечала хозяйка.

Ефимов чувствовал страшное ожесточение, наслушавшись про Монжини, Штрауса, Дебассини, Бозио, Крейцберга... Он улучил минуту и снова очутился в зале, где недавно началась полька.

— Позвольте вас просить, — обратился офицер к одной из девиц...

«Гм... что бы это ей сказать? — танцуя, рассуждал офицер, — надо что-нибудь поумней».

— Как вам нравится Бозио?

— Да, она мне нравится.

— Именно... голос симпатичный... Но вот у Кальцолляри слаб.

— Да-с... Мерси!..

— Ты о чем с ней говорил? — спросил один офицер.

— О Дебассини! — утирая на лице пот и уходя в угол, ответил танцевавший.

— Отчего вы, мсьё Ефимов, не танцуете? — спросила одна девица.

— Да я уж давно не танцую.

— А вы часто бываете в опере?

— Да, я бываю... А вы тоже бываете в опере? — спросил он.

— Да, я бываю...

— Позвольте с вами танцевать! — вдруг перебил подошедший к девице статский во фраке и через минуту несся с дамой по зале, говоря:

— А не правда ли, Бозио прелестна?..

Волосы кавалера тряслись на затылке, а глаза пожарили даму.

Один из офицеров с эксельбантами, крутя усы, стоял в углу и, впившись глазами в хорошенькую девицу, сидящую на стуле, думал: «Красавица!.. О чем бы с ней завести разговор?.. Начну с Тамберлика!» И офицер начал тихонько подходить к девице, но его предупредил какой-то статский и уже спрашивал красавицу:

— Что, как вы находите Тамберлика?

— Фу! черт возьми! — возопил офицер и повернул назад.

Ефимов взял фуражку, простился с хозяевами и, выбежав на улицу, свободно вздохнул.

— Извозчик! — крикнул он.

Молодого человека всю дорогу преследовал вечер; в его ушах гудело: «Троватор... ут диз... Тамберлик»...

Было очень поздно, на Невском уже никого не было; Ефимова все еще преследовал вечер: перед самым домом он немного опомнился, когда близ него вдруг подгулявший извозчик, лежа в санях, весело затягивал песню:

Что ты, Дуня, приуныла,
Призадумавшись, шельма, сидишь?

ОБОЗ

По большой дороге ехал обоз; темно; до деревни оставалось не более двух верст. В поле крутилась сильная метель; ветер рвал с возов рогожи и веретья; лошади ныряли в ухабах, под полозьями сердито ревел снег. На переднем возу закутанный лакей, чтобы согреться, пел песни, то и дело переменяя их. Отставший от обоза мужик с занесенным лицом отпрягал лошадь, а в стороне от него другая лошадь сидела в сугробе, не зная, что с собою делать; между тем возки перегоняли обоз, ямщики покрякивали; вьюга как будто все усиливалась. Обоз иногда останавливался и опять трогался; вдали раздавались понуканья или тянулась с переливами песня, относимая ветром, звенел колокольчик и уходил вместе с мчавшейся тройкой; раздавались крики: «Далеко до деревни?» Ветер по-прежнему выл, и метель заносила дорогу. Много было в эту погоду порвано заверток, побито лошадей и пролито слез...

Вечером вьюга начала затихать; колокольчики слышались яснее. Обоз въехал в деревню.

Около одиннадцати часов ночи в избе одного постоянного двора, при свете ночника, сидели за столом хозяин (дворник) и мещанин в красной рубахе; они собирались спать и лениво пересыпали из пустого в порожнее. Работница стирала со стола. На полатах и на хорах лежал ряд человеческих голов, и раздавалось храпение; некоторые лежавшие приехавших мужиков разувались; иные лежа толковали про дорогу, завертки, сломанные оглобли и пр. На печи лакей жаловался, что он отморозил ноги.

— А что, я полагаю, Митрий Егорыч, простуда ведь губит здоровье...— говорил хозяину мещанин, зевая и стуча ножом по столу.

— Губит... Вы про простуду говорите?

— Да... А то раз, я вам не сказывал, мы с Антипом кур ездили покупать: ну, приехали мы к барыне к одной, и я ей сейчас начал доказывать, что все мы созданы из одной глины; а нам у ней хотелось подцепить сотенку цыплят...

— Ну, что же она?

— Ничего: обошлась отменно; а что, как вы полагаете, завтра будет метель?

— Господь знает...

— А гудёт шибко!

Наступило молчание.

— Что, вы продали своего сивого мерина-то?

— Продал, на Никитской ярмарке.

Снова наступило молчание. Мещанин продолжал стучать по столу и зевать.

— Ах, господи помилуй!.. Так-то живешь, живешь, да и умрешь.

— Недаром смерть пишется — с косою,— прибавил хозяин.

Хозяин и мещанин начали вслушиваться, как на печи кто-то рассказывал:

— У него, я тебе говорил, была только жена, мать да три лошади. И ездил он, этот извозчик, по большим дорогам один, ни с кем в общество не вступал и никого не боялся... Лошади у него были такие, цены нету! Сила у извозчика была непомерная: воз ежели взвалился на косогоре, взял, ухватил и поднял! Грудь была около пяти четвертей в ширину, и добрее человека поискать: нищенка сидит,— сейчас подаст копеечку; а поехал — божественное на уме; всякой дворник, мужик за один вид его уважали. Деньги он имел; но главное имущество были лошади; сказываю, животам цены нету!

— А давно это было? — спросил рассказчика лакей.

— Да недавно, тебе говорят.

— Ну, до свидания,— сказал мещанин хозяину, вылезая из-за стола,— пора спать...

— До свидания,— сказал хозяин. Мещанин начал располагаться под святыми, а хозяин пошел за перегородку.

— А вы, Митрий Егорыч,— крикнул мещанин хозяину, кладя себе под голову полушубок,— не знаете, сколько веков прошло от Адама?

— Должно быть, много,— ответил хозяин,— без счет трудно догадаться, надо на счетах это выложить.

— Веков, я думаю, сто двадцать будет?

— Это будет.

— Раз летом,— продолжал рассказчик,— в полдень извозчик этот выехал на крутую гору и отпрег лошадей— кормить. Задал им корму и стал варить кашу. Вскоре к нему подъехали два мещанина и тоже отложили лошадей. Извозчик сидит и говорит мещанам: «Вот, говорит, хорошо бы теперь выпить вина, да поблизости кабака нету». Один мещанин отвечает: «Давай, я привезу водки!» Извозчик дал ему денег, и водка явилась тотчас. Извозчик угостил мещан, съел на доброе здоровье котел каши и лег под телегу спать; жарко было. Мещане трубочки покуривают, лежат, а всё дивуются на лошадок извозчика. Только на другой горе вдруг, мещане увидали, показалась пыль... едет карета шестериком; так катит под гору-то!

Немного годя из-под горы к мещанам бежит кучер с кнутом, а сам кричит: «Эй, эй, братцы! пособите... да-вайте лошадей».

Мещане разбудили извозчика. Говорят: «Пойдем-ка, любезный, посмотрим, что там такое? должно, с каретой что случилось». А извозчик пожался так-то и говорит: «Как было я соснул крепко!»

Приходят к мосту, под гору. Стоит большая карета, и спереди и сзади нагруженная; а лошади стоят, повеся головы, и не отдохнут, будто овцы. У экипажа стоит толстый господин; усы до пояса, глаза черные; вокруг пояса у него струменты, а подле него ходят два маленькие баурченок.

— Ну, что же вы? давайте лошадей! — закричал господин к народу.

Извозчик, про которого я говорю-то, поглядел на карету, походил кругом нее, да и отвечает:

— Вот что, ваше высокоблагородие,— я могу вам пособить, только прикажите ваших лошадей всех отложить; я пойду приведу свою.

— Ладно...

Все думают, как это он хочет изнять одною лошадыю.

Годя несколько извозчик ведет лошадь: бурого мерина, и видно, как с горы-то у лошади грудь переваливается; лошадь спокойная, уши вперед держит, глядит на народ.

Подводит извозчик ее к карете, повернул, а хвост у

ней словно кушак взвился. Принялись ее запрягать, все в молчанку играют; барин как вкопанный глядит на мерина, даже баюрчатки подбежали — любятяся...

А мужицкие лошади стоят в стороне; иная уж легла.

Ну, запрет извозчик... Все глядят, известно...

Слушавший лакей дремал, стараясь, однако, и в полусне уследить за ходом рассказа; мало-помалу, ему под говор рассказчика начала рисоваться летняя большая дорога: стоит карета, вокруг нее народ. Карета поехала; «Прощайте!» — слышатся голоса; лакей вскакивает на пятки и несется... «Ну, вывез!» — шумят голоса. Вдруг лакей бежит по лугу, вдали мелькают разноцветные платья горничных, лакей спешит за ними и тужит, что не захватил с собою балалайки. А вот солнце уже закатывается, и лакей возвращается грустный в барский дом; но на дороге слышит выстрел и останавливается: «А! это барин, должно быть, в утку пробил!»

Вскоре лакей слегка вздрогнул и проснулся; вокруг все было тихо, в избе темно; лежавший с ним рассказчик молчал; по всей избе взапуски разносилось храпенье.

— Иван! — закричал лакей, толкая рассказчика.

— Чего?

— Как чего? Что ж ты замолчал?

— Да я уж все рассказал, вы заснули и пропустили.

— Ну, что же лошадь-то?

— Да я сказал: проезжий господин ее застрелил...

— Как? За что?

— Она вывезла тарантас-то; а барин пристал к извозчику: «Продай лошадь!» Извозчик говорит: «Десять тысяч не возьму... Жизни лишусь...» Господин выхватил пистолет и повалил ее...

— Что же извозчик?

— Говорят, уже больше не ездит по дорогам.

Лакей и рассказчик замолчали; они немного послушали, как в трубе гудет ветер, и заснули. Под окнами хлопали ставни, и на улице изредка слышалось: «Ночевать пожалуйте...»

В избе было как во тьме кромешной; все наповал храпело; у иного в горле такие раскаты раздавались, что представлялось, что кто-нибудь во мраке ночи, подкравшись к спящему, умертвил его.

Рано утром, лишь только пропели вторые петухи, кто-то из мужиков сонным голосом крикнул:

— Эй, вставай, рассчитываться пора!

• В избе зажгли ночник.

— Что, как погода-то, ребята?

— Не говори, брат!.. такая-то бушует!

— Ах ты, господи! Что делать?

— Как мне быть с своею лошадыю-то? Вряд доедет...

Извозчики разбудили хозяина и мало-пōмалу начали собираться вокруг стола, медленно вытаскивая из-за пазухи кошель, висевшие на шее; иные еще умывались, молились богу и старались не смотреть на садившегося за стол хозяина, потому что расчет для них был невыносим. Один мужик стоял в двери и глядел на икону, намереваясь занести руку на лоб, но хлопанье счетов и хозяйский голос смущали его.

Мещанин, разбуженный мужиками, с проклятьями переселился на нары, говоря там: «Чтоб вам померзнуть в дороге, горлодѣры!»

— Ты сколько с меня положил? — простуженным голосом спросил хозяина извозчик.

— Тридцать копеек.

— Ты копейку должен уступить для меня... Я тебе после сослужу за это... ей-богу...

— А кто это у вас, ребята, вчера рассказывал? — вдруг, смеясь, спросил хозяин.

— Про извозчика-то? — заговорило несколько голосов.

— Да.

— Это вот Иван.

Мужики все несколько ободрились, глядя на усмехавшегося хозяина, и были очень довольны, что он хоть на минуту отвлек их внимание от расчета. Хозяин сделал это для того, чтобы мужики не слишком забивали свою голову утомительными вычислениями, а поскорей рассчитывались.

— Важно, брат, рассказываешь, — сказал хозяин. — С тебя приходится, Егор, сорок две... Нет, у нас был один рассказчик, курский... из Курска проезжал, так уморит, бывало, со смеху... две за хлеб да сорок... сорок две...

— Евдоким! Нет ли у тебя пятака?

— Ну только, — продолжал хозяин, — с чего-то давно перестал ездить... уж и голова был! еще давай гривенник... За тобой ничего не останется.

...Однако мужики поняли, что все-таки надо сообщать и следить за расчетом, хотя дворник завел речь

о курском рассказчике. Вследствие этого мужики снова приняли мрачный вид, напрягая все свое внимание на вычисления:

— Егор! погляди: это двугривенный али нет?

— Ну-ко... не разберу, парень...

— Подай-ко сюда!

— Смотри, малый!

— Это фальшивый!.. у меня их много было...

— Хозяин, ты что за овес кладешь?

— Тридцать серебром. Василий! — сказал хозяин, — ты о чем хлопочешь! Ведь ты с Кондрашкой из одного села?

— Да как же... одной державы... только вот разумом-то мы не измыслим.

— Вы так считайте: положим щи да квас — сколько составляют? восемь серебра. Эх, — писаря! Зачем секут-то вас?

— Известно секут зачем... Ну, начинай, Кондратий: щи да квас...

— А там овес пойдет...

— Овес после... ты ассигнацию-то вынь: по ней будем смотреть...

— Вы, ребята, ровней кошели-то держите... счет ловчей пойдет...

— Не сбивай!.. Э!.. вот тебе и работа вся: с одного конца счел, с другого забыл.

Через час, после нескольких вразумлений мужикам, хозяин, придерживая одной рукой деньги, другой счета, вышел вон из избы, оставив всех мужиков с кошельками на шеях за столом.

— По сколько же он клал за овес?

— А кто его знает... Ты ему гляди в зубы-то: он на тебя то напорет, что заимуешь здесь...

— Вот там!.. Чего опасаться? Ты чихверя-то знаешь? Валяй, чихверями... Пиши...

Мужики окружили пишущего.

— Это ты что поставил?

— Чихверю...

— Ну? эта палка что? щи?

— Нет, квас...

— Какой там? Я пишу, что с хозяина приходится?..

— Слушай его!.. Ты, Гаврила, про что давеча мне говорил?

- Да не помнишь, сколько ты у меня взял в Ендове?
- Постой! Я тебе давно говорил, Гаврила, ты восчувствовать должен. На прошлой станции кто платил?
- Ну, ты погоди говорить: сколько за свой товар приказчик дал на всех?
- По гривне.
- Ну, ладно: ты разложи эти гривны здесь на лавке; пойдем сюда к печи...
- Что там делать? А ты мне скажи: ты пил вчера вино?
- Нет.
- Ну, третёводни?
- Нет.
- Ты бога-то, я вижу, забыл...
- Я, брат, бога помню чудесно...
- Нет, ребята, лучше валяй чихверями; мы его живо обработаем! Нарисуй-ко сперва овес...
- Да что вы с ним толкуете; давайте лучше жеребий кинем...
- Для чего жеребий?
- Разведать: может, кто из нас плутует...
- Так и узнал!.. Тут одно спасенье в чихверях... Наука вострая!
- Андрей! Сочти мне, пожалуста.
- Давай. Ты что брал?
- Сено, да ел вчера убоину...
- Ну? а кашу?
- Нет... не ел... что ж...
- А у тебя всех денег-то сколько?..
- С меня приходилось сперва сорок три... а всех денег, что такое?.. Куда я девал грош-то?
- Ну, ты гляди сюда; что я-то говорю: ты убоину-то ел?
- Да про что ж я говорю: жрал и убоину, пропади она!
- Ну, коли так, дешево положить нельзя.
- Что за оказия? куда ж это грош девался?
- Ребята, будет вам спорить! Бросай и чихверя и разговоры; пустим все на власть божью!
- Да нынче так пустим, завтра пустим, этак до Москвы десять раз умрешь с голоду!.. По крайности — башку понабьешь счетами, а то смерть! Я тебе головой отвечаю: что чихверь — первая вещь на свете!
- Ну, ребята, бросай все!

— Бросай!.. провалиться ей пропадом.
— Как провалиться!.. Эко ты!
— Нет, надо считать!.. Как можно!
— Известно, считать... Ай мы богачи какие?
— Ивлий! не знаешь ли: пять да восемь — сколько?
— Пять да восемь... восемь... А ты вот что, малый, сделай, поди острыгай лучиночку и наделай клепышков, знаешь...

Мужики в беспорядке ходили по избе, обращаясь друг к другу и придерживая кошель; кто спорил, кто раскалывал лучину; иные забились в угол, высыпали деньги в подол и твердили про себя, перебирая по пальцам: «Перво́й, друго́й...» Два мужика у печи сидели друг против друга и говорили:

— Примерно, ты будешь двугривенный, а я четвертак... этак слободней соображать...

Один будил на печи лакея, не зная, что делать с своею головою; другой будил мещанина, который закрывался шубой и крепко ругался, покрывая голоса всех мужиков.

Наконец, мужики бросили все расчеты и счета и, перекрестившись, съехали со двора. Недоспавший лакей укутался на возу, ни слова не говоря ни с кем.

На улице было темно; метель была пуще, чем вечером; ветер так и силился снять с мужиков армяки.— Вестах в пяти от станции, на горе, один мужик крикнул:

— Эй, Егор!.. А ведь я сейчас дознал, что хозяин-то меня обсчитал.

— И меня, парень, тоже; ты рассуди: четверик овса... да я еще в прошлую зиму на нем имел полмеры... вот и выходит...

— А ты что ужинал?

— Да хлеб, квас и щи.

— Нет, ты вот что возьми,— перебил первый мужик,— и начался продолжительный спор.

Вьюга выла немилосердно; от сильного мороза мужики часто закрывали свои лица полами армяков.

Недели через три тот же обоз порожний ехал обратно; дворового человека тут не было. Мужики все изменились за дорогу; у одного был подбит глаз, у другого висела огромная шишка на щеке. В обозе везлись сломанные сани, за обозом бежало несколько незапряженных хромых лошадей в одних хомутах; одна лошадь лежала в санях, накрытая веретем.

БРУСИЛОВ

Поздно вечером в доме провинциального чиновника Брусилова сидел на старом диване его сын, лет семнадцати, устремив свои глаза в пол и опустив широкие руки на колени. Рядом с ним лежал белый узел. У стола сидела его мать. В соседней комнате слышалось храпенье самого чиновника, недавно возвратившегося из трактира.

— А то подумай, Костя: не остаться ли тебе здесь?— говорила старушка,— авось приищешь себе местечко в приказных... А то Петербург... такая даль...

— Нет, матушка, я уж давно решил идти... Может быть, со временем помогу семейству. Да мне здесь все надоело: надоел отец, надоела гимназия... Что говорить! давно отправляться пора... Не горюйте... У нас свои стремления... мне легче, что я иду.

— Да я не препятствую: господь с тобою!— говорила мать, боясь противоречий, вредных путешествию,— только не знаю, как ты будешь жить в Петербурге?.. денег у тебя нет... Вот жила век целый, хоть бы грош какой припасла.

— На дорогу будет с меня... Да вы не плачьте, а лучше разойдетесь, матушка: помните, что чрез год я возвращусь к вам студентом...

Мать начала крестить сына; наконец, проговорила:

— Добредешь ли ты, мой родной?.. Дорога дальняя...

— Только до Москвы; а там машина,— сказал сын, перевязывая узел; но, услышав, что мать плачет, замолчал.

Мать поторопилась выговорить:

— Ну спи себе, мой ненаглядный!

— Что вам кажется странным сделать каких-нибудь полтораста верст? — добавил сын вслед уходящей матери, — любая старуха пройдет больше...

Молодой человек сел за стол и начал вписывать в памятную книжку, в которой находились разные исторические и статистические сведения, сцены, монологи и собственные заметки под заглавием: «Соображения». Эти соображения были весьма отрывочны и, по-видимому, писались на лету. Они были в таком виде:

«18** года** числа. Мы просили позволения у инспектора издавать рукописный журнал; он не позволил. После мы услышали от его лакея, что он назвал нас поросятами. Учителя, узнав о нашем намерении, все скорчили гримасы... Сколько было припасено!.. и критик даже был готов...

Отец председательствует в кабаке ровно неделю. Неужели этому не будет конца!..

Петербург! Петербург! Сколько ты вдыхаешь в мою душу жизни, святых надежд!.. Ты кажешься мне великим сокровищем... Без тебя здесь глушат молодость. В доказательство, как я тяготее к тебе, я иду к тебе пешком... Да я ли один? Мысль о тебе озаряет много сердец...

На человека без коренного образования не полагайтесь: он будет во всякое время толковать о просвещении, о прогрессе, единственно для упражнения себя в красноречии. Наши учителя нынче будут читать о Шекспире, Байроне; завтра за картами дойдут до драки; а ученику сделают первую на свете низость.

Говорят, наш географ недавно сочинил следующие стихи:

О! как приятно с девой в нóчи
Сидеть в саду, когда сад пуст,
Лобзать ее, глядеться в очи —
И вдруг рвануться в дальний куст.

Провинциалы, не потерпят вас, если вы явно образованный, просвещенный человек. Они вас будут слушать с испугом и недоверием и будут стараться избавиться от вас. Явитесь вы просто чиновником, любящим выпить, — вы будете понятны и любимы.

Я заметил, что труд сам по себе имеет целебное влияние на нравственную сторону: он именно складывает характер человека. Если бы мне дали в Петербурге какое-

нибудь содержание! Пусть какое угодно берут обязательство... Чувствую, что мне предстоит там борьба... Я горд... Застигни меня голод, я решусь умереть, но не унижусь до просьбы... Находят, что я несообщителен. Пока останусь при всем, чем богат, в таком виде явлюсь в Петербург, — там начну новую жизнь...

Кажется, человек может жить без пищи больше недели... Вчера учитель истории с улыбкой спрашивал меня, правда ли, что я собираюсь в Петербург? Странно! чего ж тут усмехаться?.. Не поймешь, что это такое делается!

Всем моим товарищам от души желаю университета... В Андрееве виден будущий литературный богатырь... Кто-то из товарищей спрашивал: «А что, если Андреев пойдет в подьячие? Что выйдет?» — Вероятно, подьячий и выйдет.

Сегодня я увидел в тетрадке учителя истории следующее: «Ученикам для лучшего удержания в памяти: Марк Катон Цензор имел рыжие волосы и серые глаза. Агезилай — на одну ногу хромял.

Самые воинственные полководцы, отличавшиеся силою ума, как-то: Антигон, Серторий, Ганнибал, Филипп — были кривоглазые.

В Аравии водятся овцы с предлинными хвостами, так что пастух подвязывает им к хвосту тележку...» и т. д.

Конец!.. Вооружившись быстротою Ахиллеса, через день отправляюсь в Петербург... на душе праздник... Прощайте, прощайте!..»

Вообще в памятной книжке Брусилова было научных замечаний более, чем собственных; как видно, он не слишком любил изливаться на бумаге; а делал свои «соображения» вскользь, не придавая им особенного значения.

Рано утром чиновник Брусилов опохмелялся в трактире, а его сын шел по московской шоссеной дороге с палочкой и узлом. Он шел бодро, сильно работая ногами. Прохожие, смотря на его широкие плечи и поспешную ходьбу, полагали, наверное, что он будет в Москве через четыре дня.

В Петербурге Брусилов представился с письмом своей матери одному седому купцу. Купец, надев на глаза очки, прочитал письмо и сказал сурово:

— Вашу мать я коротко знаю: я сам из города N. Вы нешто в первый раз в Петербурге?

— В первый. Я прибыл сюда держать экзамен на медицину.

— Да, чай, родители вас не могут содержать? — хмуря брови, спросил купец.

— Я должен буду просить казенного содержания у медицинского начальства.

— Отчего же вы на медицину?

— Я бы лучше поступил в университет; но там, говорят, нет казенного содержания.

— Так. Ну, отчего же вы на своей родине не поступали в приказные? Там ваши родители... Чего?

— Да не захотел...

Купец сдвинул на лоб очки, посмотрел на старый нанковый сюртук Брусилова и проговорил не без презрения:

— Мало что не захотел!.. Вот ваша мать пишет, чтобы я вас поместил у себя на месяц... Что такое?

— Выдержу экзамен, я вас не стану беспокоить, — вымолвил Брусиллов, подавляя в себе внутреннюю боль.

Оставшись один в комнате, Брусиллов развязал узел, надел суконный сюртук и стал раскладывать на столе книги: историю, математику, географию, все еще чувствуя какое-то внутреннее беспокойство. Затем вынул из кармана памятную книжку, записал: «...июля... путь кончен; я в Петербурге... в кошельке четыре рубля...» — и отправился в академию на Выборгскую сторону. Узнав, что Брусиллов ушел, купец пробрался в его комнату, как хищная птица, и осмотрел все его вещи.

— Жена! — говорил купец после, — что-то меня робость берет!

— А что? Аль опять живот болит?

— Нет, насчет приезжего думаю: не мазурик ли?

Купчиха стала напротив купца и, сверкая глазами, вскричала:

— Ну, как же ты, не сообразясь с своей башкой, впустил его сюда? Что ты в самом деле?

— Ну, что ты кричишь-то?.. Сумасбродная!..

— Что же, ты пойдешь в баню-то? — перебила купчиха.

— Ишь, заправду волю-то взяла!

— Иди, говорят, в баню-то! — уходя, добавила купчиха.

В академии, среди двора, в коридорах, на подъезде, Брусилов встретил много молодых людей, приехавших держать экзамены, в шляпах, разноцветных фуражках и галстуках, во фраках, со стеклышками, тросточками,— и все это двигалось, шумело и дышало такою провинциальною свежестью, что постоянный петербургский житель, глядя на светлые лица молодых людей, не мог не вспомнить и не вздохнуть о своей исчезнувшей юности, когда грудь захватывали поэтические стремления... У стен, по углам бродили в нахлобученных фуражках бедняки, думавшие о квартирах и вспоможениях...

— Здорово, брат! — раздавался звучный голос краснощекого франта в белой фуражке.

— Здорово!

Руки взмахивались во всю свою длину и громко хлопали.

Толки шли об экзаменах, факультетах, кутежах, петербургских удовольствиях, профессорах, квартирах... Стоял тихий июльский день; облака так мирно плыли над академией... Брусилов стоял у перил лестницы, вглядываясь в проходивший народ.

— А! Брусилов! какими судьбами? — воскликнул один студент.— Пойдем в мой номер.

Брусилов явился в номере среди своих земляков, утопавших в клубах табачного дыма.

— Ну, как вы здесь поживаете? — спрашивал он, глядя на картежную игру, происходившую между четырьмя студентами, сидевшими на столе.

— Да вот скоро кончим курс, примемся лечить...— говорил один земляк, Антонов.

— А ты тоже на медицину, Брусилов?

— Послушаю ваши лекции; а то в университет перейду.

— Оставайся лучше здесь! Медицина наука положительная: лекарское местешко получишь; в доктора не хлопочи... много нам надо!..

Брусилов посмотрел на других земляков; никто из них не возражал Антонову, все они, казалось, были согласны с ним. Брусилов на минуту задумался, потом спросил не без иронии:

— А помнишь, Антонов, как ты мечтал в гимназии? Верно, теперь ты у пристани?

— Кровь моложе была... бродила. Теперь я отрезвился и нахожу, что Эпикур был великий человек...

— Мечтают одни провинциалы; тут нужна практичность; с юношескими стремлениями пропадешь в Петербурге, — добавил другой земляк, снимая карты.

Брусиллов более ничего не говорил. Он простился с земляками и пришел к купцу уже при огнях.

Наступила осень. Нева день ото дня покрывалась яликами и барками с мебелью; по улицам тоже перевозилась мебель; все тянулось в Петербург. Полились дожди... Гул и трескотня на улицах усиливались; кипучая петербургская жизнь наступала. Брусиллов давно оставил купца и жил на Выборгской стороне в темной каморке, в два рубля, без окон, без мебели, с гнилым полом, из-под которого по ночам выбегали стада крыс и мышей с визгом, наводившим ужас. Брусиллов сдал свои экзамены и подал прошение о казенном содержании, а в ожидании решения слушал медицинские лекции, ходил в публичную библиотеку и поздно возвращался в свою сырую квартиру. «Денег нет, — писал он в книжке, — становлюсь героем...» К землякам он не ходил, боясь познакомить их с своей кельей, которая его самого пока не приводила в отчаяние. Его тревожила одна потребность деятельности и труда.

Однажды утром Брусиллов лежал на своей постели, устроенной на полу из охапки соломы и хозяйского одеяла, которому не было имени, и думал о том, как скоро можно умереть, если более недели расстроен желудок. За стеной у хозяина стучал маятник и иногда слышались вздохи. Хозяин был отставной капитан, с Брусилловым мало виделся. За другой стеной раздавались крики и брань каких-то рабочих и однообразное хрюканье свиньи, подкапывавшей стену и грозившей разрушением всего дома. В комнате Брусиллова явился кто-то.

— Кто здесь? — спрашивал незнакомец.

— Что вам угодно? — ответил Брусиллов, надевая сюртук.

Незнакомец повторил:

— Кто здесь?

Брусиллов узнал голос земляка.

— Константин! ты ли это? — говорил земляк, выводя Брусиллова в переднюю, где было посветлей.

Брусиллов опять очутился в своей комнате.

— Да постой! я к тебе не один...

Вскоре вошло еще трое земляков. Все принялись изъяслять сожаление, расспрашивать: что за причина такого положения?

Свидание кончилось тем, что земляки присоветовали Брусилову, в ожидании вспоможения, перебраться в госпиталь, где можно по крайней мере иметь сухую комнату. Брусиллов подумал, подумал — и через три дня отправился в больницу.

Глушь и скука царствовали в больнице; везде почти был один разговор про доктора и больничный суп, который был обкладываем самыми едкими сарказмами; всякий сердился и по несколько часов лежал не раскрывая рта: всякий думал об одном; как бы скорее на вольный воздух. Выписывавшийся вон наводил на всех уныние. Больница очень походила на тюрьму с преступниками, денно и нощно занятыми своим освобождением.

Иногда, впрочем, появлялся в каком-нибудь номере больной офицер с неумолкаемыми рассказами про любовные приключения с неожиданными развязками, — тогда в номере была жизнь. Больные, запахивая свои халаты, окружали рассказчика, и раздавался смех. К Брусиллову изредка приходил кто-нибудь из земляков, приносил медицинские записки и говорил, что про вспоможение ни слуху ни духу... Брусиллов начал засиживаться у окна, глядя на пасмурные дома, торопившийся народ, проезжавших, толпу рабочих; он чувствовал, что голова его словно дымилась от налетавших одна за другой мыслей... «Что делать, что делать?» — твердил он. У Брусиллова жила мысль, что, в случае совершенно безнадежной крайности, он найметя в работники, и ему вспоминалось, отчего так много людей не на своих местах, с убитым призванием...

Но вот Брусиллов получил, наконец, вспоможение — в пять рублей. Он был обрадован не столько пятью рублями, сколько тем, что мог выйти из лечебницы. Обутый в новые рыночные сапоги с длинными носами, он перешел в дом мещанки Пустынской, где вступил в сообщество трех вольнослушателей.

Новая квартира, стоившая шесть рублей, была с одним диваном, двумя стульями и одним хозяйским сундуком, припиравшим боковую дверь. Не прошло двух недель, как в одно утро мещанка Пустынская стояла в комнате своих жильцов и требовала денег. Но жильцам было не до это-

го. Они хлопотали вокруг одного своего товарища, Вавилонского, с которым делалась холера. Вавилонский принадлежал к тем известным личностям, которых с раннего детства сопровождает бедность: эти люди чрезвычайно скромны и выносливы; им кажется, что они хуже всех, и если их преследует нищета, оскорбления — они все скрывают в сердце.

Вавилонский, долгое время питаюсь хлебом и колбасой и, за неимением платья, сидя постоянно в сырой комнате за остеологией, наконец вдруг почувствовал озноб и судороги—что заставило товарищей скорее снаряжать его к кухмистеру, где, по их мнению, можно было поправить несчастье горячим супом. Больному добыли сюртук с какого-то высокого студента и необыкновенно длинные панталоны. Один из товарищей держал Вавилонского под руки, другой надевал панталоны, и, чтобы сделать их в пору, подвязывали их подпоясками, продевая концы между ног и завязывая узлы на спине умиравшего. Товарищи не ошиблись в своем предположении; действительно, после обеда больному сделалось легче, так что наутро, если бы у него было платье, он мог идти в аудитории. Но на другой же день после этого события хозяйка, вооружившись помелом, стояла среди комнаты и требовала, чтобы жильцы выходили вон из квартиры. Студенты находили такое требование основательным, прося Пустынскую об одном, чтобы она позволила им дожидаться вечера, потому что они все были в халатах и калошах. Хозяйка принуждена была согласиться на это, и студенты, при наступлении вечера, разбрелись, куда кто мог, оставив комнату, наполненную табачным дымом. Что случилось с Вавилонским—неизвестно.

Брусилов перебрался к одной Выборгской кухмистерше, в маленькую комнату, смежную с кухней. Хозяйка давала ему обед, и он, донашивая рыночные сапоги, посещал усердно публичную библиотеку и академию; но вскоре все это миновало; он более никуда не выходил; в комнате ежедневно носился чад и угар; в обеденное время за стеной гремели тарелки и вилки, возбуждая в Брусилове желание есть, но кухмистерша плотно припира-ла его дверь. Между тем от чаду у него трещала голова, ему хотелось выйти на воздух... и он бросал печальные взоры на лежавшие в углу разорванные сапоги. Однажды

из кухмистерской отворилась дверь, и, ковыряя в зубах, вошел один студент с прищуренными глазами. Он, не торопясь, сказал, что он наслышан о бедности Брусилова и готов платить за него хозяйке деньги, с условием: иногда принимать в его комнате некоторых знакомых девиц. Брусилов отказался от этого предложения и долго сидел у окна, думая, что ему делать. Разбирая свое путешествие в Петербург, он нашел, что он был слишком неопытен,—что не сообразил самого простого вопроса: «Какое имел он право пожаловать в Петербург, не имея денег? Разве ему неизвестна общая судьба бедняков?..» Вечером кухмистерша объявила Брусилову, что, если он не добудет к утру денег, она его выгонит.

Наступила весна. Брусилов лежал больной в одном постоялом дворе, набитом извозчиками, на Петербургской стороне. Его кровать стояла у самого окна; подле него сидел дворник.

— Как же это быть-то,— говорил он Брусилову,— нездоровы-то вы... Управляющий велел просить денег... он говорит, что тут одному купцу требуется учитель; вот бы вам туда лапу-то запустить... да ишь нездоровы!

В углу раздавалась песня: «Э-эх, всгоря песню запоем».

— Перестань, Ефим,— говорил один ямщик,— вишь, больной лежит.

— Ничего, пойте: меня сегодня не треплет лихорадка,— сказал Брусилов.

Брусилову было отказано в вспоможении за непосещение лекций. Еще живя у кухмистерши, он добывал себе деньги перепиской бумаг и этим жил до тех пор, пока, перебравшись на постоялый двор, не получил лихорадки. Дворник, от имени управляющего, все чаще напоминал Брусилову об уплате за угол, который он занимал.

Наконец, Брусилов, выбрав темный вечер, в одном сюртуке отправился к знакомому седому купцу — просить взаймы денег. Он явился туда весь в поту и встретившую его купчиху своими оловянными, впалыми глазами так напугал, что она сначала только подержалась к стороне, потом бросилась по комнатам и исчезла; купца не было дома.

Брусилов сошел с лестницы и направился опять к Пе-

тербургской стороне. Он шел через мост; дул сильный ветер; волны с шумом хлестали в темной бездне...

— Подайте нездоровенькой...— слышался голос и пропадад, относимый ветром.

Бежали дрожки; вдали светились фонари, и жалобно играла шарманка...

В тот же вечер с Брусиловым сделалась горячка. Он лежал без памяти у своего окна; извозчики сидели за столом, считая деньги. За стеной пьяный сапожник бил свое семейство. Наверху, во втором этаже, шла пляска; дружно взвизгивали скрипки, и время от времени подпевали голоса: «Эй, Татьяна, отвори ворота...»

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Были сумерки. Голопятовка с своими сараями, закопченными избами и овинами утопала в сугробах. На реке у почерневшей проруби стояли бабы с толстыми, завернутыми в тряпки ногами: мимо них, с граблями через плечо, шел мужик, осыпанный мякиной; вдали тихо гудел побелевший лес.

Среди крестьянского двора, во многих местах разрушенного, стояли занесенные снегом, шаршавые клячи и овцы, подбирая солому; под навесом жались воробьи, колыхалось замерзлое белье, валялись обледенелые колеса, плетушки и разная рухлядь. Баба, в худеньком кафтане, высоко подпоясавшись тряпкой, несла вязанку хворосту; шла метель; с поветей валил снег и крутился по двору.

В голопятовскую улицу въезжал с хриплым криком торгош. Он остановил лошадь и вошел в темную избу задолжавшего ему мужика. Сняв шапку, торгош крикнул:

— Кто дома?

На печи раздавался удушливый кашель больной старухи; на земляном полу чавкал поросенок.

— Бабка! дома Митрей?

— Чего-о? Нетути его, кормилец...— шурша соломой, ответила старуха, — четырнадцатый денек уехал в Москву.

И старуха опять закашляла.

Пробираясь сугробами мимо плетней, шла птичница к скотнице посумерничать и застала ее сидевшею с подойником под короною в кухне, в которой было так тихо, что, кроме сверчка и шумевшего подойника, ничего не было слышно.

— Здорово живешь, Митревна, касатка,— сказала птичница.

Становилось темнее и темнее. Торгаш с заиндевелою бородой все ходил по дворам, отыскивая должников; в избах окна были запушены снегом, и царствовал совершенный мрак.

— Эй, кто здесь? — спрашивал мещанин, пригибаясь под дверью.

Никто не откликался.

— Михей! Ишь, словно всех выбило...

— Анисим! — кричал он в другой избе; но, кроме жевания коровы у печи, ничего не получал в ответ, — чтоб вас совсем!..

Торгаш уходил.

Кое-где в окнах появились огоньки; время от времени по реке, темной полосой, пробегали порожние сани и слышались замиравшие голоса...

В широкой избе, с ручьями на стенах, с снегом на окнах, горела лучина; на лавках сидело несколько баб и старух за пряжей, опуская чуть не до земли жужжавшие веретена; лицом к стене стоял пасмурный, худой шерстобой, громыхая толстой струной; на полотах виднелась черная голова; на печи лежали два солдата, один лицом вверх, другой — вниз; у стола вил веревки парень, часто бросая работу и потирая локтями свои бока. — Шел разговор:

— Уж и стыдь, бабы...

— Федосья! ты, чай, уж выткала свои красна-то?

— Не все... много остачи...

— Посмотрю я на тебя: завислива прясть, девка... шутка ли, три холста напярала! да и прядево у тебя... Бабушка! погляди-ко у ней холстину-то...

— Ну-ко, — досучивая нитку, отвечала старуха, — сударики мои! миткаль, как есть...

В избу вошла баба с донцем и посиневшим мальчиком. Она подняла вверх руку и проговорила:

— У вас тепло таки! а я пришла посидеть... дома-то у нас никого нет. Что, ваши мужики не приезжали?

— Нет, Антоновна; ждем не дождемся.

— А я сейчас шла — такая-то несет!.. у ваших ворот снегу набило, — никак не пролезешь... да и сиверко!

Баба вздрогнула и стала усаживаться.

— Так-то думаешь, думаешь — господи! хоть бы уж скорее помереть... — говорила одна старуха, — что живешь? ни тебе радости, ни тебе покою...

— А молиться небось не любишь! — подхватил шерстобой, — охать охаем, а душе помину нет! Вот осуждать — наше дело!

Шерстобой сильно забил струною; один из солдат приподнял голову и посмотрел на него с печи.

Две молодые бабы тихонько говорили между собой:

— Ну, что же золовка-то?

— А золовка-то ей и баяла: ты тепереча в тягостях, ты бы подумала о себе: век жить — не поле перейти.

Рассказчица сняла с нитки кострику.

— Ну, а деверь-то?

— Деверь, голубчик ты мой милый, так гонит ее, со света сжил! Уж что: не жизнь — сокруха одна...

— Здравствуйте, спешна работа! — заговорила входившая баба с горшком, — а я за огнем к вам... все ждем мужиков... сейчас бежала, глянула туда, к городу-то, не едут ли наши? нет!.. только буря стонет...

— Что прядешь, Марья?

— Да что прядь-то? ни былинки нет... видно, так останемся...

Баба начала зажигать огонь.

— А что-то, я шла, погластилось мне, будто у вас в закуте пищит ровно... отробь взяла; а после подумала: дескать, не поросята ли?

— Эй, эй, Ефим! встань! — заговорила одна баба, трясая за волосы мужика на полатах, — встань, говорят, сходи в закуту!

— Что там еще выдумала!.. — сказал мужик и спрятал голову.

Один солдат спокойно рассказывал своему товарищу:

— Вот и говорит нам: «Выучите вы, удальцы, песню:

Ребята! слава впереди,
Душа кипит в восторге...
У каждого верно на груди
Зависит Георгий...

Потому, давно в вас сугубая готовность к жертвам и насчет отечества дух Минина!» Мы тут как грянем:

Что под дождиком трава,
То солдатска голова!

— А что, бабка, не пора ли нам ужинать? — спросил другой.

— Сейчас, родимой.

— А-их, господи!.. жизнь-то человеческая... Сергевна, посмотрю я...

— Да!.. — насаживая на гребень намычку, сказала одна из старух.

Бабы начали хлопотать об ужине. Компания стала расходиться.

— Пойду, Еремеевна, домой; завтра на барщину надо.

— Пойду и я. Прощайте!

Буря не утихала; на деревне лаяли собаки, и где-то далеко сквозь снежные вихри звенел колокольчик. Все в деревне спало под жалобную голосьбу ветра; разве где-нибудь мерцал огонек и за пряжей сидела бессонная старушка.

ИЗ ДНЕВНИКА НЕИЗВЕСТНОГО

Май... В деревню, в деревню! Пора вздохнуть на просторе. Я рассчитывал прожить в деревне, сколько возможно, сняв квартиру у какого-нибудь крестьянина. Въехавши в одно село, я попросил ямщика остановиться у первой хаты. Ко мне вышел мужик; я поклонился ему и спросил:

— Не могу ли я у вас нанять квартиру?

— Не знаю, родной: у нас есть холодная изба, да понравится ли вам? Вы чьи?

— Я из Петербурга. Я не занимаю никакой должности. Мне хотелось пожить в деревне.

Мужик пригласил меня в избу, наполненную кадучками, пенькою и разным тряпьем.

— Мне нравится эта комната,— сказал я,— позвольте мне ее занять.

Бабы начали выбирать из избы рухлядь. Со мной был самовар, который вскоре шумел на столе.

На другой день я познакомился с семейством хозяина. Изба была набита поросятами и ползающими детьми.

К вечеру я собрал в деревне до десяти мальчиков и открыл в своей квартире школу.

Недавно был в одной крестьянской избе: толковали о работе, пряли, ссорились. Все семейство упрекало друг друга, кто сколько поел хлеба; одна больная баба стонала на полотах; парень говорил своей матери-старухе, что нет денег на подушное; старуха говорила, что хлеб на исходе. И это, вероятно, идет каждый день!..

Июнь... В наших окрестностях живет следующая барыня. Дом ее с заглохшим садом, покосившимися столбами на подъездах и разбитыми рамами.

Барыня ходит в кацавейке. У ней есть дочь лет двадцати пяти, некрасивая собою; она ничего не читает, больше сидит в девичьей — играет в носы и вслушивается, не звенит ли колокольчик на улице?

В кабинете барыни груды холстов, намычек, картофелю. Здесь барыня ведет разные сметы по имению или штопает чулки и поглядывает, не идет ли на ее огород чья-нибудь корова. Заметки свои она не бережет, и мне раз пришлось прочитать из них следующее:

«... За 18... год. Август, сентябрь.

Ермолай Антонов: восемь человек семьи, одна корова (пятого августа отёлилась); десять кур, два петуха (один из них похож на индюшку). Ржи восемь копен, гречиху поел осенью; хохлатая курица непокойна — летает на мой огурцы; корова бывает в моем коноплянике...»

Однажды я разговорился с дочерью барыни:

— Читаете ли вы? — спросил я.

— Нет-с, у нас книг нет...

— Любите ли вы природу?

Она молчала. Молчание продолжалось долго. Наконец, она принесла свой альбом и сказала:

— Вы, вероятно, скоро уедете, напишите мне что-нибудь — на память.

Я взял альбом, исписанный разными руками, и, пока обдумывал, что написать, моим глазам представились следующие заметки:

Капитан Пряников. Жал руку в саду, уехал на Кавказ... Жду...

Поручик Кошкин. Обедал два раза... усы длинные... Изменил!..

Прапорщик Огнев. Много пьет... подает надежды...

Поручик Иголкин. Нет надежды...»

В проливные дожди в разбитые окна барского дома гудит ветер. Барышня кутается в ватное пальто; барыня перебирает мешки и тоже зевает. Но иногда, несмотря на дождь, барыня отправляется куда-нибудь на таратайке и привозит целый воз моркови, репы, и все в доме оживает.

Иногда несколько горничных вбегают к барыне и кричат:

— Барыня! офицер едет!

— Офицер едет! — вскоре раздается по всему дому.

— N-ского полка... второй дивизии — прапорщик Метелкин, — говорит офицер.

— Вы, вероятно, с нами откусаете? — спрашивает барыня.

— С удовольствием, — отвечает офицер, — и все садятся за стол.

— Ваша деревня очень живописна, — говорит офицер, проглатывая кусок.

— Да-с...

Раздается звон колокольчика, и через минуту является другой запыленный офицер.

— Второго N-ского пехотного батальона — прапорщик Мочалкин!

— Не угодно ли вам с нами откусать?

Мочалкин садится за стол и проворно набрасывает на колена салфетку.

— Вы, должно быть, из Петербурга? — спрашивает хозяйка.

— Нет, из Москвы, — сухо говорит офицер, осушая рюмку водки.

— Не взывайте! — говорит хозяйка.

Все поднимаются.

Новый гость подходит к углу и начинает подвязывать саблю.

— Как, вы уже отправляетесь? — спрашивает дочь барыни.

— Поспешаю догонять товарищей.

Вскоре звенит колокольчик.

— Вы не танцуете? — спрашивает барышня оставшегося офицера.

— Нет, я сейчас уезжаю...

— По крайней мере, — просит грустным тоном барышня, — напишите мне что-нибудь в альбом.

Она приносит альбом, и офицер пишет:

Для любви одной природа
Нас на свет произвела.

Он подвязывает саблю и тоже уезжает...

Никуда не езжу; ученики все читают.

Сегодня был у меня становой по поводу моей школы.

— Вы не имеете права основывать школ,— говорил он,— покажите мне предписание.

— Но ведь учат же грамоте сельские дьячки?

— Да,— сказал становой,— но эти учителя, кроме псалтыря, ничего не смыслят... Вы упускаете из виду наши высшие соображения...

Пришлось помочь одному семейству, где вопияло зло из-за рубля.

Был в поле; пахал мужик... вились кое-где вороны... все было грустно, одиноко вблизи стоял дремучий лес, какая-то тихая жалость от песней шумевших деревьев. О чем говоришь ты, прекрасный лес? или плачешь ты? Но он все шумит, никому ничего не говоря; героев ли ты каких оплакиваешь, или всю нашу родную сторону?

В наших окрестностях живут следующие три сестры девицы.

Утро. Девицы в белых пеньюарах сидят и зевают: одна держит роман и посматривает на себя в зеркальцо; другая смотрит в окно; а третья лежит на диване, подложив руки под голову. Лакей с угрюмым лицом стоит у двери и говорит:

— К чаю пожалуйста.

— Не отправиться ли нам сегодня за клубникой? — лениво говорит одна.

Другая декламирует:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем...

— Куда же девался поручик Астафьев? — спрашивает третья.

Лакей отвечает:

— Астафьев на Кавказ давно уехали.

— От кого ты слышал?

— Это верно, сударыня...

Длится молчание.— Горничная приносит газеты.

— Вечная скука!.. пишут о хлебных ввозах... о торфе...

Одна закуривает папироску и говорит, пуская дым:

— Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?..

Тихо шуршат листы по комнате...

— К чаю пожалуйста! — нетерпеливо говорит лакей.

После чаю девицы все в саду. Одна сидит на скамейке, потягивается и говорит как бы про себя:

— Ах, теперь бог знает куда уехала бы... в Италию... в Швейцарию. Отчего это к нам никто не едет? — Она задумывается и поет: «Спи, ангел мой, спи, бог с тобой».

Другая идет по аллее, щелкая листьями. Появляется мать.

— Мaman! вы читали «Le Nord»?

— Особенного ничего...— говорит мать и уходит.

— Кушать пожалуйста! — говорит лакей.

— Итак, он не воротится,— тихо рассуждает третья, гуляя по дорожке.— Отчего грозы так давно нет? хочется грозы. Антон! пришли мне стакан воды. (Она садится.) Какая тишина!..

— Какая это у тебя книга, ma chère?¹

— Все «Маркиз»...

По саду щебещат птицы, повсюду райская тишина...

— Что ж это никто не едет? — повторяет одна.

— Барыня гневаться изволят,— замечает лакей.

Завтрак идет так: девицы не садятся за стол; они продолжают гулять по комнатам, изредка подходя к столу и дотрогиваясь вилкой до маленького кусочка, который потом несъеденным лежит где-нибудь на окне.

После завтрака девицы в платьях находятся в своей комнате: кто над кроватью, кто над стулом читает. Одна сидит в креслах, положив ноги на ближайший стул.

Упорное молчание, только на улице ревет корова.

— Кушать пожалуйста! — говорит лакей.

Все молчат. Лакей пожимает плечами.

— Дай мне карандаш...— тихо говорит одна; другая молча дает...

— Вот седьмую страницу перевортываю и сама не знаю, что я прочитала,— говорит третья с глубоким вздохом.

— Ах, какая скука!.. у меня ужасно болит голова...— Она закрывает глаза.

— Оттого, друг мой, что ты нагнувшись читаешь.

— О чем это люди пишут, хлопчут? Не пойму никак...

— Кушать пожалуйста!

¹ Моя милая? (франц.).

— Je vous assure¹, ни прогрессам этим, ни новизнам, при всей доброте души моей, ей-богу, не сочувствую... tout ça m'est bien égal...²

— Помилуй, mon ami³, кто ж этого не понимает? Да возможно ли в нашем положении это сочувствие? Что для меня такое — грамотность вводится? Негров хотят освободить? дороги, канал какой-нибудь проводят?

— Я,— говорит другая, держа перед собой книгу,— в отношении ко всем этим вещам глуха, слепа и нема.

Продолжает читать.— Настает молчание. Одна говорит, качая ногой:

— Что так жадно глядишь на дорогу...

— Кушать подано!

— Кажется, гром гремит,— с радостью говорят все.— Антон! гром гремит?

— Точно так: туча здоровая валит оттудова..

Две подходят к окну; сверкает молния.

— Барышни! — кричит вбежавшая горничная,— какой-то молодой человек приехал.

— Кто? откуда?

— Из Петербурга...

Все несутся в зал.

Молодой человек раскланивается; начинаются толки о прогрессе, о Петербурге и пр. ...

Июль... Все по-старому... Опять был становой. Везде неурядица; все досадуют на жизнь, провалиться хотят... Чего-то ждут, будто в дорогу собираются... Каждый день бедность... Кругом все глухо... непробудно...

На днях видел следующую деревенскую сцену: у нашего крыльца стояли две телеги с огромными клетками, в которых сидели куры, индейки и гуси; вокруг клеток были прикреплены деревянные желоба с зернами; птицы кричали и пели. В избе моего хозяина сидел мещанин и спрашивал, не продается ли что? Кто показывал старую рубашку, кто ловил под печкой кур. В избу вошел мужик и сказал, что он продает двух цыплят.

— Поздние? — спросил мещанин.

— Да, молодые.

— А где они у тебя содержались?

¹ Уверяю вас (франц.).

² Все это мне безразлично... (франц.).

³ Друг мой (франц.).

— Иногда на дворе, иногда в избе,— сказал мужик.

— Когда ты говоришь в избе, гляди сюда: какая же им должна быть цена? ведь все это издохнуть должно, поколеть?

Мужик был озадачен; хотел что-то говорить, но не мог.

— А вот зипун не купишь ли?..— спросил он, раскрываю полы своей одежды.

— Ну, не знаю! Это товар-то плёвый!..

Вошла в ветхом армяке старушка и сказала, обратившись к курятнику:

— Не купишь ли, родной, у меня гусыню избеную?..

— Опять избеную! — сказал курятник.

— Только,— начала старуха,— я тебе что хочу сказать: есть у ней порок: раз Ванюша, мой сынок, рубил что-то в избе, а эта гусыня и подвернись... Он ее!

Старуха посмотрела на курятника.

— Голову, что ли, отрубил?

— Сохрани бог! — сказала старуха,— только два персточка отсек ...

— Ну, это дурацкая гусыня!..— воскликнул курятник и вышел на улицу, где встретил большую толпу баб и мужиков; кто держал пеньку, холстину, кто цыплят и уток, кто даже привел теленка.

— Телят я не покупаю: а что этот стоит?

— Что уж дашь...— говорили ему.

— Маловат больно...

— Ты что ж дашь, значит? Нам вот на подушное...

— Трехрублевый, пожалуй...

— Ермил Андроныч! Этому телку уж год...

— Что там! пустой теленок! — сказал курятник.— Ты послушай меня, ты знаешь, почему ноне скотина?

— Почему?

— Поди спроси на базаре! Ну, вы что?

— Ермил Андроныч! у меня есть свинья.

— Небойсь дорога? — спросил мещанин.— Ты понимаешь человека благородного? Вот как от души, сейчас помереть: неужели ты думаешь, что я нуждаюсь в свинье? Что я такое? Наше ремесло куры! Ладно! веди свинью...

— Ермил Андроныч! не хочешь ли, у меня кобыла есть?

— Постой,— сказал курятник,— ты сообрази: что я, цыган, что ли? Неужели, промышляя курами, я должен нацеплять к своему возу целый табун лошадей?

Вскоре завизжали свиньи, и курятник купил всё. Севши на воз, он сказал:

— Так-то, братцы!

А некоторые из мужиков говорили между собой:

— Куда ж податься-то!..

Я уезжаю... Прощай, деревня!.. Лежи больной... вся надежда на твой организм...

— Прощайте, добрые люди! — сказал я хозяину и его семье.

— Что же ты, родимый, уезжаешь от нас? — заговорила семья.

— Да; живите себе...

— Верно, служба тебя требует?

— Нет, у меня службы нет... Я буду без дела...

Я стоял у притолоки и хотел что-то сказать, но только выговорил:

— Прощайте!

— Прощай, кормилец!

Дорогой пошел дождь; я едва доехал до станции.

Я сидел у окна и смотрел вдаль.

На горе стояла мокнувшая деревенька, словно заливавшаяся слезами...

СТУДЕНТ

На Петербургской стороне среди двора стоял в ветхой шинели студент и кликал дворника.

Из флигеля вышла седая фигура, в белом колпаке и замасленном халате.

— Здесь отдается комната? — спросил студент. Фигура пригласила его во флигель.

— У меня комната, — сказал старик с острым, блуждающим взглядом, густыми бровями и крючковатым носом. Разговор шел в узенькой передней, из которой одна дверь вела к старику в комнату, а другая — в какую-то мрачную келью.

— Мне недорогою, — сказал студент.

— Поглядите, понравится ли.

Студент двинулся вперед; старик сурово осматривал его, словно ястреб, сгибая набок свою шею и опуская глаза до самого полу.

Келья была без окон; студент заметил, что в полу не было многих досок, потому что несколько раз оступился.

— Без окон, без мебели, безо всего, — заметил старик, — печка есть русская; цена за все два рубля в месяц.

Студент отдал деньги.

— А чем вы занимаетесь? — спросил старик.

— Я живу уроками.

— А медициной не занимаетесь? Медицину я люблю... вот все хочу добыть костей... голову собираюсь рассмотреть... медицину люблю... философией занимаюсь. Что вы такой худой?

— У меня чахотка...

Часа через два студент переселился в новое жилище; с первого разу он не мог ничего видеть в комнате, нако-

нец заметил оборванные стены, пол с ямами и завалившуюся печку. Старик принес ему с чердака охапку соломы и стул. Укрепив на гнилом подоконнике сальную свечу, студент начал читать какую-то книгу.

За стеной иногда раздавались шаги и шевелились книжные листы; за другой стеной слышался чей-то разговор.

Часов в восемь вечера старик пригласил жильца пить чай. Студент узнал, что старик жил пенсией, никогда не был женат, отвергал духов и был убежден, что он не умрет, а перейдет в другое животное. На полках у него помещались птичьи скелеты, банки, разные книги: анатомия, философия Канта, патология, химия, библия и проч.

После чаю студент сидел в своей комнате и читал. Вдруг, как привидение, явился к нему старик, чем-то озабоченный.

— Что, вы тут сейчас ничего не делали? — спросил он строго.

— Я читал, Авдул Титыч.

— А инструментов у вас никаких нет? .

— Нет, никаких.

— Мне показалось, что вы рубите что-то. Я читал химию, слышу...

Старик мерными шагами пошел в свою комнату. Студент опять принялся за чтение.

— Послушайте! — вдруг снова раздался голос старика; — вы сейчас что делали?

— Читал, Авдул Титыч.

— Я скоро попрошу вас перейти на другую квартиру: вы мне не даете покою... что? да вы поете, в ушах трещит! Что это у вас за книга?

— История.

Старик глядел на книгу.

— Дайте мне ее почитать. А как вы думаете? есть такие соотношения между телами, через которые они взаимно друг друга уничтожают? Вот вам два тела; предположите, что они сейчас произошли чрез кристаллизацию. Не могут ли они друг друга уничтожить? Предположите тяготение массы... я думаю, что однородные части пристают к однородным, рождается новое тело из прежних же атомов... вот вам мое бессмертие... я перейду в однородное тело. Меня — не уничтожишь!..

Старик удалился с историей в руках. Студент задул свечку и лег в постель. На другой день он не мог подняться от головной боли; старик приложил ему к затылку мушку...

На другой день с студентом делались агонии, старик суетился с лекарствами, придумывал, как бы спасти умиравшего, — и только было начал изготовлять какой-то состав, который, по его мнению, непременно должен был помочь горю, как студент скончался. Старик долго стоял в раздумье пред усопшим...

В день похорон старик нашел в маленьком чемодане жителя несколько кусков черного хлеба, лекции химии и следующие письма, которые после читал своим знакомым, очень соболезнуя о покойнике. Письма были следующие.

Письма брата покойника.

Любезный брат Петр!

Твоя шинель мне стоила возни и хлопот... Брюк тебе не посылаю; к каникулам ими снабжу тебя, но пересылать их из нашего города просто мученье. Отец не хотел тебе посылать денег, но я, вспомоществуемый Анной Петровной, Кузьмой Егорычем и другими, довел его до того, что он обещался послать тебе три рубля серебром. После святок он думал послать тебе с одним мужиком овсеца: в Петербурге, чай, он дорог. К тятеньке пиши почаще, но поменьше и попочтительнее. Заметь при сем однажды навсегда, что мы с тобой дьячковы дети, стало быть нам надеяться не на что. Извини, что я в прежних письмах не поздравил тебя с студенческим мундиром.

Любезный брат Петр!

С Новым годом тебя поздравляю. Ты, верно, ожидал присылки денег — но извини отца: праздник, отправка детей, метрики, падеж свиней поглотили все его доходы; в рассуждении сего слишком много не печалься: тятенька обещался прислать тебе, как скоро продаст овес, три рубля серебром — ему и то тошно. Жаль мне тебя, Петя, но пока я не могу пособить тебе... у меня в акурате каждый месяц от 3 р. 50 копеек остается нуль. Святки я провел хорошо; был у Андрея Захарыча; все тебе кланяются.

Ты спрашиваешь меня, что о тебе толкуют на родине? Но что твоя родина смыслит? Аграфенка, наша работница, рассказывает мужикам, что ты получаешь в Питере

семь тысяч рублей доходу, а они разиня рот верят; а другие толкуют, что ты охотой пошел в солдаты. Кстати, как бог даст, поедешь на каникулы, позаботься запастись шпагой получше и пофешенебельнее. Извини меня за бессвязность письма; но сам ты, пожалуйста, учись писать повитиеватее, с употреблением научных терминов.

Любезный брат Петр,
Христос воскрес!

Премного виноват пред тобою: мне бы следовало тебе прислать по крайней мере три рубля серебром, ибо я получил в великую субботу награду: небывалый приход денег отуманил мою голову, и я, опасаясь сильного искушения на пасхе, порешил их спустить с рук. Конечно, купивши часы анкерные, с одной стороны, я распорядился благоразумно: приобрел вещь капитальную, но мог бы поступить и иначе, т. е. несколько послать тебе.

Любезный брат Петр!

Я очень рад, что ты решился проехать на родину. Батюшка поморщился, когда я ему напомнил о высылке тебе денег; сестра сказывала, что он завтра едет овес продавать — счастливый путь! Вскоре приступлю к нему с ходатайством выслать тебе не менее трех рублей серебром, но думаю, что это для него будет тяжело. Во всяком случае, предупреждаю, что если я склоню батюшку на этот подвиг, то ты излишек не трать, а употреби оные на прикрасу своего мундира, на который прежде и больше всего обратят внимание твои деревенские знакомые, да и я, с своей стороны, сознаюсь, не могу быть равнодушным к тому, как ты будешь одет, хотя никогда не подумаю предпочитать внешнее убранство внутреннему достоинству человека.

P. S. Не забудь взять с собою арифметику Кошанского... нет, Буссе. Кошанского не надо, да и существует ли такая арифметика?

Любезный брат Петр!

Жалею, что при сем случае имею в кармане один полтинник. Алексей Антоныч от пьянства лежит в постели. Кстати о шинели — переслать ее в Петербург никакой нет возможности; тятеньку надеюсь уговорить выслать тебе не менее трех рублей. Нового у нас почти ничего нет. Андрон Навуходоносоров тебе кланяется; он принят профессорами

В реторику — ты думаешь которым? что ни есть последним; профессор Спротяженносложенский скончался; жаль, особенно потому, что он оставил по себе распрекрасную супругу, просто *бельхам!*¹ и сына Антона двух лет.

Любезный брат Петр!

Что бы тебе сказать, не знаю. Я жду тебя к каникулам. Надеюсь видеть тебя образованным джентльменом, которым мне можно потщеславиться. Позаботься к тому времени о смягчении своей нравственности, а также об тщательном обмундировании себя: постарайся завести по-лучше вещи, как-то: шпагу, мундир, брюки, а о мелочах, кои суть: галстук, подтяжки, манишки, голенищи — не заботься, это приготовлю я к твоему приезду.

На духов день я просил тятеньку, чтобы он выслал тебе три рубли серебром, но он отказал наотрез.

Любезный брат Петр!

Из последнего твоего письма я вижу, что тебе писать на родину — тошно; что в самом деле, неужели батюшка не стоит твоей строки? Подумай, как я у него теперь буду просить три рубля серебром? Постоянно ты жалуешься на хандру, знаешь ли, что такое хандра? она есть скука; от чего происходит скука? от растраты душевных инстинктов. В рассуждении денег теперь снесись сам с батюшкой, а от меня не жди ни совета, ни слова, потому что я доселе не мог ни сделать, ни сказать тебе ничего такого, на что бы ты плевать не хотел. Да, брат, Петербург уж, видно, тебе на шею сел, смотри, как бы он головы не отъел. Одно мирит меня с тобою, это крайнее твое безденежье; слушай теперь внимательнее: по прочтении сего письма немедленно пиши письмо к батюшке о высылке трех рублей серебром. Но, сознаюсь, трудно ручаться за успех... Недавно батюшка воевал всю ночь: у него пропала жилетка...²

Письмо отца.

Любезный сын Петр!

Рано ты соскучился писать нам. Или язык твой прилипнул к гортани твоя? Вместо красного яйца для празд-

¹ Красавица (от франц.: *belle femme*).

² Здесь прекращаются письма брата. (Прим. Н. В. Успенского.)

ника воскресения препровождаю тебе наше с матерью благословение. Думал было и хотел послать тебе *оний дар* и ранее, да от многих беспокойств и разных треб занемог значительно. Доколе не взыщи. О своем житье-бытье коротенько уведомя. За сим, паки препровождая на тебя свое родительское благословение, остаюсь отец твой дьячок Ермолай Вогробснисшеденский.

РАБОТНИЦА

В одно утро доложили приказчику, что пришла баба, Аксинья, наниматься в работницы. Аксинья была вдова. Все считали ее за глупую, тем не менее по всему околотку было известно, что у приказчика была работа трудная, что от него сбегало в год по крайней мере семь работниц. Приказчик и его жена, сознаваясь в этом, давно желали нанять себе известную своею способностью к черной работе и железным терпением Аксинью. Надобно заметить, что всякий, кто только нанимал ее в работницы, старался ей дать не более пяти рублей в год и доказать, что для нее гораздо лучше получить когда-нибудь от хозяина серьги или кусок мыла, нежели гнаться за денежной платой. Аксинья сидела в кухне; подле нее стоял ее маленький разутый сын Петька. Аксинья была обута в одни онучи.

В кухню вошел приказчик с женою и четырьмя своими дочерьми — от двенадцати до восемнадцати лет.

— Здравствуй, Аксинья! — заговорила приказчица, — как ты себе, девушка, поживаешь?

Приказчица была женщина опытная, и потому она сама взялась нанимать бабу, сказав прежде мужу, у которого был вспыльчивый характер, чтоб он не вмешивался в ее разговор.

— Живу помаленьку, — сказала Аксинья.

— Мальчик-то твой?

— Мой...

— Ничего, — проговорила приказчица, — вырастет — помогать будет... Алёна!.. поди принеси ему гостинчика...

Одна из дочерей приказчика полезла к себе в карман за подсолнечниками.

— Ну, что же, Аксинья?.. наймись к нам в работницы, — начала приказчица.

— С чего же... без работы миновать нельзя,— сказала Аксинья...

— Нельзя... нельзя, моя милая,— без работы никак нельзя... даром хлеба не добудешь...

— Правда,— вздохнувши, сказала Аксинья, — не добудешь; ноне, поди-ко, хлеб-то какой...

После долгих увещаний приказчица выгодно наняла Аксинью и собрала ей поесть.

— Баба сносная! — говорил приказчик, пришедши с женою в горницу,— нам такую и надо; только тем нехороша: часто ворчит и ругается.

— Ничего! лишь бы работала,— возразила приказчица.

Действительно, Аксинья любила ворчать. Всю свою жизнь претерпевая оскорбления, нужды, невыносимые работы, она привыкла употреблять слова: «Святочный, пострел, тряс тебя убей» и пр. Но эти ругательства никогда почти не относились к людям, а всегда к животным, с которыми она постоянно имела дело, или к неодушевленным предметам, например к корыту и т. д. Больше всего она любила говорить с животными.

— Что ты думаешь об себе? — например, кричала она на корову в закуте,— или ты барыня?

Прошло более недели с тех пор, как нанялась Аксинья.

Было раннее осеннее утро. На дворе стадо цыплят с писком рвалось в сени, в которых спала теща приказчика, Ермолаевна. Она поправила на своей голове повойник и впустила к себе цыплят, которые вскоре принялись завтракать, шныряя под ее ногами; Ермолаевна пришла в избу, позвала и, глядя на печь, сказала:

— Аксинья! Антон!.. пора вставать.

На печке послышался голос:

— Господи Иисусе Христе!..

Часов в восемь шел сильный дождь. В кухне приказчица топилась печь; гроыхали дрова, трещала лучина, дым от самовара наполнял всю кухню.

Приказчица, ее мать и дочери, работник с работницей— все были в хлопотах.

— Что ты стоишь? — говорила хозяйка дочери, вооружившись ухватом,— поди скорее, неси муку... Алена! стой, возьми ключ да захвати круп.

— Бабушка!..— кричала в сенях одна из девиц,— подите возьмите нож да поскоблите баранью голову.

— Сколько я говорю, не бросайте на пол тряпиц,— продолжала приказчица,— что за неряхи?.. Антон! отсеки кость! Маша! позови мне Аксинью да скажи, чтобы накормили цыплят.

— Антон!..— говорит Ермолаевна,— беги к земчихе, попроси у ней жаровню... скорей!..

— Антон! — кричит из сеней сам приказчик.

— Цып, цып, цып,— раздается голос в сенях.

— Аксинья! вынимай чугунок с кипятком... возьми тряпку... да что ты делаешь?.. Саша!.. поди сюда!

— Самовар ушел!..— кричит кто-то.

— Выгоньте цыплят-то: в печку залетят... Шше! провал вас возьми... Шше, шше...

Приказчик стоит с трубкой в зубах среди сеней и кричит:

— У меня никогда порядку нет: сколько одров держу, а покоя не вижу. Аксюха!.. аль ты угорела,— свиней пускаешь в сени?.. ты еще в избу загони. Ваше дело только лопать!..

— Аксинья! принеси дров... да ступай замеси свиньям.

— Анна Дементьевна! жаровни нету, сами, говорит, нуждаемся.

— Выгоньте собаку! прочь! святочный тебя уколоти!

— Чух! — раздается голос на дворе,— улё, улё! ах провал вас расстреляй!

— Аксинья! отдели ты коров в сени, да одну кормную свинью.

Аксинья с палкой в руках зовет в сени коров; на дворе стоит топь страшная и раздаются бляение овец и визг свиней.

— Куда? куда? — кричит Аксинья, замахиваясь палкой на свиней,— куда вас буревая несет?

В это время в сени врываются овцы, свиньи, коровы и даже лошади.

— Прочь пошли! Про-о-о-чь! чу-у-ш!

Работница начинает бить палкой кого ни попало и выгоняет всю скотину.

— Алена! да вели Аксинье поманить корсв-то хлебом, а свиней бить палкой.

Аксинья стоит на дворе по колени в навозе, оглушенная визгом и ревом животных.

— Аксинья!

— Аксинья! помани коров-то...

— Улё! идола! чушь! про-о-чь, святочные!

Стадо свиней поддевает Аксинью, и она падает в грязь и кричит, отмахиваясь палкой:

— Прочь, караул!

— Плачу деньги, хлебом кормлю, а толку нет,— продолжал приказчик,— каждый божий день шум, гам, словно ярмарка или торговая баня: ни в одном доме того нет; у людей делается все тихо, скромно... а у нас друг друга с ног собьют.

— Антон! поди хоть ты вынеси самовар.

В избе жара невыносимая, все бегают с потными и красными лицами.

— Алена! Анна! — кричит хозяйка,— подавайте капусту, чапельник принеси... будет вам огрызаться-то! посмотрю я, ничего в вас нету рассудочка: говорю, помои вынеси на двор, она ша-аст на пол. Клади пирог на лопату!

— Ощипали, что ль, поросенка-то?

— Анна Дементьевна! работнице свиньи поняву разорвали.

— Петька! — кричит приказчик,— говорю, трубку набей, а он галку по полу волочит на веревке. Да что это такое? целый час жду самовара — никак не дождусь: я вижу, мне одно остается: завязать глаза да бежать отсюда.

— Антон! принеси дров еще..

— Марья!

— Аксинья! поди вынь горшок с кашей... Матушки! а картофель-то я и забыла.

— Неси картофель!

— Выгоньте, говорю, собаку-то! — кричит приказчик,— что за народ! чистое столпотворение...

— Антон! отсеки голову другой курице... да ощипали, что ль, поросенка-то?

— Господи!

В это самое время зазвенел колокольчик и к крыльцу подъехал тарантас.

— Анна Дементьевна! гости какие-то приехали,— объявил работник.

— Батюшки! — вскрикнула приказчица, — это шиловские господа! Марья! Алена! Саша!.. принесите мне платье.

Все взапуски принялись бегать из сеней в кухню, из кухни в горницу и обратно. Поднялась такая суматоха, что шиловские господа не рады были, что приехали.

На другой день после описанной сцены Акси́нья в разорванной поняве и грязном платке шла по полю с своим разутым мальчиком, у которого развевались на голове волосы и пустые рукава рубахи трепетали за спиной.

Ветер был сильный, осенний... дождевые облака неслись по небу.

— Черт тут не жил, — говорила Акси́нья, — на месте не посидишь... свиньи все ноги изгрызли... словно вертел какой заведен... Пойду к куму Андрону, что будет не будет... не возьмет ли из хлеба?

— Мама! — проговорил ребенок.

— Что? — грозно вскрикнула Акси́нья, — что там?

— Я есть хочу.

— О-о-о! святочный тебя...

Акси́нья дала сыну подзатыльник, отдернула его вперед и вскрикнула:

— Иди!.. аль ты угорел? у-у!.. родимец! мать твоя терпит... аль ты взаправду господин какой!

Акси́нья шла и все толковала про свою жизнь, время от времени утирая рукавом катившиеся от ветру слезы...



ДЕКАЛОВ

I

ПРОВОДЫ

Осенью дьячок села Кочергина собирался ехать с своим девятилетним сыном в губернский город Т. Он намеревался записать его в третий класс духовного училища. Под самый день отъезда дьячок ходил по крестьянским дворам, просил дугу; от священника он получил благословение на далекий путь и дегтярку с помазком.

Его сын, Иван Декалов, вымытый, причесанный, в это время спал дома на печи. Дьячиха, Акулина Егоровна, пекла лепешки; а ее мать, бабушка Декалова, печально сидела в углу, мотала нитки. Акулина Егоровна то и дело подходила к сыну, целовала его, плакала и причитала: «Касатик, Ванюша...» и т. п. Бабушка твердила ей, чтоб она не будила внука; мать отходила к печи и, проливая слезы, хваталась за рогач.

Вечером, при огнях, Акулина Егоровна, дьячок и бабушка укладывали дорожные припасы в мешки.

Декалов давно проснулся. Он сидел в одной рубашке под иконами и беспрерывно вздыхал.

На другой день, утром, на проводы собрались в дом дьячка крестьянские ребятишки. Декалов с ними прощался, дарил им своих чижей и синиц.

Декалова закутали в толстую отцовскую свиту и обвязали полотенцами.

Помолившись богу, все вышли на улицу к повозке. Крестьянские ребятишки, каждый держа по птице в руке, смотрели на Декалова с неизъяснимым сожалением.

Проходившие на барщину мужики с цепами останавливались и с удивлением спрашивали дьячка:

— Ай везешь, Савелий Григорьич?

— Везу. Что делать!..

— Ах, братец ты мой!..

— Ах, Ваня!..— с размышлением восклицали мужики и покачивали головами.

Декалов чувствовал, как слезы текли по его щекам.

Мать и бабушка долго смотрели на отъезжавших.

Повозка проехала поповскую слободу: из окна священниковой кухни поклонилась путникам работница, когда-то сумерничавшая в доме Декалова. У ивкиных ворот стоит в раздумье мужик Харлам, будто о чем-то пригорюнившийся: он каждый раз на святой строил на лугу качели бабам и в хороводах первый запевал песни. У мельницы на берегу удит рыбу старый скотник: волна бьет его по плавки, и рыба не клюет... «Возвращусь ли я когда-нибудь сюда? — думал Декалов, совсем выезжая из Кочергина.— Увижу ли я тебя, родная моя сторонка?..» Вот поповский луг: на нем Декалов лавливал в осоке диких утят. Пастух у озера стережет кочергинскую скотину; сам, сгорбившись, плетет лапти; ветер шумит и волнует ближний дубовый лес. В этот лес третьего дня ходили девки за грибами: Машка, Варька, Дуняшка... Где они теперь?

II

СЕМИНАРСКАЯ КВАРТИРА

Через два дня пути, в час пополудни, Декаловы ехали по Т-ой губернской улице, называемой Большой, или Воронежской. Измученная гнедая лошадь, с вытертою шерстью на ляжках и побитой спиной, насилу тащилась, часто поглядывая на растворенные ворота постоянных домов. Дьячок по временам поправлял на ней кнутовищем сбочившуюся шлею. Телега, некогда служившая водовозной, в дороге совершенно разбилась; покачиваясь из стороны в сторону, она издавала сильный визг; по бокам ее высовывалась наружу солома и выпускала из себя, как ребра, выломленные перегородки. Из вершины высокой, растрепавшейся шапки дьячка, как из огнедышащей горы, напо-

добие лавы, летел пух, разносясь по улице. Прохожие пристально смотрели на проезжих.

Был воскресный день. Большая улица наполнена была народом: разряженные купеческие жены с толстыми большими серьгами, чиновники с тросточками, мещане, подвыпившие сапожники разгуливали по бульварам. Вдоль улицы к собору и от собора ездили пролетки с молодыми купчиками, частным приставом, полицеймейстером, и катили шестернями запыленные дорожные кареты. На все это с любопытством глядели дьячок с сыном. Наконец, они повернули в Подьяческую улицу и стали разыскивать дом мещанина Овсова, которого им рекомендовал один знакомый.

Дом Овсова стоял недалеко от Воздвиженской церкви, окруженной кладбищем. Он имел две черные трубы, треснувшие пополам, и крошечное крылечко с низенькою дверью, забитою наглухо. На его крыше росла трава; черномазые окна походили на искривленные и потускневшие глаза умирающего человека. Глушь и запустение царствовали в Подьяческой улице несмотря на праздник.

У растворенных ворот Овсова дома стояла запряженная лошадь. Священник прощался с своим малолетним сыном, который отчаянно плакал, припав к его полукафтанью. Священник вынимал ему из кармана деньги, едва удерживаясь от слез; говорил, что по первому зимнему пути приедет к нему с матерью и братом Васей; не забудет также захватить с собою сестру Парашу.

Дьячок снял шапку перед хозяином, ссыпавшим в амбар муку, смиренно поклонился хозяйке, запиравшей калитку сада с ворчаньями на неугомонных жильцов, и повел свою лошадь к стороне. Какой-то мальчик, в синей жилетке, с книжкою на коленях, зажав уши, сидел на бревне лицом к забору. Декалов, стоя у телеги, глаз не спускал с мальчика, зубрившего урок. Дьячок отстегивал супонь у лошади. На соседнем дворе раздавались крики, стучали о забор свинчатками с чугунками, гремели бабки.

— Шестер!

— Ладыжка на кону!

— Жог, ника!

Шумели игроки.

Запыленный мукою хозяин переговорил с кочергинским дьячком касательно третного содержания, платы за

квартиру и указал ему семинарскую комнату, предварив, что комната — игрушка! господам жить, а не семинаристам.

В комнате семинаристов, у оборванных стен, за широким складным столом сидел с примасленной головой ученик словесности Пречистенский; он старательно списывал лекции профессора под заглавием «Речи ораторские». На просторных подмостках с взвороченными войлоками и сундуками сидело человек семь раздетых мальчиков. Одни из них делали из бумаги хлопушки; другие раздували на окне уголья в банке, чтоб расплавить свинец; третьи сверлили гвоздем бабки; четвертые только глядели на эти занятия и ели лепешки. На лежанке без подстилки спал в одном сапоге ученик философии Детищев, с улыбкой на лице; его будто озаряла необыкновенная идея, сейчас же готовая осуществиться; поэтому философ не обращал никакого внимания на валявшийся по полу другой свой сапог с разорванным голенищем и тряпицей внутри.

Кочергинский дьячок начал представлять ритору Пречистенскому своего сына. Повернувшись к ним обоим спиной и держа в руке огромный картуз, почти достигавший полу, Декалов смотрел на спящего философа и на ребяташек. Пречистенский отдал приказание работнице — собирать гостям обед; на спрос дьячка о *старшем*, то есть о богослове, он отвечал, что богослов куда-то отлучился, — должно быть, за харчем пошел. После нескольких слов о дороговизне содержания в городе, о неудобствах семинарской жизни дьячок стороною намекнул ритору: не хочешь ли выпить? Тот, закладывая за ухо перо, проговорил, что он и знать не знает этого дела, потому что еще в низшем отделении находится... Но не таким оказался пробужденный криками мальчиков философ. Накидывая на плечи сюртук и хватаясь за трубку, он изъявил полное согласие на предложение дьячка. Волосы его стояли дыбом; нанковый сюртук, выбеленный известкой, смялся, съежился и не прикрывал груди; вообще все говорило о философском направлении Детищева. Он объяснил дьячку, что сам дьячковского происхождения, знает быт дьячков как свои пять пальцев, следовательно тут церемониться нечего.

Кривоглазая работница, напудренная сажей под глазами и преимущественно около носа, несла к столу щи; она останавливалась на дороге, чтоб уцелевшим глазом

высмотреть чистоту своего приготовления. За нею суетился хозяин, принесший полштоф из кабака.

Детищев весело говорил дьячку про свое воспитание, когда он, будучи маленьким, бегал по полночам в класс и выносил наказание розгами. Он уверял, что при самых жестоких наказаниях он не только не просил учителей о помиловании, то есть не кричал «помилуйте» или «пощадите», но лежал, словно деревянный. Еще Детищев рассказывал про своего родного отца, который исконибе получает шесть с половиною целковых годового дохода, ходит в лаптях и содержит многочисленнейшее семейство. В заключение всего Детищев, уже выпивши водки, принялся наставлять дьячка, куда ему должно явиться с сыном: во-первых, надобно сходить к ректору училища — он проэкзаменует Декалова; да не забыть... (здесь философ пошептал на ухо дьячку); во-вторых, надобно сходить к учителям, хотя и не ко всем: это называется «явиться к ним...» Как скоро Детищев упомянул слово «явиться», тотчас ученик четвертого класса крикнул с подмосток, что к учителю Мордасову непременно «явиться» должно; а то смерть будет!

III

ВИЗИТЫ И ПРОЩАНЬЕ

Вечером, по уходе дьячка с сыном к ректору, Детищев, подвязывая под шею манишку, заимствованную у ритора Пречистенского, соображал, куда бы уйти на вечер. Он спросил у мальчиков, не напоит ли его кто-нибудь чаем? Один вызвался и сказал:

— А сколько, Прохор Еремевич, стоит?

— Пятиалтынный.

— Э-э! — воскликнул мальчик и обратился к стене лицом.

Дьячок с сыном медленно шли по парадной ректорской лестнице, освещенной лампами. Дьячок умолял сына — полегче стучать сапогами.

Встречаемые служанкой протоиерея, они явились в широкой зале с паркетным полом. В зале горела лампада перед золотым образом. Дьячок прижался к двери. Декалов, не чуя над собой никакой грозы, спокойно утирал

рукавом нос и время от времени поддергивал кверху подпояску.

Вышел высокого роста протоиерей в шелковой рясе, с золотым распятием на груди. У дьячка закружилась голова. Служанка поставила свечу на стол. Ректор подозвал к себе Декалова, спросил, из какого он села. Затем развернул на столе катехизис и взялся за испытание. Дьячок затрясся.

— Если бог везде,— произнес ректор, обращаясь к мальчику,— то как же говорят, что он на небесах, во храме и прочее?

Декалов зачитал:

— Един бог во святой троице поклоняемый...

Протоиерей остановил его. Он повторил вопрос: «Где бог?»

Дьячок возвел взор к небу.

Служанка, намереваясь идти в другую комнату, смотрела на мальчика с очевидным желанием знать, чем кончится дело. Но кончилось все благополучно. Декалов сказал, где бог, победил другие некоторые вопросы и был записан в третий класс. Однако служанке такой конец, по-видимому, не очень понравился; она пошла в комнату с видом, который ясно говорил: «Ишь какой экзамен-то? легкий самый...»

Тем же вечером Декаловы отправились «являться» к учителю Мордасову. Надобно было пройти много темных переулков. Мордасов, с жирным, рябым лицом, играл с своими товарищами в карты; он звонко проповедовал, что в некоем многолюдном обществе он наповал срезал учителя географии, доказав ему, что слово «Анакреон» ничуть не первообразное, а производное и, можно думать, происходит от греческого «креас» — мясо. Когда ему доложили, что его кто-то спрашивает, он приказал сказать: «Нет дома». Кухарка шепнула ему что-то такое, от чего Мордасов поспешно встал, оделся в халат и с мелом на обеих губах вышел в переднюю. В передней было темно. Но явка совершилась. При прощании Мордасов спросил фамилию Декалова. По удалении гостей кухарка зажгла свечку и с ней тщательно искала в передней кулечка или плетушки. Ничего такого не оказалось...

Поздно ночью Декаловы пришли в свою квартиру. Все поужинали. Дьячок разостлал на полу армяк, помолился богу и вместе с сыном улегся спать. Бред, храпенье, свист

раздавались в семинарской комнате. Кто-нибудь начинал бормотать: «Постой, постой!.. ну да!» — и замолкал. Длилась тишина — и опять слышался бред.

Рано утром Декалов за губернской заставой провожал своего отца. Дьячок долго крестил сына, препоручая его невидимому промыслу...

Телега давно ныряла вдалеке между обозами, фигура дьячка едва виднелась, а Декалов еще силился сквозь слезы рассмотреть их... Постепенно темнея, скрылась знакомая повозка, скрылся и дьячок.

«За что, за какое преступление разлучили меня с моей родиной?.. За что отторгли меня от родных моих полей?..» — думал Декалов, и его слезы лились ручьями...

IV

В Е Ч Е Р

Была зима. Декалов, с подвязанными ушами, исправно ходил в училище, надевая на себя холодную свитку и теплый картуз, который с трудом стаскивал с головы при встрече с учителями.

Смеркалось. В семинарской квартире было темно; ритор Пречистенский скромно ел хлеб близ подмосток, на которых разговаривали мальчики про уроки и учителей; на лежанке сидел философ Семенов, товарищ Детищева; на печи и на полатах были тоже семинаристы, и между ними двое исключенных, говоривших про места и должности:

— Вот, говорят, в селе Петровках, Каширского уезда, есть праздное, дьячковское... со взятием...

— А то, мне сказывали в консистории, в Зашивалове есть место — во двор... приход богатый... пять помещиков... один, кажись, граф какой-то...

Вошла хозяйка.

— Кто это на лежанке?

Философ молчал, а за него отвечали:

— Егор Антоныч.

— Орлов! — сказала хозяйка, — что ж, когда ты муку доставишь?

— В воскресенье, Марья Ивановна, схожу к дяде.

— Что, отдушник-то закрыли, что ль? — спросила хозяйка, щупая рукой выше своей головы.

В это время отворилась дверь, кто-то вошел и тихо спросил:

— Старшой дома?

Все замолкли.

— Суб-инспектор, суб-инспектор...— по всей квартире раздался шепот, и с печи и с кроватей посыпал народ.

— Зажгите огонь, бегите за старшим...

Зажгли свечу; пред суб-инспектором стояло человек десять учеников с заспанными лицами; один Пречистенский, с приглаженной головой, смело смотрел в глаза суб-инспектору, от которого исключенные, в одних жилетках, и философ, застегивавший скюртук, жались по углам.

— Где старшой и Детищев? — спросил суб-инспектор, сядясь на табурет и опираясь на палку.

— Отлучились для свидания с родственниками.

— Скажите им, что если они не перестанут ходить по трактирам, то я донесу на них отцу ректору, — объявил суб-инспектор и отнесся к философу: — Ты, Семенов, вчера, кажется, не был на моей лекции герменевтики?

— Болен был, Николай Иваныч...

— Ты почти вовсе не учишься да к тому же имеешь грубый нрав... Мне жаловались, что ты на днях разграбил черепенники в харчевне и вывихнул руку хозяйке...

Хозяйка начала пробираться сквозь толпу, чтобы засвидетельствовать действительность происшествия, но суб-инспектор продолжал:

— Старайся о смягчении своего характера... чтобы вышла из тебя эта дурь... Ну, что же, вы еще не определились? — спросил он у исключенных.

— Нет-с... мы подали прошения...

— Какая у вас завтра лекция? — спросил суб-инспектор Пречистенского.

— Древняя история.

— Ты приготовился?

— Приготовился-с, — покраснев, отвечал Пречистенский.

— Скажи мне: долго ли царствовал в Греции Батт Хромой?

Пречистенский, прищуриив один глаз, взглянул на потолок и отвечал:

— От пятьсот пятидесятого — пятьсот двадцать шестого года до рождества Христова.

— Хорошо! А какой царь предлагал матери племянников Сципиона Африканского разделить с ним трон, и она отказалась?

— Птоломей Шестой.

— Весьма хорошо! Старайся... Ну, проводите меня кто-нибудь до другой квартиры,— заключил суб-инспектор, поднимаясь.

Пречистенский оделся в тулуп с калмыцким воротником и повел его из комнаты.

— Посветите! свечку, свечку! — заговорил народ.

Оба исключенные подняли свечу до самого потолка.

Как только суб-инспектор скрылся, семинаристы вскопидились по комнате и заговорили:

— А пожалуй, заправду донесет на старшого... ведь каждый день в трактире... инспектор уж знает, что он проиграл в бильярд общественную крупу...

— Что это суб-инспектор на вас напал? — спросили Семенова исключенные.

— Пусть его! — ложась на лежанку, проговорил философ, — много нуждаюсь я! По мне, хоть завтра в дьячки...

Исключенные отправились на полати.

Минут через десять пришел Пречистенский с розовыми щеками от мороза; он сел за стол и принялся списывать лекции профессора, под заглавием: «Убеждения оратора на сердце». Вокруг него учили уроки мальчишки, зажав свои уши.

Декалов сидел без книги и посматривал на товарища, Орлова, который, облокотившись на греческую грамматику, ел лепешку; он ждал, пока Орлов наестся, вытвердит урок и позволит ему поучиться по его грамматике: но Орлов, поглядывая по сторонам, внутренне радовался, что Декалова завтра ожидает гибкая лоза...

— Пречистенский! — крикнул с лежанки философ, — нет ли у тебя до завтра гривенника?

— Право, Егор Антоныч, нету: нынче отцу послал письмо...

— Орлов! — говорил Декалов, — одолжи хоть катехизиса...

Орлов помолчал и сказал:

— Я его в сундук запер...

На полатях исключенные пели: «Како не дивимся...»

Философ сошел с своего ложа, сел на скамью у стола и мрачно спросил мальчишек:

— Приготовили уроки?

— Нет, Егор Антоныч.

— Что же вы делали, пришедши из училища? Декалов! читай из *катихизиса*...

Декалов вышел из-за стола, стал среди комнаты (как этого требовала субординация) и в замешательстве перебирал ключи, висевшие у него под жилеткой, и ничего не отвечал.

— Эй, вы! приготовьте лозу! — крикнул философ ученикам.

— Егор Антоныч, у меня книг нету, — сказал Декалов.

— Кто ж тебе будет покупать книги? я, что ль? Эй! что же вы не несете?

— Лозы нету, Егор Антоныч, — крикнул один мальчик, вылезая из-под печки, — кто-то унес...

Философ подошел к полатам и спросил:

— Ильинский! пойдём, брат, в сад, нарежем березовых сучьев.

— Пойдемте...

Исключенный Ильинский оделся в худую свитку и отправился с философом в сад.

На улице была сильная метель; в саду с писком вертелся флюгер на бане... Философ стоял по колени в снегу перед березой, на которой сидел исключенный, и собирал прутья.

— Ильинский, как бы добыть денег?

— Завалить надо что-нибудь, — отвечал Ильинский.

— Да уж я назначаю свой тулуп.

— Так надо идти к Аленке: она даст рубль два.

— Хоть бы рубль дала!

— Даст больше... Ведь у вашего тулупа овчины молодые...

— Только ты уж сам Аленке напиши расписку, а я постою на улице; мне не хочется срамиться...

Вскоре Ильинский и Семенов пришли в кухню, положили сучья в печку для распаривания и, завязав тулуп в узел, ушли к Аленке.

Мальчики поужинали с Пречистенским и легли спать.

Часов в одиннадцать пришел старшой, а с ним философы Детищев и Семенов, держа на цепи овчарную собаку. Исключенные проснулись оба и слезли с полатей.

— Где, где это вы добыли собаку?

— На улице поймали.

— А ведь она не простой породы... А знаете ли что? ее можно заложить...

— Да я нарочно поймал ее, чтобы поправить свои обстоятельства,— сказал Детищев.

— Ее фельдфебель Тесаков примет...

Семинаристы с час толковали про собаку, как старшой проигрался в трактире и пр., наконец, улегшись в постели, завели такой разговор:

— А что, господа? говорят, купец Огороков, что зарезался, ходит ночью по домам...

— Я тоже слышал... Говорят, его видели третьего дня на Волковой улице... Родным своим не дает покоя: каждую ночь гром, шум...

Старшой поправил свою подушку и проговорил:

— Все глупости...

— Что, Петр Петрович, вы не верите? — спросили все в один голос и притихли, ожидая решения старшого, как богослова, знающего все.

— Не верю.

Все молчали.

— Но ведь,— начал Детищев,— в священном писании говорится, что тени умерших могут являться... Там аэндорская волшебница вызвала тень Самуила.

— Вопрос сомнительный...— произнес старшой.

В это время какой-то из спавших мальчиков крикнул на всю комнату...

Свечка погасла.

V

НОЧЬ

Декалову снилось, будто он никогда и не был в училище, а живет в своем родном Кочергине.

Весна. Он с парнями в ночном, на поповском лугу...

Таун лошадей, фыркая, щиплет траву, а караульный с шестом ходит вокруг...

Месяц плывет по чистому небу... ночь теплая... Парни лежат в ряд у межи, подложив под головы армяки и узды и пр. Жаворонок умолк...

Полночь... все лошади лежат... утренняя заря обозначается яснее...

Парням не спится... Человек восемь собрались идти к

реке; они проходят спящий табун и начинают спускаться под гору... В это время в вышине раздается утренняя, су- дорожно-радостная песня жаворонка...

— А уж рассветает, ребята,— говорят парни.

За ними по траве остаются следы от росы... Становится светлее... По лугу завиднелись незабудки, синие колокольчики, желтые баранчики, но за рекой темнели кусты и леса... Поднимается туман от реки, на поверхности которой плещется проснувшаяся рыба.

Уже светло... Вдали, на мельнице, перекликаются петухи... В прибрежных кустах взапуски поют птицы: слышится и иволга, и малиновка, и громкие трели соловья...

Парни, с пуками щавеля и баранчиков в руках, возвращаются к проснувшемуся табуну, который усердно щиплет траву с росой, и ложатся у межи. Дремлющий караульный стоит близ колосящейся ржи...

Взошло солнце; по лугу тихо раздается бубенчик, а в воздухе заливается жаворонок. Парни заснули... Спит с ними и Декалов, но его слегка схватывает утренний холод... он хочет чем-нибудь одеться...

Декалов проснулся; рядом лежавший с ним мальчик давно стянул с него тулуп. Он придвинулся к спине товарища, накрылся концом тулупа и начал думать об уроке, которого он не выучил с вечера; ему представлялись страницы катехизиса с церковной печатью, клетки спряжений греческих глаголов, потом дневальный палач с лозой — и Декалов, в ужасе, тяжело вздыхал и, подавляя рыдания, говорил про себя: «Господи! за что я страдаю? за что счастливее меня в Кочергине мой друг Петька Лаврухин? Петя! ты теперь покойно спишь у своего отца и матери, а завтра пойдешь на улицу, из снега сделаешь себе дом, человека или подморозишь свою круглую ледянку и выйдешь с нею на гору...»

Декалову начал рисоваться морозный день... Густой иней висит на деревьях; посвистывают синицы на кустах... Среди огорода расчищен точок, на котором посыпано конопляное семя и от силков проведена веревка среди уцелевшей глухой крапивы, занесенной снегом...

В избе Декалова, над окном, повешена клетка с синицей; дьячок на полу строит сани, вбивая обухом копылья... его жена костяной иглой вяжет чулок... кошка крадется к синице, но синица не трепещется более... Декалов вы-

носит ее на двор; дьячок говорит, что она околела от угару...

На сельской улице едут легкие сани-розвальни, в которых на корточках сидит мужик и туго натягивает вожжи... сани раскатились и повернули назад лошадь...

Среди дороги, в выброшенном мусоре, роются вороны, галки и собаки, а поодаль от них гуляют два хохлатые голубя, принадлежащие Петьке Лаврухину; напротив села, на бугре, вязнет в сугробах какой-то охотник с ружьем...

На льду реки развевается красное пламя: мужики палят свинью, наваливая на нее солому, которая быстро превращается в черный назол... У свиньи скорчились ноги и треснул от жару живот... Мужик берет большой нож, крестится, и, минуто спустя, на солому вываливаются внутренности животного...

— Держи! подставляй! — говорит мужик бабе с решетом.

— Прочь, алошные! — кричит баба на облизывающих собак.

Смеркается... идет метель... на горе катаются мужики, парни, девки; у завалинки крестьянской избы раздается песня:

Не тебя ль, моя полынь,
В поле ветром разнесло...

Парень катится с девкой в белом полушубке, ловко управляя салазками...

Вьюга усиливается; в поле зги не видать... проезжий мужик тянет унылую песню... улица пустеет...

В темной крестьянской избе, у печи, запустив нос в помои, чавкает поросенок, а в углу сидит мужик...

В дворовой избе горит огонь... старуха лежит на печи, жужжит прялка... старик вяжет сеть... кот лежит на намычках... окна запушены снегом, но в избе тепло и уютно... А на дворе стонет вьюга и рвет ставни... разговаривают про мертвецов и колдунов, про то, как церковь обокрали, про явленные иконы, про заблудившихся и замерзших в дороге... В трубе злобно гудит ветер... двери заперты крепко... Случись кому-нибудь постучаться в окно и попроситься ночевать — всех обнимет ужас...

С улицы на крыльце снегу навалило по колени...

— Акулина, пойдем с тобой к соседу! — говорит хозяйская дочь работнице.

— Сапоги обуи! — кричит мать из другой комнаты.

Девушка и работница отворяют дверь и, жмурясь от пыли, вязнут в молодом снегу...

Раздается едва слышно благовест колокола (в пульгу благовестят).

Какая пыль!

Путницы добираются до крыльца соседа и стучатся в дверь.

На селе все глухо, мертво... не вякнет ни одна собака... А буря ревет над домами и навевает сладкие сны спящему в тепле крестьянину...

В это время Декалов услышал благовест к заутрене. В квартире все спали; но на столе уже горела свеча: ритор Пречистенский, умытый, сидел за работой, списывая лекции.

VI

К Л А С С

Еще не было шести часов утра, как овсовские ученики уже собирались в *класс*, отыскивая в сундуках и под кроватями книги, сапоги, фуражки, вязанки. Суматоха была такая, что проснувшиеся философы и старшой кричали в один голос: «Подайте сюда лозу!»

— Пойдем к хозяйке за хлебом,— говорили мальчишки, вереницей устремляясь в кухню.

— Господин Пречистенский! посмотрите: Воздвиженский разорвал мою книгу! — подходя к ритору, говорил один из учеников.

— Вот я сейчас разбужу старшого,— с угрозой отвечал ритор.

Кто молился богу, кто просматривал урок, а кто, прижавшись к стене, плакал.

— Ты что голосишь? — спросил Пречистенский.

— Да шапку потерял.

Зная, что в таком беспорядке трудно отыскать шапку, Пречистенский дал мальчику старый свой картуз и приказал ему идти в школу.

Мало-помалу ученики все убрались из квартиры, оставив после себя выдвинутые из-под кроватей сундуки, груды войлоков и затрапезных подушек на нарах и грязь на полу. Ритор подвязывал перед зеркалом галстук, наме-

реваясь отправиться в семинарию. Он так рано собирался потому, что рассчитывал попросить у казенных учеников, живших в семинарии, библию, в которой ему нужно было отыскать и выучить несколько текстов.

На улице был мороз. Трещали подводы, ехавшие к хлебной площади; мужики постукивали в рукавицы. Полный месяц освещал гладкую дорогу. В конце улицы около сада промелькнули легкие санки и исчезли за угрюмыми зданиями присутственных мест; в некоторых обывательских домах зажглись огоньки, и на окнах начали рисоваться человеческие фигуры...

Часов в семь утра во всех классах училища дрожали стены от крика, беганья по скамьям и чтения уроков. Среди третьего класса ученик дневальный с необыкновенной ловкостью вертел в воздухе лозой, желая познакомить товарищей с методой, которой он держался при сечении: товарищи, удивляясь его искусству, совали ему кто кусок хлеба, кто пирог или черепеник.

В восемь часов в классе была тишина. Учитель сидел на кафедре и рассматривал по *замечаниям*, кто не знал урока. Человек тридцать он вызвал к двери и сошел с кафедры. Став перед осужденными и сделав рукой взмах, как дирижер перед открытием пьесы, учитель крикнул: «Высечь!..»

VII

ОТПУСК

Приближались святки... Ученики записывали на бумажках и на книгах, сколько недель, дней и даже часов оставалось до отпуска. По вечерам, до зажжения свечи, они вспоминали все подробности праздника, как кто хаживал по приходу и катался с гор, во что наряжался и проч.

Недели за три до рождества Декалов получил от своего отца следующее письмо:

«Любезный сын Иван. К празднику рождества Христова подводы за тобой не посылаю, ибо лошадь заболела от чемера и наиболее, я полагаю, от скудной пищи, как-ва солома; потому тревожусь, как бы не издохла, лишив нас последней опоры...

Голуби твои все целы и сидят под печкой.

Учись, Ваня! Ты пишешь, книг нету; что делать! Книжки дороги; товарищам поклонись в ноги и попроси у них... Молись богу... в наше время в лаптях хаживали...

Господь умудряет и слепцы...

К празднику отыщи подводу на постоялом дворе и приезжай к нам. Мать говорит: не переделать ли тебе из моей старой шапки — жилетку? Думаю, что на твой рост выйдет... К старшим будь почтителен: смирением обращай покой душе своей...

Дед твой был ума несказанного, а он гнул в дугу перед каждым человеком. Люди, Ваня, любят уважение, которое им оказывают; но они возненавидят тебя и пронесут имя твое, ежели не будешь покорствовать им.

Верь отцу твоему; он знает это по опыту и не пожелает тебе худа. Будь прилежен в учении; за это тебе сторицею воздастся.

Молю бога, чтобы он не спустил тебя с порук своих, и посылаю тебе родительское благословение. Причетник Декалов».

Во всем письме отца Декалову особенно была по душе одна строка: «Голуби твои целы и сидят под печкой». Ее Декалов читал сотню раз...

День ото дня приближение святок становилось ощутительнее. На рынках и в лавках начали появляться груды мерзлых гусей и свиней; в обозах, ехавших по городу, ученики начали встречать земляков-мужиков, которые везли с собой от сельских дьячков и дьяконов письма и посылки. С каждым днем ученики делались между собою дружелюбнее; учителя, почуяв рождество, умерили свое ожесточение; лоза теряла прежнюю свою силу.

Наконец, наступил отпуск. Ученики, с билетами для отъезда в руках, без оглядки неслись по коридорам и по лестницам вон из училища, как будто опасаясь, чтобы начальство не раскаялось, как фараон, что отпустило так много народа.

На дворе овсовской квартиры стояло несколько приезжих подвод.

У ворот привязана была запряженная лошадь в веревочной сбруе. Из семинарской квартиры выходил дьячок с двумя маленькими детьми, одетыми по-дорожному. Их провожали, в одних сюртуках, исключенные.

— Прощайте, господа! — говорил дьячок, — желаю

вам в добром здравии разговеться... Благодарим за хлеб, за соль...

— Вам ведь недалеко? — спросил один исключенный.

— Тридцать верст... засветло доедем...

— Воротники-то поднимите! — сказал дьячок своим детям, уже сидевшим в розвальнях.

— Нам тепло, тятенька!

— Поищите же мне невесту-то... — сказал исключенный.

Дьячок взялся за вожжи и ответил:

— Будьте покойны; расстараюсь...

Дьячок, ежеминутно запуская кнут под брюхо лошади, ехал по направлению к заставе.

— Тятенька! — говорили дети, указывая на синий дом, — вот здесь наш инспектор живет. Тятенька! а вот — в обозе едет наш товарищ Декалов.

Среди обоза, тянувшегося из города, в пустых санях сидел Декалов, прислонившись к передку. Он отыскал на постоялом дворе кочергинских мужиков, от которых получил следующее письмо отца:

«Любезный сын. Поспешి приездом с сими мужиками, понеже праздник рождества Христова настанет зело вскоре. Посылаю тебе закрыться в дороге материн тулуп и гривенник на продовольствие; не будь расточителен на постоянных дворах. Мать тебе выгадала из моей шапки теплый нагрудник. Засим прими благословение родителя твоего, дьячка Декалова».

— Духовный! ступай вперед! — крикнул один мужик в обозе.

Дьячок поехал вперед и очутился в поле; обоз не отставал от него.

— Что, озябли? — спрашивал дьячок детей...

— Нет, нет.

— Что нет! Ну-ка лягте, я вас укутаю... ишь поднимается подзёмок какой...

Дети легли; дьячок накрыл их веретем совсем с головами и увязал веревкой.

— Тятенька! Скоро придет Заметаловка? — спрашивали дети.

— Сейчас приедем... Озябли?

— Нет...

Мальчики только слышали рев полозьев, фырганье лошадей, покряхтывание отца и затянутую где-то песню...

Иногда навстречу кричал чей-нибудь голос: «Держи в сторону!»—причем крепко стучали сани об сани. Дьячок потрогивал детей рукой, желая привести все в порядок, и снова погонял лошадь. Он уже дал иное направление своему кнуту, пуская его вдоль спины лошади!

Проехав верст двадцать, дети заговорили:

— Мы встанем...

— Лежите! — крикнул отец, — ишь стыдь-то!..

— Тятенька! А далеко до Журавлева?

— Три версты.

Три версты проехали. Один мальчик раскопал дыру в веретке и закричал:

— Вон Журавлево-то! Мы встанем.

Видя, что до дому осталось недалеко, дьячок развязал детей. Они начали поправлять свои смятые картузы и с любопытством рассматривать деревню.

— Дворы-то как занесло! — говорили они.

Вскоре дьячок свернул с большой дороги на проселочную и скрылся.

А Декалов продолжал ехать в обозе по большой дороге. Толстый, покрытый изморозью мерин нес его по раскатам, через глубокие ухабы и даже по сугробам. Когда проезжавший мимо мужик замахивался кнутом и выбивал его из обоза, Декалов закоченевшими от холода руками держался за веревки, чтобы не вывалиться из саней.

Уже давно стемнело; обоз все ехал, по-видимому рассчитывая сделать большую станцию. Упорно думая о своем родном Кочергине, Декалов почти не чувствовал ни холода, ни боли в спине, на которой долгое время учителя расписывались кровавыми рубцами... Он не верил своему счастью, не верил, что он теперь свободен и скоро увидит свое село.

Вот деревня... говор мужиков и дворников. С горы катаются мальчики на подмороженных скамейках, лавируя среди бегущих лошадей... Огни на постоянных дворах; кое-где сквозь оттаявшие стекла видны кипящие самовары и артели извозчиков... Обоз миновал деревню.

Снова поле; темь и холодный ветер...

Слышится шум саней и дружный топот лошадиных копыт то по мягкому снегу, то по торной дороге, изрезанной приступками, об которые стучат полозья розвальней, как об рубель... А в поле ни голоса!.. В стороне мелькают леса... Декалову рисовался и вечер на семинарской квар-

тире; ему становилось жаль своих товарищей: теперь они тоже где-нибудь в дороге, на холоде...

В обозе ни один мужик не подавал голоса: вероятно, все спали. При сильных раскатах Декалов замирал, опасаясь быть вываленным из саней; достаточно было на четверть минуты отстать от обоза, чтобы потерять его из виду...

Но как обрадовался Декалов, когда обоз поехал шагом и вдруг подле его саней какой-то мужик заговорил:

— Ванюша, что, озяб?

— Озяб,— сказал Декалов.

Мужик поправил шлею на лошади.

— Сейчас приедем ночевать; версты две осталось...

Мужик сел на край саней и, помолчав, продолжал:

— Небойсь мать-то твоя ждет не дождется тебя... чудно! Колько времени не видались... как нешто обрадуется, сердечная!..

Мужик говорил таким братским голосом, что Декалов готов был обнять его...

VIII

ВЕЧЕР ПОД РОЖДЕСТВО

В доме кочергинского дьячка все было вымыто и убрано; зажженная перед образом лампадка озаряла на столе белую скатерть.

Декалов, в новой рубашке, сидел с матерью и бабушкой на печке, при свете ночника; там же, в углу, стояла кадка с пирожным тестом. Дьячок, расчесывая свои волосы, сидел на лавке.

— Ох-ма, хма, хма!..— проговорила дьячиха, выслушав несколько рассказов сына об училище.

Все молчали. По свежей соломе, устилавшей пол, тихонько кралась кошка; под печкой ворковали голуби...

— Матушка!— сказала дьячиха,— не посмотреть ли нам, как всходят пироги?

Старуха и дьячиха осветили на печи кадочку и, глядя в нее, говорили:

— Кажись, хорошо всходят... дрожжи бесподобные... Закрой. Господь с ними...

— А у нас хотят заказать новый колокол,— сказал дьячок сыну.

— Да, да! — подхватила дьячиха, — пудов в шестьдесят, что ли?

— Заказали в шестьдесят... что говорить! Колокол будет городской... — отвечал дьячок.

— А не пора ли нам затоплять печку?

— Погоди, маменька, — сказала старуха, — а вот нешто принеси из амбара мясное да потроха... не тронь, пока оттаят в избе...

Дьячиха оделась в шубу и принесла из амбара гусиные лапки и головки, поросенка, двух кур и часть свинины. Все эти предметы хозяйка разложила на лавке.

— А студень-то не пора вынимать?

— Теперь пора.

Дьячиха вынула из печи чугуны и начала разливать студень в деревянные чашки, вынимая оттуда ложкой бабки, которые старуха отдавала внуку.

Дьячок, чтобы не мешать бабам, отправился на печку.

— Ванюша, не забудь завтра сходить к отцу крестному — Христа прославить! — сказала дьячиха.

— Бабушка, — спросил Декалов, — что же, вы не видели Петю Лаврухина?

— И! Да уж он про тебя спрашивал бесперечь... он, верно, еще не знает, что ты приехал. — А что я вспомнила? — вполголоса сказала старуха дьячихе, — не помазать ли Ване спину гусиным салом?

— Когда я ждал тебя домой, — сказал дьячок, — я написал речь... Если бы ты ее выучил, завтра от помещика получил бы что-нибудь... Я тебе ее прочту: мудрена покажется или нет?

Дьячок достал речь и прочитал.

— Что, мудрено, Ваня? — спросил дьячок

Декалов немного подумал, желая угодить отцу; наконец, сказал:

— Мудрено, тятенька!

— Мудрено-то мудрено! — сознался дьячок.

— Ванюша, — сказала старуха, — поди-ка ляг спать... тебе и так надоела эта учеба...

Дьячок отправился на полати, а Декалов полез под печку к голубям.

Почувяв его приближение, один голубь заворковал и щипнул его за руку.

Падавший с лавки свет сквозь дощатые треугольники

тускло озарял стадо спавших голубей, которые, запустив носы в крылья, поглядывали одним глазом на Декалова; в стороне от них одиноко сидела галка: видно было, что голуби преследовали ее и она жила с ними по необходимости.

IX РОЖДЕСТВО

На другой день, после заутрени, Декалов шел к священнику славить Христа. Начинало рассветать. По небу тянулись красные полосы; у крыльца священникова дома стояли резные сани с свежей соломой.

В горнице священника на зеркалах висели узорчатые полотенца. Декалов подошел к образу и запел тропарь.

Из боковой комнаты вышел священник.

— Здравствуй, брат! — сказал он, давая Декалову гривенник. — Давно приехал?

— Вчерась...

— А мой богослов приехал третьего дня. Ну, нынче собирайся с нами — в приход...

После обедни весь сельский причт был в хлопотах. Священник стоял перед дьячком, державшим под мышкой стихиари с церковными книгами, и говорил:

— Ступай скорей к дьякону. Скоро, что ли, он? до куда мы будем прохладяться?.. Жена! дай мне гребень — голову причесать, да коровьего масла...

— Катерина! — сказала попадья, — подай отцу масла голову намазать...

Дьякон в своем доме стоял перед закуской и, держа в руках ножку жареного гуся, говорил:

— На барскую закуску надеяться нечего... вилочкой там немного сделаешь...

— Поешь себе хорошенько, — говорила дьяконица, ставя на стол новое блюдо.

— Отец дьякон! — закричал входивший дьячок, — что же вы мешкаете? батюшка сердится...

— Я готов, у меня лошадь давно запряжена. Ступай, беги за другим священником да за дьячками...

Причт явился в доме помещика и шепотом начал спрашивать лакея:

— Дома господа?

— У себя...

— Что, мы не опоздали?

— Нет; барыня только встала.

Вскоре по коридору застучали сапоги, и в отдаленной зале раздалось пение.

Священник и дьякон приглашены были хозяином в столовую, а дьячки отправились в лакейскую.

— Что, холодно на дворе? — спрашивал помещик.

— Очень холодно...

— А я сегодня и в обедне не был.

— Прошу покорно... Закусите... — сказала помещица.

В передней шел разговор между дьячками и лакеем.

— Это ваш сынок-то?

— Мой... из третьего класса... Что это вы подвязали щеку?

— Да зубы-с... — отвечал лакей, — ночей не сплю.

— Позвольте спросить, какие это ложки: неужели серебряные?

— Серебряные! да вот извольте — проба. У них корец и то серебряный... Вот не знаю, чем зуб лечить...

Лакей начал губами раздувать кофейник на окне.

— Кому это вы? — спросили дьячки.

— Барчуку-с...

Наконец, вышел священник с дьяконом, и в одну минуту весь причт был на улице близ лошадей, которым подвязывались поводья и чересседельники...

— Ну, что? о чем барин говорил? — спрашивали дьячки, — сколько дал?

Все сплотнились в кучу...

Между тем в отсутствие мужей поповны зазвали к себе в гости лакеев, земских, приказчиков с женами и дочерьми. На столах стояли лакомства; вокруг гостей ходил поднос с рюмками. Молодые люди играли в карты и фанты. В комнатах сильно пахло скоромным; многие жаловались на головную боль, спрашивая друг друга: «Не угорели ли вы?» Лакеи, срывая с леденцов билетки, дарили их девкам, если надпись была вроде следующей: «Колья тебе не мил, что я тебя, тиранку, полюбил». Девки в свою очередь дарили билетки лакеям.

В углу кто-то играл на гармонике, а хозяйка просила убедительно:

— Спойте, девушки, что-нибудь...

Раздавалось: «Вечор поздно из лесочку...»

В доме Декалова не было гостей. Дьячиха и ее мать спали на постелях в праздничных платьях; на хорах тоже спала какая-то крестьянская старушка, которая в доме дьячка и разговелась. В избу светило солнце... по полу бродили голуби; галка, раскачиваясь на шесту, висевшем над печкой, вслушивалась, как ее подруги покрикивали на улице. Вытянув шею, она вскрикнула и потом съезжилась, намереваясь вздремнуть; кто-то проснулся и зевнул...

В сумерках дьячок Декалов подъезжал с сыном к дому одного приказчика. Неверными шагами подходя к крыльцу, дьячок говорил:

— Наше дело такое: мужик горбом, а дьячок горлом...

Отец с сыном вошли в сени, в которых на полу кипело несколько самоваров. В горнице приказчика играли на гармониках и балалайках и шла такая пляска, что дрожал весь дом.

Дьячок приладился ухом к двери и, иронически прищурив один глаз, проговорил:

— Пир Валтасара! да нам что же?.. Мы яко служители церкви...

Часов в десять ночи падал небольшой снег. Дьячок с сыном ехали по полю; между ними на возу лежал мешок с христомлавными курами, которые при каждом ухабе вскрикивали и утаскивали мешок на край саней.

— Ну! наши приехали! — сказала пономариха, услышав под окном скрип саней, и понесла в сени ночник.

— Здравствуй, жена, — слышался хриплый голос пономаря, — вот это тебе пироги...

— Ваня, беги скорей в избу... несите сюда мешки...

Декалов вошел в избу весь в снегу; мать принялась распоясывать его, причем на пол упал мешок с деньгами. Старуха пускала под печку кур и говорила:

— Первой... другой... а это кочет... вот и утка...

— Здравствуй, жена, — сказал явившийся пономарь.

— Эко нахрюкался!

— Первое, — продолжал хозяин, растопырив руки, — Агафья Ермолаевна тебе кланяется и пеняет, что ты ее не проведаетшь...

— И! городит!.. она, чай, знает, когда мне проведовать?..

— А кум прислал тебе заочно утку и обещался за-

ехать... Были у помещика Егора Иваныча... он дал Ване гривенник... Что ж нам?..

Через час пономарь лежал в углу на полу и говорил: «Дети мои! отец ваш много испытал!» Декалов спал на печи.

Огонь давно потух; в трубе гудел ветер; под печкой иногда, ссорясь с курами, ворковали голуби. В полночь хата выстыла до того, что протрезвившийся пономарь собрал с полу свои пожитки и отправился на печку. В избе прокричал один петух, за ним другой... с надворья заголосил третий... ветер жалобно выл под окном и посвистывал в плетневых сенях... от бури хата часто вздрагивала... Закричали «вторые петухи»; Декалов проснулся и начал ощупывать печку; он осторожно спустился на пол.

— Бабушка!

— Что ты, батюшка?

— Проводите меня.

— Господи благослови... где это мои башмаки?.. Студено как стало в избе-то...

ПРОПАЖА

Был зимний вечер. В крестьянской избе горела лучина; на конике сидел ветхий старик высокого роста, в одной рубахе, с расстегнутым воротом; он плел лапти и сурово посматривал на баб, хлопотавших близ печки. Старуха и одна молодая баба вынимали из лубочных сундучков—рубахи, онучи, нитки и запихивали их в мешок, в который прежде положена была вареная каша и коврига хлеба.

Бабы собирали в дорогу мужика Антипа, который на дворе насыпал два воза муки. В избе было тихо, только слышался шепот баб:

— Хресточек-то не забудь, а портки-то положи вниз... под хлеб-то пихни.

— Лапти положите пуще всего,— заговорил старик.

— Положили, положили...— сказали бабы...— не забудь, матушка, сольцы...

Старик начал стучать по лаптю кочатыгом и говорит:

— Дорога дальняя, обужа первое дело; на дороге бог знает за что отдашь полтину али семь гривен...

Уставшие бабы завязали мешок и сели друг против друга:

— Не забыть бы чего?.. дай бог память...

— Кажись, не забыли...

Старик перестал стучать и исподлобья посмотрел на баб, желая сделать им выговор, если они что-нибудь забыли.

На дворе под навесом Антип таскал из амбара муку и говорил стоявшему у саней другому мужику, соседу:

— Старик одно слово! иной раз пужанет чем ни попадя; однова ошарашил меня— шесть недель пролежал... Семая! — заключил он, бросив меру муки в сани.

— Семая! — повторил другой мужик, разравнивая муку.

— Однава дыхнуть, — говорил Антип, нагибаясь в за-
кром, — не чаю, коли он помрет... хоть и отец... Кабы я был
сам хозяин-то, да один в доме-то!.. а то всякое дело из
рук валится... шкалик, шкалик, братец ты мой, иной
раз и то боишься выпить.

— Известное дело...

— Ужь и постыла эта жизнь, подумаешь!..

Мужики зашпилили веретья и увязали воз веревкой;
в углу двора фыркали лошади.

— В ночь поедете?

— В ночь...

Антип и его сосед пришли в избу.

— Насыпал? — спросил старик. Антип бросил у
печки шапку и, потирая руки у печурки, неохотно произ-
нес:

— Насыпал...

— Скоро мужики-то поедут? — опять спросил старик.

— Кто их знает... хотели в ночь...

— Тогда, чай, скажут, — проговорила баба. Сосед при-
сел на хоры и, искоса поглядывая на старика, начал:

— А небось теперь в Москве дорог хлеб-то?

— Вестимо, небойсь дороже здешнего... так было
спокон веку, — сказал старик, — наше дело — тем кор-
мимся.

— Точно, — продолжал сосед, — пропитание, стало
быть, наше... ведь он, батюшка, хлебушек-то, как походишь
за ним да постарайся, он тебе и отплотит, а будешь
лежать, ни рожна не будет!..

— Видно, так надо сказать, — возгласил старик, на-
мереваясь сказать, помудренее, — часто и от глупости на-
шей не бывает ничего.

— А то что же? — заметил сосед, — от глупости и есть!

— Тоже от гордости, — продолжал старик, — иной,
прости меня господи, кричит: «Я богат!» — а что, мол,
ты богат? что в тебе есть? — У старика слегка задро-
жали руки.

— Стало быть, богатство-то наше не под нужду, — за-
метил сосед.

— А завсегда надо богу молиться! — возопил ста-
рик, — еще от дедов идет история...

Старик потащил из угла лыки и сказал:

— Без бога не до порога.

— Да! — отвечал сосед, — видно, что попросишь бога, то и есть.

Кто-то постучал в окно и крикнул:

— Эй, Антип! запрягай лошадей!

Через четверть часа вся семья стояла перед образами.

— Зажгите, бабы, свечи Флору, Лавру, — сказал старик, — надо об лошадях помолиться... Ну, Антип! — простившись с сыном, воскликнул он, — смотри денег попусту не трать да лошадей береги: ежели что случится, прямо говорю: лучше не показывайся на глаза! Ступай с богом!..

Ночь была не лунная, но видная; по деревне ехал большой обоз. Антип съехал со двора и вскоре смешался с обозом.

— Тппру!! куда тебя занесло? куда в бучило идешь? — раздавались голоса.

Через несколько времени обоз выехал на большую дорогу; мужики шли кучами близ лошадей, разговаривая про то, сколько кто насыпал хлеба, не взял ли кто с собой лишней оглобли, хомута; иногда мужики толкали друг друга и подсмеивались, у кого какая жена. Всех мужиков в обозе было человек до двадцати.

— Уж и чудна Андропова жена! — говорил один, — бо! баба! Надясь, когда у нас стояли солдаты, муж ее приколотил, а она приходит к нам и говорит: «Хоть без ребрышка быть, да солдатика любить!»

Наступила полночь. Обоз проехал верст десять. Разговоры между мужиками прекратились; кто сидел на возу и спал, кто шел и дремал; иного мужика так клонило ко сну, что, не владея собою, он или падал в снег, или шел в противоположную от обоза сторону, то есть назад, и приходил в себя тогда, когда натыкался на оглоблю или на товарища, который кричал ему: «Ай домой попер?..»

Обоз проехал еще пять верст; почти все мужики лежали на возах; не дремал один только передовой; он сочувствовал своей лошади и тихонько напевал:

Девка по саду гуляла,
Красоту теряла.

Обоз въехал в большое село, в котором кое-где светился огонь, не исключая и кабака, стоявшего среди пустой улицы.

Передовой уже проехал село и стал приближаться к большому лесу, тянувшемуся вокруг села, как услышал позади обоза голос:

— Стой, стой!..— обоз остановился.— Братцы! Не выдавайте! — кричал кто-то.

Все мужики слезли с возов и побежали по направлению к голосу; вскоре они окружили Антипа.

— Братцы! у меня лошадь пропала! — кричал он.

— Как так?

— Да я было вздремнул, проснулся, хватъ — лошади нет! Братцы, заступитесь! — отчаянно вскрикнул Антип, — мне теперь одно остается: удавиться... без мерина... теперь к отцу и не показывайся!

Мужики понимали всю справедливость слов Антипа, зная его отца.

— Эй, ребята! — крикнул один мужик, — поедем на моей лошади!

В одну минуту мужики перетасили на другой воз муку, и человек восемь засели в порожние сани. Оставшиеся мужики собрали всех лошадей в кучу и стали ждать, чем кончится дело.

Розыщики неслись с Антипом в село.

— Вон, кажись, у дверей стоит баба, — заговорили мужики. — Тетушка! не видала тут лошади с возом?

Баба молчала, держа на груди под занавеской свои руки, наконец проговорила:

— А много дадите?

— Сколько возьмешь?

— Полтинник.

— Ребята! лошадь дороже стоит!

Бабе дали деньги, и она, подходя к саням и показывая рукой вперед, тихо начала:

— Вон второй дом от меня проедете, заверните за угол; туда два молодца провели лошадь.

Мужики скрылись в проулке. Спустя немного раздались голоса:

— Тащи! волоки наружу! сымай кафтан! на улицу первая! в сани вали!..

Шум поднялся такой, что вскоре вся улица была запружена проснувшимися сельскими мужиками.

из которых иные прибежали в одних рубахах и без шапок.

Поутру в окна одного постоянного двора ярко светило солнце, озаряя красные лица мужиков, сидевших за большим самоваром и не первым штофом водки. Хозяин в красной рубахе и жилетке, упершись кистью своей руки в стол, внимательно слушал рассказы мужиков о случившемся событии.

Мужики все были навеселе; они *обмывали* Антипа.

КОЛДУНЬЯ

Была осень. Близ засеки, в полуверсте от села, стояла новая непокрытая изба, вокруг которой в беспорядке лежали срубленные деревья.

В избе, на кровати с ситцевым одеялом, сидела молодая больная мещанка, прислушиваясь к ветру, потрясавшему рамы и стекла.

В избу вошла низенького роста пожилая баба с мешком муки за плечами.

— Здравствуй, матушка; ай больна чем? — сказала баба, перекрестившись на образа и вскинув черными глазами на хозяйку.

— Больна, Марья: лихорадка бьет.

Хозяйка обнаружила беспокойство и начала ощупывать подле себя шубу.

— А где же муж-то?

— В засеку поехал; он скоро приедет.

— А я вам принесла два пуда муки, помнишь, я брала у вас хлебом,— сказал баба, садясь на скамейку и с каким-то робким недоверием поглядывая на хозяйку.— Ай у вас до сих пор нет работницы? Ноне они дороги стали... А я хотела попросить деньжонок у Амеляна Трофимыча — за иструб; ведь мы вчетвером его срубили; и моя доля тут.

Наступило молчание. Больная оделась в шубу, подошла к двери и проговорила:

— Что это он не едет? пора бы ему...

— Ничего, я подожду, матушка,— ответила Марья и пристально, но ласково посмотрела на хозяйку.— Анна Тихоновна! — вдруг сказала баба,— может быть, ты меня боишься?

— Нет, Марьюшка,— отвечала больная, в замешательстве отворяя и опять затворяя дверь.

— Что я за оглашенная? — сказала баба,— ведь я вижу, что ты меня боишься! Я знаю... тебе небойсь сказали, что я колдунья.

Больная, по-видимому, сконфузилась.

— Я, Марья, этому не верю... мало ли что народ говорит?

Баба стала перед образами и воскликнула:

— Анна Тихоновна! вот тебе святые иконы! Убей меня господь, ежели это правда... Сошли мне господь истаять, как свечка тает!.. Царь небесный, батюшка, видит, сколько я перенесла от людей.

У бабы навернулись слезы; она снова села на скамейку и, сделав жест рукой, продолжала:

— Ну, постой, я тебе сейчас расскажу, за что меня прозвали колдуньей... Говорить аль нет?.. Может быть, я тебя беспокою?..

— Нет, Марья; известно, я здесь живу недавно и ничего не знаю; а от баб ваших я слышала...

— Ну, вот что же! — опять ставши перед образами, начала Марья.

— Создай мне, господи, чтобы мои руки-ноги отнялись, тресни...

— Марья, Марья! не божись... я тебе верю... Я боюсь такой божбы!

— Ах, Анна Тихоновна! за что я терплю такую напраслину?..

Наконец, баба начала рассказ:

— Жила я у своего дяди. Девчонка я была проворная и ростом махонькая, хотя и года мне вышли; замуж меня никто не брал, потому что я была сирота и ничего не имела.

Однако, зимою, подле нас ходили нищие — старуха с сыном; сын был взрослый; и стужа такая стояла на дворе — лютая! а одеты они были в худеньких кафтанах, и видно уж, чему быть — то, верно, богом назначено, мне их стало с чего-то и-и-и-их жалко! и дала я им по кусочку, а погреться позвать не посмела от дяди...

Вскоре приходит к нам одна баба и говорит: «А что вы не отдаете Марью за нищего малого Андрея, за побирашку-то? ведь ее замуж никто больше не возьмет; хоть она девчонка моторная, да мала ростом — и сирота!»

Дядя мой и согласился выдать меня за того нищего малого. Так я и вышла за него.

Вошла я к ним в разваленный дом, и на дворе у них только и было: курица да кочет... Стали мы жить. Старуха тут померла; старик все сидел дома и ничего не делал, а мы с мужем все побирались; мой муж был такой хворый и какой-то, прости меня господи, ляд: что, бывало, ни наберет, все пропъет.

Года через два мы нанялись стеречь скотину; я начала думать, что на мужа надежда плоха, а надо мне самой копеечку собирать...

Года через три мы стали наниматься в работники, где за плату, а где из хлеба... И много, моя голубушка, зазнали нужды!.. Дворик наш все стоял разоренный... Однако я маленько сберегла деньжонок, и бросили мы найматься в работники, а стали жить дома.

Жили мы здесь в селе; место тут засечное, а в засеке в те поры было слабо. Начали мы с мужем по ночам возить лес; он, бывало, повозит да ляжет на печку — от живота... А я примусь одна возить... Лошадку когда люди дадут, а когда нет... три года я на себе дрова носила и воду возила... бывало, беременная работаешь!.. и не успеешь поправиться после родов, — а все в работе; потому все на мне лежало; к тому же обужа, одежда были плохие. Однажды я поехала с мужем в засеку ночью — дуб наваливать, да там и родила... так дуб и не привезли; после муж побил меня... Пьяный человек! Кое-как да кое-как поставили мы себе хатку. Осенью я набрала мер шесть орехов да продала за пять целковых и на эти деньги купила себе телочку, только она не пошла в руку, издохла... Я стала опять копить денежку; бывало, ежели захочешь покупать коровенку али жеребенка (я всегда сама заправляла этим), пойдешь к одному, другому — спросишь, — как бы не ошибиться... Один скажет то, другой — другое, и слычашь... И выучилась я узнавать скотину.

Раз продают на слободе корову, и такая она на вид дохлая, — и всю-то ее можно в беремя унести, весу пуда три, а просят недорого. Я попытала ее и вижу, что коровка добрая; помолилась богу, что будет не будет, отдала деньги и привела к себе: вот-то от этой коровы у меня идет весь завод; у меня теперь, моя матушка, две телочки такие — по селу не скоро найдешь... (Рассказчица перекрестилась.) Лошадку я тоже сама купила. Тоже начала я иструбчиками промышлять. Войдешь с кем-нибудь в часть, и поставим иструбчик, а после продадим.

Так вот я тебе хотела сказать, за что невзлюбил меня народ-то. А вот за что: бывало, что я себе ни куплю, овечку ли, поросенка ли, и все мне удастся, а оттого царь небесный посылал, что я научилась узнавать в них толк.

— Отчего же у тебя телушки-то хороши? — спросила хозяйка, по-видимому увлеченная житейской картиной.

— Да, правду сказать, оттого, что я в них души не чаю; кормлю их, сама не евши... иногда, случается, завернет стыдь, так я их на ночь своим кафтаном и одену; а когда они были махонькие, я их месяца три одним молоком поила: вот отчего они такие.

— А сами-то, верно, не хлебали молоко?

— Нет! А отчего не хлебали? признаться, у нас о ту пору велась убоина; боровка зарезали... Так-то, матушка моя! А еще потому меня невзлюбил народ и прозвал колдуньей, что я по гостям никогда не хожу да что у меня черные глаза; а есть когда мне по гостям-то ходить!.. А уж сколько отведала я горя-то от людей!.. мне на свет божий нельзя показаться; а ведь разве мне хотелось на срамоте-то людской жить? Да и побоев немало приняла...

— Ну, вот что, Марья: я слышала, ты и в церковь не ходишь; отчего ты в церковь не ходишь?

— Анна Тихоновна, да нешто мне не хотелось бы с людьми во храм пойти? разве мне не хочется встретить праздник, как добрые люди?

— Отчего же ты этого не делаешь?

— А вот отчего, моя милая: некогда, недосуг мне! мне дыхнуть некогда! Ты спроси-ко: у меня ведь двое маленьких детей, а там старик; он тоже ничего не делает, только лежит на печке; а муж, я говорила, какой он... Намесь говорю ему: «Пойдем воды принесем», — так бросился колотить. На всех все я одна! Матушка моя! я вот тебе расскажу, что я делаю-то: встанешь поутру, подоишь корову, прогонишь ее в стадо, а там прогонишь телят на выгон, придешь домой — принесешь воды, почистишь картофель, истопишь печку, соберешь позавтракать мужу с свекором, а там муки нет — надо на мельницу; а тут веретья нет — пойдешь добывать; все село обходишь: у того нет, другой не дает; а там раз пятнадцать в день-то сбегаешь в одонья свиной согнать, а там скотина своя пришла; надо ей дать корму, а там муж зовет — сарай покрыть, там плетень повалился... А как придет рабочая-то пора! Веришь али нет? рубашонки, рубашонки своей некогда за-

шить... вот лаптей и то нету! отчего же я перед тобой ноги-то поджимаю?—лапти развалились, онучи сопрели!.. разве нужд-то мало? Поживешь, друг, увидишь... иное место ум расступается! Опять же я все сама во всякий след... Я смогу и лошадь запречь, я не впервой одна езжала в город хлеб продавать. Бабье ли это дело?.. а нужда научит всему!..

Баба замолкла. У двери с улицы раздался визг свиней.

— Вот они визжат! — продолжала Марья,— надо им чего-нибудь дать; так-то и всякое дело!

— А что, Марья, не потрудишься ли ты снести моим свиньям чугуна с помоями? Сама-то я почесть не выхожу из избы.

— С чего же? Под этой лавкой чугуна-то?

Баба вынесла чугуна и вскоре воротилась.

— Ох, Анна Тихоновна, трудно, трудно жить на белом свете! Так-то вот с тобой я побеседовала, будто меду напилась...

— Вот что, Марья: скажи мне, как вот ежели выбирать корову: хороша она или нет? У нас еще нет коровы.

— А вот как: пуще всего смотреть надо хвост: ежели у ней самая кортень идет ниже колен, то это лучше не надо; у меня была корова, так та, бывало, хвост-то взбросит себе на спину: тяжел был... Еще надо искать по бокам колодези... а еще по зубам: чет али нечет... это тоже к молоку хорошо...

— Ну, а лошадей как узнают?

— А у лошадей смотрят лады, ноги; пуще всего надо толстые ноги, а шашки чтоб невысоки; тоже зад чтоб был широкий; а вот ежели нижние челюсти тонки и под шашками коготки, то это добрая и на езду скорая лошадь...

Марья помолчала и заключила:

— Вот за то-то и прозвали меня колдуньей.

Года через полтора Марья умерла. Мужики нашли необходимым в ее могилу загнать осинового кола...

ФЕДОР ПЕТРОВИЧ

I

На большой дороге, уже забытой извозчиками, стоит кабак, история которого теряется в отдаленной древности, так что старики лет девяноста от роду помнят этот кабак и в своих рассказах о старине нередко упоминают об нем, как о притоне чуть не денного разбоя. Все на том же месте стоит он, как и прежде: та же колдобина перед ним, в которой в осеннюю пору купались извозчики, а теперь купаются случайные проезжие; та же ветла, когда-то зеленевшая, а теперь издающая своими голыми сучьями, пронизываемыми ветром, грустное завывание.

Дорога, по причине проложенного верстах в десяти шоссе, совсем забыта. Только летом иногда пройдут по ней богомольцы или хохлацкие гурты, обозначая свой путь сгоревшими кострами и ямами для котлов; но давно уже нет длинных обозов, с гигантскими, клейменными кулями, с бочками и хмельными извозчиками, рогожами, крупчаткой, кожами. Забыты глубокие овраги, в которых прежде, в дождливое время, совершались народные драмы, задыхались и умирали лошади при отчаянных криках извозчиков, лежали опрокинутые возы, сломанные телеги и вдруг наступала бесконечная, осенняя ночь. Запустили эти овраги, как отмененные эшафоты, и разгуливают по ним теперь волки и лисицы; вороны и коршуны молчаливо сидят над ними, ожидая появления быстрого зайца. Уцелел только от прежних времен ветхий мостик над водомоинной, под которым прежде, в ночную пору, поживали незнакомцы с дубинами.

Лет пять тому назад в упомянутом кабаке жил сиделец Федор Петрович, мещанин высокого роста, с черными глазами, лет тридцати пяти. Этот человек совмещал в себе качества, требуемые положением сидельца, качества — необходимые для того, чтобы вернее наживать деньги. Вежливость, аккуратность, всегдашняя трезвость и знание людей, изнанку которых Федор Петрович имел возможность рассматривать в своем кабаке, были основными чертами его характера. Это был тип, какой только может выработать наша народная жизнь с ее колдовратностями, отсутствием уверенности, что завтра покрытый соломою дом не сгорит, не явится становой, как молния с небес, что не выдаст и не надует родной брат. Федору Петровичу, как характеру и как явлению, может соответствовать озимовый злак, претерпевший поспание скотины, пасшейся на нем, и превратившийся в высокую рожь. Совершенством своего приспособления к жизни Федор Петрович мог поразить даже любого зоолога.

Федор Петрович держал хорошую водку, ездил каждое воскресенье в церковь, где с необыкновенным приличием пел басом, бывал на каждой годовой ярмарке в соседних городах, торговал лошадьми и считался, по справедливости, одним из первых знатоков по этой части, поздравлял в высокаторжественные дни богатых помещиков, которые без закуски его не отпускали, и всегда ездил на отличной лошади, которую, однако, готов был продать кому угодно.

Так как посещали кабак лица разных сословий, то Федор Петрович с каждым из своих гостей обходился соответственно его званию и даже привычкам. С мужиками он говорил обыкновенно покровительственным тоном, делал иногда краткие наставления, а если они, подвыпивши, сочиняли драку, то он выталкивал их без церемонии в шею. Мужику, особенно привязавшемуся к кабаку, целовальничиха давала крендель с передачею его детям. Какому-нибудь старшине, как начальнику разных сходок, Федор Петрович подавал руку, непременно предлагал папиросу и угощал «красеньким»... С лакеями и духовными он обходился приветливо и всегда потчевал их до отвала, зная, что эти люди помешаны на угощении, да и пригодятся современем, так как они играют в деревнях роль журналистики и от них зависит возвысить человека в общественном мнении или опозорить. Перед барином Федор Пет-

рович не гнулся, но был вежлив и, развязно откупоривая бутылку хересу, спрашивал: здорова ли барыня и как псарня, если такая была у помещика. С прасолом целовальник вел себя сухо, но всегда запросто, ибо чувствовал, что если сам он в некотором смысле — коса, то прасол наверное камень, также и наоборот; во всяком случае, для прасола стоял хороший стакан водки на стойке.

— Что гнедой-то?.. — спрашивал целовальник.

— Не подходит статья... давал билет с столбиками...

— Спехову надо всучить... она ему пойдет в корень...

А бурый?

— Сивогривому сблаговестил... пять красеньких... на ноги села!

— Надо сбалабошить саранчу-то Ямовскому... тут барин из Питера приехал.

— Слышу!.. А Сенька-то что же?

— Ну, вон! очнись! Уж он своих в Елец погнал...

Если в кабак приезжал лакей или духовное лицо, то на стойке являлся графин с травником и крендели. Хозяйка, угощая гостя, говорила:

— Нуте-ко... пожалуйста... закусите... на дорожку... пошонок!

— Душевный человек!.. — твердил потом пьяный гость, лежа в своей телеге, стучавшей по большой дороге.

Мужики, лишь только выпивали по стакану, начинали хвалить целовальника.

— У нас много было кабатчиков, Федор Петрович, а чтобы как ты, не было и не будет. Вот тебе образ!

На эти похвалы Федор Петрович не обращал никакого внимания и, стоя за стойкой с золотой цепочкой на жилете, постукивал костяшками на счетах и вполголоса говорил жене:

— Ивану-то Михальчу отпустили?

— Отпустили! — отвечала жена, расставляя на полке какой-нибудь ратафий, причем ярко сверкали ее продолговатые серьги, мотаясь в разные стороны.

Когда мужики начинали между собой ссориться, в это время Федор Петрович выходил из-за стойки и говорил:

— Вот что, ребята! пить — пейте сколько душе угодно, и кричите, и песни пойте, а ругаться дурными словами тут нельзя. Здесь место казенное, государственное, зачем-нибудь орел-то прибавается к кабаку: вы неграмотные, так подите сюда, я вам прочитаю...

Федор Петрович подводил мужиков к печатному листу, висевшему на стене, и читал:

— Братие! почто убо?.. и т. д.

— Федор Петрович! приятель! ты нас разбьяри! разя мы не чувствуем? Мы тебе, к примеру, задолжали и за всегда просим покорно...

— Про долг,— отвечал хозяин,— я вам ничего не говорю! Я поверю вам сколько угодно; ну, а ругаться здесь нельзя... Слышишь, что святые люди приказывают... Зачем безобразничать?.. у меня жена, подумай ты это!..

— Вишь, Митрей, что он говорит-то?

— Пойдем, шатлый! Зачем обижать хозяина? Выпили, и слава богу! Федор Петрович! песню, ты говоришь, можно? Родной!

Для барина, заезжавшего в кабак с охоты, доставалась бутылка хересу.

— Чайку не прикажете ли?

— Благодарю! до дому недалеко.

— Ну, как охотка? удачна ли?

— Представьте себе: волка выгнали... в Зарытом верху... глядь: катит! бросили борзых... люлю!.. он в лес — и поминай как звали! однако прибылой!..

— Хереску пожалуйста! так и ушел?

— Ничего нельзя было сделать... я ведь охотился на своей гречихе... она, знаете ли, только всходит... как люлюкнули! уж борзые приняли было в добór! ушел, каторжный.

— А то прикажите самоварчик?

— Нет, не надо!

— Ну, что Петр Петрович, нет ли чего-нибудь новенького в газетах? — спрашивал целовальник.

— Ничего не читаю.

Верстах в четырех от кабака, на проселочной дороге, стояло село Ямовка, состоявшее по крайней мере из трехсот мужицких дворов. В этом селе установлены были целые четыре праздника в году в честь разных угодников, поэтому четыре раза в год к кабаку Федора Петровича устремлялись многочисленные ватаги мужиков с жбанами, сулейками и ведерными бочонками, кроме разных побочных случаев, например свадеб, крестин, похорон, вызывавших подобные же приливы доходов в кабак. Неизбежным следствием такого рода отношений, с давних времен существовавших между кабаком и ямовскими жи-

телями, было то, что вся Ямовка запуталась в долгах у Федора Петровича, как муха в сетях паука, так что стоило только целовальнику появиться на дворе должника, чтобы обратять любую скотину. Но к чести Федора Петровича надо сказать, что к таким безбожным мерам он никогда не прибегал, на что, впрочем, он, как опытный паук, имел свои резоны! У Федора Петровича были такие соображения: хотя кабак приносил и хороший доход, несмотря на то, он был решительно не на месте. Находишь он в самой Ямовке, покупателей было бы несравненно больше, так как в Ямовку каждое воскресенье ездил к обедне несколько посторонних деревень, да и сама Ямовка потребляла бы водки не в пример больше прежнего, к чему могла располагать самая близость кабака. Кроме того, собирать с мужиков долги было бы удобнее: тогда от целовальника не ускользнул бы ни один должник; между тем как теперь, пользуясь расстоянием, отделявшим село от кабака, ямовский мужик сторонкой отвозил хлеб в город, получал за него деньги и втихомолку тратил их на свои нужды, отсрочив платеж целовальнику на неопределенное время. Будь кабак в Ямовке, этого не могло бы случиться: тогда насыпал ли мужик воз ржи, даже просто оделся ли в полушубок, Федор Петрович как раз с вопросом: «Куда собрался, Иван?» Словом, жертва была бы у самого рта. Таким образом, единственной, заветной мечтой Федора Петровича было — перенести кабак в Ямовку. Но пока сделать этого было нельзя: все зависело от ямовского барина, который жил постоянно в Москве; крестьянский сход мог дать *местечко* для кабака и на своей земле, но опять не иначе, как с согласия и даже разрешения барина. Так Федор Петрович и сидел в поле, разделенный от своей возлюбленной Ямовки целыми четырьмя верстами, на протяжении которых можно было ловить добычу одними щупальцами.

В один весенний день разнеслась весть, что из Москвы приехал в Ямовку в качестве управляющего какой-то богатый барин, друг и приятель самого владельца. Федор Петрович приободрился. Он увидел, что от нового управляющего зависит вся его судьба, и стал думать, как ему начать действовать? Но прежде всего целовальник счел за лучшее не торопиться, зная по опыту, что чем дело важнее, тем более оно требует хладнокровия и спокойного обсуждения. Федор Петрович на первом плане ре-

шил сблизиться с прислугой нового барина, что и начал приводить в исполнение.

Однажды летним вечером целовальник сидел с своей женой за самоваром. К кабаку подъехали беговые дрожки. Хозяйка бросилась к окну и заговорила:

— Кучер ямовского барина! Федя! Федя!

— Предложи ему чаю да достань ратафии,— сказал целовальник, застегивая жилет.

В кабак вошел в красной рубаше и плисовой поддевке кучер с бочонком под мышкой.

— Федору Петровичу всенижайшее почтение!

— Всё ли в добром здоровье? Пожалуйте-ка чайку попить.

— Можно.

Хозяйка очутилась перед гостем с подносом.

— Желудочная? — спросил кучер, выворачивая белки глаз на хозяина.

— Французская ратафия, попробуйте!

— Штука ничего! в Питирбурхи мы больше косили тминную, херес, мадеру, что попало!

— Садитесь. Ну, как ваш барин?

— Что ж ему? Все ломает да коверкает. Деньжищев пропасть! анжирею затеял; прачешную строит, садовника из Питера выписал — деньги вольные!

— Нуте-ко другую,— сказала хозяйка, поднося кучеру ратафии.

— Как его бишь зовут, барина-то?

— Захар Ильич... прозывается Абалонов.

— Что ж, за водкой приехал?

— За водкой. Просил очищенной что ни есть.

— Видно, самому?

— Да у него для всех одна!

— Я слышал, барин добрый,— говорил целовальник, — и образованный человек.

— Человек, надо сказать, так: по книжной части это первая его страсть! Теперь нарочно из Питирбурха выписывает разные журналы, газеты... без книг ни одного дня не может прожить. Как сейчас встал, прямо: «Васька! газету...» И, должно, эти книги, Федор Петрович, человека, как сказать, одурают: что вот теперь, я полагаю, водка для нашего брата, то для господ — книга. Потому она что-нибудь это в разуме у них... там... погляжу я на своего барина: ровно рехнулся... увидел у Селезенкина поме-

щика винный завод—«а! говорит, то-то мне и нужно! Надо, говорит, себе соорудить!» Тоже рысистых лошадей хочет заводить. Ну, известно, барин, надо говорить по правде, душевный и простой.

— Пожалуйте водочки,— потчевала хозяйка.

— Человек вежливый! — разламывая крендель, продолжал кучер,— благородный, значит, потому образованный человек, не так, как теперь здешние помещики — всё норовят дело не дело обляять нашего брата; ну, а этот малого ребенка не обидит, и опять же ихняя супруга только и знает что по-французски жарит; верно говорю вам.

— Ну, что же, господа-то часто ездят к нему?

— Нет, спервоначалу повалили было, а тут что-то и оселись... Однако бывают; да наш барин, я вам докладываю, чудной: он теперь любит с плотником ба́лами заниматься, с столяром или с простым мужиком. А господ он мало привечает и сам у них редко бывает. Ездит иногда вот к Селезенкину, к Орлову, еще в город когда... А барыня, та любит в городское собрание ездить, офицеры к ней приезжают.

— Прошу покорно,— потчевала хозяйка.

— Ну, что ж, все больше чтением, вы говорите, занимается барин-то?

— Чтением! — Кучер, выпив водки, отплюнулся.— Чтением... как есть беда!

— Папиросок не угодно ли?

— Ах, вот это чудесно!

Наконец, кучер собрался ехать.

— К нам, Федор Петрович, просим покорно во всякое время, с хозяйшкой.

— А что, вашему барину не нужно будет рабочих лошадей?

— Ай есть?

• — Есть...

— Волоките! Страсть нуждается... да ему что ни покажете, сейчас купит: как есть махонький ребенок.

Кучер сел на дрожки, крикнул: «Эй, поджарая!..» — и скрылся в облаке пыли.

Новый ямовский управляющий, Захар Ильич, был отставной офицер, но офицер цивилизованный, с московским лоском, московскими взглядами и обычаями, с ярким стремлением произвести коренную реформу в имении. Он был приятель самому хозяину имения, никогда не бывав-

шему в Ямовке, и свои приятельские отношения к нему ознаменовал тем, что женился на его любовнице, очень пышной и дородной московской институтке, которую привез с собою в Ямовку. Захар Ильич, имея полную уверенность от владельца, начал распоряжаться имением, как своим собственным; деньгами снабдил его тот же владелец, навязавший ему свою возлюбленную, от которой не знал, как отделаться. Пользуясь своими свежими силами, Захар Ильич начал с того, что сломал все риги, конюшни, хлебные амбары, даже самый дом, и принялся все строить снова. Поднялись размежевки с мужиками, явились каменные стены и красивые изгороди. Весь этот содом ошеломил окрестных помещиков, которые один за другим спешили познакомиться с Захаром Ильичом, как с человеком, видимо, богатым. Как образованный москвич, Захар Ильич считал своей насущной потребностью следить и за текущими событиями в отечестве, поэтому выписывал в Ямовку все газеты и журналы.

Целовальник Федор Петрович смекнул, что вблизи от него появилась лакомая добыча, стоившая целых двух Ямовок,— и крепко задумался.

II

Был погожий летний вечер. На балконе вновь выстроенного дома сидел за стаканом чаю Захар Ильич. У ступенек лестницы стоял мужик без шапки. Барин курил гаванскую сигару и громко толковал мужику:

— Не могу, друг мой! Ты очень хорошо знаешь, что теперь эмансипация, воля! другими словами, общая равноправность! ты со мной можешь поступить точно так же, как и я... Зайдет моя скотина к тебе на огород, бери ее, назначай и с меня штраф; в этом-то и заключается гарантия неприкосновенности имущества каждого из нас, в этом-то и весь прогресс!

Захар Ильич отхлебнул глоток чаю и откинулся на спинку кресел.

— Захар Ильич...

— Не могу!

— Простите!

— В чем тут простить? заплати штраф и ступай с богом! Правда, я человек добрый, это все узнали, но я не хочу делать поблажки никому, потому что всякого рода

уступка ведет к беспорядку: мы, как граждане и просто как соседи, непременно должны стараться заставлять друг друга исполнять свои обязанности, иначе произойдет столкновение, путаница... Ты видел, какие ограды я выстроил? Сделай и ты то же самое! Я знаю, первый ваш враг— это лень. Прежде, во времена крепостного состояния, вы еще могли лениться и делать все из-под палки, зная, что в случае нужды помещик вас выручит; но теперь настало такое время, когда выручать вас более некому, когда вы предоставлены самим только себе, когда нельзя более жить спустя рукава! Вот то-то и хорошо! каждый из нас неминуемо должен сделаться гражданином в самом обширном смысле слова.

— Простите, Захар Ильич!

— Не могу, друг мой!

Захар Ильич держал в зубах сигару и смотрел в сторону.

Вошла барыня Анна Григорьевна с целой толпой маленьких собачонок.

— Какой чудный вечер!.. и какая скука!

— Не знаю; мне не скучно, *ma chère!*¹

— Тебя вечно занимают разные пустяки — счастливый характер! а я не могу, как ты, целый час толковать с мужиком об эмансипации...

— Но надо же рано или поздно развивать этот народ, надо же внушать ему, что чужая собственность священна и потому ограждена законами и что...

— Мими! Каро! Каро! — закричала Анна Григорьевна на собак.

— Не могу, дружок! — обратился Захар Ильич опять к мужику.

Мужик упал в ноги.

— Послушай, я не терплю этого, встань! Я вижу, что в вас нет капли сознания своего достоинства. Человек! позови старосту! до какого унижения вы себя доводите.

— Что делать, Захар Ильич! дома есть нечего.

Пришел староста.

— Послушай, Ефим, много там потравы сделала вот его лошадь?

— Нет, несколько... опричь, что взошла.

¹ Моя дорогая! (франц.)

— Ну, выпусти ее и отдай этому мужику. Ступай, любезный.

Староста и мужик удалились. Супруги молча глядели на раскинувшееся против них село с прудом, церковью, крестьянскими дворами и ветряной мельницей вдаль, освещенной заходящим солнцем; на церковную крышу и сиявшие кресты слетались стада галок, на селе раздавались неясные крики людей и животных.

Перед балконом явился целовальник в длинном суконном сюртуке, с цветным галстуком, с фуражкой в руке.

— Здравствуйте, Захар Ильич!

— Вы чьи такие?

— Признаться, ваши соседи: вот тут, на большой дороге, кабак содержим.

— Так это ваш кабак-то?

— Так точно-с. Мы его, стало быть, снимаем уж лет десяток с прибавком.

— У вас хорошая водка; кажется, мы у вас брали?

— У нас. Ваш кучер третьего дня приезжал. Водку мы держим всегда очищенную.

— Взойдите сюда. Что ж вы нам хорошенького скажете?

— Мое вам почтение,— отнесся целовальник к хозяйке, на что последняя отвечала легким движением головы, поглаживая собачку, лежавшую у нее на коленях. Однако черные глаза целовальника обратили на себя внимание барыни, и она поправилась в креслах, по-видимому намереваясь посидеть подольше на балконе.

— Ну-с? рассказывайте.

— Дельце такого рода: слышал я, Захар Ильич, что вы очень любите читать книги, одолжите мне какую-нибудь книжечку: сидишь-сидишь в кабаке, знаете — скучно! Получал я тут от одного дворника журнал «Странник», книжка занятная; да теперь, прочитавши эту книжку, и сижу без дела. А еще сызмаленька пристрастие-то есть к чтению...

— Хорошо! только напрасно вы читаете «Странник». А я вам дам «Русский вестник», «Отечественные записки», мало ли хороших книг? А газет вы не читаете?

— Никак нет-с.

— Вы у помещиков попросили бы.

— Здесь, Захар Ильич, помещики почти ничего не читают.

Супруги с улыбкой переглянулись, и Захар Ильич, опершись своим подбородком на палку, проговорил:

— Верю, верю!.. еще далеко от нас время, когда чтение делается настоятельной потребностью каждого.

— Захар! — сказала барыня, — ты дай им роман Тургенева «Накануне».

— Да, да... Еще я вам дам «Современник», а впрочем, вот что, Анна Григорьевна, не дать ли им сначала Гоголя? Мне кажется, это будет некоторым образом фундамент для них... Опять же русский, народный писатель, этот, наконец, юмор...

Супруги даже обрадовались, что им предстоял такой удобный случай просветить целовальника. В них зашевелилось нечто похожее на родительское чувство к нему.

— Вы не читали Гоголя? — спросила Федора Петровича барыня.

— Не читал, сударыня.

— Так надо дать, Захар. Вот еще, пожалуй, «Подводный камень».

— Нет! к чему же, мой друг, «Подводный камень»? Это немного неловко... для их семейного-то быта...

— А как же, по-вашему, их семейный быт должен оставаться в патриархальном состоянии?

— Там другие условия, *top ami!*¹

— Лучше скажите, там больше деспотизма, нежели у нас, — сказала по-французски барыня.

— Я не спорю... Пожалуй, я дам и «Подводный камень»... Как вас зовут?

— Федором.

— По отчеству?

— Был Петров.

— Так, Федор Петрович, это мы вам устроим... Я вам дам книг.

— Благодарствуйте, Захар Ильич. Вы поистине отдадите мне душу.

— Непременно, непременно. Садитесь. А я вот здесь занимаюсь хозяйством.

— Хорошее, сударь, дело. Хозяйство — занятие приятное.

— Конечно, сначала мне будет трудно! Придется бороться со многими закоренелыми обычаями здешнего

¹ Мой друг! (франц.)

края, но бог милостив. Я действую постепенно, не вдруг, даже и у себя в хозяйстве: сначала уничтожил здесь старые и совершенно неудобные помещения, сломал ригу, конюшню, амбары — и все это строю вновь. Скоро выпишу из Москвы молотилку, сеялку, веялку, сеноворошилку... У меня даже есть мысль выстроить, конечно со временем, при этом пруде винокуренный завод. Да-с, трудов предостой много, но что делать! труд, труд — и все придет само собою.

— Конечно, без труда ничего не бывает,— скромно заметил целовальник,— говорит русская пословица: «Что посеешь, то и пожнешь».

— Я с вами согласен! Труд, так сказать, рычаг, залог всякого успеха! И в нашем отечестве настало именно время всеобщего труда, такое время, когда каждый из нас по мере сил своих должен трудиться. Спрашивается: почему западные державы опередили нас во всем? Почему? Да потому, что там каждый работает, как пчела, там нет бесполезных тунеядцев, паразитов... там благосостояние каждого определяется его собственным трудом! Человек! подай сигары!

— К такому именицу следует приложить руки, именице хорошее,— сказал Федор Петрович.

— Имение... как вас? кажется, Федор Петрович? Имение действительно хорошее. Ведь две с половиной тысячи десятин одной пахотной земли — за наделом крестьян! Кажется, золотое дно? Но вот подите же! — Хозяин закурил сигару.—Надо вам сказать, что владелец Ямовки— мне друг. Мы с ним вместе росли, вместе воспитывались. Он мне, одним словом, дал полную доверенность, даже, можно сказать, неограниченную.. И только об одном просил: «Пожалуйста, говорит, приведи в порядок это заброшенное имение». Приехал я сюда и нашел все в таком беспорядке, в таком, как вам сказать, опустошении и запустении!.. То повалилось, другое завалилось; помещение для скота варварское, рига, конюшня, даже самый дом... ну, одним словом, я все это велел сломать и теперь взялся взаправду!.. Теперь я надеюсь все это взять в руки! Да, вот мне нужно обзавестись рабочими лошадьми...

— Лошадей, Захар Ильич, тут достанете. Конечно; и на Лебедянской ярмарке можно купить, но это далеко отсюда, и ярмарка придет не скоро. Тут один мой знакомый торгует лошадьми и дешево продает.

— Мне нужна рабочая лошадь, не дорогая, но крепкая.

— Лошади прочные у него. Я ему скажу, он даже отберет для вас особенных.

— Да, скажите ему; я вам буду благодарен. Вам не угодно ли, Федор Петрович, водки со мной выпить? Я в это время пью водку.

— Покорно благодарю.

— Васька! дай нам водки. Давеча утром был у меня священник. Я тоже утром пью водку... ну, а теперь выпью с вами. Одному как-то скучно пить.

— Без компании подлинно скучно.

Хозяевам, как видно, начинал нравиться Федор Петрович своею скромностию, необыкновенной вежливостию и, сверх того, еще жаждою к просвещению. Подали закуску.

— Прошу покорно! Что касается книг, то я вас награжу ими. Скучать не будете,— говорил хозяин, закусывая,— а насчет лошадей в самом деле скажите вашему знакомому, чтобы он пригнал их сюда показать мне.

— Это останетесь, сударь, довольны! лошади плотные, рабочие лошади, и возьмет он с вас недорого.

— Я думаю, вам очень скучно в кабаке? — спросила барыня,— даже страшно, мне кажется... живете одни... в поле...

— Дело наше привычное, ведь с малолетства этим ремеслом занимаемся. Конечно, бывают тоже разные случаи, не без того; говорит пословица: «Дурному человеку в поле — две воли».

— Какие же случаи?

— Да вот хоть, например, осенью было дело... Сижу я в кабаке, уж около полночи... вдруг кто-то стучит в ставень. Спрашиваю: кто? Не откликается... Жена спала это время, работник тоже спал, а я составлял счета, писал. Слышу, опять кто-то стучит. Вышел я в сени, смотрю — ломают дверь. Я разбудил работника и пошел с ним. А он, известное дело, мужик, работник-то, струсил да ушел опять в кабак... А это были двое беглых солдат. Я связал им руки и наутро представил их в город.

— Вы сладили с ними?

— Сладил-с...

Барыня во все глаза посмотрела на Федора Петровича.

... — Вы очень сильны? — спросила она.

— Хвастать не хочу, а, благодаря бога, езжу по ночам всегда один... про запас ничего не беру... Чего бояться? Его святая воля!

«Экой молодец!» — подумала барыня.

— Действительно, — заметил барин, — кто там что пировори, а бог первая защита!..

— А что я так-то думаю, Захар Ильич, — начал Федор Петрович, — вы меня извините... Что бы вам выстроить здесь, в селе, торговую лавочку? Крестьян тут более девятысот душ, а им надо бывает купить то, другое... Город отсюда далече. Есть на постоянных дворах тут лавки, тоже не близко: верст шесть наберется. Опять, другое дело, касательно ежели что продать захочет мужичок, положим, хлеб, что ли... то он должен это везть вон куда, а то бы он продал здесь, у вас...

— Где же это выстроить?

— А вот у вас, напротив церкви, местечко-то: земелька ваша собственная, а местечко куда как хорошо! Теперь праздничное время, народ прямо от обедни в лавку: взял купил себе что надо и поехал себе с богом! Я не к тому, примерно, чтобы насчет обмана, как прочие торговцы... а бога боясь! Можно все пустить дешево супротив других, а барышок какой ни на есть будет: все вам очистится плохо-плохо триста рублей в год, а нет — и больше; вы и мужичкам пользу сделаете и себя не обидите. Да тут прямо можно выстроить постоянный двор, значит, на этом самом месте: тут проезд всегда хороший, даром что дорога проселочная. Я, как здешний житель, полагаю, что это будет хорошо; впрочем, советовать не смею... вы извините...

— Помилуйте, напротив, я вам очень благодарен. Но позвольте, точно здесь проезд хороший?

— Летом нельзя сказать, чтобы очень шибко ездили, а и летом тут ездят... Может, чай, изволите когда слышать колокольчики?

— Правда.

— А уж зимой здесь простору нет! обоз за обозом, возок за возком... отменное-с местечко!.. И весело будет жить. Даже если вы сомневаетесь, мы у вас тогда снимем эту самую лавочку, отдадим вам чистые денежки.

— Послушай, топ аті! — обратился Захар Ильич к жене, — какая у меня мысль! Представь, я думаю здесь

выстроить гостиницу для проезжающих; устрою этакой небольшой, но чистенький трактир, номера... Наконец, ведь в самом деле у нас в захолустье нигде не встретишь не говорю порядочной гостиницы, просто — порядочной избы, а между тем по этому захолустью нередко приходится проезжать и порядочным людям; да и, например, зимней порой вдруг кого-нибудь застигнет ночь, кто-нибудь, например, заблудится... вдруг — гостиница! Я вам, Федор Петрович, очень благодарен за мысль! Annette, как ты думаешь?

— Я тоже думаю, что это будет хорошо. Вот если бы ты такими умными вещами занимался, это бы тебе делало честь, вместо того, чтобы ломать и строить какие-то амбары, риги...

— Превосходно, превосходно! не мешает купить небольшой орган... пусть мужики слушают... Это слегка развивает...

— Да можно наши фортепьяно туда поставить... ведь у меня будут другие...

— Пожалуй, пожалуй... Только кто же будет на них играть?

Федор Петрович взялся за фуражку.

— Что же вы? Посидите!

— Признаться, тороплюсь: в кабаке жена одна. А это вы, сударь, именно в самый раз тут выстроитесь.

— Я непременно выстрою гостиницу, конечно и лавочку также. Ну, а что мне будет стоить вся эта затея, как вы думаете, Федор Петрович?

— Да что она будет стоить? Вы полагаете одноэтажный домик выстроить?

— Мне хотелось бы двухэтажный; понимаете ли, наверху будет чистая гостиница для порядочных людей, а внизу лавочка.

— Да не дорого вам будет это стоить: лесок у вас благодаря бога свой; соломка, хворостик — тоже... работа одна да товар... товар дешевенький... Я полагаю, на триста с небольшим управитесь...

— Только?

— Да я еще, сударь, дорого кладу... по расчету меньше обойдется; а она, эта самая материя, в год окупится.

— Я вам, Федор Петрович, право, очень благодарен.

— За что же? Не стоит... Желаю вам всякого благополучия.

— Вы нас проведывайте.

— А что же книги-то? — сказала барыня.

— Уж книжечку позвольте... для меня это будет подлинно удовольствие,— проговорил Федор Петрович.

Хозяин и хозяйка хлопотали вокруг целого вороха книг.

— Гоголя положила?

— Но вот что: не дать ли им «Обломова»?

— Пожалуй! в самом деле, «Обломова»? вещь капитальная; пусть они там выберут себе по вкусу... Человек завяжи книги... Что ты, друг мой, ищешь? Авдеева! Авдеева я положил... Вот вам, Федор Петрович! Читайте себе сколько душе угодно. Мне всегда нравятся люди, в которых есть какая-нибудь любознательность: в жизни, природе, науках, искусствах — все интересно! Поэтому именно — чтение, чтение... И вы читайте себе! Я вам буду доставлять книги.

— Вы прочтите «Подводный камень» или «Обломова»,— сказала барыня,— после скажите мне ваше мнение...

— Очень хорошо-с.

— Где же ваша лошадь? — спросил хозяин.

— Она там у конюшни привязана.

— Вам сейчас подадут.

К балкону подъехала высокая серая лошадь, запряженная в купеческую тележку.

— Прощайте, Захар Ильич!

— Заезжайте же к нам.

Серый жеребец, загнув шею дугой, понесся мимо каменной ограды.

— Вот этакая беседа,— говорил Захар Ильич своей жене во время ужина,— с простым, умным человеком гораздо приятнее, нежели, например, с каким-нибудь помещиком, который потерял всякую энергию к жизни, обленился и ни о чем не в состоянии думать... В нашем так называемом образованном обществе чувствуешь какую-то нравственную тягость: какие-то предвзятые у каждого мысли! То ли дело простой русский человек! Все это просто, открыто, а между тем и умно! Говорит пословица: «Хоть шуба овечья, но душа человеческая!»

— Однако какая скука! Нет! без гостей в деревне невозможно,— сказала Анна Григорьевна.

— Послезавтра, та счѣте, день моего рождения; я думаю, вечеринку надо сделать.

— Да уж обед... к чему же вечеринку! Ну, конечно!

Анна Григорьевна села за фортепьяно, и в отворенные окна полились аккорды... Барыня запела: «Ты не пой, соловей». Захар Ильич начал подтягивать — и вдруг сказал:

— Давай промоем дуэт! Я себя чувствую сегодня очень хорошо!

— Ты, кажется, всегда чувствуешь себя хорошо. Но у тебя, Захар Ильич, совсем нет уха... ведь это бог знает что выйдет.

— А «В полдневный жар»? Или «Скажите ей»? У нас с тобой выходило недурно.

Супруги запели. Захар Ильич забрал совсем не в тон.

— Нет, я не могу! — И Анна Григорьевна закрыла фортепьяно.

— Ну, я вас прошу! к чему эта строгость?

— Оставьте меня... право, я не люблю ваших нежностей, — сказала Анна Григорьевна и отправилась в спальню. Супруг поплелся в кабинет.

На небе занималась заря; на селе пели петухи; по безлюдной улице к полю шли двое дворовых людей с сетями — ловить для господ перепелов.

На большой дороге у кабака стояла лошадь: кто-то неугомонно стучался в дверь. А в воздухе уже пели жаворонки.

— Ступай отпрягай лошадь, — говорил целовальник работнику.

— Где это ты пропадал? — спрашивала целовальничиха.

— К куму ездил... насчет лошадей барину... да еще — одно дельце задержало.

Работник отпрягал лошадь и спросонья клевал носом. Жаворонки пели громче и громче...

III

Наступил день рождения Захара Ильича. Солнце только всходило; толпы баб отправлялись в поле с серпами, кувшинчиками и люльками, на барском дворе стучали топоры плотников, сидевших на стропилах; кровельщики гремели железными листами, вокруг сада

каменщики клали стену, громко распевая песни; в кухне стучал поварской нож, горничные бегали по двору с накрахмаленными юбками в руках.

Захар Ильич уже пил чай в своем кабинете. У двери стояли повар, конторщик и староста со связкой ключей.

— Староста! Нынче опять поезжай в лес... остальные липы срубите и везите туда же к церкви... Мне хочется, чтобы гостиница была готова в две недели. Да найми сегодня же плотников — человек десять.

— Пора-то таперь рабочая... дорого возьмут.

— Хорошо-с! Я это знаю; ну, заплатите вдвое, только делайте, как вам приказывают.

— Слушаю-с.

— Повар! сегодня обед на десять персон... сделайте мороженое... да приготовьте шампанского. Что у вас будет к обеду?

— Суп... индейка, перепела... мороженое...

— Вот что: к завтраку пирог? я приглашу причт... Конторщик! сбегайте к священнику, скажите, что я сейчас приду в церковь слушать молебен. Повар! спросите у садовника дынь, а если не успели, то арбузов нет ли... Я, право, по этой части ничего не понимаю, это дело барыни.

— Оне почивают.

— Ну, мне пора одеваться.

На пути к церкви Захар Ильич завернул в хлебный магазин, в котором стучали топоры плотников.

— Ну, что,— спросил барин, глядя вверх,— как ваши дела?

— К обеду, Захар Ильич, кончим, надо полагать,— только прикажите отпустить небольшой дубок — на закрома.

— Вы как же хотите тут сделать?

— В этом месте будет забираться досками, а тут мы оставим место для проходу; сохи упрут в матицу.

— Как кончите, ступайте начинайте гостиницу.

— Позвольте узнать: что же это, Захар Ильич, будет — трактир?

— Трактир,— усмехаясь, сказал барин.

— Тогда город-то, стало-быть, к нам приближает,— заметил один плотник.

Причт ожидал барина в церкви. Барин принял благословение от священника и сказал:

— Батюшка! прошу отслужить молебен.

Причт облачился в ризы и запел: «Преподобне отче Заха-арие!..»

Барин пригласил духовных к себе в дом на закуску.

— Трактир строить хотите, Захар Ильич? — спрашивали гости, идя с барином по селу.

— Гостиницу. Это меня надоумил целовальник, Федор Петрович: открою здесь лавочку также.

— И кабачок, позвольте полюбопытствовать, будет?

— Не думаю. Мне этого не хотелось бы... Скажите: кажется, Федор Петрович хороший человек?

— Человек умный-с! человек угостительный.

— Именно умный! ваша правда. А ничего про него не слышать дурного?

— Дурного ничего не слышал... хлебосол!

Навстречу барину бежал кучер.

— Пожалуйте, лошадей привели!

— Каких лошадей?

— Вы приказывали... рабочих...

У конюшни стояло стадо лошадей. Мещанин, пригнавший их, стоял без шапки.

— Здравствуй, почтенный! Так ты пригнал?

— Пригнал, ваше высокоблагородие. Вы наказывали Федору Петровичу.

— Ну, что же? как их выбирать?

— Да выбирать их почесть нечего! лошади все сносные, будьте покойны; я вам самых лучших представил...

— Ну-ка, покажи нам одну хоть...

Мещанин обратал лошадь и побежал с ней в сторону.

— Кажется, лошадка ничего,— сказал барин.

— Да будьте спокойны... мы этого не сделаем, чтобы... насчет обмана...

— Ленива только,— сказал дьякон.

— Ленива? — возразил мещанин,— а не знаете, отец, что в хозяйстве ленивая и нужна? Ну-ко, горячую-то запрягите в соху? Она вам ни одного зуба не оставит...

— Это справедливо,— сказал дьякон, попячиваясь назад.

— То-то! а еще не бойсь хозяйством тоже занимаетесь... мы вам не указываем в церкви...

— Ну-ко, проводи другую... А что это у ней спина-то?

— Это, ваше высокоблагородие, потерто: она, изволите видеть, у мужика была... а вы, чай, изволите знать этот на-

родец! Железную, понимаете, седелку клали на спину-то... А какая лошадь-то!.. Эй! заснула!..

— Покажи нам... вон, вон в середине-то.

— Темно-гнеденького-то?.. Уж и конь! Сейчас умереть!

— Ногами попорчена,— заметил дьячок.

— Попорчена? Сидел бы на колокольне да трезвонил в колокола...— крикнул прасол.— Эта лошадь дороже тебя!

— Ну, как ты думаешь, Егор? — спросил барин своего кучера,— хороши лошади?

— Лошади справные. Как ценой-то, надо узнать.

— Мы за ценой не погонимся! А ежели вам по ндраву, Захар Ильич, прикажите гнать на двор. Об цене толковать нечего. Пятнадцать рублей штука!

— Это не дорого! так загоняй лошадей на двор и ступай к конторщику. Он тебе выдаст деньги.

Оставшись один на один с кучером, прасол сказал ему:

— Заверни к Федору Петрову!..

— Сочтемся! — отвечал кучер.

Часа в два начали съезжаться гости. В гостиной сидела барыня с холостыми помещиками, доказывая им, что мужчинам ни в чем нельзя верить.

В кабинете и зале толпились пожилые и семейные помещики.

— Ну, как, милый Петр Абрамыч, вы поживаете? — шел разговор.

— А вот так мы и поживаем, почтеннейший Егор Григорыч.

— Живите, живите.

— Хочу, батюшка, сделать себе новую терку для картофельного крахмала. Извольте видеть: будет ремень и две терки... и над барабаном будет сидеть мужик, чтобы наблюдать, не попало бы чего-нибудь... Например, вдруг камень... стой! мужик вынул камень, и пошла писать...

— А над мужиком устроить тоже какую-нибудь машину?..

— Хе, хе, хе!.. именно машину!

— Я хочу выписать из Москвы костяное удобрение,— говорил Захар Ильич,— за границей везде удобряют костями... одним словом, пора взяться за дело русским хозяевам!

— Нет, Захар Ильич, в России все эти машины да химические удобрения не годятся. По-моему, надо удоб-

рять навозом, пахать матушкой-аңдреевной сохой, держать кляч, а не лошадей; потому что хороших лошадей у вас испортят, машину сломают! нам надо еще учиться, приравниваться к мужику, к его лени и плутовству — особенно теперь, когда мы стали в зависимость от этого народа. С мужиком нельзя делать никаких договоров... Словом, настоящее разумное хозяйство у нас невозможно!

— Нет, нет! я с вами не согласен! я вам докажу, что всему виною мы...

— Захар Ильич! позвольте вам заметить: а климат наш? вы ни на что не можете смело рассчитывать, ни на какой затраченный капитал: зима без снега... засуха, град... одна надежда на милость божию.

— Позвольте, Захар Ильич, мне заметить вам: как теперь обрабатывается земля? Прежде всевидящая палка надсматривала, а теперь мужичок пашет, как ему вздумается...

— Опять я с вами не согласен! — говорил хозяин.

— Конечно,— заметил один помещик,— Захар Ильич действует рационально... в этом мы должны признаться... В самом деле, спросить: какие мы хозяева? разве так-то ведут хозяйство?..

Лакей объявил, что обед готов. Гости начали садиться за стол.

— Нет, господа! — говорил Захар Ильич в конце обеда,— кто что ни говори, я остаюсь при своем и буду действовать, как начал! меня ничто не собьет с дороги! Жалуетесь на мужика? существует штраф и вычет из жалованья,— это надежней всякой палки! Я никому не поверю, чтобы у хозяина, который сам следит за своими интересами, дело могло идти дурно. Каким образом мне плохо вспашут землю, когда я сам слежу за работой? Как мужик смеет не исполнять своих обязанностей, когда нас охраняет закон? Что же? разве закон не имеет силы? Вспомните нашего мирового посредника, которому дворяне делают обеды и говорят спичи... За что, как не за то, что он наш верный оплот, охраняющий законами наши выгоды? Повторяю, как вы хотите, а я непоколебим и поведу новое хозяйство. Настало время проснуться каждому из нас! Где мы живем? в какой стране? Слава богу, мы не турки, у нас не существует ни произвола, ни права сильного, мы живем в благоустроенном государстве,

где благие меры правительства чувствуются на каждом шагу.

Помещики молчали, чувствуя себя побежденными. Многих поражал высокий ум хозяина.

— Вы жалуетесь на климат,— продолжал хозяин,— позвольте спросить: разве не бывает засух, града и неблагоприятной зимы в Англии? А посмотрите, как там идет хозяйство! (Голос: «Правда!») И разве эти явления не случайные у нас? Ведь, несмотря на вражду с нами природы, мы, русские, не только кормимся сами, но даже кормим иностранцев: пшеница, рожь, пенька, сало, клевер — разве не отправляются нами за границу? (Знаки одобрения и голоса: «Правда! верно!») Разве Россия не считается хлебобородной страной, по преимуществу страной земледельческой? Вот вам и климат! Нет, у меня явится все! Стоит только трудиться. Но я разумею труд по призванию: люди, не призванные к сельскому хозяйству, должны, по-моему, бросить его, иначе оно, кроме мучений, ничего не будет обещать. Я, господа, встаю в пять часов утра и целый день на ногах и, кроме удовольствия и хорошего расположения, ничего не чувствую! Вот вам пример. (Голоса: «Браво!»)

Подали шампанское.

— За ваше здоровье! — воскликнули гости.

— Господа! — сказал хозяин,— мне весьма приятно, что вы сделали мне честь вашим посещением.

— Со днем вашего рождения!

— Благодарю, господа.

Гости выпили. Лакей налил еще.

— Господа! позвольте провозгласить тост за процветание русского сельского хозяйства!

— Ур-ра!..

Хриплые голоса раздались в зале.

— Господа! За почтенное Петербургское вольное экономическое общество, а также за его «Труды»!

— Браво!..

— Господа! позвольте предложить тост за почтеннейшего и многоуважаемого нашего собрата, Захара Ильича! Его неутомимая деятельность, высокое просвещение, неодолимое стремление к прогрессу должны заставить каждого из нас желать, чтобы таких людей было побольше среди нашего благородного дворянства!

— Благодарю, господа! Предлагаю тост за освобо-

ждение крестьян из крепостной зависимости! Да здравствует свобода, озарившая радостью не только чертоги вельмож, но и бедную хижину земледельца!

— Господа! — крикнул один пьяный, — ура!

— Ур-р-ра!..

В то время, когда в доме Захара Ильича провозглашались тосты, из деревни Яблоновой, стоявшей недалеко от Ямовки, выезжали беговые дрожки, на которых сидели два закадычные друга: яблоновский приказчик и целовальник Федор Петрович. Они уже напились чаю и ехали разгуляться на свой местный клевер, отсюда на пасеку и кстати посмотреть своих калмыцких овец. Толстый приказчик правил лошадей, Федор Петрович сидел назади. Друзья проехали заливной луг, с бродившими на болотах цаплями и висевшими в воздухе стадами уток, и очутились в поле.

— Статья теперь вот такая, — говорил Федор Петрович, — я насчет ямовского-то барина... урожай у них у всех плохой, а у ямовского барина хуже всех, а у него и за ухом не чешется! он себе городит городушки... Так думаю я: ежели не в нынешнем, то в будущем году он бесприменно продаст не только лес, а, пожалуй, что хочешь спустит, как денежки все разматает и начнет поплясывать... а народ этот горячий... вот тут-то мы с вами к нему и подъедем... словно между делом... а лесок — толковать нечего!..

— Да, теперь подходит самое настоящее время... Скоро и мой профинтится... Я, чуешь, тоже пишу своему барину, не продаст ли он свою рощу?.. Дескать, я буду подыскивать покупателей... А каждую почту строчит мне: денег, говорит, денег, пожалуйста... Я уж ему прямо отвечаю, откуда же я их возьму?.. Теперь ведь я не крепостной, по мне хоть завтра с места долой...

— Да и лафа, Григорий Сидорыч, подходит! скоро, кажись, земли пойдут продаваться по десяти целковых за десятину...

— Время — говорить нечего! другого такого времени навряд дожждаться... уму непостижимо, что делается!.. Ведь, слышь, примерно, над пропастью висят; а все свое: балы да белендрясы... А все что? Избаловались!..

— Набаловались — здорово!

Между тем сытый жеребец нес друзей через деревни с кланявшимися мужиками, через мостики, овраги и, на-

конец, привез их на клевер. Друзья сошли с дрожек и сорвали по пучку клевера.

— Слава богу!.. кажись, надежда есть...

— Ничего!.. А насчет овинов не беспокойтесь. Наум Васильев наш справит их в лучшем виде! И возьмет от силы тридцать рублей!.. опять же он свое дело знает...

— В Москве овинный клеверок щеголяет... Ну, как вы думаете, Федор Петрович, рассчитываю: плохо-плохо выйдет у нас триста пудов... класть по пяти даже рублей—вот полторы тысячи... а солома? она, пожалуй, купит всю работу... Да я своих мужиков пошлю...

— Поедем взглянем на ямовский лесок-то, пока за-светло... на пасеку, видно, не поспеем нонче...

Друзья поехали межкоёй в гору, и вскоре пред ними выглянул густой ямовский лес. Сидевший на дубу против заходившего солнца ворон поднялся вверх и закричал, как бы предвещая что-то недоброе. Целовальник и приказчик не отнесли этого предвещения к себе, но оно, по их мнению, скорее относилось к владельцу леса. Друзья объезжали лес кругом и остановились на рубеже.

— Дело вот какое: кореней тысячи три с прибавкой будет... рубль штука — тысяча рублей... да дрова... рублей пятьсот дать можно... да он, пожалуй, возьмет и меньше...

— Вот, Григорий Сидорыч, посмотрите, хлеб-то ямовского барина — какой!.. что это такое? Колос от колоса— не слышать даже птичьего голоса!..

Приказчик улыбался и пожимал плечами.

— Не правду я вам говорил?..

Друзья поехали домой.

— Теперь, Григорий Сидорыч, ко мне,— говорил целовальник, когда пришла большая дорога.

— Ведь позднечко, кум!

— Вот еще, что вздумал! Я к нему ездил, а он так шалишь!

— Да ведь у вас, право, забалуешься.

— На что баловаться? Надо выпить хорошенько, а баловаться нечего! Ну, я работника дам проводить... да теперь ночи лунные.

— Я не об том... Завтра чем свет вставать надо!..

Приказчик повернул лошадь к кабаку.

— Кума, здорово!..

— Ах, куманек, голубчик!.. Здравствуй, насилу-то ты к нам заехал!

Приказчик и целовальничиха крепко поцеловались. На стойке явилась белая скатерть, разные яства и несколько бутылок.

— Спесивый, право спесивый!.. Бог с тобой!..

— Эх, кума!.. кабы ты знала наши хлопоты!..

— Григорий Сидорыч, Григорий Сидорыч! посмотри-ко поди сюда,— сказал целовальник, глядя в отворенное окно.

По большой дороге катили экипажи с помещиками.

— Это бал был у ямовского барина,— заметила целовальничиха, тоже подбежавшая к окну...

— Гуляют себе!..

Ехавшие, размахивая руками, кричали:

— Ур-р-ра!..

IV

Через неделю лакей доложил Захару Ильичу, сидевшему в кабинете:

— Целовальник приехал.

— Проси!

— Здравствуйте, сударь!

— Прошу садиться, почтеннейший Федор Петрович... Лошадей я у вашего приятеля купил, и целых двадцать штук; заплатил недорого: да вот беда, отчего-то они хворают? Некоторые из них, как говорит коновал, опоены, а иные очень стары. Но я вас вовсе не виню, ведь продали лошадей не вы...

— Захар Ильич! не только с лошадьёю, а с каждым человеком может случиться и болезнь и старость... все под богом ходим! Теперь время стоит жаркое, опять же работа, сами возьмите! надо бога бояться! А вот они как пообдержатся, и будут вам служить! Касательно же опоя, коновал этого дела не знает. Может ли опиться простая, рабочая лошадь? Какой же мужичок прямо из сохи гонит ее к речке, или извозчик прямо с перегону поит лошадь и задает корму? Коновал ничего не знает, Захар Ильич!

— Действительно, коновалам доверяться нельзя, это я знаю по опыту; один у меня уморил в двести рублей

лошадь. Ну, да кроме того, я рассчитываю так: если бы даже околело из купленных лошадей штук пять, и тогда это не составило бы для меня почти никакого урона, потому я дешево заплатил за них; чего в самом деле требовать от лошади, за которую заплачено пятнадцать рублей? Кроме того, они ведь работают! приносят пользу!..

— Нет, мне все-таки неприятно, Захар Ильич.

— Вздор! Ну, что! вы видели, как гостиница-то строится?

— Как же-с! дай бог час, Захар Ильич!

— Каково? Я ведь не люблю откладывать! это не в моем характере!

— Важное, сударь, дело затеяли!

— Нет, каково в самом деле? вы видели лес?

— Липа-с! дух будет легкий.

— А? как вы думаете? какую мы с вами штуку-то удрали! А все-таки честь открытия принадлежит вам... вам... Да, Федор Петрович, вы мне открыли глаза! Я даже нахожу, что это событие следует напечатать в газетах, что настало, наконец, время, когда и в глуши, среди степей, цивилизация пробивает себе путь...

— Завтрак подан! — доложил лакей.

— Федор Петрович, пойдёмте завтракать. Пожалуйста, без церемонии. Я с простыми людьми сам прост. Вчера были у меня помещики; вы не можете себе представить, что это за люди! ни малейшего стремления к улучшению... никакого желанья человеческого. Все, что я ни затеваю, им кажется диким... конечно, есть и между ними люди понимающие... Но вообще я ничьих советов не слушаю и знать их не хочу! Я сам себе господин!

Хозяин и гость вошли в столовую. За столом сидела барыня:

— Ну, что? читали вы что-нибудь? — спросила она ценовальника.

— Как же-с! я вам уж привез книги.

— Так скоро?

— Помилуйте, я продержал их более недели.

— Да что ж такое? разве мы вам дали на срок? Держите их у себя сколько угодно!

— Вы, Федор Петрович, не стесняйтесь,— подтвердил барин,— читайте себе да читайте! мне именно в вас нравится эта жажда любознательности... Если вспо-

мнишь, как человеку много знать надо и как коротка человеческая жизнь...

— Ты всегда любишь пускаться в лиризм,— заметила барыня.

— Но, мой друг! Жизнь... это что-то высокое... как тебе сказать, это такое явление, такой...

— Что же вы читали? — перебила барыня, обращаясь к целовальнику.

— Читал я, сударыня, как оно... забыл название...

— «Обломова»?

— Кажись, так...

— Ну, что? каково написано?

— Ничего-с, любопытно...

— Вот вам русский человек! — сказал Захар Ильич, чавкая,— лучше сказать, байбак! это какая-то египетская мумия, а не человек... вот вам тип русского человека!

— А мне нравится Обломов,— сказала хозяйка.

— Не правда ли, какой умный и так рельефно выдающийся из толпы наших пошлых современных людей, которые смотрят на женщину, как на какое-то лакомое блюдо... А «Подводный камень»?

— Эту я только начал,— сказал целовальник, держа под столом руки.

— Вот вы будете читать, обратите внимание на то, как Наташа уезжает от мужа...

— Но, мой друг, положим, что вещь эта действительно современная... я не спорю... Соковлин — человек благородный...

— Прочтите, прочтите! — продолжала барыня.

После завтрака Захар Ильич предложил гостю отправиться посмотреть гостиницу. На пути они зашли в конюшню, на скотный двор, посмотрели ригу и молотилку. Во все это время Захар Ильич доказывал, что скоро все имение будет как игрушка. Когда хозяин и гость подошли к гостинице, их встретила толпа мужиков и церковный причт.

— Что хорошенького скажете, миряне?

— К вашей чести, Захар Ильич,— зашумел народ. Поп выступил вперед и начал:

— Ваше высокородие, весь причт и все прихожане просят вас быть у нас церковным старостой, так как вы человек благородный, а церковь приходит в упадок. Прежний староста, за ветхостью своих лет, отказывается от

должности, и мы, по совещании между собою, порешили избрать вас. Как сын церкви, не откажитесь от такой... вас духовная мать наша будет поминать, дондеже стоять будет на краеугольном камени, иже есть Христос, зане есть глава.

— Я, православные, считаю за особенную для себя честь ваше предложение и, как христианин, не имею даже права отказаться от такой почетной должности. Но я боюсь, буду ли я способен исполнять мои обязанности?

— А мы будем молить бога.

— Ну! когда так, да будет его святая воля!

Все сняли шапки и стали креститься на церковь.

— Позвольте вас поздравить с новой должностью.

— Благодарю, благодарю. Завтра прошу вас ко мне водки выпить. А в церковь я сделаю пожертвование.

Духовные, держа руки за спиной, потянулись за бариним смотреть новое здание. Мужики остались на улице и начали толковать между собою:

— Однако Федор Петров подбил к барину-то!

— Эта голова охулки на руку не положит! Намесь барину лошадей представил,— все до единой калеки!

— Ведь их привел Васька-прасол?

— Экой ты! да он ему кум... Федору-то Петрову...

— Ты посмотри, он какую-нибудь штуку сделает с бариним.

— А что?*

— Да я почему знаю? разве я был у него на уме?

— А ты посмотри, какую штуку он с нами удерет: как заселится в этом трактире,— что тогда делать-то?

— Уж тогда держись! приберет всех к рукам! попятиться не даст! А что я думаю? Завладеет он тогда нами!..

— Чудно, братцы мои! Погляжу я: барин-то ровно с дуриной или помешанный какой. Надесь спрашивает старосту: что, говорит, пять копен ржи на десятине — хорошо или нет?

— И подает же бог счастье таким людям! какая имения-то!

Захар Ильич стоял на потолке, среди стропил, и говорил Федору Петровичу:

— Как же вы думаете насчет товара?

— Товар, известно, должен быть самый простой, деревенский: чай, сахар, табак, масло, кое-что по мело-

чам.— А все-таки, как я вам докладывал, без продажи нашей нельзя. Проезжающий или свой мужик — во всякий след водка требуется...

— Не хотелось бы мне этого кабацкого безобразия,— сказал барин,— мне хотелось совсем прекратить пьянство в своем селе.

— Нет-с, Захар Ильич, пьянства вы не уничтожите! Ежели тут нет водки, мужик поедет вон куда! он скорее без хлеба просидит, нежели без водки! он последней овцы не пожалеет, как ему придет время пить-то!

— Как, однако, испорчен этот народ!

— Об этом и говорить нечего! народ пропащий,— так надо сказать!

— Я думаю, не мешает купить и хороших вин... на случай...

— Это — как вам будет угодно! для человека случайного не мешает про запас иметь и виноградные вина...

— Даже и шампанское!.. Я хочу, чтобы у меня гостиница была похожа на что-нибудь...

Захар Ильич и целовальник вдвоем отправились домой, раскланявшись с духовными.

— Федор Петрович! — говорил барин дорогой,— у меня есть до вас просьба: не можете ли вы закупить мне товару? Я долго думал об этом и вижу, что в этом деле нужен человек торговый, опытный. Что, если я пошлю покупать какого-нибудь ротозея старосту или мальчишку конторщика? конторщик опять пьяница... Но вы человек практичный, и торговая-то часть вам, кажется, знакома-перезнакома...

— С удовольствием, Захар Ильич; я готов послужить. Конечно, хвалиться не могу, а купить с расчетом, чтобы не было убытку в продаже, могу-с...

— Я вам буду просто обязан!

— Это можно. Позвольте спросить, Захар Ильич, кого же вы думаете посадить в лавку?

— Опять, батюшка, ничего не знаю; думал было — старосту: он честный человек... но ведь, согласитесь, куда же ему торговать? Про конторщика я вам говорил: пьяница, каналья...

— Да ведь я же прежде вам говорил, Захар Ильич, что мы можем у вас снять эту лавку! тогда бы водки-то покупать не надо: я бы свою перевез... А главное дело, денежки вы с меня получили бы чистенькие, без всякой

заботы... Дело же мы можем сделать на бумаге, по закону... Значит, плутовства с нашей стороны никакого быть не может... Известно, вы меня мало знаете, вот поживете — увидите... Да если мы возьмем и мошенника, то и он не может ничего сделать супротив закона, когда обяжется контрактом. А я бы вам привел в порядок эту гостиницу то есть в лучшем виде!

— Федор Петрович! Я слушаю вас и не возражаю вам, потому что думал еще прежде то же самое, что вы теперь говорите!.. Помилуйте! да с моим великим удовольствием! вы меня, по душе вам скажу, на ноги поставите! ведь, кроме вас, совсем нет людей! Что же, я еще кучера, что ль, посажу торговать? ведь это только смешно, но не резонно...

Пока барин и целовальник дошли до дому, они успели условиться в цене и в разных подробностях касательно будущего предприятия.

— Анна Григорьевна! — говорил барин жене, — поздравь нас! мы с Федором Петровичем заключили условие... Он будет жить с нами в Ямовке, заведовать гостиницей.

— Право?

— Видишь ли, мой друг, тут нужен человек опытный, торговый; а кого я посажу в лавку из своих? Тришку? — пьяница; Ермилку? — это разиня: у него все из рук будет валиться... Кого же больше?

— Ну, разумеется, — сказала барыня, — Федор Петрович тебе может быть очень полезен, так как ты вовсе неопытен в торговом деле... Я очень рада! Итак, вы будете нашим соседом? — обратилась барыня к целовальнику.

— Если бог благословит, сударыня... надеюсь заслужить Захару Ильичу... Я как понимаю, все пойдет у нас честно, благородно!

— Так нам надо торопиться, — сказал барин, — когда же ехать за товаром? вы уж, Федор Петрович, не откажитесь...

— Мы сперва выправим свидетельство на право торговли, а потом уж примемся за товар. В Москву ехать незачем: тут в губернии можно достать все... Вот прямо на Пятницкой улице есть купец Сорокин, человек честный и продает все по московским ценам, потому оптом!... а главная вещь, безобманно...

— Bravo! Человек, подай нам бутылку вина. Надо с Федором Петровичем магарыч выпить! Ну-с? За ваше здоровье, почтенный Федор Петрович. Дай бог, чтобы дела наши пошли как следует!..

— За ваше здоровье, Захар Ильич! Пошли бог успеха!.. Его святая воля!.. Дело начинаем — доброе...

При прощании Анна Григорьевна говорила целовальнику:

— Что же книги-то? держите их у себя, сколько хотите.

— Когда ж теперь, та с'èге, читать? теперь нам некогда... ты видишь, Федор Петрович будет занят.

— Теперь, сударыня, некогда читать,— сказал целовальник.

V

Прошел год, и утекло много воды. Большая дорога совсем заглохла, потому что оживлявший ее сколько-нибудь кабак давно был закрыт; оконные ставни не открывались ни днем, ни ночью; соломенную крышу снес ветер и развеял по полю; вместо нее торчал один хворост, сквозь который виднелась завалившаяся труба; на потолке облюбовал себе место филин, о чем заявляли носившиеся над кабаком стада галок и ворон. «Куда ж девался целовальник? — думал посторонний проезжающий или богомolec, возвращавшийся из далекого Киева,— не умер ли? не постигло ли его какое несчастье? не проторговался ли и теперь с своей семьей живет в городишке, в глиняной мазанке, занимаясь прасольством, или... кто знает, что может случиться с торговым человеком?»

— Послушай, земляк, что ж это кабаk-то? Или хозяин помер?

— Ты, божий человек, видно, не здешний? А целовальник жив. Посмотри, как он теперь поживает! любому барину не уступит!

И путник стоит в недоумении, как бы пораженный таким известием, потому что он привык с видом запустевшего кабака или одинокого постоялого дворика без крыши связывать в своей голове горькое несчастье, завершившее судорожные попытки человека завоевать себе кусок хлеба. Но так было до сих пор. Пройдет еще не-

сколько лет, и путник сам будет подозревать, видя разрушенные дворики, не пособила ли судьба их бывшим владельцам, сжалившись над их борьбою с жизнью за возможность существования? «А что ж? дай бог! — решит про себя путник, — человек всю жизнь боролся с нуждою и много ночей не спал, живя в поле, слушая осенние ветры и упорно думая о своем законном праве на жизнь: помогай ему бог!» И, сам изувеченный нуждою, он даже перекрестится.

Торговля в Ямовке шла именно так, как описывал ее Захару Ильичу целовальник, когда советовал выстроить лавочку: каждое воскресенье, по окончании обедни, в кабаке и лавке толпилось множество народу со всего прихода; в лавке продавались даже ситцы и нанки. Водки выходило неисчислимое количество, брали ее все деревни, ездившие в Ямовку к обедне, и самая Ямовка пила больше прежнего. Хотя во время открытия своего заведения Захар Ильич и сказал мужикам речь, что пьянство губительно и потому надо пить осторожно, но эта речь лишь замерла в воздухе: ибо в тот же самый день, как выкинут был флаг над кабаком, Федор Петрович, его жена и наемный мальчик работали за стойкой в три шила, не успевая распечатывать полуштофы.

Федор Петрович не ограничивался одним кабаком и лавочкой: у него была ссыпка хлеба, а на дворе стояло несколько заводских жеребцов. Федор Петрович скупал большими партиями овец и быков, снимал заливные луга, имел ульев до трехсот пчел и уже вел переписку с московскими купцами. Помещики и все городские купцы за особенное удовольствие считали пригласить его к себе в гости. Но прежняя вежливость, скромность не расставались с Федором Петровичем, даже весь образ жизни остался прежний: та же красная рубашка навыпуск, длинный суконный сюртук, пение басом на клиросе, тележка с решетчатым задком, хотя некоторые помещики предлагали ему купить у них задешево разные шарабаны и пролетки, остался даже прежний самовар с деревянным кружком вместо затерянной крышки.

Захар Ильич в важных случаях долгом считал посоветоваться с Федором Петровичем и не только приглашал его к себе на обеды, но сколько раз обедал у него сам с своей супругой. Супруга Захара Ильича, блуждая от нечего делать по селу с своими собаками, едва ли не

каждый день посещала Федора Петровича; он вводил ее в отдельную от кабака комнату или навверх в пустую гостиницу и предлагал чаю, кофе, даже лимонада. Но барыня прежде всего просила целовальника, чтобы он сыграл на гитаре и спел. Федор Петрович играл какую-нибудь грустную песню, подпевая своим легким баском, и его черные глаза блестили.

— Мерси, мерси!¹ — говорила барыня, — вы чудно поете! пожалуйста, к нам приходите, я вас прошу...

— Ваши гости! — с улыбкой отвечал целовальник.

— Не прочитали еще книгу?

— Понемногу читаю... времени-то мало...

— Читайте... я вам еще дам... вышла недавно новая повесть... я вам пришлю.

Всякий раз, уходя от целовальника, барыня думала: «Этот человек обладает всем, что необходимо нашим великосветским мужчинам: любезность, ум, опытность... главное — опытность...» И ей вспоминались молодые люди, рисующиеся верхом на лошадях с бичами и арапниками или отпускающие перед дамами пошлые каламбуры... «Они, пожалуй, и недурны, — думала барыня, — но в каждом их слове, в каждом жесте выглядывает пустота, стремление к сплетням и самое наглое хвастовство...»

Барыня идет к дому, а стоит такая жара, и кровь так и бушует в сытом и праздном теле, что, добравшись до балкона, барыня бросается в кресла, закладывает вверх руки...

Однажды вечером, когда Захара Ильича не было дома, барыня сидела на балконе. Мысли ее блуждали и в Москве, на балах, и в уездном воксале, и на вечерах у помещиков с пьяными криками и картежной игрой... Ей было скучно; кругом было так тихо, душно... Печальные сумерки свинцом ложились на душу... Завтра опять то же, та же смертельная жара, скука и безлюдье, тот же крик мужа среди плотников, и снова мертвые сумерки. На балконе явился Федор Петрович.

— Ах! это вы! как я рада; а мне так скучно... мужа нет...

— А я было к Захару Ильичу... по одному дельцу...

— Он скоро приедет... подождите его... пойдемте пока в сад...

¹ Спасибо, спасибо! (франц.)

Целовальник охотно согласился.

— Послушайте, Федор Петрович,— говорила барыня, идя по глухой аллее,— любили ли вы кого-нибудь?..

— Как вам сказать... оно, конечно... у всякого человека есть сердце...

— Скажите откровенно, любили ли вы какую-нибудь женщину?..

— Анна Григорьевна! как любить-то нашему брату? мы-то и готовы, пожалуй, всей душой, да согласятся ли полюбить нас,— вот в чем дело!..

«Экой умный человек»,— подумала барыня и продолжила вслух:

— Я вам скажу... Женщина умная оценит всегда достойного мужчину...

Целовальник и барыня шли дальше.

VI

В один из ненастных, осенних дней в кабинете Захара Ильича стекались один за другим вестники с печальными новостями.

— Ну, что еще там? Что скажешь, любезный? Насчет лошадей? Знаю! ты их загнал, запалил? ты был пьян?

— Ни в одном глазе, Захар Ильич!

— Я, любезный мой, обращался с вами, как с людьми, а теперь я вас раскусил! Нет! Россия еще долго будет пребывать в невежестве, ей далеко до равноправности! Я тебе доверил тройку лошадей, эта тройка потом очутилась в лесу... Где ты был! Нет! я напишу жалобу мировому посреднику, пускай тебя в волостной попотчуют! Ты что?

— Прикажете цепами молотить?

— Ну, конечно! конечно, цепами, почтенная голова! потому что если я выпишу двадцать пять машин, вы и те переломаете... так что же? разумеется, цепами... вашими допотопными орудиями... Понимаете? Что ж стоите, чего ожидаете?

— Как быть, Захар Ильич...

— Что еще?

— Подвод никак не сыщешь; никто не едет по плохой погоде; говорят, нельзя.

— Ну, а что если эта погода продлится месяц? Я, по-

вашему, целый месяц сиди без денег, а? Вот! прошу покорно: есть хлеб, есть, следовательно, капитал; но что же я сделаю с этим капиталом? он стоит себе под сараем! Вот это очень хорошо! Это показывает, что у нас в России должно сидеть у хлеба, да без хлеба.

— Рабочие просят расчета,— сказал конторщик.

— Какие? за что?

— Стену клали.

— Как, уже за стену? позвать подрядчика.

— Жалованье, Захар Ильич, сделайте милость,— говорили повар, садовник и кучер,— ослобоните нас...

— Подождите же, наконец! ну, что ж я сделаю? Урожай плохой! да вон и хлеба есть, да что же мне делать, когда его не везут в город! ведь при вас говорил староста! Вы, голубчик,— обратился барин к входившему подрядчику, усердно крестившемуся на образ,— какое спрашиваете жалованье? вы когда у меня начали класть стену?

— Третьего дня.

— Сколько вы с меня взяли?

— Полтора ста целковых.

— Теперь позвольте вас спросить: разве за три дня берут где-нибудь сто пятьдесят рублей? Таких цен, любезный мой, и в Петербурге нет!

— Захар Ильич! Стену я мог даже склать в день,— это мое дело! и вы мне должны заплатить сто пятьдесят рублей, уговор на то был! Извольте расчесть: я пятьдесят человек рабочих нанимал, им я должен заплатить!

— Во всяком случае, денег у меня теперь нет!

— Захар Ильич! — заныл снова явившийся староста.

— Что вам нужно?

— Как же прикажете с овсом-то? Он весь на рядах сопрел!

— Пусть и преет!..

— Жалко, Захар Ильич!

— Ужалели! нечего сказать. Вы меня, господа, очень ужалели! — Захар Ильич поднялся. Публика держала головы вниз.

— Можно войти? — спрашивал Захар Ильич, стоя у жениной спальни.

— Можно!

Барыня возлежала на кушетке с книгой в руках.

— Ну-с, сударыня, поздравляю вас с новостями.

— Какими это?

— Не сегодня, так завтра мы с вами останемся без куска хлеба. В имении идет бог знает что!.. да вот попробуйте прочитать это письмо.

Письмо было от самого владельца Ямовки: «Постарайтесь выслать мне пять тысяч,— на днях я еду за границу. Надеюсь, вас это не стеснит, так как вы управляли моим имением целых три года и, вероятно, успели пожать плоды ваших трудов. Даже продайте что-нибудь незаложенное и, пожалуйста, пришлите мне деньги».

— Вот! вот вам дружба!.. он начинает требовать от меня отчета: это друзья!.. Как до денег коснется — все к черту! Нет! я вот что думаю: ехать в Москву и слушать... это надежней. Нет, Россия до-олго!..

— Делай, как знаешь! мне все равно..

— Конечно, служить! Завтра же еду! я здесь убил и здоровье и состояние...

Захар Ильич прошел в свой кабинет и велел позвать ценовальника.

— Федор Петрович! одолжите мне денег. Урожай у меня, вы сами знаете, все время плохой, так что я потерпел убытку по крайней мере пять тысяч в последние два года. А чего мне стоило обзавестись хозяйством! И все это нимало не думало окупиться даже... Как продам хлеб, я вам возвращу.

— Сколько вам нужно?

— Рублей четыреста.

— Рублей полтораста я могу достать, попрошу у яблоновского приказчика, а у меня деньги все в обороте... вот луг снял, вперед дал семьсот рублей,— а когда их выручишь? Не раньше как по зиме... за клевер, рабочим, овец купил... все распущены. Полтораста рублей я вам добуду.

— Не найдете ли вы человека, который бы у меня купил, например, скот или строение какое-нибудь, экипажи... Я вам не сказывал? я хочу уезжать! нет, батюшка, жить здесь порядочному человеку нельзя... Здесь не имеют ни малейшего понятия ни о чем! Сами посудите: я плачу деньги, тружусь,— а у меня нет хлеба!

— Я вам советовал, Захар Ильич, отдавать землю внаймы, и вы без всяких хлопот курили бы себе сигару да получали бы денежки, больше, нежели вы получаете теперь, обрабатывая землю сами.

— Я это понял! ну, да теперь уже поздно! Я поступлю на службу, и кончено: по крайней мере я буду спокоен! Так как же вы думаете, Федор Петрович?

— Я думаю, Захар Ильич, вряд ли кто у вас купит скотину... купят, да ведь за какую цену? а экипажи и строения никто не возьмет, это подлинно вам говорю: вон теперь озимовский барин, Короченский, Юбкин, Собакин — все продают, даже землю, так и то нет покупателей! денег ни у кого нет! А вы не продадите ли свой лесок? я бы охотника нашел.

— Лес я могу продать, он не заложен.

— Только дорогонько не кладите за него.

— Ах! кстати я вспомнил... Васька! позови мне старосту! Послушай, любезный: объяви церковнослужителям и всему миру, что я не могу быть старостой церковным. Мне не до того! А вот предлагаю им вместо меня Федора Петровича... понимаешь? — Вы, Федор Петрович, согласны сколько-нибудь побыть церковным старостой?

— Отчего же? Богу потрудиться не мешает...

— Там, кажется, церковной суммы тысяча двести рублей... Я вам передам отчет, Федор Петрович. Вот еще что: так как я отсюда уеду, то оставлю вам в знак памяти все мои книги...

— Благодарю покорно, Захар Ильич.

Прошло еще два года. Барский двор давно опустел и зарос крапивой. Между тем в газетах объявлено было, что ямовское имение продается с публичного торгу и что желающие могут явиться на продажу. В числе желающих был и Федор Петрович.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ

Картина барской жизни

Дождь ливня-лил. Среди господского двора, по колени в грязи, стоял барин в серой поддевке, в маленькой ермолке набекрень и громко, почти безнадежно кричал:

— Эй, Илюшка! Егорка! египетская шишимора! храпондолы! аль вы подошли там?

Из-за дверей конюшни выглянула огромная фигура с широкой бородой, стянутая ременным поясом с бляхами, и промычала:

— Ну, чего кричите? авось слышим!

— Вы всё слышите! забрались там на сенник, храпите во всю ивановскую... Что ж, борову клыки отрезал?

— С кем я их буду резать? народу нет! нешто один справишься?

— Чего-о?

— Разве его осилишь один?

— Да что ж, вы будете лежать только? Что, я вас нанял скулы наедать? А-а!.. воля матушка пришла! работать не надо; только жрать пришла пора...

— Да что ж вы едой-то попрекаете? Недалого царства нет!..

— Вот ты у меня поговоришь, носорог этакий! Ступай за народом, чтобы сейчас клыки были готовы.

Фигура, косясь на барина и ворча себе под нос, направилась к кирпичному длинному флигелю, в котором жили рабочие, а барин кричит:

— Ишь лежебоки, идолы антиохийские... Тихоходы!.. Жердяи!

— Ругаться-то научился! — бурчала фигура.

В это время стоявший под крышей господской конторы караульный солдат в мокром полушубке, с медной бляхой на груди, держа в руках вместо шапки какой-то клочок овчины, подошел к барину и уныло сказал:

— Что же, Вукол Андроныч? Ослобоните!

— Пошел прочь! Разве ты караульный? ты мне из лошади провесную таранину сделал, а сам без водки ни на час! Где тебя колом-то выгнали?

— Где?

— Я уж не знаю где!

— Расчет пожалуйста, Вукол Андроныч...

— Отвяжись! Ступай на кухню... а еще георгиевский кавалер: палок ты поел довольно, а выдержки в тебе никакой нет!

— Да позвольте: сил моих не хватает... Что ж я теперь с ними буду делать? Лошадь поймаешь, а они не дают... Уж до меня дорываются, вон как вон! Его, говорят, надо попотчевать, чтобы он подышал, да и шабаш!

— А ты испугался? Экой воин! а еще в Севастопольской кампании был... С Кошкиным мины подводил... Я вижу, ты хвалиться только мастер!

— Да помилуйте! Что ж я один-то сделаю? Ведь мочи моей нет!..

— Тебе говорят: загоняй, да и шабаш!

— А оплеуха-то разве надоела?

— Тебе говорят: вали с богом! Какая там оплеуха? Отцепил десяток, припер... А то, я вижу, ты дворянишься...

— Где тут дворяниться! у меня вон докедова, вон рубашка-то разодрана... Нет, позвольте расчет...

— Ты возьми дубину и начни их глушить... Погоди, я тебе ружье дам...

— Я и то им говорю: как, примерно, благословили отцы родные, и господа тоже, у меня не вывернешься...

— Ну, что-о?..— закричал барин работникам, тянувшимся гужом из флигеля,— не дохрапели на печке-то? пригрелись, жеребцы постоялые?..

— Где веревка-то? беги скорей!..— говорили работники.

— Эй! — шумел Вукол Андроныч,— послать ко мне повара да глухого тетерева!.. Слышите, что ль? Кузнецу Василью скажите, чтобы к вечеру шины и поддошки были готовы.

Сняв издали шапки с видом крайнего убожества и какого-то обьюродения, подошли к барину два дьячка. Он взглянул на них с мнимым соболезнованием и спросил:

- Ну, что, господа виночерпии?
- Свиной загнали...
- Очень рад!.. Очень рад!
- А я насчет соломки...
- Погодите! Зайдите в дом! меня до костей пробрало...

Дом, где жил Вукол Андроныч, походил скорее на щепной двор или складочное место, чем на жилой покой. В зале, гостиной и даже в спальне стояли бочки, старые пролетки, кули овса и муки, лежали вороха овчин, заячьих шкур, полозья и пр. Барин, как человек холостой, довольствовался одной небольшой комнатой, служившей ему и кабинетом, и спальней, и приемной. Здесь он заключал разные сделки и условия с торговцами, принимал конторщика и старосту, чинил суд и расправу. Эта комната была загромождена всевозможными предметами хозяйства, роскоши и забавы: на стенах висели ружья, изображения нагих женщин, сабли, целые коллекции арапников, рыбные сети, перепелиные клетки и дудки, ременные кнуты, балалайки и пр.

Вукол Андроныч «охотник был до всего», говаривал народ. Понравится ему у соседа-барина затейливая тележка на двух колесах, недавно привезенная из Москвы круглая гармоника, палка с рапирой внутри, какой-нибудь *sortie de bal*, даже просто ременный кнут с пулей на конце — все это непременно, посредством разных сделок: выменов, придач и т. д., переходило в дом нашего героя. Понадобится его кузнецу особенный винт, кусок каретной шины — вещи, которых нигде нельзя достать, кроме губернского города, за всем этим кузнец смело мог обращаться к Вуколу Андронычу.

Само собою разумеется, читатель будет почти прав, если голову барина примет за то же складочное место, которое представляет его дом, и все эти пролетки, балалайки, арапники будет считать, так сказать, масштабом его умственного кругозора; с другой стороны, самая бездна предметов, наполняющих дом Вукола Андроныча, показывает, что человеческий мозг требует пищи обильной и разнообразной. В этом отношении Вукол Андроныч может

служить драгоценным экземпляром для людей, изучающих душевный мир человека, не извращенного цивилизацией, каков и есть герой наш.

Однако, как ни много запаса умственной пищи хранится в покоях Вукола Андроныча, вековая пыль везде и на всем, плесень, неугомонный писк мышей легко дают заметить, что запас этот уже потерял свое животворное действие на барский ум и что вся сущность, все содержимое означенных предметов исчерпано без остатка; поэтому гораздо справедливее будет, если всю груду полозьев, шкур, ременных кнутов, палок с свинцовыми набалдашниками мы примем за нравственную пищевую смесь, уже выполнившую свое назначение. Барин не справлялся никогда, сколько у него такого-то хламу, не портила ли моль разных шкур, сукон, овчин: всего не пересчитать и не пересмотреть; но в целости своего имущества он убеждался тем, что пыль на этом имуществе лежала ровным слоем — без малейшего отпечатка человеческой руки или ноги.

Гораздо большим вниманием своего владельца пользовались вещи, наполнявшие его кабинет. Правда, он не мог сказать, сколько у него висит под образами перепелиных дудок или в каком состоянии арапник, вымененный им у прасола, зато нередко случалось, что Вукол Андроныч вдруг почему-то возненавидит стоящее в углу трехное кресло; тогда он снимает с себя поддевку или халат, засучает рукава и кричит во всю дворню: «Подайте мне топор!» При многочисленном стечении публики барин превращает кресла в оскретки и, отирая пот, говорит:

— Устал, черт его побери!..

— Да как не устать? — говорит один из наиболее шлифованных придворных.

— Бёри! неси все это с глаз долой!

Или вдруг представится Вуколу Андронычу, что гораздо приличнее было бы висеть арапникам на месте нагих женщин; тогда нагие женщины становятся на место арапников, и наоборот.

Что мозг Вукола Андроныча не только не любил находиться в праздности, но даже иногда пускался в решение самых головоломных вопросов, на это мы приведем пример: барина внезапно осеняет мысль — составить домашним образом такой яд, который бы перещеголял все

аптечные яды. Для решения этого вопроса он приказывает слуге запереть дверь и никого не принимать; затем раздевается и ложится в кровать. В таком положении он находится несколько часов. Наконец, истребив целую пачку папирос, он решает задачу и, не откладывая дела в долгий ящик, приказывает лакею принести из кухни медную заржавленную кастрюлю; сам выходит на улицу или в сад, чтобы яд не причинил в доме вреда,—и от принесенной кастрюли стоит в некотором отдалении, в одной рубахе; ключнику приказывает принести рому, ложной водки и скипидару; охотников Фильку и Илюшку посылает достать, где бы то ни было, желчи от печени и нарвать белены; кучера отправляет в лес за осиновой корой и муравьями.

Вскоре начинает вариться яд, разумеется при многочисленном стечении публики. Когда яд готов, для пробы ловится собака, которая немедленно и отравляется. В заключение всего, смертельный яд закупоривается в банке и зарывается в землю вдали от жилья. При встрече с своими знакомыми Вукол Андроныч говорит:

— Ну, батюшка, какой у меня яд!.. представьте, опасно то банку взяться... это ужас!.. Он закопан в землю...

— На что же он вам?

— Помилуйте... пригодится... это вещь редкая! Пусть попробуют аптекаря сварить такой яд, я бог знает чем отвечаю...

— Так поделитесь с нами... мы волков будем отравлять...

— Ну, уж сами, если хотите, доставайте его из земли... Я вам могу только показать место... Черт его подери...

Благодаря научным открытиям и даже повседневному опыту, стало известным, что силы человеческие, если они праздны, настойчиво требуют собственной растраты, а нервы, угнетаемые скукой, в свою очередь требуют возбуждения; в силу этого закона Вуколу Андронычу приходилось выдумывать для себя и радости, и лишения, и даже самую деятельность, так как, при огромном количестве прислуги и однообразии хозяйственных дел, ему оставалось по целым суткам лежать в постели и только покрикивать на старосту или конторщика, что они тихходы и дармоеды. В самом деле, барин пользовался отменным здоровьем, кушал за десятерых, обладал неистощимым запасом времени и досуга; поэтому немудрено, что ему

иногда приходило в голову отправляться в глухую полночь с фонарями и дрекольями в конюшню гонять воробьев, заподозренных в неблагонамеренности, собак вешать и расстреливать, учить лошадей прыгать через забор и канавы или даже самому стоять среди дождя по колено в грязи, как мы упомянули в начале нашего рассказа, и кричать на всю деревню, что все завалились на печку, между тем как он, неутомимый хозяин, мокнет под дождем.

Нередко Вукол Андронич отдавал приказание повалить народом какой-нибудь старый амбар или столетнее дерево; тогда собирались все рабочие, поднимался страшный крик:

— Ну, ребята! дружнее! с богом! Андрей, лезь на крышу, цепляй веревку...

Барин сам помогал рабочим, и если, сверх всякого чаяния, ему попадало в голову бревно, тогда он приказывал нести себя на носилках в дом, жалобно стонал, требовал компрессов и ложился в постель.

Приехавшему гостю он говорил:

— Да, батюшка, едва не ушибло до смерти... Вот целых три дня не могу подняться...

— Да на что это вы валили амбар?

— Ах, какой вы чудак! уж если валили его, так, стало быть, нужно было... Вот не знаете ли какого-нибудь лекарства от ушиба?

— Однако мне пора ехать,— наконец, скажет гость.

— Да посидите... Господи батюшки! человек болен... можно сказать, при смерти, а он не хочет посидеть с ним...

Ко всему сказанному надо прибавить, что Вукол Андронич ничем не интересовался вне своего имения; к соседям ездил редко; книг, кроме конского лечебника, у него никаких не было; о всех женщинах судил по своей бабе Арине, которой покупал платки и которую величал бегемотом. Интересы общественной жизни не занимали его: с уничтожением крепостного права, ему казалось, все пошло вверх дном; на земство, на новые суды он смотрел враждебно, и если уездный мировой судья наказывал мужика, укравшего воз барской соломы, двухмесячным арестом и, вдобавок, небольшим штрафом, то Вукол Андронич говорил: «Погодите! новые судьи доведут дело до того, что в одну прекрасную ночь эти храпандолы (му-

жики) явятся к нам в дом и поснимают с нас последние рубашки».

Вследствие таких соображений Вукол Андроныч советовал всем своим знакомым надеяться не на суды, а на собственные арапники и *sortie de bal* «в случае чего, избави бог», и даже предлагал к услугам свой доморощенный яд, убивавший, по его мнению, даже любую лошадь в полсекунды; поэтому и смерть от этого яда, предполагал наш барин, по всей вероятности, будет тихая и «воистину бога повеление» совершенно незаметная...

Пришедши в свой кабинет, Вукол Андроныч приказал Васке снять с себя сапоги, поддевку, переменял рубаху и лег на кровать. Когда его мысли пришли в порядок — он крикнул дьячкам, стоявшим в передней:

— Эй, господа виночерпии! пожалуйста сюда...— Он был очень доволен, что предстояло некоторое развлечение.

Громыхая сапогами и наступая друг другу на ноги, виночерпии вошли в барский кабинет.

— Ну, что хорошенького скажете?

— Свиной загнали.

— Прекрасно! пожалуйста деньги! деньги, батюшка.

— Верьте истинному богу,— взмолился один из причетников,— все семейство сидит без хлеба — какие у нас деньги? Явите божескую милость.

— Ну, хорошо: я штрафа не возьму, а свиньи пускай попостятся,— объявил барин, закуривая папиросу.— Ну, рассказывай, много во время праздника собрали пи-рогов?

— Ничтожество... Служили молебен, больше ничего: само собою, неудачно...

— Не наплевал ты на дьяконицу?

— О, помилуйте! на этакую даму? Это анекдот-дама! А вот мы разорены — это так: откуда мне прикажете, Вукол Андроныч, извлекать доходы? Сами судите... благо-чинный говорит: «Относитесь к *нему*... Злоупотребления никакого...» Что ж, он только брюхо наедает? Ребятишек содержи, девочек экипируй — просто перекреститься не на что!

— Дальше что?

— Что ж дальше? Слава богу, и кончено! Сегодня благополучно, а завтра увидим...

В дверях вдруг показался караульный.

— Ты что?

— Расчет пожалуйте...

— Я тебе сказал, что ружье тебе дам: глуши их, и кончено дело! Что ты за дурак такой!

— Помилуйте, у меня и так трех позвонков нет в поянице...

— Где же это тебе вышибли?

— Это еще в Севастополе...

— Ну, расскажи, как это было?

— Да что? расчет не даете!..— Солдат взялся за при-
толку рукой.

— Экой ты, братец! а еще солдат называешься... По-
чему ж ты не расскажешь, как тебе вышибли позвонки? Ведь тут дело идет о войне...

— Да прибежали это мы, значит, с батареи ниже Ма-
лахова Кургана; англичане и французы как резнут —
штыком, пять позвонков прочь... Нет, расчет пожалуйте,
Вукол Андроныч...

— Да! Ну, что же? тебя сейчас в больницу?

— Известно, в больницу... Спрашивают: «Ты штуцер-
ной?» — «Штуцерной». И начали операцию делать. Фед-
фебеля ударило в глаз... второй роты... Жив остался.

— Николай Иваныч! — обратился барин к другому
причетнику, — объясни нам, что такое жизнь?

— Известно, — начал Николай Иваныч, — жизнь есть
нить... есьмы движемся, больше ничего... Я теперь не мо-
гу рассуждать... у меня сарай раскрыт... Вот ежели ваша
милость будет, соломки воза два...

— Ну, хорошо! Ты рассказывай! Солома после...

— Ведь вы странно, Вукол Андроныч, спрашиваете:
что такое жизнь? Живу не мотаю, а придется—обратаю...
куда ж деваться-то? Скитаюсь по берегам вавилонским,
яко змей... пристанища мне нету... оттого, что скотину не-
куда выпустить: на земли чуждей дерут штраф... недавно
я гулял в лесу и думал: хлеба у меня нет, и хладен я, и
гладен, во вретнице скитаюсь... а барин, дай бог ему здо-
ровье, не помогает нам...

— А пьянствовать ты любишь?

— Да ведь мне, Вукол Андроныч, усердствуют...

— А в кабаке бываешь?

— Ни во веки веков...

В отворенное окно, выходявшее в сад, заглянуло ве-

чернее солнце; в воздухе пищали стрижи, над цветами зажужжали пчелы; с крыши медленно, как бы чередуясь, падали капли миновавшего дождя. Барин приказал ставить самовар. Дьячок, взглянув в окно, сказал:

— Воздух благочестивейший... благорастворенный, Вукол Андроныч...

— Ну, хорошо; расскажи теперь, бывал на колокольне в полночь?

— Бывал.

— Ну, что там?

— Ничего...

В это время где-то крикнула сова. Барин спросил:

— Не кричит сова, когда ты благовестишь?

— Ни во веки веков.

— Отчего?

— Не имеет права. Слышите? вон другая сова кричит... они зовут друг друга... Слякохся до конца.

Барин приказал гостям поднести водки. Они выпили и утерлись полами.

— Николай Иваныч! не можешь ли ты мне сказать, отчего собака, например, воет? к чему это?

— Воет?

— Да.

— Дура она... Позвольте, Вукол Андроныч, закусить...

— Ну, брат, надо в кухню посылать... ведь язык у тебя есть?.. Вот если хочешь водки, пей сколько угодно...

— Ну, позвольте...

Гости выпили еще по стакану, и Николай Иваныч объявил:

— Благочестивые слушатели! что такое елей?

— Елей мастит людей...— отвечал другой дьячок.

— Вукол Андроныч! у нас нехожена одна деревня; ну, благородно ли это? Чем мы причинны? а мы пирогами питаемся...

— Когда меня,— заговорил солдат,— подле николаевской батареи ранили, то ротный сказал: «Ух, и жесток этот солдат драться!.. он с Кошкиным, говорит, ходил, с другими ходил и не попадался, а тут попался...»

— Николай Иваныч! ну, говори что-нибудь...

— Нечего, Вукол Андроныч...

— Нет, я вижу, ты чистая свинья! Тебя просишь: расскажи что-нибудь из своей простой жизни, а ты черт знает что несешь...

— Барин! Христова пчелочка...

— Как это глупо! Николай Иваныч, правда, что вы в старину по шести пар венчали?

— А закусить мне пожалуете?..

Дьячок вдруг запел:

— Соль... фа... ми... ре...

— Васька! — крикнул барин, — тащи их вон...

Лакей повел дьячков под руки. Солдат объявил:

— Вукол Андроныч! мне пора ко двору! Докуда вы будете меня водить за нос?..

— Ну, я с пьяными не толкую... поди выпись... А еще георгиевский кавалер, скотина этакая.

Оставшись один, барин принялся ходить по комнате. Но не прошло пяти минут, как он вспомнил, что ему нужен повар, ключник и охотник. Схватившись за эту мысль, он вдруг просиял и закричал на весь дом:

— Эй, послать ко мне повара, глухого тетерева да египетскую шишимору!

Вскоре явились все три лица. Барин сел в кресла и обратился к повару, седому старику:

— Что завтра есть?

— Вы изволите знать, провизии нет никакой.

— Не умирать же с голоду! вместо пьянства ты бы подумал о еде. Ну, что же?

— Я не могу знать.

— Думай!

— Курицу опять на псарне взять?

— А утку с капустой нельзя?

— Слушаю-с... надо бы бульоном развесть... а его нет... Ну, скуса такого не будет...

— Напрасно ты пьянствуешь, брат... тебе семьдесят лет, тебе умирать надо...

— Вукол Андроныч! какой я пьяница? как выйдет случай — так, а ежели не выйдет, полгода не пьешь... уж я известный пьяница, я вам докладывал... кабы мы не делали этого вредного, мы были бы праведными...

— Вот хоть бы сегодня с поленом, — сказал барин, — говорю: «Брось!»

— А я говорю: «Зачем?».

— А я говорю: «Брось!».

— А если оно мне нужно?

— А когда тебе велят бросить? Нет, Григорий, если ты будешь пить, мы с тобой разойдемся...

— Вот кабы я носом ткался, да ничего не сделал; а то все сделал, сколько раз я вам докладывал? А то чуть выпью, вы волочете вон... Вот кабы я сжег что-нибудь али сырое сделал... Отчего же, осмелюсь вам доложить, когда вы меня волочете из кухни вон — я назад иду? Это что за пьяница, который на ногах стоит и ходит в памяти своей.

— А ежели водят?

— Когда водят на ногах своих — это другое дело! А я не хочу из кухни вон идти: там моя должность, там разная посуда... там все... Вот вы изволите говорить: «Я сейчас приеду кушать...» жду... жду... вдруг приезжаете: «Давай есть!» — сейчас в шею... А ведь у нас лишнего нет... ведь оно усыхает... укипает...

— Тебе о смерти надо думать...

— За то я владыке небесному каюсь, что я супротив него сделал нехорошо... Я вам докладывал... В неге я не жил, а в подтирушках век свой прожил... Я что? муха! Вон котел-то медный — я его десять лет таскаю. Известно, судя по закону, мне надо хлеба-то мало есть, не только пить...

— Довольно! ты мне надоел! Ну, вы что мне скажете, господин тетерев? как вы с рабочими ладите? А я вас хотел уже давно расчесть...

— Как же, Вукол Андроныч, — заговорил ключник, — столяр меня называет собакой! А все за что? Все из-за вашего добра в постылицу входишь... Говоришь: «Ребята! ешьте, сколько хотите, кусков не оставлять, хлеба в карман себе не класть...», а столяр честит меня всячески: «Собака!» Я вижу, Вукол Андроныч, я вам негоден... Я уж давно слышу, что вы хотите меня расчесть... А я думал, что вы прибавите жалованья... Видно, кто вам больше служит, тот больше в постылицу входит...

— Ведь ты чистая дура без подмесу...

— Покою не вижу ни днем, ни ночью...

— Ступайте оба вон!

Повар и ключник вышли. Барин остался с глазу на глаз с охотником, который держал в одной руке мешочек, в другой две клетки.

Барин допил стакан чаю и лег на кровать. Уже давно стемнело; в окно влетали ночные бабочки и кружились около свечки; в саду отчетливо кричал коростель: барин и охотник долго вслушивались в его однообразное пение... Звучно раздался благовест церковного колокола; где-то далеко, за барской ригой, около поля, караульный прокри-

чал: «Слушай...» Так было тихо... тихо... но эта тишина заставила нашего героя думать о ничтожестве своего существования... Он смирился духом; на него повеяла своими крыльями смерть... В эту минуту он, кажется, инстинктивно, понял, что вся жизнь его есть страшный промах... и он глубоко вздохнул... Ум его рвался куда-то, искал выхода... но его окружала строгая, непроницаемая тьма... Впрочем, ум этот скоро опять погрузился в оцепенение; сил и энергии в нем уже не было, и он походил на засидевшуюся в клетке и разучившуюся летать перепелку, которую держал в руках охотник. Барин лениво спросил:

— Какая лучше принимает?

— Все. Голос вот у этой лучше. Ее бы не съела кошка.

— Что ж мы с гончими будем делать?

— Дайте управиться.— Охотник говорил отрывочно и сердито.

— Дайте, дайте! только и толку. Я тебя содержу, Николку, а никакой утехи нет.

— Теперь что ж их наганивать? Уж ежели возьмется — без нагонки будет гонять...

— А что ж кости?

— Кости все собраны...

Молчание.

— Псарню надо покрыть.

— Псарня покрыта...

Снова молчание.

— Кто в наш колодезь ездит?

— Да ведь туда ездят с барского двора: он полнехонек стоит... вровень с краями...

Охотник поставил клетки на стол, а мешочек стал вешать на гвоздь, говоря:

— Надо бы перепелу перышко выдернуть... хорошо кричит... Я его поймал на поршковую самку... как бы его кошка не съела.

— Послушай! — спросил барин, — когда лисица мечет?

— Она рано мечет...

— А где Петрушка — доезжачий наш?

— Он живет у Борзовых... Борзовы охотников всё ищут... Всё были кое-какие набраны... летось они сорок пять лисиц затравили... А теперь кому у них править? Охотники-то известны: куда они годятся?

- Куда ж перепела посадишь?
- Да он в мешочке. Надо на стенку повесить...
- А где же они-то? — спросил барин, отворачиваясь к стене лицом и приготавливаясь спать.
- Господа-то?
- Нет, собаки...
- Борзовы-то? Андрюшка просил кобеля... а что ж кобель? Вот кабы у них сука распутствовала... Черт ее знает с чего она такая!
- Слушай! вот коростелей много. Как их ловят?
- Кабы ястреб был... Надо травить... Я не знаю, как их ловят...
- А куда деваются перепела зимою?
- Слетают... по своим местам... где зимуют...
- Завтра разбуди меня, пойдем перепелов ловить...
- Мокро... теперь не пойдут...
- Небойсь пойдут. Разбуди до свету! Слышишь, что ль?
- Слышу! Я разбужу.
- Ты что там копаешься?
- Перепела повесить некуда.
- Как некуда?
- Надо на гвоздик...
- Послушай! а то голову сорви...
- Завтра лучше сверну... А теперь посажу.
- Куда посажу?
- Куда-нибудь посажу...
- Посажу, посажу... куда?
- Вместе с перепелками...

Охотник удаляется. Василий осторожно накрывает барина кисейной простыней, гасит свечу и затворяет дверь кабинета. Барин мирно засыпает. А коростель кричит у его окна, звучно разрезая ночной воздух; на чистом небе светят звезды... выглянул месяц и осветил сад, разостлав по высокой блестящей траве длинные тени деревьев... неутомимый крик коростеля направляется от барского дома к одиноко стоящему на краю сада шалашу... Нигде ни души, хотя и кажется, что весь сад полон каких-то тихих звуков и неясного шороха... Далеко на реке квакают лягушки... Вот за садом прокричал перепел... На востоке делается светлее... Но в глубине неба время от времени срываются метеоры и стелются огненной полосой... В деревне запел петух... Избушка на псарне осветилась утренней за-

рей; вот стали видны два корыта, в которых с вечера охотники кормили собак и кур... Белеет грудa костей. На самой псарне громко закричал кохинхинский петух... В избе слышался говор охотников: «Пора идти к барину».

Один из охотников поплелся мимо пруда и низенькой конопли к барскому дому. На выгоне ходила калека-лошадь с жеребенком; перед поповским домом белели разостланные холсты, и на частоколе присадника висела забытая рубаха. Везде все спало мертвым сном...

— Вукол Андронич! вставайте! перепелов ловить!

— Кто это? — спросил барин.

— Я, Алешка-охотник. Пожалуйста перепелов ловить...

— Разве уж кричат?

— Кричат, да плохо... Я вам вчера докладывал, мокро... Нешто он теперь пойдет?

— А роса большая?

— Как же! Я от псарни дошел сюда, и то по колена вымочился...

— Ну, не пойду!

Охотник пошел вон из кабинета.

— Послушай! — закричал барин, — удочки у нас в порядке?

— Удочки в порядке. Я недавно навязал три больших крючка.

— Теперь карпии самый лов... цвет ржи... вели закладывать лошадь! живо! Эй, Васька! обуваться...

— Теперь карпия будет браться, — проговорил охотник и отправился в конюшню...

Лакей начал обувать барина, который на весь дом кричал:

— Гляди! легче! о чем ты думаешь? о бессмертии думаешь? держи голову выше! коренная!..

— Уж и то хуже лошади, — бурчал лакей.

— Вот ты у меня поговоришь, сиволапый медведь... Поддевку подавай! шевелись!.. дохлый!..

Вскоре явился охотник с известием:

— Лошадь готова, пожалуйста...

— Взял удочки?

— Уложены. Извольте садиться.

— А червяков?

— Этой дряни везде найдем...

— Я тебе говорю про белых, парниковых червей.

— На них карпия не берется... Это для окуней... А мы с вами до обеда проговорим...

— Молчи, дурак! Трогай с господом!..

— Где же мы сядем, в каком месте? — спрашивал дорогой барин.

— Это все равно... уж ежели ей бор... так будет браться везде... Известно, теперь она вся в буквище... там и сядем.

Охотники приехали к мельнице. На реке было тихо; у берегов возились и покрикивали утки; по плотине шел мельник, держа в руках топор; в лозняковых кустах, обрамливший буквище, на разные лады пересвистывали мелкие птички. Из-под крутого берега, завидев охотников, поднялась цапля; реку со свистом бороздили кулики; в полях давным-давно звонко пели жаворонки. Но солнце еще не всходило. Охотники сели недалеко друг от друга.

— А вот что, — сказал Алексей, — надо попросить мельника заставку поднять да спустить воду: она рыбу-то из глубины повышибет. Дядя Иван! подними творню...

— Извольте, господа! мне воды не жалко.

Мельник спускает из реки воду, которая шумным водопадом устремляется в буквище.

— Довольно! довольно! — закричал Алексей.

Опять все становится тихо.

Барин закинул свои удочки.

— Ну, теперь зевать нечего... на восходе солнца она берется не более часу. Я пойду лучше под стлани, — сказал Алексей, — под мост, чтобы она не видала моей тени.

Началась ловля.

— Вукол Андронич! у вас берется?

— Я не вижу.

— Вы тогда увидите, когда удилице будет на середине буквища.

— Молчи, шишимора!..

— Ты им скажи — они ругаться.

Вдруг потянуло удочку Алексея. Он тронул лесо и сказал: «Попалась!» Затем влез по брюхо в воду и вытащил за жабры большую карпию.

— Врешь, — говорил он, — я тебя не прозевал, а подсек... Эка, матушка... седая... Ну, теперь, Вукол Андронич, ловить нельзя... наделали шуму... рыба этого не

любит, да и солнце поднялось выше дубу... она теперь пошла опять вглубь... Поедемте!

Барин пошел на мельницу, которая принадлежала ему, и вступил в разговор с мельником.

— Ну, как дела?

— Ничего, сударь... теперь идет все у нас починка... вон рукав разохся... так конопатится... колесо тожеправляем...

— Сначала пустим на один постав?

— На один.

— Что ж, перед этим богу, что ль, надо молиться?

— Да ведь это, Вукол Андроныч, богу молятся, ежели мельница после полой воды в первый раз мелет... а ведь уж она молола.

— Так, значит, даром молиться?

— Да на что же? кабы она не молола...

В это время к барину подошел работник и объявил:

— Кухарка, которую изволили переменить, стала заутками лучше смотреть...

Барин сел на дрожки и исчез как молния.

Солнце стояло высоко; над рекой и лощинами тонкой пеленой носился туман, незаметно и тихо поднимаясь к безоблачному небу; в деревне загрели телеги и сохи; сквозь мокрые соломенные крыши изб пробивался дым. Из барской конюшни выводились лошади и вытаскивались грязные пролетки. Один из причетников, свивая на улице чересседельник, соображал, пойти ли ему в контору справиться насчет соломы; но сознание, что не дальше, как вчера, он вел себя перед баринном крайне неприлично, заставило его отложить свое посещение до другого времени; между тем другого причетника вся семья толкала вон из сеней, уговаривая упасть барину в ноги насчет свиней, так как нет никакой возможности «совладать» с ихними детьми, запертыми дома. Но и этот дьячок, вероятно вспомнив вчерашнюю процессию, как его вели под руки из барского дома, отправился через свой огород в овин, где предпочел завалиться на боковую — в самой печи, чтобы его не тревожили домашние, из которых не всякий был настолько храбр, чтобы полезть в печку овина, то есть в самое гнездо нечистой силы.

В барской кухне с отворенными окнами стучал поварской нож. Седой кучер, покуривая трубочку, беседовал с поваром.

— Да! так вам жена неподобает,— говорил кучер.

— Неподобает,— разжигая что-то на плите и вдруг отскакивая прочь, отвечал повар.— Что ж, грешен! как у меня мальчик был болен — я покою от него не видел, все кричит... Соборовали меня... взлез я на печку... и долго болел... С тех пор шабаш!

— Да! — подтвердил кучер,— значит, нет эвтого закону...

— Какой же закон? Кабы я, примерно, был человек свободен — так точно... Я бы и в храм божий пошел, к обедни али к заутрени; а тут спрашивают: давай кушать.

— Ну, а как вы видели видение?

— Лежал я на столе здесь, в кухне... только вдруг туды-сюды меня по столу смурьжит... езжу, значит, по столу. А то в Москве было дело... вот все равно как собака в шерсти навалилась... Это второе видение было... А еще, скажу вам, в малолетстве мы играли полугорой, пониже огородов; так вы не поверите, березка—так и пошла сейчас вниз... под гору... вот спросите Петра Егорова...

— Может быть, вы были под хмельком?

— Помилуйте! да ведь это было в малолетстве. Разве я тогда пил?..

В кухню вошел охотник и бросил на стол карпию.

— Какова? — спросил он.

— Вот так штука... Где это вы подцепили?

— Где! уж стало быть знаем такое место...

— Кто поймал-то? барин, что ль?

— Барин! — презрительно сказал охотник, доставая из-под плиты уголь,— его дело зевать да ругаться... Вари уху... приказывал...

Барин, окруженный толпой народа, сидел на крыльце и кричал:

— Васька! волоки сюда стол, самовар — все... Ну, батюшка, и карпию мы нынче поймали,— говорил он, обращаясь к двум купцам, державшим за спиной руки,— фунтов четырнадцать... как потянула моего шишимору, совсем было за собой утащила... Ну, что ваше сено? Как ценой?

— Сено, Вукол Андроныч, в гору пошло...

— А как?

— Сорок копеек за пуд. Да ведь нетути, Вукол Андроныч... Я вот это проехал третьего дня — у вас на кулиге трава засела пустая... да сену рость всего десять

ден... надясь оно в два дни прыснуло... сено — не хлеб... видите, какая теплота господня!

— Да... тепло стоит... Вы что нам скажете, господа храпондолы? — обратился барин к работникам.

— Позвольте домой...

— Черти! Да разве я могу вас отпустить? ведь у вас барские лошади на руках: товар живой... надо напоить, накормить... кто ж за тебя будет убирать? А ты говоришь: «Позвольте домой...»

— Рубашку целый месяц не снимали... надо, Вукол Андроныч, сменить...

— Да какой завтра праздник, староста?

— Воскресенье, — отвечал староста.

— Ну, я тебе раз навсегда говорю, чтоб была между ними очередь. Знать ничего не хочу: половина иди домой, половина оставайся...

— Слышите, ребята, — сказал староста работникам, — теперь, чтобы у меня жеребий был... бросайте жеребий: кому идти домой, кому оставаться... Ну, ступайте на работу: нечего почесываться!..

Работники начали расходиться. Староста, крутя головой, отнесся к барину:

— Я вам давно, сударь, говорил: не извольте с ними разговаривать. А то за всякой малостью всё к вам да к вам... А нас вы для чего держите? Еще осмелюсь доложить вашей милости: как против бога... не убить души... харчи хорошие... каши вволю... жрут как прорвы, а работы не видать...

— Что ж, они обижаются на харчи?

— Нет, что ж? этого не слыхать... нечего говорить. Харчи у вас положенные... Только шум у нас идет из-за кусков. Говорю: «Ребята! не нарежьте хлеба, ешьте в подборку... барин хлеба не жалеет...».

— Зло меня берет на вас, на идолов... мало обращаете внимания на работу...

— Теперь, сударь, не крепостное право: в ухо ему не дашь. Ты ему слово, а он — двадцать: «Поди, говорит, на меня жалуйся».

— Ну, черт вас разберет! Ступай!

Мимо крыльца проехала с громким визгом водовозка.

— Эй! — крикнул барин водовозу, — ты б хоть поплевал на ось-то, все бы она не так ревела...

— Ключник дегтю не отпускает...

— Не отпускает... слон астраханский!.. И таким эфиопам дали еще волю! Ну, что они с этой волей будут делать?

— Делать нечего,— сказал один купец.

— А на работу их нет! Теперь в хозяйстве просто над народом так и стой!

— Помилуйте! настоишься ли над ним?

— Вот тебе воля!

— Воля всем понаделала хлопот,— говорил купец,— теперь больше платежей, а денег нет... И заметьте, сударь, ведь это дело божье: крестьяне разорены, помещики ничего не поделают... А купцы пользуются ото всех. По крайности, Вукол Андронич, что вы окончательную цену возьмете за свой лужок?

— Не знаю, как староста: у него спросить надо.

— Да мы у него спрашивали: говорит, самим нужно сено...

— Ну, значит, нельзя...

— А то бы сдали нам? Сейчас бы богу помолились...

— В самом деле, нельзя: свои лошади подошли без корму...

— Ну, когда такое дело, до свиданья, Вукол Андронич...— Купцы сели в телегу и поехали.

Но вот, наконец, прошло лето.

Грачи, целые две недели совещавшиеся между собою на пригорках и пашнях о дальнем путешествии, уже давно улетели. Подул осенний ветер; неприветливо и грозно зашумел лес; все, что недавно так ласково простирало к человеку свои объятия, как будто вдруг ожесточилось и возненавидело его. Наступили темные ночи... хлынули дожди... спрятались деревенские жители в своих мазанках, и зажужжала чуть не на полгода прялка... Раскрылись четьи минеи, вступили в свои права ералаши и преферансы, лень и непробудное спанье.

На дворне чинятся барские хомуты и пересматриваются овчины. Сквозь чашу дождя едва виднеет деревянный барский дом с красной крышей. Барина давно не видеть на улице.

Он залег, как сурок...

Лакей Василий дремлет в передней, изредка вздрагивая и посматривая в окно... Он едва слышно ступает по

полу, когда ему понадобится выпить квасу: он боится потревожить барина, который заперся в своем кабинете.

Вукол Андронич лежит в постели третьи сутки; он не болен... но куда ж в такую погоду ехать или идти? Он и без того знает, что делается теперь внутри и вне его имения: конторщик давно вписал в книги, что следует, и играет на балалайке с утра до ночи «барыню»; кучер спит на сене в порожнем стойле и, при первом крике барина, готов ответить, что «он свое дело справил». Рига, которую за непогодой не успели покрыть, теперь пуста, и барин ясно видит стоящую в ней сломанную молотилку, закоптившееся окно овина и чирикающих под крышей воробьев. Ехать к соседям — это все равно отправиться в свое же собственное имение, с тою только разницей, что сосед, одетый в полушубок, сидит под навесом хлебного амбара и смотрит целые полдня, как бабы выют граблями соломенные притуги, а его жена беседует в гостиной с скотницей об окуливании ладаном коров; но все те же жалобы на волю, на новые суды, те же арапники, молодые шенки, лихие верховые лошади, та же кутерьма в голове. Охотиться нельзя, да и времена не те: пошли новые порядки, строгости да штрафы...

Вукол Андронич, наконец, серьезно начал думать, чем бы ему заняться. Разумеется, он в одну минуту может собрать народ и кричать на него; но это уж не составляет новости ни для народа, ни для самого барина. Отправиться к попу? Но там теперь за двойными рамами без форточек рубят капусту среди оглушительного вопля ползающих детей... да и к чему себя компрометировать перед толпой, давая понять ей, что, дескать, барин, у которого, слава богу, всего много, от скуки не знает, куда деваться... На барина все-таки смотрят с уважением: если барский дом заперт, то всякий прохожий думает, что барин или кушает, или книгу читает, или почивает, но никак не предполагает, что он от праздности лезет на стену... Вукол Андронич даже думал и о том, нельзя ли ему вообще радикально изменить свою жизнь: например, поступить на службу в чиновники и проч. Но опыт ему говорил, что другая профессия (не барство) необходимо требует от него усиленного труда, не говоря уже о других неприятностях, с которыми сопряжено иное положение в свете, чем лежание на боку в своем имении.

Нет, барин был убежден, что если ему иногда и противным делается его сибаритство, то это потому, что человек вообще неспособен ценить своего благосостояния — и под влиянием такого взгляда на вещи он даже настойчиво требовал от себя примирения с своим бездельем и тоской, хотя это и не всегда удавалось. Несмотря ни на какие доводы и хитросплетенные аргументации в пользу лежанья, скука делалась до того безмерна, что у Вукола Андроныча волосы становились дыбом, и он, потеряв сознание, вскакивал с постели и кричал: «Эй, кто там?» Его бесила та глубокая, мертвая пустота, которую он чувствовал в своей голове, ибо, как он ни рылся в ней, кроме какой-нибудь телеги или старого кресла, нагаек с пулями на конце, ничего там не находилось: вот отчего он схватывал иногда топор и рубил то кресло, которое совершенно без всякой пользы стояло несколько лет в его голове, как в каком-нибудь амбаре или на чердаке. Но так как с уничтожением внешних предметов не всегда уничтожаются они в человеческой голове, то Вукол Андроныч приходил в крайнее отчаяние, и тогда-то у него являлась мысль составить самый сильный яд из белены и проч...

Но, повторяем, Вукол Андроныч все свои недуги относил совсем не к тому, что его ожиревший мозг умирал от праздности, а приписывал все это «новым временам...» Злоба его росла, наikipала и, наконец, разрешалась, — на ком же иначе, как не на прислуге? И он сам рассказывал, что ему легче было, когда он выругает и пострадает разными пытками и казнями своих подчиненных. «Следовательно, — решал он, — всему виной храпундопы, вышедшие из крепостной зависимости...»

Как бы то ни было, нам не следует оставлять нашего героя в таком плачевном состоянии, в каком мы его представили в осеннюю пору. Развлечения и отрадные беседы с знакомыми у него бывают и осенью. Вот, например, докладывают Вуколу Андронычу, что приехал Андрюшка, бывший его охотник.

— Здравия желаю, сударь! — говорит он, вытягиваясь в струнку в дверях.

— Что ты, солдат, что ль? — шутит барин, — ну, где живешь, Андрей?

— У господ Гоняловых.

— Ну, рассказывай, как охотитесь?

— Охота, сударь, у нас большая: господа наши хотят у вас последних собак купить... чтобы у вас ни одной шерстинки не осталось...

— Всех, брат, продавать не буду; хоть пару, да оставлю для потехи.

— Барин приказал узнать решительную цену Задорке с Выжигалом.

— Ну, я сам при личном свидании поговорю с баринном.

— Да ведь это дело, сударь, будет не скоро, а собак надо сладить... А то всю осень и будет борона...

— Ты, я слышал, сделан доезжачим. Какой же ты, черт, доезжачий?

Андрей еще более выпрямился и заложил палец за ременный пояс.

— Этаких охотников вот что: земля мало родит!.. Только я вашей милости не потрафил... немножко зашибал... а то бы у вас и умирать надо... Я вам сколько раз говаривал: Андрюшек мало на свете! Вы вспомните то время, как я у вас жил: бывало, прикажете дубовые пни колоть — вдребезги! Поедем до городу, прикажете лошадь осадить — сразу на задние ноги станавливал... исполнял ваше удовольствие... А раз проштрафился — и нехорош Андрюшка стал... Ну, бог с вами! Я все-таки скажу: не вор я и не мошенник, а выпить — грешный человек. А были мы раз с вами у Пулелейкиных... у них зашла речь про силу: кто подымет десять пудов зубами? Я поднял и спрашиваю: «Куда прикажете нести?» Я обнес весь дом и принес, положил пред всеми на стол... дело было при вас, вы изволите помнить. Все гости сказали: «Вот так скотина!» — и дали мне красненькую...

— Ну, Андрюшка! было время, поохотились мы с тобой, да и будет... не те нынче времена, брат! Ты знаешь: прежде, бывало, ездил где хочешь...

— Времена, сударь, толковать нечего!..

Но пора нам распрощаться с нашим героем. Чтобы вполне оправдать заглавие этого рассказа, мы могли бы привести множество других *производительных сил* в параллель с Вуколом Андронычем, отводя почетное место героям высшего полета, также оскорбленным новыми порядками; но тогда наш очерк неминуемо должен бы разрастись в целые томы, не уступая по своему объему плутарховским параллелям великих мужей.

СЛЕДСТВИЕ

В один зимний вечер при оглушительном лае собак к завалившейся избе подъехал судебный следователь на паре обывательских лошадей. Пока хозяйка дома с длинной хворостиной в руках бегала за остервенившимися собаками с угрожающими возгласами, а ее муж в нагольном тулупе украдкой выглядывал из сеней, следователя встречал местный старшина таким известием:

— Вашему высокоблагородию отвели квартиру у отца дьякона, а доктору и становому у батюшки.

— Это для меня решительно все равно,— сказал следователь и торопливо устремился в свою квартиру, освещенную единственной сальной свечкой, нагоревшей до того, что портреты духовных лиц и военные герои, висевшие на стенах, казались как живыми, шевелясь в волнообразной борьбе света с тьмою. Между прочим, следователь при входе в избу немало был изумлен писком и грохотом крыс, бросившихся по щелям, лишь только хлопнула дверь.

Пока готовился самовар, гость завязал разговор с хозяином, стоявшим у самой двери и, по-видимому, готовившимся исчезнуть с быстротою молнии; однако первый осмелился начать речь следующим замечанием:

— Холодненько сегодня.— При этом он запахнулся, осторожно вздохнул и посмотрел на потолок.

— Ваша правда; холод изрядный...

— Не прикажете ли ваше одеяние развесить на печке... мы сегодня нарочно топили для вашего приезда... так ежели что посушить... оно за ночь-то провянет за первый сорт!

— Прикажете из калош снег выбить... давеча мы сбились с дороги... Я слез, да и увяз в снегу чуть не по колена.

— Очень хорошо!

Хозяин отворил дверь и крикнул: «Эй! Алешка!»

Явился в одной рубашке, босиком мальчик лет двенадцати.

— Бери калоши, осторожно вытряси снег... да того... поставь их посушить на печку... понимаешь?

— Понимаю.

— Да чтоб завтра до свету были вычищены.

Мальчик схватил калоши и опрометью бросился вон, закричав: «Самовар ушел! самовар ушел!..» За этим возгласом последовала беготня в сенях и женские крики: «Скорей! ушел! ушел! давайте крышку! где конфорка?»

— Велико ваше семейство? — спросил следователь хозяина, который глубоко вздохнул и отвечал:

— Как песок морской... Истинно, не лгу!..

В это время девушка лет двадцати внесла огромный самовар и, держа голову набок, поставила его на дубовый стол.

Затем она скромно отошла к стене и начала обдергивать свой фартук.

— Чайник позвольте, — сказал гость.

— Чайник! — грозно крикнул хозяин.

Девушка, исполнив требование, снова стала к стене.

— Стаканы или чашки позвольте, — сказал следователь.

— Стаканы! — повторил хозяин.

Девушка полезла в шкаф, а хозяин шепотом говорил ей:

— Экая ты! неужели сама не догадаешься?..

— Оставьте! без вас знаю! — в свою очередь прошептала девица. Поставив стаканы на стол, она вышла.

— Прошу покорно чайку попить, — предложил гость.

— Чувствительно вас благодарю, — подходя к столу, сказал хозяин, — я, признаться, чай люблю; но сахару весьма мало употребляю. По мне, его хоть не будь.

— Водочки не угодно ли?

— Вот это пользительно — особенно после трудов... нынче целый день молотили...

— Сейчас прикажете налить?

— Да! уж перед чаем!.. оно как будто тверже... Будьте здоровы! это, должно быть, не простая?

— Бархатная! прямо с завода...

— Я уж чувствую...

— Не прикажете ли еще?

— Если милость ваша будет, позвольте.

Хозяин выпил вторично и видимо приободрился. Даже голос вдруг сделался громче, из нежного тенора перешел в густую октаву, от которой дрожали стекла. Расположение духа также изменилось: отхлебнув глоток чаю, хозяин воскликнул:

— Скажу вам... люблю я от всей моей души образованных людей... Клянусь господом богом! Подумаешь: сколько?.. Гмм... да нет! уж лучше не говорить!

— Не восторгайтесь образованными людьми, а вы мне лучше вот что скажите...

— Ах, нет! не говорите... Как это можно?..

— Я приехал сюда, вы знаете, по делу...

— Знаю, ваше высокоблагородие: насчет мужика, что удавился.

— Ну да! вы знавали его?

— Помилуйте! наш гражданин, да не знать...

— Каков он был человек?

— То есть который удавился-то?

— Да! не можете ли вы мне что-нибудь сказать об нем?

— Отличный был человек! вот вам Христос! Конечно, уж теперь бог ему судья; жалко, что погубил свою душу; только человек был степенный, работающий и к церкви прилежен.

— Вы никого не подозреваете в его смерти?

— Никого-с!..— Хозяин подумал и сказал: — Да позвольте: кто согласится, к примеру будем говорить... Ну, кто согласится удавить его? Что у него есть? богатство, что ли, какое?

— А он беден был?

Хозяин на этот вопрос так решительно махнул рукой, что едва не уронил стакан.

— Одно слово: голь была непокрытая... Всю жизнь боролся с бедностью... то дом в третьем году сгорел, то лошади пали... а тут как пошли неурожаи. Эх! ваше высокоблагородие! ведь человек не камень... камень и тот от жару трескается...

— Позвольте вас поблагодарить за то, что вы мне сообщили про покойника...

— Помилуйте? За что же?

— Нет, видите, в чем дело: человек вы, как я вижу, откровенный, простой: каждое ваше слово для меня дорого: теперь для меня все ясно... Не лучше ли, однако, нам выпить да подумать об ужине?

— Прекрасно!

— За ваше здоровье! — сказал гость.

— Об ужине вы не беспокойтесь: изготовим все, что только вам будет угодно.

Хозяин выпил и отправился в другую половину своего дома. Вскоре он явился с известием:

— Ваше высокоблагородие! что будет угодно? Яичницу с ветчиной, или прикажете убить курицу?

В это время под окнами раздался колоколец, и в избу вошли доктор и становой.

— Вы вот где? — закричал доктор, снимая с себя шубу.— А мы, батюшка, плутали, плутали с Антоном Прохоровичем... насили доехали!

— Вам, господа, отведена квартира в доме священника,— сказал следователь.— Впрочем, если угодно, ночуем все здесь.

— Ничего! разберемся! — сказал доктор.— А вот у вас чай и водка — это кстати! Ну уж и буря поднялась! свету божьего не видно!

— Представьте! — заговорил становой,— поехали мы на деревню Круговертовку... оттуда надо держать на Волчий Верх... ведь вы знаете? Что ж? каких-нибудь версты три, не больше! Хорошо!.. выехали мы, уж начало смеркаться; вдруг кучер остановился: что такое значит? Смотрим: лошади стоят над крутым обрывом...

— Это вы, вероятно, взяли ниже... там дорога сбивчивая,— сказал хозяин...

— Уж я знаю эти места: ночью непременно собьешься... особенно во время метели... Ну, да что толковать! надо дерребнуть хорошенько.

— Не наводили справки? — спросил доктор следователя.

— Когда же было наводить? Я сам сейчас только приехал...

В избу вошел фельдшер с ящиком и портфелем...

— Иван! — обратился к нему доктор,— завтра чем

свет будь готов... поточи скальпель, пилу... одним словом, чтобы все было в порядке... На-ка выпей с морозу-то! Да отправляйся к священнику. Скажи, что мы сейчас придем, только выпьем по стакану чаю.

— Кто у вас тут удавил мужика? — спросил хозяина становой.

— Почему же мы знаем, ваше благородие? — Ведь мы с ним не в одном доме жили.

— Наделал он нам хлопот!..

— Сколько этих следственных дел! Ужас, ужас! вот надо еще ехать в деревню Мухортовку — там грабеж какой-то случился...

— А вы слышали, какой тиф свирепствует в наших краях? — сказал доктор.

— Разве тиф бывает зимою?

— Отчего же нет? В деревнях бывает. А уж о скорбутах, лихорадках, водянках и говорить нечего! Крестьянские дети мрут как мухи... Впрочем, что ж? просторней жить будет...

— Все дело рук божиих, — заметил хозяин.

— Разумеется...

— Сказано: без воли моей влас главы не погибнет...

Явилась работница священника и объявила:

— Батюшка вас просит на чашку чаю.

— Ну, прощайте! Завтра пораньше вставайте, да и за дело...

Становой и доктор отправились в свою квартиру.

Следователю принесла хозяйская дочь ужин. Она как вкопанная стала у двери вместе с своим родителем.

— Позвольте ложку, — сказал гость.

— Ложку! — подтвердил хозяин.

Девушка отправилась в другую половину и принесла деревянную ложку.

— Ножик и вилку одолжите...

— Ножик и вилку!

Исполнив требуемое, девушка стала к стене.

— Соли! — сказал следователь.

— Неужели ты этого не понимаешь? — прошептал хозяин дочери.

— Что вы пристали? — заметила девушка, — понимаем тоже кое-что без вас.

— Не угодно ли со мною поужинать? — предложил следователь хозяину.

— Нет-с, мы этого не потребляем... сегодня постный день.

— Я и забыл... извините.

— Мы соблюдаем устав...

Между тем в трубе завывал ветер, а на потолке неистово горланили кошки. Хозяин сказал дочери:

— Дуняша! вели прогнать их!

— Они каждую ночь кричат,— сказала девушка,— сюда повадился поповский кот...

Девушка вышла, и вскоре в сенях раздался крик народа, а на потолке загремели поленья, камни и ухваты...

— Ишь каторжные! — говорил хозяин, прислушиваясь к грохоту,— должно быть, они сидят под трубой.

Хозяин отворил дверь и крикнул:

— Влезьте кто-нибудь на потолок да стащите их отсюда...

— Агафон! лезь!

— Возьми хорошее полено!

Через минуту на потолке послышались шаги, и оттуда, как сквозь сито, посыпался мусор, причем раздавались голоса:

— Волоки их!

— Ах, черти!

Мало-помалу тишина водворилась. Лишь время от времени хлопали на улице ставни да ветер шуршал соломенной крышей.

— А ведь дни стали прибывать,— говорил хозяин,— теперь отчего стоят холода? Оттого, что солнце повертило на лето, а зима на мороз. Да! везде премудрость божия!.. Вот тоже толковали о назначении нам жалованья, а до сего времени ничего нет. Однако прощайте! желаю вам покойной ночи, приятного сна.— Хозяин удалился.

Следователь задул свечку и лег в постель. Не прошло пяти минут, как кошки снова начали концерт; к этому присоединился неугомонный писк и беготня крыс по комнате, отчего в разных местах гремели бутылки, банки и тарелки. А между тем ветер по-прежнему выл в трубе; от бури изба даже скрипела, и следователю казалось, что он лежит в каюте парохода, обуреваемого морскими волнами... Очарование было так сильно, что даже лай собак

под окном не в силах был разубедить его, что он не на море.

Рано утром следователь услышал скрип двери в сенях, женские голоса и рев скотины. На дворе кричала пойманная курица. Слышно было, как толпа народа сопровождала ее на улицу, где хлопнул топср; и крик птицы мгновенно прекратился. С двора в сени ломились свиньи, коровы и лошади. Борьба людей с животными сопровождалась хлопаньем палок и пр. ...

Следователь, наконец, решился встать и, вдруг увидев на своем одеяле откуда-то налетевшую кучу снега, сказал: «Ох-хо-хо!» Вошедший хозяин объяснил гостю, предварительно поздравив его с добрым утром:

— Это нанесло из стены... Там есть маленькая щелка... мы, признаться, заложили ее пенькой! должно быть, как-нибудь ветром выдуло...— И хозяин начал искать пеньку.

— Скажите, пожалуйста,— спросил следователь,— что это у вас за крик в сенях?

— Да изволите видеть: скотина лезет со двора, просит корму; а корму нет...

— Ее и угощают палками?

— Что ж делать? хозяйство того требует... И доложу вам: верьте совести! последние времена приходят!.. то есть такая бескормица везде — боже избавь! А что будет к весне? и подумать страшно.

— Ничего! — сказал следователь,— потерпите.

— Само собою так! Куда ж деваться-то? Да уж признаться, ваше высокоблагородие, иногда и сил не хватает, вот вам честной крест!.. И, полагаю я, все это оттого, что веры в нас мало... оскудела она в сердцах наших... д-да!.. Прежде люди были благочестивей.

Вошел старшина с цепью на груди, помолился богу и сказал:

— С добрым утром, ваше высокоблагородие! пожалуйте на следствие. Становой и доктор ждут вас.

— Понятые собрались?

— Они в волостном правлении.

— Так прикажите им идти на место преступления.

Часов в девять утра гурьба начальства с понятыми двинулась к завалившейся мужицкой избе, вокруг которой вместо двора стояли одни сохи и лежали плетни. В раскрытых сенях стояла едва живая корова, мутными глазами

осматривая начальство. В углу сеней висел труп, над которым мирно сидели голуби. В нетопленной избе на хорах лежали два больные мальчика. Гостей встретила оборванная хозяйка с удушливым кашлем.

В полдень следствие было окончено.

— А как вы думаете,— говорил доктор следователю дорогой,— ведь вопрос об искусственной пище, поднятый нашими учеными, заслуживает полного внимания!..

— Я с вами согласен. Особенно если принять в соображение награды, которые двигают нашими учеными,— вопрос об искусственной пище должен иметь строго научный характер. Но я разумею награды не материальные, как, например, разного рода повышения, знаки отличия, а сознание своего успеха и победы над природой, то есть награду нравственную... Возьмите вы недавно рекомендованное открытие употреблять в пищу конину, даже дохлую... Разве это не завоевание науки? Правда, народ наш гнушается кониной... но вольно же ему церемониться? Известно, что русский мужик одержим грубыми предрасудками и притом находится в совершенном неведении относительно того, сколько питательных начал, сколько белковины, фибрина, фосфорных и других необходимых для организма солей пропадает напрасно в лошадином мясе!

— Но если меня будет тошнить и рвать от конины,— неужели она послужит в пользу моему организму?

— Надо приучить себя! Всякий новый артикул требует упражнения. Вы посмотрите, как наши газеты заботятся о введении этого нового кушанья в употребление... В них напечатаны по этому поводу огромные статьи, хотя, конечно, я не могу согласиться с предположением, чтобы сами редакции заменяли на своем столе *filet de boeuf à la mode*¹ маханиной или *filet de cheval*...² Да оно так и должно быть: лошадина рекомендуется одним беднякам... Вообще я не вижу причины, почему бы нашему крестьянину не есть по крайней мере свежего лошадиного мяса? резать живых лошадей, как быков, и есть их.

¹ Говяжью вырезку по моде (франц.).

² Конской вырезкой... (франц.).

— Шутник вы! — заметил доктор.— Ну что, если в самом деле крестьянин зарежет свою единственную трехногую клячу... что тогда с ним будет?

— А то, что он введет в свой организм питательную пищу, а не мякину и лебеду...

— Ну, батюшка! Вы хотите уж всех мужиков нищими сделать... как же они будут тогда обрабатывать землю, как поедят последних своих кляч?

— Это не мое дело. Я строго держусь науки!.. За меня целая фаланга наших ученых мужей!..

Путники въехали в город.

САША

I

ЖЕНИХ И СВАТ

По случаю ненастной осенней погоды, несмотря на воскресный день, жители уездного города К. безвыходно сидели дома, играя в карты или просто глядя на дождь, бушевавший на улице.

В одном из купеческих домов на пуховой постели лежал сам хозяин, недоброжелательно поглядывая на жену, сидевшую у окна с подсолнечниками в руках. Купец сердито поворачивался под одеялом, иногда крепко закрывал глаза, кряхтел и, по-видимому, старался заснуть; хозяйка, нимало не обращая на это внимания, спокойно выплевывала подсолнечники и расспрашивала старуху, лежавшую на печке:

— Ну, ты говоришь, и пришла она в лес...

— И пришла она в лес...

— Вон какое дело!..

— Будет вам бреднями-то заниматься! — крикнул купец, — наладили: в лес зашла, в бучило!.. городят околесную!

— Что ж, мы тебе мешаем, что ль?

— Не по здраву мне ваши бредни-то! тут об деле не обдумаешь... вон дождь-то льет, как из ведра; чем бы ехать торговать, а ты вот лежи да слушай ваши дряги... Вон у Семеновых пенька села! как есть с рук не идет.

— Ну, пусть села. Нам какое дело? Рассказывай, старуха: и пришла она в лес...

— Точно,— продолжала рассказчица,— в лес пришла...— старуха зевнула,— только пришла она в этот лес...

— Бабу ничем, к примеру, не усовестишь,— заговорил купец, вставая с постели,— ни стыда в ней нет, ни совести...

— А ты чего в самом деле лежишь? разве в дождь люди не ездят? Ишь какой барин!.. не глиняный авось... взял бы да и поехал!

— Ну, а еще что будет?

— Ничего, стало быть...

Купец молча надел сапоги, оделся в чуйку и вышел из комнаты.

— Эх, господи! — глядя с крыльца на дождь, говорил он сам с собою.— Как теперь ехать? куда? на версте лошадь станет!

Купец прошел коридор и постучался в дверь.

— Дома Иван Антоныч? — спросил он кухарку.

— Они на гитаре забавляются...

Купец вошел в опрятную комнату с цветами на окнах и картинами на стенах. На диване, в халате и с гитарой в руках, сидел пожилой мужчина высокого роста, с крупными и суровыми чертами лица. Он посмотрел на ноги купца и, убедившись, что они чисты, сказал:

— С праздником, Егор Ильич!

— И вас также. А меня выгнали бабы. Лег было заснуть — нет! почали трещать — конец делу! а уж мне ежели перва-наперво помешают — шабаш!.. Как быть, Иван Антоныч, с погодкой-то? Вон телега с красным товаром давно стоит под сараем, надо бы ехать торговать — ничего не придумаешь...

— Теперь месяц уже на исходе, того и гляди перемена будет,— заметил Иван Антоныч.

— Это все мы понимаем. Надо бы в Остропяты ехать, к Кадышкину,— долгов везде пропасть...

— Смотрите не забудьте к Русиним заехать.

— Вы насчет невесты? Да уж сказано. Ну уж и девочка! рука отсохни, конхветка! Только не знаю, как приданое: да что-нибудь наберут... вся причина заводу хорошего... Вон у Длиннобородова хороша девка, а супротив русинской — никуда не годится. Надо глядеть характер... Мы вот как: время еще терпит... я вот, как бог даст погода остепенится, сейчас в Остропяты, оттуда к ним... всю подноготную разузнаю... сколько приданого, как можно приехать... Сыграйте что-нибудь.

Иван Антоныч заиграл: «Во саду ли в огороде...» Купец начал подпевать:

Расколился, сырой дуб,
На четыре грани...
Кто голубку обоймет,
Того душа в рае...

— Видно, не до песен. Такая скука; кажется, убежал бы из дому. Пройду к Сыромятникову, насчет пеньки спрошу... пенька совсем застряла!..— Вздохнувши несколько раз, купец медленно вышел.

Иван Антоныч остался один. Он начал мечтать о женьтибе: девица Русина представлялась ему тихим, кротким созданием, которое умеет хорошо стряпать, по воскресеньям ходит к обедне и в досужее время сидит у окна и шьет.— Для развлечения своей будущей супруги Иван Антоныч назначал прогулку за город, где учатся солдаты, и чтение душевспасительных книг.

Иван Антоныч был бухгалтером при городском казначействе и жил у купца Егора Ильича на квартире. Как бухгалтер и притом как человек самой степенной жизни, он пользовался во всем городе большим почетом.— Он жил так скромно, что, исключая своего начальника, ни к кому никогда не ходил в гости и, кроме некоторых городских сановников, никого к себе не принимал.— За это-то именно все и уважали его. Наука—уменье жить, по мнению горожан, далась ему в совершенстве. При этом все считали его за богача, так как у него лежали в банке деньги. Не касаясь его прошлой жизни, которая более чем наполовину проведена была в бедности, трудах и лишениях, ибо он был сын причетника, скажем вообще, что Иван Антоныч прочностью своих нравственных правил и физического преуспеяния напоминал дуб. Его не могли поколебать никакие невзгоды и житейские бури: его опытность могла бы быть неизменным и верным оплотом в несчастиях и всякого рода испытаниях судьбы. Беспомощность и бедность с раннего детства, физическое безобразие, которого не могли простить ему люди, выковали из него железный тип с одним лишь противодействием житейским невзгодам. Предусмотрительная природа, кажется, поступила по одному и тому же плану, сформировывая у животных рога, копыта, зубы и производя такое существо, как Иван Антоныч. Он был вполне законченным произве-

дением враждебных житейских стихий, и потому думать, что его может сокрушить какое-нибудь несчастье или расшевелить какая-нибудь радость, было бы напрасно. Зато, постигни его грозная нищета и тому подобное, никто бы не вынес ударов судьбы с таким спокойствием, как Иван Антоныч. Он был в полном смысле русский человек. Иди хоть целый месяц дождь, будь вечная зима, завали исправник все городские улицы камнями, кричи кто хочет над самым его ухом: «Караул, разбой», — ничему этому нимало не удивится Иван Антоныч. Жизнь человеческую бухгалтер уподоблял морю, а свою должность и хорошую квартиру считал за прочную раковину или, лучше сказать, за житейское судно, с которым, на случай крушения и бедствий, соединялись, вроде спасительной лодки, лежавшие в банке деньги. Означенное судно житейское стоило Ивану Антонычу всей суммы его душевных сил: ни одно из чувств человеческих не щадилося при постройке его, все шло на подпору тому долготерпению, которого требовала бухгалтерская карьера.

Получивши хорошую должность и таким образом окончив расчет с нуждами и людским презрением, Иван Антоныч начал чувствовать в себе праздность сил, которые требовали как будто бы новых состязаний с преградами; но так как благодаря прочной житейской раковине состязаний этих не представлялось, то силы начинали бродить и как будто размещаться по своим природным местам, хотя уже в изуродованном виде. По временам в душе его просыпалась потребность дружбы, любви, но так болезненно, что организм не выносил их, и все чувства снова становились в прежний боевой порядок против жизни. Но все-таки Иван Антоныч решился жениться. Женские существа с своими придаными представлялись ему маленькими крепостями, завоевание которых обойдется ему очень дешево как бухгалтеру. В последнее время он расчел, что из означенных крепостей следует взять именно Александру Григорьевну Русину. Он собрал о ней самые точные сведения и убедился, что она, по своему приданому, по своей скромности и эластичности натуры, вполне окажется способною и достойною сидеть в его житейской раковине.

Помечтав о женитьбе, Иван Антоныч, наконец, оделся и отправился в гости к своему начальнику, жившему подле казначейства.

При появлении его начальник возгласил:

— А нуте-ко, Иван Антоныч, объясните, что значит: «Из боку пройде?»

— Вы не так произносите,— скромно заметил бухгалтер,— надо говорить — из боку́, это двойственное число и значит по-русски из боков... Здравствуйте!

II

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

В доме помещика Русина, в небольшой комнате с кафельной лежанкой, сидела хозяйка с своею приятельницею богомолкою Анною Карповою, которая недавно возвратилась от святых мест и теперь гостила у Русиных.

Хозяйка вязала чулок. Богомолка читала книгу. На столе горела сальная свеча.

— Погребальные песни читаю,— говорила странница,— уж как хорошо! Вот говорится здесь: «Погибшая овча аз есмь!»

— Подлинно погибшая! — сказала хозяйка. В это время вошла девушка лет девятнадцати. Она села за стол и начала шить. Хозяйка продолжала:— Вот так-то Саша... сердце мое все высохло по ней... постоянно у ней на уме несчастья, страдания... А то примется морить себя голодом...

— Когда же я морила себя голодом? — сказала девушка.

— Ну, ты не спорь: мать не станет врать. Однажды,— без меня дело было, Анна Карповна: ездила я в Калугу,— так она целую неделю не ела... каково вам покажется? А я замечаю, вот отчего она такая стала: люди мы небогатые, приданого у нас нет... а женихи сватаются вы не поверите какие? Один конторщик — право, не лгу! да какой, если б вы знали!.. хромой.

— Ах, милые мои! Что ж это такое?

— Вы уж не говорите никому... другой — помещицкий сын, да уж такой бедовый, как есть разбойник... все пьяный прилетает, да с арапником...

— Батюшки!

— Просто женихов нет совсем... А муженек-то мой как выпьет, так орет на Сашу-то: «Когда ж ты с отцовских

хлебов долой? Я тебя за первого мещанина выдам!» Шутка ли дело, что несет дурак набитый! Так вот, думаю: я, отчего она такая?

— Что делать, Марья Сергеевна, не отчаявайтесь: ведь вот у вас сынок есть: авось он поможет.

— Сынок пишет, Анна Карповна, что в Петербурге получай хоть две тысячи в год, и то мало... Еще спасибо, что он не женат. Все так-то прийдет что-нибудь...

— И вы, Александра Григорьевна,— обратилась богомолка к невесте,— не огорчайтесь... авось бог пошлет хорошего человека.

— Нет, Анна Карповна, я замуж не пойду.

— Ну, загадывай! — перебила мать,— так век не проживешь...

— Мамаша! отчего же я непременно должна выходить замуж?

— Вот как ты у отца с матерью сидишь одета, обута, ты и рассуждаешь так. А что будет, как мы-то умрем?

— Ну, тогда я уйду в монастырь!

— Вот слушай, дубрава, что лес говорит. Ты так-то при людях не изволь отличиться... что ты, убогая какая или вдова, в монастырь-то хочешь? одно средство—выйти замуж... и чем скорее, тем лучше. Ведь ты уж немолода: годик, другой, красота-то твоя слиняет... тогда уж все, даже и негодные женихи, будут обегать тебя...

В комнате явился Русин. Он стоял у двери и почесывал в голове.

— Где был? — спросила жена.

— Да у попа посидел...

— Что ж там?

— По рюмочке выпили, побалакали... Однако на дворе морозит... Такие-то дела,— продолжал Русин, отдирая на стене торчавший кусок обоев.— Что ж, ужинать, что ли?

Дочь положила на стол шитье и вышла. Через минуту она снова явилась и сказала:

— Вот письмо принесли... не от брата ли?

Русин понюхал табаку, надел очки и, взглянув на адрес, сказал:

— Это от зятя. «Милые родители! Вы писали нам насчет жениха. Как мы ни разыскивали, все наши старания оказались тщетными. В нашей стороне такое множество невест и так мало женихов, что никто не придумает, что делать!»

— Ну, да! — сказал Русин, — всё новости у нас... всё радости...

— Ты читай знай! — перебила жена.

Русин продолжал: «Есть один молодой помещик, но пьяница и просит десять тысяч. Есть еще сын богатого дворника, но ищет такую, которая бы умела обращаться с проезжающими, так что нет женихов вовсе! Уж вы как-нибудь ищите у себя... Затем желаю вам всякого благополучия».

— Вот, — сказал Русин, не снимая очков, — и думай теперь, как хочешь...

— Что ж тут думать? — сказала жена, — нет, и не надо! Разве это от нас зависит?

— Да! у нас все так-то! Я говорю одно: мне остается завязать глаза да бежать из дому.

— То-то у тебя каменное сердце... а все мать одна мучайся, ночи не спи...

— Ну, матушка, и я немало с подушкой-то думаю...

Наконец, подали ужин. Садясь за стол, Русин сказал:

— Саша, что ж ты не идешь?

— Я не хочу! — отвечала Саша из другой комнаты.

— Отцовского хлеба, что ли, жалко? Отец, кажется, не жалеет для вас ничего... Кажется, из последних сил лезу... Ну, продайте меня! что-нибудь дадут авось и за меня... Саша, будет капризничать!

— Я не хочу, папаша!

— Ну, ведь, матушка, с этими капризами не проживешь. Да! вот отец-то думает о вас, да ничего не выдумает.

— Кушайте, Анна Карповна, — говорила хозяйка, — вы его не слушайте. У нас ведь каждый день такая история.

— Ну, да! — поднимаясь из-за стола и крестясь, сказал Русин, — вот ты умна: не придумаешь ли ты чего повеселей... а уж мне — хоть завтра умирать!

Русин помолился богу и отправился в темную залу, говоря со вздохом: «Охо-хо-хо-хо-хо!..» Он разделся и лег на диван, прислушиваясь, что будут говорить женщины. Но женщины вели себя очень благопристойно и говорили о святых местах.

— До Оптиной пустыни-то сколько верст, матушка?

— Верст триста будет. А какое благолепие...

— Ну, да! — говорил Русин сам с собою, — благолепие! ну, продавайте меня, ведите на базар!.. авось какой-нибудь прасол купит...

Женщины слышали это и продолжали, стараясь казаться совершенно беззаботными:

— Ведь вы с товарками ходили?

— Как же! нас было семь человек... говорили, что дорогой разбойники есть; ну, мы прошли благополучно!

— Нет! у нас они, разбойники-то,— рассуждал Русин.

Женщины ушли опять в маленькую комнату.

В зале, где лежал Русин, было совершенно темно. Вдруг он услышал чьи-то шаги и крикнул:

— Кто это?

— Это я, папаша,— сказала дочь,— я принесла вам подушку.

— Ну, мне хорошо и так. Не надо!

— Вам неловко, папаша...

— Ну, матушка, ничего! Нам, старикам, не о подушках думать, а о смерти. Не надо, говорю...

Дочери, наконец, удалось положить подушку.

— Нам теперь пора и в могилу!

Вскоре во всем доме наступила тишина; только под окнами снаружи шумели деревья...

— Да, пора...— изредка говорил Русин,— пора на покой... там без меня как знаете, так и кроите...

Богомолка ложилась спать в комнате Александры Григорьевны. Она говорила девушке:

— Терпите, Сашенька; может быть, вам господь посылает искушение... может быть, он хочет, чтобы вы такой же крест несли, как и я... Вспомните, как страдала Варвара Аристова мученица... она скрывалась в горах, в вертепах... а что наши все горести? Не стоит даже и говорить о них... мы малодушны...

— Хорошо ли вам спать, Анна Карповна?

— Ничего! Грешница — на подушке лежу, надо бы на гвоздях по-настоящему!

— Анна Карповна! — послышался голос из соседней комнаты.— Прислушайтесь; никак кто-то стучит.

Анна Карповна прислушалась, но, кроме завывания ветра, ничего не было слышно.

— Это, матушка, ветер! — крикнула богомолка,— знаете ли, буря гудёт... вам и почудилось... ничего не слышать.

— Анна Карповна,— сказала девушка, кутаясь в одеяло,— расскажите мне про Варвару-мученицу.

— Извольте... В некотором царстве жил-был царь нечестивый Диоскур...

— Анна Карповна,— опять послышался голос за стеной.

— Что вам угодно, Марья Сергеевна?

— Право, стучит кто-то... я хорошо слышу...

— А ведь и то, Марья Сергеевна!

Вскоре весь дом был на ногах. Хозяин стоял со свечой в передней и встречал гостя.

— Уж извините, Григорий Иваныч,— говорил входивший купец, подавая руку хозяину.— Позвольте переночевать у вас. Зная доброту вашу и простину, к примеру, осмелился побеспокоить...

— Просим покорно; человек знакомый авось... раздается!..

Купец начал распоясываться.

— Вся причина — холод! такой холод... не судом воронит! того и гляди, снег выпадет.

Купец разделся и вошел в залу.

— Еще здравствуйте! Живы ли себе, здоровы ли?..

— Садись.

— Я приехал к вам, Григорий Иваныч, неспроста. Так-та-с! Нашел вашей дочке женишка.

— Ну вот!

— Угадайте, кто?

— Ты все шутишь... я ведь тебя знаю...

— Что за шутки! аль уж мы некрещенные. А вы лучше послушайте про жениха, что я вам скажу. Слышали аль нет, бухгалтера при казначействе... хороша штука?

— Ну, что же тебе, чаю, что ли, аль закусить?

— Так-то, Григорий Иваныч! ай попался! — купец встряхнул волосами.— Ведь я вам теперь довожусь никак сват?

— Ты скажи, становить, что ли, самовар-то?

— Да уж это дороже всего!..

Хозяин прошел в спальню жены, плотно притворил за собою дверь и сказал вполголоса:

— Марья Сергеевна, надо велеть самовар поставить! купец Бучилин приехал, жениха сватает... бухгалтера...

— Он небоись смеется?

— Ты видишь, нарочно приехал. Вели хоть Саше распорядиться насчет закуски.

Хозяин опять вышел к гостю.

— Анна Карповна, матушка! — говорила хозяйка.

— Что, что такое?

— Жених за Сашу сватается. Какой-то булгалтер.

— Вот видите, Марья Сергеевна: бог-то!..

— Саша, оденься, пожалуйста! распорядись насчет закуски... Что это? ты никак плачешь? Она рехнулась!.. Еще ничего нет, а уж она плачет! Оденься, говорю!..

Между тем в зале хозяин хлопотал около гостя.

— Что же, лошадь-то вдвинули на двор?

— Там есть малый! Я приказал ему. Уж кормочку лошади одолжите... Я ведь езжу с товаром... Был у Питюхиных, стало быть, в Солодовку заезжал, да тут заехали мы к Ивану Семенычу и замешкались... Он оставлял меня и ночевать, да думаю, надо еще к Русиным весточку свезть...

— Благодарю! Нн-у...— начал тихо Русин, облакачиваясь на стол,— что же, хороший человек бухгалтер?

— Да аль вы не знаете? По крайности, может быть, слышали; как же! богач, одно слово... Я-то его знаю вот как себя! Ведь он у меня на квартире три года живет! довольно хорошо?

— У тебя на квартире?

— Да как же! помилуйте! Вот ведь что!? На что же лучше!

Купец начал поочередно засучать рукава. Вошла хозяйка.

— Здравствуйте, Марья Сергеевна!

— Я слышала, вы нам привезли новость... какой такой булгалтер?

— При казначействе служит, сударыня, по счетной части.

— Хороший человек?

— Вот как: два раза хорош!.. У меня на квартире живет... ну, можете понять: в банке лежат тысячи...

— Нам, батюшка, Егор Ильич, был бы добрый человек — пуще всего...

— А что насчет доброты,— продолжал купец,— тих, благороден — больше ничего!.. Вот какое дело. О женихе толковать не надо! а вы вот что: глядите, есть ли у вас приданое-то... Вот о чем перва-наперво думайте...

— Ну уж, батюшка, приданого у нас нет...

— А нет, и разговаривать даром! Без приданого он не возьмет... он и то супротив других меньше запрашивает,

потому знает, что вы люди небогатые... Опять девочка ваша хороша, он за девочкой гонится... Наслышан о ней... и что, значит, хозяйка, к примеру, то, другое, не избалована, может пирог испечь, рубашку сшить... Ведь в нем ума насыпано вон сколько! Ведь не гонится за богачками! говорит: «Ей найми пять прислуг, а эта-то для дому пользительней». В нем, говорю, ума!..— Купец махнул рукой.

— Как же быть-то! приданого у нас нет... платье одно, то есть одеяние.

— Позвольте-ко мне поучить вас, как распорядиться: у вас есть сын?

— Есть! даже два. Один в гимназии, другой в Петербурге служит.

— Так я насчет петербургского-то... Пишите ему, что вот так и так — без разговору, чтобы выслал тысячу пятьсот рублей.

— Тысячу пятьсот рублей!!

— Мое дело сторона: как угодно, только что упустите жениха — спокоетесь! Перед истинным богом, спокоетесь... Я ведь вам по душе толкую!

— Не возьмет ли он подешевле?

— Не знаю. Да что загадывать! Надо начать это дело по-христиански: прямо, господи благослови; пишите сыну в Питер, что так и так... скорееча высылай, а я тем временем, вот путьек, бог даст, исправится, приеду к вам с женихом. Друг друга посмотрите, поговорите... вот как надо дело начинать! Когда прикажете приехать к вам? Я полагаю, вокруг Михайлова дня, как снег нападёт. Запряжем саночки... и с господом...

На столе кипел самовар. Явилась Александра Григорьевна.

— Многолетнего здравия, барышня! Привез вам ситцев на наряды, платков, модных сеток, духов.

Наступило молчание.

— Шпильки и запонки у вас есть? — спросила хозяйка.

— Всё-с: шпильки, запонки, гребешки, мыла разных сортов... Теперь уж я не стану воз трогать, а что будет нужно, завтра...

— Ну, что у вас в городе новенького? — спросил хозяин.

— Да что новенького? То и новенького, что, к примеру,

Оболдуев снял мельницу, а у Горшечникова на днях описывать будут имущество... вот и все.

Купец поставил чашку на стол и вытер усы.

— Григорий Иваныч, как же насчет кормочку-то лошади?

— Эй, Акулина! — кликнул хозяин, — позови мне Карпа.

Явился старик.

— Карпуца, ты дал моей лошади корму? — учтиво спросил купец.

— Как же! дал целую меру.

— Вот и дело! Пусть кушает! Уморили сердешную...

— Целую меру... а у вас там на возу собачка привязана, — усмехаясь, сказал старик, — махонькая, да злая какая...

— Она завсегда с нами. Вот случай какой раз с нами был. Заехал я так-то не хуже теперешнего, уж поздно, на постоялый двор... только, примерно этак, поужинали мы, легли спать... а лег я к стене, не спится мне... ну ничего... Слышу, собачонка эта звякает, да и шабаш... встал я, вышел на двор, гляжу: стоит человек у моего возу... Сейчас: «Что за человек?» — «Работник». — «Что нужно?» — «Да, говорит, гляжу на собачку». Посмотрел я воз, вижу: веревка развязана...

— Ну-ко водочки, — потчевал хозяин.

— С вас перва... извольте начинать...

— Ну, будь здоров!.. спасибо, что приехал... право, спасибо!..

Купец усмехнулся.

— Ну-с? — объявил он, держа рюмочку, — имею честь поздравить вас с начатием дела. — Хозяева поклонились. — Дай господи вам в добром здравии кончить. Барышня, позвольте вас с женихом поздравить!

Купец выпил и, протягивая руку к закуске, проговорил:

— Положим, человек немолодой... ну да ничего, пожилой человек будет поосновательнее какого-нибудь ветрогона... это уж травленный волк... Вон теперича говядину покупает сам, — все сам... ничего, так-то лучше! то и человек... ноне время такое!..

— Сколько ему будет лет?

— Да лет сорок.

— С собой этак пригож?

— Видный мужик! к примеру, складный... все при нем! На лицо маленько суров, этак будто исподлобья глядит! Ну, да эти люди бывают самые кредитные! А вы пишите-ко сынку, и тем дело покончим.

— Что, господин купец, у вас четки есть? — спросила входившая богомолка.

— Есть, сударыня. У нас все есть.

— А платки французские есть? — спросила горничная.

— Все, все есть. Да аль уж сходить за товаром. Завтра воскресенье, может быть пойдете к заутрени,— обратился купец к хозяевам.

— Нынче посмотреть лучше! за одно будто... ты нам и сон-то прогнал!

— Эй, милая, вели принести мому молодцу верхний короб. Скажи: верхний — только всего!.. мне хочется барышне уступить ситчику на платье! Уж и ситцы получены — и модны и добротны... Я уж вам сам выберу. У нас дело пойдет по совести, по-домашнему.

Хозяин попотчевал гостя водкой. Вскоре явился на столе короб, и комната мало-помалу наполнилась народом. Явились дворовые люди, какие-то старухи и старики.

— Вот-с, например,— объявил купец,— какова штука?

Все начали ощупывать ситец. Купец стоял перед народом с поднятым аршином и напоминал Моисея перед израильтянами.

— Каков ситец?

— Добротен.

— Прочный ситец!

— А благороден как? — возразил купец.

— Хорош!

— А взглядитесь, краска какая! вся наскрость прошибла! Этот уж не полиняет: мой смело в щелоку! Об цене разговаривать нечего. Прикажете резать. На платье им надо тринадцать аршин.— Все замолкли. Купец разорвал ситец.— Теперь четки? вам четки? Вот извольте: самые степенные и недорогие; будете, сударыня, молиться, вспомните обо мне; четки стоят гривенник, я уступаю пятак: на спасение души пойдет... когда-нибудь умирать надо!

Богомолка купила четки, надела их на руку и вдруг тяжело вздохнула, как бы говоря: «Теперь-то наступило самое богомолье! теперь поклоны пойдут настоящие: чет-

ки не обманешь!» И все окружавшие богомолку вздохнули, как будто жалея ее.

— Вам платок? — обратился купец к горничной. — Прощу покорно! Не смотрите лучше: плохого не дам! а извольте прикинуть на голову, к лицу ли будет?

Горничная накинула платок на голову, завязав концы у подбородка.

— Ну-с? — спросил купец.

Все от удовольствия засмеялись: так был к лицу горничной новый платок.

— Только теперь смотри, — заметил купец, — на крылечко пореже выбегай.

Все засмеялись.

— Нет, в самом деле, — продолжал купец, — от души говорю. Потому, к примеру, народ молодой... жалости предподобно! А надо, как в их возрасте: теперь в колокол заблаговестили, сейчас в церковь... ан, глядь опосля, и жених — вот он! Ноне женихи тоже мудрены стали... Помады вам, Александра Григорьевна, надо, полагаю, взять?

— Помады надо.

— Извольте: Альфонс Ралле! положим, не модные духи, ну да для деревни сойдет. Кто вас тут будет разбирать? Советую взять. А вот вам шпильки и запонки.

— Крестики есть у вас? — спросила дворовая старуха.

— Есть, бабушка, и крестики. Тебе надо подешевле. Вот, например, — распятие.

— Приложись, бабушка! — сказал кто-то.

— Нет, бабушка, погоди прикладываться, — предостерег купец, — ты спроси у кого-нибудь богоявленской воды да покропи его, тогда и приложись. Теперь он не святой, а тогда будет святой. Всякое дело требует понятия: нельзя очертя голову...

Продажа окончилась; короб был отнесен, дворовые разошлись, восхищаясь покупками.

— Ведь вот, Григорий Иванович, будем говорить про покупателей: всякого наскрозь надо видеть! Ежели теперь старушка: надо выбирать, что потемнее да поскромнее. Девушка — этой надо повеселее... Опять старушка старушке розь, и девушки не все равны: ежели благородная особа — гляди, что понежней, простая — давай почудней... вот я двадцать лет торгую, каждого человека дол-

жен взвесить. Например, ваше семейство: люди вы небогатые,— стало быть, во всем сами знаете толк: обмануть вас не приходится, да и выгоды нет.

Купцу приготовили постель на полу. Ложась спать, он еще раз подтвердил хозяину:

— Так напишите сыну. Запрос в карман не лезет. Вот жених, как познакомится с вашей дочкою, увидит, что она девица хозяйственная, может быть и уступит.

— Надо писать... что скажет сын? — говорил хозяин.

— А вы как думаете, дочки-то? от них зачешется в голове-то... хуже этого товару нет.

III

ПИСЬМО

Через неделю Русины получили из Петербурга письмо от сына, который извещал, что он с удовольствием готов помочь сестре, хотя должен войти в долги. Он удивляется, что сестра ничего не написала о своем женихе.

— Сашенька! милая! — говорила мать, — напиши брату письмо, иначе он нам не поможет.

— Все от тебя зависит, — сказал отец, — Петя обещал восемьсот рублей с условием, если жених нравится тебе. Я думал, может согласится дать тысячу... ну, что делать!.. и этих неоткуда взять...

— Как же быть, Саша? Сядь, напиши!

— Что же я напишу? — спросила Саша.

— Да что жених тебе нравится!

Дочь грустно улыбнулась.

— Послушай, — твердила мать, — нам надо Петю-то успокоить, чтобы он готовил деньги, а то он как бы не раздумал: куй железо, пока горячо. Нам приданое-то нужно... Кто знает, что может случиться? Ты знаешь, как наша жизнь-то тревожна?

— Позвольте мне подумать...

— Это ты послеобразишь, — на гулянках. А теперь брат беспокоится и не знает, добывать ли денег, или нет? Ну, что тебе стоит написать две строки?..

— Матушка, ведь я должна писать ложь: жениха я не видала, а должна писать, что жених мне нравится...

— Брат пока помогает, надо скорее пользоваться... Нынче, ты знаешь, каковы братья-то? Они сестер за своих

слуг считают... Петенька человек молодой, живет в этом Петербурге... что и говорить! надо скорей писать!..

— Матушка, вы мне сколько раз говаривали, что за грехи бог наказывает. Я положились во всем на волю божию: не сделаю я греха, если соглашусь с вами и напишу брату ложь?

— Ничего!

— Какой же грех?

— Да! — как бы вспомнив что-то, объявила Русина, — греха нет никакого... первое — ты из воли родительской не вступаешь... тебе какое дело?

— Значит, они принимают все на себя, — заметила богомолка.

— На себя! — объявили родители, — для твоего же благополучия.

— Ну, я согласна, диктуйте мне, — сказала Александра Григорьевна.

— Ну, матушка, пиши: милый братец...

— Перо-то надо очинить, — сказал Русин.

— Когда тут? Пиши: милый братец... авось всего две строчки... уведомляю тебя... нет!.. здоров ли ты? надо сначала о здоровье... Григорий Иванович, сочини ты... я уж помешалась.

— О здоровье после пишется, — учил Русин, — желаю быть здоровым и благополучным. Пиши: спешу уведомить тебя, что жених, бухгалтер, мне очень...

Саша остановилась, перо задрожало в руке.

— Ну, *очень* не надо! напиши: нравится... пиши...

— Знаете ли, что? — сказала девушка, — я напишу: нравится и выйду за него замуж...

Родители молчали.

— Да, он мне нравится... и я выйду за него... я не стану лгать.

— Что ж? как же это?

— Нет, Саша, ты подумай, посмотри...

— Мне нечего думать, я решила... Бог видит все...

На лицах родителей вдруг отразилась жалость к дочери.

— Саша, мы тебя не принуждаем.

— Матушка, вы хотели, чтоб я вышла за этого бухгалтера?

— Д... да...

— Я выхожу за него... Вот я написала, как вы желали...

— Саша, ты обдумай, мы тебя не торопим... время впереди... Мы разве желаем тебе зла?

— Нет, матушка, я думала и долго думала... но убедилась в одном, что ума во мне нет, а в жизни нужен ум... мною управляли одни чувства... хватилась я, но уже поздно... готовиться к жизни теперь некогда... Но вы успокойтесь: видит бог, я вас не виню, вы не виноваты...

— Саша! ты на нас сердисься?

— Матушка, если б я на вас сердилась...

Саша начала целовать родителей.

— Ты не больна ли? не простудилась ли?

— Не знаю... я ничего не чувствую. Анна Карповна, пойдите в мою комнату...

Саша ушла в свою комнату.

— Ах, что ж это за мученье! и когда это меня бог приберет,— говорила Русина.

— Однако надо посылать письмо... дремать некогда. Эй, Карп! — кричал Русин.

Отослав письмо на почту, родители заглянули в комнату дочери. Она сидела совершенно покойно и что-то шила.

— Мне что-то скучно сделалось,— объявила Русина,— кажется, на свет не глядела бы.

— Мамаша! у меня есть к вам просьба.

— Какая?

— Мне хочется, чтоб к нам пришла Катерина сумасшедшая.

— Сумасшедшая?.. на что она тебе? — с изумлением спросила Русина,— Саша! Я что-то боюсь ее... не надела бы она чего... право, мне страшно...

— Ничего,— сказала богомолка,— она смиренная такая... я с ней вчера разговаривала. Верно, Александра Григорьевна хочет утешить ее... это доброе дело...

— Послушай, Григорий Иванович, — обратилась Русина к мужу,— ты не уходи, пожалуйста... как бы чего не случилось...

— Ну, да... у баб разве есть рассудок?

Русин плюнул и ушел. Богомолка отправилась к Катерине и вскоре привела ее с собою...

— Ты что ж это? — спросила сумасшедшая, нагибаясь к Саше и глядя ей в лицо,— об Ванюшке моем тоскуешь?..

не тужи!.. ему теперь хорошо; поп говорит: с ним ангелы... мы пойдем к нему, погоди!.. А что ж, сесть-то мне так-то можно здесь?

— Сядь, сядь.

— Ничего? — усмехаясь, спросила сумасшедшая и села.

Она пристально разглядывала богомолку и Русину, которая дрожала...

— А ведь посмотрите, — шепотом сказала богомолка хозяйке, — она будет блаженная...

Сумасшедшая с улыбкой глядела на женщин. Саша, наклонившись, сидела над шитьем и, по-видимому, старалась скрыть свое лицо.

IV

РАСПРОСЫ

Зима давно установилась. Бухгалтер с купцом, одетые в крытые сукном тулупы с высокими воротниками, подпоясанные красными кушаками, садились в просторные сани, запряженные тройкой; красный ковер украшал высокий задок саней. Кучер был лихой: трубка в зубах, зеленые рукавицы и писанный кнут за поясом.

— Прощай, жена! жди нас завтра к ночи...

— Смотрите же, ладьте! с пустыми руками не приезжайте! — кричала с крыльца купчиха.

Почему-то ей хотелось, чтобы бухгалтер не проезжал даром, а непременно *поладил*; ее интересовала невеста. Ей вспоминалась собственная молодость, как ее закалили, не дав развернуться ни одному молодому чувству.

Путники проехали безмолвно городскую улицу, вот острог, наконец — поле... Сани сразу успели наполниться снегом; ямщик начал покрикивать, давая знать, что ему дорога — свой брат.

— Теперь они уж получили письмо из Петербурга, — сказал купец.

Ямщик покуривал трубку; колокольчик то как будто слышался вдали, то вдруг отдавал путников оглушительным звоном, сообщая всей поездке какую-то торжественность, так что жениха начала охватывать маленькая робость.

Проехали с версту, купец объявил:

— Хорошо! раз еду я как-то зимою, перед самым праздником престольным, и думаю: «Надо к вечеру домой поспеть...» — знаю, что дома ждут. А пульга это, кура поднялась — свету божьего не видно. Оглянулся назад, мужик верхом скачет... поправил я лошадь в сторону да бух в яму. Иван Антоныч, вы никак приуныли? Аль робеете?

— Чего робеть? Я слушаю тебя...

— Да-с! так вот какие дела-то...

— Вот, Егор Ильич, не мешало бы нам порасспросить про невесту-то... кто ее знает, какова она? Как бы после не раскаяться! Говорят, что скромна, да девица всякая скромна. Надо узнать, не капризна ли... других пороков нет ли? Женильба вещь мудреная... надо теперь думать, после будет некогда...

— За чем же дело-то, — сказал купец, — вот заедем, пожалуй, в Корнаухово к приказчику. Он нам все распишет... А то к духовным: эти люди... Постой! да тут по дороге есть дворник, он мне кум, он и прихожанин в ихнее село... вот, вот, вот! он нам все расскажет. Потрогивай, Костя!

Сани точно плыли; копыт лошадиных не было слышно; вот глубокий овраг с занесенными снегом кустиками, в которых когда-то пели птички, бродили бабы с коробочками, поджимая ноги от козюль и веретениц, тьякали гончие, и далеко впереди их, на минуту остановившись, лисица обдумывала мудрый план своего спасения. Теперь все это казалось сном при виде высоких сугробов с острыми хребтами; где-нибудь заяц выкопал себе одинокую, фантастическую спальню, над которой с неумолкаемыми песнями пронеслась вьюга... Вот гора, и на ней поселок в два ряда; двери домов и окна выбелены снежной пылью; пронеслась кузня с лошадью в станке и кузнецом с огненною подковой. Вот и постоянный двор.

— Кум! я вижу, тебе тут ветер-то взад! — сказал купец, входя в избу, в которой сидел дворник перед кипом кредитных билетов.

— Ба, ба!.. какими судьбами? Эй, становьте самовар!

— Ни! — остановил купец дворника. — Ничего не надо... Мы на одну минуту!..

— Так нельзя! хоть водки выпьем. Эй, дайте нам сюда водки. Это кто ж с тобой? Господи! а я и не узнал! Ведь вы никак в казначействе служите. Просим милости...

садитесь. Эй, подай же нам водки! Куда это снарядились?

— Вот что! — купец понизил голос. — Ты ведь знаешь господ Русиных в Ершове?

— Как не знать? сколько раз чаем поила... и девки-то мой вхожи к ним... праздничное время, бывает, завернешь...

— Так расскажи нам про них!..

— Аль свататься хотите?

— А хоть бы и так...

— Это вот они верно... доброе дело! — говорил дворник. — Понимаю... То-то в прошлое воскресенье бабы приехали от обедни и болтают, что за кого-то сватаются... а я, признаться, в это не вхожу и так пустил мимо ушей... — Дворник вздохнул. — Что ж? барышня ничего!.. хозяйственная девушка!.. — Дворник налил водки.

— С начатием вас поздравляю: дай бог!

— Здравствуй, куманек, — сказала входящая дворничиха. — Что это, вы свататься едете за Русину никак?

— Зазевала ворона! — крикнул дворник.

— Так, так! — шепотом сказала хозяйка, — ишь ты! Что ж, кум, про невесту спрашиваешь? про невесту плохого нечего сказать... право слово... все при ней...

— А дороже всего, — присовокупил дворник, — церкви не забывает, ходит каждое воскресенье... барышня божественная! а то из их братии есть всякие...

— Постой-ко ты, — перебила дворничиха, — вот, стало быть, есть у нас по соседству барышни, прости господи... ты не бойсь знаешь их... Чураковы... так с офицерами, друг ты мой, обнявшись, среди улицы гуляют... провалиться на месте... а ведь русинская — смиренница.

— Расскажи, хозяйюшка, — начал бухгалтер, — не капризна ли она? вот чего я боюсь...

— И-и-и, нет!.. да где ей капризничать? отец у ней строгий... опять люди небогатые... ну, отец точно маленько любит выпить... пошумит когда... он с душком...

— Егор Ильич! — сказал жених, — вот отца не хвалят — выпить любит, шумит...

— А вы спросите, мать какова? Мать — дюже хороша... это все ничего... дочь сплошь рождается в мать...

— Положим, — возразил дворник, — бывают и в отцов... Я вам скажу, сударь, женитьба выходит удачей... трудно узнать человека; пословица говорит: два пуда соли

съесть с ним, тогда только его узнаешь... Жениться — все равно лошадь купить... Вон купил я третьего дня, и у знакомого человека, примерно, лошадь: глядеть на нее — и толста и хороша, а поехал на ней верст за пять — жирто весь с ней и скочил... а ее бардой кормили... сало-то на ней было не настоящее...

— Может ли невеста, например, рубашку сшить, пирог испечь? — спросил бухгалтер.

— Что твоей душе угодно, — сказала дворничиха, — сшить, огурцы солить... капусту шинковать...

— Вот это-то дорого в ней, — заметил купец, — не надо твоих тысячи рублей!

— Обапол хозяйства — девушка аккуратная! Уж известно, например, коров доить али вокруг свиней она не может: все кабысь барышня...

— Это не беда! она в городе жить будет... Кум! — начал купец, — присоветуй-ко: где нам остановиться ночевать? — у невесты? али на стороне?

— Ночевать-то?.. мне кажется, где-нибудь на стороне пригожее!.. сам знаешь — в первый раз обночлечься у невесты — не приходится... Ну-ко у вас дело-то не сладится, тогда пойдут слухи: скажут — ночевал...

— Мы, стало быть, остановимся у ихнего дьякона... Он малый простой... и меня знает... у него опять расспросим про невесту... Ну, пора!.. на дворе уж не рано...

— Как же я тебе хотел показать кобылу?

— А ты вели ее вывести к крыльцу. Я взгляну. Ну, счастливо оставаться!..

Хозяева вышли на крыльцо. Гости садились в сани.

— Девушка хорошая, — говорила дворничиха.

— А кобыла-то где?

— Да я не велел ее выводить, — сказал дворник, — дрянь — больше ничего... Поезжайте с богом... оттуда к нам милости просим! А ямщику водочки-то я и забыл... Лукерья, беги, носи сюда графин...

Кучер снял шапку, отчистил мерзлую бороду и начал пить водку.

— Константин, поддержишься! — говорил купец, — будет... как бы не захмелеть... Прощай, кум!.. Трогай, Костя! Вот, Иван Антоныч, и разузнали про девицу... видишь — все одобряют... теперь остается насчет приданого... сердце мое чувствует, что вы женитесь...

— Меня оторопь берет... положим, робеть нечего... а все думается, несется в голове-то...

— Ну, ежели ошибетесь,— заметил купец,— опять не беда; вы сами рассудите: вы все-таки мужчина: не вы у жены будете в руках, а она в ваших... Как же девушки-то выходят замуж? Замужем им не придется пикнуть, а все-таки выходят... не робеют... из жены что хочешь выделывай опосле... Не так — вот этак, не этак — вон как...

— Я из того и гонюсь, что невеста еще молода,— сказал жених,— из нее можно что-нибудь сделать... а вот на пожилой попробуй жениться... Я ни за что бы не согласился...

— Из этой вытесать все можно... а уж из той погоди! та как дерево... да и приятней жениться на молоденькой, Иван Антоныч! — купец, смеясь, толкнул жениха.— Так, что ли?

— Я, брат, об этом не думаю,— скромно сказал жених,— мне нужна душа. А скоро ли мы приедем?

— Версты три осталось...

Въехав в село, купец начал объяснять:

— Вон видите — елка большая... там живет невеста ваша, Александра Григорьевна... скоро ваша участь решится.

Путники подъехали к дьяконскому дому, окна которого завалены были хворостом, соломой и щепками: как видно, хозяин не нуждался в свете, а хлопотал только о затишье. Из сеней выглядывало полчище взрослых девиц, между которыми торчали головы ребятишек; над всей этой кучей возвышалась косматая голова хозяина и морщинистое лицо его жены с приподнятым подбородком. При оглушительном лае собак и бляении животных, ломившихся со двора в сени, гости вошли в просторную горницу, почесывая свои макушки и оглядываясь на приземистую дверь. Девицы и ребята были отправлены хозяином в кухню, исключая одной старшей дочери, которая принялась хлопотать около гостей. Она зажгла свечку, постлала на стол скатерть, предварительно встряхнувши ее несколько раз среди комнаты, так что купец поймал на своей голове несколько орехов, а жених выплюнул какую-то кашу. Хозяин в одной рубахе поджимал и почесывал свои ноги, о которые ударялись ящики комода, выдвигаемые расторопной девицей. Разгуливая по комнате, девица

то и дело вопила на родителя: «Пустите, пожалуйста, отойдите! что вертитесь?» Хозяин, переходя из угла в угол, наконец наткнулся на самовар, промчавшийся в кухню. Стены комнаты увешаны были картинами, изображавшими едущих из Новагорода бояр, головы которых торчали выше кибитки, в которой сидели бояре; в разных местах висели кринолины, юбки, ушастые шапки и перепелиные клетки. Внезапно отворилась дверь, и просунувшееся в комнату морщинистое лицо хозяйки закричало:

— Чего стоишь? Иди за кормом!

Увидав, что муж не двигается с места, хозяйка вошла в комнату, отвесила низкий поклон гостям, смиренно сказав:

— Еще здравствуйте! — и вдруг обратилась опять к мужу: — Ты пойдешь или нет?

— Там... без меня... там девки,— прижимаясь к стене, промолвил дьякон.

— Вы насчет наших лошадей хлопчете? — спросил купец.— Кормочку дайте, а отпрягать не велите... мы сейчас поедем...

— Пойдешь — или нет, говорю! — кричала дьяконица. Явилась дочь и воцарила порядок.

— Что вы кричите? разве это можно? ступайте!..

— Да как же, он не идет за кормом!

— Тятенька, вы что ж, заправду не идете?

— Там без меня есть кому... девок целая барщина,— прижимаясь к углу, твердил хозяин.

Дочь проводила мать в кухню, набитую девицами, котными овцами и какими-то старухами. В кухне хозяйка кричала:

— Девки, что ж вы не идете за кормом? Анютка, чего лежишь там?

— Что ж я одна пойду? я на реку ходила... вон Катя дома сидела...

— А молотил кто? — возразила с полатей Катя.

— Парашка, ступай ты сходи!

— Что это все Парашка да Парашка! а Аленка что делает?!

— Да... Аленка за водой ездила...—сказала с печи девица.— А Дуняшка где?

— А Дуняшка под святыми... вон где!.. А Марфушка что за барыня?

— Ну, девки! — заключила мать, — состарели вы меня!.. где веревка?.. пойду сама.

Расторопная девица пришла в кухню и объявила се-страм:

— Девки, ночевать всем здесь!.. в горнице лягут гости.

— Где ж тут ночевать? — раздались голоса.

— Где хотите: не с гостями же вместе... К Русиным жених приехал... что-то мне не показался...

— Некрасив?

— Пожилой...

— А твой хорош? — с иронией спросила одна из девиц.

— Мой — незначительное лицо, зато красив...

— Мой... как не так!.. он только куры строит. Ты думаешь, он женится на тебе?

— Это не твоя забота! — возразила старшая сестра, — твое дело вон овцу выпихни из избы...

— Разве ты не можешь выпихнуть?

— С тобой говорить-то... конечно... я не такая же, как ты... я не тебе чета!.. ты сумеешь чай разливать и с гостями обращаться?

И, не дождавшись ответа, девица запела: «Из-под дубу, из-под вязу едет тройка». Вошла мать семейства, подпоясанная веревкой, и завопила:

— Ох! ох! измучилась! перла, перла... дух загорелся! Ну, девки-лежебоки! придет время... ох, каторжные!..

Расторопная девица продолжала спокойно распевать: «Жалко мне расстаться», ушла в горницу к гостям.

Купец с бухгалтером выпили по чашке чаю и принялись чистить свои сюртуки, перевязывать галстуки и расчесывать волосы. Они попросили хозяина проводить их до Русиных, так как дорога к ним лежала через какие-то одонья и овраги, а уже стемнело на улице. Хозяин оделся в нагольный тулуп и вышел с гостями к повозке, стоявшей у крыльца. После долгих совещаний решено было отвязать из-под дуги колокольчик; время ночное, и притом жених едет к невесте в первый раз, — неловко поднимать шум на селе. Колокольчик отвязали; тройка неслышно помчалась мимо церкви, завернула на оборское гумно, спустилась в небольшой овраг и вскоре очутилась перед домом невесты.

В кухне Русиных за столом сидел кучер, приехавший с женихом. Он держал в зубах трубку и растирал ладонями табак над цветным кисетом; перед ним сидел беззубый, но еще бодрый старичок с ключами от ворот и амбаров в руках. Он был чем-то вроде старосты у барина. Перед топившеюся печкой стояла работница, отгребая в самовар уголья.

— В городе, известно, веселей супротив деревни,— лениво говорил кучер,— верно, телок-то недавно отелился?

— Другая неделя,— сказал старичок, с усмешкой глядя на привязанного в углу теленка, который подпрыгивал и задними ногами стрелял по воздуху. Старичок вдруг залился смехом: — Это он радуется...

— Обрадуешься! — говорил кучер, насыпая в трубку табак.

— Без матери веселится... Ишь! — И старичок снова закатился со смеху,— что ж ему? ни заботы, ни работы!..

— Что ж вы тут ключником, что ли? — закурив трубку, спросил кучер.

— И ключник, и староста, милый человек, и работник... ха-ха-ха... все тут!

— Все вместе?

— Все вместе! — подхватил старичок.

— Должно, бедно живете?

— Не богато! какое богатство... ха-ха-ха...

— Вы, стало быть, свою семью имеете?

— Нет, милый человек... один... есть зять... ну бог с ним!..

В избу вошла богомолка, неся графин водки и тарелку с бараниной.

— Как тебя зовут, дружок?

— Был Константин,— опустив вниз трубку, объявил кучер.

— Выпей с дорожки...

Кучер выпил.

— Ну, закуси вот!..

Богомолка ушла; кучер начал обтирать усы и бороду, приготавливаясь закусывать...

— Вот так-то лучше! — заметил старичок, радуясь

благополучию ямщика,— оно тверже будет на животе-то. Ха-ха-ха... Ишь убоинки принесла! — Старик вздохнул, наблюдая за гостем.

— Признаться, дорогой стаканчика два влетело...

— Влетело!.. жизнь!..

— Теперь все пойдет водка... вплоть, так сказать, до поста...

— А там уж будет?

— Там зубы на полку...

В ярко освещенной зале на двух столах стояла закуска, бутылки с наливками и разные лакомства. Купец с бухгалтером сидели у окон. Невеста еще не показывалась. Хозяев неприятно поразил жених, представляясь им, что он именно тот самый бухгалтер, о котором говорил купец: его угрюмый и старческий вид испугал Русиных; они почувствовали себя виновными перед дочерью; но это продолжалось недолго. Прошла минута общего молчания, и хозяева мало-помалу привели в порядок свои практические мысли. Начался разговор; смирение, с которым высказывался жених, заговорило в его пользу.

— Родители-то ваши здравствуют?

— Отец мой давно умер,— сказал жених,— матушка моя жива и получает предписанную консисторией часть.

— И она с вами не живет?

— Нет, не живет...

Русины обменялись между собою веселыми взглядами, говорившими, что невеста спасена от тещи. Жених счел нужным коснуться своих достоинств.

— В третьем году начальство обратило на меня внимание и определило в бухгалтеры. Больше всего казначей хлопотал, потому он меня любит.

— Вот видите! — сказала хозяйка,— ну кто ж вам готовит кушанье?

— А кушанье готовит кухарка.

— Прекрасно!..

— Она делает все под моим присмотром: без хозяйского глаза никак нельзя,— сказал жених.

— Справедливо!.. это уж так!..— подтвердила хозяйка,— отлучись хозяин на минуту, все пойдет шиворот-навыворот. Вы, батюшка, хорошо делаете, что во все вникаете сами... мы сами на себе испытали... Вы не поверите: собаке дать хлеба, и то надо приказать самому хозяину...

— Каждая, стало быть, былка,— ввернул купец,—

и та ждет хозяина. — Купец показал вид, что держит былку.

Внесли самовар. Явилась невеста с спокойным лицом; увидав жениха, она вдруг остановилась, как бы не веря своим глазам: видно было, что впечатление, произведенное бухгалтером, превзошло все ее ожидания. Она внимательно посмотрела на него и, бледная, села за стол, на котором кипел самовар. Родители несколько струхнули; но жених, сконфуженный появлением невесты, а еще более красотой ее, ничего не понял и стал побряхтывать, как бы запасааясь силами на решительные минуты. Купец плутовски постучал каблуком о пол. Горничная начала разносить чай.

— Ведь Иван Антоныч столяр хороший,— отрекомендовал купец жениха,— у него свои пилочки, долотцы, коловоротцы...

— Как? — спросил Русин,— и что же, например, рамы можете сделать?

— Да... я могу...

— Они что угодно... хоть сани давай — сделают...

— Вот чудеса! — воскликнул Русин и обратился к жене: — Марья Сергеевна, слышишь, какой Иван Антоныч хозяин?

— То-то и хорошо... и умно, батюшка, делаете. Этого нечего стыдиться! Пусть там говорят, что хотят. Пустые люди осудят, а умные похвалят...

— Они,— продолжал купец,— сами стекла себе вставляют, а то как же, надо жить-то!

— Что делать! — сказал жених,— это, по-видимому, безделица, а требует расходов; у нас в городе ни к чему приступа нет... особенно по мастеровой части...

Жених взглянул на невесту, надеясь польстить ее хозяйственным наклонностям, о которых он наслышался; но убитое лицо невесты, не отводившей своих глаз от чайника, заставило его призадуматься.

— Что же, Иван Антоныч, и алмазец у вас есть? — спросил Русин.

— Есть... по случаю достался.

— Алмаз необходимо иметь,— говорил хозяин,— особенно в деревне... Избави бог, разобьется стекло... хоть замерзай... Скажите, пожалуйста,— вот не знаю, как готовится замазка?

— Я вас научу,— сказал купец,— стало быть, берете вы перо... гусиное, к примеру...

— Так!

— И обмакиваете его в кипяченое масло... но лучше всего другое средство: плюнуть...

— Понимаю...

— Ежели слюна будет шипеть и кружиться, то масло готово... весь и разговор!..

Невеста вышла в другую комнату; за нею последовала мать.

— Что с тобой, Саша?

— Ничего, мамаша... я тут побуду..

— Ведь ты с нас было голову срезала: я боюсь, как бы жених не заметил... Анна Карповна, подите разлейте чай!.. Саша! — обратилась опять Русина к дочери, — я только вот что тебе хотела сказать: пожалуйста, ты при гостях будь весела! Ну, чего ты в самом деле испугалась? Или мы тебе чужие? Ведь до дела еще далеко... может, сейчас все разладится... Да ведь правду сказать: ты посмотри, какой добрый бухгалтер-то, а какой умный, какой хозяин... избави бог этого жениха упустить... на что тогда нам надеяться? Ах, Саша, Саша; измучила ты нас!..

Невеста сидела на своей кровати и ничего не отвечала; по-видимому, борьба в ней была так сильна, что она не могла выговорить слова.

— Что тут еще? — сказал вдруг сам отец, — чего она?

— Ничего!.. ступай отсюда, разговариваем между собою...

— Григорий Иванович! — шепотом вдруг заговорил купец, — пожалуйста сюда... где бы нам переговорить?

— Пойдем хоть в женину спальню... Марья Сергеевна, поди сюда к нам!

— Вот что, — шепотом начал купец, — дела на ходу... невеста понравилась... насчет приданого остается поговорить... Он сотенку уступает... уж я уговорил его.

— Что же? сколько же он хочет?

— Значит, тысячу четыреста.

— Нет, Егор Ильич, скажи ему, что нам негде взять этих денег... Вот видишь образ?..

— Свадьбу он берет на свой счет...

— Все равно, батюшка; нам сын пишет, что больше восьмисот он не может дать...

— А вы от себя-то разве ничего не дадите?

— Дадим, Егор Ильич, ничего не пожалеем, только больше двухсот не осилим, — итог, тысяча.

— Ну, продайте скотину, землю отдайте внаймы, а вы как думаете? вы думаете, это так? пошутить — дочку-то выдать? Н-не-т! Крест снимешь да отдашь...

— Егор Ильич! поди скажи жениху: не уступит ли он еще; а то, ей-богу, хоть дом продавай, хоть самих закладывай — ничего не сделаешь...

— Я поговорю... пожалуй, сотенку еще уступит, а больше — уж... просим не прогневаться...

Хозяева остались в спальне. Купец отправился в залу, в которой сидел один жених.

— Больше тысячи не могут дать... хоть зарежь... Уступи уж еще две сотни! Скости! девочка-то ангел.

— Вот что, Егор Ильич,— объявил жених,— я заметил, что невеста была что-то скучна... может быть, я ей не нравлюсь? пусть мне так и скажут... Нечего и торговаться! Я не навязываюсь... поди спроси сперва...

— Это точно!

Купец прибежал в спальню.

— Ну, как? Что бог дал?— спросили Русины.

— А вот что: велел спросить, нравится ли он невесте? Ежели, говорит, не нравлюсь,— и не надо...

— Как можно!.. нет — он нравится...

— Да надо узнать это дело повернее... подите-ко спросите дочку...

— Мы спрашивали... да изволь, я, пожалуй, схожу...

Мать пришла в комнату дочери и спросила богомолку:

— Анна Карповна, где Саша?

— Они куда-то отлучились...

— Пришлите мне ее тогда... мне ее нужно!..

— Хорошо-с! Ну что, ладится ли ваше дело?

— Не совсем еще... а уж близко...

Хозяйка пришла в спальню.

— Спрашивали?

— Спрашивала... нравится...

— Ведь мы уж тебе говорили!— подтвердил Русин,— ты ступай хлопочи насчет уступки-то.

Купец вышел. Хозяева чуть не поссорились между собою, соображая, каким образом достать денег: они назначали продать все свое сено, несколько коров и лошадей. Явился опять купец.

— Ну, теперь шабаш делу! целых триста долой! значит, готовьте тысячу сто и не говорите больше ни слова.

Он вся причина потому, что невесте быто пондравился... Так-то, Григорий Иваныч, чего задумался?

— Задумаешься, брат!— отвечал Русин.

— А как мы-то с вами были молоды? та же самая была торговля...

— Дурак кто и женится!

— Тише! жених услышит!.. уж подлинно, Григорий Иваныч: жениться— это все равно взять веревку да вон...— купец показал на потолок.— Оно перва-то манится... Пойдемте-ка выпьем за здоровье жениха и невесты.

VI

ПОИСКИ

Гости уехали. Русин стоял перед столом и осушал рюмки.

— Просватали!.. отцу — радость!.. все радость у нас!

— Будет тебе! — говорила жена, — что ты взялся пить-то?

— Без водки теперь плохо... не обдумаешь без ней ничего... я говорю одно: ведите меня на торг... Снимайте последний крест...

— Ты бы постыдился людей!.. ведь завтра же все будет известно жениху...

— Карп, где Карп? позовите мне старосту.

Вошел старичок с ключами.

— Ну, Карапуша, дело сделано...

— Слава богу!— весело сказал Карп.

— Да! сделали! теперь скотину за рога да долой со двора.

— Чтобы не мешалась!.. ха-ха-ха...— отвечал старик.

— Да!.. чтобы не мешалась... И скирды долой, все, все!.. чтобы нам с тобой просторнее было...

— А то было тесно?

— На-ко, брат, выпей.

Старик с удовольствием выпил и посмотрел на хозяйна, не поднесет ли он еще.

— Теперь в чем же дело?.. Дом продадим, все продадим, так ли, Карпуша? Останемся,— в чем матушка родила.

Хозяин сел на диван и продолжал:

— Как думаешь? кому сбыть скотину?..

Между тем в комнате невесты богомолка с испуганным лицом объявляла хозяйке, еще более испуганной:

— Помните: вы давеча спрашивали ее... с тех самых пор и не приходила... Я уж выходила и за ворота... прошла так-то около дома...

Русина в изнеможении опустилась в кресла.

— Вот что, Марья Сергеевна: вы уж не падайте духом-то пуще всего... Я боюсь, как бы Григорий Иваныч не узнал... тогда и места не найдешь...

Эти слова отрезвили Русину, и она умоляющим голосом сказала:

— Анна Карповна, пойдемте, поищем ее!

— Пожалуй... я готова, Марья Сергеевна, благо теперь ночь... никто не увидит... может быть, она где-нибудь у Поповых сидит, а впрочем, зачем ей туда?

— Где моя шубка?

— Извольте одеваться... не падайте духом, это хуже...

— Ноги мои подкосились...— Мать заплакала.— Как обухом она меня ударила... Ожидала ли я этого!

— Нам, матушка, надо выйти поосторожней, чтоб нас тут-то не заметили... Григорий Иваныч-то не спит?

— Он пьян...

Женщины прошли темные сени, потихоньку отодвинули засов и вышли на улицу. Погода стояла теплая; дул южный ветер; шел небольшой снежок; напротив села уныло шумел лес; кое-где в крестьянских избах светился огонь, но большая часть жителей покоилась мирным сном. Было около одиннадцати часов ночи.

— Анна Карповна, с час будет, как ее нету?

— Пожалуй, больше... перед тем самым временем, как вам торговаться с купцом, она ушла... а весь вечер грустная была; со мной даже не говорила; я уж боюсь, не задумала ли она чего...

— Это бог нас наказывает!..— с отчаянием воскликнула Русина.

— Я без вас хватилась ее... вышла в сени, на двор, вокруг дома прошла, так-то крикнула: «Александра Григорьевна!»; в сад пройти я побоялась да посмотрела у калитки,— не видно ли следу... следов — нету!

— Что теперь делать?

— А вот пройдемте, матушка, книзу... потом овражом вверх...

Марья Сергеевна сразу поняла богомолку, предложившую прогуляться к реке, и ничего не отвечала. Женщины пошли по торной и скользкой дороге, которая вела прямо к проруби. На полудороге Русина остановилась и сказала дрожащим голосом:

— Пройдите одни, Анна Карповна... я полагаю, не зачем ей сюда...

Спустившись на лед, Анна Карповна, прежде нежели идти к проруби, сделала несколько поворотов в сторону, желая показать Русиной, что о проруби она вовсе не думает. Русина с напряженным вниманием следила за ней, и чем дальше фигура богомолки отодвигалась, тем сильнее охватывал Русину ужас. У ней темнело в глазах, и она готова была упасть. Богомолка, наконец, приблизилась к желанному месту, взглянула в темную воду и отступила назад. Убедившись, что в воде ничего не было, она погрузила палку под лед и сказала: «Нет ничего!» В заключение она опустила палку вертикально на дно реки и нараспев крикнула:

— Марья Серге-е-е-евна?..

— Идите скорей! — отозвалась Русина.

— Все слава богу-у-у!

Наконец, отдуваясь, богомолка приблизилась к Русиной.

— Благодарение создателю... святые угодники Христовы! Александра-мученица!..

— Милая Анна Карповна! пошли вам бог здоровья! Что бы я без вас сделала?..— Марья Сергеевна поцеловала богомолку и прибавила: — Пропала бы я без вас!

Анна Карповна сделалась самоувереннее и объявила:

— Теперь пойдете дальше... не бойтесь! она просто где-нибудь сидит... ведь к мужичкам-то она ходит?

— К мужичкам ходит... вот в самом деле!.. она, пожалуй, где-нибудь в избе... а ведь что было понеслось у меня в голове-то...

— Не дай бог согрешить!..

— Я и забыла, что она любит ходить по избам... Она бывает у Коновых или у Степаниды-скотницы... Посмотрите, Анна Карповна, у Степаниды есть огонь или нету?

— Нет, кажись, не видать! да мы пойдём, где огоньки светятся...

Женщины подошли к избе, в которой светился огонь. Русина предостерегла богомолку:

— Загляните в оконце... да потише, чтоб вас не слы-

хали... а то бабы завтра же все разнесут по селу... Ну, что?

— Сидит одна баба... прядет... а на лавке мужик спит...

— Куда ж теперь идти?

— Пройдемте так-то в овраг...

— Я боюсь волков,— объявила Русина.

— Ничего, с нами крестная сила! волки, матушка, не трогают человека...

— Нет, у нас одного мужика разорвали...

— Это бог допустил; а то зверь не может ничего сделать...

И женщины шли дальше. Они миновали крестьянские дворы, гумна и кладбища с снеговыми верхушками и очутились в овраге, над которым возвышалась деревянная церковь, окруженная кладбищем. Богомолка с первого раза заметила, что близ одного могильного креста шевельнулась какая-то фигура, но постаралась уверить себя, что это померещилось; она начала разглядывать овраг, в глубине которого темнелась дорожка, пропадавшая в лесу, но какая-то сила заставляла богомолку опять взглянуть на кладбище, и вдруг она вздрогнула всем телом...

— Что с вами?— спросила Русина, держась за богомолку.

— Да воскреснет бог и расточатся врази!..

Русина взглянула на кладбище и вдруг начала падать.

— Анна Карповна! не оставляйте меня!..

— Идите скорей!..

— Не могу... спасите меня!

— Идите же...

И богомолка исчезла; Русина упала на снег.

Между тем от кладбища отделялись две фигуры... они спустились косогором на дорогу; одна из них, высокого роста, с белой головой, часто забегала вперед и размахивала руками. Богомолка, сидя под скирдом, проводила их глазами и подошла к Русинной, когда фигуры уже исчезли.

— Вставайте, Марья Сергеевна! пойдете!

— Анна Карповна, спасите меня...

— Я с вами, с вами... не бойтесь! я вас не брошу...

— Пойдете, дайте мне вашу руку... Господи! заступи, спаси и помилуй!

— Надо, матушка, читать: «Да воскреснет бог!» — учила странница.

— Да воскреснет бог и расточатся врази его! — повторила Русина.

В крайнем самом случае надо говорить: «Аллилуйя».

— Аллилуйя, ох, аллилуйя! — зачитала Русина, спотыкаясь на каждом шагу.

— Вот и хорошо! теперь авось ничего...

— Что же это такое? — робко спросила Русина, приблизившись к дому.

— Неизвестно... не нам знать, матушка...

— Долго ли так-то умереть, Анна Карповна? — воскликнула Русина, чувствуя, что в сенях уже никто не тронет ее.

В зале было темно. Хозяин храпел на весь дом. Женщины вдруг остолбенели, увидав Александру Григорьевну в своей комнате; щеки ее были красные; она снимала с себя шаль.

— Саша!

— Я, маменька! — почти весело отвечала девушка, — где вы были?

— Анна Карповна, я что-то глазам не верю.

— Что с вами? — спросила дочь.

— Где ты была?

— Гуляла.

— Александра Григорьевна! — сказала богомолка, — что ж это такое? не стыдно вам? ведь матушка ваша умерла было совсем...

— Я потом вспомнила, что вы будете беспокоиться обо мне... Я ходила с Катериной сумасшедшей на кладбище...

— Боже мой! — воскликнула богомолка, обращаясь к Русиной, — Марья Сергеевна!..

— Мы с Катериной сейчас с кладбища, — сказала Саша.

— Безумная, сумасшедшая! — завопила мать, — ты меня уродом было сделала!..

— Ну, не сердитесь на меня... простите!.. — Дочь поцеловала мать. — Мне так грустно давеча было, что я не знала, куда деваться... Я вышла на крыльцо, а Катерина идет мимо нас... она шла проведать сына... я с ней и отправилась... мне уж очень грустно было... мне как будто хотелось у этой Катерины занять сил... Ее несчастье — страшнее моего... Что же, маменька, жених уехал?

— Уехал, разумеется... Но ты что-то дрожишь? не простудилась ли?

— Ничего!.. вы только не сердитесь... я вам расскажу, что думала я на кладбище.

— Ведь ты часа три была на холоду-то?

— Не помню, мамаша!— Дочь вдруг заплакала.

— Чего ты? чего? ишь у тебя и голова-то горячая... так и есть... Анна Карповна, не поставит ли самовар? Ну, Саша! Бог тебе судья!.. не жалеешь ты матери!..

— Мамаша, простите меня!.. я рада, что вы со мною... что вы живы еще...

— Что ты говоришь?.. ты себя не помнишь?..— пристально вглядываясь в лицо дочери, спрашивала мать.

— Ах, мамаша, как мне страшно было на кладбище... Туда-то я не помню, как дошла, я ничего не сознавала, все шла, шла и не думала, куда и зачем иду... наконец, мы пришли с Катериной на могилу; Катерина все голосила, разговаривала с сыном. А вот послушайте, мамаша, что я думала: «Неужели в самом деле я так несчастна и как отверженная какая, одна среди целого мира? где ж мои родные?» И мне вдруг показалось, что как будто некому уже больше вступить за меня: родные мои все умерли, и я пришла сюда навестить их...

— Ну да,— перебила мать,— у тебя в голове-то стало путаться от простуды...

— Нет, мамаша... И мне стало страшно при этой мысли, но вдруг я вспомнила, что родители мои еще живы... и это верно, я это знаю... у меня есть мать: за меня есть кому вступить; пойду я умолять их, пока они еще живы и пока еще могу я это сделать...

— Не пойму я тебя, Саша,— отвечала Русина,— дай-ко лучше я тебя раздену.

И когда Русина наклонилась к дочери, чтоб расстегнуть ее платье, она услышала шепот:

— Матушка, пощадите меня!..

В доме было темно и царствовала тишина; все спали; все было забыто. Вот петух возвестил, что полночь миновала, и опять замолк; тот же глубокий, непробудный сон... А Русина еще не спала... Запели вторые петухи, и в окнах несколько забелелось. Вот к чему привели Русину ночные размышления: дочь — это крест, посланный небом родителям за грехи... Поступок Саши приводил ее в отчаяние, и Русина заключила: «Она, пожалуй, надеется не таких бед, поэтому надобно избавиться от ней — *за погодку!* пока еще не дошло до срамоты людской. Она

сделает и нас и себя несчастными». Русина не чаяла дожидаться света, чтоб написать третье письмо сыну с известием, что остается дело за приданым... Ей было жалко и дочь, но, сколько она ни придумывала устроить ее иначе, бухгалтер представлялся единственным спасением. «Что делать? авось привыкнет!..— думала мать,— ведь не все же по нашему желанию делается... уж, видно, жизнь так устроена!»

Когда рассвело, Русина написала в Петербург письмо такого содержания: «Милый Петенька, вчера был у нас жених, который, как мы тебе писали, очень нравится Саше... и мы порешили дело совсем... Потрудись выслать нам обещанные тобою деньги, ибо мы думаем сыграть свадьбу нынешним мясоедом. Чувствуем, что мы ограбили тебя, но что же нам делать! Вот твой отец хочет продавать скотину и весь хлеб, так как жених не соглашается взять менее 1.100 руб. Ну, это ничего; мы уж с мужем проживем как-нибудь; так вышли же нам 800 руб. На свадьбу тебя я не смею приглашать: ты в семь лет никак не соберешься к нам, все твоя служба не пускает. Остаюсь мать твоя». Русина запечатала письмо и положила его за зеркало. Она пошла проведать дочь. Саша спала крепко; мать приложила руку к ее голове; в это время богомолка, выглядывая из-под кацавейки, под которой она спала, спросила:

— Что, матушка, как здоровье Александры Григорьевны?

— Жар как будто проходит...

Русина шепнула на ухо богомолке:

— Вы не сказывайте Саше, что мы с женихом-то поладили...

— На что же!— отвечала богомолка.

Русина перекрестила дочь и ушла; богомолка оделась и через несколько минут, перебирая четками, стояла перед образом.

VII

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К СВАДЬБЕ

Однажды вечером Русин пришел откуда-то пьяный и объявил:

— Жена! А я тебе новость принес!.. вот это новость!

Русина не всегда верила пьяному мужу и, думая, что

он принес какую-нибудь деревенскую сплетню, отвечала:
— Что ж ты не поздороваешься с Анной Карповной-то? ты нынче с ней не видался... Куда как вежлив стал!

— Мы с ней вчера виделись и, бог даст, всегда увидимся. Что же? Ну, еще повидаемся. Поцелуй меня, Анна Карповна, бедная труженица, подкрепи тебя бог!.. д-да! подкрепи бог... одно: помолись за нас, грешных. Жена, слышишь, что ль? новость я тебе принес...

— Ну, что ж, говори: какая новость?..

— Ну, старуха, я знаю, что я тебе надоел... знаю... ну, гони меня куда-нибудь... Саша! дочь моя, возьми у отца палку! Анна Карповна, а? Бог не забывает нас? Вот бухгалтер сватается; чего ж нам? значит, моя дочь будет бухгалтершей? Поцелуй меня! Ну, Христос с тобою! Молись, странница, молись! Саша, поди ко мне, поцелуй, брат, меня, старика... Что делать? растил вас, поил, кормил,— и будет... теперь сами добывайте себе хлеб... Саша, поди я тебя благословлю! Будь, дочь, жива и здорова... тебе умирать еще рано... Благодарю, что выздоровела, благодарю... Нам с тобою уж не до жиру, а хоть бы до живу... а живы будем и сыты будем... Чего горевать, что денег у нас с тобою нет? Нас с тобою и без денег возьмут! На что нам с тобою богатство? мы с тобою* богаче всех... вон бухгалтер сватается, а все-таки ведь моя дочь, слава богу! ведь такой не сыщешь.

— И-и несет! и-и несет!— сказала Русина,— лег бы лучше спать...

— Ну, вот моим словам и места нет... стар стал и нехорош стал...

— Папаша, скажите нам, какая у вас новость? — спросила Саша.

— Саша! ведь ты у меня одна, брат? благодарю... что ж? ты у меня одна осталась... а ты поди-ко достань из пальто письмо... письмо! да прочитай нам вслух, а мы послушаем.— Русин сел.— Да разве у богача есть такие радости?

Саша достала письмо, взглянула на адрес и сказала:

— Это от братца...

— Знаю, знаю... — твердил Русин,— ты прочти, что он пишет... ведь сын мой? Ну, благодарю! не забывает... читай! Вот это, скажу, прямо, новость! — Русин понюхал табуку.

Саша начала читать: «Милые родители! Извещаю вас, что я получил чин коллежского асессора и, чтобы поделиться с вами радостью, на днях возьму отпуск и приеду к вам...»

— Ах, боже мой! вот радость!— вскрикнула Саша.

— Что? придет к нам?— спросила Русина.

— Да, маменька! Что ж вы удивились?

— Ты читай дальше!— говорил Русин,— говорю одно: слава богу! детьми я счастлив!.. вот это новость!

Саша продолжала: «И тем приятнее для меня будет свидание с вами, что у вас назначается в этот месяц свадьба Саши...»

Саша вдруг остановилась и спросила:

— Маменька, свадьба?

— Господи! Да или ты не знаешь? ведь ты брату писала, что жених тебе нравится... вот он и видит, что свадьба, пожалуй, скоро.

Саша молчала. У ней хлынули слезы.

— Это что такое?— вскрикнул Русин.— Все капризы у вас? Прошу дурь-то из головы выкинуть!.. д-да! отцу с матерью вы уж и так тошны! Чем бы радоваться, а она нюни распускает.

— Читай ты, ради бога!— Русина закивала Саше головою на мужа, как бы говоря: «Смотри: вот он тебе!» — Ну? — сказала она вслух, — что же еще Петенька пишет?

— Ну да! поплачь еще! у вас слезы-то нипочем... а отцу с матерью куда как приятно!..

Русина надела очки и, взяв письмо у Саши, продолжала: «Здоровье мое несколько расстроено, и, я думаю, поездка укрепит меня. Наконец-то я увижу вас; я думаю, вы очень постарели за эти семь лет...»

— Постарели, брат, постарели мы со старухой!— говорил Русин, садясь на диван.— У отца твоего седые волосы... а ты приезжай да посмотри на нас... Это ты хорошо выдумал...

— Марья Сергеевна! — спросила богомолка, — неужели Петр Григорьевич семь лет не был у вас?

— Да как же, Анна Карповна, семь лет не был... шутка сказать! Уж я его теперь не узнаю...

Русин прищурил глаз, понюхал табак и заметил:

— Каково отцу-то с матерью?

Русина читала: «Сам я очень похудел...»

— Ну, это не беда, что похудел, — бормотал Русин. — То-то... приезжай к отцу... у твоего отца денег нет, а хлеба с тебя будет...

«Я очень рад, что сестре нравится жених».

— Ты вот приезжай да устрой сестру-то... за нее вон сватался бухгалтер, — благодарю! Чего ж нам еще? Приезжай, брат, приезжай: давно пора проведать... Саша! чего, матушка, плачешь? видишь: брат скоро приедет...

— Разве слезы-то у ней покупные, — заметила мать, — уж она обрелась совсем... Вот, смотри ты, — ослепнешь...

— Анна Карповна! — сказала Саша, — не уходите от нас... поживите с нами...

— В самом деле, — подхватила Русина, — вы подождите Петеньку... вы нам поможете постряпать... ведь вы любому повару не уступите...

— Ну да! ну да! — бормотал Русин, ложась спать; — ваши бредни-то бабьи не под нужду! Саша, где моя табакерка? Подай отцу табакерку.

Женщины ушли в другую комнату. Русин рассуждал:

— Было время, отец вас поил, кормил, а теперь пора старикам на покой... А ты, сын, не оставь нас, стариков!.. Приезжай, Петя, Христос с тобою!.. пожалей отца! — слезливо говорил Русин, — будет! отпахался! пора с отца-то и хомут долой...

Между тем в комнате Саши Русина полушепотом, но энергически развивала следующую мысль:

— Отец с матерью из всех сил бьются, как бы дочку пристроить, а она только губы дует да капризничает... Что ты, графиня, что ль, какая? Ну, не выходи замуж, сиди в девках.. разве тебя принуждают? тогда не плачься на нас!.. Вот пусть брат-то приедет... Каково, Анна Карповна, ну, посудите, пожалуйста: сама же написала брату, что жених ей нравится; брат, разумеется, поверил и собирается приехать на свадьбу, а она вдруг запировала... воюет теперь!.. Ну, делай как знаешь... моей уж мочи нет: — все свое здоровье положила, кажется, на тебя... теперь как знаешь... Пусть брат сделает две тысячи верст понапрасну.

— Маменька! простите меня, не сердитесь... Я действительно виновата... во всем виновата...

— Что ж ты давеча при отце-то нюни распустила?

— Это они так... они не сообразили,— вступилась богомолка,— они теперь решились.

— Не мучь нас!— продолжала мать.— А то лучше напишем письмо брату, что вот, дескать, жених не нравится... Я говорю, что-нибудь одно скажи!..

— Маменька! не сердитесь на меня: я решилась; только я хотела спросить у вас: когда я выйду замуж, вы не забудете меня? не оставите меня?

— Ты какая-то странная: неужели у матери сердце-то каменное какое? что ты говоришь? Я без твоей просьбы, я сама не утерплю, чтобы не приехать к тебе... Да как же это можно забыть своих детей!.. Ах, глупая!..

Саша обняла мать и горячо целовала ее руки, обливая их слезами.

— Саша! Саша! неужели мы тебе лиходеи какие! Ты, кажется, знаешь, что мать-то твоя... — Русина заплакала.— Мать твоя всю свою жизнь мучилась за вас... Бог один знает, сколько я вытерпела из-за детей!..

Русина плакала, и плакали все; но никому и в голову не пришло, что мать вспоминала свои собственные страдания и скорбела о своей действительно невеселой и уже протекшей жизни.

Уладив дело с дочерью, Русина подошла к спавшему мужу.

— Григорий Иваныч! мне надо поговорить с тобой.

— Что такое?— спросил Русин.

— Уж не до сна теперь... надо торопиться... Петя того и гляди приедет... Съезди ты к дворнику: не купит ли он лошадей и коров-то? Вон мясоеду осталось всего три недели... жених обнадежен... надо хлопотать! Встань, пожалуйста... съезди!..

Русин вздохнул, какими-то испуганными глазами смотрел чрез свои ноги на стену и вдруг выговорил:

— Эх, жизнь! жизнь!..

— Съезди! пока то, пока се... надо каждой минутой дорожить... Приедет Петя и вдруг увидит, что у нас ничего не готово, что тогда делать? Вон еще надо письма писать к родным... дела пропасть...

Русин позвал к себе Карпа и объявил с каким-то унынием:

— Запряги мне лошадь... надо, брат, ехать проматывать дом!..

— Санки-то маленькие?

— Эх, брат Карп! подумаешь — так-то!..

— Тяжкое время подходит! — с участием сказал Карп.

— Какое, брат, время-то! Что жил век? дожил до седых волос, а радости не видал!..

Карп вздохнул.

— А ты тут почисть остальных лошадей-то... кормочку всей скотине придавай... неравно покупатели приедут...

— Кормную-то свинью с поросятами продавать будете или отберете каких себе на завод? — боязливо спросил старичок.

— Теперь не до завода, Карпуша! — сказала Русина, — вот что, Григорий Иванович, к свадьбе-то что зарезать?

— Что хотите! Это ваше дело!.. Вот еще водки надо, — объявил Русин. — Вот опять надо мальчонку какого-нибудь принанять — за лошадьми посмотреть, послать куда; Петя приедет, ему платье почистить...

— В Лозняковке у Егоркиных есть сиротка, — сказал старик, — пожалуй, из хлеба отдадут...

— Ну, торопись же, одевайся, — говорила хозяйка...

VIII

ДОРОГОЙ ГОСТЬ

Однажды утром Русин беседовал с купцом-сватом, приехавшим из города по делам свадьбы:

— Вчера, батюшка мой, жена видит сон: отверзаются небеса и возносятся туда наша колокольня... со звоном, нужно вам сказать. Только вдруг жена кричит: «Ах, ах!» Я слышу крик, подхожу к ней и бужу ее: «Милая, проснись!» Она проснулась и рассказывает... Ан глядь: бог радость послал... сын приехал...

— Ну, это звон-то и означает колокольчики... ведь они с колокольцем приехали-с? — спрашивал купец.

— Ка-а-к же!.. Уж тут Петя на последней станции взял курьерских.

— Ну, оно так и есть...

— Да я и сам думаю с женою: дескать, отверзтые небеса — это благодать божия, не больше! потому бог со-благоволит послать нам, наконец, и радость...

— Уж это истинно такая радость, боже мой, к примеру... вон что!

— И дослужился, брат, он теперь до чина коллеж-

ского ассессора,— рассказывал Русин.— Ведь теперь ему наши исправники, предводители нипочем...

— Нипочем?..

— Как есть!.. часы какие привез мне в подарок... анкер! тут что стало с ним и не узнаешь!.. а похудел... ну, да ведь там служба не так, как здесь... там всё министерства...

— Ведь один сынок-то ваш в гимназии?..

— Да! это младший; а я тебе рассказываю про старшего... про Петю... Он, едучи из Петербурга, взял с собой и гимназиста — отпросил у директора. А вот в самом городе, Петя рассказывал, ходят чугунки. Это в Петербурге-то!.. Как сейчас в гости ежели, сейчас чугунка... Дома там в десять этажей, в каждом этаже — можете судить?— целый город спрячется...

— Город!.. пропасть какая! — удивлялся купец.

— Целый город!

— Подумаешь, что значит...

— Да, брат. Вчера сидим мы этак за чаем, жена вдруг и говорит: «А что это словно колокольчики звенят?» Я говорю: «Ну, что ж за беда?.. проезжий какой-нибудь», а у самого сердце не на месте... уж и не сидится...

— Да, да... почувяли!

— Почуял!.. Только всей семьей выходим на крыльцо, глядим: катит тройка!.. Смотрим — кучер поворачивает к нам... что же? Петя!.. Ну уж жена обревелась, да и самого, брат, проняло... заплакал... Сам суди, сколько времени не видались... Ну, брат, и утешил же господь!.. Я и говорю: то бывают и солоны дети, а то и обрадуют... Посмотри, какой чемодан привез... ружье... все петербургское... а уж рубашки там, сюртуки, а главное мундир! Боже упаси! все бархат... кажется, от пуговиц одних ослепнешь... А вон, рассказывал он, теперь сшить сюртук, сшить... понимаешь? только сшить, стоит сколько?

— Сколько?

— Угадай!

— Чай, дорого?

— Нет, как ты думаешь? а?.. пятнадцать целковых...

— Господи! что же это?

— Да! пятнадцать целковых...

— Ничего, важно чистят...

— А портретов сколько привез! Вот поди сюда... видишь? это вот их главный начальник... вишь кресты-то...

— Ух, какой тетерев!

— А это танцорки...

— Хе-хе — ишь...

— А вот другая... эта еще ловчее.

— Анафема! что работает!.. А небойсь целые именья летят на ее артикулы-то,— решил купец.

— Потом рассказывал: «Теперь, говорит, встанешь поутру, возьмешь газету и читаешь: кто, говорит, утопился, кто удавился, иной под дышло попал, али там чердак разворочал... Боже мой! что этого всего!.. Один, говорит, извозчик засунул купчиху в прорубь... поутру глядит: она, замерзлая, стоит вверх ногами...»

— Оглашенная...

— Собаку с собой привез... аглицкая какая-то... уж и bestия! Чужой не подходи...

— Здравствуйте, Егор Ильич! — сказала входившая Русина.

— Наше вам всенижайшее, Марья Сергеевна,— кланяться приказали... к примеру, спроситься об вашем здорьеве... А еще с радостью имею честь вас поздравить... с приездом сынка вашего из Санклетербурга...

— Благодарствуйте...

— Да-с, Марья Сергеевна!— продолжал купец,— бог послал вам-с радость... то есть, кажись, мы в городе все узнали прочие... то исть истинно, вот, кажется бы, то ись... Благодарение богу, обнаковенно, пуще всего для матери, надо сказать сурприз!..

— Да, батюшка, какой молодец-то! откуда прилетел, сокол ясный... не забыл родину-то свою. — Русина отерла слезы.

— Ну, теперь что ж?— утешал хозяин,— надо радоваться,.. а не плакать...

— Это, к примеру, от радости,— сказал купец.— Как же, Григорий Иванович, я насчет дельца-то хотел полюбопытствовать...

— Марья Сергеевна,— обратился Русин к жене,— вот он приехал насчет свадьбы спросить...

— Скажите им,— объявила Русина,— что мы пришлем нарочного...

— Слушаю... Я так и доложу им...

— Кланяйтесь ему от нас...

— Главное, они с сынком-то своим потолкуют, как и что!.. Просим прощения...— Купец уехал.

— Ну, однако, я ему расписал про Петербург!.. пусть-ко он расскажет жениху. Чем-нибудь, матушка, надо брать... фальшивого с богатым не узнаешь...

Явился Петр Григорьевич в халате.

— Что, Петенька? хорошо ли выспался?— с подобострастием спросили родители.

— Откуда это у вас там дует?— садясь за стол, сказал сын.

— Это из стены, — объяснила мать.— Погоди, мы ковром завесим...

— Да и форточек у вас нет во всем доме, и как это вы живете?

Начались толки про свадьбу. Петр Григорьевич спросил Сашу, нравится ли ей жених. Она отвечала утвердительно. Русины, однако, известили сына, что жених довольно пожилой, и это не совсем понравилось Петру Григорьевичу.

IX

ПОЕЗДКА К ЖЕНИХУ

На другой день Петр Григорьевич объявил своим родителям, что он привез с собою только четыреста рублей, а на остальные даст жениху вексель. Но согласится ли на это жених? Все решили, что надо известить его об этом или лучше — проехать к нему, попросить, уговорить. Петр Григорьевич предпочитал последнее, так как предстояло еще решать вопрос, каков человек этот бухгалтер? не пьяница ли, не буян ли?

— Как же вы до сих пор еще не были у него? — спросил Петр Григорьевич.— Отдаете сестру и не знаете, за кого?

Родители не нашлись, что и сказать.

— На что это похоже? вы не чаете ли сбыть с рук сестру? Вы еще, как я вижу, не задавали себе вопроса: будет ли она счастлива? Просите только приданого, а за кого?.. ведь этого я не понимаю...

И Петр Григорьевич, взволнованный поведением родителей, стал ходить по комнате.

— Я не понимаю, что вы делаете!

— За кого же ее иначе, Петенька? Бухгалтер по крайней мере получает хорошее жалованье и человек степенный.

— Прекрасно!.. все-таки еще надо узнать, что он за птица? степенный ли он, или еще какой?..

— Ведь он Саше нравится... значит...

— А все-таки ваш долг узнать жениха как можно короче.

— Это-то правда! — согласилась мать, — но кому узнать? Сама я едва ноги таскаю, муж мой такой сидень, что ему за кого бы ни выдать!..

— Так я сам поеду! делать нечего! Как я ни устал с дороги, но, видно, опять придется трепаться... что ж, когда ни у кого из вас и за ухом не чешется!

— Нет, я сам съезжу, — сказал Русин, — зачем же тебе беспокоиться?

— Чего ж вы прежде-то смотрели? выжидали меня?.. Да и что вы поедете? как вы узнаете человека? и нашли когда узнавать жениха... Боже мой!..

— Если б ты знал девичью долю, Петенька! Ты посмотри, уж нынче никто не спрашивает, какой жених, как да что, а прямо выдают наудалую! Да и разве узнаешь его? Человека трудно узнать...

— Прикажите мне запрячь лошадь... мы с вами будем только переливать из пустого в порожнее, а дела никакого не сделаем. Далеко отсюда город?

— Верст двадцать пять придется ехать все проселком... надо запрячь лошадей цугом.

Родители советовали заехать в город сначала к знакомому купцу, бывшему однодворцу, и спросить у него про жениха. Он знает Русиных хорошо и, наверное, скажет правдивое слово. Через четверть часа у крыльца стояла пара лошадей, запряженная цугом; на облучке саней сидел Карп с длинным кнутом; Петр Григорьевич надел шубу, кликнул собаку и молча вышел из дому в сопровождении родителей, которые кричали с крыльца:

— Карп, а ты ступай поживей... не жалей лошадей — вишь, мороз-то!..

— Петенька, ты бы подвязал себе уши... простудишься... Эй, Алена, Саша, дайте платок. Петенька, погоди, уши подвяжешь!..

— Не надо!

— Как не надо?..

— Кто же уши подвязывает? Пошел, Карп!

Сани тронулись. Передняя лошадь забрала в сторону, сани раскатились.

— Ай, ай! Петенька упадет! Карп!..

— Что ты делаешь? — кричит Русин на Карпа.

Передняя лошадь успела очутиться опять близ дома.

— Она непривычна... вот что! Давно не ездила,— говорил Карп, подходя к лошади и хватая ее за узду.

Лошадей опять направили на дорогу; Русин помогал сам; но лишь только сани спустились на реку, как передняя лошадь опять устремилась в сторону и, приблизившись к ветелкам, стоявшим на валу сельского огорода, принялась ошипывать сучья. Петр Григорьевич, выведенный из терпенья неурядицей, закричал:

— Отпряги переднюю лошадь; поедem на одной... Что это за Азия такая?..

— Ишь ты колотик!— говорил Карп, отвязывая постромки,— набаловалась... давно не запрягали, вот что!..

Карп повел лошадь домой. Петр Григорьевич сидел один в санях среди реки и угрюмо посматривал на родителей, стоявших на крыльце и громко дававших наставления Карпу. Он хотел отложить поездку к жениху, но, боясь упреков своей совести, требовавшей исполнения долга в отношении сестры, решил вытерпеть все. Наконец, Карп сел на облучок и шевельнул вожжами. А между тем стоял сильный мороз, и ветер был навстречу. Петр Григорьевич сел боком; он предвидел, что двадцать пять верст проехать на таком морозе выше сил человеческих, но утешал себя опять тем, что все эти мучения он предпримет для блага своей сестры и очищения своей совести.

Путники проехали реку с островами, на которых торчал голый лозняк, до половины утопавший в снегу, несколько прорубей и водопоев с сидевшими близ них голубями, мельницу, какой-то мостик, под которым хлопал бабий валеk, и, взяв в гору, мимо небольшого леса, очутились совершенно в поле, где ветер заставил Петра Григорьевича сесть к передку задом. Сельская церковь блеснула в последний раз своими крестами и скрылась. Петр Григорьевич смотрел, как из-под жужжавших саней целым столбом летел сверкавший и искрившийся снег, занося его собаку, накрытую попоной. Туман, наконец, закрыл тусклый солнечный круг.

— Пошел, пошел, Карп! — ласково сказал Петр Григорьевич.

— Эх, мороз-то! мор-р-р-роз! — говорил Карп, отдуваясь и почмокивая на лошадь.

Сани начали спускаться вниз; дорога шла круче и круче...

— Под гору едем?

— В овраг... тут Карташев Верх... волков здесь пропасть!.. вот так мороз!.. а ведь вчера тепло было... ишь! вдруг заковало,— размышлял Карп.

— Что, охотится кто-нибудь у нас в селе?

— Кому охотиться? хромой Исаев, что скотину стережет, бывало хаживал под зайчишек в одонья... а ноне зимой что-то и не ходит... говорят, ружье сломалось... А волков ужась! Надьсь один залез к мужику на крышу... снегу нанесло под самую пелену... так волк-от по нем и забрался на крышу и высматривает оттуда овец на дворе... ха-ха-ха!.. хитер!.. глядит на овечек — какую бы унесть.. тоже есть ведь хочется... на морозе-то полежи-ко так-то...— И старик засмеялся,— захочешь и поесть... Эй, родная!

Сани окружены были со всех сторон высокими сугробами, подвигавшимися над глубоким оврагом белыми хребтами, к которым, начиная от дороги, шли снежные откосы, усеянные следами зайцев; сугробные выси незаметно сливались с пасмурным небом... кое-где из крутизны выглядывали громадные камни и песочные ямы. Сани поднялись на гору, и вдруг послышался лай собак, причем Ворон Петра Григорьевича наострил уши. Карп объявил, что пришла деревня Житовка, от которой считается до города семнадцать верст. Целый рой деревенских собак неся за санями, обнюхивая Ворона и заливаясь на разные голоса; где-нибудь у избы показывался мужик с плетушкой за плечами и долго не мог двинуться с места, разглядывая проезжих; проносились пуньки с развешанным бельем, отворенные сараи, скотный двор и гумна с стуком цепов, барская рига с черным от дыма окном и стада ворон, голубей и галок, дружно и с шумом поднимавшихся над хлебными сараями. Деревню миновали. Потянуло каким-то острым и несколько спиртовым запахом; а Карп говорил кому-то:

— Аль за бардой ездили?

— За бардой...

Сбоку зашумели возы, и проехало несколько залитых гущей бочек, над которыми поднимался пар.

— Приволье для скотины-то! — говорил Карп, — она теперь радехонька будет... Вот у нас нет поблизости заводов... а то бы и горя мало!

С обеих сторон потянулся высокий старый лес. Петр Григорьевич спросил Карпа:

— Кажется, большой лес?

— Это засека — казенная... вот проедем ее, там до города останется восемь верст.

— Деревни здесь будут?

— Нет... ни одной не будет.

— А я, брат, озяб... зуб на зуб не попаду.

— За лесом будет казарма... там можно погреться... Мор-р-роз! — отдуваясь, сказал Карп.

Боясь, как бы господский сын не отморозил себе рук или ног, Карп перестал жалеть лошадь и принялся ее погонять как следует: на ухабах он вскрикивал: «Держитесь!» Петр Григорьевич отодвигал свою спину от передка, а собака, не понимавшая предостережения, внезапно получала такой толчок, что вдруг вскакивала на все четыре ноги и смотрела на хозяина. «Куш!» — строго говорил Петр Григорьевич. Бедная собака ложилась опять, клала свою голову на лапы и грустно смотрела в сторону, как бы рассуждая: «Дорога представляет большие неудобства, но для меня они особенно нестерпимы: я лежу кое-как, истинно по-собачьи. За что же на меня сердиться? это явная несправедливость».

Петр Григорьевич чувствовал, как холодная дрожь пробегала по его спине, охватывая грудь, а ноги как будто лишились осязания; он не чаял доехать до казармы.

Он начал рассматривать лес, в котором со свистом пролетали синицы, осыпая с сучьев пушистый снег. Одна и та же картина разворачивалась перед его глазами несколько верст; он уж перестал ждать казармы; в мыслях его возникала его родная семья, образ его сестры, но этот образ как-то холодно отразился в душе Петра Григорьевича; тем не менее он рассуждал не без чувства: «Я замечаю, что сестра идет замуж поневоле... но что же я могу сделать? взять ее жизнь на свою ответственность? легко сказать!..» «Да что такое любовь? — вдруг задал себе вопрос Петр Григорьевич, чувствуя опять на спине и груди холодные мурашки, — она, как нежное растение, хороша в теплице; в нищете да в холоде она не зацветет... в простом народе нет этой любви, потому что в избу валит

снег из щелей... Впрочем, почему знать? может быть, бухгалтер и хороший человек... С своей стороны, я делаю все, что только от меня зависит...» Эй, Карп, что, скоро?

— Вот и казарма,— сказал Карп, въезжая на какой-то высокий бугор. Вдруг сани ухнули вниз, так что собака с растопыренными ногами навалилась на хозяина, и сани явились на развалившемся дворе. Петр Григорьевич вошел в просторную избу, в которой бегали ягнята, а перед печкой стояла баба, постукивая кулаком в горячий хлеб; на печи кряхтела старуха. Ягнята, увидев собаку, мгновенно выстроились в ряд, а сидевшие под хорами куры, высунув головы в отверстия досок, принялись кудахтать. Из сеней вошла в избу девица, держа в руках совок снега; она нагнулась к хорам и начала рассыпать снег перед отверстиями; куры принялись за дело, постукивая клювом друг друга. Петухи принялись петь, протяжно выводя горластые рулады.

Рассматривая беспорядок в избе, грязный земляной пол, чад по всей избе, Петр Григорьевич никак не мог согласиться, что здесь жили такие же люди, как он. Ему даже ни с кем не хотелось говорить; хозяев казармы он ставил не выше животных. А на самом деле было вовсе не так; эти люди были полны своей внутренней жизни и не так рабски зависели от окружающей их обстановки, как захавший к ним петербуржец, привыкший поддерживать чистым полом, сияющею мебелью, пышными занавесками свое душевное расположение, готовое изменяться с переменой погоды и выговором начальника.

Петр Григорьевич закурил папиросу. Вошел Карп, постукивая лаптями.

— Где ж хозяин-то ваш?

— В обход пошел... по засеке...

— А небойсь у вас тут пропасть волков в засеке-то?

— Немало... каждый день видим... а ночью так и гудут.

— Не боитесь так-то?

— Чего бояться?.. с прибавком десять лет живем, ничего, помилуй бог, не было... Известно, скотину запираем.

— А небойсь скучно вам здесь?

— Сначала, как поступили сюда, было скучно без привычки... Везде, добрый человек, жить можно, был бы хлеб, да, примерно, чем-нибудь не разоряли бы...

— Точно... хлеб вестимо... экая стыдь на дворе... Хлеб первое дело...

— Зато летом хорошо,— сказала девица,— налетят разные птицы.

— Летом разгуляться есть где,— подхватил Карп. — Что же это у вас молодые баранчики-то?

— Молодые...

— Важно!— ухмыляясь на ягнят, евших в корыте овес, замечал Карп.— Ишь брухаются. Ха-ха-ха! это значит,— обратился Карп к Петру Григорьевичу с пояснением,— рожки-то у них чешутся, они и брухаются... Вот, вот!— заключил Карп, покатываясь со смеху на сражавшихся ягнят.— А далеко от вас до города?

— Считают, верст девять...

— Поедем, Карп,— сказал Петр Григорьевич,— к вечеру домой надо оборотить...

— Вряд ли мы, Петр Григорьевич, оборотим... чай, уж обеда на дворе... пока доедем, пока у жениха посидите, глядь и вечер...

Садясь в сани, Петр Григорьевич сказал Карпу:

— А славная девчонка в избе-то, а?

Карп покрывал ему ноги.

— Ничего — девочка! — говорит Карп, а сам между тем думает: «Вот что значит отогреться!»

Опять дорога. Лес миновал. Во все стороны расстиралось белое поле.

— Как это только живут здесь! — воскликнул Петр Григорьевич.

— Жить с чего нельзя? — заметил Карп,— вон, вишь, напекли себе хлеба, небойсь убоина есть... Солдаты в засеках живут исправно... Чего ему хотеть? Сыт, доволен...

Не доезжая пяти верст до города, Петр Григорьевич снова начал жаловаться на холод; к тому же он чувствовал такую пустоту в желудке, что боялся, как бы не умереть среди снежных пустынь. Он уже начал браниться, что не согласился на предложение отца, который хотел сам ехать к жениху: «Пусть бы и ехал... я-то чем виноват?»

— Погоняй, погоняй! — кричал Петр Григорьевич. «А то комфорт,— думал он,— комфорт первое дело... что тут значат вопросы любви? вот я умираю с холода и голода... пойдет тут на ум любовь?.. Прежде думай о теп-

лом угле... да!..» — Между тем Петр Григорьевич растирал руки и сильно ворочал ногами, подпихивая их под собаку. — Теперь бы чаю выпить... водки... Да погоняй, Карп!

— Я и то уж из всей мочи...

Петр Григорьевич начал сердиться; воображение, рисовавшее ему кипящий самовар, теплую комнату, выводило его из себя; ему вдруг представилось, что он замерзает, и он закричал:

— Ради бога, пошел!

Но вот, слава богу, острог показался, выглянула и церковная колокольня.

— Что же, заедете к знакомому купцу спросить про жениха-то? — спросил Карп.

— Не надо! Валяй прямо к жениху. Эти купцы начнут еще коверкаться... креститься... Валяй к бухгалтеру... Я его сам увижу... мне не привыкать узнавать людей. А главное — у него скорее подадут самовар... он все-таки с понятием...

— Я не знаю, где живет он.

— Ступай вон к крайнему дому, спроси.

Карп подъехал к дому и постучался в окно.

— Скорей, пожалуйста... ну, зайди туда...

— Да заперта калитка.

— Стучи в окно!

Наконец, вышла какая-то женщина.

— Чего расстучались?

— Сударыня, где живет бухгалтер?

— Доезжайте книзу, две улицы проедете, поверните влево, а там опять книзу и опять влево... а впрочем, никак вправо...

— Да что же это такое? вы сами не знаете, где он живет?

— Ведь я вам говорю...

— Да что вы говорите? вы говорите вздор... пошел, Карп!

— Ишь какой приехал! — надув губы, сказала женщина и, привязывая одну ставню, прибавила: — Тебе сказывают!

Путники ехали по улице книзу; с одного постоянного двора бежала свинья, за которой неся в полушубке парень в картузе.

— Позвольте узнать: где живет бухгалтер?

— А вы чьи?— вдруг останавливаясь и едва переводя дух, спросил парень,— откуда вы?

— Вам на что?

— Ну, и вам нечего у меня спрашивать. Эй, Ванька, лови, лови ее,— кричит парень.

— Экий народ! ступай к лавке, спроси у купца.

Подъехав к лавке, Карп снял шапку и смиренно подошел к лестнице.

— Что тебе, любезный?— спросил купец, явившись на лестнице.

— Вот барин спрашивает...

Купец подошел к саням и свернул в сторону свой картуз.

— Где живет бухгалтер?

— А вы сами дальние?

— Дальние...

— Куда ж изволите проезжать?

— Да сюда еду...

— Верно, по делам? Гм!— рассматривая путника, продолжал купец,— возьмите вы сейчас влево, там придет как раз солдатская швальня, тут повернете вправо и прямо-таки уткнетесь в церковь... Только, примером, церковь вы отбросьте, и тут угловой дом... дикенькой... собака у вас французской породы?

— Французской... благодарю!..

— Счастливо!..

— Вот народ-то! — сказал Петр Григорьевич.

Ж

ЗНАКОМСТВО

Сани въехали в пустынную улицу с разломанными заборами, кузницами и кривобокими домами, подпертыми бревнами; на середине улицы встречались огромные камни и стада собак, влево расстилались огороды и виднелось открытое поле, где под самым небом темнели кирпичные сараи. Впереди возвышалась старинная церковь; подле нее стоял низенький продолговатый дом, в котором жил бухгалтер.

Сани въехали на двор в сопровождении работницы и коровы, с изумлением глядевшей на собаку и, по-видимому, намеревавшейся посадить ее на рога.

На крыльце появилась купчиха, она раскланивалась с Петром Григорьевичем.

— Иван Антоныч дома?

— Нет-с, они еще из казначейства не приходили. Вы не братец ли Александры Григорьевны?

— Да, я сын Русиных!.. приехал из Петербурга...

— Понимаю, понимаю... Василиса! беги скорей в казначейство... скажи: скорей пожалуйста!.. скажи: приехали гости!..

Петр Григорьевич и купчиха вошли в теплую и чистую квартиру бухгалтера.

— Я ихняя хозяйка... они у нас на квартире стоят...

— Вы чиновница?

— Мы купцы... торговлей занимаемся... муж-то мой уехал торговать.

— Позвольте вас попросить стащить с меня шубу... я так издрог, что у меня руки не действуют вовсе...

— Извольте! никак холодно на дворе-то.

— Не могу ли я у вас попросить чаю?.. как ваше имя, отчество?

— Анна Ивановна.

— Анна Ивановна! не могу ли я выпить чаю? Я просто чуть жив...

— Ах, помилуйте! сию минуту.

Купчиха пошла в кухню и, вытряхая самовар, крикнула:

— Сестрица ваша здорова ли?

— Слава богу...

— Родители ваши — папаша, мамаша?

— Ничего...

— Ну, слава богу...

Петр Григорьевич, постукивая ногами и потирая руки, начал рассматривать квартиру жениха; везде была опрятность и чистота: на белом некрашеном полу лежали попоны; мебель была вся одного цвета, под орех; под образами лежали библия и святцы; на стенах висели портреты митрополитов, архиереев и протоиереев; перед окнами на полу стояли растения в банках. Петр Григорьевич заглянул в соседнюю комнату, в которой висела гитара, закрывавшая «казака, ехавшего за Дунай»; у кровати стояли новые сапоги, накрытые платком от пыли. Петр Григорьевич взглянул на кровать с двумя парами подушек, накрытую ваточным цветным одеялом, и опять принялся

ходить по комнате. Купчиха ушла в свою половину. Маленькие стенные часы бойко стучали на всю квартиру. Петр Григорьевич хотел посмотреть в окно, но, кроме инея на стеклах, ничего не увидел. Он сел. Тишина стояла мертвая; где-то за стеной иногда глухо выдвигался комод, потом хлопала ручка, и опять все становилось тихо, как в гробу... Петр Григорьевич стал прислушиваться к окнам, не заскрипят ли чьи-нибудь шаги, но не было слышно, чтоб кто-нибудь по улице ехал или шел. «Да и кому тут ехать или идти?—вспомнил Петр Григорьевич,—дávеча во всем городе попалося три или четыре человека, а тут улица глухая, близ поля». Ему представилась церковь на этой улице, пустыри... «Лапландия!—подумал он,—что будет здесь делать сестра? Дома будет сидеть, вот так, как я теперь сижу... муж целый день в казначействе... ни звука, ни голоса... К обедне иногда пойдет... читать будет? но что читать?» И он обернул свою голову к образам, где лежала библия со святцами... «В самом деле, что ж еще читать? тут ни одной другой книги нет... Может быть, в этом комодe заперты? Впрочем, зачем запираить книги в комод? Что ж она будет делать? Сидеть, вязать, шить... А голову чем займет?.. Будет вспоминать в этой тиши—село, отца с матерью, поля родные...» И Петру Григорьевичу вдруг сделалось жутко и страшно: квартира бухгалтера с этою тишиною и двуспальною кроватью показалась ему подземельем. Но он вдруг вспомнил свою дорогу на лютom морозе, и теплая, опрятная квартира жениха опять выглянула веселее. «Да и почему я все хочу представить в печальном виде? На самом деле, я иззяб и проголодался... Все может пойти иначе: они могут любить друг друга; верно, тут будут у них знакомые... а насчет книг... я, пожалуй, сам буду им высылать сюда... Главное, хорошая квартира... они не будут знать нужды,—это много значит». Петр Григорьевич задумался, и ему вдруг представился кипучий Петербург, с его вечерами, театрами и Невским проспектом... квартира бухгалтера снова преобразилась в подземелье. «Ну, что же? —сообщал Петр Григорьевич,—ведь у них свои интересы... сестра все время жила в деревне, не везти же ее в Петербург? Теперь ей поздно — ей девятнадцать лет... Да и что может дать ей Петербург? на какую дорогу ступит она там? будет ли она там счастлива? Да, наконец, в чем заключается счастье?..» С последним вопросом Петр Гри-

горьевич никак не мог сладить, а между тем желудок сильно напоминал ему о закуске. — Что же это он не идет! — вслух сказал Петр Григорьевич, опять расхаживая по комнате. — Нет, что ни говори, материальные удобства — первое дело... — на любовь Петр Григорьевич начал смотреть даже несколько подозрительно.

Наконец, явился и бухгалтер. Он молча снял в передней галоши, шубу, утерся платком и вступил в комнату.

— Честь имею представиться!

Хозяин и гость пожали друг другу руки.

Петр Григорьевич до того сробел, осмотрев бухгалтера, что ему пришла в голову мысль приказать Карпу запрягать лошадей и ехать скорее домой. Он долго не мог опомниться; своим замешательством и неловкостью он походил в глазах бухгалтера на совершенного провинциала, — так поразил его угрюмый, пожилой и безобразный хозяин. Его вдруг озарила мысль: «Да не сам ли это казначей, а бухгалтеру, видно, некогда», — и он спросил хозяина:

— Позвольте узнать, ведь вы в казначействе служите?

— Так точно... бухгалтером.

— Вы бухгалтерскую должность занимаете?

— Да-с.

— А, хорошая должность, — заключил Петр Григорьевич, внутренне соображая: «Что теперь делать? Назад ехать невозможно... да, впрочем, посижу... и тогда... после можно будет отказать ему...» Эта мысль значительно подкрепила Петра Григорьевича, и он еще повторил: — Должность хорошая, не правда ли?

— Должность, можно сказать, вторая по казначею...

— Вот что, Иван Антоныч: я очень озяб... я уж, извините, без вас тут распорядился насчет самовара.

— Помилуйте, это вы хорошо сделали...

— Еще вот что: есть у вас в городе гостиница?

— Нет-с... у нас есть харчевня, а гостиницы нету... у нас бедный город...

— Но в этой харчевне можно все-таки что-нибудь спросить закусить?

— То есть вы насчет своего кучера? Об этом вы не беспокойтесь, его здесь у меня накурмят...

— Я уж, признаться, и сам бы спросил себе что-нибудь там...

— Где? в харчевне?.. Ах, помилуйте... вы меня обижаете... Да разве я... Нет, вы меня обижаете... Харчевня... там одни мужики... там, помилуйте... Разве я не в состоянии...

— Хорошо, я согласен; позвольте спросить: когда вы будете обедать?

— Да как придется: иногда, если присутствие долго продолжается, то в пять, а иногда в четыре.

— Так, значит, до обеда еще... теперь всего час...

— Вам нечего ждать обеда! признаться, и обед у меня сегодня кое-какой... постный... Позвольте спросить,— сказал бухгалтер,— вы... не изволите... употреблять скромное?..

— С удовольствием.

Бухгалтер отправился в спальню, вытащил из-под кровати сундук, зазвенел ключами, и вдруг на всю квартиру раздался звон замка... Хозяин долго перебирал какие-то бумаги, платя, закрывал сундук, опять открывал, и в конце концов зазвенела серебряная мелочь... Бухгалтер торопливо отправился в кухню, и вскоре послышался шепот:

— К Коньякову; а то у Швыряева...

— Четверть фунта?..

— Да еще колбасы.

Купчиха подала самовар и вышла. Бухгалтер начал заваривать чай, спрашивая у Петра Григорьевича про здоровье Александры Григорьевны.

Петр Григорьевич, мешая ложечкой третий стакан чаю, чувствовал себя хорошо; лицо его горело, в голове слегка шумела водка, и он забыл все дорожные неприятности. Но иногда, среди этого забытья, мысль о сестре теснила ему грудь, и он глубоко вздыхал...

На столе приветливо стояли закуска и графин водки; на особом столе кипел самовар; Петру Григорьевичу вообще было как-то приятно-грустно, и он выпил еще водки.

— Послушайте, Иван Антоныч, поговоримте... я хотел у вас спросить: почему вы обратили внимание на мою сестру?

— Помилуйте, я знаю их как прекрасную девицу...

— Ну, послушайте: выпейте водки... отчего вы не пьете?

— Не пью-с... и не пил никогда... не к чему и привыкать!

— Вот что! — Петр Григорьевич замялся и почти шепотом проговорил, — вы человек уже пожилой... извините за нескромный вопрос: дают ли вам право жениться на молодой девушке ваши лета?

— Вы также меня извините, — сказал бухгалтер, — по моему мнению, не лета дают право на женитьбу...

— А что же?

— Сердце... — Бухгалтер помолчал. — Ведь вы не скажете, сколько лет моему сердцу и старо ли оно?

— Это, конечно... но уверены ли вы, что вы друга будете любить?

— Ведь это дело божье... Только одно вам могу сказать: истинная любовь основывается не на красоте и не на молодости, а на душевных качествах! Впрочем, я ведь не набиваюсь, Петр Григорьевич... мне понравилась ваша сестрица, и я ей понравился — вот и все... А если б мне сказали, что я вашей сестрице противен, то я бы и не посмел беспокоить ваше семейство... Тут дело любовное... С их стороны, вижу, есть согласие...

Петр Григорьевич ничего на это не мог возразить. Бухгалтер вдруг спросил:

— Вы, что же, приехали, стало быть, сказать, что вы не желаете... то есть...

Петр Григорьевич растерялся. Он никак не мог решить за свою сестру, выходить ли ей за бухгалтера, или нет? и поторопился ответить:

— Я приехал к вам совсем по другому делу.

— Гм...

— Я приехал спросить, не можете ли вы согласиться на такие условия: четыреста рублей вы получите от меня, триста — от родителей, а на остальные я вам дам вексель.

У Петра Григорьевича таилась мысль, что все-таки жениху можно будет отказать.

— Извольте!.. Даже и векселя не нужно... Вы мне перед самой свадьбой напишите простую расписку, только были бы свидетели... теперь суды стали хорошие! Я согласен...

— Позвольте засвидетельствовать вам мое почтение, — наконец, объявил Петр Григорьевич.

— Припоздаете вы. Если угодно, останьтесь у меня ночевать.

— Нет! мне надо ехать...

— Так как же, позвольте узнать, насчет свадьбы... когда же? Мясоеда осталось менее двух недель... теперь идет пестрая, а там и всеедная... Надо бы поторопиться,— говорил бухгалтер.

— Вас известим мы... Нарочного пришлем... завтра или послезавтра.

В передней Карп объявил:

— Петр Григорьевич, а овсеца-то лошади?

— Разве она ничего не ела?

— Поела сенца, известно.

— Ну, скорей запрягай!..

— Мы вашего кучера накормили,— говорил бухгалтер, провожая гостя.

Проводив Петра Григорьевича, бухгалтер осторожно прибрал закуску и водку в шкаф и спросил себе обедать. Работница подала ему постные щи и кашу. Помолившись богу, он сказал работнице:

— Оставь к завтраму...

Он снял сюртук, надел халат и взял гитару.

Вошла купчиха.

— Что? как?

— Еще неизвестно... Вот пришлют ответ.

— А я вам забыла сказать: Аграфена сказывала, что Оболдуевы соглашаются на полторы тысячи...

— Пюгодите: сперва что Русины скажут. Оболдуева не уйдет и после рождества.

Купчиха ушла.

В комнату спустились уже сумерки. Фигура бухгалтера неподвижно сидела в углу.

ХІ

ЗАБЛУДИЛИСЬ

А путники были уже за городом; стоял густой туман; приближалась ночь. Отъехав от города не более версты, ничего нельзя было видеть ни впереди, ни с боков, и путники точно плыли где-то в облаках; только иногда из-под самой почти лошади вылетало стадо овсянок и мгновенно исчезало. Петр Григорьевич думал о женихе. Ему казалось, что он еще у него в квартире и самовар еще шумит; угрюмый хозяин подозрительно смотрит на него; вообще

бухгалтер ничего доброго не предвещал... Петр Григорьевич начал придумывать, как бы отказать жениху, не компрометируя сестры; он видел, что ей предстоит пропасть...

Рассуждая о судьбе сестры, Петр Григорьевич вдруг заметил, что с обеих сторон саней снуют какие-то вешки с пучками соломы, и он припомнил, что прежде этих вешек, кажется, не было. Он обратился за объяснением к Карпу:

— Какие это вешки, Карп?

— А это ставят, чтоб ночью не заблудились... бывает иной раз метель, кура... пульга...

— Ведь их, кажется, прежде не было?

— Нет, они были, только словно пореже...

— Так ты не помнишь?

— Что-то забыл, и то... Дорога будто эта самая..

Карп остановил лошадь и сказал задумчиво:

— Да ведь что же? почитай верст пять отъехали... авось бог... да, она, эта самая дорога...

— Ты помнишь ли?

— Я помню... она словно...

Подумали, подумали, посмотрели назад и вперед, не едет ли кто-нибудь, чтоб спросить настоящую дорогу; но никого не было видно. Где-то в стороне крякнул ворон, махая крыльями; продрогшая после поту лошадь порывалась вперед; собака держала морду на ветер. Наконец, решили ехать дальше.

— Благо, дорога торная, не собьешься,— сказал Карп.

Поехали, ожидая, что вот покажется засека; но засеки все не было; пришел какой-то овраг с мостиком, чего прежде вовсе не было; с этим согласился и Карп.

— А ведь, кажись, не туда,— остановив лошадь и ощупывая кнутом мост, говорил Карп.— Что за притча? да чтой-то и вешки-то пропали...

— Поворачивай назад! Ты меня заморозить хочешь?— сказал Петр Григорьевич.

— Да куда поворачивать-то?.. Уж по расчету верст десять отмахнули... Пока опять доедешь до города, уж спать лягут... опять где же там ночевать? Давеча кормочку лошади и то пожалели... а я у них видел овес... вот что...

— Ну, что ж ты теперь думаешь делать?

— На взлобок сейчас поднимемся; может, деревня близко... а то десять верст понапрасну уехать... опять же в деревне блачисливей... хоть кормочку можно достать и самим поужинать...

Петр Григорьевич согласился ехать до деревни, тем более что в городе ночевать было вовсе не у кого, а у бухгалтера ему не хотелось. Вытянув гору, путники заметили, что впереди чернелось что-то, вероятно деревня; вот слышались чьи-то голоса... и вдруг, вместо деревни, они наехали на большой обоз, пересекавший проселочную дорогу. Толпа мужиков громко разговаривала.

— Эй, земляки!— крикнул Карп,— какая это дорога?

— Аль не знаешь? на Елец!

— Что ж, большак, что ль?

— Большак...

— Вот тебе на! А до деревни тут далеко?

— Верст девять будет!

— Я тебе говорил с самого начала воротиться... не послушался... ну вот теперь и думай!.. Сиди среди поля...— Петра Григорьевича охватил ужас, и он вдруг подумал: «Вот тебе рыцарская поездка из-за любви к меньшей братье».— Карп! спроси у них, нет ли тут кабака, что ль, какого?

— Эй, земляк, кабак здесь далеко?

— Ступай назад, с версту, не больше...

— Создатель батюшка!— садясь, говорил Карп,— и что это значит?— Карп отплюнулся.— Это грех...

— Ну, какой же ты кучер, когда не знаешь дороги? а?

— Да то-то я маленько давеча не разглядел: там от острога идут две дороги: одна направо, другая налево... тьфу!— Карп перекрестился и ласково отнесся к лошади,— но! матушка!

— Чего ж ты смотрел, выезжая из города-то?

— Да то-то, Петр Григорьич, глазами-то я уж стал плох... не довижу... как ночь, так и бог знает что мерещится...

— Каково!— воскликнул Петр Григорьевич,— дали мне слепого старика!.. вот это хорошо!.. Я ездил, хлопочи, давай деньги... и вот!..

— Знамо, года мои немаленькие,— объяснил Карп.

— Ведь я тоже человек,— рассуждал Петр Григорьевич,— ну, ведь я замерзнуть могу!..

Приехали к кабаку; вызвали целовальника.

— Позвольте спросить,— сказал Петр Григорьевич,— как тут проехать в село Иваново?

— Вы далеко забрали, вам надо ехать на Жмыховку, а там засекой... ступайте вот прямо мимо кабака...

— Не можете ли вы дать нам провожатого? я вам заплачу.

— Некого-с! я бы с удовольствием!.. один с женой сижу... работник уехал в город... Да вы чего робеете? вот извольте сейчас прямо... и все прямо так себе и поезжайте...— сиделец показывал рукою за кабак,— и потом влево. Там верста или того меньше будет до засеки... тут сшибиться нельзя.

— А ночевать у вас нельзя?

— Негде-с; извольте видеть, двора у меня нет; а своя лошадь стоит в сенцах... Поверьте мне, опáсаться нечего... тут дорога торная. Известно уж, если ехать, так ехать, а то к полночи, пожалуй, и занесет дорогу.

Путники тронулись. Проехали версту, другую; было так темно, что, только свесивши голову с саней, можно было разглядеть дорогу, перемежавшуюся поперечными наносами снега. Петр Григорьевич чувствовал, что он начинает зябнуть. Скорбь его удвоилась при мысли о родителях, наградивших его слепым кучером. В его глазах, напряженно смотревших в ночную мглу, иногда светились огненные круги; ему начало представляться, как, бы не нагнал разбойник или не напали волки... и он часто оглядывался назад; вдруг ему показалось, что слева по чистому полю бежит что-то и прямо на него.

— Карп, Карп!— закричал Петр Григорьевич,— нет ли у нас палки?

— Что такое?— спросил Карп.

— Волк бежит! давай кнут!..— Петр Григорьевич встал на ноги, держа наготове кнут.— Ноги клади в сани...— И вдруг Петр Григорьевич закричал во всю мочь: Лю-лю-лю!.. у-у-лю... держи-и-и!

Карп забрался с ногами в сани, крепко держа лошадь.

Собака, слышав крик, вскочила и принялась лаять...

— Карп! не пускай собаку! держи ее!..

Но вдруг Петр Григорьевич замолк: его изумило, что животное, по мере приближения к саням, все делалось меньше и меньше... и, наконец, он увидал катившийся лук соломы; солома пронеслась через дорогу, и Петр Григорьевич, сконфуженный, опустился в сани... Карп зачмокал губами на лошадь и сказал:

— Это, видно, солома пролетела...

— Мне показалось, что волк.

— Нет... это где-нибудь с вешки сорвало.

Петр Григорьевич очень устыдился своей трусости и мысленно читал себе наставления. «Впрочем, ведь я без всякой защиты... ни дубины, ни пистолета», — оправдывался он. Он нашел и опровержение: «А как же мужики-то ездят без всяких дубин и пистолетов, даже спят себе?..»

ХИ

РЕШЕНИЕ ДЕЛА

В тот же день около четырех часов вечера подъехал к дому Русиных возок, запряженный тройкою лошадей. Все семейство Русиных, даже вся прислуга стояли на крыльце, встречая гостей. Приехала старшая дочь Русиных с мужем и маленькими детьми. Елизавета Григорьевна, закутанная шальями, держа под салопом грудного младенца, целовалась с родителями; из возка, при помощи приезжей горничной и богомолки, высыпали узлы, шарфы, шубы, детские картузы и сами дети, руководимые своим отцом. Картина, от которой веяло грустным торжеством предстоящей свадьбы, заставляла Русиных и Елизавету Григорьевну плакать.

Весь дом оживился расспросами, поцелуями, хлопотами. Елизавету Григорьевну с детьми поместили на теплой лежанке в маленькой комнате, куда стеклись все родные. Павел Титыч, зять Русиных, рассказывал про свою поездку: где ночевали, где кормили, когда выехали. Богомолка распоряжалась самоваром.

— Где же брат, Петя? — спрашивала Елизавета Григорьевна.

— Поехал к жениху, — отвечала мать, — боюсь, как бы не запоздал... Григорий Иваныч! пока не смерклось, не послать ли нам кого навстречу Петеньке?

— Зачем же? если он замешкается у бухгалтера, то и останется у него ночевать... куда он ночью поедет?

— Ну, что? сладили дельце? — весело спрашивал зять.

— Сладили, брат! почти всю скотину распродали...

— Ничего! обростете! Вам надо всем святым молебень отслужить, что Петр Григорыч приехал...

— А вот мне так-то не помогал братец, как я вышла замуж! — сказала обиженным тоном Елизавета Григорьевна.

— Да ведь Петенька еще не был тогда на службе,— заметила мать.— А у меня что в голове-то, Лизочка: поехал Петя к жениху... боюсь, как бы не расстроил все дело... Как увидит, что жених пожилой да некрасивый, вдруг и заупрямится.

— И-и, что вы!

— Чего доброго! он — человек молодой, горячий... скажет: вы насильно выдаете Сашу... Вот чего я боюсь...

— Да ведь Саше он нравится? ему какое дело?

— Саша, поди сюда!— сказала Русина. Саша подошла, держа на руках мальчика.— Ты, пожалуйста, как придет Петенька, скажи, что ты идешь замуж с удовольствием... и будь весела...

— Я ему уже говорила,— спокойно отвечала невеста.

— Да все-таки... пожалуй, он опять будет тебя спрашивать... ты так и скажи напрямки.

— Уж теперь все кончено!— сказала Саша, бессознательно держа ручонку своего племянника.

— Может быть, ты нам не сказываешь, что у тебя есть на сердце,— выпытывала мать,— ты теперь скажи, Саша, как бы не вышло неприятностей.

— Неужели, мамаша, вы заметили во мне хитрость? Я вам сказала, что иду за бухгалтера... и сказала искренно... Я теперь одумалась: что я в самом деле за особа, что заставляю думать о себе столько людей? Чем виноваты вы и папаша, что день и ночь страдаете обо мне? Чем виноват братец, Петя, который тратит на меня свои трудовые деньги, ездит, мерзнет из-за меня? Все бьются из-за меня, а я сижу дома; я даже вовсе не стою этого Ивана Антоныча... он всю жизнь трудился, потом наживал себе состояние. Что я перед ним? Всю свою жизнь я только ела чужой хлеб... мучила других...

— Ну вот, умница!— тронутая чистосердечием дочери, сказала Русина,— поцелуй меня, Сашенька; все вы мне жалки, все больны...— и Русина приложила к глазам платок.

— Маменька,— утешала Лиза,— сколько слез вы на своем веку пролили... ваше здоровье плохое... вы видите, как бог милостив к нам: я пристроена, Саша выходит за бухгалтера, за человека с состоянием, Петя братец — ассессором и вас не забывает... Ильюша в гимназии... Каксывы детки-то у вас?! Надо радоваться...

— Это правда, совершенная правда! — согласилась

Русина, — я счастливая мать. Ну, что же, Лизочка, пойдем чай пить!

— Пожалуйста, — говорила богомолка.

— Вот, бог дал, и собрались все детки, — сказал Русин, осматривая всю компанию за столом, — благодарение богу... вот уже и внучата есть, дедушку приехали проведать. — Русин со слезами обнял зятя, поцеловал и сказал: — Спасибо, брат, что приехал! и тебе, Лиза, спасибо, что не забываешь отца, пока живы старики... Придет время, и нас не будет, и не к кому будет приехать... — Русин перекрестился. — Слава богу!..

— Я боюсь, как бы Петенька не заблудился... — сказала Русина.

— Да что, они разве маленькие с Карпом-то?.. Можно будет — поедут, а нельзя — останутся ночевать... как это у вас на уме: заблудился... еще что?

— Вы как поживаете, Илья Григорьич, в университет думаете? — спрашивал зять.

— В университет, — сказал гимназист.

— Ну, это как хочет Петя, — объявил Русин, — возьмется тебя содержать — так, а не возьмется — на отца не надейся! у меня от твоей гимназии шея болит. — Отец пощупал свою шею.

— Да я не прошу вас содержать меня в Петербурге, — сухо отвечал гимназист.

— Да, да! как знаешь там! вот от дочерей не опомнишься.

— Ну, будет вам, — перебил зять, — дело родное, авось сойдется как-нибудь... Как в деревне время проводите, Илья Григорьич?

— Так себе, с Антошкой горы поливаем, катаемся...

— Они, брат, тут с Антошкой собак запрягают, — сказал хозяин зятю, — взяли моего кобеля и по селу каждый день на нем разъезжают... сшили ему сбрую, хомут... все как следует...

— А Ванечка-то как вырос, — любовался Русин на своего внука, — дедушку своего помнишь? — спрашивал он мальчика.

— Помнишь? — повторяли родные.

— Ванечка, скажи, не бойся...

— Кто ж вам будет шить белье-то, платье-то к свадьбе?

— Насчет белья попросим дьяконовых дочерей, а

платье — съездить надо за портнихой в Куракино. Вот повара еще надо к свадьбе.

— Хлопот полон рот! — сказал зять.

Вечер прошел незаметно; когда все легли было спать, горничная вдруг объявила, что Петр Григорьевич приехал.

Саша дрогнула и, бледная, соскочила с постели; явился Петр Григорьевич. Вся семья, кое-как одетая, окружила его в зале.

— Помогите снять, — с трудом выговорил Петр Григорьевич.

Все так и ахнули, глядя на бледное и понурое лицо Петра Григорьевича; когда стащили с него шубу, — он, не говоря ни слова и шатаясь, поплелся в свою комнату.

— Петенька, не отморозил ли ты нос?

— Не растереть ли тебя спиртом?

Петр Григорьевич никому ничего не отвечал и лег на свою кровать; ни одного слова не могли добиться от него. Сам отец снимал с него сапоги, сюртук. Пока шли растирания рук и ног при помощи горничных, Русин и зять отправились в кухню расспросить Карпа о случившемся несчастии; но прежде, нежели могли чего-нибудь добиться от него, нашли необходимым поднести ему несколько стаканов водки и отправить на полати. В кухне стоял какой-то солдат. Все обратились к нему.

— Ты откуда?

— Из Ивановской казармы... я с вашим сынком приехал. Мы, стало быть, хотели ужинать, — рассказывал солдат, — а ваш сынок вдруг стучится в окно... вошли они в избу белее снегу... вижу, дело не ладно! тут это они поотогрелись маленько и просят меня, чтобы я проводил их... я подпрег к ним свою лошадь и проводил...

— Спасибо, служба... Эко несчастье!

Поутру, лежа в постели, Петр Григорьевич уныло объявил своим родителям:

— Вот вам мои деньги... еще я напишу расписку... поступайте, как знаете. Я, с своей стороны, сделал все, что мог, как видели, — замерз было...

Он сказал, что жениха должны они известить скорее, желают ли они иметь с ним дело, или нет.

— Ты не сердись ли на нас? — спрашивала мать.

— Я не сержусь; но только прошу вас оставить меня в покое... получайте деньги и делайте с ними, что хотите... Это уж не мое дело. Как брат, я исполнил свой долг.

— Послушай, Петенька,— ведь Саше нравится бухгалтер...

— Мне-то какое дело? Я-то что тут?.. нравится — и очень рад.

— Ты, голубчик, может быть, думаешь..

— Ничего я не думаю... я свое дело сделал... дал вам денег и замерз было!.. вот и все!..

В это время вбежали в комнату маленькие дети; они громко хохотали и не знали пределов своей радости, держа за хвост собаку Петра Григорьевича; за ними шла мать с грудным младенцем.

— Послушай, Лиза,— печально сказал Петр Григорьевич,— я знаю, дети для матери вещь приятная, но ведь они портят собаку, которая стоит двести рублей; я не пойму никак, почему здесь всем кажется, что моя собака простая дворняжка... орелка какая-нибудь.

— Они играют, братец!..

Петр Григорьевич молча обернулся к стене.

Русины и Лизавета Григорьевна начали обдумывать, как бы устроить так, чтобы дети не прикасались к собаке. Они решились запереть их в особую комнату и вообще желали поскорей устроить свадьбу.

ХІІІ

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Получив деньги, Русины немедленно послали нарочного к бухгалтеру с письмом, а Карпа послали за швеей и поваром; оставалось пригласить дьяконовых дочерей шить белье; за ними вызвался сходить гимназист; он взял с собою крестьянского мальчику Антошку, нанятого к свадьбе; на улице гимназист сел в салазки и сказал:

— Вези меня, Антошка; поедем к дьякону, знаешь что? ты, брат, пока я здесь, должен развиться и понять, что ты такой же человек, как и все... теперь крепостного права нет!.. э-эй!.. потрогива-ай! — кричал гимназист, въезжая на гору, и продолжал наставлять Антошку... — Теперь вот какое время пришло,— нигде не велено драться..

— Илья Григорьевич, не вывезу!

— Ну-ну-ну!.. битюцкая! — покрикивал гимназист, хлопывая арапником.

Битюцкая привезла, наконец, гимназиста к дьякону. Опять полчище девиц выглядывало из сеней и шептало:

— Барчук, барчук!..

— Маменька!— кричала расторопная девица, спроваживая свою мать в кухню,— ишь на вас хорохоры-то!.. Уйдите с глаз долой!..

Девица провела гимназиста в горницу.

— А я за вами приехал, Акулина Прокофьевна; возмите с собою сестриц и пожалуйте к нам шить.

— С удовольствием, Илья Григорьич!

— Что ж, когда будет образование?

— На этой неделе.

Акулина Прокофьевна позвала из кухни двух сестер, и девицы начали одеваться за дощатой перегородкой, разделявшей горницу.

— К вам Лизавета Григорьевна приехала?— кричала из-за перегородки Акулина Прокофьевна, шурша платьем.

— Приехало народу много,— хлопая арапником, говорил гимназист.

— Что ж, Александре Григорьевне нравится жених-то?

— Не знаю.

Девицы наперерыв спрашивали гимназиста.

— Что ж, много платьев-то даете за сестрицею?

— Музыка будет на свадьбе?

— Александра Григорьевна не тоскует по родительском доме?

Гимназист вышел на улицу и сказал:

— Ну, Антошка, запрягайся, вези опять!

— Илья Григорьич, я уморился...

К счастью Антошки, гимназист увидел на улице своего кучера, который вез повара с портнихою; кучер довез гимназиста до дому. Повар был пожилой плотный мужчина с красным носом и небритою бородою. В доме Русина встретили его почти с благоговением, как знатока своего дела: он приехал со всеми поварскими принадлежностями: ножами, жестяными формами, фартуками и пр. Осведомившись о здоровье каждого члена семейства, повар спросил себе водки.

— Честь имею поздравить с радостью... желаю Александре Григорьевне счастья и всякого благополучия.— Повар выпил и сел.— Позвольте узнать, какая у вас провизия?..

— Провизия, Иван Андреич,— сказала Русина,— свинина, например, гуси, куры...

— Вообще домашняя птица. Еще что?

— Поросята... потроха.

— Так-с! Позвольте мне рюмочку. С наступающим торжеством имею честь поздравить... Так гусей мы погоним на жаркое... поросенка на заливное... а баранчики есть?

— Как же-с...

— Значит, поросенок холодный, гусь жаркой, кур в суп и пирог... свинина для расхода... бычка нету?

— Нет... всех продали, Иван Андреевич.

— Так одолжите мне рюмочку!.. Мы сделаем свиные котлеты и бараньи... Насчет фрикасе как?

— Уж как вы хотите...

— Это можно. У вас, я полагаю, два будет стола? Один для чистой публики, а другой — расхожий?

— Да, Иван Андреич, два стола...

— Позвольте мне еще рюмочку. С радостью вас имею честь поздравить! Ну, как ваш сынок из Петербурга? не скучает в деревне?

— Ничего! Он ушел на охоту...

— А пороша есть... Вот кабы они зайчика нам убили к столу. Я забыл у вас спросить, сколько персон у вас будет?

Хозяева задумались... Повар воскликнул:

— Позвольте мне рюмочку... С наступающим торжеством... Персон двадцать будет?

— Да! персон, пожалуй, двадцать...

— Обручение будет после образования?

— Да, на другой день!

— Теперь понимаю! Так прикажите принести провизию в кухню... Я займусь...

Хозяева еще поднесли повару водки, и он, зарядив нос табаком, отправился в кухню, куда принесены были вороха уток, гусей и поросят. У двери стояла туша, на которую поглядывал повар, подвязывая фартук. При помощи кучеров он взвалил ее на лавку и начал рубить топором, крича: «Не зацепить бы кого!.. отойдите!»

Настал день «образования». С раннего утра все металось как угорелые; среди сеней висел баран, головою вниз; в кухне раздавался стук ножей и топоров; кричали

куры и поросята; кипели котлы в раскаленной добела печке. В комнатах барского дома примеривали платья и плакали. Торопились поскорее сыграть свадьбу, между прочим, и потому, что Петр Григорьевич порывался в Петербург, уверяя, что ему пора на службу. Ему не хотелось быть на свадьбе; но его убедили родители, что брату не быть на свадьбе сестры неприлично: «Что скажут соседи? да и для всех родных кровная обида». Петр Григорьевич, не желая видеть суматох и приготовлений к свадьбе, разъезжал по соседям-помещикам; что-то непонятное для него самого щемило его сердце, хотя он каждую минуту оправдывал себя тем, что как брат он сделал все, что только от него зависело...

Вот и вечер. Дом Русиных был ярко освещен; на стенах горели старинные бра. Дом набит был народом; приехали некоторые помещики с женами; на улице у окон, в сенях, в передней толпились дворовые, бабы и мужики. Приехал, наконец, жених с купцом и своею матерью. Священник давно уже сидел в переднем углу в цветной рясе. Когда все было готово, Русин каким-то упавшим голосом спросил жену:

— Что же, Марья Сергеевна, не пора ли?

— Что ж?— сказала Русина, и ее сердце сжалось; она обратилась к Саше, наряженной в белое платье, и сказала:— Пора, матушка...— Слезы душили ее.

— Я готова,— сказала Саша; но, увидав слезы матери, она едва могла унять свои.

Петр Григорьевич сидел грустный в углу залы, рядом с каким-то помещиком.

Невеста вышла в залу.

— Прикажете начать? — спросил священник.

— Да, батюшка.

Священник надел епитрахиль и приготовлялся сделать возглас. Невеста стала рядом с женихом. Наступило мертвое молчание. Все чувствовали, что с возгласом священника кончится все! Невеста стоит на роковом рубеже, через который сейчас и переступит. Несколько странным показалось родным невесты, что Саша стоит рядом с каким-то пожилым и чужим мужчиной. Все, однако, знали, что это не шутка: одна только минута, и уже будет поздно спасти ее; но все стояли неподвижно, как заколдованные... Вот священник сделал возглас, и клир запел: «Царю небесный...»

Все родные упали на колени, проливая слезы... родители начали благословлять невесту.

— Ну, дочь, будь над тобою родительское благословение.

— Прощай, прощай, Сашенька!..

Саша крепко целовала отца, мать, своего брата-благодетеля; ей не хотелось, по-видимому, выпустить никого из своих объятий, но из ее объятий всякий хотел освободиться, как бы соображая известную истину: «Жаль нам тебя, но не как себя».

Вдруг в комнату вбежала сумасшедшая баба и закричала:

— Что вы делаете? Ванюшку моего хороните? Помните его... Давайте крышку... я понесу...

Сумасшедшая навела на всех неописанный страх. Петр Григорьевич закричал:

— Выведите ее!..

— Она сумасшедшая,— сказала Русина,— у ней сын умер...

Петр Григорьевич перебил:

— Все равно!

— Милый Петенька, не обижайте ее,— вскрикнула Саша,— она несчастная... Для меня, ради нынешнего дня, не трогайте ее!..

Петр Григорьевич, обиженный, ушел в свою комнату. А между тем ничего не было удивительного, что «образование» его сестры напомнило сумасшедшей похороны.

КАТЕРИНА

В крестьянской избе под образами лежал молодой парень с закрытыми глазами. Подле него стояла толпа народа. Слышался тихий шепот и сдержанные рыдания.

— Митревна, не засветить ли свечку у образа-то: может, полегче будет его душеньке...

Кто-то стал раздувать уголь; к образу поднесла восковую свечку с заплаканным лицом мать больного. Все перекрестились.

— Незымы горит...

— Ишь, касатка, ручки-то сложил, словно отходит!

— Кончается ровно...

Вскоре в избу вошел священник. Толпа расступилась; все поочередно стали подходить под благословенье.

— Давно болен-то? — спрашивал священник.

— Две недели, кормилец, — сказала хозяйка, — отнял у меня господь мужа, теперь отнимает сына...

— Не ропщи, Катерина: не сетуй на бога... что выше нас, о том мы не смеем размышлять...

— Уж известно...

— Смертный час не в нашей воле! может быть, из среды, здесь предстоящей, кого-нибудь завтра не будет...

— Знамо, завтра не будет, — согласилась толпа женщин, поддерживая руками свои подбородки.

— Выдьте в сени!

Бабы поплелись вон из избы; осталась одна мать больного.

Через день больной скончался. В избе, в сенях и на улице толпился народ. Причетники пели панихиды. Мать

покойного, Катерина, усердно молилась богу, делая земные поклоны.

Когда запели *вечную память*, Катерина упала на пол. По приказанию священника ее вынесли на улицу.

Катерина лежала на улице, окруженная любопытными.

— Смотри, смотри... встает...

— Катеринушка! поди, милая, в избу...

— Зачем?— испуганно спросила Катерина.

— Там твой сынок... ведь его скоро понесут...

— Где ж твой Ванюшка-то?

— Какой Ванюшка?!

— Сынок-то... сынок-то твой.

— Ишь! ведь она помешалась.

— Ведь заправду, милая моя...

Катерина слушала этот приговор с изумлением. У ней не хватило сил отвечать толпе, но она думала: «Неужели заправду я помешалась? про какого Ваню они говорят?..»

Она сделала усилие встать, ей пособили и повели под руки в сени. В избе уже кончилось все; покойника вынесли на двор, и за ним вышел весь народ. Катерину подвели к гробу.

— Видишь, Катеринушка? вон он лежит...

— Какой же это такой?— говорила Катерина, разглядывая покойника,— это словно монах какой... весь в белом.

Катерина сдернула покрывало и, увидав лицо своего сына, принялась целовать его. Потом обратилась к народу:

— Ну, что же вы стоите?

Она подняла на голову крышку и пошла со двора, за ней понесли гроб.

Катерина торопливо шла по деревне, часто оглядываясь назад, несут ли ее сына? Мужикам и бабам, стоявшим у своих ворот, она говорила:

— Прощайте, добрые люди; поминайте моего Ванюшку.

— Ах, братец ты мой!— твердили мужики, покачивая головами.

— Рехнулась, слышь...

Катерина слышала все это и думала: «За что же они называют меня сумасшедшею? Чем же я рехнулась? Я все помню... идем мы в церковь... вон Ванюшку несут... вон сосед Петр... Савельевна... и не грех вам называть меня

так? Я помню, как Савельевна приносила больному Ванюшке яблочка...»

Процессия приблизилась к церкви; крышку и носилки поставили на паперти.

В церкви причт, одетый в черные ризы, пел погребальные песни. Катерина сидела на скамеечке у гроба, обняв его рукой; ей очень нравилось, что все молятся о ее сыне и как следует провожают его на тот свет... А причетники гели громогласно: «Пла-ачу и рыдаю...» Катерина приветливо смотрела на баб, утиравших свои слезы...

Священник, по-видимому тронутый картиной несчастья, сказал мирянам речь, что сумасшедшая мать и покойник сын — пути великого промысла.

С тех пор как похоронили сына, Катерина сделалась особенно богомольной и не пропускала ни одной церковной службы. Она часто беседовала с священником, который объяснял ей, где теперь ее сын.

Была лунная осенняя ночь; петухи возвещали уже рассвет. Катерина в своей избе собиралась к заутрени. Обутая в новые лапотки, она завернула в белый платок свечку и вышла на улицу... В некоторых избах горели утренние огни... Пропели последние петухи, и на востоке начали обозначаться розовые полосы... Месяц бледнел...

Катерина явилась в дом священника.

— Пора вставать...— говорила она, расхаживая по комнате,— а я уж Ванюшку своего провела...

— Доброе дело...

— Ну, собирайся... а я дьячкам велю благовестить.

В церкви горели огни... благовест кончился... В алтаре шумели ризы, в которые облачались церковнослужители... в трапезной раздавались шаги церковного старосты; в углу в белом платочке стояла сумасшедшая.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ТЕАТР

В имени землевладельца Бирюкова заведен строгий порядок; сады и леса окопаны глубокими канавами; на пограничных межах и близ так называемых живых урочищ стоят столбы с надписью: «Строго воспрещается ловить рыбу, купаться, стрелять, а также пускать скот...» Рабочие по звонку отправляются на работу и садятся за стол. Каждая лошадь получает известную порцию с весу. Караульным даны трещотки, свистки и хорошие дубины. С закатом солнца из сарая выпускается десятка два меделянских собак, которые на расстоянии версты чувят икры постороннего человека. Господская контора с утра до ночи занята письмоводством и отправкою рапортов, донесений, просьб и объявлений. Все эти деловые бумаги пишутся так:

Рапорт за № 1235

«Препровождая вашему высокоблагородию вязанку сучьев, наломанных неизвестным человеком в карнауховской лощине, контора имеет честь известить, что с ее стороны приняты строжайшие меры для отыскания преступника. Подозрение падает на крестьянина деревни Оборвышей Егора Савельева, возвратившегося означенного числа домой неизвестно откуда поздно вечером; в это время господские собаки громко заливались, устремляясь всей стаей — в вышеозначенную лощину, в которой и найдена вязанка сучьев».

Объявление за №...

«Сегодняшнего числа в глухую полночь разразилась страшная буря, раскрывшая у многих крестьян дома, а в

барском саду повредившая несколько яблонь, причем садовник видел из своего шалаша два огненных столба на небе».

Рапорт за №...

«Июня 20 дня рано утром на господском яровом хлебе поймана крестьянская лошадь и загнана в сарай для поступлений с ней по закону. Но в ночь на 21 июня означенная лошадь внезапно издохла. Несмотря на это, контора отправила ее к мировому судье, вместе с хозяином, которому она принадлежала».

Если к Бирюкову приезжал гость, что случалось редко, то прежде, нежели отпустить его лошадям корму, контора писала барину: «По случаю приезда господина Зацепляева на паре собственных лошадей контора просит ваше высокоблагородие сделать милостивое распоряжение о выдаче полпуда сена и полмеры овса».

Подобных дел набиралось так много, что барин не успевал подписывать решения вовремя, и резолюция насчет корму лошадей приехавшего гостя делалась через неделю, когда гость давным-давно был дома и ругал Бирюкова анафемой, скрягой и пр.

В один зимний вечер Бирюков сидел за чайным столом с сельским старшиной и священником, беседуя с ними о «новых временах». Очевидно, беседа не могла быть веселою, тем более что в трубе пронзительно гудел ветер, а на улице на разные голоса завывали собаки.

— Не понимаю, отчего это у нас не учат как следует прихожан? — говорил барин, подливая в свой стакан рому, — везде идет такое воровство, такая распушенность, что остается бросить имение и бежать куда глаза глядят. Вот только того и ждешь, что придут к тебе в дом, оберут всего и пустят в чем мать родила. Третьего дня у меня украли пудов пять сена; у помещика Заплетаева двух лошадей свели; у Стеляева из погреба утащили горшок масла и ковригу хлеба... Ведь это значит, последние времена пришли! Точно живешь где-нибудь в Туркестане, а не в благоустроенном государстве. А все отчего? Оттого, что мужик стал такой же барин: ударить его не смей, ругать тоже... Вот он и знать ничего не хочет... Воля пришла!..

— Конечно, все это от невежества, — заметил священник, разглаживая свою длинную бороду.

— Так я и говорю,— подхватил барин,— что народ этот надобно учить, почаще говорить ему проповеди.

— В запрошлую седмицу... — начал было священник.

— Позвольте! Да ведь как учить надо? Чему учить? Его надо учить уважать чужую собственность... Привести ему разительные примеры, что воровать ни под каким видом не должно... вот что! ведь мошенничество дошло до того, что один в Петербурге писатель сочинил для театра пьесу, где всю Россию называет вором... да! вот до чего дошло! Этот писатель говорит: русский человек на одно только способен: воровать, красть — больше ничего! Совершенно верно! Конечно, о дворянах нельзя этого сказать; но все другие сословия — поголовные воры, особенно крестьяне... Я, признаться, сам сочинил недавно пьеску, только народную, для мужиков,— доказываю, что чужая собственность священна... Мне хотелось дать эту пьесу в каретном сарае: собрать мужиков и разыграть ее перед ними...

— А ведь мысль хорошая!—сказал священник,— богатая мысль! Главное, тут можно доказать наглядно, что воровство — порок! вот что дорого!

— Это что ж такое?—спросил вдруг старшина, с недоумением поглядывая на барина.

— Это, видишь ли, театр, то есть зрелище... Тут, например, ты увидишь настоящего вора...

— Настоящего?

— Да! все вживе представится... вор ли, разбойник ли... как на самом деле...

— Понимаю!—сказал старшина,—стало быть, теперь поймают вора и что же — наказывать будут?

— Видишь, тут актер вместо вора...

Старшина задумался.

— Да он этого не понимает,—сказал барин,— это не его ума дело! Разве он видал когда-нибудь театр? А вот как посмотрит, тогда и поймет, что значит воровство...

— Да-с! мысль, признаюсь, глубокая!

— Позвольте! да что же иначе остается делать? Бить нынче никого нельзя, а об образовании народа никто не думает. Судиться с вором у мирового судьи нет никакой возможности: во-первых, с вора взятки гладки, он гол как сокол; а во-вторых, только понапрасну потеряешь время на судебные процессы... Одно остается: вразумлять этот народ, и мы первые обязаны об этом думать. Пастырь

духовный должен влиять на мужиков посредством проповедей, старшина — посредством внушений и строгого надзора за порядком. Я, как помещик, лишен всего: в прежнее время я знал бы, что делать... А теперь... теперь... поневоле придется (конечно, от нечего делать) думать о народном театре, хотя я не знаю, осуществится ли мой план...

В это время вошла барыня и, поздоровавшись с сидевшими, села за стол.

— Вы о театре говорили?— спросила она, наливая себе чаю.

— Так точно, сударыня. Я одобряю это намерение.

— А я Павлу Карпычу не советую затевать пустяков. Ну, скажите, пожалуйста, разве мужик пойдет в театр?

— Отчего же?— спросил барин,— да вот старшина может им приказать, ну, водки им купить, как-нибудь завлечь...

— А расходы-то? Ты этого не считаешь?

— Какие расходы? — возразил барин.

— Разумеется!.. Надо заказать декорации, приготовить костюмы...

— Что ты говоришь, мой друг? может ли тут идти речь о декорациях? Ведь это народный театр... повесил какую-нибудь шкуру — вот тебе и декорация.

— Ну, а занавес?

— Неужели ты думаешь, что я буду заказывать и занавес? Напротив: тут положительно ничего не надо! повесил, например, веретъе, вот тебе и занавес. Опять дело в сущности, а не в обстановке...

— Не знаю!— объявила барыня и задумалась.

— Прекрасно! Ну, что же теперь прикажешь делать? что, я спрашиваю? Вот посмотри, доживем до того, что заберутся в наш дом, ограбят и даже убьют...

— Помилуй бог!— сказал старшина.— Это вы, Павел Карпыч, напрасно сумляетесь...

— Я о себе не думаю,— продолжал барин,— мне жить остается немного... Я готов хоть завтра предстать пред престол всевышнего... но... мне жалко детей! Что с ними-то будет? посудите сами. Не бежать же им в самом деле из своего родового имения...

— Я, Павел Карпыч,— объявил старшина,— как начальник, значит, буду из всех сил заботиться об обра-

зовании мужиков. Соберу сходку и скажу: «Дурачье вы! аль вы угорели! разве можно воровством заниматься?» Вот какое дело! Вы это останьтесь без сумления. Ведь уж я как пойду учить, так держись шапка! Я баловать не люблю! У меня строго насчет воровства.

— Да! — сказал помещик, — вы всё так-то говорите... а дела не делаете... Сколько раз я тебе, старшина, приказывал: учи мужиков, ругай их!

— Да ведь я и то учу! и то ругаю! перед истинным богом, стараюсь! Неужели ж я не понимаю своей обязанности? И то кажыдён кричишь им: «Сиволапые!.. чтоб вам пусто было! разве, мол, смеете таскать барское сено? разве оно для вас накладено! необразованные скоты!» — «Мы, говорят, дай бог провалиться, не трогали...» Как есть, ничего не поделаешь с этим народом.

Старшина развел руками.

— Меня одно утешает, — заметил помещик, — это ваше усердие, решимость действовать на народ... Итак, я надеюсь, что вы по мере ваших сил...

— Помилуйте... то есть себя не пожалеем.

— Не извольте сумлеваться, — добавил старшина.

Барин приободрился и повеселел...

— Так как же вы находите мою мысль?

— Мысль ничего! Конечно, затруднение будет насчет актеров.

— Актеров я найду! Вот у меня, например, земский: малый расторопный; вашего сына приглашу... Он вора сыграет...

— Это ему нипочем! Он театральную-то часть понимает... Только роль вора ему не давайте... всепокорнейше вас прошу... потому соблазн...

— Ну, хорошо. Я ему дам роль гнома... Только ему придется поучиться ходить на ходулях...

— Что ж? это можно! Позвольте спросить: стало быть, вы уже сочинили пьесу?

— Она почти готова! придется некоторые места распространить, усилить монологи, закончить характеры. Положим, если и не придется ее сыграть здесь, я все-таки отправлю ее в газету «Весть». Там с удовольствием отпечатают. И я шутя напал на эту мысль. Сижу раз и думаю: «Чем бы уничтожить воровство? Устроить машину такую вроде капкана — неловко: пожалуй, вор ногу сломает, тогда отвечай за него! Наказывать розгами нельзя...

штрафы бесполезны... Одно средство остается: образование... Но ведь народных школ у нас нет...» Как-то однажды пробегаю газету, смотрю, там говорится о народных театрах... я и схватился за эту мысль... Да в один вечер и обдумал план пьесы... А разве прочитать вам мое произведение?

— Сделайте одолжение... это очень любопытно...

— Последнее действие ты уже кончил?— спросила барыня.

— Давно! даже эпилог прибавил...

— Так прочти...

— В самом деле! пусть и старшина послушает! ведь он не имеет никакого понятия о театре... Эй! Василий! — крикнул барин лакею, — зажги в кабинете лампу... Вы, господа, не требуйте многого от моего сочинения... Во-первых, я пишу в первый раз, признаться вынужденный к тому обстоятельствами; во-вторых, пьеса только набросана вчерне... Но что ни говори, а театры для народа необходимы: они могли бы, как справедливо замечают газеты, заменить кабаки и уничтожить пьянство. Разумеется, надо давать пьесы поучительные, с назиданием, что, дескать, воровать не следует, надо уважать старших, повиноваться начальникам...

— Пожалуйте, господа! — поднимаясь, объявил помещик, — старшина! иди и ты! Меня интересует твое мнение, потому пьеса назначается для мужиков.

— Нам не пригоже, — конфузливо заметил старшина, поглаживая свою бороду.

— Ничего! иди! — сказала помещица, — про воров послушать тебе необходимо...

Старшина загромыхал сапогами...

Пришедши в кабинет, он помолился образам и сказал:

— Еще здравствуйте!

— Садись... бери стул!

— Предупреждаю вас, господа, — начал помещик, — сочинение мое только набросано, и я лишь познакомлю вас с планом, с скелетом будущей драмы, которая назначается для мужиков. Я не литератор, не владею искусно пером, — тем не менее строго и неуклонно держусь правды и принципов собственности. Вы увидите, что я хорошо знаком с бытом, для которого назначается сочинение: это, по-моему, самое главное. Наконец, повторяю, что

берусь за перо, единственно вынужденный к тому обстоятельством — мне жаль детей своих...

— Не подать ли тебе воды?— спросила жена.

— Хорошо! Итак, приступим к чтению.

Барин надел очки и начал:

В О Р

Драма в трех действиях с эпилогом

Действующие лица: Аким, Матрена, странница, гном, писарь и др.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Ночь. Внутренность крестьянской избы. Слабо мерцает лучина. Слышится вой ветра.

Аким (*с полатей*). Что ж, ужинать-то будем?

Матрена. Какой там ужин? печку не топили. Гложь вон хлеб... Да скоро хлеба-то не будет...

Станница (*с печи*). А все по нашим грехам... старших не почитаем, начальства ослушаемся...

Матрена. Известно... (*Акиму*.) Что ты лежишь как пень? Аль не видишь, сколько снега в избу навалило? Скоро померзнем все!..

Аким. Что ж теперь делать?

Матрена. Аль не знаешь? Ступай добывай дров!

Аким. Где я их добуду?

Матрена. Вестимо, в барском лесу... опричи где же! у барина лесу много!

Аким (*злбно*). Недаром говорится: баба — тот же сатана: ишь ведь что задумала? воровать господский лес! Тьфу! окаянная! Чем бы мужа отвести от греха, а она вон что!

Матрена. Ну и лежи когда так! вон у ребяток одежды нет: посинели, как галчата... да и все померзнем, должно быть!

Станница. А все сами виноваты... Есть песня такая, нищая братия поет: «Мы божьего читанья не слышали, заутреню просыпали, леность нас одолела...» — вот какое дело!

Матрена. Ох! Это все правду ты говоришь, божья странница... Как же теперь быть-то? Ведь уж так пришло плохо, просто деваться некуда: изба раскрыта, скотина с голоду померла. *(Плачет.)*

Странница. Терпеть надо, милая моя!..

Матрена. Господи! мороз какой! *(Закутывается в веретве.)*

Странница. Мороз оттого, что скоро придут Спиридоны повороты... а вот наступит весна, тогда тепло будет: прилетят разные птицы из-за синя моря... расцветут цветы разные... *(Помолчав.)* Ишь у вас и изба-то не конопачена: снег на печку летит...

Матрена. Погибли мы, окаянные!

Аким *(сердито)*. Будет вам молоть околесную-то, спали бы!

Матрена. Разве заснешь на этаком холоде?..

Лучина гаснет. Женщины засыпают, Аким слезает с полатей и ищет топор.

Аким *(один, в темноте)*. Что теперь делать? *(Стоит неподвижно среди избы.)* Неужели воровать? Господи, подкрепи меня! разве можно чужое добро трогать? Ну, а если поймают? что тогда? какими глазами я буду смотреть на добрых людей? Скажут: «Аким вор!» — а там посадят в сибирку! *(Задумывается.)* Странница правду говорит: «Терпи!» — да ведь уже терпел довольно! *(Воеет ветер, Аким дрожит.)* Эх, какой холод! Неужели и завтра так же будет?.. Нет! сил моих не хватает! ведь люди воруют же... *(Берет топор.)* Эх! Была не была!.. *(Задумывается.)* Что я делаю? куда иду? враг-то как тянет!.. *(Уходит.)*

КАРТИНА ВТОРАЯ

Поле. В глубоком овраге идет Аким по направлению к барскому лесу.

Аким. Что я задумал над своей головой? а? хорошо ли это? на погибель свою иду! *(Останавливается в ужасе.)* Что я вижу?..

Является гном ростом до небес.

Гном. Куда идешь, безумец? Как ты смеешь покусаться на барский лес? Заблудшая овца! Свинья ты эта-

кая!.. разве для тебя растил, лелеял барин этот лес? Неужели ты думаешь, что твое преступление пройдет для тебя безнаказанным? Вспомни: нет тайны, которая бы не открылась! Ты жалуешься на бедность, на холод... Прекрасно! Но разве ты не знаешь, что делать в таком случае? Необузданный дурак! вор! отвечай: куда идешь?

Аким падает в бесчувственности.

Опомнись, неблагодарный! Не вам ли дали волю, новый суд, личную свободу... воззвали из ничтожества и сделали гражданами... Сволочь!!! Помни: воровство тебе даром не пройдет! Помни! Помни... обо мне!.. *(Скрывается. Метель. Вдали воют волки.)*

Аким *(приходя в себя)*. Где я? Что со мной? Какой-то богатырь приходил, запретил мне идти в барский лес! Что это значит? Как бы со мной чего не случилось... Сердце так и бьется, как будто чувствует что-то недоброе!..

Слышно вдали пение петуха. На востоке медленно разливается свет.

Однако заря! Если воровать, так воровать скорее... а то будет поздно... Но что, если опять встретится богатырь? Нет, это была нечистая сила, тьфу!.. *(Крестится.)* Она в полночь является... иду!..

Опять пение петуха и ожесточенный рев волков.

Как бы волки не съели? У них теперь свадьба... Ах, тяжело мне... чувствую, что погибну... *(Поет.)*

Ты-ы-ы взойде-е-е-ешь, м-о-о-о-я заря-я-я.
Взгляну в ли-ицо-о-о твое-е-е,
По-о-сле-едня-я заря-я...

(Громко.)

На-а-астало время мое

Волки подхватывают.

О боже! тяжело на пытке умирать!..

(Поет, вспоминая сына.)

Оста-а-а-ался птенчик... Ванюша...

(Решительно.) Нет! лучше погибну, нежели вернусь к семье без дров. *(Держа перед собою секиру, уходит.)*

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Густой барский лес.

Аким. Какая глушь и тишина... лишь ворон пролетит, да вьюга прошумит... Как бы караульный не услышал?.. *(Прислушивается.)* Кажись, никого нет... *(Рубит.)* крепкое дерево! вышла бы знатная грядка или сошка! Что я делаю... Хорошо ли это? Безумец, ты раскаиваешься, а все-таки рубишь чужой лес... не бессовестная ли ты свинья! Ты ведь знаешь, что это деревцо годится твоему барину. Ну, вдруг понадобится ему сошка или грядка, он скажет: «Где это тут дубок рос? Куда он девался?» Опомнись, невежа! Неужели на тебе креста нет? у твоего барина тоже есть семейство, которому есть, пить надо... ведь господам от вас, воров, житья нет! грабители! скоты!..

Дерево падает.

Свалил! и сам не знаю, что со мной делается. Совесть говорит: «Не руби!», а руки так и ходят, так и ходят... кажись, весь лес—вырубил бы... а это что? Все зависть наша! вон хорош стоит орешник. *(Подходит к другому дереву.)* Опомнись же, наконец!.. *(В исступлении.)* Господи! что со мной?..

С ветвей дуба спускаются косматые руки и поднимают мужика за волосы...

Леший. Ха-ха-ха!..

Хор ведьм

Во слободке за рекой
Ждут Акимушку домой...
Он лес барский воровал,
Да вдруг без вести пропал...

ЭПИЛОГ

Поле. Матрена и Агафья стоят на дороге.

Агафья. Что мы слышали: твой муж пропал?

Матрена. И то, родимая! целую неделю искали его... А потом нашли в лесу!.. замерз...

Агафья. Ведь он барский лес воровал?

Матрена. Правда твоя! Известно, бог наказал... осталась я теперь с малыми ребятишками — и не знаю, куда голову приклонить...

Агафья. Сами виноваты, Матренушка!

Подъезжает писарь.

Писарь (*Матрене*). Ты жена Акима?

Матрена. Я, батюшка!

Писарь. Тебя требуют в волостное к допросу...

Матрена (*Агафье*). Ну, Агафья, прощай! Скажи всем своим, чтобы другу-недругу заказали воровать барский лес... Чужое добро впрок нейдет!

Едет с писарем. Небо темнеет. Завывает вьюга.

Г о л о с с в ы ш е. Бесчувственные!

— Ну, как вы находите?— спросил Бирюков слушателей.

— Превосходно! на театре будет страсть что такое!

— Я нарочно так писал... Ну, а ты, старшина, что скажешь?

— Занятная история. Что значит воровать барский лес!..

— Еще я задумываю написать водевиль в одном действии, под заглавием «Лошеводы»... Это пойдет вместо дивертисмента. Что ж делать, господа... надо же как-нибудь уничтожать воровство.

Наконец, гости распрощались с хозяином, пожелав ему счастливого успеха.

ИЗДАЛЕКА И ВБЛИЗИ

I

ГРАФ

Верстах в пятнадцати от уездного города, на возвышенном месте, стоит двухэтажный графский дом с великолепным садом, обнесенным каменной стеной. Вблизи на лугу у самой речки располагается село Погорелово с красивою церковью, выстроенною иждивением предков настоящего владельца, покоящихся в склепе под алтарем. В стороне от Погорелова, близ леса, возвышается винокуренный завод, извергая из себя массу дыма, величественно поднимающуюся к небу.

Граф — холостой человек, лет двадцати пяти. Он приезжает из Петербурга в свое имение редко и на короткое время. Но в последнюю весну он известил управляющего, что намерен провести в Погорелове целое лето, даже, если не помешают разные обстоятельства, остаться в своем имении навсегда, с целью поближе познакомиться с сельским хозяйством при помощи естественных наук, которыми он занимается в Петербурге. Граф упоминал также, что предстоящее лето он назначает на геологические экскурсии и, по случаю ученых занятий, будет вести уединенный образ жизни.

Это известие быстро разнеслось по окрестностям. Соседи помещики, особенно их жены и дочери, сильно приуныли, увидав, что им придется почти отказаться от графского общества; тем не менее весь уезд, на всех вечерах, собраниях, даже при простой встрече, горячо толковал о предстоящих графских экскурсиях. Многие утверждали,

что в настоящее время действительно ничего не остается делать, как заниматься естественными науками, ибо только с помощью естественных наук можно сколько-нибудь поддержать упадающее сельское хозяйство, а между тем какому-нибудь геологу ничего не стоит открыть в любом имении если не груды золота, то, наверно, каменный уголь, железную руду или что-нибудь в этом роде.

Один старый помещик рассказывал, что при императоре Павле в его имение приезжали немцы и предлагали ему огромную сумму денег, с тем чтобы он позволил им сделать ученые изыскания под его мельницей; но он на предложение немцев не согласился, надеясь сам заняться исследованием золотых россыпей, которые обличал металлический цвет воды в так называемом буковище.

Как бы то ни было, все решили, что граф жил в Петербурге не даром и что со временем своими учеными трудами он облагодетельствует весь погореловский край. Впрочем, матери семейств в намерении графа заниматься науками в глуши, вдаль от света, подозревали совершившийся в его жизни перелом: вероятно, шум столичной жизни надоел ему вместе с победами над великосветскими женщинами, и как бы поэтому граф не женился в деревне. Напротив, молодые замужние женщины в приезде графа в деревню видели зарю своего собственного возрождения: по их мнению, граф ни под каким видом добровольно не наденет на себя супружеского ярма и всего менее будет корпеть над науками, особенно в летнее время, которое с большею пользою он может употребить на волокитство за деревенскими *bel'es femmes*¹.

Гораздо практичнее смотрело на приезд графа низшее сельское сословие. Оно обдумывало, как бы приобрести от графа сад на лето, лужок или десятин пятьдесят земли; при этом иные решились предстать пред графом слегка пьяными, а иные даже помешанными; а сельский пономарь, изба которого стояла набоку, задумывал явиться к графу юродивым.

Между тем в имении графа поднялись хлопоты: в саду поправлялись беседки, оранжерея, грунтовой сарай; на реке строилась купальня; в доме красились стены и натирались полы. Управляющий приказал отборных телят и быков пасти на заказных лугах. Кучера задавали

¹ Красавицами (франц.).

лишние порции лошадям, каждый день гоня их на корде.

В половине мая из Петербурга приехал повар с ящиками вин и разными кухонными принадлежностями; с ним присланы были также реторты, геологические молотки и большой микроскоп, купленный графом на какой-то выставке. Научным аппаратам отведено было место в особом флигеле, где находилась старинная прадедовская библиотека. Описывая дворовым людям, управляющему и конторщику петербургскую жизнь, повар счел нужным познакомить их с князьями, графами, у которых он служил, также с Дюссо и Борелём; при этом в виде наизада он сообщил им, что такое консоме-ройаль и де-валльль, шо-фруа, де-жибье и т. п.

В первых числах июня приехал сам граф. Сельский причт явился поздравлять его с приездом. Одетые в новые рясы, с просфорой на серебряном блюде, священнослужители удостоились быть принятыми его сиятельством в столовой, где стоял завтрак с винами. После некоторых общепринятых фраз предметом разговора была железная дорога, Петербург, наконец Париж, куда граф ездил недавно.

Граф был так любезен, что рассказал гостям кое-что про Париж.

— На стенах нет места,— говорил он,— где бы не было объявлений о театрах, концертах, гуляньях, балах; в зеркальных окнах торчат кабаньи морды, львы..

— Б-б-о-ж-же милосердый!

— Положительно весь Париж запружен увеселениями; в нем более тридцати театров.

Граф посмотрел на слушателей, вставив стеклышко в глаз.

— Вы едете по улице, мимо вас мелькают всевозможные надписи; там нарисован во всю стену черт, высыпавший сюртуки, жилеты; там дикий бык на арене.

Гости вздохнули и переглянулись.

— Вот где нам с вами побывать, отец дьякон!— сказал священник.

— Что нам там делать? Это содом и гоморра.

— Именно,— подтвердил граф,— я с вами согласен.

— Надолго, ваше сиятельство, пожаловали к нам?

— Я намерен прожить здесь долго.

— Доброе дело. Нам будет веселей. А прихожане по-

стоянно спрашивали про вас: скоро ли наш благодетель приедет?..

Часов в семь вечера граф сидел в кабинете за письменным столом. В дверях стоял управляющий, поглядывая на потолок и покашливая в руку.

— Ну-с, Артамон Федорыч, давайте с вами побеседуем о хозяйстве. Что же вы строите? Садитесь.

— Ничего, ваше сиятельство: больше вырастем.

Граф указал на стул и повторил:

— Садитесь.

Управляющий повиновался.

— Во-первых, скажите мне: можно ли в наших окрестностях добыть костей?

— Отчего же?

— А серной кислоты?

— В небольшом количестве тоже можно.

— Вот видите ли, Артамон Федорыч, — продолжал граф, откидываясь на спинку стула, — я хочу завести в своем имении рациональное хозяйство: на Западе, вы, я думаю, слышали, давно удобряют землю костями. Так не пора ли и нам взяться за дело? как вы думаете?

— Вы, стало быть, купоросным маслом хотите разлагать кости?

— Разумеется.

— Да ведь этот способ, ваше сиятельство, давно оставили.

— Как оставили?

— Потому он дорог и неудобен. Года два тому назад публиковали другой способ, может быть вы изволили читать в газетах: разлагать кости при помощи торфа, известки и золы дешево и сердито. Торфу, конечно, у нас нет, впрочем это не беда. Главное затруднение в том, что почве, которую вы желаете удобрять, надо сделать анализ.

— Еще бы! химический анализ непременно. Да вы, кажется, знаете химию?

— Какое мое знание! читаешь, случается, газеты, и остается кое-что в памяти.

Граф предложил управляющему сигару и объявил:

— Моя специальность минералогия. Вы знакомы с минералогией?

— Нет-с. Уж этого бог миловал.

— Например, вы находите где бы то ни было известный кристалл и не знаете, как он называется. Вам надо прежде всего определить, к какой системе он принадлежит? к тетраэдрической, сфенотриклиноэдрической или к другой какой-нибудь?..

Наконец, управляющий вышел. Граф прошелся по кабинету.

«Каков управляющий-то? Знает химию... я и не ожидал... Наконец, я и приехал,— рассуждал граф, садясь в темном углу на диване,— и не на один месяц, а может быть, навсегда...»

Как ни противен ему был Петербург за последнее время, тем не менее он мысленно перенесся на Невский проспект, объехал некоторые рестораны, посидел во французском театре, где шла «La belle Héloïse», полюбовался в цирке на эволюции любимой акробатки, из цирка заехал к Дюссó ужинать и, наконец, отправился в Hôtel de France», где была его квартира. Ему казалось, что теперь все его петербургские знакомые подтрунивают над ним и спрашивают:

— Куда он девался?

— Говорят, уехал в деревню... и навсегда!..

— Какой ужас! Что же он там будет делать?

— Вероятно, слушать волков...»

Общий хохот. Громче всех смеется, позвякивая саблей, князь Мордовкин, с которым граф месяц тому назад хотел стреляться за некоторую Адель.

«Впрочем, здесь, в деревне, — рассуждал граф, — я буду жить царем: у меня великолепный повар, огромное количество прислуги, хорошие лошади, вина в погребе; вообще полный комфорт. Поживу здесь год, другой, тогда, пожалуй, опять перееду в Петербург. Правда, пятнадцать тысяч в год мало, но, само собою разумеется, придется жить поскромнее. А что, если спустить все имение? — вдруг подумал граф и встал, как будто его озарила необыкновенная мысль, — но кто может поручиться, что в два, а много в три года я не спущу все деньги? Тогда что? на службу? — Граф саркастически улыбнулся и закурил гаванскую сигару. — Впрочем, чего я добиваюсь? чего еще желать при таком имении, как мое? Буду себе жить...»

«А общество, общество где? — возражал ему внутренний голос, — с соседями уже ты решил не знаться и

хорошо сделал; ибо что может быть общего между ними и тобой? Ты будешь говорить об опере и балете, а твои соседи о запашках и сеноворошилках. Уж лучше сиди здесь один или опять ступай в Петербург».

— Вздор! — вскрикнул граф, — все это надоело... опротивело... — Граф позвонил и приказал подавать себе ужин.

Часов в восемь утра в буфетной комнате, смежной с передней, сидели за самоваром два камердинера и повар с женой. У двери стоял дворовый мальчик в сером фраке с ясными пуговицами. Старший камердинер посмотрел на свои часы и сказал повару:

— Не пора ли вам приниматься за бифстекс...

— Эй, Петька! — крикнул повар мальчику, — сбегай к садовнику, возьми у него редиски да вели скотнице принести сливочного масла. — Повар вынул из кармана карточку, хлопнул по ней пальцем и сказал: — Вот меню! Гор-д'евр-варие... это можно... суп жульен, филе-де-беф ан-бель-вю — идет! Хорошо бы стерле-ала-минут, да его нет! недурно бы крем из рябчиков с трюфелем — тоже нет! артишоков и не спрашивай... за что ни возмись — все нет да нет! Разве сделать пате-шо из ершей! Есть тут ерши-то?

— Должно быть, есть; карасей здесь много...

— Эта дрянь никуда не годится...

Вошла скотница и поставила на стол масло...

— Андрей Иваныч, — обратилась она к старшему камердинеру, — простоквашу прикажете готовить для их сиятельства?

— Готовьте: граф любит простоквашу; только вы ей давайте окиснуть хорошенько.

— Слушаю. Еще я хотела доложить вам: кучера Якова жена все на меня ругается.

— Как же она смеет?

— Вам известно, как я здесь на скотном дворе состою главная, то ей и не хочется покоряться мне. И ей хочется быть главной. Я говорю: послушай, Марья, если мы у их сиятельства будем все главные, то у нас никакого порядка не будет; кто-нибудь должен покоряться. А она примется на меня брехать.

— Вы скажите ей, — внушительно заметил камердинер, — если ты еще брехнешь, то завтра же получишь расчет, ты должна помнить, у кого ты служишь!..

— Слушаю.

В это время зазвенел колокольчик, камердинеры встрепенулись.

Старший камердинер осторожно вошел в спальню графа, который лежал в постели.

— Какова погода?

— Очень хорошая, ваше сиятельство. Солнце светит. Ночью подул было ветерок, а к утру перестал.

— На почту послали?

— С вечера уехали...

Наступило молчание. Видно было, что граф нуждался в новостях; лакей понимал это и усиливался чем-нибудь потешить графа; но потешить было нечем: впечатления деревенского утра были так скромны, что их не стоило и передавать.

— Скажи, пожалуйста, — сказал граф, — что это за крик был сегодня ночью?

— Караульный-с, ваше сиятельство...

— Нельзя ли, чтобы он по крайней мере не кричал над самым ухом.

— Слушаю. Сию минуту скажу.

— А собак на ночь спускают?

— Как же-с... всех до одной спускают.

Граф начал одеваться.

— Чай где изволите пить?

— На балконе.

— Погода стоит отменная, — вынося умывальник, говорил камердинер.

Посматривая на прадедовские образа в углу, граф подумал: «Надо эти византийские орнаменты убрать отсюда». Между тем камердинер говорил своему товарищу в передней:

— Не в духе...

— Ты знаешь его характер; нынче с тобой ласков, а то вдруг опрокинется ни за что.

В передней явился дьячок.

— Их сиятельство встали?

— На что тебе?

— Батюшка велел спросить, не угодно ли им пожаловать завтра к обедни...

— А завтра что такое? — спросил старший камердинер.

— Воскресенье, — скромно отвечал дьячок. — Если их сиятельству угодно будет отстоять литургию, то мы служение начнем попозже и благовестить будем по-дольше.

Дьячок отозвал камердинера к двери и шепнул:

— Нельзя ли мне повидаться с графом?

— Зачем?

— Изба вся развалилась... не будет ли милости...

— Из таких пустяков беспокоить графа. С чего ж ты выдумал? Ступай.

— Так вот что, — переступая через порог, говорил дьячок, — замолвите словечко вы сами... верите? не нынче, так завтра изба всю семью придавит!..

— Это дело другое, — заметил камердинер, — когда-нибудь в свободное время доложу.

— Дьячок, ваше сиятельство, приходил узнать, не угодно ли вам завтра пожаловать к обедни, — докладывал камердинер.

— Скажи, что я не буду.

— Весь бы народ, ваше сиятельство, осчастливили, — говорил камердинер.

— Вздор какой!

— Могу вас уверить, что ждали вас сюда, как красное солнышко — и теперь всем известно, что вы пожаловали. Предки ваши были храмостроителями, а вас считают за попечителя храма... А то и будут толковать, дескать, родители их не гнушались храма бо- жия...

— Ну и пусть их толкуют. Чем же я виноват, что мои предки были храмостроителями?

— Да ведь и то сказать, ваше сиятельство, с волками жить, надо по-волчьи и выть.

Этот довод подействовал на графа. Он сказал:

— А экипаж в порядке?

— Коляску, ваше сиятельство, я сегодня нарочно осматривал; в лучшем виде справлена: выкрашена и лаком покрыта.

— Ну скажи, что я буду.

Старший камердинер был человек испытанный и отличался такою опытностью и знанием своего дела, что граф называл его своим министром. Граф часто спорил с ним, даже ругал его, но всегда оказывалось, что камердинер был прав, хотя он пользовался своим влиянием на

барина только в таких случаях, когда чересчур страдало графское достоинство или уже попиралось всякое благо-разумие.

За отсутствием более важных дел с вечера же отдано было приказание запрячь к обедни четверку вороных. Молодой камердинер должен был одеться в ливрею, а кучер в свой парадный костюм.

Наступило воскресенье. В девять часов заблаговестили к обедни; граф уже был на ногах. Утро стояло погожее; все окна графского дома были отворены; звуки церковного колокола мелодично раздавались по комнатам. По берегу реки народ в праздничной одежде шел к церкви. Граф был в хорошем расположении духа и слегка напевал из «Троватора» *Miserere*. Четверня давно стояла у подъезда.

Наконец, во всем белом, с рипсе-пез и английским хлыстиком, граф сел в угол коляски, положив наперевес одну ногу на другую. Выждав минуту, когда графский экипаж подъехал к самой церкви, пономарь ударил во все колокола. Отвечая легким наклоением головы на приветствие народа, граф, в сопровождении камердинера, державшего под мышкой ковер, вступил в церковь. Когда он стал на возвышенное место за чугунной решеткой, дьякон вышел из алтаря и сделал возглас.

В конце обедни священник сказал проповедь из текста «Несть власть аще не от бога». Служба тянулась долго; пение дьячков до того раздирало слух графа, что он покушался уехать домой после первой ектении; но его удержало приличие.

Мужики, вышедшие от обедни и вдоволь намолившиеся на церковный крестик, начали толковать между собою:

— А что, говорят, граф совсем приехал сюда жить?

— Уж знамо! Ноне господа сами вzięлись за хозяйство; то жили бог ведает где, а то все слетелись на свои гнездышки.

— После воли-то все поджали хвост!

— Теперь и наше дело держись! Чуть мало-маленько овечка али коровка взойдет на барское угодье — тут ей и быть!

— Везде стал глаз хозяйский!

— А урожая-то ноне стали вон какие: до зимнего Микола поел хлебушка, да и будет! и заговейся!..

— А там принимайся за лебеду!

— Экой ты! кабы была лебеда — горя бы мало! а как лебеда-то не уродится, тогда-то что делать!

— Его святая воля! — перекрестившись и вздохнувши, промолвил один старичок.

— А там подати... об них надо подумать...

В этом духе продолжался разговор до тех пор, пока крестьяне не разошлись по своим избенкам...

Приехав из церкви, граф позавтракал и отправился в сад; поговорил с садовником о сливах, персиках и абрикосах, дав ему заметить, что эти фрукты его слабость; зашел в библиотеку, где увидел свои реторты и колбы, навестил кухню, посидел на крыльце, глядя на развалившиеся избы крестьян, слушая пение петухов; наконец, прошел через переднюю мимо стоявших навтыжку камердинеров, и заперся в кабинете.

— Заскучал!.. — сказал старший камердинер, — а навряд он здесь долго проживет!

— Нам какое дело?

II

ЭККУРСИИ

Прошел месяц. Граф жил все это время вне всякого знакомства и человеческого общества, исключая своей прислуги. Один только раз приезжал к нему сосед-помещик, с намерением попросить испанских вишен и каких-то высадков, да кстати поразведать, чем занимается его сиятельство. Граф охотно дал вишен и высадков, а насчет своих занятий сообщил, что он каждый день делает ученые экскурсии, в подтверждение чего показал соседу каменную плитку, найденную им в каменной ограде, с следами когда-то бывшего дождя. Речь графа пересыпалась научными терминами, например: додекаэдр, гемизэдриа и т. д. Гость полюбовался микроскопом, стоявшим в зале на особом столике, и уехал, не составив себе определенного понятия ни об образе жизни, ни о самой личности графа, который, напротив, был уверен, что сосед разгласит по всему уезду, что наука имеет одного из достойных представителей своих в лице его сиятельства. На самом же деле экскурсии графа состояли в том, что утром он гулял по саду, причем делал внушения садовнику и управляющему; потом завтракал и отправлялся кататься

верхом или стрелять в цель; после обеда смотрел под микроскопом мушиную лапку, но чаще садился у окна с сигарой во рту и устремлял взор вдаль. Однажды, после завтрака, граф сидел среди старой липовой аллеи. Утро было восхитительное, но граф был настроен невесело; он рассуждал о том, что жизнь — удивительно странное явление: чего бы, кажется, хотеть человеку, у которого такое огромное имяние, как Погорелово? Несмотря на то, владелец этого имения положительно не знает, куда деваться от скуки... Рассуждения графа вертелись на двух положениях, что жизнь есть наслаждение и пустая и глупая шутка. Первое положение требовало, чтобы человек, подобный графу, катался как сыр в масле; второе приводило к тому, что самое любезное дело покончить с собою... «Вот дерево,— думал граф,— что оно такое, к чему оно? сделать стол, притолку? Или вот птица таскает себе гнездо: для чего это? вывести детей и потом снова таскать гнездо: для чего это *perpetuum mobile*?¹ Или, например, я: имею великолепный дом, изысканно ем, пью, по моде одеваюсь; но к чему все это? к чему все мое состояние? к чему я сам, наконец? Не стоит жить»,— решил граф, грустно покачав головою.

«Не стоит?!— вдруг возразил внутри его другой какой-то голос,— в таком случае имяние тебе больше не нужно: отдай его бедным людям».

«Но, может быть,— рассуждал граф,— с моих глаз спадет эта таинственная завеса; может быть, ученые скоро доберутся до настоящего смысла жизни, и в газетах вдруг появится объявление: «Нет более *скуки!*»

«Но ведь это вздор,— соглашался сам граф,— такого объявления никогда и быть не может».

«Стало быть,— вмешивался невидимый оппонент,— скука год от году будет пожирать тебя с большим ожесточением; а все испытанные тобою средства от нее оказались недействительными; чего ты не перепробовал? И петербургские рысаки были в полном твоём распоряжении, и балеты, и оперы, и женщины, от которых у тебя до сего времени оскомина, все это изведала твоя душа. Что ж теперь тебе остается делать?»

Невдалеке раздался выстрел. Граф позвал камерди-нера.

¹ Бесконечное движение (*итал.*).

— Кто это стреляет?

— Должно быть, кто-нибудь охотится. За садом есть болото.

«А! — подумал граф, — займусь охотой».

Он приказал подать ружье.

Камердинер спросил:

— Прикажете с вами идти?

— Не надо! — отвечал граф и, взяв ружье, скорыми шагами пошел по саду, осматривая каждый куст, не сидит ли где хоть дрозд.

«Странное дело, — продолжал размышлять граф, — то, чего добивается весь мир — богатство, оказывается не более как пустой звук. Что же делать-то, наконец? Кружиться в петербургском свете — пробовал: остается один чад и пустота в голове да вдобавок векселя. Заниматься хозяйством — в нем ничего не смыслю... Отдаться науке... я к ней не подготовлен...»

Впереди пролетел дрозд. Граф выстрелил и опустил дичь в ягдташ. Поощряемый удачей, он шел дальше и дальше, наконец очутился в поле. Он окинул взором своим поля, вздохнул и вымолвил:

— Какая безотрадная картина! Ничего нет удивительного, что все эти десятины мы превращаем в шампанское, в рысаков и тому подобное. Да иначе что ж с ними делать?

Граф приблизился к болоту. Вскоре он увидал кулика, бегавшего по берегу, и хотел в него прицелиться; но вдруг остановился; вблизи стоял юноша лет пятнадцати с ружьем в руках.

— Стреляйте, ваше сиятельство, — вежливо, приподняв фуражку, сказал молодой человек.

Граф выстрелил, кулик поднялся и вдруг упал, подстреленный незнакомцем. Графу было досадно, что он сделал промах. Завязался разговор.

— Я его плохо видел, — оправдывался граф.

— Да, он от вас далеко сидел.

— А вы хорошо стреляете. Где вы покупали ружье?

— От деда осталось... оно турецкое.

— Вы чем же занимаетесь? — спросил граф, идя с молодым человеком по направлению к саду.

— Живу у отца на винокуренном заводе, пишу конторские книги.

Наружность и скромность молодого человека понравились графу.

— Теперь завод стоит, дела у нас нет...

— Как же вы проводите время?— спросил граф.

— Ничего, весело. Недавно к нашему дьякону приехал его сын из семинарии, так мы с ним рыбу удим, купаемся, книжки читаем; он с собой привез две книги. Вот хожу, стреляю; а больше с кузнецом перепелов ловим — каждую зорю, и утром и вечером... отличная охота!

— Интересная?

— Очень интересная, ваше сиятельство!

— В чем она состоит?

— Извольте видеть: берется сеть, дудочка и самка. Как только солнышко начнет закатываться, сейчас мы отправляемся в поле. Только нужно, чтоб самка была хорошая!..

— Какая самка?

— Просто перепелка, ваше сиятельство..

— А у вас она есть?

— Как же! я еще в прошлую осень достал; мне принесли ребята; такая голосистая! удержу нет! в одну зорю поймает перепелов десять! я за нее не возьму двадцати рублей..

Воодушевление, с которым молодой человек рассказывал про перепелиную охоту, граф старался поддержать: оно как-то освежительно подействовало на него; он продолжал спрашивать:

— А дудка для чего?

— Тоже для перепелов, ваше сиятельство: подманивать... Как только перепела услышат эту дудочку, так и пойдут кричать; и там, и здесь, и оттуда, и отсюда летят, даже сгоряча на картуз садятся. В это время только сиди, не шевелись, а то и петь на голове будут! просто от смеху живот надорвешь. Вы ни разу не видали этой охоты, ваше сиятельство?

— Нет.

— По-моему, ваше сиятельство,— продолжал юноша,— эта охота лучше всякой другой охоты: ружейная или, например, рыбная перед ней никуда не годятся. Мы каждую зорю охотимся: так в поле и ночуем..

— А можно мне посмотреть, как вы ловите?

— Помилуйте, отчего же нельзя! Мы вот сегодня же и пойдем; потому погода стоит хорошая...

Граф и сын винокура подошли к калитке сада. Графу не хотелось отпустить от себя такого живого собеседника; к тому же он чувствовал, что дома ожидает его страшная тоска. Граф пригласил молодого человека к себе в дом.

— Вы не хотите ли персиков? — спросил граф, проходя мимо оранжереи.

— А я их, признаться, ни разу и не видывал, — протодушно отвечал юноша.

— Не лучше ли, впрочем, так, — вдруг воскликнул граф, заметно оживляясь, — позвольте спросить, вы обедали?

— Нет.

— Так сначала мы будем обедать!

— С большим удовольствием.

Пришедши с гостем в кабинет, граф позвал камердинера:

— Послушай! мы будем обедать на балконе; вели принести из погреба бутылку лафиту.

— Слушаю, — не очень доброжелательно посмотрев на незнакомца, отвечал камердинер и удалился.

— Садитесь, пожалуйста, — обратился граф к юноше, который с детским любопытством засматривался на каждую безделицу в кабинете.

— Ваше сиятельство! — начал он, — осмеливаюсь вас беспокоить покорнейшей просьбой. Нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать? я страсть как люблю книги... а достать негде...

— У меня больше французские... Впрочем, я велю камердинеру поискать в библиотеке. Позвольте спросить, где вы воспитывались?

— В уездном училище.

— А не в гимназии?

— Нет-с, потому средств не имею: у моего отца большое семейство; а в гимназии, говорят, содержание обходится двести рублей в год или более.

— Двести? — повторил граф. — А вы хотели бы учиться?

— Как же, ваше сиятельство, не хотеть? Что ж я живу здесь? почти без всякого занятия: ни себе никакой пользы не приношу, ни семейству.

Граф задумался. В его голове шевельнулась мысль: «Вот представляется случай сделать доброе дело: вывести этого юношу на свет божий; двести, триста рублей в год для тебя ничего не значит; зато в твоей пустой жизни будет хоть одно это дело, ты хоть недаром проживешь на земле».

Граф почувствовал вдруг какое-то наитие и, встав, объявил молодому человеку:

— Я позабочусь, чтоб вы были в гимназии; двести рублей в год я могу уделить на ваше образование.

Камердинер доложил, что обед готов.

— Так мы сегодня идем на охоту.

— Надо, ваше сиятельство, пригласить кузнеца: он отличный охотник,— сказал гость.

Во время обеда камердинер доложил, что повар просит позволения идти на охоту, так как, живши еще у князя Косоурова, он был страшным охотником и перепелиную часть знает хорошо. Граф приказал ему собираться.

При закате солнца охотники отправились. Дорогой повар затеял спор с кузнецом относительно того, какой перепел лучше, тот ли, что кричит два раза, или тот, который просто «мамакает». Граф попросил повара вести себя в пределах подчиненности и не забываться.

Стоял тихий июльский вечер; солнце закатилось; на западе расстилались огненные полосы; рожь, к которой подошли охотники, стояла неподвижно... каждый малейший звук был слышен.

— Сейчас начнется,— выговорил повар.

Отозвался перепел. Повар заиграл в дудку, и в одну минуту два перепела опустились близ сети. Самка не заставила себя долго ждать и начала, как говорят охотники, трюкать. Услышав ее голос, молчавшие перепела вскричались на разные голоса и один за другим начали садиться, где ни попало.

Графу так понравилась охота, что он велел нести в дом сеть, дудку и самку, обещаясь отправиться и на утреннюю зорю. За ужином он велел подать себе шампанского. Вся графская дворня суетилась и толковала о перепелах; графский дом вдруг ожил.

Охота, за исключением ненастных дней, продолжалась каждую зорю. Сын винокура запросто приходил в графский дом и без церемонии настраивал дудку, в чем иногда принимал участие и сам граф.

Однажды граф сидел в кабинете и вслушивался, как сын винокура настроивал в зале дудку. Он позвонил камердинера и объявил:

— Скажи этому молодому человеку, что я больше не намерен охотиться: я не так здоров, к тому же у меня есть дела.

— Я вам давно, ваше сиятельство, хотел доложить,— начал камердинер,— нехорошее это вы знакомство завели. Вон и то начинают говорить про вас, что вы по ржи бегаєте за перепелами.

— Кто это говорит?

— Да соседи!.. ей-богу... помилуйте! наш дом графский; а какое у нас пошло безобразие... страсть! вон паркет весь исцарапан, никак не наметешься... Самка стоит в передней... Ну, кто взойдет из хороших людей? А вчера перепел окно разбил...

— Ну, да! так скажи Ивану Иванычу, что я занят... ступай!

— Слушаю.

Камердинер подошел к молодому человеку и объявил:

— Его сиятельство не совсем здоровы, так просят у вас извинения... Они пришлют за вами, когда вздумают поохотиться, пришлют,— ласково говорил камердинер. Юноша удалился.

Графский дом принял прежний, величественный, строгий вид. В нем воцарился порядок: везде все было убрано, полы были натерты, прислуга ходила на цыпочках. Граф сидел в кабинете, чистил ногти и думал:

«Теперь по всему уезду будут толковать: вот какие он делает экскурсии-то!.. скандал!..»

III

ГОСПОДА КАРПОВЫ

Ближайшим соседом графа был Егор Трофимыч Карпов, отставной полковник, лет восьмидесяти. Он управлял когда-то большими имениями знатных особ, был уездным предводителем дворянства, а в последнее время, пользуясь славою примерного хозяина, тихо доживал век в своем родовом имении с женой, красивой дочерью шестнадцати лет и свояченицей — пожилой девицей. У Карпова есть и сын, — студент московского университета: рассчитывая

на него как на опору своей старости и опасаясь, как бы молодой человек не сделался «якобинцем» в испорченной среде нынешней молодежи, Карпов почти в каждом письме к нему упоминал: «Если вздумаешь бросить науку, приезжай домой; у твоего отца хлеба хватит...» Сын, успевший перепробовать все факультеты, исключая медицинского, на который он поступил недавно, отвечал отцу, что воспользуется его советом непременно, как только доберется до самого корня учения. Об образовании своей дочери, которую ожидало хорошее приданое со стороны родителя, Карпов мало заботился, считая самым лучшим украшением человеческой природы — деньги, дающие независимое положение в свете. Как человек старый и притом сильно пожурировавший на своем веку (он женился пятидесяти лет), Карпов безвыездно сидел дома, считая города вертепами разврата — и чуть не разбоя; он без ужаса не мог подумать о каком-нибудь развлечении, на которое подбивали его жена, дочь и свояченица. Только в таком случае, когда все семейство от скуки заболело, старик приказывал кучерам из-прохвала готовить экипажи в город, а жене назначал рублей пятьсот на покупку «разных тряпок». Но как скоро больные поднимались на ноги, Карпов начинал жаловаться на новые времена, будто бы грозившие со дня на день каждому помещику разорением, ссылался на скудные урожаи и советовал отложить всякое попечение насчет поездки в город. Разнообразил свою жизнь старик совсем иначе, нежели как мечтало его семейство: выстроив амбар или починив конюшню, он вдруг поднимал образа, что называется молился богу. После водосвятия он приглашал церковнослужителей на пирог, а «богоносцев» угощал на крыльце водкой. Жена его в это время сидела в своей комнате, нюхала спирт и спрашивала горничную, поглядывая на мужиков: «Скоро ли уйдут эти люди с запахом?» Она внутренне жаловалась на судьбу, соединившую ее с упрямым, бессердечным стариком (ей было под сорок), так что, несмотря ни на какие усилия с ее стороны мужественно нести свой крест, она всякий раз изнемогала и падала под его тяжестью. Свояченица Карпова в свою очередь негодовала на вечное свое девство и одиночество, волей-неволей заставившие ее изливать свои чувства на больных грачей, выпавших из гнезда галчат и подчиняться грубому призыву старика.

Однажды утром, когда лакей накрывал для чая стол, Карпов, сидя на диване в коротеньком шелковом камзоле и в бархатной ермолке, беседовал с священником своего села о недавних правительственных распоряжениях относительно приходов и церквей. Поправляя на голове ермолку и без церемонии зевая, он спрашивал:

— Куда же денутся дьячки и дьяконы?

— По всей вероятности,— отвечал священник, робко приподнимаясь со стула,— поступят в род жизни; а впрочем, может быть, последуют какие-нибудь особые распоряжения...— Священник сел и прибавил,— еще ничего неизвестно.

— Ну, как же наш храм?

— Позвольте вас просить, Егор Трофимыч, взять издержки на себя: так как наш приход маленький, то храм могут запечатать, и ваше семейство должно будет ездить за двенадцать верст в село Христовоздвиженское. Что же касается до крестьян, то рассчитывать на их поддержку невозможно; сами изволите знать, у всех дома раскрыты...

— Что могу, то сделаю,— отвечал Карпов,— а без церкви нам нельзя быть.

— Да! поистине доброе дело сделаете, если примете на себя попечение о храме...

Карпов задумчиво поправил на голове ермолку и перекинул одну ногу на другую.

— Так вы были в Погорелове?— спросил он после некоторого молчания.

— Как же-с! третьего дня ездил туда: приход там настоящий — более тысячи душ, и церковь в исправности. Ну, да ведь и то сказать: графское имение...

— Граф все здесь живет?

— Здесь-с!— запахивая полы рясы, отвечал священник,— говорят, весь погрузился в науки, занимается натуральной историей... Что-то нынче материализм в большом ходу стал: вот села Голопяток священника жена помешалась над этими науками, постоянно читает либо анатомию, либо какие-нибудь человеческие внутренности и все спорит с мужем о бессмертии души.

Карпов засмеялся, прищурил глаза, и быстро передвинул ермолку с одного боку на другой.

— О бессмертии души... Говорит: неужели я должна пропасть!

— Ну, что же муж на это?

— Муж, конечно, говорит: «Чего ты ищешь? что нам с тобою надобно? Живем мы, слава богу». А ведь они люди богатые: за попадьею было приданого тысяч десять; она дочь полкового священника... Само собою разумеется, с детства вращалась среди офицеров и набаловалась...

В это время в залу вошли свояченица и дочь Карпова, Варвара Егоровна.

— Пора, матушка, пора: не стыдно ли так долго спать?— говорил старик, целуя дочь,— самовар давно на столе, а вы прохлаждаетесь...

— Мы с тетей давно встали, папочка, — отвечала дочь, приготовляясь делать чай.

— Чего вы брюзжите? — поцеловав Карпова, сказала свояченица, — видите, какое чудное утро? Сегодня мы хотим отправиться в лес... Здравствуйте, батюшка, — отнеслась она к священнику, — благословите...

Священник осенил ее крестом и произнес:

— Надо, Александра Семеновна, пользоваться временем; а то ягоды скоро скосят... да и благо погода стоит.

— О чем вы тут говорили?— спросила Александра Семеновна, садясь за стол.

— Да вот о церквах; о погореловском графе...

— Ну что? Скажите, пожалуйста, что граф?

— Ничего, живет в своем имении, занимается науками... Я недавно туда ездил...

— В самом деле? Что же, вы его не видали?

— Нет-с, видел — мимоездом. Я ехал этак в стороне, а он верхом, в белых брюках.

— Что же, красив он?

— Очень... очень даже красив...

— Ах, боже мой! хоть бы одним глазком взглянуть... Егор Трофимыч! — обратилась Александра Семеновна к Карпову, — как бы познакомиться с графом?

— Я уж не знаю как; с отцом его я был знаком; а этот живет здесь без году неделю: больше разъезжал где-то. Впрочем, если вам так хочется...

— То что?

— Что, папочка? — весело спросила дочь.

— Вот приедет Вася... Он познакомится с графом...

— Ах да!— воскликнула Александра Семеновна, — хоть бы поскорей приезжал Вася; как вспомнишь эту несносную зиму, боже мой! Я не знаю, как мы живы!..

— А ваш сынок скоро приедет? — спросил хозяина священник...

— Жду со дня на день... теперь у них экзамены кончились... Мой сын тоже естественник, — внушительно взглянув на священника, заметил старик.

— Естественник? — спросил батюшка, — гмм... да-с! доброе дело!.. Что бишь я слышал про графа? дай бог память!

Все с напряженным вниманием глядели на священника...

— Будто бы он... конечно, может быть, все это пустяки... я сам слышал от людей...

— Да что такое?

— Будто бы он науками-то вовсе не занимается, а с дворовыми людьми бегаёт по полям да перепелов ловит...

— Вздор какой! ну, можно этому поверить? — сказала Александра Семеновна, — вы сами посудите, батюшка.

— Конечно... я слышал... За что купил, за то и продаю...

— Это просто деревенские сплетни!.. Граф, как человек серьезный и ученый, приехал в наше захолустье по-пробовать применить научные сведения к нашей жизни, а про него распустили слух, что он перепелов ловит!.. Ах, какой народ!.. — На лице Александры Семеновны выразилось негодование, и она прибавила: — Впрочем, гораздо лучше оставить этот разговор: к науке нельзя так легкомысленно относиться... Егор Трофимыч! я вам не сказывала моего горя?

— Что такое?..

— Мой грач, у которого было сломано крыло, сегодня утром скончался...

— Вечная память, — усмехаясь, сказал старик.

— Надо рыть могилку, — присовокупил батюшка.

— А вы как думаете? Неужели я его так брошу... Я ему сейчас пойду рыть могилку... Бедный, бедный! и отчего так скоро умер?.. Бывало, где бы он ни был, только скажи: «Милый грач!» — сейчас отзовется и придет...

— А остальные ваши питомцы живы?

— Слава богу! А насчет графа, батюшка, вы таких слухов не распускайте... пожалуйста! ведь это ужасно!.. это ни на что не похоже...

— Помилуйте, мне самому говорили...

— Я вас покорнейше прошу...

Александра Семеновна попросила себе другую чашку

чаю, утерлась платком и замолкла: на ее лице выступила краска. Старик, глядя на нее, посмеивался. Батюшка, поняв свой промах, переменял разговор:

— Все помаленьку начинают съезжаться в деревни: теперь в городах тяжело... пыль... Вот, говорят, Новоселов приехал из Петербурга.

— Наш сосед — Андрей Петрович? — спросил старик.

— Да-с! Говорят, дня три или четыре тому назад прибыл.

— Каков? и до сих пор не проведает нас... Значит, он до сих пор не определился на службу... Станный человек! ведь получил университетское образование... он тоже натуралист.

— Человек добропорядочный. Этого нельзя отнять...

В залу вошла хозяйка с бледным лицом и томными глазами, в белом пеньюаре: в руках у ней был флакон с духами. Приняв благословение у священника, она обратилась к мужу:

— Там, к тебе, мой друг, пришли мужики: должно быть, насчет *земельки*... — Она с усмешкой посмотрела на батюшку, — не могу равнодушно смотреть на этот народ; со мной сейчас делается дурно...

На улице вдруг раздался звон колокольчика: все семейство устремилось к окнам. Тройка почтовых лошадей подъезжала к церкви. Священник, вглядываясь в проезжающего, говорил: «Уж не к нам ли из консистории?..» Но тройка, миновав церковь, повернула прямо к дому Карповых. Женщины вскрикнули:

— Вася, Вася!

Все вышли на крыльцо, к которому подъехал бравый молодой человек в белом пальто. Это был сын Карпова. Произошла обычная сцена свидания; зазвучали поцелуи, посыпались расспросы; батюшка, поздравив Карповых с радостью, отправился домой. Через полчаса молодой человек сидел за самоваром в кругу родного семейства. Собщив некоторые подробности из своего путешествия, он объявил:

— Ну-с, уведомляю вас, что университет я оставил.

— Как так? — спросили все.

— Очень просто. Завершаю свое образование и поселяюсь здесь с вами.

— Что же ты будешь делать? — спросила мать.

— Буду знакомиться с хозяйством, охотиться, изучать химию. Это мой любимый предмет. Да и, наконец, папаша слаб, я ему буду помогать.— Студент поцеловал руку отца и спросил: — Ты не сердись на меня, что я бросил университет?

— Помилуй! напротив! Я же тебе писал несколько раз: приезжай, как только вздумаешь.

— Послушай, Вася! — возразила Александра Семеновна, — неужели ты с этих пор хочешь закабалить себя в деревне?

— Да! закабалить! — энергично сказал молодой человек, — а знаете вы причины, почему я оставил университет? Ведь вы их не знаете. Вы не можете себе представить, что такое медицинский факультет!..

Старик усмехнулся и сказал:

— Вот то же самое он говорил про юридический и филологический факультеты: «Вы не можете себе представить!»

— Ну, да с этими факультетами я покончил, — более и более воодушевляясь, говорил юноша, — теперь послушайте, что я вам скажу про медицинский. Я не могу до сих пор понять, каким образом медицина в моей голове перевернула все вверх дном! познакомившись с нею, я совершенно охладел к жизни, даже потерял всякое уважение к людям. Ей-богу... Вообразите себе: всякий из нас, как известно, любит цветы, например; да и в самом деле, они прелестны, — чудо в своем роде, как чудо все, что только произвела природа. Теперь не угодно ли вам послушать университетские лекции об этих цветах или вообще о растениях: вам, зевая, нехотя, потому что профессорам надоело несколько десятков лет читать одно и то же, сообщают, что чашечка пятиразверзная, пестик один, листья перисто-выемчатые, обратно-яйцевидные и т. д. И все это читается вяло, монотонно, как будто профессора отбывают самую несносную для них повинность... Затем представьте себе эти распластанные, изрезанные трупы, этих молодых людей с ногами...

— Фи! не рассказывай, пожалуйста, — воскликнули дамы, — c'est affreux!..¹

¹ Это ужасно!..(франц.).

— Нет, ведь это любопытно. Раз я вхожу в физиологический кабинет и вдруг вижу: студент лет семнадцати разрезает брюхо живому щенку; несчастное животное распластано на столе и крепко привязано за все четыре ноги; морда тоже завязана, и щенок издает глухой страдальческий стон.

— Боже мой!.. какое варварство!..— воскликнули дамы. У Варвары Егоровны на глазах появились слезы. Студент продолжал:

— Нужно было видеть это бессердечие, с которым молодой человек тиранил бедное животное. Во время этой вивисекции он держал в зубах сигару и то и дело отходил в угол к товарищам, с которыми беседовал о Шумском, о Тартюфе и т. д. Или такое зрелище: толпа молодых людей, окружив чахоточного больного, выслушивает его грудь и чуть не с восторгом кричит: «Великолепные каверны!» Да что! это я вам рассказал миллионную долю... а состав, а правила университетские!.. Обо всем этом надо написать такое же многотомное сочинение, как «История Российского государства» Карамзина.

— А мы думали, что ты будешь доктором,— заметила мать.

— Какой я доктор? помилуйте! да и теперь все порядочные медики сознаются, что лечить значит шарлатанить, что самый лучший врач — натура, а самое лучшее лекарство — хорошая пища, правильный образ жизни и тому подобное.

— Ну, отчего же ты бросил филологический факультет? — спросила Александра Семеновна.

— Я уж вам говорил, что там частицу *quod* объясняют несколько лекций: как употреблял ее Цицерон, Корнелий Непот, Тацит, Тит Ливий...

— А юридический?

— Об этом и говорить не стоит! это не что иное, как факультет пустозвонства. И какой из меня может быть юрист? Обвинять преступника, ссылая его на каторгу я не могу... Впрочем, я знал бы, что делать... у меня есть свой кодекс...

— Ну уж, пожалуйста, не умничай...

— Слушаю.— Студент взглянул на сестру и спросил:— Что это? ты никак плачешь, мой друг!

— Мне жаль щенка!— вымолвила Варвара Егоровна,— бедный!

Студент обнял сестру.

— Добрая душа, ты еще не знаешь, что люди подчас бывают хуже зверей. Впрочем, не дай бог тебе познать эту истину!.. Ах да! я вам и не сказал самого интересного: ведь я заезжал к Новоселову: он уже несколько дней как приехал из Петербурга... Вообразите себе... Подъезжаю к его хате, смотрю, дверь отперта. Думаю, не сам ли хозяин тут? Вхожу и вдруг вижу, что вы думаете? Андрей Петрович Новоселов сам готовит себе обед, стоит перед печкой и смотрит, как варится каша. Спрашиваю: «Андрей Петрович, что с вами?» Он говорит: «Как видите, готовлю обед». А было дело часов в восемь утра: значит, он держится русского обычая насчет обедов: готовит кушанье в затопе. «Как вы сюда попали? давно ли из Питера?»— «Из Петербурга я, говорит, дней пять». А уж он около двух лет не был в своем имени. Я ему объявил, что бросил университет. «Ну, а вы что? спрашиваю, не пробовали служить?» — «Пробовал, говорит, разумеется, бросил все и решил жить здесь, в своей хате».— «А делать что же будете?»— «Как что? Буду пахать землю». Я так и повесил нос... Вот тебе и наука! Человек с университетским образованием хочет пахать землю...

— Чудеса!.. — усмехаясь, проговорил старик.

— Ну, это одна фантазия!— воскликнули дамы.

— Нет, не фантазия! вопрос о пахоте недавно был возбужден в нашей литературе..

— Да не помешался ли Новоселов?

— Он-то не помешался! А не помешался ли весь наш общественный строй!..— грозно произнес юноша.

— Что же, ты просил к себе Новоселова?— спросил старик.

— Он обещался приехать сегодня вечером. Мне было хотелось с ним поговорить побольше, да я спешил домой и его не хотел стеснять.

Все призадумались.

— Нечего сказать,— проговорила Александра Семеновна,— грустные времена: ни за что гибнут лучшие силы!..

— Вот бы вас заставить работать!— обратился старик к дамам,— жать, молотить... на пруд ходить... А то постоянно пищат: «Папочка! поедem в город! там театры, концерты...» И ты тоже, баловница,— сказал старик дочери:—

«Поедем, папочка, в Москву!» — уши прожужжала... Я вот тебя заставлю огурцы солить да за индюшками ходить.

— Ну уж, пожалуйста! мы и так едва ноги таскаем... — сказала Александра Семеновна.

— Нет! — продолжал студент, — я теперь просветлел! И слава богу! Я понял, что такое наше образование... Оно калечит людей, выжимает из нас всю кровь... Недавно я читал где-то, что школа имеет на учеников самое губельное влияние: молодые люди тупеют, чахнут, а некоторые даже перестают расти, — так что под губельным влиянием школы люди начинают вырождаться... Насчет наших гимназий — так там прямо сказано, что педагоги своими уроками гонят учеников, как почтовых лошадей... Славные ямщики!..

— Что же, по-твоему, так и оставаться невеждой? — возразила мать.

— Лучше невеждой, — проговорил молодой человек, — но здоровой, рабочей силой, нежели сухим буквоедом и ученым бюрократором, да вдобавок еще...

Студент встал и объявил:

— Довольно об этом!.. Пойдемте лучше в сад... Что, жива моя лошадь?

— Жива, — сказал старик, — ходит в пристяжке.

— Ну, а твои собаки, куры? — спросил Василий Егорыч сестру.

— Пойдем, я тебе покажу: посмотри, Вася, какие у меня цыплята...

Варвара Егоровна взяла брата под руку, и все отправились в сад.

Любуясь цветами, зеленью, липовой аллеей, молодой человек говорил:

— Ах, как у вас хорошо! Земной рай! И так, папа, ты не сердисься, что я приехал? Да и почему мне не посвятить себя агрономии? ведь ты более половины своей жизни занимался хозяйством... А по теории Дарвина яблоко недалеко падает от яблонки.

Из сада все семейство отправилось во флигель, старинное здание, выстроенное на случай приезда гостей, где должен был жить Василий Егорыч. Осмотрев комнаты, молодой человек назначил одну из них для Новоселова и решил просить его перебраться сюда на целое лето, так как земля Новоселова сдана была в аренду до

сентября, значит до того времени делать ему было нечего в своем имении; а если он непременно захочет пахать, то Василий Егорыч обещался снабдить его и сохой и лошадыю. Не рассчитывая на знакомство в своем околке, молодой человек дорожил Новоселовым как человеком просвещенным и бывалым, с которым не будет скучно всему семейству. Женщины известили его о приезде графа, о его ученых занятиях; они принялись упрашивать Василия Егорыча съездить в Погорелово, сделать визит графу. Молодой человек изъявил свое согласие. На обратном пути к дому Александра Семеновна сказала своей племяннице:

— Ты, Варя, смотри не влюбись в графа. Я знаю, Новоселов не произведет на тебя впечатления... ты его уж знаешь... но граф... граф... Я боюсь за тебя...

— Меня они оба интересуют,— сказала девушка.

— Новоселов-то чем же?

— Как же, тетя! такой умный человек, а хочет пахать.

Александра Семеновна засмеялась и сказала:

— Да это он просто хочет прослыть за оригинала. Но граф... я заочно влюблена в него!..

— Я тоже с нетерпением хочу видеть этого столичного льва,— сказала Карпова.

— Заварил ты у меня кашу!— заметил старик сыну,— бабы-то уж теперь влюбились в графа.

Карпова обняла мужа и, целуя его, сказала:

— Да разве я променяю тебя на кого-нибудь? Что нынешняя молодежь? На что она похожа?

— Нет, мой друг,— заметил старик,— я хорошо помню пословицу: «Не верь коню в поле, а жене в поворье!»

IV

НОВОСЕЛОВ

После обеда молодой Карпов отправился во флигель соснуть, так как он проехал более тысячи верст не отдыхая. Старик, по всегдашнему своему обыкновению, сидел в комнате жены в огромных, старинных креслах и дремал. Накрыв его платком от мух, Карпова ушла наверх, где Александра Семеновна, при помощи горничной, рассаживала цветы. Варвара Егоровна с дворовыми и кре-

стьянскими девицами качалась в саду на качелях. Мало-помалу спустились сумерки. Зала осветилась лампой. На столе явился самовар.

Около девяти часов к крыльцу подъехала крестьянская телега, из которой вылез плотный мужчина лет тридцати двух, с окладистой бородой, в сюртуке и в русских сапогах.

— Прикажете подождать?— спросил мужик.

— Нет, ступай! Отсюда я как-нибудь доеду,— сказал гость,— вот тебе за труды...

Мужик снял шапку, взял деньги и, стоя на коленях в телеге, задергал вожжами лошадь, к морде которой начали бросаться собаки. В это время из сада выбежала, с большой куклой на руках, Варвара Егоровна и закричала на собак; они, искоса поглядывая на госпожу, вдруг смолкли и начали расходиться по сторонам.

— Здравствуйте, Варвара Егоровна!— пожимая руку девушке, сказал гость,— как вы выросли!.. и узнать нельзя...

— Ведь мы с вами не видались около двух лет,— отвечала Варвара Егоровна,— вы тоже изменились, Андрей Петрович, пополнели, обросли бородой...

— И постарел, — добавил гость.— Что это, вы в куклы играете?

— Да, играю; посмотрите, какая славная кукла: крестьянская баба, в поняве, в лаптях...

— Ваши дома?

— Дома; брат Вася во флигеле. Катя! — обратилась Варвара Егоровна к одной из дворовых девиц, — завтра приходи опять качаться да захвати с собой гармонию...

— Варвара Егоровна, а нам приходиться? — спросили крестьянские девушки.

— Непременно, да чтобы песни играть и плясать...

— Вы весело проводите время,— говорил гость, входя в переднюю...

— Еще бы!..—проговорила девушка и в одну минуту очутилась в зале с известием: — Знаете, кого я привела? Андрея Петровича.

В зале сидели дамы и старик. Молодой Карпов еще не просыпался. При появлении Новоселова дамы воскликнули:

— Давно пора вам показаться... Где это вы пропали, Андрей Петрович?

— Садитесь-ка, — сказал старик.

— Фи! да он в русских сапогах! — воскликнула Карпова. — Варя! подай мне флакон... Что с вами? не советно вам так одеваться?

— Что ж, — осматривая свою одежду, говорил гость, — я не знаю, чем дурен мой костюм?

— Ничего! В деревне надо жить по-деревенски, — заметил старик. — Ну-ка, рассказывайте, где были, что видели...

Новоселов сел за стол.

— В последнее время я жил в Петербурге и часто, Егор Трофимыч, вспоминал вас: помните, вы когда-то говорили, что в Петербурге живут одни не помнящие родства...

— Ах да, да... что ж, разве это не правда? Признаюсь, не люблю я этого города! — сказал Карпов, — вертеп...

— Ну, а на службу не поступили до сих пор? — спросила Александра Семеновна.

— Какая служба! Бог с ней!

— Что же! вы ведь не Рудины... вы люди новые, — вам стыдно без дела шататься...

— Зато у нас и другие вопросы, нежели у Рудиных: те век целый исполинского дела искали...

— А вы что же?

— А мы не погнушаемся и черной работой...

— Скажите, Андрей Петрович, правда, будто вы хотите пахать землю...

— Совершенная правда. Вас это изумляет?

— Кого это не изумит? При ваших сведениях вы хотите взяться за соху.

— Вот сведения-то и привели меня к тому, что надо взяться за соху... Знаете ли что, Александра Семеновна: мы так привыкли есть готовый хлеб, что уж не только пахать, просто купить себе к обеду провизии на рынке мы считаем за дело недостойное нас. Странно то, что есть нам не стыдно, а добывать пищу стыдно.

— Bravo! bravo, — сказал старик, — хорошенько их, а то только и слышишь: «Ах, какая скука! боже! какая скука!..» А отчего? — все от безделья!..

— Впрочем, я не знаю, как для кого, — продолжал Новоселов, — по крайней мере относительно себя я решил...

— Пахать? Ну, а нам, по-вашему, жать и снопы вязать?

— Позвольте, чем же дурно это занятие? По-моему, все же лучше взяться за черную работу, нежели жить так, как живет весь наш так называемый образованный класс. Нет-с, Александра Семеновна, в природе существует правда: вы посмотрите, все эти образованные, устроившие себе карьеру — задыхаются от скуки...

— Значит, вы идете против образования, против науки?

— Нет, я ратую только против такого образования, какое существует у нас. Просвещаемся мы из-за погони за карьерами, полагая все свое счастье в окладах да в квартирах; мало того, мы добиваемся совершенной праздности; в настоящее время весь Петербург, вся Москва, весь цивилизованный русский мир хочет выиграть двести тысяч — для чего? для того, чтобы всю жизнь лежать на боку со всем своим потомством... Зато посмотрите, что делается в Петербурге-то!

— Что такое?.. Расскажите-ка, Андрей Петрович, — посмеиваясь, сказал старик.

Новоселов закурил сигару.

— В нашей северной Пальмире, особенно в последнее время, когда учение Дарвина, понятное в смысле обирания ближнего, вошло в плоть и кровь каждого, процветает непроходимая тоска. Петербургский житель (я разумею петербуржца обеспеченного) чувствует в себе такую неистощимую пустоту, что ему страшно остаться с самим собой наедине, как ребенку в темной комнате. Не угодно ли вам взглянуть на Невский около двух часов пополудни, когда столичное население с бодрыми силами несется за впечатлениями; это население, как рыба в жаркое время, шарахается в разные стороны: тоска выгнала всех из домов и преследует даже по улице, массы людей в скунсовых и бобровых шубах. Все предприняли поход против общего врага — ошеломляющей скуки. При этом замечательно то, что, как говорил когда-то Роберт Оуэн, *все во вражде с каждым, и каждый во вражде со всеми*. Поголовное отупение доходит до такой степени, что лишь только часовая стрелка укажет шесть с половиною вечера, по всем улицам сломя голову летят кареты, тройки, кукушки, рыболовы, и все это стремится в театры, как

в овчую купель, в чайнии омыться от проказы, все как будто вдруг почувствовали приближение смерти... А ведь кажется, чего бы желать всем этим людям в бобрах да в скунсах? Слава богу, все есть... удобства на каждом шагу: обидел кто — есть суд: даже на каждом перекрестке стоит полицейский чиновник, который смотрит, не задели бы вас плечом, оглоблей, не сказали бы вам дерзкого слова. Есть хотите? тысячи ресторанов и трактиров к вашим услугам. Об увеселениях и говорить нечего... Между тем скука, как море, волнуется повсюду. Так предложить нашему образованному классу пахать землю — давно пора!.. На что весь этот люд народу? Цивилизация, основанная на тунеядстве, развращает только людей, делает их отребьями мира сего... Вы вспомните хоть одно: например, в вашем пруде кто-нибудь утонул... ведь ни мы с вами, ни один петербургский «прогрессист» не полезем туда, особенно в октябре... а любой мужик полезет, намочится, простудится и все-таки достанет своего ближнего... Мы же будем красноречиво рассуждать о гражданских доблестях, разыгрывать из себя одержимых гражданской скорбью... Вот почему, Александра Семеновна, я и обратился к сохе, в надежде хоть сколько-нибудь себя исправить... Мы Сатурново кольцо, отделившееся от планеты, или, вернее, нарыв, которому надо же когда-нибудь прорваться... При этом нельзя не вспомнить Руссо, который в своем «Эмиле» советует добывать насущный хлеб собственными руками: вам, говорит, не будет тогда надобности подличать, лгать перед вельможами, льстить дураку, задобривать швейцара и т. д.; пускай мошенники заправляют крупными делами, вам до этого нет дела; добывая же своими руками хлеб, вы будете оставаться свободными, здоровыми и честными людьми...

— Да, Андрей Петрович! — вдруг воскликнул старик, — все это хорошо, прекрасно, умно: вам Петербург надоел, служить вы не хотите, значит решено!.. Вот что: в самом деле — поселяйтесь с нами в деревне и принимайтесь хозяйничать... По опыту вам скажу — лучше ничего не может быть на свете, как сельское хозяйство... Я уверен, что вы его страстно полюбите... Но только этот вздор выкиньте из головы.

— Какой вздор?

— Самому пахать землю... Как это можно!..

— О нет, Егор Трофимыч... Я решился...

— Ну, как хотите! Я уверен, однако, что вы сами скоро убедитесь, как многого вы еще не знаете, хотя и странствовали долго по белу свету... Во всяком случае, поживите-ка у нас пока... давеча Вася хотел вас просить об этом... он и комнату вам приготовил...

Старик потрепал гостя по плечу.

Особенная любезность и внимание, которые проявил старик в отношении к Новоселову, имели своим источником весьма житейское обстоятельство. Слушая проповеди Андрея Петровича, он мысленно делал им подстрочный перевод такого содержания: проповедник, как видно, угомонился — он у пристани; те беспокойные страсти, которые обуревают юношей, сменились определенным, трезвым взглядом на жизнь; города, эти омуты разврата и мотовства, потеряли для него обаятельную силу; человек установился, и нет никакого сомнения, что из него выйдет дельный, расчетливый и трудолюбивый хозяин, у которого, однако, весьма порядочное имение. Сверх того, старик знал Новоселова как доброго и честного своего соседа: слушая с удовольствием его энергические рекламы против мотовства, дармоедства, праздности городской жизни, Карпов в то же время с необыкновенною нежностью поглядывал на свою дочь, составлявшую предмет его родительской заботливости и даже тревоги относительно ее будущности, так как, по его мнению, во всем околке не было ни одного молодого человека, на которого бы он мог рассчитывать как на будущего зятя и который бы, женившись на Варваре Егоровне, не промотал ее состояния. Новоселов же представлял много задатков, обеспечивавших родительские надежды и планы... «По крайней мере не мешает поприглядеться к Новоселову», — решил старик. Дамы, напротив, не только не увлеклись пропагандой Новоселова, но даже видели в ней прямую солидарность со взглядами и убеждениями Карпова, закабалившего их в такую трущобу, из которой они день и ночь думали вырваться, как из острога, поэтому они и не рассчитывали на Новоселова как на зятя; по их мнению, зять должен быть их спасителем: он никак не должен порицать городов уже по одному тому, что в городах есть театры и разного рода увеселения. Таким спасителем мог быть только человек светский, galant

homme¹, жуир, но ни в каком случае не пахарь и проповедник сохи.

— Ну что вам там делать в своем имении,— говорил старик Новоселову,— земля ваша сдана в аренду; ни прислуги у вас, ни заготовленной провизии; ведь вы как с неба свалились в свою хату. Поживите-ка у нас, и нам с вами будет веселей...

— Действительно, — отвечал Новоселов, — до первого сентября мне делать нечего на своей земле...

— Ну и погостите у нас...

— Если я останусь у вас, то с условием...

— Говорите, с каким?— отвечал весело старик.

— Пахать землю... до сентября...

— В чем же дело? ну, вам дадут соху и клячу. Пашите, коли охота берет... Я знаю, что вы скоро набьете оскомину...

— Не беспокойтесь! Я положил себе за правило каждый день, во что бы то ни стало, вспахать полдесятины...

— Фуй!.. Оставьте, пожалуйста, ваши замыслы...— воскликнула Карпова,— право, я уж и сама начинаю сомневаться в пользе образования: ну, скажите, чему вас выучили? Пахать землю!.. Варя! подай мне vinaigre de toilette...².

В это время вошел молодой Карпов.

— А! Андрей Петрович! вот это делает вам честь, что сдержали слово; а уж я вам приготовил комнату, да еще какую: с цветами и огромной картиной, представляющей избиение десяти тысяч младенцев во времена Ирода. Давно вы приехали?

— Только сейчас.

— А уж он нам тут говорил такие проповеди! — сказала Карпова.

— Что, о пахоте?— спросил молодой Карпов.

— Нет,— подхватил старик,— я, с своей стороны, очень благодарен Андрею Петровичу: ей-богу, дело говорил, особенно насчет Петербурга... что дело, то дело! А и впрямь все хотят есть хлеб на боку лежа, да еще обманывать друг друга... от прощелыг отбою нет!.. Нет, вы, Андрей Петрович, пожалуйста, поживите у нас...

— Разумеется,— сказал сын.— Да разве я еще пушу отсюда? Итак, решено? вы остаетесь? А на днях съездим

¹ Любезник (франц.).

² Туалетный уксус (франц.).

с вами тут к некоему графу... Интереснейший тип! аристократ, изучающий естественные науки. Понимаете, граф-натуралист...

— Ах, Вася, пожалуйста, съездите,— сказали дамы,— да вы ступайте завтра! что вам тут делать? А то чего доброго граф уедет куда-нибудь — и останемся на бобах...

— С какой же стати я-то поеду?— возразил Новоселов,— я с ним не знаком, да и нет никакой крайности с ним знакомиться...

— Андрей Петрович! мы все вас просим! — заговорили дамы.— Что вам стоит съездить?

— Бестолковые бабы! — перебил старик. — Скажите, ради Христа! на что вам этот граф?

— Послушайте, любезнейший Егор Трофимыч,— возразила Александра Семеновна,— не вы ли сами давеча говорили, что приедет Вася, он познакомится с графом; ведь это ни на что не похоже!.. вы уж начинаете отпираться от ваших слов.

— Ну, делайте, как хотите! — зажимая уши, сказал старик.

— Итак, Андрей Петрович, вы согласны?.. — объявил молодой Карпов.

— Андрей Петрович! Я вас прошу,— сказала девушка,— съездите...

— Варя вас просит,— сказали дамы.

Старик вдруг погрозился на дочь и сказал:

— И ты, негодная, туда же?.. Постой ты у меня: недаром я тебя хотел заставить индюшек стеречь...

— Что ж, папочка, разве я не сумею? — возразила дочь,— я, пожалуй, и огурцы буду солить, как вы говорили...

— Так тебе хочется познакомиться с графом?

— Я ни разу не видала ни одного графа: какие они такие бывают?

Все расхохотались. Старик поцеловал дочь и сказал ей:

— Ну, спой же ты нам что-нибудь...

— А вы поете? — спросил Андрей Петрович.

— И как еще поет! — воскликнул старик,— впрочем, одни русские песни... Я, признаться, терпеть не могу иностранных. Варя! «Выду ль я на реченьку». Старик начал: «Вы-ы-д-у ль я...»

Девушка взяла аккорды и запела; молодые люди подхватили. Старик, сидя на диване, с большим чувством

пел: «По-о-осмотрю ль на быструю...»—причем он громко отбивал такт ногой.

— Неправда ли, хорошая песня? — спросил он, — и все это так просто...

— А вы поете прелестно! — обратился к девушке Новоселов, — у вас очень сильный сопрано.

— Ага! она у меня, батюшка, знатная певица! — сказал старик, — а главное, все самоучкой... Ну-ка, Варя — «Стонет сизый голубочек».

По окончании пения дамы объявили: «Господа! надо распорядиться насчет экипажа».

— Папа, мы поедem в тарантасе, — сказа⁴ сын.

— Неловко! — возразили дамы, — надо в коляске...

— Разумеется, к нему надо ехать в коляске, — сказал старик, — он хоть лыком шит, а все же его сиятельство.

Дамы, тронутые любезностью старика, принялись целовать его, и вечер, к общему удовольствию, окончился весело...

Молодые люди отправились во флигель. Хозяин вышел на крыльцо проводить их. Сверху, с балкона, раздался женский голос: «Покойной ночи...»

— Все ли у вас там есть: подушки, одеяла? — спрашивал старик.

— Все, все!

— Не нужно ли вам провожатого?

— Прощайте!.. не надо!

Между тем как уже далеко было за полночь и во флигеле было темно, в доме светились огни: там шла оживленная беседа по поводу предстоящего знакомства с графом. Дамы собрались в кабинет хозяина и энергически внушали ему мысль, что граф, сообразно своему званию, вдоволь пожуировавший и наскучивший пустотой светской жизни, непременно должен обратить внимание на Варю, как на свежий полевой цветок; ибо известно, что люди, изнеженные утонченности цивилизации, всегда обращаются к простоте, к дубравам и сельским девам: они приводили в пример карамзинского Эраста, вспыхнувшего благородною страстью к «Бедной Лизе»; Евгения Онегина и Татьяну, наконец Фауста, влюбившегося в простую, необразованную девочку Гретхен. С этими страйностями человеческой природы старик был знаком по собственному опыту, и как человек, в свое время с избытком вкусивший благ земных,

он не возражал дамам. Но его расчеты на графа, как на будущего зятя, не согласовались с воззрениями дам именно в том отношении, что граф есть не что иное, как вулкан; кто может поручиться, что этот вулкан угас?.. Старик даже уверял, что натуры, подобные графским, княжеским, баронским и т. п., представляют собою вулканы почти неугасаемые. Чтобы умерить воодушевление, с которым дамы относились к погореловскому графу, Карпов приводил в пример Геркуланум и Помпею, за свою излишнюю доверчивость засыпанные огненной лавой Везувия. Он высказал, что гораздо основательнее рассчитывать на Новоселова, который испытал в своей жизни много горя, с раннего возраста лишился отца и матери, лбом пробивал себе дорогу, приобрел твердый характер и правильный взгляд на жизнь. Зная упрямство старика, дамы ему не возражали относительно достоинств Андрея Петровича, но вместе с тем они дали заметить старику: отчего же не сблизиться с графом, как с владельцем огромного имения? Притом есть много вероятностей, что граф даже совсем не обратит внимания на Варвару Егоровну; правда, она очень красива, умна, недурно поет; но она мало развита, ее манеры чересчур резки, у ней нет дара слова; а уменье петь русские песни едва ли будет иметь какое-нибудь значение в глазах великосветского человека, слух которого воспитан на утонченных мелодиях итальянской музыки. Старик был побежден этими доводами, он не мог не сознаться, что дамы говорили правду, и ему стало обидно при мысли, что граф, чего доброго не удостоит внимания его дочь.

Так как беседа велась дамами в самом восторженном тоне, неволью увлекавшем самого старика, то и кончилась она в пользу того мнения, что Варе не мешает из себя представить нежную лилию или нетронутый бутон, который мог бы заинтересовать графа не только как натуралиста, но и как знатока дела. При этом решено было уговорить юношу обращаться с графом наивозможно любезнее, так как студент не раз заявлял свое пренебрежение к аристократам, называя их выродившейся расой.

Господин пахарь (Новоселов), по мнению дам, был как нельзя лучше на своем месте: проповедуя соху, он тем самым убеждал людей, подобно Руссо, обратиться к природе, к ручейкам и лесным дебрям, где именно и произрастают такие пленительные цветы, как Варвара

Егоровна; поэтому есть надежда, что его сиятельство тотчас устремится к этому цветку, благодаря тому, что не встретит в означенных дебрях казенной вывески, которую он привык встречать в городских парках: «Травы не мять, собак не водить» и т. д.

Во время этого шумного собрания Варвара Егоровна покойно спала на своей постельке, нисколько не предвидя роли, какая ее ожидала с завтрашнего же утра. Так как Александра Семеновна спала в одной комнате с девушкой, то, пришедши наверх со свечой в руке, она долго смотрела на спящую племянницу; по-видимому, ее обуревали тревожные мысли. Девушка вдруг проснулась и с изумлением устремила взор на свою тетю.

— Варя, друг мой,— исполненная какого-то вдохновения, проговорила Александра Семеновна,— если бы ты знала, о чем я думаю...

— О чем, тетя? — с беспокойством спросила девушка.

Тетя медленно опустилаась в кресла и голосом, в котором слышалось утомление, произнесла:

— Ах, мы сейчас долго толковали о тебе, мой друг... Видишь ли,— надо говорить правду. Ты хороша собой... почему знать? может быть, ты будешь графиней... графиней, мой друг! это великое слово!

При этих словах Александра Семеновна чуть не заплакала, а девушка испуганно вскочила с постели.

— Что с вами, тетя?

Александра Семеновна закрыла лицо руками.

— Тетя, милая, о чем вы плачете?

— Нет, я так... я не плачу, мой друг,— утираясь платком, говорила Александра Семеновна,— мне грустно стало; я вспомнила свою жизнь, и мне показалось, что ты, которую я так любила, любила более, нежели самое себя, ты забудешь меня... Но я успокоилась... будь что будет... видно, не возратить того, что уже давно унеслось в вечность. Вот в чем дело, моя милая,— начала Александра Семеновна.— Ты уже знаешь, что Вася завтра хочет ехать к графу. Нет никакого сомнения, что граф познакомится с нами: ему приятно будет у нас благодаря таким людям, как Новоселов и твой брат, с которыми он будет беседовать об ученых предметах. Но кто знает? может быть, ты ему понравишься... Ах, Варя! я без волнения не могу вспомнить об этом! Представь себе, граф! роскошный дом, аристократическая обстановка, щеголь-

ские экипажи... пойми, мой друг, какая жизнь ожидает нас всех! Он человек богатый, у тебя у самой прекрасное состояние. Мы могли бы все за границу ездить, в Петербург, уж я не знаю куда! Ох! мои нервы не выносят этих картин. Господи! — вдруг обратилась она к образу, — неужели для меня нет радости в жизни... Нет! ты щедр, долготерпелив и многомилостив...

Затем началось нечто вроде репетиции для Варвары Егоровны: тетя принялась ее учить, как можно дальше держать себя от графа, но так, однако, чтобы ни в каком случае не терять его из виду; не позволять ему целовать ни одного своего пальчика, поменьше с ним разговаривать, ходить постоянно с куклой в руках и раз навсегда сказать графу, что папаша ей и думать не приказал о замужестве прежде, нежели ей исполнится двадцать лет, на том основании, что только с двадцатилетнего возраста девушка начинает входить в смысл. А если Варвара Егоровна заметит, что граф начинает увлекаться ею, тогда еще более надо его томить и мучить; самой же быть холодней и неприступней.

У

П О Е З Д К А

С восходом солнца в барском доме все начало пробуждаться; кучера повели поить лошадей; горничные принялись бегать из кухни в дом и обратно с накрахмаленными юбками, утюгами, ботинками; кузнец справлял стоявшую у крыльца коляску; по двору бродили больные грачи — питомцы Александры Семеновны. Старик Карпов давно проснулся и, утираясь полотенцем, посматривал из своего кабинета, как водовоз запрягал свою лошадь; он спрашивал, почему в водовозку не запрягают другую лошадь и отчего наливка, которою черпают воду, никогда не привязывается к бочке; мимо барина, по направлению к саду, с низкими поклонами прошли деревенские бабы с люльками за плечами и заступами в руках; впереди их шел садовник, седой старик в белом фартуке: барин сделал и ему несколько вопросов; завидев вдаль медленно шедших мужиков без шапок, барин приказал подавать себе одеваться. Во флигеле, при громком кудахтанье кур, молодой Карпов, лежа в постели, спрашивал лакея:

— Барыни встали?

— Никак нет; барин поднялся: они с мужиками занимают.

— Андрей Петрович! — громко крикнул Василий Егорыч.

— Чего? — слышался хриплый голос из другой комнаты.

— Вы проснулись?

— Проснулся.

— Хорошо спали?

— Великолепно. Что это у вас за писк на потолке?

— Крысы; должно быть, у них идет борьба за существование; флигель старинный: целые поколения развелись.

Василий Егорыч накинул халат и вышел в залу, где отворил все окна, выходившие в сад: там, среди кустов сирени и акаций, бродили наседки с цыплятами, чирикали воробьи и распевали петухи.

— Андрей Петрович! какая, батюшка, погода! ни один листок на дереве не шевельнется. Тю-тю-тю! — вдруг закричал Василий Егорыч, — Иван!пусти щенка.

Лакей Иван отворил дверь, и в залу вошел маленький черный щенок, пригибая голову перед хозяином и ласково виляя хвостом. Василий Егорыч взял его на руки и поцеловал в голову.

— Где это вы были? где таскались?

— С кем вы там разговариваете?

— Вот с дорогим гостем: посмотрите, что за прелесть!..

Василий Егорыч внес щенка в комнату Новоселова и положил его на постель.

— Это Варин... Я не знаю, как он сюда попал: им в саду выстроена будка. Варя страшная любительница по части кур, голубей, собак и всякой твари. Вы посмотрите, глазки какие!

— Да! я уж не раз думал об этом, — говорил Новоселов, прикрывая щенка одеялом, — у животных гораздо лучше глаза, чем у многих людей.

— Это верно! у какого-нибудь московского сановника или у Удар-Ерыгина с Кузнецкого моста — глаза черт знает на что похожи: точно у аллигатора... впрочем, и у этого земноводного они хоть любопытней и не столь отвратительны... Вот окружу себя здесь бессловесными живот-

ными и буду жить, как натуралист Франклин... погружусь в химию, буду производить разные анализы.

— В последнее время, — начал Андрей Петрович, — этих городов, признаться, я видеть не мог. Пробовал перебраться в Москву, но в Москве еще больше безобразий, нежели в Петербурге: татарщина в полном разгуле, с примесью какого-то старушечьего мистицизма и капустного запаха... Я было думал в Москве определиться на службу; но с одним университетским дипломом, как оказалось, хоть лоб разбей — ничего не сделаешь: надо сперва несколько раз заблуждаться с заднего крыльца к графине Чертопановой; притом на естественников смотрят, как на антихристов... Пытался пробовать счастье в губернских городах, хотя в писцы поступить... но там всё играет в карты, пьянствует и спит после обеда... Об уездных городах и говорить нечего: там ведут еще речь о том, что правда ли, дескать, земля вертится?

— Экая мерзость! — вздохнув, сказал Василий Егорыч, задумчиво глядя в окно.

— Я, признаться, только и пришел в себя, как очутился в деревне: вы не можете себе представить, до чего доходила моя радость при виде этих полей, березовых рощиц, грачей и так далее.

Лакей принес газеты и объявил:

— С почты привезли...

— Ну-ка посмотрим, что новенького? — сказал Василий Егорыч, срывая обертки с газет, — все об обрусении толкуют. «В ущелии, — читал он, — духовное лицо говорило проповедь абхазцам, на лицах которых выражалось умиление». Ха, ха, ха!.. Абхазцы умилились, наконец... Они, должно быть, с умилением посматривали на проповедника, заряжая винтовки.

— Ну-ка, нет ли еще чего? — проговорил Новоселов. Василий Егорыч читал:

— «Прискорбный случай; один из здешних врачей, сказав помощь больному старцу, забыл бедную обстановку и горе несчастной семнадцатилетней дочери больного...»

— Оставьте, черт с ними! — проговорил Новоселов. Лаская щенка, он продолжал: — Недавно я ехал на перекладных с одним офицером; он мне рассказывал такие мерзости из столичной жизни, что я с удовольствием засматривался на первую попавшуюся ветлу, даже на лежавшую в яме свинью, которая, в моих глазах, была

несравненно чище и опрятнее всех этих столичных шалопаев...

Новоселов встал и начал натягивать сапоги, декламируя:

Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано!..

Впрочем, как не дано? — продолжал он, — совершаем кое-что: грабим бедных, ездим в каретах да еще слышем за передовых людей. А грабежи производим благопристойнейшим образом...

— «Завлечение обманом девицы в публичный дом, — читал Василий Егорыч. — Грустный случай: молодая, образованная девушка приехала в Петербург для приискания себе места учительницы и публиковала о том в газетах...»

— Бросьте! я знаю, что дальше!

— Что? — спросил молодой человек.

— Ну, вскоре к ней явился «передовой» господин...

Василий Егорыч зачитал: «Вскоре к ней явилсяличный господин...» Тьфу!

— Да ну их к черту!

Василий Егорыч скомкал газеты и бросил их на пол. Новоселов начал подвязывать перед зеркалом галстук.

— Вот этих бы господ в соху-то! — крикнул из другой комнаты Василий Егорыч.

— Они делом занимаются; просвещают отечество...

— Если бы я имел подобающую власть, выстроил бы где-нибудь в степи избы; завел бы сбрую и непременно запряг бы в соху этих «прогрессистов».

— Да ведь не станут работать, все перековеркают!

— Что значит вольный хлеб-то!

— А главное, даровой!.. — прибавил Андрей Петрович. — Однако сегодня мы хотели ехать к какому-то графу.

— Да, да!

— Уж коляску приготовили, — сказал лакей.

— С какой стати мне-то?

— Пожалуйста, Андрей Петрович: дамы просили... Нельзя... да мы к нему на одну минуточку; сделаем визит, и только... Вы так в своем костюме и поедете, нам с этим графом церемониться нечего: если он порядочный чело-

век, мы готовы с ним завести знакомство, а если дрянь, так повернем назад оглобли. Мне думается, не сознал ли этот господин всю пошлость окружающей его среды, не хочет ли он выйти на путь истинный... он, видите, ударился в естественные науки; признак добрый; не свершился ли с ним перелом? А впрочем, кто его знает? Не мудрено и то, что в петербургской гостинице ему подали счет, в котором значилось невероятное количество шампанского, гатчинских форелей и тому подобное, он вдруг и взялся за естественные науки: ведь теперь в окнах всех модных магазинов торчат книги: «Человек и его место в природе», «Мир до сотворения человека», «Ледники» и пр.

— А вы, однако, Василий Егорыч, распорядитесь насчет лошади и сохи.

— Ах да! с величайшим удовольствием. Эй, Иван! пошли старосту. Я и для себя тоже велю приготовить соху: это вы великую истину открыли: где-то я читал, что гораздо больше умирает людей от обжорства, нежели от голода, и это я приписываю тому, что мы ничего не делаем, не работаем, а только едим, пьем и катаемся... Отчего у какой-нибудь аристократической барышни шея держится чуть не на ниточке и вся она похожа на копченую сельдь? оттого что не работает, а сидит, да сплетничает, да по шести блюд за обедом кушает...

Вошел староста.

— Слушай, Агафон: приготовь, друг любезный, две сохи и две лошади.

— Слушаю.

— Для нас вот с Андреем Петровичем... да оставь недалеко от дому десятин двадцать пару, чтобы мужики не пахали...

— Для вашей милости?

— Для нашей, сударь, милости...

— Стало быть, мужики будут пахать?

— Да мы, мы! понимаешь?

Староста от смеху закрыл свой рот ладонью и проговорил:

— Чудны вы, Василий Егорыч!

— Вот тебе чудны! пришло, брат, время: пора и господ запрягать в соху. А лошадей выбери таких, которые бы нас учили пахать... Как нужно покрикивать на них во время пахоты?

Староста снова фыркнул.

— Ну, скажи!..

— Да, стало быть: *вылезь!* Ой, ой, ой!.. Чудные вы, право слово...

— А еще как?

— *Возле, ближе!* хи-хи-хи...

— Ну и отлично.

Лакей доложил, что чай готов.

Молодые люди отправились в дом. На крыльце, в белом платке, с розовым поясом, стояла Варвара Егоровна, окруженная разными животными, которым она раздавала хлеб; рядом с ней стояли две крестьянские бабы, одна из них держала на руках ребенка. Василий Егорыч, поцеловав сестру, прошел в дом; Новоселов остался на крыльце.

— Видите, Андрей Петрович,— заговорила девушка,— собаки на вас не бросаются, как вчера; оттого, что я здесь: они меня боятся...

— Ваш брат мне говорил, что вы любите животных: это вас рекомендует с отличной стороны...

— Я их очень люблю. Вот посмотрите, Андрей Петрович: у этой бабочки ребенок болен: не знаете ли, чем полечить?

— Она из вашего села?

— Из нашего: одна-то — моя кормилица... она и привела эту бабочку...

— Ну, русский гражданин, позволь на тебя взглянуть,— обратился Новоселов к младенцу, которого мать торопливо разворачивала. Ребенок, с корою золотухи на голове, с запекшимися устами, тихо стонал.— Вот эти ножки, Варвара Егоровна, посмотрите,— продолжал Новоселов,— обуются в лапотки, будут ходить за сохой, за обозами в крещенский мороз, в октябре месяце при вытаскивании пеньки из реки промокать, опухать, покрываться язвами от простуды и от скорбута вследствие плохой пищи, и эти подвиги будут совершаться на тот конец, чтобы нам с вами было хорошо.

— Вы помогите ему...— с участием промолвила барышня.

— Чем же я помогу? вы видите, какова мать-то.— Что вы едите, тетушка?

— Лебеду, касатик,— сказала баба.

— Значит, ребенку не жить на свете; а вот придет

рабочая пора, крестьянские дети будут умирать, как мухи.

— Ступайте,— сказала барышня бабам,— сегодня я пришла к вам горничную.

Бабы поклонились и пошли.

— Итак, сегодня вы едете к графу? — сказала Варвара Егоровна Новоселову.

— Вот как! уж вас, кажется, занял граф?

— Нисколько! Я так...

— Послушайте, Варвара Егоровна, вот вам мой искренний совет: не увлекайтесь этой пустой, исполненной безделья и тоски — светскою жизнью: извратятся все ваши добрые инстинкты; да вы и не годитесь для света. Будьте тем, чем создал вас бог; поверьте, счастье к вам будет ближе.

— Да с чего вы взяли, что я занята графом?..

— Я говорю в видах предостережения, из желания вам добра... Впрочем, извините...

— Ну, хорошо, извиняю... пойдете пить чай. А не правда ли, какая сегодня славная погода? Вам будет весело ехать...

Дамы, зазвав Василия Егорыча в кабинет, упрашивали его пригласить графа к себе и выбросить из своей головы предрассудки насчет аристократов: граф нисколько не виноват, что родился в великосветской среде; поэтому бросать камень в невинное существо не следует, а тем более поддерживать сословную вражду — в наш просвещенный век — недостойно порядочного человека.

Наконец, четверня лошадей, запряженная в крытую коляску, сделав несколько туров около барского дома, подъехала к крыльцу. Все семейство вышло провожать молодых людей. Старик Карпов расспрашивал кучера:

— С левой стороны какой же у тебя...

— Косоурый... из Лебедяни...

— Рессору-то подвязал?..

— Варя! Варя! отойди! — кричали дамы девушке, которая гладила рукою лошадь.

— Осторожней, мой друг,— сказал отец.

— Ничего, папочка, он смирный. Петр! — обратилась Варвара Егоровна к кучеру,— ты не шибко поезжай и не смей стегать лошадей; а то я тебя тогда!..

— Ну, до свидания...

— Как я вам завидую, господа...— говорила Карпова,— когда же вы вернетесь оттуда?

— Если нам там будет хорошо — пожалуй, останемся обедать, а к чаю сюда...

— Вася, смотри же... во что бы то ни стало.

— Понять не могу, зачем я-то еду? — высунув голову в окно, говорил Новоселов.

— Ну, сидите уж!.. Пахарь!..

— Петр! Пошел!

— Прощайте!

Четверня тронулась, и коляска понеслась по направлению к церкви, завернула налево под гору и скрылась.

— Боже мой! со мной просто лихорадка! с таким нетерпением я жду развязки, чем все это кончится, — сказала Александра Семеновна.

— Я в восторге! — воскликнула Карпова, — вот когда начнется жизнь-то... А за все это надо благодарить вот кого... — Карпова обняла мужа и начала целовать его в глаза; старик покорно наклонился к жене и проговорил: «Что ж с вами делать? не сделай по-вашему — мне житья тогда не будет...»

Все принялись целовать старика.

— Варя! — сказала Александра Семеновна девушке, которая пробиралась в сад, — пойдем-ка наверх... я тебе что-то скажу...

— Тетя, милая! — умоляющим голосом воскликнула Варвара Егоровна, — я сейчас приду. Я только немножко покачаюсь...

— Послушай, mon ami: теперь эти качели и своих деревенских подруг надо будет оставить... *C'est impossible, ma chère...*¹

— Ну вот еще! — сказал старик, — что граф, так и застеть на пище святого Антония!.. Ступай, Варя! качайся... Если он добрый человек, я готов с ним делить хлеб-соль, а если он выскочка, какой-нибудь франт с Невского проспекта — бог с ним совсем...

Варвара Егоровна завидела в конце сада дворовых девиц и устремилась к ним. Вскоре послышалась гармония и звонкий смех. Старик приказал запрячь для себя лошадей в беговые дрожки, намереваясь проехать в поле. Дамы с зонтиками в руках отправились в сад.

Коляска неслась по полю среди колосившейся ржи, из которой выглядывали голубые васильки, белые колоколь-

¹ Это невозможно, дорогая моя.. (франц.)

чики полевого плюща, похожие на бабочек, летавших по межам; среди однообразного, глухого топота лошадиных копыт иногда слышался крик перепела, и вслед за этим вдруг появился ястреб, повертывая своей головой над самой рожью, как бы отыскивая смелую птицу; но перепел, при виде зловещей тени, мелькнувшей над его головой, смолкал надолго, вероятно пользуясь быстротою своих ног. Мимо коляски проносились полянки зеленеющего овса, льна и белой гречихи, мелкие дубовые кусты, овражки с маленькими псеками, наконец потянулись деревни с гурьбою нищих и неумолкаемым лаем собак; стоя перед угрюмыми, закоптелыми окнами избы, держа в руках посохи, нищие пели, как «солнце и месяц померкали, часты звезды на землю падали и как Михаил свет архангел трубил в семигласную трубу»; очевидно, песня грозила готовой развалиться избушке страшным судом; избушка смиренно слушала грозную песню, как бы чувствуя за собой множество недоимок, за которые придется ей тошно на том свете.

Коляска продолжала мчаться по бревенчатым мостикам, мимо шумящей мельницы, прятанной в лозинковых кустах, где жалобно пищали кулики, мимо барских домов с маркизами и балконами, на которых сидели барыни и кавалеры.

Наконец, во всей своей красе открылся графский дом с огромным садом, из которого высоко поднимались столетние осокори, тополи и сосны. Над домом развевался флаг.

VI

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ВИЗИТА

Часов в десять вечера семейство Карповых сидело в зале. Хозяин, по обыкновению заложив за спину подушку, закрыв глаза, сидел на диване и время от времени сдвигал свою ермолку то на одну сторону, то на другую. Он делал это всякий раз, когда его занимали какие-нибудь новые мысли. В настоящее время он думал о том, какое направление следует дать возникающим отношениям к графу и к чему может повести знакомство с ним?

Его практический ум решил, что «пеший конному — не товарищ»: граф — особа высшего полета, между тем как

Карпов перед ним человек маленький, скромный земле-владелец, медными пятаками составивший себе *некоторое* состояние; хотя совесть подсказывала ему, что его состояние поспорит с любым графским. Как бы то ни было, Карпов не находил ничего общего между собою и графом и решил ни на волос не изменять своей обыденной жизни даже в таком случае, если бы его сиятельству вздумалось влюбиться в его дочь: не покупать лишнего вина, исключая лиссабонского, которое постоянно подавалось к столу, не одевать лакея лучше того, как он одет всегда, то есть с потертыми локтями на старом фраке и не совсем белыми нитяными перчатками.

Успокоившись на таком решении, старик открыл глаза и, с ласковой улыбкой посматривая на свою дочь, разглядывавшую с своей тетей «Иллюстрацию» за большим круглым столом, начал отбивать ногою такт под фортепьянную игру своей жены и припевать: «Рыба-ак, не шуми!» (Хозяйка играла отрывок из «Фенеллы».) Вдруг на улице залаяли собаки, и через минуту у самого подъезда раздались дружное фыркание лошадей.

— Наши приехали! — в один голос вскрикнули дамы.

В залу вошел Василий Егорыч, за ним Новоселов.

— Вот мы и от графа! — возвестил первый.

— Ну что, что?.. — наперерыв спрашивали дамы.

— Погодите, дайте перевести дух...

— Пили ли чай? — спросил старик.

— Пили у Андрея Петровича, — сказал юноша, — ука-зывая на Новоселова, — мы к нему заезжали, верст пять крюку сделали.

— А у графа обедали?

— Как же! у его сиятельства и обедали, и завтракали, и шампанское пили.

— Вот как! Значит, он вам был рад?

— Еще бы! — произнес молодой человек, доставая сигару.

— Ну? рассказывай по порядку, — сказали дамы, садясь все на диван против рассказчика, который стоял среди залы.

— Вася! что, красив он? — спросила Александра Семеновна.

— Чрезвычайно! если хотите, до тошноты красив... в вашем вкусе! Ну-с! приезжаем, — начал Василий Егорыч, закурив сигару, — камердинеры в белых жилетах встре-

чают нас у подъезда. Спрашиваем: «Дома граф?» — «Дома». — «Доложите ему: соседи по имению».

Хозяйка обратилась к Новоселову, сидевшему у окна:

— Послушайте, Андрей Петрович, вы явились в этом самом костюме?

— А то в каком же? — возразил Василий Егорыч.

— А я думала, что вы заедете к себе домой, переоденетесь...

— Ну, ладно! по платью встречают, а по уму провожают... не так ли, Андрей Петрович? — возразил старик.

— Оказалось, папаша, граф вас знает, — продолжал Василий Егорыч, — когда, говорит, он был предводителем, он ездил к моему отцу.

— Я его помню! — подхватил старик, — ему было тогда лет двенадцать...

— Начались разговоры: надолго ли? как и что? Зашла речь о Петербурге, о заграничной жизни и т. п. Граф был очень разговорчив. Я заметил, что приезд наш был кстати... Граф водил нас по саду, по оранжереям; ну, уж сад!.. просто итальянская вилла! Показывал нам памятник из каррарского мрамора, сооруженный его предками над одной собакой... показывал даже огромного медведя, которого он недавно купил за пятьдесят рублей у медвежатников.

— На что же он ему?

— Должно быть, для сильных ощущений... Словом, граф, как видно, жестоко скучает. О Петербурге вспоминает с отвращением: эти Берги, Деверии и т. п. ему ужасно надоели; рассказывал, как у кассы, в Большом театре, когда в афишах значилось, что будет петь Патти, двух любителей задавили до смерти. Черт знает что в самом деле творится!.. Представьте себе: несмотря на все увеселения, в Петербурге свирепствует такая пустота, что однажды (рассказывал граф) во время зимы два знакомые ему витязя ездили, ездили по Петербургу, наконец спрашивают лихача: «Послушай! что возьмешь свезти нас в поле и там заблудиться?»

— Как заблудиться? — спросили дамы.

— Очень просто: как плутают в поле?..

Все захохотали.

— Ну что же лихач?

— Лихач, разумеется, сообразил, в чем дело, говорит: «Заплатите мне двести рублей за лошадь и ступайте куда

знаете: мне, говорит, пока жизнь не надоела; у меня жена, дети... А с вами заблудишься, да и замерзнешь...»

— Значит, граф решил навсегда поселиться в имении? — спросил старик.

— Навсегда. «Уж если, говорит, очень скучно будет в деревне, то проедусь за границу или куда-нибудь в Бомбей, но уж никак не в Петербург». Или, например, такие курьезы рассказывал: «Зайдешь, говорит, куда-нибудь в ресторан — только и слышишь: «Дюжину устриц! Sterglet à la minute¹, бутылку шампанского!» Заглянешь в афиши — там в Большом театре «Золотая рыбка», в Александринском «Все мы жаждем любви», у Берга «Студенты и гризетки», еще какие-то *греческие богини*. А уж какая скука царит в аристократических гостиных; надобно иметь железное терпение, чтобы выносить ее: разговоров никаких, исключая той же Патти, «La belle Héleine» да обычных сплетней...»

— Удивительный в самом деле город! — заметил старик, — сколько денег поглощает... А вишь, чем занимаются? Ищут, где бы заблудиться?..

— Граф показывал нам свои ученые принадлежности, — говорил рассказчик, — микроскоп, минералы, колбы. В кабинете зашла речь, где находится минерал хризоберилл? Граф сказал, что в Зеландии; Андрей Петрович объявляет, что хризоберилл вместе с изумрудом находятся у нас на Урале. Граф так и вытаращил глаза: ему показалось, что к нему приехал сам академик Кокшаров... Да! тут замечательные вещи были; я вам расскажу, какой ученый разговор вел Андрей Петрович с графом, когда мы гуляли по саду. Граф начал с того, что он погрузился в естественные науки, так как они одни и могут дать положительное знание. На это Андрей Петрович заметил, что, не будь естественных наук, мы бы долго еще летали в эмпиреях, упиваясь музыкой собственного красноречия, трактуя об идеальности в реальном и, подобно Рудиным и Лаврецким, ударяя по струнам женских сердец. С этим граф совершенно согласился. Пошли рассуждения об эгоизме, на тему:

Каждый себя самолюбьем измучил,
Каждому каждый наскучил,

¹ Стерлядь на скорую руку (*франц.*).

что все чего-то ждут, словно не нынче-завтра наступит светопреставление... Граф спрашивал: «В чем же секрет?» — «А вот в чем, — сказал Андрей Петрович, — если мы будем понимать эгоизм так, как понимали до сего времени, то мы не только ничем не будем отличаться от вандалов, но даже просто от акул, которые тем только и занимаются, что пожирают слабейших себя: тогда нечего и думать о прогрессе, о котором мы болтаем с утра до ночи; тогда и самая жизнь-то человеческая делается невозможною». — «Что же делать? Как выйти из этой пропасти?» — спрашивал граф. — «Заняться самоисправлением, — был ему ответ, — отцы наши могли себе благоденствовать, подвергая всякого рода экспериментам своих ближних; теперь эти развлечения мало кого удовлетворяют оттого, что все начали сознательно относиться к окружающему, и нет сомнения, что если общество не исправится, оно задохнется от скуки — этой современной моровой язвы». Я с своей стороны добавил, что, кажется, уже пришел судья милосердый — отделить козлиц от овец, пшеницу от плевел... не все-то нам порхать по цветкам... Граф сильно задумался. Наконец, он спросил: «В чем же должно заключаться самоисправление?» Тогда мы перед ним выдвинули соху.

— Что это? какие глупости! — воскликнули дамы, — неужели вы не могли обойтись без вашей дурацкой сохи?..

— Нельзя, нельзя! mesdames!¹ этот инструмент — краеугольный камень общественного благосостояния... А по-вашему, если человек носит ripсе-pez, так и надо рассуждать с ним об одних сильфидах? Вы видите, что сильфиды ему надоели! что же остается ему предложить, кроме сохи андреевны!

— Оставь свои глупости! — перебила хозяйка, — скажи лучше, что же он, к нам обещался приехать?..

— На этих днях непременно приедет... Как изволите видеть, милостивая государыня, поручение ваше мы исполнили; за это вы должны благодарить нас, — заключил Василий Егорыч.

— Merci, merci...²

¹ Сударыни! (франц.).

² Спасибо, спасибо... (франц.)

— Андрей Петрович,— обратилась хозяйка к Новоселову,— как вы нашли графа?

— Мне кажется, он человек со всеми достоинствами...

— Короче — *bel homme!*¹ — подхватил молодой Карпов,— впрочем, он добрый малый... Теперь я поведу речь о том (про графа, кажется, уже довольно), что с завтрашнего же дня я устраиваю во флигеле лабораторию, пора приниматься за дело; потом мы с Андреем Петровичем решили насчет вас, сударыня,— обратился Василий Егорыч к сестре,— мы хотим сделать такого рода предложение: не угодно ли вам брать уроки по какой-нибудь отрасли знания у меня или у Андрея Петровича? Намерены ли вы чем-нибудь заняться, кроме ваших кукол и собачек? Мне кажется, что вам скоро наскучат детские игры...

— Да, я готова,— воскликнула Варвара Егоровна,— кто ж тебе сказал, что я только способна играть в куклы?

— Пожалуйста, не обижайтесь.— Василий Егорыч поцеловал сестру.— Теперь позвольте спросить, какой предмет вы желаете изучать?

— Я, право, не знаю,— сильно покраснев, сказала девушка.

— Хотите, я вам буду читать гигиену — умение сохранять свое здоровье? — предложил Новоселов.

— С удовольствием,— ответила будущая ученица.

— Ах, *Basile!* чего ты не затеешь? — возразила мать,— скажи, ради бога, к чему эти уроки? Ведь она читала много: например, «Хижину дяди Тома», Островского, Тургенева, мало ли кого?

— Ну, пусть играет в куклы,— сказал молодой человек.

— Матап, я с удовольствием готова поучиться чему-нибудь...

В это время старик обратился к Новоселову:

— Ничего! Займитесь с нею... как сохранять здоровье, всякому надо знать... А то, признаться, мне доктора наскучили... Надо делать так, чтобы обходиться без них; я век целый прожил без всяких лекарств...

— А вы мне, Егор Трофимыч, позвольте у вас брать уроки сельского хозяйства, — сказал Новоселов.

— С большим удовольствием,— ответил старик,— вы как думаете насчет хозяйства? у нас тут свой университет.

¹ Красавец мужчина (*франц.*).

Хозяйка поднялась и объявила, что отправляется наверх; она пригласила с собой сына, чтобы он рассказал ей кое-что про графа.

— Через полчаса я буду во флигеле,— сказал молодой Карпов Новоселову,— если соскучитесь, приходите.

VII

БЕСЕДА В КАБИНЕТЕ

Дамы с Василием Егоровичем отправились наверх; старик повел Новоселова в свой кабинет, приказав слуге зажечь лампу.

В кабинете на стенах висели фамильные портреты, связки ключей от кладовых, барометр, сабли с португезами и целый ряд старых картузов, которые когда-то носил Карпов; на столе лежали конторские книги, очки, мешочки с образцами овса и гречихи, молитвенники. В переднем углу, украшенные вербами, помещались образа в золотых киотах, внутри которых хранились бархатные шапочки от святых мест, венчальные свечи и аномалии хлебных злаков: двойные, тройные и даже семерные колосья ржи и пшеницы.

— Прошу покорно,— сказал старик, указывая гостю на диван и сам располагаясь в креслах.

Новоселов закурил сигару и начал:

— Мне, Егор Трофимыч, хочется поближе познакомиться с положением сельского батрака. Сколько вы платите своим рабочим в год?

— Цена разная,— сказал старик, искоса поглядывая на собеседника,— впрочем, никак не более тридцати пяти рублей в год... харчи мои...

— А одежда?

— Уж это их дело! как они хотят...

Наступило молчание...

— Да заметьте,— продолжал старик,— из этих тридцати пяти рублей крестьянин должен заплатить подушные, пастушные, пожарные, мостовые; сверх того одеть, обусть себя, прокормить детей...

— Так,— задумчиво проговорил Новоселов.

— Что ж делать? Такая цена везде: оттого-то все мужики и разорены. Придет время платить подати, мужик начнет метаться как угорелый; нанимается на заработки —

за какую угодно плату; уж тут его бери руками. Ошалает совсем: ты ему даешь пять рублей за обработку десятины, а он просит четыре с полтиной... Что говорить,— сказал старик вздохнув,— положение безвыходное... Вот вам и воля, которой вы добивались, господа прогрессисты.

— А нет ли между вашими мужиками такого господина, который вовсе не имеет земли, следовательно не знает ни подушных, ни пастушных?

— Есть такой мужик: его зовут Андреяшкой. Он отказался от надела, выпросил у мира местечко для избы и живет один с женою. Поутру придет к моему старосте и спрашивает работы. Ему нет дела, кормлена ли лошадь, которую ему дают; сломалась соха, давай другую. Таких бобылей стало появляться немало, особенно в последнее время. Да, по-моему, Андреяшка — философ. Вы что же, Андрей Петрович, хотите завести работников?

— Сохрани меня бог,— сказал Новоселов,— ведь, по вашим словам, я им должен платить по тридцати пяти рублей в год?

— Разумеется. Иначе какая же вам будет выгода? Так что же вы намерены делать? — спросил Карпов, пристально глядя на гостя.

— Удалиться от зла и сотворить благо; другими словами, продать землю.

— Как?..

— Непременно...

— Послушайте, Андрей Петрович, я, право, никак не могу верить тому, что вы говорите. Извините за нескромный вопрос: чем же вы будете жить? Деньги, которые вы получите за ваше имение, конечно пролетят, служить вы не хотите, на что же вы рассчитываете?

— Дело вот в чем, добрейший Егор Трофимыч: признаться сказать, надоели мне эти родовые наши именица, с которых мы получаем доход, не помышляя о том, какими путями он достигает нашего кармана... а главное — пользы-то нам от него мало... хочется мне хлебнуть горькой чаши, которую пьет наш народ.

— Значит, хотите быть мужиком?

— Где мне об этом мечтать — изнеженному баричу, просто потешить себя хочется: опротивел мне наш пресловутый, незаслуженный комфорт; попробую надеть мужицкий армяк...

Старик засмеялся и вдруг воскликнул:

— Да вы, я вижу, шутите мужицким армяком-то? Знаете ли, на что вы решаетесь?

— Знаю...

— Нет, не знаете... Вы, батюшка, с позволения сказать, мелко плавааете! Хотите, я вам расскажу, что такое мужицкая жизнь?

— Сделайте одолжение. Я вас предупреждал, что мне хочется поближе познакомиться с положением нашего крестьянина.

— Эй, человек! подай нам вина! — крикнул старик.

Слуга подал лиссабонское. Собеседники выпили по бокалу (у Карпова и к простой водке подавались бокалы).

— Слушайте, почтеннейший Андрей Петрович; я буду краток, но выразителен, — так начал старик, наполнив снова бокалы. — Представьте себе мужицкую избу, — старик низко развел руками, желая представить убогую хижину, — вонь... мерзость... тараканы... — Старик отплюнулся. — Н-нет, вы не знаете мужицкой жизни; я вам ее обрисую...

— Обрисуйте, пожалуйста.

— Выпьем! — сказал старик. — Я, батюшка, около сорока лет трусь около этого народа: я его изучил не по книжкам, как вы!.. Про летнюю пору я вам не буду говорить: вы ее более или менее знаете; а я начну с зимы, когда вы в своем Петербурге слушаете Патти, а у нас в трубе своя Патти запекает.

— Вы расскажите, что я буду делать зимою, живя в крестьянской избе.

— Я к тому-то и веду. Прежде всего надо встать с петухов, часа в три утра, чтобы задать всей скотине корму... слышите? а корм надо с вечеру изготовить в вязаночках; потому в три часа утра некогда его искать на гумнах; темно, да еще, пожалуй, на волка наткнешься, у нас же волков пропасть, примите к сведению (они ходят по дворам — ловят собак)... На рассвете опять принимайся за корм; тут надо идти в одонья и отрывать его из-под снега. Потом разносить этот корм по двору, по закутам; а заметьте, дверей везде пропасть; иную отворишь — она из пятки вывернулась, — надо чинить, а то выскочит скотина. Далее, придете в избу — отдохнете да поговорите с бабами о том, когда начать морозить тараканов!.. Вот вопрос! А не забудьте, на дворе опять ревет скотина, просит опять есть!..

— Да ведь сейчас дали...

— Что ж такое, что дали? ведь корм-то непитательный — солома; скотина оберет колосок, да и опять кричит.

— Ну, а в продолжение дня!

— В продолжение дня? Извольте послушать, какая музыка пойдет: надо избу отчистить от снега, потому в окнах темь; на дворе вырубить лед из корыта, обить бочку и ехать за водой. Потом бочка завязла, сидит в сугробе; глядь, и завертка лопнула. Одним словом, вавилоняне, что ль, строили памятник, когда было смешение языков?.. вот то же самое столпотворение идет и в мужицком быту... Я очень хорошо знаю, что вы фантазируете: вам мужиком не быть, это я наперед скажу; тем не менее я подробно описываю вам мужицкую жизнь, чтобы вы не относились к ней легкомысленно... Да! мужик наш — это, я не знаю, какая-то скала! где нам! — Старик махнул рукой.

— Но вы обещались рассказывать, так продолжайте,— сказал Новоселов.

— Что ж рассказывать? Что рассказывать про ад крошечный!..— с грустью проговорил старик.

— Вы мне, Егор Трофимыч, обещались читать лекции по сельскому хозяйству: вот что вы теперь передаете, это-то я и желал слышать от вас.

— А весна!..— продолжал старик, покачав головой,— все больны, скотина без корму... хлеба нет... Или вот, самое простое обстоятельство, например сошник наварить. Мужик приходит к кузнецу; оказывается, что кузнец завален работой; значит, прошатался задаром. В другой раз идет; кузнец говорит: «Еще не брался за твою работу». Ну, наконец, справлен сошник. Мужик выехал пахать, прошел несколько борозд — хлоп! палица пополам; надо ехать в город; а тут навстречу верховой с известием: мировой судья требует в свидетели. Мужик едет за двадцать верст к мировому, а там объявляют, что дело отложено *до пятницы*; ступай назад! Да что тут рассказывать! Ясно как день, что вы забрали в голову пустяки, Андрей Петрович... Извините за откровенность.

Новоселов молчал. Старик посмотрел на него и сказал:

— А вам знаете, что нужно?

— Что?

— Жениться да обзавестись семейкой... вот чего вам недостает.

— Где нам мечтать о таком счастье..»

— Отчего же? — с участием спросил старик.

— Ведь надо, я думаю, понравиться какой-нибудь барышне, а это вещь невозможная. Нашим барышням нравятся каменные дома да люди, получающие хорошие оклады жалованья; а у меня нет ни того, ни другого. Притом какая же дура пойдет за человека, у которого идеал — соха и армяк? Вот если бы я проповедовал *теплую лежанку*, охотниц нашлось бы много.

— Так, стало быть, все-таки решились пахать.

— Непременно!

— Ну, батюшка, вы неизлечимы.

— Пожалуй, что и так. Прибавьте к этому, *дескать*, всякий по-своему с ума сходит. Покойной ночи.

— До свиданья.

VIII

ПРИЕЗД ГРАФА

Через несколько дней слуга Карповых объявил барину, сидевшему за письменным столом в кабинете: «Граф едет!» С тем же известием он бросился в девичью, и вскоре во всем доме, среди суматохи и беготни, на разные голоса раздавалось: «Граф едет! едет! Оля! Груша!..» «Подайте мне сюртук!» — кричал барин, снимая с себя камзол.

Все, что было в доме, припало к окнам и, затаив дыхание, стало высматривать, как к крыльцу подъезжала четверня вороных, запряженная в щегольскую коляску; на козлах красовался кучер в форменном кафтане и старый камердинер в ливрее и шляпе с позументами. С невыразимым наслаждением, любясь на это зрелище, хозяйка говорила своей горничной: «Грушка! да смотри, смотри...»

— Вижу, сударыня! просто на редкость!..

Наверху Александра Семеновна в каком-то упоении говорила, отходя от окна:

— Оля! мне душно! подай капли!..

— Черт бы всех побрал, — кричал барин, с трудом всовывая руку в сюртук, — изволь исполнять бабьи прихоти...

— Оля! маши на меня веером, — опустившись на кушетку, говорила Александра Семеновна.

Одетый по последней моде, в шармеровском фраке, в

черных узеньких панталонах с лампасами; в белых перчатках, с пробором на затылке, граф явился в залу.

Лакей доложил, что господа скоро выйдут. Граф начал поправлять перед зеркалом свою прическу.

Вошел, в светлом клетчатом жилете и в длиннополом сюртуке, хозяин. Граф быстро сбросил с глаз ринсе-пез и отреккомендовался.

— Прошу садиться, — сказал старик, утирая на лице пот.

Зашуршали платья, и в зале явились дамы.

— Это моя жена... моя свояченица, — сказал старик.

Граф, ловко придерживая шляпу, сделал реверанс с глубоким поклоном, причем его ринсе-пез заблестел и закачался; как маятник.

Все уселись. Со стороны дам последовали один за другим вопросы, на которые граф не знал, как отвечать. Мало-помалу беседа приняла плавное течение. Старик распространился о покойном отце графа; спросил о его матери, которой досталась седьмая часть от мужнина имения, и получил известие, что она постоянно живет за границей.

— Так вы теперь сами приглядываете за хозяйством? — сказал, наконец, старик.

— Да... нельзя, знаете... правда, управляющий у меня — честный малый... но свой глаз все-таки необходим... — Граф очаровательно улыбнулся.

— О, без сомнения! — подхватили дамы.

— А много у вас нынешний год в посеве? — спросил старик.

— Десятин около трех тысяч, если не больше...

— Слава богу!..

— Скажите, граф, — спросила хозяйка, — ведь вы бывали за границей?

— Едва ли не всю Европу объездил, — почтительно наклонившись, произнес граф.

— Разумеется, были в Италии?

— Чудная страна! какой климат! да притом Италия, — как вам известно, страна искусств...

— А Флоренция — я воображаю, что это такое!..

— Это скорее — женственный город... знаете ли, мягкость какая-то во всем... в природе и в людях... Там этого нет, как у нас в Петербурге: — всякий косится друг на друга... там все это поет... плащ через плечо.., шляпа на-

бекрень... Да вообще город замечательный сам по себе: например, Lung' Arno... il giardino di Boboli... palazzo Pitti... chef-d'oeuvre!¹

— А в Андалузии вам не случилось быть? — в свою очередь спросила Александра Семеновна.

— В Андалузии я был проездом, с матерью; она любит Испанию... там такая природа, что, право, чувствуешь себя несчастным при мысли, что родился на бесприютном, мрачном севере...

— Ах! именно бесприютный... мрачный север...

— И не скучали за границей? — спросил хозяин.

— Уже впоследствии... действительно начал скучать...

— По России?

— Мм-да... если хотите...

— Само собою разумеется,— подхватила Карпова,— вы родились в России... очень естественно... да ведь все, живущие за границей, жалуется на тоску по родине... А кажется, чего бы тосковать?

Граф вздохнул, промолвив:

— Что делать! видно, уж человек так создан.

Наступило молчание. Все как будто хотели перевести дух после обильной умственной пищи, которую угостили себя.

— Ваши молодые люди дома? — обратился граф к хозяйке.

— Они во флигеле... я за ними пошлю. Иван! — Вошел слуга.— Сходи во флигель и скажи господам, чтобы они пожаловали сюда.

— Молодой барин у себя-с,— доложил лакей,— а Андрея Петровича, кажись, нету...

— Где же он?

— Они давеча собирались пахать...

Все навострили уши и засмеялись.

— Ступай узнай! (Лакей вышел.) Ведь Андрей Петрович, наш знакомый, чудак страшный,— поспешила объяснить Карпова,— явилась у него фантазия labourer la terre... vous comprenez, monsieur le prince... mais certainement c'est une idée fixe...²

— Ваш сын и ваш знакомый говорили мне об этом,—

¹ Вдоль Арно... сад Боболи... дворец Питти... шедевр! (итал.).

² Обрабатывать землю... Понимаете, князь... но, конечно, это навязчивая идея... (франц.)

улыбаясь, сказал граф.— Конечно, я не спорю, в этой мысли есть много хорошего... гуманного даже, и вообще современного... но с другой стороны, как хотите...— Граф пожал плечами,— ведь это такой труд... такой подвиг, для которого, мне кажется, надо родиться героем...

— Просто утопия!..— подхватила хозяйка,— люди молодые... жаждут деятельности... а развернуться не над чем... ну и составили теорию такую...

— Впрочем, что ж? я готов!— воскликнул граф,— что ж? пахать землю в гигиеническом отношении — полезно... Я совершенно согласен, что нам работа нужна... у нас движения мало... Но предлагать для этой цели соху!!! Дело в том, что у нас, к несчастью, есть общественное мнение — деспот, пред которым всякий более или менее преклоняется... Дело другое, если бы мы жили где-нибудь на необитаемом острове...

— Они оба дома!— возвестил слуга,— чем-то занимаются...

— Так я к ним пойду. Надеюсь, это недалеко отсюда?— спросил граф.

— Вам хочется к ним?— спросила хозяйка, поднимаясь.— Иван! проводи их сиятельство. Граф! завтракать с нами... надеюсь, вы не откажете нам в этом удовольствии...

— *Avec plaisir... au revoir...¹* — Граф удалился.

— Ах, какая прелесть!..— нараспев возопили дамы, всплеснув руками,— как мил!.. *charmant!.. il est beau!²*

— Оля! подай мне веер... Какой *bel homme!*..

Восхищаясь дорогим гостем, дамы разошлись по своим комнатам. Старик отправился по хозяйству.

IX

ЛЕКЦИЯ

В сопровождении слуги Карповых и своего камердинера граф шел через сад во флигель. Садовник с лопаткою в руке и бабы, половшие клубнику, отвесили ему низкий поклон. Лакей, забежав вперед, отворил калитку. Граф увидал длинное здание с двумя подъездами.

¹ С удовольствием... до свидания... (*франц.*)

² Очарователен!.. как он хорош! (*франц.*)

— Так они здесь живут, — сказал он.

— Так точно! — подтвердил Иван, — а энтэ вон ихние сохи... — прибавил он, указывая к воротам.

— Как?! — воскликнул граф.

— Действительно-с! осмелюсь доложить, они дня с четыре пашут... Сначала по зорям... так как днем жарко — а вчера в самый жар пахали...

Граф смотрел на сохи с тем выражением, которое обличало более чем ужас.

— Да-с, — продолжал лакей, заметив действие своих слов, — они шибко занялись... потому соха не свой брат! она все руки отвертит... Особливо кто без привычки...

— Им никто не помогает? — спросил граф.

— Насчет пахоты-с? Никто!.. они как есть без всякой прислуги... молодой барин две палицы сломали, а Андрей Петрович подсекли было ноги лошади... Бог даст, привыкнут, — заключил слуга.

Через минуту он ввел графа в большую светлую комнату, среди которой стоял Василий Егорыч, одетый в блузу, держа в руках пробирный цилиндр и стеклянную палочку.

— Ба, ба!.. — воскликнул химик, — я было только хотел идти в дом. Здравствуйте, граф.

— Чем это вы занимаетесь?

— Делаю анализ почвы.

Граф при помощи рипсе-пез пристально взглянул на цилиндр.

— Это я осадил магнезию, — объяснил Василий Егорыч, — видите, какой получился осадок?

— Это магнезия?

— Она.

— А сероводорода сюда не нужно? — спросил граф.

— На что же? Он испортит все дело.

— Значит, почва хорошая?

— Ну нет! — возразил химик, становя цилиндр за окно, — во-первых, хлористый барий никакой мути не производит... лапис осадка не делает... соляная кислота шипенья не производит... Словом, почву надо удобрять известью, серной кислотой и поваренной солью... вот какая земелька-то! да и фосфорных солей очень мало... Ну-с, рассказывайте, как вы поживаете? медведь жив?

— Ничего... на днях скинул было с себя ошейник... поправили... Где же Андрей Петрович?

— Он в соседней комнате. Пойдемте к нему.

Василий Егорыч отворил двери и ввел графа в другую комнату, в которой за столом сидели Новоселов и Варвара Егоровна.

— Честь имею рекомендовать — моя сестра, — сказал Василий Егорыч. Девушка встала и сделала книксен.

— Я, кажется, вам помешал, — начал граф, смотря на тетрадку с карандашом, лежавшую перед барышней.

— О! нисколько! — объявил Новоселов. — Не угодно ли присесть?

— Андрей Петрович читает моей сестре гигиену...

— Да у вас сильно процветает наука! — объявил граф, держась за спинку стула и приготовляясь садиться, — если позволите, и я послушаю...

— Вы сделаете нам большую честь... но мы уже на половине дороги, — сказал Новоселов.

Граф сел, сказав девушке, которая слегка отодвинула свой стул: «Mille pardon, mademoiselle»¹.

— А вы не слыхали новость, граф, — сказал Карпов, — Андрей Петрович продает свою землю и удаляется в пустыню...

— Как? куда же это вы?

— Кое-куда... впрочем, это еще не скоро.

— Как жаль! вы останьтесь с нами, Андрей Петрович...

— Об этом мы поговорим; позвольте мне кончить лекцию. — Василий Егорыч также сел послушать. Новоселов объявил: — Предупреждаю вас, граф, что наша беседа ничего нового не представит для вас, все это вы тысячу раз слыхали...

— Ах, напротив... я уверен... я так мало знаю...

— Вот в чем дело, — обратился учитель к своей ученице:

«В природе, как я упомянул, разлита творческая сила; возьмите растение, кристалл какой-нибудь, мускул — все это созидалось вследствие творческой силы; из зерна является растение с листьями и цветком, наши пищеварительные органы из ржаной муки умеют сделать кровь.

Люди богатые едят кровавые ростбифы, другими словами, готовую кровь вливают в свою собственную, так что желудку не над чем и призадуматься; зато привык-

¹ Тысячу извинений, сударыня (франц.).

ший к ростбифам желудок станет в тупик перед ржаным хлебом, а какая-нибудь редька повлечет за собою смерть.

Так как человек существо всеядное, то и богатые люди прибегают к спарже, трюфелям, салату, фруктам. Но у них, как наука доказала, более половины пищи остается неусвоенною организмом, потому что богатые люди по большей части ничего не делают...

Таким образом, если хотите иметь исправный желудок, во-первых, не балуйте его изысканной пищей, а во-вторых, непременно работайте.

В этом направлении и идите: не хотите простудиться—привыкайте к холоду; ибо в настоящее время стало известно, что радикальным средством против жаб и катаров служит холодная вода, точно так же, как от объедения—диета и труд.

Вообще природа все нужное дает тем, которые прибегают к ее помощи, и преследует нарушителей своих законов. Зверей она одела в шерсть, лошади дала копыто, между тем тунеядца прежде времени лишила волос, наделила подагрой и так далее. Я вам, кажется, упоминал, что в природе существует правда; во имя этой правды неумолимая природа жестоко наказывает всех, считающих ее не за мать свою, а за врага, от которого надо скрываться; в силу этой правды человечество, хотя и медленно, идет вперед.

Наши цивилизованные люди все меры употребляют для того, чтобы удалиться, или, вернее, скрыться от природы. Зато посмотрите, как эта псевдоцивилизация изнеживает, расслабляет и извращает людей, делает их трусами, жалкими отребьями...

После сказанного вам нетрудно убедиться, что надобно любить природу; а она на каждом шагу учит нас умеренности, труду, самоусовершенствованию, наконец тому, что жизнь не есть праздник, а высокий и тяжкий подвиг.

До сего времени мы не знали цены ничему, а как скоро история вытащила нас в колею общечеловеческой культуры, мы и забегали, как клопы (насекомое паразитное), ошпаренные кипятком.

Задача цивилизации состоит не в том, чтобы жить на чужой счет, подставлять друг другу ногу (чего не делают даже самые низшие сравнительно с нами животные, и притом гораздо более способные к общественной жизни, нежели мы, например, пчелы, муравьи и пр.); а в том,

чтобы блага природы распределить между возможно большим числом людей, чтобы путем науки выяснить ту-неядцу, что от жирного куска, который он схватил у ближних, испортится желудок, его постигнут разные болезни, а лень и праздность доведут до смертной тоски.

Верь, ни единый пес не взвыл
Тоскливее лентяя,—

говорит один поэт. Словом, кусок, отнятый у ближнего, тунеядец схватит себе на погибель. Вы слышали крестьянскую поговорку, что чужое добро впрок нейдет; эта поговорка справедлива более, чем думают. Тот же поэт в одном месте говорит:

Роскошны вы, хлеба заповедные
Родимых нив,
Цветут, растут колосья наливные,
А я чуть жив!
Ах, странно так я создан небесами,
Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок!

Тунеядцам пища служит отравой; вся жизнь их не что иное, как патологический процесс; их фешенебельные квартиры — больницы, где в сильном ходу геморои, желудочные катары, изнурения, расслабления, «укрепляющие эликсиры, питательные шоколады», сверх всего этого хандра и непомерная скука... Никто из этих господ не может сказать, что его не грызет какой-то червяк, который —

В сердце уняться не хочет никак;
Или он старую рану тревожит,
Или он новую гложет».

— Какую глубокую правду вы говорите, Андрей Петрович! — воскликнул граф, — позвольте пожать вам руку! Я не знаю, каким светом!.. — Граф не договорил и взялся за голову, как будто хотел оттуда вытряхнуть что-то... — Представьте себе, — продолжал он, — у меня есть один знакомый в Петербурге, богач страшный. Само собою разумеется, каких-каких благ он не испробовал в своей жизни: он прежде времени облысел и согнулся, так что не может сидеть прямо, а поднявши ноги вверх...

этот человек обыкновенных блюд уже не может есть: сидя спиной к своему повару, он приказывает ему приготовить, например, дупеля, но так, чтобы эта птица ни под каким видом не походила на самое себя: «Положи, говорит, в него мозгов, трюфелей»... вообще черт знает чего... Что ж бы вы думали? на этих днях получаю известие, что этот господин хотел застрелиться...

Новоселов продолжал: «Несмотря на роскошь, которой окружены эти несчастные, они покоя себе не видят: то устремятся за границу, то опять на родину, и так далее. Жизнь для них не имеет ни малейшего смысла. Вот к чему можно прийти в наше время. Привожу слова другого поэта:

Под бременем бесплодных лет
Изныл мой дух, увяла радость,
И весь я стал ни то ни се.
И жизнь подчас такая гадость,
Что не глядел бы на нее!»

— Итак,—обратился Новоселов к Варваре Егоровне,— теперь мы с вами узнали, отчего происходит вся эта кутерьма. В подтверждение сказанного приведу слова евангелия:

Учитель взял лежавшую на столе книжку с золотым распятием на переплете и с расстановкой прочитал следующее: «Блюдите и хранитесь от лихоимства: якоже не от избытка кому живот его есть от имени его: душа больша есть пищи и тело одежды. Продадите имения ваша и дадите милостыню. Сотворите себе влагалища не ветшающа, сокровище неоскудеемо (то есть займитесь самоисправлением,— добавил учитель): да будут чресла ваши препоясана и светильницы горящи (разумеется нравственный мир человека). Блажены раби тии, их же пришед господь обрящет бдящих. Аще же речет раб в сердце своем: коснит господин мой приити, и начнет бити рабы и рабыни, ясти же и пити упиватися. Придет господин раба того в день, в онь же не чае, и в час, в онь же не весть (припомните судию милосердного, о котором говорил Василий Егорыч). Той же раб биен будет много». Запишите эти тексты в свою тетрадку,— сказал Новоселов девушке,— еще присоедините слова апостола: «Не трудивыйся — да не яст». На том мы пока и остановимся.

Слушатели сидели в раздумье. Граф раза два вздохнул, устремив взор в угол аудитории и играя брелоками на своих часах. Василий Егорыч обратился к сестре с такими словами:

— Ну, что же ты, убедилась в необходимости труда?

— Еще бы! — промолвила девушка.

— Это главное! Я рад, что из тебя не выйдет сахарная барышня... Тебя, может быть, занимает вопрос: кто эти дармоеды, о которых говорилось в лекции?

— Дармоеды — это мы все!.. Положим, *наши предки Рим спасли*; да мы что сделали такое?.. Не правда ли, граф?

— О! без сомнения!.. — тоном передового человека сказал граф.

— Вот мы когда заговорили о деле-то! — объявил Василий Егорыч. Все встали из-за стола. — Что называется, до самого корня...

— В настоящее время, — подтвердил граф, — когда, так сказать, все в каком-то напряжении... чего-то ждут...

— И мечутся от скуки, — добавил Карпов. Граф засмеялся. Новоселов обратился к Василию Егорычу:

— Как бы мне найти покупателя на свою землю?

— Найдутся, не беспокойтесь! Я сегодня скажу отцу, не купит ли он?

— Андрей Петрович хочет последовать словам евангелия: «Продадите имения ваша», — заметил граф.

— «И дадите милостыню», — прибавил Новоселов.

— Что же, вы хотите буквально исполнить эти слова? — спросил граф.

— Я хочу одну половину имения продать, а другую отдать мужикам.

Граф окинул с ног до головы проповедника и взглянул на его учеников, как бы приглашая их разъяснить слова своего учителя.

Василий Егорыч, скрестив руки, начал:

— Да что ж, граф?.. помочь крестьянам следует! Мы едим устриц, а мужики — лебеду. Мы от праздности едва не на стену лезем, а у мужиков рубаха от поту не просыхает...

— Да я — не спорю... я нимало на это не возражаю... напротив, я убежден, что этим только путем и следует идти в настоящее время, — возразил граф.

— Когда на то пошло, давайте, господа, все последуем

евангельскому учению: я скажу отцу, чтобы он отдал в мое распоряжение мою наследственную часть; вы, граф, конечно, также заявите ваше сочувствие крестьянам. Ведь ваша мать не может запретить вам располагать своим имуществом, как вы вздумаете...

— Само собою разумеется, — сказал граф.

— Значит, остается сказать: «Да здравствует разум!» — воскликнул юноша, — вот она, наконец, Америка-то! а мы искали выхода! вот где наше спасение... пусть там прогрессисты ломают головы над экономическими и разными современными вопросами, воображая, что мужиков можно просвещать тогда, когда у них желудок набит мякиной. Нет! сперва надо дать человеку перевести дух, а там и книжку подкладывать. Знаете ли что, господа? Если наше решение состоится (я в этом и не сомневаюсь), откроем школы для народа и сами возьмем его учить, только не латинскому языку, как того желают просвещенные друзья народа, а естествознанию. Земли у нас бездна, и земля давно выпахалась, скотоводства нет, удобрять почву нечем; шестьдесят миллионов людей задыхаются в курных избах, питаюсь мусором и не имея никакого понятия о сохранении здоровья. А мы, образованный класс, бесимся от скуки, прикидываемся благожелателями родины, рассуждаем по-потугински, что Россия гвоздя не выдумала, и сидим сложа руки где-нибудь за границей. Между тем с русских земель получаем денежки, этим мы ничуть не брезгаем!.. Еще за хлеб за соль ругаем русский народ неисправимым холопом! Какие мы сыны отечества?! что мы для него сделали хоть бы за то, что оно вспоило, вскормило нас? Мы выучились, à la Онегин, Печорин, Рудин — прикрывать мировыми вопросами и возгласами о гражданской деятельности свои любовные интрижки, какими-то исполинскими замыслами объяснять свое тунеядство... Итак, господа, выступим на честный путь... Если не имели совести отцы наши, из этого не следует, чтоб и в нас ее не было... Поделимся с несчастным народом, чем можем... Не все-то нам ездить на его спине!..

Слуга возвестил, что завтрак готов. Он предложил графу зонтик, сказав, что заходит туча.

В комнате стало темней и темней; в отворенные окна повеяло прохладой. Зашумел ветер. Молодые люди вышли из флигеля.

НЕОЖИДАННЫЙ СЛУЧАЙ

По дороге неслась столбами пыль; ветер кружил солному, пух и нес к реке холсты, за которыми бежали бабы. По темному небосклону змейками скользили молнии. Слышались глухие, замирающие раскаты грома.

В саду шумели и волновались кусты сирени, бузины, яблони, с которых падали плоды. По направлению к пасеке, стоявшей на краю сада, летели с полей пчелы; к калитке с люльками за плечами бежали поденщицы, прикрываясь кафтанами. Садовник закрывал парники соломенными щитами.

Близ барского дома с хлебного амбара, под который вперегонку спешили куры, сорвало несколько притуг и отворотило угол повети. По застрехам слетались воробьи и недавно кружившиеся под небосклоном ласточки.

Удары грома слышались один за другим. Наконец, закапал крупный дождь, и вскоре хлынул страшный ливень. В воздухе, кроме сплошной водяной массы, сопровождавшейся необыкновенным шумом, ничего не было видно.

Вдруг молния, сделав несколько ослепительных зигзагов, быстро упала вниз, и вслед за тем раздался оглушительный удар грома; застонала земля, и дрогнули здания.

Сидевшие в отворенном сарае кучера сняли шапки и набожно перекрестились...

— Не обойдется без греха,— заметил один из них.

Вслед за ударом хлынул проливной дождь.

— У нас случай был,— рассказывал один из кучеров,— шел по дороге мужичок с косой; а тучка небольшая зашла над самой его головой. Вдруг грянул гром, и мужик потихоньку, потихоньку, словно нагибался... и упал... Мы все это видели...

Когда на небе сквозь легкие облачка выглянуло солнце, горничная прибежала в конюшню и объявила графскому кучеру, чтобы он закладывал лошадей. Опуская в карман трубку, кучер сказал:

— Будь хоть светопреставление — ни на что не посмотрит: что бы часочек погодить? Теперь коляску испачкаем на отделку.

— Видно, обедать не останется,— сказал другой.

— Господа упрасивали его, отказался... говорит, дома есть дела...— объяснила горничная и ушла в дом.

— Какие дела? — возразил графский кучер, — никаких там делов нету; одна забава — медведь...

Лошади были поданы. На крыльце происходило прощание Карповых с графом.

— Не забывайте нас, граф, — говорили дамы, — приезжайте на Ильин день; отправимся в лес...

— Непременно, если не задержит что-нибудь. А вы, господа, — обратился граф к молодым людям, — приезжайте без всяких церемоний...

— Как жаль, граф, что вы не остались обедать...

— И дорога грязна, — сказал старик...

— Дорога почти высохла... дождь шел недолго...

Коляска плавно покатила от барского дома.

Небо было чисто, лишь кое-где неподвижно стояли белые облака. Под лучами ярко светившего солнца все вдруг ожило и встрепенулось; трава, которую с наслаждением щипали животные, листья деревьев — покрылись яркою зеленью. В воздухе запели птицы; послышалось жужжанье пчел, стремившихся в поле.

На селе, при громком пении петухов, среди выгона, бабы расстилали холсты. За околицей, в мокром кафтане, босиком, мужик вел за повод клячу, запряженную в соху, на которой звенела палица, болтаясь между сошниками. Завидев коляску, мужик издала снял шапку и свернул лошадь в сторону; граф кивнул пахарю головой.

В поле наперерыв весело распевали жаворонки. Мимо коляски потянулись хлеба; в некоторых местах колосья ржи спутались и поникли от бури. В воздухе пахло медовым запахом гречихи.

Душевное расположение графа не совсем гармонировало с окружающей природой; его отъезд из дома Карповых, как читатель видит, был поспешен — и причиною этого было то обстоятельство, что во время завтрака молодой Карпов с энтузиазмом заговорил о пожертвовании земли крестьянам. Таким поворотом дела граф не очень был доволен. Впрочем, к удовольствию графа, речь молодого Карпова была замята стариком, нашедшим энергическую поддержку в лице дам. Отъехав на несколько верст от дома Карповых, граф принялся рассуждать:

— Удовлетворит ли меня эта философия: «Продаждь имение и раздай нищим?» Успокоит ли она неугомонный

пыл моих сомнений, мучительную жажду чего-то осмысленного, верного, ясного? Неужели последние слова науки совпадают с учением евангелия?

Камердинер доложил:

— Ваше сиятельство! а громовой удар не прошел даром.

Камердинер указал на дым вдаль. Граф привстал и посмотрел вперед.

— Кажется, недалеко от Погорелова,— сказал он.

— Да это оно и горит! — с уверенностью воскликнул граф.

— Чего доброго? вон извольте видеть ветряную мельницу? она как раз стоит против сельского старосты... и пожар-то с того конца идет...

— Так и есть,— подтвердил кучер,— смотри, как лижет... все разгорается...

— Пошел! — крикнул граф.

И четверня полетела вскок. В деревнях, среди улиц, группами стоял народ. Мужики садились верхами на лошадей.

В последней деревне, под названием «Сорочьи гнезда», подле барского дома суетился господин в соломенной шляпе и громко кричал: «Живей! живей запрягайте!»

— Mesdames! — обратился господин к дамам, стоявшим на балконе,— и кивнул головой на графский экипаж,— monsieur le prince... monsieur le prince...¹ Дамы навели на графа бинокли.

— Проворней,— кричал господин в шляпе на пожарную команду, выдвигавшую из сарая бочки.

— Веди бурого! Стой! — шумели кучера,— хомут надели наизнанку!

— Mesdames! Семен Игнатьич! едемте!

Вскоре загрели гайки, заскрипели немазанные колеса,— и пожарная команда вместе с господами устремилась на пожар.

С горы открылось Погорелово, объятые ярким пламенем; в дыму виднелись черные шапки пепла... слышался глухой, нескончаемый шум народа, треск огня и разрушавшихся зданий... надо всем этим звучал благовест в набат.

Коляска приехала на пожар. Над некоторыми избами в дыму виднелись люди с граблями, попонами, веретями,

¹ Сударыни! князь... князь... (франц.)

которыми прикрывались соломенные крыши. Близ самых изб толпились массы народа; крюками тащили бревна; ломали стропила, провозили бочки с водой; вырывавшаяся из окон пламя нещадно обхватывало зеленые деревья, стоявшие у домов; в народе раздавался отчаянный крик:

— Скорей, воды! воды!..

Толпа мужиков схватила за узду лошадь, запряженную в водовозку, и тащила ее в разные стороны.

— Твоя сгорела! Не спасешь! моя занялась...

— Поворачивай! дорогу заняли!

В другом месте кричали:

— Не ломай!

— Отойди! убьет!

— Цепляй за слегу!..

Из сеней одной избы тащили мертвого мужика и, пробираясь сквозь толпу, несли его на воздух.

По направлению к выгону народ выносил свое имущество; несли бороны, сохи; кто вез сани, бабы вытаскивали гребни, ухваты, прялки; один мужик, потеряв всякое сознание, нес в поле своего кафтана осколки кирпичей. Среди убогого имущества, обняв свою дочь, голосила мать:

— Остались мы с тобой бесприютные!..

XI

ИЛЬИН ДЕНЬ

Имение Новоселова находилось верстах в пяти от Карповых, вблизи деревни Вязовки, состоявшей из двадцати крестьянских дворов. Ветхий господский дом с полуразвалившимися сараями и конюшнями, стоял особняком, разделяясь от деревни глубоким оврагом, через который перекинут был мост. Около барского дома находился пруд, заиленный до того, что в жаркие дни скотина входила в него на самую середину по колени.

В полуверсте от Вязовки протекала небольшая речка с мельницей и толчеей, на которых издавна росла крапива и несколько молодых берез, наглядно знакомивших путника с распространением растений при пособии ветра, но мало говоривших в пользу владельца этих заведений.

Среди Вязовки красовался кабак с мелочной лавочкой, откуда крестьяне брали соль, деготь и другие товары, платя за них почти вдвое дороже против городского, особенно в осеннее время. Целовальник знал все статьи нового положения, на основании которых, как он уверял, производил с крестьян взыски за долги не деньгами, а натурой, и притом без всяких формальных судов, по мнению самих крестьян отнимавших только время.

На барском дворе во флигеле, состоявшем из четырех небольших комнат, помещался арендатор с семейством. Он был из дворовых и управлял когда-то именем своего барина, но с объявлением воли приписался к мещанам и стал заниматься арендой. В последнее время он пришел к убеждению, что сельским хозяйством заниматься не стоит: «Урожай стали плохие, земли вздорожали, с рабочими никак не сообразишь. То ли дело,— рассуждал он,— состоять на коронной службе: всегда сух, тепел; накупил акций железных дорог или билетов внутреннего займа — и покуривай сигару; а там, глядь, билеты поднялись в цене или выигрыш тысяч в десять...»

Рядом с заросшим травой барским домом стояла русская изба с резным крыльцом, выстроенная на случай приезда барина; над ее крышей возвышалась скворечница,— утеха барского караульного, одинокого старика. Во внутренности избы отгорожена была отдельная комната, которую украшали картины: отец Серапион, кормящий из рук медведя, затворник Иоанн и проч.

На Ильин день, после обедни, арендатор подъехал на дрожках к своему флигелю и, увидав толпу мужиков, шедших к барскому дому, спросил:

— Куда это вы, ребята?

— Да велено собраться к барину; должно, насчет сенокосу...

Пришедши в комнату и повесив картуз близ старинных часов с футляром до самого потолка, арендатор обратился к жене и сидевшему с ней за самоваром целовальнику:

— С праздником!

— И вас с тем же, Алексей Митрич,— проговорил целовальник, выходя из-за стола и подавая руку хозяину.

Арендатор оделил всех, не исключая и детей, возивших по полу бумажного коня, по кусочку просфоры и сел за стол.

— Что ж не в кабаке? — спросил он целовальника.

— Там есть кому без меня... жена справится. Сами знаете, не добро быть человеку одному...

Арендатор тряхнул куском сахара над чайным блюдцем.

— Зачем-то барин велел мужикам собираться, — сказал он.

— То-то и я подошел разведать: не будет ли нашему брату какой поживы? Что-нибудь барин хочет затеять.

— Аль думаешь подделаться к нему?

— Отчего же?.. Барин россейский! он залетит опять в Питер, а нам пить, есть надо... Я прошлое лето снял у Горшковых сто десятин по три рубля, а мужикам роздал по семи, а хорошенькую по десяти...

— Ничего! — одобрительно проговорил хозяин.

— Да ведь в долг, Алексей Митрич; ждате до новины. Вон Карпухины должны мне двадцать рублей, плотник Федосей — шестьдесят, и без всяких расписок.

— Неужели ваши деньги не пропадают за мужиками? — спросила хозяйка.

— А бог-то? — возразил целовальник, — ведь у всякого человека, Марья Прокофьевна, совесть есть: ежели я с вами, будем говорить с глазу на глаз, богу помолимся и вы человек благородный, разве вы отопретесь от своих слов? Опять небойсь у вас на дворе есть какая-нибудь скотинишка... вот какое дело...

Все помолчали. Целовальник, опрокинув чашку и перекрестившись, начал:

— Вот бы вам, Алексей Митрич, подбиться к погореловскому графу... хоть бы насчет лесу... уж и статья! одна дыхнуть!.. А барин — угар! он слова не скажет... человек тоже, надо прямо говорить, благородный...

— Однако село-то его сгорело!

— Да!.. от молоньи... говорят, ударило прямо в Епихванову избу... мужики-то были на покосе... как есть все вчистую решило... Так теперь стоит один господский дом...

В это время арендатор взглянул в окно и сказал:

— Барин приехал.

— С мировым посредником, — подхватила жена, — и старшина с писарем... что-нибудь не так... Сходи, Алексей Митрич, узнай, что такое?

— Пойдемте вместе,— сказал целовальник и обратился к хозяйке,— благодарим покорно за угощение. К нам просим милости...

— Ваши гости...

Арендатор и целовальник отправились в барский дом; у крыльца стоял тарантас, несколько телег и толпился народ. Мужики рассуждали:

— Смотри, ребята: в случае чего... ежели насчет старшины,— надо выбирать кого поаккуратней... чтобы за нас умел сказать слово...

— Кого ж выбирать? — раздались голоса.

— Да на что лучше Якова Калистратова?

— Постой! не хочет ли барин отбить у нас Карнаухов Верх...

— Не шумите! — закричал сельский староста, выходя из сеней,— сейчас разверстка будет...

— Братцы вы мои! — заговорил народ...

— Что-то будет!..

Послышались тяжкие вздохи, сдержанный шепот. Мужики вдруг смолкли. На крыльце появилось начальство. С минуту длилась тишина; слышно было, как по двору пищали цыплята, над которыми в вышине носился коршун.

— Ну, ребята,— объявил посредник, держа в руках бумагу,— вы должны благодарить бога, что избавились от чересполосицы: размежевание кончилось, и вам остается разверстаться с вашим барином. Так как ваш поселок стоит далеко от водопою, то Андрей Петрович решил отдать вам ту часть, которая могла бы преграждать путь к реке, то есть он уступает вам с наделом удобной и неудобной, по урочище Дубровый Лог, Парохин Верх и Живое Урочище — реку Осетр, сколько на плане значится. Сверх того, он уступает вам небольшую рощицу, которая находится в этом наделе. Что касается до ваших повинностей, то они вами уже уплачены, когда дача находилась в чересполосном владении. Я очень рад,— продолжал посредник,— что вы теперь справитесь; мне будет легче собирать с вас подати.

Посредник обратился к барину вполголоса: «Беда с этими сборами; исправник оттого и отказался от должности».

— Само собою разумеется,— объявил он мужикам,— как люди темные, вы можете во зло употребить данные

вам средства... Будьте осторожны и в случае нужды не откажитесь помочь барину.

— Что же вы молчите? — кивнув головой мужикам, подхватил старшина.

— Завсягда... с нашим удовольствием,— заговорили мужики,— последним поделимся..

— За этойкой надел надо благодарить своего господина,— сказал старшина, сходя с крыльца и приготовляясь произнести речь мужикам. Он стал к ним лицом, поднял руку вверх и объявил:

— Таперича вам, к примеру, надо жить степенно, чтобы все было как следует: пуще всего не надобно заиматься пьянством... да насчет податей быть исправными... потому что хорошего — доводить себя до этого? И какое ежели дело насчет уборки хлеба господам, то они всегда наши благодетели,— и беспримерно жить в акурате! друг друга не обижать, начальства не ослушаться... соблюдать себя в обхождении обáполо благородства... в случае чего прямо ко мне,— я вас окорочу...

Старшина посмотрел на посредника, доставая из шляпы платок, чтобы утереть с своего лица катившийся пот. Посредник жестом дал ему знать, что речь его произвела впечатление. Старшина отошел в сторону.

— Кто из вас грамотные? — объявил писарь,— подходите...

— Ну, теперь ступайте домой!— сказал посредник.— Вот как господа об вас заботятся: умеете ценить и пользоваться такими благоденствиями.

Мужики, держа в руках шапки, один за другим потянулись с барского двора. Вскоре всей ватагой они очутились в кабаке, куда пришел и целовальник.

— Ну, ребята,— объявил последний,— вам теперь ничего не остается делать, как взять сороковую бочку вина...

— Ой ли? — подхватили мужики.

— Верно! потому, изволишь видеть,— выкладывая на счетах, говорил целовальник,— двадцать дворов, шестьдесят ревизских душ... так?

— Так,— согласились мужики...

— Забыл я: кто это делал добрые дела, Филарет милостивый или Иоанн многострадальный? На милость образа нет! Понимаете? Вам теперь надо гулять целую неделю... жена! откупоривай бочку...

— Погоди, Перфил Семеныч,— заговорили мужики.

- Чего там годить? входите сюда, выкатывайте...
- Ребята! брать, что ль? — спросил один мужик...
- Пстой! Надо сперва разобрать...
- Да чего вы боитесь? Аль не выпьете? — продолжал целовальник, — дай-ко из соседних деревень налетят, узнают... Федюшка! Запрягай лошадей! Ступай на завод... я вижу, дело-то не на шутку разыграется...
- Ведро, Семеныч!
- Ведро! там видно будет.
- Погоди! может, после что откроется...
- Чему открыться? — кричал целовальник, — аль вы впервой видите барина? Опять дело было при посреднике... Экие дураки! вам теперь сто молебнов надо отслужить, а не то что из пустого в порожнее перегонять...
- Семеныч! стало быть, наша земля по самый Парохин Верх?
- Тебе сказано, по Дубровый Лог, Парохин Верх и речку Осетр...
- Так, так... — заговорили мужики...
- Ведь область али нет?
- Область!..
- А как же мы будем делить землю? по тяглам аль по душам?
- Зачем тебе делить! Без тебя все сделается... Неси вино! тащи на улицу...
- Пстой! как же насчет Парохина Верха-то? Семеныч! положи-ко нам на счетах...
- Ну, будет кричать! давай два ведра.
- Семеныч! и ты с нами выпей!
- Поздравляю вас... Дай господи вам богатеть...
- Кушай на доброе здоровье... А хозяйшкe твоей надо купить настоечки...
- Это она потребляет... да что ж вы не зовете своих баб?
- Антон! беги за ними... да захвати ковригу хлеба... Ребята! неси вино на улицу... там просторней...
- Что ж не сказано: платить за нее аль нет?
- За вино-то, что ль?
- Толкуй еще! я вон плачу за двух, которые в люльке качаются...
- Ну, не толкитесь здесь! ступайте на улицу...
- Слава богу! мы господами не обижены... Я хотел давеча сказать: вы-то, мол, нас не забудьте, — а мы вас из

нужды выручим... бывает, миром в один день справишь... аль мы не крещеные?

— Вон сорочинские завсегда уберутся с хлебом, а у него копны в поле...

— Что такое значит? отчего так?

На улице раздавались песни.

ХИ

ПЕРЕПИСКА

НОВОСЕЛОВ В. Е. КАРПОВУ

Село Кострюлино. Сентябрь.

Расставшись с вами, по совершении купчей крепости, я долго стоял у растворенного окна моей комнаты и вслушивался в городской шум. Было около девяти часов вечера. «Прощай, мираж! — думал я, — жаль, что ты унес из моей жизни целых пятнадцать лет! Обращаюсь опять к тебе, мать природа: прими к себе заблудшего, кающе-гося сына...»

Но что значит эта перемена? Этот родной луг, который был так прекрасен во время моего детства, речка с островами, поля — все, что так радостно когда-то встречало меня, возвращавшегося из дальней стороны, — теперь смотрит на меня неприветливо, все чуждо мне и, увы! как будто гонит от себя прочь... Я вижу, как на этом лугу сидят группы детей; они веселы, они у себя дома; их мудрая мать, как и меня прежде, ласкает, занимается их воспитанием... А я, одинокий, стою перед ней и чувствую, что на родной земле уже нет для меня места... Я вижу, как и в былое время, сидит у своей хатки старичок, тихо доживая век свой; как он ни страдал здесь, как ни голодал, от сырости и холоду ни мерз, природа сберегла-таки его до сего времени...

Что же мне делать? Неужели на арену схваток с ближними?.. Нет, что бы со мной ни было, как бы мать природа ни наказывала меня за мои преступления, я преклоняюсь перед ее ударами и, может быть, вымолю у ней прощение. Я виновен в том, что, получивши ясный взгляд на наших *меньших братьев*, сколько раз приезжал к ним, воочию видел их бедствия и уезжал, не сделав им ничего, словно спасался бегством...

Вот почему я оставил свою Вязовку... Для нового вина нужны и мехи новые...

Рано утром я выехал из города. Небо было пасмурно. Потянулись скошенные поля, обозы, богомольцы с сумками,— вот деревня, усаженная березками, ряд высоких возов с отпряженными лошадьми, в стороне деревянная церковь...

Погода вдруг переменялась; подул холодный ветер, по небу понеслись тяжелые, осенние облака.

На первом постоялом дворе я спросил себе водки и редьки (не правда ли, смело?) и, проехав несколько верст, снова возблагодарил бога за его милости; вместо того, чтобы получить лихорадку, несмотря на то, что у меня в желудке вместо ростбифа была редька, я чувствовал себя прекрасно... Я с удовольствием начал беседовать с ямщиком о мужицком житье...

Но вот и ночь. Справа и слева появляются какие-то одинокие дома; пролетит тройка с колокольцем... Лошади наши выбираютя на горку; ямщик идет рядом с повозкой и закуривает трубку...

— Так ты знаешь село Кострюлино?

— Как не знать. Там наши часто бывают. Там живет лекарь Гаврил Иваныч...

— К нему-то я и еду.

— А много осталось до Кострюлина?

— Верст сорок.

Опять заскрипела повозка. Вот уездный город; замелькали кривобокие лачужки, пустыри, заборы и, наконец, каменные дома; в окнах горят огни. Что делают там люди? Купчиха ли расспрашивает богомолку про чудеса, купец ли с очками на носу сидит за счетами, или чиновник блуждает по своей квартире, не зная, за что ему приняться? спать ли, пройтись ли куда, переписывать ли бумаги? Душа его, несмотря на долговременную, беспорочную службу, все куда-то просится, чего-то ждет... но ждать, кроме пряжки и смерти, нечего... Мещане ли с соборным голосистым дьяконом пьют чай и ведут беседу о концерте: «Кто взыдет на гору господню?» Пройдут десятки, сотни лет, люди, как и теперь, будут изнывать в своих каморках и чего-то ждать...

Часов около десяти мы приехали в деревню Павловку. Я зашел в крестьянскую избу, наполненную народом. За столом сидели девицы; у них были так называемые *поси-*

делки. На полатях лежали мужики. Между тем осенний ветер стучал ставнями и подвывал под окнами, как бы аккомпанируя грустным песням. Девицы пели:

Ходила Маша по саду,
Сбирала вишенья,
Сбирала своих подруженек.
Сажала их за дубовый стол,
За белы скатерти.
Сама садилась выше всех,
Клонила голову ниже всех.
Как мне жить, подруженьки,
Во чужой семье?
Как мне чужого отца
Звать батюшкой?
Мне звать его батюшкой
Не хочется.

Мне было так грустно, я так полюбил избу, этих добрых людей, что у меня подступили слезы. Я вышел на улицу.

Завернув за угол крайнего дома, я очутился в поле,— опять на большой дороге. Ветер не затих, но небо просветлело; высоко и ярко светила луна сквозь прозрачные белые облака; вокруг нее образовался светло-оранжевый, широкий круг. Я шел по гладкой дороге; на небосклоне тускло очерчивались ветлы, словно избы, телеграфные столбы... впереди вдруг показалось что-то живое и вскоре исчезло... Я все шел... Но, наконец, без всякой причины меня обьял ужас... Чем более я всматривался в пустынную даль, тем страшнее она мне казалась... Невольно подумал я, что русские мужички, населяющие эти страшные степи, подвигающиеся в этом мертвом пространстве,— великие люди; вспомнил я наши города, пятиэтажные дома, мосты, насыпи, вспаханные поля, *дубинушку зеленую*, наконец эту вечную безысходную нужду,— и преклонился перед мужиком.

Через час я возвратился в избу; народ разошелся, исключая хозяев, садившихся за ужин. Семья начала есть тюрю; хозяйка, державшая на руке младенца, подала на стол на дне чашки молоко. Все хлебнули и, вздохнув, вышли из-за стола. Разумеется, все были голодны.

Поутру я зашел в соседнюю избу. Так называемая *черная* печь была только что закрыта; по избе носился дым; запах был невыносимый. Посредине хаты висели лапти; по полу бродили неумытые дети. Один мальчик с разбитым

носом, на котором запеклась кровь, пристально смотрел на меня.

— Это у вас мазанка? — спросил я, не зная, с чего начать разговор.

— Мазанка... Цыц! — крикнула старуха на петуха, запевшего на всю избу. — Мы недавно выстроились. Мы прежде были прудищенские. Барин нашу землю взял себе, а эту отдал нам.

Вошел мужик с красной, больной щекой, сказав:

— Доброго здоровья!

— Здравствуй. Что ж, вы довольны этим местом?

— Местечко бы и ничего, да вот достатки плохие, — сказал мужик.

Эта неизменная песня заставила меня не возобновлять разговор про *достатки*.

— Что это мальчик-то ушибся? — спросил я.

— Да вон об чугун расшибся.

Старуха погладила мальчика по голове.

Я все рассматривал избу: на полу, на лавках, на хорах была такая грязь, что меня ошеломила эта страшная картина человеческого унижения. Я почувствовал боль в голове и вышел.

У самой избы я увидел телегу с приходским священником. Его работник стучал палкой в окно и кричал:

— Выносите новину!..

На улице шумели грачи, летали голуби, вдали сверкала речка. Светило солнце. Пользуясь хорошей погодой, я отправился пешком в село Кострюлино. Дорогой мне стало стыдно за свое малодушие, и я решил непременно выпить чашу до дна...

Сейчас только получил ваше письмо и прочел его с удовольствием. Работайте, мой милый друг! не унывайте! Как только присмотрюсь к родным картинам, примусь и я за дело. Передайте вязовским мужикам, что, когда они поправятся и выстроят школу, я весь к их услугам. Вот видите, кусок хлеба впереди есть...

Доктор, у которого я остановился, мой давнишний приятель, поселившийся на вечные времена в глуши. Он купил у кострюлинского барина десятин пять земли, развел сад, устроил пасеку и занимается практикой, снабжая крестьян лекарствами и наставлениями. На вопрос: отчего он не живет в городе, — Гаврила Иваныч (так звать его) отвечает: «Мне нужно, чтобы вот тут, против окон,

пролетел вальдшнеп, чтобы зимою я видел заячьи следы на снегу; без этого я не могу жить».

Насчет моего намерения приняться за мужицкую работу вот что он говорит: «Даю вам честное слово, что через неделю, а много через две, вы схватите горячку. Вы хотите шутки шутить с жизнью, так знайте же, как закаливается наш русский пахарь,— он с раннего возраста ходит разутый, раздетый, голодный; этого мало: тот из наших крестьян делается настоящим пахарем, кто в детстве перенес всякие тифы, лихоманки (последних народ насчитывает двенадцать); а вы знаете, что редкие из крестьянских детей переносят это испытание; статистика говорит, что нигде так не мрут дети, как в русском народе».

Чудак воображает, что я боюсь смерти... На этих днях я отправляюсь снова в путь... впрочем, недалеко... Если долго не буду писать, не удивляйтесь этому. Но вы, пожалуйста, пишите. По-прежнему адресуйте на имя Гаврила Иваныча в село Кострюлино.

ПИСЬМО КАРПОВА К НОВОСЕЛОВУ

Октябрь.

На улице грязь по колено и завывает ветер, но мы, любезный Андрей Петрович, пока не падаем духом. Сестра учит детей грамоте, сама берет у меня уроки химии. (Я вам писал, что единственная уступка, какую отец мог сделать,— это школа для крестьянских детей: все остальные мои просьбы признаны не подлежащими удовлетворению; придется сознаться, что *natura non facit saltum*¹). Александре Семеновне я устроил аквариум, перед которым она проводит целые часы, любясь каким-нибудь головастиком. Граф к нам давно не ездит; слышно, что он завел борзых и гончих собак. Относительно погореловских его крестьян, к сожалению, известно, что они побираются. К нам он не ездит потому, вероятно, что считает нас людьми «опасными». Да оно и лучше! пусть все размещается по удельному своему весу.

Наши говорят, что вы сбили меня с истинного пути. Я им сказал, что Андрей Петрович только ускорил процесс кристаллизации моих убеждений. Тетушке я на опыте

¹ Природа не делает скачков (лат.).

показал это (раствор глауберовой соли и готовый кристалл той же соли).

Александра Семеновна присутствовала при некоторых химических опытах. Раз у нас зашла речь с ней, по поводу серной кислоты, о кулачном праве. Я убедил ее, что химия вовсе не учит кулачному праву, и серная кислота, вытесняющая слабейшие кислоты, доказывает лишь то, что в природе надежны одни прочные соединения (гипс).

В настоящее время я приступаю к определению свойств почвы по дикорастущим на ней растениям. Это возможно в таком случае, когда известен состав золы растений, длина и форма их корней. У Либиха определен состав некоторых наших полевых растений, но у него ничего не сказано про нашу кормилицу *лебеду*; поэтому я хочу начать анализы с этого растения.

Перед тем я разлагал почву, находившуюся в банке с давно умершим растением; я открыл, что последнее погибло от недостатка некоторых солей. Уже не в первый раз мне приходит мысль, что растение — то же, что и животное, которому нужна пища, свойственная его организации; между тем люди не знают, сколько борьбы, роковых усилий поддержать свое существование заключалось, например, в этом умершем растении; а какая-нибудь ложка супу, спитой чай могли бы вдохнуть в него жизнь и разукрасить его лепестки... Все это я объяснил сестре. Она спросила меня: «Кто ж эти люди, которые преследуют естествознание?»

Сообщу вам кое-что о нашей школе. Она выстроена по моему плану и представляет два здания; в одном детей учат, в другом их кормят (отец отпускает провизию, но не без того, чтобы не сказать всякий раз: ну, уж времена!). Отец Павел, наш священник, также учит детей грамоте. Он составил было программу преподавания такого рода:

В. Кто спасся после потопа?

От. Ной. (Как будто он один.)

В. Сколько было чистых пар животных и сколько нечистых? и т. д.

Новостей у нас никаких. Отец нимало не раскаивается в покупке вашей земли. Он часто бывает в Вязовке и вспоминает, сидя в старом доме, вашего покойного батюшку: «Примерный был хозяин и добрый сосед! а вот

что значит детки! постройка вся развалилась, в доме живут одни галки, сам наследник этого имения пропал без вести». Отец хочет в вашем имении устроить отдельную ферму. Вязовские мужики заметно поправляются; они обещались у себя в деревне выстроить школу. Бывший ваш арендатор живет в Сорочьих Гнездах и торгует у графа десятин в пятьсот лес. Наши все вам кланяются и просят, чтобы вы приезжали к нам на святки. К этому особенную просьбу присоединяем сестра и я —

Василий Карпов.

О Т Т О Г О Ж Е К Т О М У Ж Е

Декабрь.

Вот и зима на дворе, любезнейший Андрей Петрович. Как-то вас бог спасает? Признаюсь, я без ужаса не могу подумать о ваших похождениях à la Вамбери. Я начинаю серьезно побаиваться за ваше здоровье: доктор говорил вам правду...

Извещаю вас, что ученье у нас кончилось, ибо до рождества осталась одна неделя. Я никуда не поеду во время праздника, буду ждать вас. У нас в доме настоящая больница. Никто никуда не ездит, все стонут, а иногда ведут разговорную канитель такого рода, что хоть уши зажимай. У нас гостят две барышни-соседки (уже заматорелые), которые исправно играют в свои козыри и даже на гармонике. Мать не выходит из своей комнаты; Александра Семеновна по целым дням сидит наверху и раскладывает гран-пасьянс. К ней часто приходит из города странница — тип, заслуживающий внимания. Когда эта женщина тут, то весь дом, не исключая прислуги, стекается наверх послушать, что будет говорить матушка Апраксия. По-видимому, Апраксия пользовалась когда-то красотой, потому что, несмотря на свои пятьдесят лет, она и теперь поражает своими как огонь сверкающими карими глазами, правильными и тонкими чертами лица. Разглагольствования ее в таком роде:

— Всё мы недовольны! Отчего? оттого, что стали вольны... Баба, змея подколотная, она взяла верх над мужем. Он на работе всю свою силу положил, а она думает только о нарядах. Есть баба благочестивая, баба домотопитая и баба — змея; выбирай любую.

¹ В стиле Вамбери (франц.).

— Выбирай любую,— поощряет странницу лакей Иван.— Вы верно говорите.

— Что сказано в писании? — строго оглядывая публику, спрашивает Апраксия.— Сказано: брак есть таинство... разве он теперь таинство? жены все пустились в разврат, надели кринолины, да шляпки, да разные тряпки! Ходят в церковь зачем? друг друга перебивать да осуждать. А что читает дьячок: «Щедр и милостив господь», этого они не слушают. Цветы на лугах давно посохли и пропали. Где они? Они очутились все на платьях да шляпках!.. Все стали умны, да у всех порожни гумы... все учены, да в ступе не толчены... я ведь вот какая!..

— Это проезжай всю Россию,— замечает Иван,—нигде таких умных слов не услышишь...— Горничные вздыхают. Александра Семеновна слушает с глубоким вниманием.

— А вы, толстые купцы, проклятые... — обращается Апраксия к воображаемому купцам,— куда готовите свою душу? в ад ее готовите! Как кошка достает из дупла скворцов, так и вы бедных хватаете, обманываете! Ты хочешь чаю? погоди! я тебе из ада смолы кромешной накачаю! Прежде бесы шлялись где попало... а теперь они сидят в людях... Все забыли храмы божьи; молятся, только бесов утешают... А что дьякон голосом выводит? Никто не слушает; все живут обманом, хитростию... Все бога забыли, все сатану возлюбили... Христа вторично распинают, ко кресту его пригвозждают, родителей не почитают... Мне однажды сказал голос: «Иди за мною, Апраксия!» Я и иду, словно парком. Вдруг опять слышу: «Смотри! эти парки — будут жарки!..» Не правду я говорю?—обращается Апраксия к Ивану и продолжает: — Правда светлее солнца: солнце померкнет, а правда никогда! Все умны! Слава богу, хоть я одна дура (Апраксия крестится). Один про меня сказал: «Она — словно Леонид». Да! нынче всякий Леонид, кто правду говорит.

— А что значит вскую шатаешься?—спрашивает Иван, ухищренный в писании.

— А вот что! — Странница неожиданно напускается на Ивана за его дерзкие слова,— вот ты постов не соблюдаешь, мамон свой набиваешь, бесов утешаешь — вот и шатаешься, да скоро и в ад попадешь.. Я вижу,— продолжает странница, обращаясь к смущенному Ивану,— как за спиной твоей сидит бес да на ухо тебе шепчет, вот ты вскую и шатаешься...

— Матушка Апраксия! — говорит Иван, — я спрашиваю насчет жизни: отчего я шатаюсь?

— Ну, а я отчего шатаюсь? Почему я знаю! Вот так-то один говорил мне: ты не за свое дело взялась; апостол сказал: «Женщина да не учит». А разве я учу? Я разговариваю... Хочешь — слушай, хочешь — нет... Я говорю про разврат: нынче парни покупают орехи, а от этого бывают прорехи...

— И все правду говорит, — восклицают слушатели.

Александра Семеновна очень любит странниц; она даже ведет переписку с монахинями. Посылаю вам образец одной из душевспасительных бесед: «Христос посреде нас, моя безценная подруга и собеседница Александра Семеновна (соблюдена орфография подлинника). Спасайся, моя голубушка, придумываю и вспоминаю, как мы стобою, моя незабвенная, проводили время приятно, часто ты пеклася о своей жизни, я знаю, что не без скорби теперишняя ваша жизнь, но что делать, нада всегда вуме держать, что здесь не вечность и здесь покою нечего желать, а ждать и думать о вечном покои кабы нам не лишитца вбудушей жизни; о себе скажу, что телом здорова да духом часто бизпакойна и скорбями висьма давольна но все дыки моя галубушка опишу, как я грешная празник встретила, после утрени во втором часу обедня, пришли отобедни напились чаю збулками и легли спать...»

Теперь опишу я, как мы вообще проводим время. Мать, рассматривая в увеличительное стекло разные картинки, расспрашивает меня, что такое диафрагма, которая будто бы не дает ей покоя (уездный доктор определял ее болезнь); при этом она жалуется на бессонницу. В углу на столе сидит любимица матери — ангорская кошка, словно мертвая: она постоянно спит, опустив голову до самого стола... Скука страшная. В зале за чаем или обедом идут разговоры такого сорта:

— Смотрите, какой снег идет! — говорят барышни соседки.

— Да! теперь дорога поисправится, — замечает отец.

Все задумываются, как будто решают вопрос: что, если в самом деле дорога исправится? Куда ехать? ехать-то и некуда. Затем идет речь о том, что в город приехали фокусники, — купчиху Слабоумову схоронили, гувернантка Прянишникова убежала с офицером. Зина Гор-

шкова влюбилась в дьякона. (Отец любит слушать подобные курьезы.)

Иногда приезжает к нам сосед Пылаев и начинает пороть околесную... (Надо заметить, что мужики почему-то стали ему поперек горла.)

— Вы не знаете этого народа! — вопит он, осушая одну рюмку водки за другой.

— Как мне не знать мужиков? — возражает отец.

— Нет, вы не знаете! вы не знаете! Разными послаблениями вы только избалуете мужика! его тогда не допросишься ни на какую работу. Тот только и работник — у кого нет ничего... (каков?) Разве наш мужик думает о завтрашнем дне? у него есть лапти да кусок хлеба, он и лежит на печке. Его, голубчика, тогда только и можно прикрутить, когда ему есть нечего! О! вы не знаете этого народа!

Пылаев напивается у нас всякий раз до помрачения ума, и тогда только и слышишь: «Parole d'honneur¹, последние времена пришли...» Каковы типы, любезнейший Андрей Петрович, окружают меня? Отец Павел также нередко посещает нас; повествует про больных, про повсеместный угар, как одной бабе на толчее руку отшибло и пр.

Я живу во флигеле с старым охотником Поликарпом, который рассказывает мне про жизнь и нравы птиц. Рассказы эти до того хороши, что я записываю их для моих учеников, с которыми после святок намерен проходить естественную историю. На сон грядущий Поликарп рассказывает мне про волков и разбойников (во мне уцелели барские замашки): как, например, в старину шайка удалцов верхом на лошадях, в полночь, останавливалась перед домом дьячка, который со смирением являлся перед гостями и упрашивал их зайти к нему откусать хлеба-соли. Незнакомцы с кистенями и топорами спрашивали у причетника: не видал ли он проехавшей тройки?.. «Людей бедных и смиренных, — говорит Поликарп, — разбойники не обижали, а, напротив, даже помогали им; приходского попа сам атаман нередко просил помолиться за него богу и давал на весь причт не менее красненькой».

Во время подобных рассказов иногда с такою силою бушует вьюга на улице, что флигель наш уподобляется

¹ Честное слово (франц.).

морскому судну, носимому волнами. У меня кружится голова, и я слышу явственно скрип мачт, хлестание волн, даже крик народа... Господи, как иногда тяжело!.. невыносимо грустна ты, русская жизнь... Где-то вы теперь? Меня берет досада, что вы не пишете... Живы ли?..

О Т Т О Г О Ж Е К Т О М У Ж Е

Март.

Что же вы не пишете, Андрей Петрович? Где вы? Что подделываете? Беседой с вами я только и отвожу душу... Один в поле не воин, вы это знаете. Если вы не откликнетесь и на это письмо, то я поеду вас отыскивать.

Посмотрите! уже весна начинается... Солнце так ярко светит; с крыш, на которых прыгают воробьи, каплет растаявший снег... Коровы и лошади подставили свои спины под теплые солнечные лучи. «Ну! — думаю я себе, — зиму пережил! теперь не погибну...»

А между тем жалобно раздается благовест церковного колокола, призывающий говельщиков, богомольных старушек к часам. Одетые в полушубки, толстые сермяги и заячьи шубки, богомольцы тянутся по улице, вероятно толкуя о грехах своих или вообще о предметах, в которых наиболее проявляется промысл божий.

Я, конечно, знаю все порядки относительно богослужения и поста. Я знаю, например, что в промежутке между заутреней и часами говельщики собираются в церковную караулку, где под образами сидят духовные, рядом с ними почетные люди: приказчик в калмыцком тулупе или богатый дворник. Они ведут речь о зимней стуже, о четье минее и т. п. Их слушают мужики с отможенными носами, стоящие близ печи.

О своих занятиях ничего вам не сообщаю, так как не знаю, доходят ли мои письма к вам? В силу этого ограничиваюсь написанным. До тех пор, пока вы не отзоветесь, не стану писать. Отвечайте скорее...

Но ответа не было.

ХІІІ

ВЕСНА

Русский народ говорит, что весна начинается с самых «Спиридоновых поворотов», когда *солнце поворачивает на лето, а зима на мороз*. Таким образом, почти весь великий

пост, называемый четыредесятницей, стоят сильные морозы и бушует зимняя вьюга. Но иногда выпадают красные деньки, когда все говорят о весне и когда внутренний голос подсказывает каждому деревенскому жителю, что у бога милости много: он накажет, он и помилует. Едва ли не в каждом доме начинают поговаривать о прилете грачей и жаворонков; вынимаются из сундуков праздничные платья, радужные шали, полинялые мантильи. под предлогом, не испортила ли их моль, при этом соображают, что лучше, надеть на благовещение или на светлый день? так что красный денек, выпавший на долю изможденных зимними холодами людей, позволяет им запастись силами для новой борьбы с стихиями, ибо вскоре опять сердито заглядывает зима.

Так начинается русская весна и народное изречение: солнце поворачивает на лето, а зима на мороз, показывает, что в это время завязывается борьба зимы с весной. Но вот, наконец, и несомненные признаки весны: снег разрыхлел, соломенные и закоптелые крыши домов обнажились. По улице шумят ручьи, на полях показались проталинки, грачи кричат в березнике. В село приходит известие, что через плотину ездить нельзя по причине сильного напора воды, и мельница остановилась; везде, как говорят, все растворилось. Между деревнями и городами прекращается всякое сообщение, время от времени разносятся вести, что половину города М. затопило водой, а городскую мельницу снесло за пятнадцать верст, что в овраге засел какой-то барин в возке.

Мало-помалу поляя вода сбывает. Снег лежит только в оврагах и на склонах гор, обращенных к северу. На лугах и выгонах зазеленела трава, которую щиплют овцы. Приближается светлый день.

В селе Кострюлине, в доме доктора Гаврила Иваныча (о котором писал Новоселов), на столе под образами стояло каменное блюдо с водой, назначенной для освящения. Было около четырех часов утра. У икон горели свечи. Тучный хозяин сидел на диване и вслушивался в неясный, но торжественный крик приближавшихся к его дому «богоносцев», которые пели «Христос вокресе», что свидетельствовало о наступившем светлом дне.

С фонарями и украшенными образами богоносцы вошли в дом Гаврила Иваныча, причем каждый из них

повторил: «Христос воскрес». Вслед за богоносцами вошел причт.

После водоосвящения хозяин пригласил священника в другую комнату, к больному. Это был Новоселов.

— Христос воскрес! — возгласил священник, прикладывая к устам больного крест, — Христос и тебя пришел посетить... Неужели в эти радостные дни ты обречен на смерть? Выздоровливай! — Священник положил у подушки больного красное яйцо.

На лицах присутствовавших выразилось участие к больному, который лежал в забытьи...

ЕГОРКА - ПАСТУХ

I

ВСТРЕЧА В ЛЕСУ

Был осенний вечер. Невдалеке от села Лебедкина, на опушке леса, сидел красивый парень, лет двадцати двух, в худом стареньком армяке, в низенькой шляпе, украшенной лентами. Он вил кнут, напевая песню и поглядывая на табун барских лошадей, пасшихся в глубине леса; подле него лежал мешочек с хлебом, горсть пеньки с прядями конских волос и новый, недоконченный лапоть.

Солнце уже закатилось. Изредка моросил дождь; на верхушки деревьев с резким щебетом взлетали дрозды; на пасеке за оврагом, тянувшимся посреди леса, громко лаяла собака. Парень окончил свою работу, снял кафтан и, положив кнут на плечо, начал обходить табун. Вдруг из-за оврага показалась крестьянская девушка в красном платке, в набойчатом, холстинном сарафане, босиком. Зорко оглянувшись кругом, парень подошел к девушке.

— Ты кого ищешь? — спросил он.

— Я так... за грибами...

— Теперь темно... не найдешь грибов...

— Ну, я так похожу...

— Ты чья? из какого дома?

— Из Губарева... Воробьевская...

— А! это что на молотилке подает, — говорил парень, идя рядом с девушкой, — что ж, он твой отец?

— Отец.

— Я и тебя словно видал... Что ж, вы хлеб-то весь свозили?

— Не знаю... там возят...

— Ты не бойсь уморилась, ходивши... пойдём — посидим...

— И-и! что ты!

— Да что ж? Ничего!

— Тебе пора лошадей гнать.

— Ничего! если бы подле села, — там управитель, али сам барин увидал бы; а тут один солдат на пасеке...

Лошади, почуяв время домой, подняли головы и начали ржать. Пастух громко хлопнул кнутом, и табун, фыркая, начал опять щипать траву.

— Садись вот сюда — на кафтан. — Парень и девушка сели. — А я вот тут один стерегу... дали было малого, да он только верхом разъезжает на лошадях, совсем мне не нужен...

— Тебе бы вдвоем веселей: бывает, какая забежит в хлеб, тебе не справиться...

— Экая ты! одному лучше... ты не знаешь... Вот мы с тобой теперь вдвоем... А кабы малый-то был, нам бы не пришлось посидеть...

— Да что ж я сию-то? — улыбаясь, проговорила девушка, — разве от этого какая...

— Да нет... все-таки... А что б ты ко мне почаще ходила? — вдруг спросил парень.

— Зачем же я буду ходить?

— Да так... может, спознались бы, — а может, я и женился бы на тебе...

— Нет! тебе жениться не придется на мне... я уж пропита!

— Когда пропита? кому пропита?

— Еще прошлый Микитий — Краюхиным...

— Знаю Краюхиных... уж не за Ваньку ли?

— За него...

— Вот оказия-то!..

— Да я бы вовсе не хотела... Знамо дело, все ба-тюшка с матушкой... Они там — приставили свечку к об-разу, помолились, выпили штоф... а наше дело девичье, вестимо: только смотри на них...

— Ты бы сказала, что не пойду! Ведь жених твоего ногтя не стоит...

— Эхма! Отец с матерью боем убьют! скажут, исхар-чились: тоже десятую пили за меня под телегой, на яр-марке. Сват-то скажет, все вывороти... заплати, а нам

где ж взять? Мы уж весь двор сожгли... Лебеда была, соломки-то нет, топить нечем... К воротам маленько двор похож на двор, а сзади нет ничего...

— Слышь! тебя как зовут?

— Прасковья. А тебя как?

— Был Егор. Вот что! выходи за меня замуж! Я навеки буду у барина служить. Нам с тобой ни дома не надо, ничего не надо!.. Будем лошадей стеречь... А на жалованье я тебе куплю панёву, и платок, и полушубок... мы зимой будем жить в господской избе... нанимают же кухарку, ты будешь варить щи нам... А летом мы с тобой вот тут... ты будешь невод вязать, а я лапти плести... Ты знаешь, я сам из бедного дома... ты думаешь, как бы богаты были, разве пошел бы лошадей стеречь?..

— Ведь пропита-то я!.. батюшка с матушкой ну-ко будут бить... они у Краюхиных взяли две четверти ржи... отдать нечем, а как меня отдадут, сват-то, может, простит...

— За рожь я заплачу! — подхватил парень, — я по три цалковых получаю, значит два месяца только послужить... Это ничего!.. — Парень помолчал, — ну, что же, будешь отказываться от Краюхиных?..

— С чево ж... — задумчиво произнесла девушка, — у тебя отец с матерью есть?

— Матери нету... один отец... он камни в горе копает... один живет... мазанка у нас небольшая есть... почесть вся завалилась.

— А ну-ко я останусь в девках?

— Экая ты! разве я с тобой смеюсь?.. ты скажи прямо, пойдешь за меня аль нет? люб я тебе аль нет?

— Неужли ж?.. не с Ванькой сменить...

— Тебе за ним пропадать надо!.. где ж тебе сжиться с ним?.. он словно блажной... а ты как маков цвет...

— За него и Ганька не пошла Андрюшина... Еремины тоже отказались... девки ни к себе уперлись...

— Что ж? упрись и ты...

— Беднота-то одолела! Ты не поверишь, мы всю зиму лебеду ели... и той не было: покупали да за заработки брали у барина... — Девушка вздохнула. — Вишь, у тебя дома-то нет... наши не отдадут!.. Чем же ты будешь играть свадьбу-то?.. ведь надо попу три цалковых заплатить... а там вина купить...

— Экая!.. Поп наш добрый!.. вон его две лошади ходят в табуне. Я у него взял полтора цалковых, я ему отдам назад...

— Что ж только-то?

— Да что нам расход? Нам вся сила перевенчаться... а это пить-то... пускай кто хочет, тот и пьет...

В это время лошади захрапели и столпились в кучу: на опушке леса показались два волка. Парень схватил кафтан и направился к табуну.

— Постой, постой! — закричала девушка, — я с тобой...

— Не робей!.. они вон пошли... кабы тут овцы, а с лошастью где же ему справиться? они всегда в эту пору выходят.. мне уже не впервой...

— Ах, грехи тяжкие! — вымолвила девушка.

— Я верхом не сяду... иди подле меня. Я до гумна тебя провожу, а там ты пойдешь себе...

Парень замотал веревку на шею лошади, которая была привязана к дереву, и повел ее в поводу. Табун устремился по направлению к селу через овраг.

— Ну, так слышь, — говорил пастух при прощании, — я ноне же пойду к своему отцу... ты будь на своем слове верна... а уж я свое дело сделаю...

Парень сел на лошадь, гикнул и скрылся за барским гумном.

II

ОТЕЦ И СЫН

Поздно вечером пастух стучался в окно мазанки, стоявшей на краю деревни Чернолесок, которая разделялась от села Лебедкина небольшой речкой. Ночь была светлая; единственное окно мазанки ярко блестело против месяца.

— Отвори, батя!

В избе закричал старик.

— Ты что?

— Да так пришел... рубаху сменить.

— Зажечь-то нечего, — отпирая дверь, говорил старик.

— На что? авось месяц...

— Ты поужинал?

— Неужели ж не евши приду... ты сам-то небось дня три не ел...

— И то, парень,— сказал старик, садясь около печки и почесываясь,— намесь цалковый-то ты принес, два пуда купил, увсе вышло... Кажись; один живу...

— Один! — подхватил сын, закуривая трубку в переднем углу,— ведь у тебя хлёбова нет, и кашки-то не бывало.. ешь один хлеб,— вот оно и скоро выходит...

— И чудно, братец ты мой,— проговорил старик,— как это скоро выходит! Кабы скотина была, живот бы не болел; а то нет ни поросенка, нет ни ягненка...

— Ты что ноне работал? — спросил сын.

— Работа одна: всё камни копаю; ноне чуть глиной не придавило... Анадьсь вот случай-то, я тебе расскажу: пришел я к яме, а в ней сидят два волчонка... хотел я их пыймать, в город отнесть, да подумал: волчица житья не даст... она запах чует... так и не трогал: гитай их голова!.. Вот солюшки нет, горе мне... беда, да и только...

— Тут не про соль дело! я к тебе пришел маленько погугарить...

— Об чем? говори! аль тебе плохо жить?..

— Оно жить-то мне покуля ничего! Да вот ребят-то всё женят... а ты меня не женишь...

— Эх, Егорушка,— воскликнул старик,— кабы ты знал, как моя душенька болит об тебе... ты думаешь, я сам не смеаю... я у горе-то копаю, копаю, а все об тебе думаю... Люди запивают... Вон намесь Терехины усплений пили... а я пошел на ярмарку лычек купить, иду мимо-то — они гуляют... Я и вздумал об тебе... Вот кабы мочь была, я б не хуже людей разгулялся...

— Не тужи, батя... ты смотри.

— Что нам с тобой смотреть? Нам кабы господь послал по смерть хлеб-соль,— и слава богу...

— Эко, батя... хлеб-соль — хлебом-солью, а дело само собою. Вот нас с тобой двое; ты меня не бил никогда, жили мы с тобой ладно... Надо правду сказать: полюбилась мне девка...

— Где же это?

— Воробьевская... знаешь, у Губаревых...

— Как не знать! Эх, братец ты мой: голь на голь — что ж выйдет?

— Оно голь-то голь, батя! а ведь мы с тобой с голоду не помираем... авось господь! И ты живешь, и я живу... Вон ноне всю зиму лебеду ели, а живы остались... Будем оба с женою работать,— наймемся куда... а ты

посмотри у работников: каши невпроворот... еда хорошая... а что ж нам еще надо? Мне девку жалко... Ее пропили, за Ваньку косорылова... а девка-то какая!

— Так-то так, Егорушка, Краюхины люди богатые, а нам-то с чем свадьбу сыграть? ведь у нас куда ни кинь — везде клин, нет ничего!.. вон путо нашел, другой год им подпоясываюсь... а кафтанишко — в добрые люди и показаться нельзя... да уж и стар стал... хорошо, как глиной пришибет? а ну-ко нет?.. я и сяду на твои руки?.. а ты беден, хозяйка еще бедней...

— Эх, батя! дай пожить мне-то! все у нас будет: я буду служить старательно, попрошу управителя, он прибавит жалованья и тебя куда-нибудь возьмет — лес, что ль, караулить... авось как-нибудь проживем... жена будет помогать...

— Оно, вестимо, так, — ободрясь, продолжал старик, — что ж? лес караулить — это бы ничто!.. А ведь я ломом-то долблю, долблю — рук не подынешь; придешь домой, ляжешь на печку, поясница так и ломит... Как же это нам быть-то?

— Да ты уж не хлопочи; я оборудую дело... только слухайся меня: ступай ты завтра к Губаревым свататься, наперва приходи ко мне в лес, я ранехочко у приказчика выпрошу пару цалковых... Ты купи вина и ступай, запивай за меня... потому, я тебе сказываю, девке идти не хочется за косорылова... мы с ней устрелись в лесу... она за грибами ходила... Девка, одно слово, смиренная... супротив этой девки весь свет выходи — не найдешь... Что ж я буду так жить? Ты помрешь, кто меня женит? И запить некому будет...

— Оно ничего... Что ж, когда такое дело?.. вот маленько у меня не докопано до сажени... десятский приезжал, кричал, кричал...

— Авось докопаешь! Ступай, да и раз! там уж запой был... отдадут за Ваньку — девка пропала... а она мне говорила, что со всем согласьем... дело насчет, значит, родителей...

— Вот что, малый: куда ж мы ее приведем-то?

— Толкуй там, куда приведем... а у них-то что? одни ворота... двора-то нету... весь сожгли...

— Стало быть, вы промеж себя будете жить?

— А то что же! Я не во двор ее веду, а будем жить по людям, и ладно...

— Это так...— доставая тавлинку, заметил старик,— ну что ж... пожалуй...

— Вот что, батя: одна дыхнуть, жени меня на Параше... дюже будет хорошо!.. Ну, я пойду... завтра поране вставай...

— Эх, Егорушка,— говорил старик, провожая сына,— я б тебя на ком хошь женил, мочи-то не хватает...

III ПОПЫТКА

Рано утром Ефим, так звали отца пастуха, зашел к сыну в лес, взял деньги и отправился в деревню Воробьевку, до которой считалось от Лебедкина не более двух верст. На пути в кабаке, стоявшем на большой дороге, он купил водки, белого хлеба и середку ветчины.

Ефим вошел в дом невесты, сложив провизию в сенцах.

— Что, хозяин дома? — спросил он, помолившись образам.

— Тебе что надо? — спросила хозяйка.

— Да я так пришел: мне повидаться надо.

— Тебе насчет чего же надо-то?

— Да так! поговорить насчет одного дела.

— Ты откуда?

— Чернолесский.

Вскоре вошел хозяин.

— Доброго здоровья! — сказал он,— тебе что надо?

— Тут... насчет своего дела...

— Об чем же?

— Да насчет, примеру, девки...

— Какой девки?

— Силич, твоей.

— Моя пропита!

— Мало что есть! вот мы поглядим, как дело пойдет...

Ефим отправился в сени, принес оттуда провизию и, становя ее на стол, проговорил:

— Тут вот что!..

— Да это мы видали виду-то,— возразил хозяин, с пренебрежением глядя на закуску,— у нас не такие бывали: и яблок принесут и арбузов... что твоей душе угодно... Только нам теперь не до этого... я уж готовлюсь к свадьбе: вон и ржицы на солод приготовил; бражку закупаем...

— Эх, брат! — воскликнул Ефим, развязывая провизию, — люб-нелюб — повидался...

— Да что, брат ты мой, повидался... у нас уж два года дружелюбие идё с Краюхиными...

— Опоздал, батюшка, опоздал! — заговорила хозяйка, станова чугун в печку, — мы уж никак больше году с Краюхиными знаемся... и дары уж отдали.

— Мало что отдали! — сказал Ефим, — хлеб-соль во сне хорошо, а наяву еще лучше...

— Ну так что же, брат ты мой? — сказал хозяин, садясь за стол, — в чем же у нас будет дело? ты чей, откулева?

— Да я — чернолесский... Ефим... А у меня малый есть, Егорка, знаешь, в Лебедкине у барина лошадей стережет...

— Знаю, знаю... Так что ж, значит, куда же это вы мою Параньку хотите взять? ведь я дом-то ваш знаю: мой хорош, а ваш еще ловчей!..

— Э! братец ты мой любезный! — держа в руках штоф, заговорил Ефим, — и через золото слезы льются, я слышал... Я ведь не в дом беру, а просто за Егорку: человек дорог!.. Парень тебе известный: вокруг вас другой год живет...

— Живет-то живет... ну-ко, садись за стол: там видно будет... что с тобой делать. — Подноси... ну, пей сам.

— Дурья голова! — завопила хозяйка на мужа, — что у тебя горло-то, как бёрда! что хошь пройдет... И рад, родимец те растяни, что вина принесли... а забыл, что девка давно пропита...

— Э! гость на гость, хозяину радость... во всем воля божия!.. вот Еремины опили, может быть, десятерых... а нам по бедности только другой пришелся...

— Я не к чему что, — держа перед хозяином стакан, говорил Ефим, — не знаю, как имя, отчество...

— Был Кузьма, — сказал хозяин и обратился к жене, — ты бы посмотрела на улице да хлудом дверь-то заперла... неравно сваты придут... Краюхин ноне Параньке говорил... То-то, стало быть, баба дура!

Хозяйка заперла дверь и возвратилась в избу.

— Садись, сват! — продолжал хозяин, обращаясь к Ефиму, — мы попросту... мы народ бедный... Аксинья! порежь ветчинки-то..

— Я сам, малый, бедный, не рассказывать тебе, — объяснил Ефим, присаживаясь на коник, — у вашего же барина камни копаю... Только вот что я тебе скажу... Нет! давай выпьем по другой... Просим покорно!

— Отрежь ребрышко, — сказал хозяин жене.

— Вся для вас! — указывая на ветчину, объявил Ефим, — дело, видишь, какое: лежу я на печке, Егорка приходит мой и пересказал мне, что твоя девка больно полюбилась ему...

В это время вошла Параша с коромыслом, увешанным рубахами.

— Здорово живете! — сказала она гостю, проходя к печке.

— Здравствуй, касатка! — проговорил Ефим, глядя на девушку, — стало быть, твоя дочка? — спросил он хозяина.

— Моя...

— Ну, я и говорю, — продолжал Ефим, — куда ж нам, говорю?.. не сыграть нам свадьбы... а он вон как: «У меня управляющий нипочем! Взял пару цалковых, ступай, говорит, запивай! Вот тебе вино, вот тебе и середка...» Удалой парень зародился...

— Знамо! что говорить? — сказал хозяин, — по душе на что лучше! Только как же, сват? где же мы свадьбу-то играть будем?

— Матушка! — шептала за перегородкой девушка своей матери, — это пастухов отец?

— Он...

— Я видала парня-то... он малый хороший... я за него с радостью пойду!

— погоди ты, девка, дай послушать, что говорят.

— Да, вишь, он хитрый какой, — продолжал Ефим, — беру, говорит, не в дом, а себе...

— Значит, по людям? — спросил хозяин, — а мы-то где ж при старости будем?

Ефим замаялся, взял в руки штоф и проговорил:

— Ведь это и так сказать, это дело его! лишь было б согласие!.. ведь не нам с тобой жить... Ну-ко, сватенек, давай еще по одной...

В это время на улице раздался стук в дверь... «Отпирай, сват!» — кричали несколько голосов...

— Я тебе говорил! — воскликнул хозяин, сердито смотря на жену, — это что? Беги посмотри!

— Ах, провал тебя возьми; они, и то они!— объявила хозяйка, входя из сеней в избу...

— Ну слухай, сват,— сказал хозяин Ефиму,— ты сядь поди к печке... кабысь насчет колес пришел... Аксинья! прибирай! поставь посуду-то на полку... возьми середку... поправь скатерть...

— Это кто же? — боязливо спросил Ефим, отправляясь к печке...

— Экой ты, братец ты мой! Сваты...

— Что ты врешь?

— А ты как думаешь об Параньке? За ней бяда что народу!

— Батюшка! — объявила девушка, подходя к столу,— ты меня лучше не отдавай за Ваньку... вот тебе Христос, че пойду за него! За Егора — пойду!..

— Ну, ну! знать, не учена давно?

— Ты забыла,— подхватила мать,— что у отца с матерью на гумне-то?.. кладушка одна...

Параша ушла за перегородку и села на кровать.

Между тем Ефим, сидя у печки, рассуждал сам с собою:

«Вот оно, значит, молодо-зелено... Послухал Егорку — и наткнулся... Ну, да что ж?.. я ни в чем не повинен... плохого ничего не сделал...»

IV

СВАТЫ

Толпа мужиков и несколько баб, держа в руках жбаны с вином, ковриги хлеба, пироги, завернутую в скатерть баранину, стояли на крыльце. Хозяин без шапки встретил гостей, умильно говоря:

— Добро пожаловать, добро пожаловать...

— Мы маленько припоздали, сват,— заговорил сам Краухин, одетый в дубленый полушубок,— за вином долго проездили: в город посылали... я хотел тебе удружить.

— Ну, благодарим на этом,— сказал хозяин.

Мужики вошли в избу, помолившись богу, снова поздоровались и начали раскладывать свои припасы на столе.

— Это чей же у вас такой? — спросил Краухин, кивая на Ефима.

— Да чернолесский.. пришел было передки поторговать... Человек тоже бедный...

— Что ж? — заметил Краюхин, — не замай... Ну что ж, сватики, — обратился Краюхин к хозяевам, — стало быть, с богом! пора помолиться в последний раз...

— Что ж? — плаксиво сказал хозяин, — давай бог час! Аксинья! вздуй огоньку, зажги свечку...

— Слава богу! — продолжал Краюхин, — попили винца вдоволь... дело сладили...

Хозяйка приставила к образу свечку, и все начали молиться в землю, приговаривая: «Христос господь, божи матушка!.. Сам Миколай-угодник и все родители...»

— Просим покорно! сват! что ж не садишься? мы пришли тебя угощать... И ты, сватьяшка... двигайся, двигайся дальше...

— Мне было некогда, — проговорила хозяйка, — ну, я сяду поближе: придется подать...

— Чего тут подать? у нас все тут есть. Дядя Евлампий! развязывай! Крой пироги-то...

Краюхин, стоя перед столом, расчистил свои усы, потер пальцами по животу, встряхнул волосами и взял в руки штоф.

— Просим покорно!..

— Пей, сват, сам, — сказал хозяин, — что в руках, то в устах...

— Ну, стало быть, будьте здоровы...

Остаток капель Краюхин брызнул в потолок, постучал опрокинутым стаканом себе по голове и объявил: «Вот так, чтобы наши молодые попрыгивали...»

— Пошли господи!

— Его святая воля!

— Помоги бог, что задумали, загадали...

— Авось невеста идет не куда-нибудь, а в богатый дом...

— Мы ее не обидим! — сказал Краюхин, — у нас и так баб мало... работой неволить не будем... была б только почетница...

— Своим добром хвалиться грех, — заметил хозяин, доставая кусок баранины, — а мы за ней плохого не замечали...

— Даст бог, заживем знатно...

— И жених — малый смирный...

— Я тебе, сват, по истинной правде скажу,— объявил Краюхин,— вот ему восемнадцать лет, и от него вот чего не видал... просто красная девка...

— Маленько лицом не вышел,— заметила хозяйка,— ну да стерпится — слюбится... Народ болтает, что он какой-то блажной...

— Это, я тебе скажу, природа такая! — воскликнула мать жениха, — на ем, должно, была младенческая...

— Да и насчет работы ничего... — подхватил Краюхин, — вот за водой все он ездит... это уж работа за ним... Ну, маленько недосмыслит чего, знамо парень молодой... мы сами молоды были... Вон нонче умные-то понадели красные рубахи, пояса с махрами, лосные картузы — словно господа. А нашему брату за господами не угоняться...

— Да что говорить! — возразил один старик, — эти умные избаловались на отделку: пустились в воровство да в пьянство... Иной сошник али курицу стащит с перемета — все в кабак... Прежде их секли в конторе, а теперь сечь-то некому... Надысь мне кум Игнат рассказывал: чей-то лебедкинский малый пропил в кабаке кошку — вместо петуха...

— Что ты врешь? — раздались голоса.

— Истинная правда: к примеру, посадил ее в мешок и пустил под печку — к цаловальнику. Вот они умные-то!..

— Ах, домовой те расшиби! — удивлялись мужики, покатываясь со смеху...

— Сват! пора по другой! — сказал Краюхин, — видно, не затем принесена, чтобы ей стоять...

— С чего ж? давай...

Между тем хозяйка достала из-за пазухи красный платок и, подавая его Краюхину, сказала: «Вот, сваток, женишку...»

— Благодарим покорно! — сказал Краюхин и спрятал подарок в карман.

— А что, дядя Иван, — беседовали мужики, — извоз маленько подался...

— Знамо дело, народ таперь отработался, ездока стало много. Я вот другой год смотрю и колес не стал шиновать. У господ земли много, намесь мы вдвоем у ена-рала цалковых двадцать сгладили у три дни... А то пое-

дешь в извоз, где колесо, где лошадь оставишь, с одним кнутиком и придешь...

— Ноне, что говорить! народ поправится... господь хлебушка зародил...

— Эхма! — сказал хозяин, — у людей вон — скирды, у меня одна кладушка в семь копен... вот и живи целый год... у свата две четверти занял, а чем отдать?

— Слухай, сват! — заговорил Краюхин, — когда такое дело, вот тебе при свидетелях говорю: рожь твоя! я не гонюсь! у нас покелева слава богу! молодка заработает...

— Ну, благодарим...

— Мы друг об друге, а бог обо всех!.. да что ж мы пируем? — воскликнул Краюхин, — а где ж девка-то?

Все примолкли, ожидая появления невесты.

— Ну, что, сват! — прогсворил хозяин, — не трогай!.. не ее дело...

Из-за перегородки вышла Параша.

— Как же не мое дело? — заговорила она, став среди избы и сдвинув брови на отца, — с Ванькой-то мне жить, — а не вам... он распустил губы-то, вы, что ль, их будете цаловать?..

— Стой, что ты, что ты!.. — вставая из-за стола, заговорила мать.

— Паранька! — закричал отец, — с чего это ты вздумала? в кои века... ах, господи Христос...

— Как вы хотите, — продолжала девушка, — а я не пойду... Хоть опейтесь до смерти! а мне не быть за Ванькой...

— Вот таэ и раз! — возопила хозяйка, — какой же родимец те научил?..

— Супротив родителей итить, — подхватил хозяин, — мы пили, пили... стало быть, года два харчились... а ты все дело хочешь попортить...

— Вы пили, меня не спрашивались!.. — решительно сказала девушка, — жить-то мне... Я сказала, за Ваньку не пойду — так не пойду...

— Да что ж это такое? — воскликнула мать, — лихоманка тебя убей...

— Слушай, красавица! — обратился к девушке Краюхин, — теперь, к примеру, это дело мне стоит двадцать пять цалковых... да две четверти ржи, ты слышала? это я должен выворотить все! так вот что: у твоего отца всего имения не хватит — и с тобой со всем...

— Мне имения не надо! — объявила Параша, — с голоду не помру!.. Я вам сказываю: не быть этому делу!.. Я готова душеньку отдать за того, кто мне люб-то... пускай я с голоду помру, буду таскаться по чужим углам... а то вы что же делаете? только опиваете? а мне невесты за кого идти...

— Пстой! Кого ж тебе надо? — спросил отец.

— Вон, — указывая на Ефима, сказала девушка, — запивали за Егора, за него иду!.. а то силком хочут отдать...

— Дура несуразная! там нет ни кола, ни двора, куда ты пойдешь-то?

— Это не ваше дело!

— Как? — воскликнул Краюхин, глядя на хозяина, — ты, сватенок, что же? за другого запивал? Ты что, почтенный, — обратился Краюхин к Ефиму, — с запоем пришел сюда?

— С запоем, — отвечал Ефим, — моих два цалковых тут запито...

— Что ты, что ты, милый человек, — сказала Ефиму хозяйка, — у нас больше году длится дело... к чему ж тебе? Грех тебе, право слово...

— Вот тебе два цалковых, — доставая деньги, закричал Краюхин, — девка моя!

— Ан не твоя! — перебила Параша.

— Погоди, красавица! у тебя отец, мать есть.

— Отец с матерью в этом деле мне не указ...

— Угодники святые! Что ж это такое делается?

— Оказия, малый! — говорил народ.

— Что ж? наше дело сторона...

— Иди, Паранька! я тебе сказываю, иди! — кричал хозяин.

— Не пойду! что хотите со мной делайте... сказала — не пойду!

— Что ж это, православные, будет? — кричал Краюхин, — будьте свидетели: я завтра в суд...

— За что ж в суд? Сам видишь, мы уговариваем ее...

— Угомонитесь, братцы! мало что девка сказала...

— Завтра же еду в суд! Ноне расчет с вами короток...

— Ну, в суд так в суд! ты проси на девку, а не на меня! Что ты с девкой сотворишь?

— Пойдем, малый, тут, я вижу, дело не приходится...

Вдруг отворилась дверь, и в избу вошел пастух.

— Здравствуйте, добрые люди,— сказал он,— что это у вас такое производится? Батя! — обратился он к отцу,— ты что ж? дело делать, так делал бы... а не делать, так и ходить незачем сюда...

— Ты чей такой — в чужое дело встрявать? — возразил Краюхин.

— Нет, не в чужое! — объявил парень,— а в свое собственное! ты девку-то запил, может, год назад; а мне она раньше твоего запою по сердцу пришла... Стало быть, и оставайся с своим вином... Вот бы ты как действовал! — обратился парень к отцу,— а ты забился в угол...

— Послухай, брат! — сказал Краюхин,— какую ты имеешь праву встрявать? ведь я тебя притяну в суд...

— А ты какую праву имеешь насильно девку брать?

— Послухай, молодец; насчет запою девки в законе писано... испокон веку деды-прадеды наши делали так...

— Вот что, православные! — объявил парень,— шумите, не шумите, весь навек заложусь, а девки не дам! вот она... спросите ее!..

— Я переж тебя говорила им,— утирая слезы, сказала девушка.

— Да что с ним толковать? Гоните его! — крикнул один.

— Слышите, ребята,— сказал парень,— лучше добром сойдемся... А то берегитесь: я не пожалею красного петуха...

— Послушайте, добрые люди, что он говорит... видь это значит разбой!

— А это не разбой,— кричал парень,— девку навек погубить? За кого это вы вздумали ее отдавать, за шалаю? Ему не жениться, ему только фуры подмазывать...

— А ты знаешь, за эти слова вашего брата в острог сажают? — объявил Краюхин.

— Сажай! За правду и в острог сяду!

— Вижу, братцы, толку никакого не будет... А надо его вязать!

— Ну-ко, парень, иди подобру-поздорову,— сказал хозяин,— откелева пришел...

— Вяжите его! он не может такие слова говорить...

— Ну-ко попробуй! Эко испугался! Сами собрались хуже разбойников, а меня вязать? Ишь пьяные рожки! Пойдем, батя! ты, я вижу, пить вино только любишь...

— Ребята! надо за старостой сходить!

— Я до царя дойду! — кричал парень, — он, батюшка, всех ослобонил... Это в старину господа девок отдавали за кого хотели...

— Да ты кто такой? — подступая к парню, вопил Краюхин, — один кнут на плече!

— Сказано слово — не уступлю девку! Как вы ни гоните!

Пастух с отцом вышли из избы.

— Что ж ефто такое? — говорили мужики, — авось у нас хрященная вера: когда девка супротив родителей шла?!

— Это все ты! — кричал хозяин на жену, — это твоя дель... избаловала девку...

— Нет, ты! — подхватила хозяйка, — говорила, погоди пропивать девку; полштоф да калач принесут, а ты и рад.

— Ну, сват, помни! — грозил Краюхин, — срамоту завел, как бы самому не расхлебать... Я те навек в работники запру... православные! будьте свидетели: я сейчас еду в суд... меня же опили, меня же хотят и поджечь...

— Постой, сват! Надо говорить по-божьи: разве я тебя хотел поджечь?

— Вот грехи-то, — говорил народ, выходя из избы.

V

СБОРЫ К МИРОВОМУ

Кирпичная изба Краюхина, покрытая вприческу, стояла среди деревни, дворов через пять от дома невесты: раскрашенные ставни, узорчатое крыльцо с скворечницей, пустые ульи на завалинках, несколько тележных станков — все говорило о зажиточности хозяина. В сенях стояло исполинское корыто для свиней, выдолбленное из столетнего дуба; на стропилах и переметах висели мешки с салом, окорока ветчины, дубленые овчины и пр.

Пришедши в избу с женой, Краюхин бросил шапку на нары и сел подле стола. Жених спал на полатах.

— Нет, я этого дела не оставляю! — говорил хозяин, стуча кулаком по столу, — все имение просужу, а не поддамся... Ноне же поеду к мировому...

— Посудись, попытай, — возражала хозяйка, — благо у тебя скирдов много... Гляди, как бы чего хуже не

было... вон пастух-то грозит красного петуха подпустить: ты думаешь, он своей головой подорожит! Беды — горе! У него всего имения — кнут, а у тебя, может, тысячи... Что ему острог? Он просидел свое время, и опять вот он! Ох! — заключила хозяйка, сложив руки на груди, — из-бави, царица небесная...

— По-твоему, стало быть, все дело бросить? — говорил Краюхин, — цалковых на двадцать огрели да срамоты наделали — тебе этого мало?

— Не проводи с этими судами поболе... — отыскивая кудельку, заметила хозяйка, — бывает, истратишься, а по-твоему ничего не делается... В суд тоже — завяжи в узел, да и ступай туда...

— Стало быть, и Ваньку не надо женить. Кто ж будет работать-то? Баб вовсе нет!..

— Женить-то женить, — отвечала жена, — как бы греха не было: ты вишь, господь свое строит: никак третью невесту запиваем, а все нет толку: малый сам того не стоит, что пропили... Кто пойдет за него? Ты вишь, совсем дурак... какая на него польстится?

В ответ на все это с полатей раздавалось громкое, беззаботное храпенье хозяйского сына.

В задумчивости, побарабанив пальцами по столу, Краюхин подошел к полатам, дернул сына за волосы и сказал:

— Эй! тебе только спать?

— Чаво? — протирая глаза, буркнул парень.

— Слезай отсюда! — крикнул отец, — небойсь лошадям пора давать корму...

Иван с красным длинным лицом, светло-русыми волосами, высунутым языком и белыми едва пробивающимися усами неторопливо подошел к столу; глядя на отца мутными, серыми глазами, он проговорил:

— Я давал...

— На вот платок от невесты, — сказал Краюхин.

— А! малый... Это я у кабаке на шасту видел... — с усмешкой разглядывая платок, сказал Иван. Затем он высморкался и сел на лавку.

— И господь таэ на нас навязал! — проговорила мать, качая головой, — покуля мы с тобой будем маяться?

— Бать! а что ж, колоду-то надо вытащить... — сказал Иван.

— Ах ты, господи! — говорила хозяйка, глядя на

сына,— и родимец его расшиби — еще спит!.. кабыдто не до него дело...

— Будет тебе ругаться-то,— возразил Краюхин жене,— сама небойсь родила его... Что ты чешешься, дурила! — обратился он к сыну,— утри слюни-то... На вас на обоих-то дрова возить. Слышь, Ванька! Ступай запрягай бурого... Тут сколько ни сиди, ничего не будет...

— Куда это ты? — спросила хозяйка.

— Знамо куда! к мировому! — поднимаясь и отыскивая шапку, сказал Краюхин,— сбирайся скорей! Навялился малый... одних колес что истреплешь...

Между тем на крыльце у Краюхина собралась толпа мужиков, бывших на запое. Тут был и невестин отец, которого сваты уговаривали помириться с Краюхиным и *«не заводить лишнего»*.

— Петруха! ты куда ж? — толковали мужики...

— Что, малый! хочу домой пойти... Ты вишь, дела-то! весь хмель вышибя вон!..

— Экой ты чудной! пойдём! Что ж, пили, пили, так и бросить?

— Да что? У него небойсь вино-то из глаз льется? Шутка ли дело, колько исхарчил... Ну; кабы не Егорка, дело пошло бы как следует...

— А ты слухай, Кузьма! — обратился один к отцу невесты,— мы твоей хлебом-солью довольны... только это дело, я тебе сказываю, не приходится: девке волю давать нельзя!.. тогда и на свете не жить...

— Я уж ее оттастал на задворке! — объявил невестин отец,— уж и каляная, пропади она! Кричит: руки наложу!

— Слухай-ко,— это дело ничего... А вот Краюхин как бы не поехал к мировому! придет становой... туды сюды... заматают на отделку!.. Пойдем,— авось поуладим... Что ж хорошего? Сам знаешь! ведь Егорка пастух-бездомовник, а тут чего изволишь... всего слава богу! может, птичьего молока нет...

Невестин отец бросил шапку оземь и объявил:

— Эх, братцы! и не знаю, куда прикинуться! сокрушила меня эта девка!

Мужики, пораженные родительским отчаянием, заговорили:

— Вот она что значит, дитё-то!

— Эко, братец! ведь одна утроба-то!

— Что говорить! вспоил, вскормил; а она вон что!..

— Ну, ребята, пойдем! Евлан, иди!..

Мужики вошли в избу.

— Еще здравствуйте...

— Здравствуйте...

— Слухай, Петрей! — обратился к Краюхину один из сватов, — что ж это будя? пили, стало быть, пили, а толку все нет? Мы поговорить к тебе пришли... Захватили с собой свата Кузьму! Надо чем-нибудь порешить... а то ведь уся деревня сбежалась на срамоту...

— Я сказал слово! — объявил Краюхин, севши опять за стол, — мое слово верное! мы ему покажем петуха!..

— Ну, вот что: поедешь ты в суд... протори да убытки... и больше того пройдет! а лучше как-нибудь промеж себя поладим, мало что говорится... на брань слово не купится...

— Нет, я докажу! — воскликнул Краюхин, — хать мало?.. Ваньку?.. да он мало того... он всему миру известен!.. Кто кося? кто паша? кто навоз возя? Ведь он вот — он! И, стало быть, девка не стоит? Ишь какая хрелина!.. право!..

— Сват! — сказал отец невесты умоляющим голосом, — ведь это дело девичье... как ты рассуждаешь! Знамо дело, народ молодой, неуч! Я вот сейчас лудил ее на задворке... ты ушел, небойсь ничего не знаешь... Стало быть, ты не судись, хоша она тебе нагрубилась сколько-нибудь, уж это дело я покрою... А то нам обоим будет нехорошо!.. Когда я согласился с тобой, дал правую руку, я своему слову не изменю!

— Когда ты дал слово, — подхватил Краюхин, — я всю свою родню созвал к законному делу... честь честью... и никого я не огорчил!.. А наконец, главное дело, невеста выходит и говорит, что то, что не хочу идти!.. и я тепереча остаюсь ни при чем!.. где ж ты был прежде?..

— Экой ты! я со всем усердием отдаваю тебе, — сказал Кузьма, — а ведь это она своей головой выдумала, — что не отец во власти, а дочь во власти стала... По-моему, отец с матерью чем благословит, нужно жить! И господь так велит.. а ежели она нашла себе особенного, так я не знал об этой части...

— Слушайте, ребята, — возразил высокого роста мужик с седой бородой, — одно слово, вышла у всех горячка — к примеру, чего спокон веку не бывало... Ты, Пет-

рей, охлынь!.. а ты, Кузьма, не дюже думай об своей девке... вот какая вещья — обойдется!.. Я десятую на варке купил кобылу, помнишь?.. Насилу поймали. Заарканили, я тебе скажу,— того и гляди душенька вон из ней!.. А деньги все отдал! Вот таэ перед богом! (Мужик перекрестился.) Что ж ты думаешь? Кобыла-то какая вышла!.. Сам знаешь, что ж тебе толковать? Қолько разов в Москву ездила... А ты об девке толкуешь!.. смотри— обомнется,— какая баба-то будет!..

— Это что говорить! — подхватил один из родственников Краюхина,— ты знай завсягды: коли девка супротивная — значит, будет добро!.. А то что ступу-то возьмешь? Она ни в куль ни в воду!.. у ней ступень по рублю...

— Это уж так! — заметил отец невесты,— насчет девки не сумлявайся! Ухожу!.. А уж насчет пастуха — дело не мое! Я его и знать не знаю...

— Ведь вот ты какой алырник,— сказал Краюхин,— теперь пьешь, стало быть, и с меня и с пастухова отца...

— Послухай, Петрей Анисимыч; мы с тобой спознались еще с энтой десятой, ужли ж я тебя променяю на какого-нибудь междворника? ты сам знаешь, ведь я его не звал к сабе в дом... Неужели ж я какой? Был я на задворке да потом в избу, гляжу, он тут и есть с кошелкой... со всеми припасами... Ну, знамо дело, от двора отгонять не приходится... Завели мы с ним балы... а тут и вы пришли.

Хозяйка подошла к мужу:

— Петрей! — начала она,— будет тебе каляниться! вишь, сваты пришли... подобру-поздорову... к какому-то там мировому! Ведь все тут в собрании: пореши дело, и с богом! как с сватом вы перва запили, так и нужно сходиться... Ты знаешь пословицу: кто первый брак разлучает, тот царствия небесного не получает!..

— Вот что дело, так дело! — заговорили мужики,— а то ноне тоже и в суде за рубль отдашь пять... Да небойсь не прикажут девку срамить сколько-нибудь... А вот что: ты, Кузьма, ступай зови свою хозяйку и девку захвати, да тут сообча при всем честном народе и порешим дело...

— Ты ее постегал, она небось опамятовалась... поумнела... Говорит пословица: не бить, добра не видать!..

— Что вы! — закричала хозяйка, — разве девку к жениху в дом водят?.. это отродясь не бывало...

— Ничего, Сергевна! толковать еще! Уж коли на срамоту пошли — так и быть!

— Я ее сюда не поведу, — сказал Кузьма, — а отпытаю от ней речи... что она скажет?..

Кузьма вышел.

— Ничего! обойдется, — успокаивали мужики Краюхина, — следовательно, чем она гребует? идет в богатый дом!.. об чем ей горевать? А ты, сватенок, покель станови на стол штох! мы засядем... погугорим...

— Погугорим-то погугорим, — в раздумье проговорил Краюхин, — оно, к примеру, хоть и повенчаешь... дальше-то что будет? как бы опосля чего не было?..

— Да что ж опосля? жить будет у твоём доме, работать будет... Неужли ж ты пастуха к себе на двор пустишь! А коли такое дело: взял да в суд его!.. волков бояться, в лес не ходить! что такое пастух? что такая за птица? что он, на колесницах, что ль, ездит? Важное дело! Разве он смеет такие слова говорить? ведь это уголовщина?.. всем нам будет беда, не одному тебе, как он подпустит кочета-то!..

Вошел отец невесты и объявил:

— Что, братцы, дело плохо!

— Как так?

— Запировала, бяда! говорит: хоть бсел цепляйте на шею, не пойду!..

— Ты бы ее съукротил...

— Куда тебе! Завертелась в поле, из виду вон!

— Куда ж это она?

— Вихор ее знает! ребята сказывали, побежала по гуменникам прямо к лесу...

— Мотри, малый, это она к Егорке...

— Знамо дело... к кому ж больше?

— Нет, уж их, видно, братец ты мой, не развядешь!

Краюхин выпрямился во весь рост и закричал:

— Это что ж такое будет? что я вам, на посмеховство, что ль, достался? Ванька! Запрягай лошады! кажись, мой дом не из последних в деревне!

— Слухай, сват... чаго там?.. авось не важная штука...

— Нет! я вижу, вам только горло заливать? А вы готовьтесь-ка в суд... Ванька! подмазывай телегу...

Мужики стали выходить из избы. Краюхин кричал им вслед:

— Я докажу! у меня вся деревня узнает, что значит Краюхин... живой в руки не дамся!.. Я пять мировых куплю!..

Вышедши на улицу, мужики толковали:

— Ну, малый! пойдет теперь судьбище! и нас всех потянут... Пропали мы с этой девкой!..

— Что ж? мы так и покажем! пришли, попили... а насчет девки дело не наше... Кто их знает, как они там сходились?..

Краюхин надел армяк, велел жене поймать курицу— «подарить писаря мирового», и отправился с сыном на задворок. Приготовив пехтерь с сеном и подмазав телегу, он велел сыну искать вожжи, а сам начал заводить в оглобли лошадь. В это время мимо задворка проехал верхом лебедкинский староста в дубленом полушубке. Увидав Краюхина, он повернул назад и остановился напротив ворот.

— Далеко, Петр Анисимыч, отправляешься? — спросил староста, сняв шапку.

— Да хотел было к мировому...

— Какая тебе неволя пришла?..

— Да тут занялся я с человеком!.. сосватал невесту!.. Я так полагал, дескать человек бедный, я ему могу пособить во всяком деле, а он наделал кляузы... Давай, говорят, вожжи-то! — обратился Краюхин к сыну. Иван вместо вожжей вынес тяжи. Краюхин сурово посмотрел на сына и проговорил: «Ах, дурак те скудахтал...»

— Какие ж кляузы? — спросил староста.

— Да вот какие кляузы: прежде говорил, что девку стаю, что очень любопытно, а после того девка записывала, — да откуда ни возьмись наскочил пастух... На запое такие грозы наделал!.. как есть всех повязал!.. Кричит, всех сожгу... Он ваш, лебедкинский...

— Что ты врешь? это Егорка, должно быть?

— Он самый!.. кабы я знал-ведал — блаже бы я не связывался с таким человеком...

— погоди ж, — сказал староста, — я управителю скажу. Экой! ты плох!

— Как плох? Я тут же заявил миру...

— Ты должен старшину просить...

— Нет, я хочу прямо к мировому! Что старшина?

такой же плут... он судить не судит, а рюмки собирает... Там просудишь жеребца, а делов никаких не будет...

— Что ж на ночь глядя едете?

— Придется, в дороге ночуем... это такое дело, что делать с разбойником...— Краюхин сел в телегу, перекрестился и сказал: — Ну, прощай!

— Счастливо! дай бог тебе...

VI

У МИРОВОГО

На другой день утром Краюхин сидел в передней мирового судьи, где было человек до десяти просителей. В ожидании разбирательства вполголоса шел разговор.

— Ты насчет чего? — спрашивал один кучер другого.

— Да оно дело-то пустяковое, а все в нынешнее время не приходится... Ехали мы с управителем из города, поздно вечером; подъезжаем к имению-то, а тут пни... Вихор ее знает, пристяжная начала беситься... Не успел я образумиться, вся тройка понесла... Мы и пошли прыгать по пням-то... А управитель у нас балухманный: давай меня оплеухами кормить... А ноне за оплеуху-то двадцать пять цалковых!

— Стало быть, тебе придется денег вволю...

— А вот увидим...

— А со мной какая оказия,— говорил мещанин огороднику,— заехал я к одной барыне, старинного завета, насчет птицы. А у барыни есть дочка. Я спрашиваю барыню: отчего вы в доме не заведете мужчину?.. дочка ваша, например, на возрасте, следовательно сейчас и надоть их пристроить за человека хозяйственного, благочестивого,— а не токмо что за вертопраха... Дворяне ноне не женятся, потому жалуются на недостатки... Так вам на что лучше в соблюдении расчета пристроить дочку за человека из нашего брата, примерно хоть по куриной части... А за дочкой-то десятин полтора ста приданого. Приехал я домой, думаю, дай письмо напишу этой самой барыне, и, нимало не медля, что в положении должествовать нужно, пишу, стало быть: «Милостивая государыня! Найпаче обаяло благородства обращаюсь к вам на слабоду касательно своей участи... и таперь, стало быть, в расчете на вас курятник... какова ни мера прикажите

заехать сделать предложение,— и мы заедем к вам будто бы насчет птицы...» Она возьми это письмо да к мировому!.. Я ей по душе говорил... потому дом у ней почесть развалился, прислуга вся сбежала, я рассчитываю себе: тогда можно все перестроить...

— Я отродясь, милый человек, не бывал у мировых,— обратился Краухин к одному кучеру,— как это тут делается?

— А вот выйдет мировой, увидишь...

— Так-то так, да с чего начать-то?

— Известно, подай жалобу. Ее запишут в книгу и будут разбирать...

— У меня дело насчет свадьбы... тут это вышла у нас дразга с сватами...

— А у меня вот жена забаловала,— говорил один лакей управляющему,— женился я недавно... девчонка попала смазливая... барин, значит, и облюбовал ее... Думаю себе, уйтить?.. жалованье хорошее, а местов мало... Взялся ее бить!.. Она кричит — повешусь!.. хочу просить развода...

— Мы, кажется, с вами по одному делу? — беседуют управляющие,— насчет работников...

— И не говорите: как пашня, как рабочая пора — либо прикинется болен, велит приехать за собой из дому, и глядишь — там работает, либо просто уйдет и был таков.

— Да-с! вот извольте тут вести хозяйство... И заметьте, кто нанимается в работники!.. их у меня до тридцати человек — все бездомовники! Разумеется, пойдет ли хороший в работники?..

— Послушай! — спрашивает проходящего лакея один проситель,— скоро выйдет мировой?

— Не знаю! в кабинете занимаются... Не шли бы судиться! мирились бы дома...

Наконец, распахнулись двери и явился мировой судья с цепью на груди, за ним письмоводитель.

— Вам что угодно? — спросил судья управляющего.

— Я вам заявил, в ночь под восьмое октября крестьянин деревни Бондуровки, Епифан Игнатов, воровски забрался в господский лес графа Чеботаева и спилил корень четырех с половиною четвертей. Корень этот мною найден совокупно с сельским старостой и при посторонних помятых людях.

— Знаю! преступник здесь?

— Точно так-с...

— А сельский староста?

— Все здесь, кого изволили требовать...

Судья обратился к старосте и понятым:

— Признаете ли вы действительность факта преступления?

— Точно так, ваше высокоблагородие: мужичонка он бедный, на ось понадобилась дубинка!..

— А вы, Елифан Игнатов, сознаетесь в преступлении?

— Виноват, ваше благородие...

— И у вас своего лесу нету?

— Ни одной хворостинки.

— Значит, вы целой деревней можете воровать подобные оси?..

— Помилуй бог, ваше благородие...

— Мое внутреннее убеждение говорит, что вы поголовно со двора на двор можете повторять подобные преступления; а потому, в видах пресечения зла, возлагаю штраф на означенную деревню по три рубля с души, а на преступника десять рублей...

— Ваше благородие! чем же мы виноваты? — возразил староста, — мы в лес не ездили!

— Вы не ездили, но можете ездить... Я вас очень хорошо знаю, любезные...

— Коли попадемся, тогда штрахуй! за что ж невинно-напрасно подати платить?

— Это не подати, а единовременный штраф... Так как у вас во всем круговая порука, то вы должны отвечать за каждого негодяя в своей деревне!.. Я знаю, как в настоящее время помещику трудно охранять свою собственность... Можете идти... Вам что угодно? — обратился судья к лакею.

— Я вам докладывал, недавно я женился... и супругу мою нашел в незаконном виде... Вы нам приказали явиться...

— А жена ваша здесь?

— Здесь! вот она!

— Вы почему не хотите жить с мужем?

— Помилуйте, ваше высокоблагородие... что ни ночь — бьет меня чем ни попадя! Я уж сплю с сенными девушками...

— Правда это? — спросил судья лакея..

— Точно так-с! Невозможно, господин мировой судья... Иной раз такие оказии делает... уму непостижимо!

— Словом, вы друг друга ненавидите?

— Точно так-с...

— И желали бы жить врозь?

— Эвдакого азиата на белом свету нету,— сказала горничная,— сохрани господи, с ним вместе жить...

— Так вы можете разойтись...

— Ваше благородие! а как же мое приданое-то,— спросила горничная...

— Приданое вы можете взять назад... Вы, конечно, отдадите? — обратился судья к мужу.

— Черт с ней-с! ни покуда маяться!

— Так вот слушайте решение: с завтрашнего дня вы расходитесь врозь... Довольны вы решением?

— Покорно вас благодарим...

— Ваше благородие! — объявил Краюхин, — я это запил девку... Пили... пили!..

— Ты кто такой?

— Пили мы десятую... пили два Микития...

— Я спрашиваю, ты чей, откуда?

В это время у подъезда загремела карета и в камеру вошла небольшого роста, худошащая барыня с черным вуалем, в бархатном бурнусе. Не поднимая вуаля, она обратилась к судье:

— Я к вам, Федор Иваныч, насчет оскорбления моей Мими...

— Позвольте узнать, кто это Мими?

— Моя собака...

— Извините, сударыня, закон обязывает меня объяснить вам, что в нашем судебном уставе не упоминается об оскорблении животных... Я думал, что Мими ваша служанка. Впрочем, не угодно ли вам рассказать, как было дело?

— Вообразите: я Дуняшке приказала для Мими готовить бульон, а она с лакеем Алешкой изволит кушать его... Я замечаю день, другой: Мими худеет!.. Вы не можете представить, что стало с несчастной собакой!.. Смотрю однажды в окно: Мими выскочила к воротам, а там сидели лакей с горничной. Они схватили собаку и начали ее бить по щекам... да приговаривают: «Из-за тебя нам от барыни достается!..» Это я слышала собственными моими ушами...

— За последнее время жалобы на прислугу до того увеличились,— сказал судья,— что я не предвижу, чем все это кончится... Мне сдается, что ваша прислуга имеет настойчивое стремление оскорблять именно вас... Позвольте узнать, когда вы свободны?

— Я постоянно свободна...

— Не угодно ли вам пожаловать в понедельник... тринадцатого числа... Как звать вашу прислугу? — спросил судья.

— Дуняшка и Алешка.

— Я их вызову...

Барыня раскланялась и уехала. Краюхин снова начал:

— Я, ваше благородие, из Воробьевки... насчет запою...

— Ты кого запил?

— Девку!..

— Какую девку?

— У соседа дворов через пять...

— Тоже у крестьянина?

— У крестьянина.

— Дела между крестьянами разбираются волостным сходом...

— Ведь я, ваше благородие, насчет пастуха... он не нашей барщины...

— Это все равно... пастух — крестьянин...

— Вестимо, крестьянин... Хорошо! только эта мы гуляли... больше году!.. девка со всем согласьем...

— Я тебе сказал, обратись в волостное правление...

— Откуда ни навернись пастух... говорит, ежели на что пойдет, я не пожалею красного петуха...

— Павел! выведи вон...

Лакей взял Краюхина за пельки.

— Вот оказия-то! — рассуждал Краюхин, выведенный на улицу.— Какой это мировой? слова не даст сказать... Куда ж теперь? Неужели в волость?..

Подошедши к телеге, в которой спал Иван, Краюхин почесал затылок, растолкал сына и крикнул:

— Ты что ж сена-то не дал лошади? для тебя, что ль, под голову взяли, хрептуг!

В это время Краюхин увидал на дороге проезжавшего мужика.

- Эй, брат! — закричал Краюхин, — погоди-ко...
- Что ты там?
- Да погоди... Где бы мне тут разыскать мирового?
- Да ты от его хором идешь... вот он!
- Это не наш, должно... Господь его знает!
- Уж не знаю, как те сказать... у нас есть... да тоже, пожалуй, не ваш...
- Где ж к нему проехать?
- Вот ты под взвлок съедешь, придет перехресток, ты так-то не ездил, а заверни направо прямо по овражку, вдоль овражка-то и ступай... приедешь к реке, через мост прямо в нее!..
- Куда ж в нее-то?
- В мировиху!..
- Я насчет мирового тебя спрашиваю...
- Экой! в этой деревне, Антоновкой называется, у меня кум живет. Он с ней почесть зады с задами...
- Кто ж такая мировиха?..
- Да нашего мирового жена... дело как правя ловко! Знамо, можа, чего и недосмысля, ну там писарь на то есть... живой рукой разбярел!..
- А мировой-то где ж!
- Да он, вестимо дело, барин богатый: где ему заниматься? со всякой безделицей лезут... а он, значит, не привычен к этому... и жил-то все в чужих землях...
- Ну насчет свадьбы она может разобрать?
- Я тебе говорю, баба — насчет всех делов! Мы обиды от ней не видали...
- Ну спасибо...
- Как рассказывал, все поезжай...

VII

МИРОВИХА

Краюхин приехал в деревню Антоновку. Крытый железом барский дом, с ярко раскрашенным балясником и двумя каменными воротами, стоял на крутой горе. В стороне тянулся длинный ряд амбаров с жирными соломенными навесами, на которых висели чугунные доски. За барским домом виднелся сад. Въехав в деревню, Краюхин постучался в окно мужицкой избы и сказал:

— Хозяин! Что, тут живет мировиха?

— Какая мировиха? — спросил мужик, выходя из избы.

— Стало быть, мне так сказали...

— Да! Силич Пятровна? — почесываясь, сказал мужик, — это коли самого барина нет... и то не одна, с писарем...

— Мне было к ней нужно... Можно тут лошадь отпречь? Не украдут?

— Отпрягай! у нас смирно...

— Ты уж, братенек, проведи меня... а то собаки на отделку съедя...

— Что ж, пожалуй... У ней псы здоровые... Они нас-то признали... Глядеть-то они дюже страшны, а то ведь ничего!.. иную пору хоть на язык наступи... Ты отпрягай, а я зипун надену...

— Ах ты, господи! — говорит Краюхин, отпрягая лошадь, — кабы сын-то у меня был как следует, разве быть бы мне тут? Куда заехал! где сроду не бывал... Ну, пойдем, милый человек, — увидав вышедшего мужика, сказал Краюхин.

— Ты откулева? Насчет чего засудился?

— Я воробьевский... А дело-то у меня насчет свадьбенки.

— Что ж это, знача, родня, что ли, али насчет годов?.. Мы тоже сами вокруг вешней Миколы до алхирея доходили... тоже, стало быть, моему куму приходилась Аксинья дочь, — с Петрухой-то они родные были... Агафья крестила Петруху-то...

— У нас родни николи не было... Я насчет запою...

— Знамо дело... усякие дела бывают... Ну вот теперь иди... прямо, как взойдеш на двор, налево заверни... Ишь холопьев-то нет ни одного... Ступай! дай бог час!..

Краюхин вошел в переднюю и положил рукавицы с шапкой у дверей, на полу.

— Надежда Павловна! крестьянин пришел! — доложил лакей пожилой худощавой барыне.

— А где ж Скворцов?

— Они на охоту ушли...

— Пошли за ним...

Накинув большой барсовый платок на плечи, барыня вышла в зал, где стоял письменный стол с кипами бумаг и два кресла с высокими спинками.

Краюхин вошел в зал, помолился на образ и сказал:

— Здорово живете, сударыня.

— Здравствуй! Ты что?

— К вашей милости. Дело у нас завязалось насчет свадьбы; я у Кузьмы записал девку за своего малого... дело тянулось долго...

— Петр! притвори двери...— сказала барыня,— да принеси мне папирос... Так в чем твое дело?

— Это значит, сударыня моя, записали мы с Кузьмой... расход был мой...

— То есть ты записал невесту.

— Так точно.

— Понимаю.

— Только пришло дело к концу, навернись ни отсюда ни отсюда Егорка... он и наостри своего отца записывать,— а девка ему полюбилась... Вот мы приходим с хлебом с солью, а Егоркин отец там... Мы сели за стол, как следует по положению... выпили маненько... только вдруг приходит Егорка — и ну, пировать! А девка выскочила на кон, себе взбесилась... пошел крик да бушеванье... Егорка говорит: я вам, такие-сякие, красного петуха подпущу...

— Послушай, мой друг, я тебя не понимаю... Ты хочешь сказать, что тебя оскорбили?

— Оскорбление ништо!.. а тут осталось недели две до свадьбы, а дела расстроились, а все вина вот Егорка!

— Да чем же он виноват?

— Знамо дело, съякшался с Паранькой; а мой-то парень недосмыслит... девка-то и заартачилась.

— Ты засватал невесту за своего сына, а Егор перебивает, так ли?

— Точная правда, сударыня: да еще кочета хочет подпустить... А я истратился — боже мой! цалковых с двадцать с прибавком... и даров немало было!..

— Так ты хочешь вознаграждения?

— Кое награждение! мне девку надо!.. Я ему еще две четверти ржи дал... Не будет ли ваша милость — приказать ему, и расписочку мне пожалуйста, чтобы он не смел перебивать... а чтобы наша свадьба у законе была...

— Видишь, друг мой: все-таки без разбирательства нельзя положить решения... форму исполнить надобно... Мы твою жалобу запишем, разошлем повестки кому следует, назначим день и тогда разберем и решим.

— Матушка сударыня! — воскликнул Краюхин, — кланяясь барыне в ноги, — будь милосердна! Заставь вечно бога молить... ведь всего две недели осталось до свадьбы... У нас, значит, праздник престольный: харчи заодно! дело осеннее... убоина есть... а там коли ее играть?

— Нельзя же, мой друг... я бы рада, но ведь закон... — Барыня показала Краюхину книгу.

— Ваше благородие! книжка в ваших руках... что ж? разя она попереча у чем?

— Я тебе говорю... мы все под законом...

Барыня встала и начала ходить по комнате, по-видимому придумывая, нельзя ли как помочь мужику... Краюхин снова упал в ноги и взмолился:

— Сударыня барыня! не взыщи на нас, на дураках...

— Встань, что можно, я и так сделаю...

— Коли такое дело, нельзя ли разобраться хоть завтра... мы бы и управились...

— Нет, завтра нельзя, — сказала барыня, глядя в окно.

В это время лакей, держа руки за спиной, подошел к барыне и тихо произнес: — Вы о чем изволите беспокоиться?.. ведь у письмоводителя есть подписные листы... бариновой подписи целый стол...

— Знаю! — сказала барыня и обратилась к мужику: — Так ты приезжай завтра часов в десять... только ты можешь ли вызвать всех, кого нужно...

— Они все в одной деревне...

— Ах, вот и Скворцов пришел, — проговорила барыня, увидав входившего письмоводителя. — Так, значит, — снова обратилась она к Краюхину, — ты получишь эти бумаги, они будут написаны на волостное правление, а для скорости отдай сам этим лицам...

— Ты какой волости? — спросил Краюхина письмоводитель.

— Брендеевской.

— Позвольте! в нашем участке Брендеевской волости нету, — возразил письмоводитель. — Вот я каталог посмотрю: Березовская... Буславская, нет, нету! Это четвертого участка... ты ступай к мировому Вилухину...

— Э! Братец ты мой, — взмахнув руками, воскликнул Краюхин. — А ведь я велел дома борова зарезать!..

— Какого борова? — спросил письмоводитель...

— Тут у них свадьба затевается, — объяснила барыня...

— Как же теперь быть? — говорил Краюхин... — Кое доедешь, кое что... я и то уж у одного мирового был... в Петровке...

— У Окулова? — спросила барыня. — Это опять третий участок... а наш пятый...

— Тебе что ж сказал Окулов? — спросил письмоводитель.

— Там сказали, в волостную надо... а я, знамо дело, поопасался: в волостной-то жмут нашего брата... а мировой лучше разбярет...

— Ты с кем судишься? — спросил письмоводитель.

— Вестимо, берем у своего брата...

Письмоводитель подошел к барыне и шепотом сказал:

— Ведь мы не имеем права судить...

— Почему же?

— Он приносит жалобу на крестьянина, а крестьяне с крестьянами разбираются волостным судом.

— Так вот видишь, друг мой, — сказала барыня Краюхину, — тебе ни к какому мировому не надо! ты прямо отнесись в волостное правление...

— А может, петух-то мировому подлежит, — сказал Краюхин...

Эти слова озадачили барыню, и она обратилась к письмоводителю:

— Справьтесь в уставе насчет поджогов.

Письмоводитель начал листовать устав, бормоча: «Штрафы, взыскания, дела по имуществу, сроки арестов...»

— Нет-с... Нечего и искать... там прямо сказано: если крестьянин приносит жалобу на крестьянина...

— Ну, значит, ступай! — сказала барыня Краюхину, — очень жаль, мой друг...

— Что ты будешь делать! — повертываясь к дверям, проговорил мужик.

— Ну, что, брат? как решили? — спрашивал мужик Краюхина, когда он пришел к телеге.

— Что, милый! толков никаких нет! Я думал, барыня-то ловчей разбярет... она, видно, одна статья!

— Бать! — крикнул Иван, сидя в телеге, — я не ел!..

— Эко пасть-то разинул! — сказал отец, — я и сам из тебя не жравши другой день...

— Так что ж теперь? Как твои дела? — спрашивал мужик.

— Что дела! нет ли у тебя хлябнуть чего! а то, брат ты мой, у брюхе щелкая!.. Нам хоть штей влей...

— С чаго ж?.. Я скажу бабам... ноне капустки бог зародил...

— Пожалуйста... Я тебе заплачу.

— Идите в избу...

— Ванюха! подымайся! пойдём хлябнем...

— Бабы!—кричал в сенях хозяин,—где их вихор взял?

Эко окаянные!

С надворья показалась баба с пенькой в руках.

— Где вас разнесло? — кричал мужик.

— Аль не знаешь? пеньки мяли, — сказала баба.

— Улей проезжим штец...

— А хлеб-то у них свой?

— Какой свой? Разве тут большая дорога!... Сходи в чулан...

Отец с сыном сели за стол и принялись за щи. Хозяин сидел сбоку на конике и говорил:

— Так тебя, братец ты мой, наша барыня не разобрала? Ведь она усех разбирая! Барин-то забубенный... а она, сердечная, все дела правит за него... Николи не слышать, чтобы она обиждала... Знамо, писарь подсобляя... где ж бабье дело одной? Оно что ж, и барин до нас ничего... да там у них промеж себя вышло... кто их разбярё! дело не наше...

— Она ничего, — сказал Краюхин,— такая умильная... да закону, значит, нет... Кабы я засудился с приказчиком али что... она разобрала бы... А наше хрестьянское дело в волостную...

— Так! — сказал мужик,— оно, малый, в волостной ноне тоже не доберешься толку.

— Отчего ж я езжу по мировым-то? А что я хочу спросить: тут, поблизости, обаполо нет мировых? Уж за одной заездкой попытал бы, чтоб в другой раз не собираться... А к ночи домой...

— Что ж? — сказал мужик зевая,— поезжай! вот прямо на бугор... как выедешь, управе будет видна деревня... на нее и держи... потом придут две лозинки... там успрошишь...

Краюхин вылез из-за стола, помолился богу и сказал хозяину:

— Благодарим покорно! За хлеб за соль... Что ж положишь за хлёбово?

— Ну, Христос с тобой! авось у нас не большая дорога... приведется, мы побываем у вас...

— Ну, спасибо... Ванька! Поди из телеги принеси курицу... Жива, что ль, она?.. мы ее здесь оставим... а то вряд до двора доведем.

— Это на что ж вы возите курицу? — спросил хозяин.

— Да хотели подарить писаря мирового.

— То дело!..

Иван принес мешок и объявил:

— Бать! она издохла!

— Это небось ты ее придавил... Ах, дураково поле!.. Ну, малый,— обратился Краюхин к хозяину, подпоясываясь кушаком,— не приведи бог по судам ездить... Я вот к третьему мировому... а дело правое...

— Бать! — сказал Иван ухмыляясь,— шапка пропала...

— Могри в телеге-то, — с шапкой пришел аль нет?

— А кто ее знает?..

— Что ж, стало, твой сынок? — спросил хозяин...

— Да! — вздохнув, сказал Краюхин,— господь навязал!

— Что ж, его женить хочешь?

— Его, да девки не подыщешь... уж и запивал-то... что что ни делал... баб дома нет... Ничего не поделаешь... А эта попалась хучь и бедная, да моторная... Ну, прощавай... благодарим покорно...

— На здоровье себе!..

— Так, стало быть, на бугор?

— Вот прямо через речку, мимо кустиков...

Уже смеркалось, когда Краюхин въехал в имение третьего мирового судьи. Старинный барский дом с деревянными колоннами, поросшими мхом, с двумя прудами и винокурненным заводом стоял среди дубового леса, заменявшего сад. Маленький присадник перед балконом украшался мраморными статуями.

— Почтенный, где тут к мировому проехать? — спросил Краюхин кучера, шедшего за возом соломы к барским конюшням.

— Поезжай прямо к хлигелю... там для вашего брата сделана слега... к ней привяжешь лошадь.

— А это какие ж такие статуи стоят? — указывая на присадник, спросил Краюхин.

— Это богá! — сказал кучер.

Краюхин снял шапку.

— Только не наши... — объяснил кучер. — Тебе на что к барину-то?

— Насчет своих делов.

— Барина нет дома. Он уехал во Владимирскую губернию; у него там имение...

— Кто ж разбирает?

— Тут жалобы записывает конторщик... Ступай запиши, а когда приедет, разберет...

— Коли ж разберет? нам недосуг!..

— Он так приказал... недельки через две приедет...

— Нет, что ж! сказал Краюхин, — нам не рука... Ванюха, поворачивай! Я вижу, настоящих делов не доберешься... Что будет не будет — поеду в волостную...

VIII

ВОЛОСТНОЙ СУД

В воскресный день, часа в два пополудни, в лебедкинское волостное правление собирались судьи из крестьян. В присутственной комнате с развешенными на стенах печатными и письменными объявлениями носилась клубами пыль; пол был загрязнен до того, что нельзя было разобрать, земляной он или деревянный; воздух был насыщен махоркой, капустой и пр. Видневшиеся между плотно забитыми двойными рамами кирпичи с солью еще более наводили уныние на свежего человека. В переднем углу висела икона мученика Пантелеймона, присланная с Афонской горы. У окон стоял письменный стол, покрытый клеенкой, с грудями бумаг и массивною волостною печатью. По стенам стояли скамейки для судей. В ожидании старшины и писаря в присутственной комнате два старика рассуждали между собою.

— Наши судьи, Антон Игнатич, грех сказать плохова! Старый старшина малый смирный... И Андрюшка косолапый, — хоть он маленько и с горлом... орет, что на ум взбредет, но за себя постоит! И мы с тобой!.. Знамо дело, винца выпьем, а ведь за полштоф никого не променяем... А приносят — надо пить, и проситель тоже: сухая ложка рот дере... в праздничное время почему ж не выпить?

— Ванюха тоже мужик хороший, да похмыра,— говорил другой,— слова не доберешься... А Листрат хоть молвит слово старшине! Человек книжный... надо так сказать!..

Пришел старшина в новом дубленом полушубке, за ним писарь, несколько просителей и судей. Старшина положил на стол свою белую крымскую шапку и обратился к просителям.

— Вы что лезете?

— К вашей милости, Захар Петрович: у меня ноне ночью замок сломали...

— А у меня Парашка прибила мово ребенка.

— Постойте, постойте! Засядем, тогда и жалуйся... А воробьевские — все собрались?

— Все,— сказал сторож,— они на крыльце...

Старшина подошел к письменному столу и вдруг всплеснул руками.

— Стой!.. Куда цепь девалась?

— Должно быть, обронили,— сказал писарь,— это судьи, должно, маленько потерлись — свалили, вот она!

— Зачем их безо времени пускать! — заметил старшина,— ведь это вещь царская... Ну, что же? пора начинать!

Судьи разместились на скамейках, писарь сел за стол, старшина стоял среди присутствия, наблюдая за порядком.

— Сват! дай табачку,— вполголоса говорил один старик.

— Что, малый! у Петрухи отсыпал. Намесь махорки купил, стал это, братец ты мой, тереть с золою... натер, понюхал — ничего не берé!..

— Будет вам калякать! — заметил старшина,— не накалякались! Здесь присутственное место...

— Ничего, Петрович, мы промеж себя...

— А то не хуже Егорки-пастуха... Он сдуру слово-то ляпнул на миру, а теперь другая неделя сидит...

— Петрович!.. Кого ж перва-наперво будем судить?

— Разве не видали? — сказал старшина,— вот в прихожей стоят!

— Нет, Петрович, для правды не лучше ли Егорку сперва судить, а эти только пришли...

— Егоркино дело,— возразил старшина,— ты молчи! Его разбирать надо с толком... А наперва разбяри плотву-то... вишь, она лезет! у сундучка замок сломали...

— По мне, что ж? — проговорил один старик, — кого хошь веди!

Писарь сделал пол-оборота к судьям и объявил:

— Вот что, господа судьи: плотву-то оно плотву... она от нас не уйдет... а по-моему, лучше взяться за пастуха — а то как бы он на себя руки не наложил... кто его знает?.. долго ли до греха?..

— Что ж, Петрович, веди его! Когда-нибудь не миновать — судить надо!

— Сторож! — крикнул старшина, — зови сватов сюда...

В правление вошел Краюхин, невестин отец и мужики, бывшие на запое. Последние, вздыхая, бормотали:

— Вот оно, винцо-то, что делает! выливается наружу... не знаешь, где попадешь...

— Неверная его нанесла!.. у меня вот конопи не вытасканы...

Сторож привел пастуха. Парень был в изорванном полушубке, в худых сапогах и тяжовых, полосатых, домашнего изделия штанах. Он сильно похудел; всклоченные волосы падали на глаза, и всего его охватывала дрожь. Сторож постановил его на средину комнаты. В эту пору все затихло; видно было, как пыль слоями улегалась на всем, что было в правлении.

— Ну, рассказывай, братец ты мой, — начал старшина; — какого петуха ты хотел подпустить? Евсигнеич! прочти-ка жалобу.

Писарь встал и прочитал: «18... года, дня... в лебедкинское волостное правление принесена словесная жалоба крестьянина деревни Воробьевки, Петра Краюхина, в том, что казенный крестьянин деревни Чернолесок Егор Ивлиев злонамеренно подушал родителя своего Ивлия Карпухина запивать дочь крестьянина деревни Воробьевки Кузьмы Ерохина и во время последнего запития произвел бунт, а также возмутил запитую невесту к сопротивлению против родителей и произносил угрожительные слова».

— Ну вот, слышишь, какая на тебя принесена жалоба? — обратился старшина к пастуху.

— Вот что, Захар Петрович, — начал парень, — наперво́й я тебе скажу: девки я не перебивал, сама она не хочет за Ваньку итить... Родителя то есть своего я заслал сватать, — это у законе. Никто мне не смеет помехи делать. Отдали — отдали! а не отдали — вольному воля! Он тоже

с угощением пришел, небойсь из последнего... Середку-то у Мотюхиных небойсь цалковый отдал... А что это, значит, насчет красного петуха-то, это мало что говорится! Кабы ты видел, что там было, так не то скажешь! Аль я с ума спятил — деревню жечь? Авось я тоже хрященный... разве я себе лиходей!

Судьи все молчали. Писарь скрипел пером. Старшина, сидя в креслах, поглаживал бороду. Наконец, он заговорил:

— Положим, что ты запивал... Это дело не наше! там валандайся с сватами, сколько знаешь... А вот насчет петуха-то, малый, дело наплевать...

— Ведь я, Захар Петрович, сказал тебе: петух дело пустое! Это я у этой страсти сбрежал...

— Сбрехать-то сбрежал,— подхватил старшина, — а ты небойсь слышал половицу: слово не воробей, а вылетит, не поймаешь: тебе бы не нужно этих речей и говорить; пришел, попил сабе, покалякал... Вышло дело — так, а не вышло — насилук мил не будешь. А то иде беседа, а ты сейчас красного кочета...

— Что ж, Захар Петрович! — воскликнул Егор, — я спокалялся тебе... вгорячах слово сказал... а насчет чтобы тоись того... не приведи бог лихому лиходею этакими делами заниматься... спроста сказал, ей же богу! девка очень пондравилась...

— Слухай, Егор! — сказал страшина, — коли ты молвил, стало быть у тебя на уме лихое было!..

— Вот те лопни мои глаза, провались я сквозь землю, чтобы что-нибудь было такое... кабысь одно маненько взяло: нечем взять, наше дело бедное, она и сорвись с языка... А чтобы насчет настоящего... Я нехай век по чужим углам буду биться, а на это дело николи не соглашусь...

— Ну что ж? — объявил старшина, — допрос снят. Будет с тебя! Сторож! отведи его!..

Пастуха вывели. Краюхин выступил вперед и объявил:

— Захар Петрович! Я у трех мировых... Усе поряшили, что за ентакие дела хвалить не следует... Только им нельзя с Егоркой справиться, потому они судят промеж господ. Будь ваша милость! Засади его в острог! незымь его подумает, как кочетов подпускать...

— Разбярем, разбярем, это дело наше! — сказал

старшина и обратился к свидетелям: — Вы были на запое, когда Егорка бушевал?

— Что ж, Захар Петрович,— проговорили мужики,— мы не отрякаемся... только мы не с тем пришли, чтоб бушевать...

— Ну как же дело было?

— Это, значит, пришли мы,— заговорил один,— сели за стол как следует, поели студень... Подали хлёбово... Знамо дело, выпили по стаканчику,— девка и закандрычась... хлёбово похлебали, побалакали, откуда ни навёрнись — Егорка. И начал бушевать: мы ально ужახнулись... И пошла промежду нас нескладница... А он и начал тращать: «Мотри! говорит, коли не будет по-моему, вся деревня слетит!»

— Что ж, так было, как Федот показывая? — спросил старшина остальных свидетелей.

— Точно так, Захар Петрович: пастух кричал благим матом, хоть бяги вон из избы...

— Ну, ступайте теперь,— сказал старшина мужикам, мы разберем без вас. Посидите в избе...

Мужики вышли. В правлении оставались одни судьи и старшина с писарем.

— Что ж, старички,— начал старшина,— как дело-то порешим?

— Говори! — сказал один судья другому.

— Говори ты!

— Что ж,— подтвердил старшина,— как думаешь, так и говори!

— Вон Федосеич что скажет? Он кабысь постарше нас...

— Ай я один у миру! — возразил седой старичок, закладывая одну руку за пазуху, другую опуская в карман,— по мне, как мир, так и я...

— Федосеич! — воскликнул один рябой высокий мужик в худом армяке,— ты все-таки мужик пожилой, ну, значит, пчел имеешь... и с тобой всякое бывало на веку... Ты, примерно, как знаешь, так и говори... А то вон, пожалуй, спроси Фильку: он сбреша такую оказию, сам не рад будешь!

— Что ж такое знача? — заговорил приземистый мужик с рожей на щеке,— аль меня на смех призвали? Мы тут все ровны... Что он судья, что я судья... Разя у него больше моего в голове?

— Стой! стой! тут не место! — прервал старшина, — это вот кончим дело, тогда кричи, сколько влезя!.. Ну что ж, судьи? как порешим?

— Вот наперва что скажет Федосеич, послушаем...

Федосеич кашлянул, посмотрел в пол и заговорил:

— У нас спокон веку неслыхано таких делов... У нас, бывало, ребята валяются на полатах аль на сене — и не знают, кого мы запиваем... Принесешь платок от невесты, швырнешь ему... платок красный, ну, знамо, парень и рад... никаких пустяков не было! А это вот нынешние ребята маненько стали из послухания выходить... Займаться чем не следует... вестимо, баловство!... не смысла ны... худа-то не видали!.. Егорку, что говорит, хвалить нечего... Да ведь он признался при всем суду, что пошутил... Отрастку дать ему следует, чтобы уперезь не выдумывал чего не надо... Что ж налегать-то на него! Я слышал, управитель его расчел за эвти дела-то...

— Как же! — подхватил рябой мужик, вставая и размахивая руками, — ён, братец ты мой, приходя к управителю, а тот ему говорит: «Ты что там наделал? какую деревню хотел спалить? Нам таких негодяев держать в имении не приходится... получи расчет и убирайся с богом...»

— Вот что, ребяташки, — объявил богатый мужик с черной окладистой бородой, — слухал я, слухал ваши добрые речи и ничего не говорил... По-моему, я так полагаю: Егор парень молодой, доперез за ним мы ничего плохого не видали... А что дюже он зазарился на девуку... и наболтал неведомо что... Глуп еще! Кабы он семьей жил... поучить некому... с мальства по чужим углам ходил... господь с им! довольно с него, что неделю отсидел в чижовке за одно слово! Незымь идет куда хочет! Ежели мы его будем казнить, он остервянится... Его в волости не продержишь... А вы, господа честные, решайте дело по-божьи.

— На это я тебе скажу вот что, Алистрат Мокенич, — возразил старшина, — ежели он остервянится, ты говоришь, так у нас, братец ты мой, Сибирь не почата! На каторжную работу друга милого спровадят!.. Забудет пустяками заниматься...

— У Сибирь, — обратившись к старшине, подхватил плотный, с добродушным лицом мужик, подпоясанный веревкой, — у Сибирь тоже миром ссылают! ежели мы не

пустим, никто не може его тронуть! Что, Ваньку Ерохина сослали? Небойсь у мира спросили... ан шиш!.. а он остепенился да мужик-то стал за мое почтенство! хоть куда! И семья, значит, за ним пропала... Уробел — еще смирей стал жить...

— Да опять и то сказать,— заметил тощий, с реденькой бородкой мужичок,— ведь он девку-то еще не перебил, от Краюхина она не ушла... Что ж его неволить-то? Он один сын у отца и есть... отец чуть не по миру ходит... Сгидай его голова! Пустим его!..

— Балакали, балакали!..— начал старшина, облокотившись на стол,— а все дело плохо... Ежели мы тепереча будем всякого прощать, тогда на белом свету житья не будет! А по-моему, братцы, потакать — только баловать!.. Опять что ж нас начальство на смех, что ль, сюда посадило? У вас, скажет, законы под носом, а вы ничего не видите? Евсигнеич! — обратился старшина к писарю,— покажи-ко им статью...

Писарь с пером за ухом поднялся и объявил судьям, прикладывая к своей груди правую руку:

— Ежели мы тому и другому будем прощать, тогда, следовательно, будут большие поджоги и разбои... Как я называюсь писарь — и не что иное, как наемный, а вы избранные и принявши присягу должны судить по закону,— не щадить ни отца, ни мать!.. Я как постоянно нахожусь при правах (писарь указал на письменный стол) и обязан вам давать знать, то я отвечаю и решаюсь своей головой... Но потому что с нас, с писарей, мировой посредник спрашивает и приказывает смотреть больше в права, то я не сам из себя говорю... А пастух подвергнут по доказательству уголовному.

Писарь окинул глазами слушателей и опустил в кресло. Старшина, следуя его примеру, тоже встал и обратился к судьям:

— Хотя хучь я и неграмотный, но я имею у себя писаря... и спрашиваю его: погляди-кося в права... Что там права говорят? Но как писарь вам сейчас предлагает, то вы должны слушать его. А ты, Евсигнеич! говоришь по правам! и напрасно ты эти слова принимаешь те, которые самые дразги...

— По-моему, дело решено: и ён сознался... и сваты доказали... ведь это уголовщина! надо к судебному отправить...

— Что ж к судебному? — сказал богатый мужик, — засадят его в острог, через год, пожалуй, судить будут, а там, мотри, оправдают, — осторожного-то к нам в деревню и пришлют... он там с осторожными понашуркается, — он хуже нечистого будет! Тогда и беда с ним... Вон у Шепелевки у старосты Нехведа Андриушка — сжег скирды, его подержали в остроге, да и пустили... настоящих примет нету. Он теперь и ходя по деревне, всем грозит: «Не то будя!» На всех такого холоду нагнал — пбют, — как у праздника... А мой згад — посадим его еще на недельку и крепко-накрепко накажем... а не то отпорем...

— Нет уж, Савостьян Трофимыч, пороть не надо! — воскликнул один судья, — а то он, продрамши-то, еще злей будет! А вот что: коли такое дело, ежели он, на примерича, от судебного еще пуще подождет, то и сажать незачем... Пошуняем его и пустим... на слободе он скорей почувствую!.. мало что бывает!

— А что, Егорыч, твоя речь правая! — заметил подпоясанный веревкой, — он судом-то нашим будет доволен, а уж его, коли он такая голова, у чижовке не выучишь... А то, мотри, и нам встретца нельзя будет...

— Что ж, это куда дело-то пошло? — возразил старшина, — куда ж мы закон-то денем? на что ж он нам дан?

— Что ж закон? — сказал один судья, — мы народ неграмотный... Что господь на душу положит, те и говорим... другое дело, мы закону не ослушаемся... Знамо, по мужичью!..

— А то кажное воскресенье тут сидишь, сидишь, — подхватил другой судья, — у меня вон картохи остались не рыты... всё в отлучке... А при чем мы тут? Вишь — решено Егорку пустить, а там говорят не так!..

— И то правда, — заговорило несколько голосов, — зачем же нас избрали? Кажинный раз бьем, бьем, а ничего не выходя...

— Вы что же забушевали? — воскликнул старшина. — Я, может, у земстве не жрамши три дня просидел, и то не супротивлюсь.

— Экой ты! — заговорили судьи, — ты вон мядаль имеешь, у посредственника у почете, по миру разъезжаешь — всягды сыт, доволен... опять жалованье получаешь...

— А подводы-то? — крикнул высокий мужик, — он

ноне с общества слизал полтораста цалковых; нанял работника: он и разъезжая и кстати пáша...

— Стой! — закричал старшина, — нешто вас призвали о подводах рассуждать?

— Ну что ж ты нас держишь? — заговорили судьи, — дело порешили!

— Как порешили?

— Егорку простить... али неделю посидит, да и ладно...

— Вот что, судьи! — сказал старшина, — совсем пустить не годится... Я вам говорю, — какое-нибудь да наказание ему подобает... надо еще у Краюхина спросить, не будет ли он искать, если мы Егорку своим судом решим.

— Ну, зови Краюхина! — сказали судьи.

Вошел Краюхин.

— Слухай, Петрей, — объявил старшина, — судьи поряшили Егорку выпустить... а я настоял, чтобы ему какое-нибудь наказание определить... Как ты хочешь? Отпороть его?..

— Нет, Захар Петрович, пороть не надо! уж лучше приприте его! а то он не даст свадьбу сыграть!

— Ты не будешь искать, если мы своим судом решим?

— Я боюсь, — сказал Краюхин, — как бы он после-то не выворотил...

— Судьи говорят, — продолжал старшина, — что ежели его к судебному отправить, хорошо, как его допекут!.. А если отпустят, тогда и держись...

— Это точно, Захар Петрович... он обозлится хуже. Мне бы только дал он в покое свадьбу сыграть... до праздника осталась одна неделя...

— Ну, на неделю его и посадить в чижовку! — заговорили судьи...

— Что ж, так, так, так! — подхватил Краюхин, — сажай его, Петрович, и ладно...

— Что ж ты, разве поладил с нареченным-то? — спросил старшина.

— Нет, Захар Петрович, — объявил Краюхин, — в суде толку мало! мы сошлись с ним опять... Стало быть, не хотим этого делать... Он вон там на крыльце... Господь нас надоумил обоих! видно, что ни дальше в лес, то больше дров...

— Это доброе дело! — сказал старшина, — а то поди возжайся... Еще судьи как бы осудили, не то по-твоему, не то по-свату. А ноне как судьи осудили, то на них жалоба не принимается. Сторож! веди сюда Егорку. А ты, Петрей, — обратился старшина к Краюхину, — выдь отсюда!

Сторож ввел пастуха.

— Ну, вот что, братец ты мой, — сказал старшина, стоя пред подсудимым, — по закону тебя надеть бы отправить к судебному, это, силич, в острог... а там невесть что будя!.. а вот судьи сжалились над тобой... жалуют тебя посадить в чижовку на неделю... так я тебе объявляю решение...

— Я и то, Захар Петрович, восьмой день сижу, — сказал Егор, — за что сажать-то? мало что сказано... ведь я так...

— Нет, Егор: ты не супротивься, — сказал богатый мужик, — это мы тебя помиловали...

— Значит, ты осужден на неделю в чижовку! — подхватил старшина, — сторож! веди его!

— Ну-ко пойдем, брат, к праздничку, — сказал сторож, подхватывая Егора под руку.

— Нельзя ли, братцы, ослобонить, — взмолился пастух, — что ж? ведь ничего не будет! Мне отсидеть не важная штука!

— Коли решено, ты не ослухайся! — сказал старшина.

— Ну да, ничего! Веди! — встряхнув головою, произнес пастух и вышел.

Все судьи встали.

— Пятрович! — заговорили некоторые, — плотву до другого воскресенья отложим... вишь, ночь на дворе. Пора расходиться... лошадям не месили...

— Что ж, пожалуй, — сказал старшина и обратился к писарю: — Евсигнеич! надо бы выпить.

— Вина вволю! — сказал писарь, — Краюхин привез полведра, да Еремин тоже за это дело, помнишь? привез полштоф.

— Экие подлецы! — сказал старшина, — разве оно полштофом пахнет? А ты, Евсигнеич, мотри насчет бумаг, как бы какая не пропала.

— Кому они нужны? Народ бестолочь!

Судьи призвали в правление Краюхина и потребовали

с него магарыч. Сторож принес полведерный бочонок. Все выпили, поздравив Краюхина с окончанием дела.

— Что, ребятушки! — говорил последний, закусывая кренделем,— завязался я эвтим делом, а уж горе меня уело,— не роди мать на свете!

— Что ж? ведь по-твоему решено,— говорили судьи.

— Решено-то решено, да Егорка-то разбойник! — возразил Краюхин,— через неделю-то он вольный казак! Ты и гляди: он, пожалуй, на похмелье-то, после свадьбы, как снег на голову!.. Да и девка-то уху!..— Краюхин затряс головой.

Все выпили еще по стаканчику и начали расходиться...

IX

ДВА СВАТА

В сумерках Краюхин с сватом Кузьмою, бывшим на суде в качестве свидетеля, возвращались в деревню Воробьевку. Кое-где в домах светились огоньки, на улице слышались голоса судей... На дороге хляскала грязь и скрипели телеги воробьевских мужиков, ехавших за Краюхиным и Кузьмою. Сваты еле тащились и, сидя в одной телеге, беседовали между собой.

— Вот что, сват! — говорил Кузьма,— девка, я тебе скажу, на все взяла!.. Что молотить, что рукодельем,— а умна-то: выродок выродился! я на нее не нарадуюсь...

— Затем-то, сват, мы и гонимся, потому сами видим...

— У нас с тобой чтоб было хорошо,— продолжал Кузьма,— я уж у ней допросился... Ты на нее не смотри... Как пастуха засадили в чижовку-то да как узнала она, что его отставили от должности — вдруг присмирела. Да и я-то молвил: что ж я теперь, дочка, куда от тебя пойду? побираться али в работники? При старости я и пойду за тебя страдать? Нам свату отплатиться нечем!

— Ну что же она на это?

— Она это говорит: «Потому что я не знала этих делов... вы мне тогда не сказали, как наперва запивали... По мне, дом жениха будь хоть золотой! Кабы я плохая девка была?.. а ты за слюнтяя пропил!» А опосле видит, некуда податься!..

— То-то, сват! мотри, чтоб не было посмешья ника-

кого! ведь ты слышал, сколько я мировых объездил? а все через тебя да через твою дочь!.. Кабы девка не зартачилась, я бы ни одного мирового не видал и не слышал...

— Я сам, сватушка, хлеба решился! — воскликнул Кузьма... — все уговаривал... ведь и так сказать: дочь хучь и моя, а ум у ней свой... разве скоро ее супре-тишь!..

— Вестимо, дите! — заметил Краюхин, — а не знает того: она у меня словно барыня будет ходить: такую шубу ей сошью! У меня теперь овчины выделаны — всё старика!.. Как же, сват, надо об деле поговорить: завтра, стало быть, мы поедем к попу... а на праздник, господь даст, свадьбу сыграем! от тебя много ль будет родни?

— У меня свояк, еще двоюродный брат, да кум Павел... хозяйки ихние... ну, и будет с меня!..

— Ты вели им приготовляться, лошадей подкармливать... Будочки коли нет, я дам... колокольчика два надо, довольно будет... ну, погромочка три, четыре... вели попроворней... чтобы не прохлаждались... Я из неволи тебя выведу! возьми у меня свежинки... я двух боровов убью... возьми солоду... когда взялся справлять тебя, буду справлять!..

— На эвтом благодарим, Петр Анисимыч...

— Готовься! — подтвердил Краюхин, — ты ни на что не смотри! Справим свадьбу за первый сорт... А пастух не замай, посидит... Ты дома скажи: его на год засадили... Мы с тобой порешили, нам это дороже всего...

Приехав в Воробьевку, Кузьма попросил Краюхина к себе в дом. Краюхин, отговариваясь, что его ждут домашние, согласился зайти на минуту. В избе тускло горела лучина. Мать невесты лежала на печи. Параша сидела у светца за шитьем. Краюхин помолился и произнес:

— Еще здравствуй, сватья!

— Здравствуй, сват, — с трудом проговорила хозяйка. — Не взыщи! Я вот третий день хвораю...

— Ишь когда вздумала хворать! А ты вари брагу... мы с сватом, слава богу! порешили... Пастуха засадили в чижовку!..

— Засадили? — спросила хозяйка...

— Нешто моих сил не хватит, — сказал Краюхин... — Хотели было в острог, ну я уговорил год продержаться в чижовке... Все у нас с вами было ладно, по согласью сходились... а потом вдруг приходит эта самая нищета — наше все дело разбила!.. так теперь его в сибирку!.. А на свата Кузьму я просьбу окоротил!.. Мы с ним сошлись... Ну, мне пора домой... Прощайте!..

— Счастливо, сватенек, — сказала хозяйка, — не взыщи, попотчевать тебя нечем.

Кузьма проводил Краюхина и, вернувшись в избу, обратился к жене:

— Как же теперь быть? небойсь надо какое-нибудь разрешение сделать!.. Спроси у девки-то, идет, что ль, она или нет? Сейчас сват мне говорил: ежели твое дите за моего не пойдет, я и тебя засажу... почему что я тебя коштовал... напитков разных привозил... Иде ж, говорит, твоя дочь допреже была? а теперь она встрянулась — насчет делов — что за дурака отдают!..

Кузьма стоял среди избы, мрачно посматривая то на печку, то на дочь, неподвижно сидевшую у светца.

— Ну, что ж, Паранька, как ты думаешь? — грозно спросил Кузьма.

Девушка молчала; на шитье катились слезы.

— Паранюшка! — простонала мать с печи, — иди, милая, за Ивана... ты, вишь... пастуха посадили в чижовку — на целый год!..

— Паранька! — сказал отец, — одумайся! за пастухом тебе не быть... Я тебе сказываю: я его близко ко двору не подпущу!..

— Что ж, батюшка, — тихо произнесла девушка, — отдавай!.. из твоей воли не выступаю...

— Ну вот! — подхватила мать, — с согласьем?

— С согласьем... когда вы задумали над моей головой... Не замай сват придет...

— Давно бы так-то, — сказал отец и сел за стол, — а в церкви не запируешь?..

— И в церкви скажу, — подтвердила девушка, — иду за него...

— Вот умница! — воскликнула мать, — и странные люди скажут: «Стало быть, очень умна, что идет за такового человека!.. вот так дите!.. где найти такое дите? другие девки брыкают... а эта родителей слухая...»

На другой день рано утром Параша с узелком в руках вышла из дома и, посмотрев на деревню, которая спала глубоким сном, направилась через одонья к лесу, стоявшему верстах в двух от Воробьевки, вправо от него, как на ладонке, видно было село Лебедкино с каменной церковью. Слегка морозило. На востоке разливался оранжевый свет — предвестник осеннего солнца. По тропинке, пролежавшей на дне лесного оврага, Параша вышла к реке, на берегу которой стояло волостное правление. Вправо и влево шли дороги в село, располагавшееся на двух косогорах. На крыльце волостного правления отставной солдат с небритой седой бородой, держа в руке бабий кот, искал моток дратвы, ругая вчерашнее заседание.

— Ишь окаянные! лаптищами-то шлындали, да на ногах и унесли дратву...

— Что, здесь Егор парень сидит? — спросила Параша, стоя у крыльца.

— Какой? — с недоумением глядя на девушку, возразил сторож.

— Молодой парень...

— Тебе на что?

— Да мне хотелось с ним повидаться.

— А тебе он кто?

— Он мне сродоч... двоюродный брат он нам...

— Ну, взойди, — сказал солдат и повел девушку в избу, разделявшуюся от правления сенями.

— Мне только повидаться, — говорила Параша, когда солдат отворял дверь.

Изба была широкая, с длинными лавками, с русской печью, близ которой при самом входе устроены были две чижовки с маленькими дверцами.

Солдат снял с пробоя цепь — и в избу вошел пастух.

— Ах, друг ты мой милый! — воскликнул Егор, увидав Парашу... — Как это господь занес тебя сюда?..

— Да, вишь, пришла тебя проведать, — сказала Параша, — все ли ты себе здоров?

— Я-то здоров, да, вишь, не благополучно... Этими делами-то замешался сюда...

— Она что ж тебе доводится, — спросил солдат, стоя у двери.

— В третьем колене...— проговорил пастух, севши на лавку.

— Она на тебя не похожа,— заметил солдат.

— Она мне, брат, вот что! — вдруг объявил пастух,— нечего тут хлопотать... мы с ней жили у любе... а потом я через нее в это место попал... Мне ее хотелось взять!

— А я думал, она тебе сестра,— сказал солдат,ковыряя шилом башмак,— так, стало, ты за то-то страдаешь?

— За самое за это! за одно слово только...

— Ну что ж? — разговорился солдат,— ничего! ты посидишь здесь, опять выйдешь... на поселенье не можно сослать за эту штуку... Авось эта история — не душу загубил... Не этакие дела делают! Ну, разговаривайте себе! а я пойду от вас... Что хотите говорите, я вас запру замочком...

Солдат вышел.

— Ах, Параня, Параня! как это ты вздумала меня проведать? — говорил пастух.— А я не только что... сижу здесь хлеба не евши, все об тебе думаю...

— А я как услыхала, что ты сюда попал, захотелось мне тебя проведать, невозможно мне никак терпеть... Как я к тебе шла-то, так я в слезах не видала следа... И не чаяла я с тобой повидаться... все сердце мое изныло об тебе... Одолела меня грусть...

Девушка утерла занавеской глаза и продолжала:

— Обманули меня... запятали мою душу навечно! Что бог мне скажет, а на уме у меня дюже чижало... Не стану я с ним жить, что бог ни даст!.. Я пришла успросить: надолго тебя тут посадили?

— Нет, на неделю.

— А я слышала, на год... Я затем-то к тебе и рвалась... Какой ты худой стал! — заметила девушка, подняв на парня глаза.

— Эхма! как мне худому не быть! сама знаешь... сердце начало сохнуть кое по тебе... кто ее знает? бывает, какое распоряжение выйдет... хотели к следователю весть...

— А я принесла тебе рубашку,— сказала девушка и начала развязывать узелок.

— Нет, видно, эту мне рубашку не носить...

— Нет, носи на здоровье,— перебила девушка,— ты у меня рубах не переносишь... А Ваньке хороших рубах не носить... они все на тебе будут...

— Что ж! ты разве выходишь за него?

— Послушай! — девушка взяла парня за руку, — я этих делов не пугаюсь! пусть отдают! ты сам рассуди: куда ж мне от него деваться? Никак я не могу против отца, матери попясться... Никто моей жисти не знает! будут они меня всё бить... Уж я колько думала об этом... Убечь от них али тебе стать опять перебивать? как бы хуже не было... Отец сказал, что и на глаза тебя не примет... Уж, видно, будем с тобой жить так... А он для меня все равно пень горелый в поле...

— А я думал, — проговорил парень, — как-нибудь обработаю своей силой... Как-нибудь свою голову заложу, да тебя возьму... Кабы ты знала, как моя душа прилегла к тебе! Я бог знает что могу сделать над собой...

— Не послушать отца, матери мне нельзя, — вымолвила девушка.

В это время у двери загремел замок, и в избу вошел сторож.

— Ступай, девица, — сказал он, — писарь идет... Бывает, я за тебя буду отвечать... А с тебя, Егор, магарыч! — обратился солдат к пастуху.

— Приставлю!

— Ну! где тебе приставить...

— Вот история какая! авось не сто рублей.

— Ведь это какая машина: она назвалась тебе сестрой, а то бы ее не пустил...

Сторож и девушка вышли. Пастух в задумчивости ходил по избе.

Накануне свадьбы, вечером, изба свата Кузьмы была наполнена народом. У переборки близ печи сидела в красном сарафане, с лентой в косе, Параша, окруженная подругами. Стол накрыт был скатертью, на образах висели полотенца. Изба, как и в обыкновенное время, освещалась лучиною. С улицы в маленькие окна смотрел народ. Девицы пели:

При вечеру — вечеру,
При Прасковьиным девишнику,
Прилетал млад ясен сокол.
Он садился на окошечко, —
На хрустальное стеклышко.

Так дело и кончилось «веселым пирком да свадебкой»... Но, собственно-то, дело кончилось иначе. Случайно

пришлось мне после прочесть в известиях одной губернской газеты настоящий конец того, что казалось только концом: «21 ноября 18... года в управление N ...ской части дано знать о скоропостижной смерти крестьянина деревни Воробьевки Ивана Краюхина. При осмотре тела умершего оказались многочисленные ссадины и синие пятна, а на голове, на три пальца ниже соединения темянных костей, рана длиною в дюйм. Подозрение в совершении означенного преступления пало на жену Краюхина, Праксковию Губареву, а также на крестьянина деревни Чернолесок Егора Ефимова...» Обвинение заканчивалось словами: «Поименованных лиц на основании 201 и 208 ст. уст. уг. суд. предположено предать суду N ...ского окружного суда, с участием присяжных заседателей». Что-то будет говорить прокурор; чем порешат дело присяжные?

•

МЕЛКОПОМЕСТНАЯ БАРЫНЯ

Барыня Ветловского уезда, села Клевцов, была старинного завета; жила в полуразвалившемся доме, крытом соломой, ездила в простой телеге, любила посещать крестьянские свадьбы и крестины, на которых ей давали первое место. При ней находились пять горничных, старая приживалка и дочь — девушка лет двадцати пяти (она большую часть времени проводила в девичьей, играя на гармонике). Горничным даны были прозвища: Игла, Стрелка, Востроножка, Копье и т. п. На них лежала обязанность разведывать, что делается на селе и в окрестностях.

В одно зимнее морозное утро барыня, по обыкновению своему, сидя в постели, читала жития святых. В доме было холодно, как в сарае; окна, под которыми висели на веревках бутылки, совершенно занесены были снегом; с надворья от ветру хлопали ставни. Барыня сидела в нагольном тулупе, сверх которого накинута была попона и несколько одеял. В спальне в разных местах помещались следующие хозяйственные принадлежности: кадушки, прялки, старые рамы, верча из хлопьев, завядшие цветы в банках и пр.

— Стрелка! — крикнула барыня.

Явилась в толстом армяке горничная, разруганная от мороза.

— Ты где была?

— Я была, сударыня, в трех местах: у попа, в кабаке и у мужика Власа. У Власа нынче ночью родился сын.

— Когда ж будут крестины? — осеня рот крестным знаменем, спросила барыня.

— Сегодня вечером, изволите видеть, поедут в город,

там лучше водка, оттуда в село Моржи за кумом; а завтра крестины.

— Что ж ты им говорила, чтобы меня пригласили в кумы?

— Как же! я это за первый долг сказала! Они только — смеются!.. ей-богу, право!

— Хорошо,— смейся! — заметила барыня,— а забыл он, как на воздвижение просил у меня пять пудов муки? Я ему ни слова не сказала — дала. Да ты Власу-то говорила, что мне ничего не нужно?

— Говорила, сударыня! дескать, барыня не из каких-нибудь интересов... А, мол, крестничек вырастет, будет ходить в барский дом... Я полагаю, что он одумается, сударыня.

— А в кабаке что нового? — спросила барыня.

— Вчера там поссорились кузнец с писарем; по тому случаю была драка-с, дело стало насчет земли.

— Ишь негодяй! — подхватила барыня,— я уж сколько раз жаловалась на него посреднику.

— Вы, сударыня, лучше не трогайте его! А то он, пожалуй, из злости украдет что-нибудь. Он своей головой не дорожит.

— Ступай в кухню! — заключила барыня; — вели поставить самовар! А где ж Востроножка?

— Они с Копьем ушли в село Подноготное...

— Ну, ступай, да попроси ко мне Елену Панкратевну.

Горничная вышла. Барыня начала одеваться. Вскоре явилась приживалка в старой кацавейке, из которой в разных местах вылезала вата, на руке у ней висели четки.

— С добрым утром, матушка Акулина Тихоновна! — сказала приживалка.

— И вас также,— надевая сапог, произнесла барыня.

— Хорошо ли почивать изволили? Да у вас, матушка, холоднее нашего! право холодней!

— Вон в углу крысы щель проточили! — сказала хозяйка,— надо чем-нибудь заложить. Ну, что во сне видели?

— Видела, матушка моя, будто я иду по полю...

— Летом или зимою?

— Зимою, в лютый мороз. Только иду, а вьюга несет— страсть господня! Нет ни пути, ни дороги... Заблудилась

словно я и думаю: господи! Неужели это за мои согрешения! И обещаю я будто до конца моей жизни — спастись в монастыре... Вдруг слышу я, едет тройка с колокольцом... И-и-и едет! шибко! будто прямо мне навстречу... Я этак хотела посторониться, да и проснулась, а в трубе такой свищет ветер!

— Нам надо остерегаться! — заметила барыня, — в кабачке вчера шум был. Кузнец буянит.

— Чего доброго, народ теперь вольный! Времена плохие пришли! Того и гляди, что-нибудь да случится.

— Я хочу у Елизара ружье попросить, — сказала барыня, нюхая табак.

— Что ж, доброе дело, сударыня! Все хоть поугавать воров! А кто ж стрелять-то будет?

— Я сама! Что ж делать? Ведь того и жди, что нагрянут с дубинами.

— Именно, именно, сударыня! Это вы доброе дело задумали. А то придут, всех перевяжут. Беда без мужины!..

В это время, кутаясь в заячий салоп и гремя сапогами, вошла барышня.

— Bonjour, maman! — сказала она, целуя мать. — Ах, какой у вас холод! Я сегодня непременно буду спать в кухне. Это ужас! Мы уж с Востроножкой и в жмурки играли и плясали...

— А мы вот говорим про разбойников, — объявила барыня. — Везде бунты, драки!.. Придут ночью, всех перевяжут...

— А я разве могу помочь этому? — возразила барышня.

— Конечно, если рассудить хорошенько, могла бы помочь...

— Чем это, позвольте спросить?

— А тем, что вышла бы замуж...

— За кого?

— Как за кого? Вишь ты, привередлива некстати... Давай все благородного да образованного. Вон за тебя сватался сын дворника, ты не пошла! А теперь сиди... Доживем до того, что нас поколотят...

— А вам хочется, чтобы я за дворника вышла? С чего ж это вы взяли? Это мне нравится!

— Барышня! — возопила приживалка, — я вам скажу, нынче дворники живут хорошо — у них утром и вечером

чай, а об еде и говорить нечего! Сердце радуется, как взойдешь к ним в дом... перед господом богом...

— А мы,— подхватила барыня,— вместо чаю пьем богородицкую траву, да мерзнем от холоду, как цыгане, и ждем каждую ночь разбойников...

— Да что говорить! — заметила приживалка,— их жизнь завидная! Спит себе спокойно! Ничего не боится... Я вам, матушка барышня, вот что скажу, нынче свет на изворот пошел...

С необыкновенным шумом вбежали две горничные и объявили:

— Барыня, краснорядец приехал!

— Ах, как я рада! — воскликнула барышня и бросилась встречать купца.

Вскоре в залу вошел в длиннополой бекеше купец, крестясь на образ.

— Многолетнего здравия,— произнес он.

— Здравствуй, Савостьяныч! — сказала барыня,— давно, давно тебя не видно... Где это ты пропадал? Садись. Рассказывай нам новости.

— Ну, уж погодка! — утираясь платком, заявил купец.— Ветру большого нет, а так занесло снегом дорогу, что совсем было заблудились. Мы прямо держали всю дорогу на мельницу, с нее и глаз не спускали...

— Ну, рассказывай, что нового?

— Да то и нового, сударыня, что везде жалуются на недостатки. Достатки везде плохие, господа все разорились. К тому идет, время такое... через это самое и нашему брату пришло плохо... Ноне что дворянин, что мужик, все едино! Вот какое время! Вы как, сударыня, перемогаетесь?

— Да что? боимся ночью спать...

— Неужели? Что же такое значит?

— У нас в деревне пьянство, того и ждешь, что нагрянут с дрекольями.

— А что вы думаете? — возразил купец.— Народ нынче вольный... везде пьянство пошло, воровство... а ваше житье женское... Вам беспреренно надо завести мужчину...

— Да как его заведешь?

— Ха-ха-ха! Вот тебе на! А барышня-то на что? взяла да скорей замуж! Хотите, я вам найду жениха?

— Сделай милость, Савостьяныч,— сказала барыня. Невеста, сконфуженная, вышла в другую комнату.

— Обнаковенно,— начал купец,— вам надѣть подыскать человека хозяйственного, а не токма что ветер, к примеру, в голове. Надо соблюдать все в чинности — что в положении долженствовать нужно... Теперь сами знаете — все равны,— рабы и владыки вкупе предстоят. Остаётся, значит, в соблюдении расчета касательно приданого: позвольте спросить, велико ли будет награждение?

— Десятин сорок земли.

— Так-с... Хорошо-с... А вам из каких больше думается? из благородных али все равно и попроще?

— Все равно! — сказала барыня.— Ей хочется благородного, а я этого не желаю.

— Благородному сорок десятин на один день мало! — возразил купец.— А я вам найду человека степенного. Он мне сват доводится. И разбоев вы не будете тогда бояться, будете как у Христа за пазухой... И человек, я вам скажу, надежный, толковать нечего! будем говорить, в обхождении аккуратность может соблюдать: я хлопочу для вас, значит, чтобы участи преподобно было... Насчет разбоев, али по хозяйству что касательно вы не сумлевайтесь... это по его части! За него вяжутся поповские девки, только он эфтого не хочет; а желательно ему, чтобы из благородных,— с земелькой... вот какое дело!

Купец тряхнул волосами и положил обе руки на стол, пристально глядя на барыню...

— А кто он такой? — спросила барыня.

— Я вам говорю: не сумлевайтесь. Человек, боже мой! Заживете лучше господ! вот какая вещь! Свое дело понимает. Человек россейский!

— Да кто же это такой?

— Он по лошадиной части...

— Т-с-с... тише!.. — перебила барыня,— дочь услышит, за этого она не пойдет!

— Что же? с эполетами им хочется? Ну, пусть выйдят за благородного!.. Это дело ихнее!

В это время вошла барышня и спросила купца:

— Что, у вас есть канаус?

— Все, что вам угодно,— сказал купец.

И через минуту в залу внесен был короб с товаром.

В ЗЕМСКОЙ УПРАВЕ

За большим столом, покрытым зеленым сукном, сидит делопроизводитель, — мужчина лет тридцати пяти, прилично одетый, с пробором на затылке.

В присутствии — совершенная пустота; в створенные окна несется божба мещан, сторговавших лошадь, да тьяканье хриплой собаки, безотвязно набрасывающейся на корову, которая мирно пасется на площади близ собора. Около двух часов дня. Весь город спит, или, говоря местным языком, отдыхает. Давно пришли чиновники из разных присутствий, учителя из приходских и духовных училищ с мелом на губах; купцы притворили лавки, потому что время стоит обеденное, покупатель затих... Купчихи грызут подсолнечники у окон... время от времени на улице появляются юродивые в длинных рубахах и старых глубоких калошах, бормоча себе под нос, как бы что-то предвещающая сонному городу...

— Постой-ка ты! — говорит купец, подходя в халате, с заспанным лицом, к окну, у которого сидит его дочь. — Что, сиклятарь сидит в управе?

Купец и дочь перегнулись через подоконник и заглянули по направлению к земской управе.

— Сидит! вон он! — сказала дочь.

— Что-й-то я не вижу... Это он?

— Да он же, говорят вам, госпэди! авось видно!

— Так сидит?

— Сидит!

Купец отошел от окна и, почесываясь, проговорил:

— Надо сходить!.. а то скажут — член управы, а вовсе глаз не кажет в присутствии.

Выпив два графина квасу, вдоволь наикавашись, купец оделся и отправился в управу.

— Петру Григорьевичу! всенижайшее почтение!

— А! Захар Карпыч! — сказал делопроизводитель и уткнулся в бумагу.

Купец отдулся, вытер платком лицо, положил картуз с длинным козырьком на окно и начал глядеть через плечо секретаря в бумагу.

— Как поживаете? — спросил последний.

— Ничего-с. День да ночь, сутки прочь, к смерти ближе.

Секретарь, продолжая заниматься делом, спросил:

— Как торговля?

— Торгуем потихоньку... по-старому то есть... пуд продаем за сорок фунтов, фунт за девяносто шесть золотников.

— Правильно,— заметил секретарь, помечая бумагу и откладывая ее в сторону.

Купец подсел к секретарю и начал:

— Что, не слышно еще о награждении меня орденочком-то?

— Нет, не слышно.

— Оказия! ей-богу, оказия! Отчего же это губернатор не обратит внимания? Что это значит? Ведь этакой вещи со дня основания нашего города не было, какую я сотворил, к примеру: доставляю безденежно квас и капусту в больницу... А всё говорят, я ничего не делаю. За что, подумаешь, в других местах получают ордена? Петр Григорьевич! нет ли у вас тут какой статейки, чтобы получить...

— Такой статейки нет, а вот вам мой совет,— сказал секретарь, откинувшись к спинке кресла и закулив папиросу,— попросите лично губернатора, когда приедет сюда ревизовать город...

Вдруг под окнами раздался грохот экипажа, и в управу вошел председатель, низенький, плотный господин, лет под пятьдесят.

Секретарь и купец встали.

— Здравствуйте, господа! — сказал председатель, протирая платком синие очки,— вот тут и служи! вот и работай!..

— Хе, хе, хе... что такое, Зосим Ильич? — отнесся купец.

— Да вот хоть гать по дороге в горд... Представьте, нельзя проехать! А отчего? Перед земским собранием, вы помните, погода стояла отличная... можно было поправить... а теперь уж пошли гурты, обозы, и всю дорогу изрезали... А как хлынут дожди, тогда прекратится с городом всякое сообщение!.. Что это делается! решительно не понимаю!..

Председатель залез в кресло и продолжал:

— В прежнее время мосты играли роль маяков, то есть предупреждали проезжающего, что он должен остерегаться и искать удобного объезда... А в настоящее время мосты сделались предвестниками гибели; потому что около них прорыты канавы (в видах осушки) и объехать трясину невозможно... Прошу покорно! вот после этого и служу...

— Ничего! как-нибудь обойдется,— заметил купец.

— Как обойдется? как обойдется? — возразил председатель...— Меня удивляет ваше равнодушие, ведь вы все-таки член управы... войдите, наконец, в мое положение... Ведь осенью мне нельзя будет ездить в город... Вам-то хорошо, вы тут живете...

Председатель подумал и произнес:

— Одно средство остается — написать в полицию, чтобы чрез станového принудили...

Секретарь поднес председателю несколько бумаг и объявил:

— Вот это от уездного гласного капитана Стручкова. Он предлагает самый дешевый способ исправлять гати.

— А именно? — спросил председатель.

— Он рекомендует около мостов насыпать землю, затем класть навоз и солому, а сверху опять засыпать землей... Он говорит, в остальном природа сама поможет, о чем и будет, как уездный гласный, заявлять в следующую очередную сессию.

— Это из рук вон! — воскликнул председатель, — что же, он хочет людей топить? ведь осенью навоз и земля превратятся в непроходимую бездну? Напишите ему ответ, что управа поставлена в положительное затруднение относительно осуществления подобных проектов. Это что?—рассматривая другую бумагу, спросил председатель.

— Заявление гласного Капустина о школах и больницах. По его мнению, как то, так и другое ведет к изнеженности и разврату...

— Ну, это уж слышали! Еще что?

— Рапорты волостного правления да запросы из губернской управы.

Является соседний помещик, бойкий, седенький старичок в архалуке с толстыми шнурками вместо петлиц и с арапником, который, из уважения к присутственному месту, оставляется в передней.

— Ба, ба! ба! Какими судьбами? — вскрикивает председатель.

— Очень просто. Еду на охоту... Вчера был в Оржаницах, в Житове, затравил шесть зайцев и одну лисицу. Ну, что вы тут подельваете? Небойсь по-прежнему дела стоят без начала, без конца?

— Именно, — подтвердил председатель.

— Да все вздор! — продолжал старичок, — у нас никакого толку не может быть... А вы вот что, Зосим Ильич. Послезавтра день моего рождения, я нарочно заехал... не откажитесь хлеба-соли покушать... Из Зарайска привезли малосольной икры... балыка... да мне один благодетель обещался фунтов в десяток щучину привезть... живую... Я ее велю приколоть... Приезжайте непременно... ~~вы~~ вы, господа, не обидьте старика... велю своей Марфуше серьги зарайские надеть!.. ха, ха, ха!.. а как она славно готовит щучину!.. Как умеет головку раздавить... ха, ха, ха!

— Однако мне пора отправиться по делам, — сказал председатель и взялся за фуражку.

— Так что же, Зосим Ильич? — спросил старичок. — Будете?

— В среду я свободен. Пожалуй.

— Непременно приезжайте... Как Марфуша будет рада!

Председатель вышел.

— Петр Григорьевич! — обратился помещик к секретарю, — ведь я к вам зашел сюда подстричь волосы... Нельзя ли послать за цирюльником?

— С удовольствием.

— Да прикажите кстати позвать сюда моего охотника Трофима... он у Лопатиных... с собаками.

Вскоре явились цирюльник и охотник.

— А я кстати побреюсь, — сказал секретарь.

Цирюльник, — отставной солдат, завесил помещика салфеткой и приступил к делу. Охотник стоял в передней.

— Трофим! собак накормил?

— Накормил.

— Вподлиз поели овсянку, или осталось?

— Осталось...

— А ноги подмазал суке?

— Подмазал...

— Послушай! под себя оседлаешь Дончиху, а для меня Гонца...

— Щенят прикажете брать?

— Конечно... их покуда выворим... А то будут метаться, и не подкличешь... Петр Григорьевич! — обратился барин к секретарю, стоявшему у окна, — вы знаете мою мурогую суку? ведь пометала щенят... один кобелек сероухий весь в Разрыва...

— Разрыв отличная собака, — сказал секретарь.

— Ну, спасибо, друг мой, — поблагодарил цирюльника помещик.

На его место сел секретарь...

— Аль и мне подрезать виски, — заметил купец, поглядывая на голову помещика.

В это время около управы запищала водовозка. Купец обратился к мужику:

— Эй! ось в колесе!..

Все засмеялись.

Через несколько минут управа опустела.

СВЯТКИ

I

На первый день святок у крыльца священнического дома стояли резные сани с высоким задком, запряженные парю сытых караковых лошадей. Отец Петр собирался с своими маленькими сыновьями в приход «по господам»; в передней, в ожидании хозяйских приказаний, стояли два работника, одетые в овчинные полушубки. Один из них, переступив порог, объявил хозяину:

— Иван не хочет с тобой ехать; говорит: «У господ подносить водки не будут».

— Что еще завздорили? — воскликнул хозяин, застегивая на себе широкий цветной пояс.

— Я это к слову молвил, — отвечал другой работник, хватаясь за притолку рукой, — Андрюха безперечь попрекает, что я ничего не делаю... понапрасну ем хозяйский хлеб... Ведь тебе известно, что он завсегда вздор затевает; а я из твоего послуханья никогда не выходил: что прикажешь, то сполняю; это ему хочется ездить по мужикам...

— Ну, ну! авось приход еще не кончили: восемь деревень не хожены! — заметил хозяин, — сани-козырки запрягли?

— Козырки! — в один голос отвечали рабстники.

— То-то! веретье не нужно... постелите ковер...

— Постлали!

— Ну, Вася, — обратился хозяин к своему старшему сыну, одетому в новый казенетовый сюртук, — будешь говорить господам речь, не смущайся! Может быть, еще на

сапоги выработаешь... Небойсь на публичных экзаменах отвечал же... там бывает и губернатор и владыко...

— Я не боюсь! — возразил мальчик, причесываясь перед зеркалом, — господа велики над мужиками; а мне они что делают?..

— Ну-ко, прочти речь-то... мать послушает, — сказал хозяин, присаживаясь на стул.

Василий достал из бокового кармана тетрадку и громко прочитал: «Ваше высокородие Степан Матвеевич! на поле брани, в годину битв и сражений, вы немало потрудились, идя грудью на неприятеля; смерть носилась повсюду; пули, как пчелы, жужжали вокруг вас; огонь от орудий ослеплял ваш взор; пушечный гром оглушал ваш слух; земля тряслась под вашими ногами; но ангел божий сохранил вас от опасности. Пока вы были здоровы, вы подвизались на поле брани; но когда силы ваши от воинских трудов стали ослабевать, вы от шумной боевой жизни удалились в свое имение, в коем пребываете и доселе. Здесь добродетели ваши расцвели, яко крин, и принесли обильный плод: презельною ревностью вы отличались к храму божию и теплою любовью к церковнослужителям: не хватило ли у них хлеба, или иные бедствия посещали их, вы первый спешили к ним на помощь. В настоящий высокаторжественный день приветствуем вас, яко волхвы — звезду, явившуюся на востоке...»

— Ну, довольно! — сказал хозяин, — пора ехать!

Вскоре под окнами послышался скрип стъезжавших саней.

II

Около четырех часов вечера, хозяйка сидела с своей соседкой за самоваром и под жалобный вой хлеставшей в окна метели рассказывала ей свою жизнь:

«Изо всех детей у отца с матерью осталась я одна: старшие сестры были замужем. Родители меня очень любили: я была тише всех и смиреннее. Отец мой жил, как помещик, но сам работал с батраками; придет, бывало, с работы, выпьет чайную чашку водки и сядет обедать. Я не помню, чтобы он когда-нибудь хворал. Он носил полукафтаны домашнего изделия, по праздникам надевал купленное за три рубля ассигнациями, оно досталось старшему моему брату-дьякону; зимой ходил в нагольном

тулупе. Дом у нас был небольшой; старинные люди не любили строиться; матушка, бывало, скажет отцу: «Ты бы новую горницу поставил, у тебя дочь — невеста!» Отец только засмеется; он держался пословицы: «Не красна изба углами, а красна пирогами». За двором у нас был сад, который приносил большой доход; верстах в двух от села стояла наша пасека; батюшка украсил ее разными деревьями и травами: вербами, липами, медуницей, синяком и клевером. Каждый двунадесятый и особенно храмовый праздник наш дом наполнен был гостями: «Хлеб-соль — заемное дело, рука дающего не оскудевает» — говаривал отец. Родные приезжали к нам накануне праздника, а утром, перед обедней, гости помогали матушке стряпать; невестка делала сладкий пирог, тетка — кулебяку. Потом все займутся собой: набелятся, нарумянятся и пойдут в церковь. Вечером примемся песни петь: «Вы цыганы», «Льются слезы», «Стонет сизый голубочек». Когда я вошла в совершенные года, у меня много было женихов, всё перворазрядные студенты; один был и академик. Отец сдавал свое место с условием, чтобы зять выдавал ему половинную часть доходов; разумеется, никто из женихов не решался обречь себя на дьяконское содержание. Вот однажды в село Гурьево к отцу благочинному съехались праздновать десятую пятницу родные и знакомые; в том числе был причетник села Скородного, маленький, лысенький старичок; как подгуляли все, он подсел к моему отцу и начал: «Что, я слышал, у вас есть дочка? а у меня есть сын, студент богословских наук... Осмелюсь предложить вам: нельзя ли нам породниться...»

Отец был навеселе, и ему нисколько не показалось странным, что причетник делает такое предложение; притом же он не гнушался бедных людей.

— Видишь что, дьячок! — сказал батюшка, — женихов за мою дочь сватается много: она у меня, слава богу, всей губернии известно, воспитана в страхе божием, скромна, рукодельна... мы ведь ее не баловали...

— Пуще всего! — проговорил причетник, — и красота иногда ни при чем... «Якоже серьга в ноздрях свиньи, также и лепота жене злоумной», — говорит Сирах. Мой сын, не в похвальбу тоже сказать, с одной воды узора не может снять... на что ни взглянет, сразу поймет; часы ли починить, переплестать ли книги, от малого — до большого...

По способностям своим он мог бы идти в академию, но средства не позволяют...

— Будет нас с старухой пожить, — говорил отец, — я отдам ему весь дом; а будет нехорош, кола не дам...

— Нам ничего не надо, отец Павел: вы останетесь по-прежнему полным хозяином; а сын мой будет вашим помощником. Позвольте нам приехать посмотреть невесту.

Отец согласился; на мои именины приехал жених; он был худенький, гладко острижен, как мальчик... Но мне понравился... Дело порешили на самый покров, а вскоре после рождества нас обвенчали... Вот вам моя жизнь, Анна Панкратьевна, — заключила рассказчица и принялась разливать чай.

— Хорошо тому жить, кому бабушка ворожит, — заметила гостя со вздохом, — ишь вы какие счастливые: вышли замуж по желанию!.. А я-то грешная? Всю жизнь как в смоле киплю с своим атаманом...

III

На второй день святков батюшка приехал в селцо Гнилуши, состоявшее из десятка мужицких изб, занесенных снегом по самые окна; на улице не было ни души; на обледеневших водовозках чирикали воробьи; на одном из сараев кричала ворона. Батрак разостлал в санях веретые и закурил трубку. Батюшка вошел в курную избу.

— С праздником, бабушка, — сказал он слезавшей с печи старухе, — что же вы свечку-то не зажгли у образа?

— Ох, кормилец! — кашляя, проговорила старуха, — я говорила ребятам, чтобы они тебя посматривали... они, знать, ушли на гумно...

— Где мужики-то? Кто будет платить?

В это время вошел мужик высокого роста, занесенный снегом.

— С праздником, батюшка кормилец, — проговорил он, — присядьте... мы для вас приспелися.

— Некогда... А ты лучше не держи меня.

Мужик отошел в сторону, пошептался с старухой и снова обратился к гостю:

— Присядьте, чтоб наседочки водились...

— Нет, нет!.. Спешу...

— Как же быть? — почесав в затылке, сказал хозяин, — повремените... денег таперича нет...

— Как же так? За тобой никак прежние есть, — сказал батюшка, доставая памятную книжку.

— Я словно расплачивался с твоим здоровьем...

— Вот за крестины недоплатил... Дурно, брат! ты не отдашь, другой не отдаст, что ж это будет? а у нас ведь дети...

— Понимаю, — толково ответил мужик, — знамо, ваше дело тоже надо подумать: год ждете...

— Ну, овсеца...

— Мы сами купляли себе на семена... Еще я у твоего здоровья хотел спросить: не можно мсему сыну взять Антонову Варвару?

— Это ты приезжай ко мне после святок... там посмотрим в кормчей...

— Ну, благодарим покорно...

Батюшка пришел в другую избу, где кривая, пожилая женщина выкладывала на стол куски хлеба из сумки; на нарах сидела маленькая девочка, закутанная в мужицкий армяк.

— Как поживаешь, Сергеевна?

— Помаленьку, касатик. Вот здоровье плохо становится... Поборы плохие...

— Бог печальник обо всех! Вот ты говоришь: поборы плохие!.. Иди ко мне жить! девочка твоя годится на посылки...

— И! она у меня такая несмелая... да и хвороба ее изняла... все кашляет... уж такой-то кашель привязался!.. Сама я тоже насилию ноги таскаю... Где мне снести твою работу!

— Да ведь молотить, например, тебя не заставлю? Что сработает — и ладно! А если захворает, я тебя в церковную сторожку положу... схороним как следует... похристиански...

— Что ж, кормилец?.. один конец-то!.. где ни умирать — все равно! Его святая воля! Пошли господь прежде конца покаянье...

— Напрасно, право напрасно! Тебе бы у меня было хорошо... Твое дело — курам дать, горницу подместь, лежанку прокурить...

— Ох нет, сударик... силы плохи... все головой припадаю... Я хоть день-то прохожу, зато день пролежу...

кусочка-то мне и довольно... А ведь у тебя ходи, как в колесе...

— Ну, Сергеевна! Смотри сама... я тебе говорю... как бы не пришлось отвечать богу... тоже за милостыню лежать не приходится... За подаяние надо молиться, а не лежать... То-то вот! милостыня-то вас балует...

— Не обессудь, родимый,— как-то растерянно и замкнувшись вдруг сама в себя, проговорила хозяйка...

Вышедши на улицу, батюшка обратил внимание своего батрака на петуха, высунувшего из мешка голову сквозь дыру, и приказал придвигать подводку к дому старосты. Работник, с своей стороны, известил хозяина, что у Самовых, в крайнем дворе, есть корольки и утки... Впрочем, это известие осталось без ответа.

В доме старосты за столом сидело целое общество игроков, среди которых раздавались запальчивые возгласы: «Замирил! еще двадцать!»

— Зажгите хоть свечку-то,— вдруг послышался голос.

— Эх, кормилец,— выходя из-за стола, сказал молодой парень в синей рубахе,— ты помешал... ко мне козырной привалил...

— Кто будет расплачиваться?

— Вот тебе на счастье гривну,— протягивая руку, сказал мужик с черной бородой,— может, твоя рука легка...

— Святочные дни не так нужно проводить..

— Да нечем заняться... работы нет...

— Если бы учились грамоте, занялись книгой бы... Ну-ко, дайте мне колоду карт... ребятам...

— Филька, отдай старую...

— Да ведь я у целовальника выпросил...

— Ну, что ж!.. Авось все сообщу ответим...

При входе в следующую избу батюшка увидал, как посыпали на печку мальчики и девочки.

— Кто там на печке? Слезай!

— У нас никого нету,— послышался голос.

— Где же они?..

— Мама пошла на пруд, а батя на деревне...

— Мальчик! поймай курицу...

— Я боюсь, меня заругают...

Гость заглянул за перегородку и увидал прижавшегося к стене мужика.

— Ты что же, Алексей, прячешься? Не стыдно тебе? Разве ты не православный?

— Я, кормилец, от церкви не отрошник... тоже не бухает какой...

— Зачем же ты спрятался? Вот оттого-то отцовский дом и прожил... и бегаешь, как нечестивый, ни единому же гонящу...

— Некуда податься!.. Признаться, работник я один, ребяенок много... Я бы и рад встретить тебя как следует; моей мочи не хватает...

— Думай сам... мое дело сказать... твоя душа в ответе...

— Уж вестимо,— провожая гостя в сени, говорил мужик.

IV

Кончив приход, отец Петр с своим семейством отправился в гости к благочинному. Дорогой он делал наставление своим детям:

— Будьте поаккуратнее: станет спрашивать — встаньте... отвечайте вежливо... про учителей не отзывайтесь дурно... Он человек случайный; знаком со всеми важными лицами...

— Когда будут подносить чай,— говорила с своей стороны матушка,— после первой чашки накрывайте... а до варенья лучше не дотрогивайтесь... Если сама хозяйка будет просить — возьмите...

— Бог всех не уравнил! ему же дань — дань, а ему же страх — страх,— понюхивая табачок, заключил батюшка.

Но вот открылось село Лопухино с каменным барским домом и множеством флигелей; выглянул продолговатый, низенький дом благочинного с дощатым крыльцом и выкрашенными ставнями.

В просторных, светлых сенцах с итальянским окном гостей встретила приземистая хозяйка в новом ситцевом платье, гремевшем, как железный лист, В зале, украшенном портретами архиереев, затворников и видами разных «обителей», гости долгое время не решались разместиться, пока хозяйка не указала, кому где сесть. Вскоре кухарка объявила отцу Петру, что хозяин просит его в кабинет. После обычного приветствия (троекратного лобзания) сутуловатый хозяин в голубом подряснике расположился

с гостем на диване с вырезанными на спинке змеями и лапами хищных зверей.

— Ну что, обходили все?..

— Обходил...

— Как у вас нынче сбор?

— Хлебный — такой же, как и в прошлом году...

— К вам не приезжали курятники?

— Были как-то на днях...

— Ну что?

— Да я хочу повыждать... может, в Москву потребуются... теперь сбыт легкий...

— Я слышал, по весне будет выставка: не подождать ли до того времени... Овес нынче дешевый... кормить можно... провоз недорогой...

— Зачем возить? Сами приедут... только дай! Еще пулярдок можно подготовить...

— В самом деле?..

— Как же, можно! Она вон в Москве рубль...

— Вот так-то вот! Только хлопотно с ними, с этими пулярьками...

— Не без того... Каждой птице надо насильно разжимать рот... Чистое мученье...

— Мученье!.. Ну, зато и денежки горячие...

После непродолжительной паузы хозяин с озабоченным видом обратился к гостю:

— Что я слышал?.. Не помню, от кого... да! от вашего причетника... будто ваши дети говорят по приходу приветственные речи?..

— Старший сын произносил...

— Напрасно вы это позволяете... Были ли эти речи у кого-нибудь на цензуре?

— Я сам рассматривал... даже многое сам составил... невольных мыслей нет, думаю: почему ж не сказать?

— Все так! пусть будут прекрасные речи; но без цензуры они не могут быть произнесены... Впредь вы уж присылайте их ко мне... Нынче за всем следят! без вины можно пропасть... Ведь у помещика-то не был на уме... Кто его знает? Все они политичны до поры до времени. Пожалуй, при свидании с исправником наметет, чего сном-духом не знаешь, а там глядь — из консистории запрос: на каком основании местный благочинный дозволяет произносить публично речи? Я ведь принужден буду указать на вас...

Опять с пономарем у вас история... Что это вы с ним не ладите?

— Позвольте... Я вам доложу, этот человек святого из терпения выведет... Верите ли? Как нарочно, перед самой службой затеет бунт и раздосадует до неимоверности...

— А он подал на вас жалобу...

— Пусть его!

— Нет, вы послушайте, что он пишет...

— Пожалуй, написать можно все... Только я одно знаю, что он ничем не докажет моих поступков... А вот он действительно бесчинствует и не покоряется власти... Его давно бы следовало отправить в монастырь на послушание.

Хозяин развернул прошение и внятно прочитал: «Ваше высокоблагородие, отец Петр делает мне возражения, что этим годом отдаст под начал без всякого следования, что самое и приводит меня в большое сумнительство, и я принужден объяснить, во-первых, на дерзновение его жезлом, что оный имеют для защиты словесного стада, дабы не входили волки тяжкие и не распудили оное, а также еретиков и раскольников отгоняли бы, и я по оному делу опасаясь уже явиться к нему в дом, так как при всех людях, а кольми паче один на один, вдобавок без всяких прав и во всеуслышание предстоящих со страхом преклонными главами определил — пономаря Зуева на колени, уже проживши на сем свете пятьдесят два года не судим, не штрафован высшею властью, равно не велел никуда являться в приход».

Кухарка объявила, что подан чай. Хозяин и гость отправились в зал.

РОДСТВЕННОЕ СВИДАНИЕ

Часов в шесть утра в одной из глухих московских улиц у калитки двухэтажного деревянного дома стояли два студента семинарий, меж тем как от ворот отъезжал запыленный изувеченный тарантас. Отворилась калитка, и вышел дворник.

— Здесь живет Иван Иванович Мерцалов?

— На что вам его? — спросил дворник.

— Мы его родственники; я его брат родной; а это — двоюродный.

— Должно, к Сергию Преподобному идете?

— Нет, мы едем в Петербург держать экзамен в Медико-хирургическую академию.

Дворник ничего не нашелся возразить на это и молча провел путников в кухню.

— Родные Ивана Ивановича приехали, — объявил он горничной, чистившей картофель.

— Какие вы ему родные? — жмурясь от пронзительного пения короля, бродившего по полу, спросила горничная и, получив удовлетворительный ответ, принялась вытирать свои руки об фартук.

Медная посуда, фарфоровые тарелки, кафельная печка, картины на стенах — все это заставляло молодых людей предполагать, что их брат живет барином и потому как бы им не было дурного приема.

— Пожалуйте в переднюю, — сказала девица, — там подождете. Когда они проснутся, то будут в постели трубку курить, потом станут умываться...

Путники явились в передней.

— Маша! трубку! — закричал хозяин.

— К вам гости приехали,— шептала Маша в спальне,— один ваш братец родной, другой двоюродный — из Орла.

Наступило продолжительное хрипение трубки. Видно было, что это известие повергло хозяина в глубокое раздумье.

Наконец, утираясь полотенцем, Иван Иванович вышел в зал, посмотрелся перед зеркалом, крикнул и громко возвестил:

— Идите сюда!

Студенты сделали несколько шагов вперед.

— Подойдите поближе! — скомандовал Иван Иванович.— Ну? здравствуйте! — И он подставил гостям щеку.

— А это кто ж такой?

— А это тётеньки Марфы Григорьевны сын...

— Какой же: старший или середний?

— Младший.

Хозяин, продолжая вытирать полотенцем шею и шмыгая по полу вышитыми цветными туфлями, подошел опять к зеркалу. Маша проворно внесла кипевший самовар, сделала чай, поправила на диване подушку с изображением турка в гареме и объявила:

— Иван Иванович! готово!

Хозяин, бодрый, свежий, сел на диван и взялся за чайник.

— Что же ты, Сергей, надеешься выдержать экзамен? — спросил он родного брата.

Сергей переминался с ноги на ногу и молчал.

— Садись, братец, к столу! Ты отвыкай от семинарской привычки смотреть в пол и косоуриться, когда с тобой говорят... Здесь не бурса и не деревня! в деревне с мужиками как хочешь, так и веди себя; но здесь надо строго держаться правил приличия...

Наступило молчание. Студенты стали пить чай. Иван Иванович отпил глоток и взялся за трубку, говоря:

— Заметь, Сергей, раз навсегда: в блюдечко чай не наливают... с блюдечка пьют одни дворники да купцы... чаю надо дать простыть, не надо, братец, хватать его, как овсянку... да еще фыркать... Здесь не псарня и не конюшня, а человеческое жилище... Ну, теперь скажи, здорова ли мать?

— Слава богу...

— Она мне писала о приданом для Кати... Я не понимаю: что у меня, монетный двор, что ли? Все лезут, все пристают... Они там привыкли Христа славить... Маша! дай огня!

Иван Иванович вздохнул. Закурив трубку, он продолжал:

— Да! Благодарение богу, вот уже седьмой год, как я выкарабкался из этого болота... Ещё в бытность мою в Орле я обратил на себя внимание начальства и теперь имею знак отличия... Слава богу! В Москве устроился недурно, занимаю весьма почетное общественное положение... Знаком с графом Барбосовым, принят у княгини Щелчковой... А было время, когда ел щи да кашу и ходил на голенищах... Ты, братец мой,— я уже тебя предупредил,— когда пьешь чай, старайся не хрюкать... на всю комнату... Можешь это делать где-нибудь в сарае! Я тебе замечаю, как брат: если ты собрался в Петербург, а не в какую-нибудь моздокскую степь, то тебе надо поставить за правило — отвыкать от грязных привычек... Маша! приготовь сегодня к обеду ветчины и котлет!

— А каши прикажете? — выразительно глядя на гостей, проговорила горничная...

— Ах да! да! В таком случае приготовь одну только котлетку...

— Слушаю-с,— весело сказала Маша, видя, что ее маневр удался.

Хозяин, пустив колечками дым к потолку, продолжал поучать молодых людей, без всякой логической последовательности:

— И вдобавок я теперь даю уроки пения, завел у себя фортепьяно; постоянно прохожу либо гаммы, либо экзерсисы... и так как у меня бывают порядочные люди, можно сказать любители всего изящного, то я нанял себе приличную квартиру... да и сам я отвык жить по-свински... Следовательно, если ко мне является и родной брат, все равно: он должен быть человеком. Я заметил с первого раза, как ты вошел в зал, что ты и ходить-то не умеешь... А это важная вещь! Входить, братец, в зал надо так, чтобы ноги держались вместе... Кланяться тоже надо уметь... не в пояс, как делают крестьяне и преимущественно бабы, когда являются к попу, а надобно произвести одно лишь наклонение головою, чтобы голова, братец, вращалась на шее, как около своей оси. Природа нарочно дала для этого

такой позвонок, похожий на шалнер... вот будешь изучать медицину, узнаешь этот позвонок...

После чаю Иван Иванович сел за фортепьяно и начал петь гаммы: «А-а-а-а-а! Га-а-а-га!» В заключение певец исполнил два романса: «Мороз» и «Два прощанья» с необыкновенным пафосом; закрыв фортепьяно, он обратился к брату с замечанием:

— Это не «На реках Вавилонских»... как ты думаешь?

— Когда же вы поедете в Петербург? — спросил он наконец.

— Хоть ныне, — отвечал Сергей.

— Вот ты говоришь: «Ныне». Это слово славянское: «Ныне отпускаеши»... — и в порядочном обществе не употребляется. Надо говорить: «Сегодня...» Ну, однако, мне пора ехать по делам... В ожидании обеда посидите в кухне, потому в мое отсутствие квартира запирается... Кстати вы приведете в порядок свой туалет: Маша почистит вам сапоги да пыль отряхнет. А поедете вы в Петербург завтра утром. Я вас провожу.

Иван Иванович уехал. В кухне студенты сговорились уйти от своего брата, но потом решили, что это «не солидно и не соответствует благородному званию студентов»; к тому же Иван Иванович, пожалуй, даст что-нибудь на дорогу, если они останутся. И бедные молодые люди решились терпеть...

На следующий день, когда машина готова была тронуться, студенты сидели в вагоне третьего класса; а с платформы озабоченно глядел на них Иван Иванович.

— Сергей! — крикнул он, — что ты там шевелишься? пить, что ль, хочешь?

Иван Иванович с досады пожимал плечами... Студенты не чаяли уехать...

— Здесь, братец, так нельзя, — говорил Иван Иванович, когда уже машина трогалась.

Он крикнул в последний раз:

— В окна не смотрите! Оторвет голову!..

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПИСЬМА

(Эскизы)

Неаполь — Рим — Флоренция — Париж

Около пяти часов утра наш пароход был вблизи Неаполя. Описывать тишину воздуха, радужные краски утреннего неаполитанского неба, бродящие там и сям, словно расправляющие свои крылья суда, — описывать все это невозможно, особенно жителю севера; тонкий, светло-голубой, веселый, девственный колорит на всем; точно все сейчас сотворено богом. Вдали громадный, темный, чуть дымящийся Везувий; вокруг его вершины на различных точках светится огненная лава.

В восемь часов мы очутились в широком тихом заливе; из-за Везувия выглядывает солнце. Залив покрыт разнокалиберными судами. Наш пароход мгновенно окружили лодки; на одной из них, в изорванной рубашке, курчавый мальчик распевал веселым голосом «*La donna e mobile*»;¹ другой, его товарищ, управлял лодкой. Певец вдруг наглядно изобразил, что закалывается полуаршинным кинжалом, и упал навзничь, на дно лодки. Вставши, он начал петь из другой оперы, но его лодку отдалили другие гребцы, и он издали пел нашему пароходу: «*Leonor'addio!*»²

На следующий день я отправился на Везувий, по принятому обычаю; и на это путешествие у меня ушел целый день. Чтобы подняться на огнедышащую гору, надо

¹ «Сердце красавицы склонно к измене» (итал.).

² «Леонора, прощай!» (итал.)

взять осла; его сзади подгоняет чуть не дубиной проводник, которому по временам замечает другой проводник: «Рiано...»¹ (вероятно, сжалившись над ослом). Часа три надобно ехать до вершины Везувия среди разметанной на огромное расстояние лавы в виде темно-серого засохшего теста; потом на вершину нужно ползти на своих ногах; почти всех женщин вносят туда на носилках. Я попал на вершину в то время, когда она была вся в облаках, которые представляли не что иное, как густой туман. Вдруг на минуту облака разнес ветер, и мы увидали дымящийся ее кратер, жерло которого покрыто было серным сплавом; вдали, вокруг залива, амфитеатром расстился во всей своей красе Неаполь, о котором во всех газетах упоминается: *Voir Naples et mourir*².

В Неаполе, между прочим, замечательны Бурбонский музей с сокровищами Геркуланума и Помпеи и театр *S. Carlo*; касательно всех почти итальянских опер надо сказать, что певцы лучше играют, нежели поют. Знаменитые итальянские певцы все в Петербурге да в Лондоне. Между прочим, мне пришлось быть в одном народном театре (место в партере стоит около шести копеек серебром). Заиграет музыка, все зрители примутся подпевать, а во время антрактов бросают друг в друга фуражками, апельсинами. Петрушка-кукла, что у нас в балаганах, в Неаполе в большом ходу: здесь она также засовывает собаке в рот палку, которою собака крепко колотит Петрушку по голове.

Бедных в Неаполе множество, или, как французы говорят о парижской бедности: «Il y en a beaucoup... На каждом углу улицы стоят комиссионеры с предложениями воспользоваться жертвами нищеты... В Неаполе мужчины красивее женщин, которые до того худы и бледны, что как будто их никогда не покидает лихорадка. Эту резкую разницу легче всего можно проследить в театре *S. Carlo*.

Поздно вечером на маленьком утлом пароходике я отправился в Рим.

В вечном городе путешественник только успевай

¹ Тихо... (итал.)

² Увидеть Неаполь и умереть (франц.)

³ «Ее там хватает...» (франц.)

ноги таскать: знаменитые церкви, палаццо, исторические развалины, виллы, например Villa Albani, villa Borghèse, villa Ludovici, далее — monte Pincvo, monte Palatino, Аппиева дорога, Альбано, Фраскати, Тиволи, наконец самое главное — храм св. Петра, Ватикан, Форум, Колизей и Капитолий... Все это недоступно никакому описанию, и говорить об этом следует или все, или ничего.

Рим неприятно поражает путешественника своею грязью, мрачными старыми домами и бедностию; на каждом шагу раздается заунывный голос: «Ровер ипо, роверин'уипо» (бедный человек). Народ римский большею частью ходит в замасленных куртках, грязных заштопанных панталонах и в дырявых сапогах; трудно встретить где-нибудь краснощекое свежее лицо: всё смуглые и тощие физиономии с мелкими чертами. Доброта, искренность до наивности, прямотушие, симпатичность — отличительные свойства итальянцев. Торгуют в Риме больше тряпьем, апельсинами, туфлями и т. п. Но продавая, напр., зелень на десять байков, торговцы кричат с необыкновенным усердием и некоторым достоинством. Шуму от экипажей в Риме почти не слышно; только раздаются голоса: «Уова» (яйца), «brossoli» (кудрявая капуста) и пр. Все тихо, никто никуда не торопится, все делается не спеша; старуха, сидя за яблоками, что-нибудь штопает; два мальчика с сапожными щетками осматривают сапоги проходящих; иной несет мешок с сором, который выбросили из окон; оборванный, расстегнутый мальчик спит близ лавки под лучом солнца; шершавый осел тащится с двумя ворохами зелени на спине, а между тем слышится журчание и плеск воды у фонтанов.

Вот вечер. Все кофейные наполнены посетителями, пьющими *café nero*¹ с абсентом или с коньяком; все курят дурные сигары и толкуют о политике. В одиннадцатом часу улицы пустеют и являются на сцену так называемые *cericatori*² с фонарями на веревочках, босые, полуодетые, и начинают искать по улицам выброшенную подошву, кость, потерянную монету, размахивая фонарями с такою же ловкостью, с какою наши дяконы размахивают кадиллом.

¹ Черный кофе (итал.)

² Искатели (итал.)

В Риме, как известно, много наших русских живописцев. Все они по большей части трудятся в своих студиях с натурщиками. Замышляют или пишут каких-нибудь героев из истории Рима и Греции или вызывают на полотно тени библейских лиц и убеждены, что из русской жизни писать совершенно нечего, и, как истинные художники, любят и грязь, и бедность, и невежество римского народа, говоря, что им грустно делается при мысли, что со временем этот оригинальный вечный город превратится в избитую форму Парижа или Лондона.

Флоренция — это чистенький, тихий, просторный и приветливый городок: здесь народ не так беден, как в Риме или в Неаполе; про воров, которых очень много в последних, во Флоренции и не слышно; притеснений полицейских нет, жандармов и не видно.

Во Флоренции много прекрасных вилл, палаццо, церквей и чрезвычайно много иностранцев, не исключая и русских. Природа во Флоренции такая женственная, ласковая и, можно сказать, страстная... Набережная реки Арно с утра до вечера залита солнцем. Кроме знаменитого сада Boboli, во Флоренции есть парк Кашине, в котором ежечасно разъезжают экипажи, скачут верхом форестьеры. Особенно хорош Кашине при закате солнца, когда гуляет в нем вся флорентинская публика: справа нескончаемый ряд деревьев, слева тихо шумящая река; впереди вдаль солнце скрывается за горы... Вот оно скрылось... По небу разостлались разноцветные, фантастические краски... Назади глухо уезжают экипажи; в саду лепечут птицы; где-то в стороне раздался выстрел... Небо совершенная эмаль... вот уже и месяц плывет, а перед ним две звезды, как лампы, вода журчит, слышится тихий говор по заре; по дорожке идет итальянец с дамой, у которой на лице заметна тихая грусть; в стороне — благовест... Во всем такая гармония, что начинаешь идти тише, тише; руки опускаются; чувствуешь, что уходишь в природу, в окружающее, в воздух... Все это напоминает и нашу природу: и закат солнца, и выстрел вдали, но вмотришься — совсем не то: здесь небо ласковей, голубей, мягче, а воздух такой, что и вздыхать не нужно...

Во Флоренции, как и везде в Италии, все тяготеет к своему любимому королю Виктору Эммануилу; его портреты увиваются венками, и при некоторых значатся

такого рода надписи: «Il primo soldato dell'indipendenza d'Italia»¹.

Во Флоренции итальянцы, как и везде, народ добрый, честный, наивный, говоруны, и флорентинца не усадишь дома; он постоянно бродит по своим узеньким, извилистым улицам, посвистывая; иногда свистки даже перекрещиваются при встрече двух-трех человек; общественная жизнь вся сосредоточивается в кофейнях, где неизменный *café* пего с коньяком и толками об итальянских делах.

Дождливая погода превращает Флоренцию во что-то неуклюжее, пасмурное; итальянцы все жмутся под зонтиками; темные средневековые дома и церкви делают особенно угрюмыми. Зато в солнечный день все ликует, идет нараспашку, не шевелясь, точно принимая лекарство... Плащ на плече, сигара во рту... даже древняя архитектура и узенькие, тенистые улицы имеют привлекательный вид. Вот *piazza* (площадь) — вся в солнце; стоят рабочие; между ними идет игра: двое, сжав кулаки, со всего размаху опускают руки вниз и кричат: «Чинкве!» (пять), «Чинкве!» Потом поднимают руки и снова быстро опускают их, продолжая: «Сей!» (шесть), «Сей!» Но иногда иной крикнет «сей», а другой «сетте!» (семь): тогда один из игроков проигрывает. Эта же игра в большом ходу в Риме; там на *Piazza del popolo*² ее можно встретить на каждом шагу.

Итальянцы любопытны, как дети; хлопнуло что-нибудь в другой улице — все бегут смотреть; они также, как известно, очень вспыльчивы и с большим чувством собственного достоинства. Кстати о детях: я ни разу не слышал, чтобы кричали дети (напр., как у нас в России); их итальянцы, можно сказать, уважают, как взрослых, и никогда не оскорбляют. Раз я видел одного старика, сидевшего у отворенной двери своего дома; он был окружен ползавшими и ходившими детьми; один из них постоянно надоедал старику, дергая его за ворот и всползая к нему на спину: старик, наконец, рассердился, но справляться с мальчиком не стал, а повернув голову к сеням, стал жаловаться на обидчика старухе; но та пустила это мимо ушей, и старик принужден был отойти от ребенка. А у нас... сколько наставлений, крику и, нередко, подзатыльников...

¹ «Первый солдат независимой Италии» (итал.).

² Площадь народа (итал.).

В желтых, болезненных лицах итальянцев светится добросердечие и простота, доходящая до какой-то распушенности и рохлеватости. На то, что итальянцы иногда кажутся рохлями, приведу пример: в Риме на главной улице Корсо, во время карнавала, по обычаю пускают скаковых лошадей без наездников; всякий раз, как нужно бросать удила, лошади вскидывают задними ногами и опрокидывают несколько итальянцев навзничь. Правда, потомки славных римлян не обладают значительными физическими силами. Мне пришлось быть свидетелем поединков, которые во Флоренции в большом ходу и происходят под открытым небом. Эти поединки называются лоттами. Два француза, которых итальянцы называли *invincibili* (непобедимые), выходили против четырех и пяти итальянцев и перекидывали их через голову так крепко, что итальянцы чуть не со слезами кричали: «*basta!*» (довольно).

Об аккуратности и опрятности итальянцы мало заботятся: куртки и шерстяные рубашки они носят до тех пор, пока они изорвутся, и у итальянцев — свой *aire fixe*¹ (в этом они напоминают евреев): в Неаполе на картинах изображают, как народ на торгу ест макароны, а из старых штанов висит меж ног рубаха.

Что касается иностранцев (форестьеров), то большая часть из них не знают, как убить время в классической стране: странствование по виллам и галереям — обычное времяпрепровождение форестьеров; все восторгаются красотами природы, знаменитыми произведениями Рафаэля, Тициано, Фра-Бартоломео и пр., по указаниям гидов; но не *de l'Europe, et Florence est un jardin de l'Italie*. А то вдруг пронесется из Ниццы в Рим, из Рима в Неаполь какая-нибудь отчаянная женщина, отыскивая своего исчезнувшего любовника, и до тех пор носится по Италии, пока ее не остановит другой аферист, за которым она тоже скоро пускается в погоню. Но спросите их всех: «Зачем каждый из них приехал за границу?» Всякий имеет весьма серьезные причины. «Вообразите, я было в России чуть не умер, доктора насильно послали в Италию...» — «А я изучаю средневековую архитектуру... Кроме того, у меня трясение в жилах... А этот штабс-капитан... эмигрант».

¹ Характерный вид (франц.).

У русских за всеми хождениями по галереям и виллам остаются обширные промежутки свободного времени, которое они употребляют на бездельное шатание по улицам: вечером в сотый раз слушают одну и ту же оперу. Утром отправляются прежде всего в кафе, оттуда, если праздник, в церковь, воздвигнутую Демидовым; там побеседуют с дьячками, из которых один бас замышляет поступить в оперу; затем, в ожидании обеда, идут в Palazzo Pitti, где перед картинами, виденными несколько раз, только и знают что растягивают рты от зевоты, а то бредут на почту, хотя знают, что письмо должно прийти через полмесяца или более; а если по дороге попадется una ragazza¹, то почта оставляется в стороне... Привольная жизнь, нечего сказать, особенно для русского-то человека! Но вот на набережной Арно встретится итальянец, промышленяющий соблазнительными картинами. Русские знают, что они дурно сделаны, но от нечего делать останавливаются и снова пересматривают капуцинов, маркиз и т. п. «Questo, — бормочет итальянец, — una ragazza quindici anni» (пятнадцати лет). Вот еще один русский навстречу.

— Ну, что поделываете, голубчик?

— Да ничего! ходил в палаццо Пити...

— Ну, что? Заметили выражение глаз у мадонны в креслах? Здесь, батюшка, Рафаэль спустился на реальную почву... Впрочем, я это слышал от знатоков... Куда вы теперь направляетесь?

— Да вот, если угодно, пройдемте с нами по улице...

Взад и вперед тихо расхаживают итальянцы; шляпа набок, пола плаща через плечо...

— Ессо, signori, — раздается голос продавца, — tres catule... cinque centesimi... Venga! (Вот, господа, три коробочки спичек... пять сантимов... подходите!)

— Что это итальянцы гуляют? Праздник?

— Нет! ведь они всегда гуляют: это известные лентяи... Ах, посмотрите, какая хорошенькая...

— А не знаете вы, что такое кричит итальянец «Venga»?

— А черт его знает... Я только еще собираюсь брать уроки итальянского языка.

Раздается веселый, звучный голос мальчика, продающего газеты:

¹ Девушка (итал.).

— Signori! Gazeta del popolo — cinque centesimi solamente. Ecco, signori... Gazeta del popolo...¹

Русские повернули в узенькую улицу, видят: стена церкви вся испачкана, и на ней разные надписи: «Viva Garibaldi... republica!»², а выше всех этих надписей огромное печатное объявление: «Se voi portate il nome del cristiano il tempio del Signore rispettate». (Если вы носите имя христианина, то должны уважать храм божий.) Вот снова улица, усыпанная гуляющими итальянцами; опять идет una ragazza; один из русских в порыве радости хочет ей что-то сказать, но не может и вдруг, ни с того ни с сего, протягивает перед девушкой свою трость, желая, по-видимому, остановить ее.

— Что вы делаете?

— Что ж?.. когда не знаю по-итальянски,— оправдывается ловелас.

Наконец, приятели идут на набережную, где посмотрят в воду, потрогают гранит и отправляются куда-нибудь в кафе; вышедши оттуда, постоят на перекрестке, потянут один другого за рукав, приглашая к себе в отель, и, наконец, расходятся в одиночку.

Из Флоренции я хотел проехать в Болонью, но мне сказали, что под этим городом нападают на проезжающих и грабят; одного туриста воры побили палкой за то, что при нем не оказалось денег. «Убивают ли воры кого-нибудь?»— спросил я одного итальянца. «О нет! — сказал он, — perche nostri ladri sono molto educati» (потому что наши воры очень воспитанны). Итальянцы, как известно, чувствуют необыкновенное пристрастие к ножам и кинжалам: в Риме едва ли не каждый мальчик имеет в сапоге нож, а женщины с маленькими кинжалами, скрытыми в корсете, отправляются даже на любовное свидание. Итальянцы при первой вспышке хватаются за нож, который в ссорах и драках решает дело в одну минуту: что значит климат! Наши русские мужики совершенно спокойно приступают к драке. «Ну, держись»,— говорит один, сжимая кулак; другой боец действительно «держится». «Теперь ты держись!..» и т. д. Но у итальянцев тотчас нож, и все кончено, так что и не придется посмотреть на бой; желчь, как пламя,

¹ Синьоры! Народная газета — только пять сантимов. Вот, синьоры... Народная газета... (итал.)

² «Да здравствует Гарибальди... республика!» (итал.)

обхватывает итальянца. У нас же целая ярмарка досыта любит, когда сцепятся мужики; да еще публика советы дает: «Норови туда-то...»

Из Флоренции я отправился в Париж морем, взяв билет до Марселя. На пароходе я услышал русское крепкое словцо. На палубе, как оказалось, ужинал с французскими поварами русский солдат, тоже повар. Он был взят, как он говорил, в плен во время Севастопольской войны и теперь ругал французов за их «обычное легкомыслие...» «Я всегда, — прибавил он, — ругаюсь здесь по-русски, когда надобно кого-нибудь выругать, потому у французов нет той силы в их *soson*, *rougeau*, *vilain*¹ и пр., как в нашей родной» — и солдат повторил фразу.

Париж так хорошо устроился, что парижанину, как известно, нужна в квартире одна кровать: все остальное он имеет в городе. В Париже все взапуски рекомендуется, извещает, предлагает услуги, продает «по невероятно дешевой цене». Что ни шаг — то кафе с зеркалами или роскошный магазин, приковывающий к себе толпы народа; справа и слева в окнах торчат разные диковины: последней моды платья, брильянты, картины, живые черепахи, рыбы, плоды и т. п.

Тысячи народу и экипажей снуют по улицам; тут нет того, чтобы где-нибудь, около забора, сидели на камне или на скамеечке два соседа, с утра до ночи глаза на толпу, как, напр., у нас в России и даже в Италии; здесь видишь человека, который забежал в кафе, просидел минут десять и исчез навсегда, более его уже не увидишь; прошел по бульвару какой-нибудь урод, толстяк, оригинал, и уже более они не встретятся... Все тотчас же тонет в необъятной пучине Парижа, напоминающего бурный водоворот.

Но чему нужно отдать честь в Париже, особенно после странствования по Италии, это именно опрятность и чистота; это такое отрезвляющее явление, пред которым надобно склониться в глубоком почтении. Как тоже не прийти в восторг от парижских двухэтажных омнибусов (прототипов наших уличных ковчегов), несущихся с двадцатью пятью или более пассажиров на паре прекрасных свежих лошадей? За какие-нибудь пятнадцать сантимов они везут три, четыре версты по многолюднейшим улицам,

¹ Свинья, поросенок, негодяй (франц.).

давая обозреть множество магазинов, народу, памятников и пр. Вы едете в omnibusе, и только мелькают мимо вас раззолоченные надписи: *pouveautés, modes de printemps, objets d'art, bains de Diane, destruction des insectes, chapeaux mecaniques, vente des tableaux*¹ и т. п. Вот вас привезли к выставке, где вы можете рассматривать новейшие произведения живописи, скульптуры и фотографии; близ выставки — Елисейские поля, расстилающиеся на несколько верст; тут вы видите детские балаганы, качели, лавочки с питьем и закусками, кресла, на которых можно свесить себя, театры, панорамы, рестораны с салонами и бильярдами, помещения для музыкальных вечеров; *jardin mobil, château des fleurs*,¹ специально предназначенные для танцев и канканов; идете далее и встречаете или новый театр, или *hippodrome*³ какой-нибудь. Но вы вспоминаете, что еще в городе более двадцати пяти театров, и чувствуете, что Париж весь запружен увеселениями. А не угодно ли вам проехать в один театр, в другой, — вы увидите, что везде очень хорошо играют: но верх всякого совершенства представляет «*La Comédie Française*», хотя и в театре «*Palais Royal*» можно провести вечер с удовольствием. Во французской опере я не был; некоторые уверяют, что она ниже петербургской.

Хотите обедать? все вокруг готово к вашим услугам, Хотите газет? Бесчисленное множество в первой кофейной, даже на первом перекрестке. Хотите русских книг и журналов? Есть и это. В Париже все как будто надрывается, желая услужить вам. Вот объявление: «*Messieurs, le bon diable est ici*»:

Voulez vous, mes amis,
Avoir des beaux habits?
Venez sans hésiter
Chez moi les acheter.

(Хотите, друзья мои, иметь отличное платье? Не раздумывая, пожалуйста ко мне покупать.)

¹ Новинки, весенние моды, предметы искусства, купальни Дианы, уничтожение насекомых, механические шляпы, продажа картин (франц.).

² Сад-карусель, замок цветов (франц.).

³ Ипподром (франц.).

Рекомендуется новая мазь для усов; объявление начинается издали: «Из всех зол, удручающих (*qui affligent*) род человеческий» и проч. и что, несмотря на то, что драгоценная мазь *detruit tous les fantômes du charlatanisme*¹—стоит только двадцать сантимов. Вот *maison de photographie*² с объявлением: «*Avez vous votre portrait? Non! est la reponse, qui fait la plupart de l'espèce humaine à cette question. Messieurs! examinons cette négligence!..*» (Есть у вас ваш портрет? — Нет!, — ответ, который делает большая часть людей на этот вопрос. Господа! Исследуем такую небрежность). Вот пирожная с надписью: «*Ancienne repomptée...*»³.

Вы проезжаете мимо *Palais de justice*⁴, останавливаете кучера и спешите познакомиться с этим знаменитым домом. Входите в одну из камер, сидят судьи; адвокат толкует об одной женщине, теснимой своим мужем и о *séparation de biens et de corps*⁵; половина судей спит. Вы вспоминаете *cour d'assises*⁶ и разыскиваете его; вскоре вы входите в громадный зал, битком набитый зрителями; на скамье подсудимых молодой человек, окруженный сержантами; президент вызывает обвинителя на середину залы, где лежат разные узлы, и выслушивает улики; потом спрашивает *grévenu*⁷ подсудимого (стоящего напротив президента), где подсудимый был в таком-то часу, что делал и пр. Словом, идут очные ставки, после которых *défenseur*⁸ излагает свою защиту, указывая судьям на источники, которыми он пользовался, и обнаруживал такую наблюдательность, которая приводит толпу народа в удивление. Публика ведет себя совершенно прилично, перед ее глазами начертаны на стене слова: «*Silence et respect*» (молчание и уважение). На следующий день в «*Journal des tribunaux*»⁹ вы читаете следующее о подсудимом, которого вы видели: «Трибунал присудил N. к пятилетнему заключению в тюрьме». При таком решении с подсудимым

¹ Разрушает все призраки шарлатанства (франц.).

² Фотография (франц.).

³ «Давно известная» (франц.).

⁴ Здание суда (франц.).

⁵ Разделе имущества и разводе (франц.).

⁶ Суд присяжных (франц.).

⁷ Обвиняемого (франц.).

⁸ Защитник (франц.).

⁹ «Судебной газете» (франц.).

делается припадок бешенства (*accès de fureur*): он рвет на себе волосы, бьется о стену и отчаянно кричит. Солдаты уводят его, и долго слышится его крик. Нельзя не вспомнить и наших русских подсудимых, которые, с твердостью Муция Сцеволы, выслушивают более суровые приговоры, нежели пятилетнее заключение в тюрьме.

Вечер. Все улицы затоплены газом; жара нестерпимая... бегут экипажи, народ валит на Елисейские поля, на которых гремит музыка и раздается пение; все кофейные набиты народом, на бульварах теснота. Перед вашими глазами торчит объявление, освещенное газом: «*Jeune scullosse Hollandaise, âgée de 21 ans, pesante 185 kilogr. mademoiselle Nina*»¹. Входите в зал и видите необычайной толщины женщину в завитках, в венке, с высокою грудью, совершенно обнаженною. Француз, вспотевший от объяснений и похвал голландскому колоссу, просит публику подходить прикасаться к жамбам² колосса, к ее обнаженным *bras*³, чтобы судить о его достоинствах; колосс, приподняв подол, говорит хриплым, но ласковым голосом: «*Touchez, messieurs, s'il vous plaît*»;⁴ народ подходит и касается с хохотом; между тем француз объясняет серьезным тоном: «Заметьте, как ее ноги нежны, свежи и сложены правильно. Господа! пожалуйста, прикасайтесь к ней. Теперь вы видите ее грудь и бюст: скажите мне откровенно, видали ли вы в своей жизни девиц, которые бы имели такой бюст? Ее грудь бела et toujours animé...»⁵ Девица Нина не имеет большого и безобразного чрева (*difforme ventre*). Заметьте при этом, как ее тело упруго, кожа нежна, коса длинна. *C'est une figure étrangère — il est vrai, mais elle est tres gentille*»⁶, — заключает француз.

Вы идете по бульвару и на каждом шагу видите на столбах афиши, которые хотят превзойти одна другую обещаниями всяких редкостей и ужасов: в одной, напр., говорится, что сегодня дается в театре «*grand mon-*

¹ Молодая голландка-колосс, 21 года, весом 185 килограмм, мадемуазель Нина (*франц.*).

² Ногам (от *франц.* *jambe*).

³ Рукам (*франц.*).

⁴ Потрогайте, господа, пожалуйста (*франц.*).

⁵ И всегда трешет... (*франц.*).

⁶ Ее лицо чуждо нам, это правда, но она очень мила (*франц.*).

stre»¹, в другой — «enlèvement d'un enfant»², в третьей — «grand diable et magicien»³, в четвертой — «monstre affreux»⁴. Вот объявление, которое хочет всякого прохожего поставить в тупик: «Chien extraordinaire ressemblant à l'ours, loup et renard»⁵. Вход — пять сантимов. Вы удивляетесь дешевизне платы за вход и думаете, что-нибудь да не так. Входите в балаган и видите обыкновенную дворную собаку, обгороженную досками, в качестве редкости. Зрители, от нечего делать, дразнят ее чем ни попало; а хозяин, чтобы показать, что эта собака *extraordinaire*⁶, берет длинный шест и начинает тоже дразнить бедное, ни в чем не повинное животное, приговаривая: «Tiens, tiens»⁷ — и собака лает хриплым голосом. Рядом за стеной раздается громкий голос: «Messieurs, messieurs! Voilà!»⁸ Вы оставляете собаку и идете в другой балаган; там на подмостках перед толпой стоит француз с сюртуком в руках. Он уверяет, что кто хочет экономно купить себе платье и даже приобрести выгоду от покупки, тот пусть не приходит в отчаяние, что с ним мало денег: «Мы продаем все *excessivement bon marché* (крайне дешево); вместо *prix réel*⁹ восемьдесят пять франков, мы, не сходя с места, отдаем этот сюртук (*sans enchérir, sans rabais*)¹⁰ за сколько бы вы думали? За десять франков! *Voilà le vêtement!*»¹¹ В это время продавец бросает сюртук в народ.

В Париже вообще все хочет продаться по самой дешевой цене: волны парижской сутолоки хлещут даже к вам в комнату; вы получаете письма от неизвестных вам купцов, рекомендующих свои магазины, свою честность и пр.

В Париже все ясно, толково до такой степени, что на дверях красуются такие надписи: «Poussez la porte, tirez

¹ Чудовище (франц.).

² Похищение ребенка (франц.).

³ Дьявол и волшебник (франц.).

⁴ Страшное чудовище (франц.).

⁵ Необыкновенная собака, похожая на медведя, волка и лису (франц.).

⁶ Необыкновенная (франц.).

⁷ Ну-ка, ну-ка (франц.).

⁸ Господа, господа! вот! (франц.).

⁹ Настоящей цены (франц.).

¹⁰ Без запроса, без скидки (франц.).

¹¹ Вот это одежда! (франц.).

la porte или tournez le bouton»¹. Вы зашли в табачную лавочку закурить сигару, под светильнею видите надпись: «Возьмите светильню в руку и поднесите ее к вашей сигаре».

Бедности в Париже множество: особенно бедны блузки и девушки. Парижские девушки из простого звания отличаются трудолюбием, крайнею бережливостию и опрятностию: они одеваются дешево, но чисто и с большим вкусом. Некоторые из гризеток так милы, что в quartier Latin² живут вместе с студентами, делят с ними горе и радость и зачастую переписывают им лекции. Каждый вечер парижскую молодежь можно видеть в château des fleurs, в jardin mobile и т. п. и там только вы получите должное понятие об истинном веселье. Эти увеселительные места в Париже могли бы быть психиатрическими лечебницами.

Однако как ни хорошо вообще за границей, но тоска по родине заставляет, наконец, каждого туриста вернуться домой. И нигде так не крепнет любовь к отчизне, как за границей.

¹ Толкните дверь, потяните дверь или поверните ручку (франц.).

² В латинском квартале (франц.).

ЭКЗАМЕН

Рассказ из сельской жизни

В ясный весенний день тройка измученных лошадей, запряженных в тарантас, медленно тащи́лась по грязной улице села Бурелом, расположенного на крутой горе, изрезанной по всем направлениям рытвинами и водо-моинами. Несмолкаемые песни жаворонков, журчание ручьев, отдаленный и временами как бы совсем исчезающий шум реки, отчаянный крик людей, толпившихся с граблями и вилами на недавно прорванной плотине,— все это свидетельствовало о наступлении так называемой весенней «распутицы», с понятием о которой соединяется все то, что может дать хотя какое-нибудь представление о невылазной грязи, о зажорах и оврагах с застрявшими в них экипажами, о снесенных полоу водою мельницах, амбарах, паромах с народом и т. п.

Появление тарантаса в селе Буреломах заставило крестьян выступить из домов, и они немного дивились, каким это чудом барин добрался до их села, не утонув где-нибудь в овраге и даже не искалечив ни одной лошади, так как они были уверены, что в такую пору нигде нет проезда ни конному, ни пешему и что во время распутицы «не река топит человека, а лужа».

— Эй! подите кто-нибудь сюда! — крикнул барин, делая знак рукой.

Тарантас немедленно окружен был народом, причем некоторые из крестьян на всякий случай запаслись дрекольями, с целью облегчить дальнейшее путешествие незнакомца.

— Как тут проехать к училищу? — спросил барин.

— А вот видишь, ваше благородие... сейчас возьми ты в поле, потом, значит, мимо барских одоньев...

— Что городишь? Они там не проедут! — перебил молодой парень в белой рубахе, — аль не знаешь, в Ерохином переулке надо будет отпрягать пристяжных, а коренная не вывезет... Запрежде, ваше благородие, была прямая дорога на мельницу...

— Экий, братец ты мой! теперь ее и звания нету... теперь там страшная колдобина... вот что...

— Надуть взять пониже кабака, а там, к примеру, мимо старостина пчельника, забрать к церкви...

— К церкви дальше! Зачем им туда? Вчера Митюха ездил за вином лугом... на кузню...

— Погоди, я сяду с вами на козлы! — продолжал парень.

— Поезжай на Косолапого! на огородника! — раздались голоса, когда тарантас начал трогаться.

— Ванюха! трафь на церковь!..

Когда тарантас уже приближался к училищу, в доме буреломского дьякона происходила мирная беседа между худошавым сельским учителем, сидевшим у растворенного окна, и хозяином, который только что возвратился из церкви и, помещаясь на трехногом диване, курил папиросу. На круглом столе кипел самовар.

— Верите, отец дьякон, — говорил учитель, — иногда бывает такая скука — не знаешь куда деваться, особливо зимою...

— От одиночества, — заметил хозяин, — а кто в этом виноват? Женились бы...

— А средства-то где?

— Позвольте, — внушительно ударяя ладонью по столу, возразил хозяин, — о каких средствах вы говорите? Не стыдно ли вам? Ведь вы получаете жалованье?

— Да разве это жалованье — восемь рублей в месяц?

— Прекрасно! однако вы ни в чем нужды не терпите: одеты, обуты... А когда женитесь, у вас каждый кусочек будет цел... Вы знаете пословицу: не с богатством жить, а с человеком... Я сам так-то думал прежде, что мне с приращением семейства не хватит дьяконских доходов, а вот живу не хуже людей. Детей всех пристроила царица небесная, остались на руках только три девки...

В это время на улице раздался звон колокольца. Учитель не замедлил выглянуть в окно и, спустя минуту, проговорил:

— Кого это бог несет? Что за притча? Батюшки! — вдруг вскрикнул он, — да ведь это член училищного совета... едет на экзамен... Прощайте, отец дьякон!..

— Выкушайте стаканчик чайку...

— Ну вас совсем. До чаю ли теперь. Я побегу через двор задами...

Учитель опрометью выбежал из горницы, а хозяин, подсевши к окну, принялся рассматривать проезжего.

Тарантас остановился у дома священника. По случаю наступившего праздника, Лазарева воскресенья, в доме отца Пармена происходило мытье полов, сопровождавшееся оглушительным криком баб, гроханьем стульев, укладок, сундуков, хлясканьем мочалок и т. д. Батюшка сидел в своем кабинете, окруженный банками с цветами и в беспорядке раставленную мебелью, держа в руках епархиальные ведомости. Заслышав колокольчик, он торопливо вышел в сени и, тотчас же возвратившись в дом, взволнованным голосом заговорил:

— Эй, дети! кто там? Скорей подайте мне ряску... экзаменатор приехал... Примите хоть банки-то из кабинета... Господи-батюшка! народу полон дом, а некому ряску почистить... и вешалка не пришита...

— Куда в эту грязь чистить? — обметая в углу паутину, заметила хозяйка, — авось придешь из училища — такой же будешь...

— Куда придешь? ведь член-то к нам приехал.

— И что это, прости господи, в какое время выдумали экзамены: человек едет-тонет, того и гляди смерть получит...

— Напрасно вас не пригласили в педагогический совет, — возразил батюшка, расчесывая волосы. — Приготовьте-ко что-нибудь закусить да к обеду сварите карпию... А что, через овраг доску-то положили?

— Кому класть-то? Бабы полы моют, а работники свинью палят.

— Нет! Я вижу, ни одного моего распоряжения не исполняется...

Появившегося в передней гостя отец Пармен провел, через узкий простенок, в свой кабинет, где уже водворен был некоторый порядок.

— Извините, пожалуйста,— говорил он заискивающим тоном,— у нас такой хаос... Знаете ли, праздник на дворе... по дому кое-что справляем...

— Напротив, батюшка, вы меня извините: признаться, я и не думал беспокоить вас... Сначала я приехал в училище, но там никого не нашел...

— Как? А учитель-то где же? По крайней мере сторож должен находиться там неотлучно...

— Решительно никого нет.

— Этакие беспорядки! Эй, Марья! сходи сейчас к отцу дьякону и спроси, нет ли там учителя: если он у него сидит, скажи, чтобы немедленно шел в училище, мол, господин ревизор приехал на экзамен... Теперь я понимаю, в чем дело,— обратившись к гостю, продолжал батюшка,— вероятно, учитель возмечтал, что, по случаю распутия, вы не приедете, а потому отпустил учеников по домам и отправился к своей невесте, так как слух прошел, что он сватается за дьяконову дочь... Вообще, в последнее время он частенько стал уклоняться от исполнения служебных обязанностей...

— Вы мне позволите закурить? — вынимая сигару, спросил экзаменатор.

— Сделайте милость! Дети! подайте спички!.. Осмелюсь предложить,— понизив голос и наклонившись почти к самому уху гостя, произнес батюшка,— не соблаговолите ли с дорожки закусить чем бог послал?

— Если будете так добры... Признаюсь, порастрясся-таки порядком: представьте себе, от Куркина всего шесть верст — ехал четыре часа... Вы не можете себе вообразить, что за убийственная дорога! с версту я шел пешком...

— Т-с-с-с...— качая головою, произнес батюшка,— как вас господь донес!

— Ну, а что, как ваш учитель насчет нравственности? Благонадежен?

Батюшка задумчиво посмотрел на потолок, глубоко вздохнул и, поближе подсевши к гостю, начал:

— Как вам сказать? Вредного пока ничего не заметно... правда, любит немного пофрантить, но это я объясняю тем, что он сватается за дьяконову дочь... Относительно спиртных напитков нельзя сказать, чтобы он к ним был привержен... простого он не употребляет, а красное... Но тем не менее недавно был такой случай. На второй или третьей неделе поста я пришел в школу; дело было вече-

ром. Учителя не было дома, он был, по обыкновению, у дьякона... В качестве надзирателя школы я стал рассматривать ученические тетрадки... вдруг мне попадаете письмо...

— Чье?

— Рука учителя.

— Какого же содержания?

— А вот я вам сейчас прочту...

Хозяин достал из шкатулки письмо и, снова севши на стул, прочитал:

«Любезный друг Анатолий!

Пользуясь досугом (по случаю масленицы), хочу описать тебе мое житье-бытье в Буреломах, хотя жизнь сельского учителя тебе до некоторой степени известна. Я счастливее других в том отношении, что моя школа отапливается на счет графа Б. Жалованья (какое слово!) получаю сто рублей. Все остальное, кажется, тебе известно: и тесное помещение, и атмосфера, пресыщенная сероводородом, и отсутствие человеческого общества. За все это учитель должен быть человеком самой высокой нравственности. Познакомился было я с одним ветераном, родившимся в 1770 году, — интереснейший тип! Но, к сожалению, он живет в шинке, и, чтобы не погубить своей репутации, я должен был бросить это знакомство. Томимый убийственной скукой, я завел скрипку, но настоятель церкви запретил мне играть на ней...»

— Это действительно! — сказал батюшка, выразительно взглянув на гостя, — я запретил... Он разыгрывал светские песни, а вы изволите знать, прилично ли сельскому наставнику подавать собою дурной пример ученикам?..

— Я с вами согласен, — проговорил экзаменатор.

Батюшка продолжал:

«До сего времени в моей школе жила, вместо сторожа, старуха (она когда-то нянчила нашу попадью). Эта старуха отравляла мне каждое воскресенье, когда я вздумаю выпить чаю до обедни. Обо всем, что делалось в школе, она доносила батюшке. А между тем она сама не отличалась особенною строгостью нравственных правил, и ее не мешало бы, по выражению Гоголя, возвести в перл создания: на свадьбе она сумеет пропеть подблюдную песню и готова пролиться в слезах на похоронах какого-нибудь богатого мужика. Зато, ничего не делая, живет припеваючи: чего только у ней нет в кладовой? И поро-

саячья головка, и заячья шкурка, и чаек, и сахарок, и тююн, и Лаферм. Она все эскплоатирует, всем заправляет. Прежде она заправляла школой и моим предшественником, потом почти поработила меня. Не дай бог иметь такой тещи... Слава богу, ее сменили. На ее место поступил отставной солдат, который пьет горькую... Относительно моих занятий с учениками не знаю, что тебе сказать? Где эти благие учителя, которые могли бы исполнять священный завет: «Блюдите да не презрите единого от малых сих»? Самый хороший учитель, при настоящем положении школы, доверенной нашему апатичному земству, может ли сказать, что честно служит родине и общественному благу? Да и могут ли быть полезны учителя, не имеющие материального обеспечения и нередко спасающиеся зимой от холода *в печке*. Это факт. Я знаю одно село, где учитель *преподает уроки из печки*».

— Вероятно, он намекает на село Борбоски,— заметил отец Пармен,— там действительно есть такая школа.

— А я полагал, он говорит о Рогачевке или Селезневе: в этих селах школы тоже не отапливаются...

«В прошлом году,— продолжал читать батюшка,— я искал себе место сельского учителя. В селе Заморайском я зашел в школу и вот что там встретил: скамейки для учеников поломаны, окна забиты тряпками, пол земляной; среди избы стояла покрытая классной доской лохань для коровы; на учительской кафедре лежал кочетыг с лаптем. За перегородкой, в чулане, служившем кабинетом учителя, стояли мешки с картофелем, с потолка спускалась веревка, на которой висела свиная туша...»

Батюшка остановился и, складывая письмо, с усмешкой проговорил:

— Да-с, так вот каков наш учитель... Тоже пускается в критику... хе-хе-хе...

— Положим, есть такие школы,— заметил гость,— но зачем же над ними подтрунивать?..

— Именно! об этом скорбеть надо, а не смеяться... тем паче сельский наставник должен вести себя тише воды, ниже травы.

— А вот мы посмотрим, как ученики будут отвечать на экзамене,— сказал приезжий.

После завтрака батюшка и экзаменатор отправились в школу, помещавшуюся на берегу реки, в здании волостного правления, где уже собралось сельское начальство, которое приглашено было на экзамен в качестве ассистентов.

Когда ученики с помощью батюшки и учителя пропели «Царю небесный», экзаменатор обратился к ним с приветствием:

— Здравствуйте, ребята!

— Здорово, дяденька! — простодушно отвечали ученики.

Батюшка с укоризной покачал на них головой и что-то шепнул учителю.

Учитель в ответ на это только пожал плечами и съехался как-то, предчувствуя, видимо, что-то недоброе.

Экзаменаторы поместились в переднем углу за небольшим столом: старшина и сельский староста скромно сели в стороне, у окна. Учитель стоял сбоку экзаменаторов, напротив учеников.

— Прикажете начать с закона божия? — отнесся отец Пармен к члену училищного совета.

— Я полагаю, — отвечал последний.

К столу был вызван мальчик лет одиннадцати.

— Пименов! — начал батюшка, — скажи нам, как читается первая заповедь?

Мальчик почесал затылок и едва слышно зачитал: «Аз есмь господь бог твой», и пр.

— Что такое аз? — спросил батюшка и, видя, что мальчик не отвечает, стал наводить его: — вот, например, говорится в писании, и ты часто в церкви слышишь: аз уснух, спях, восстах... или аз есмь лоза истинная.

— Спросите что-нибудь из священной истории, — предложил член совета батюшке и шепотом прибавил: — Я боюсь опоздать домой... вы знаете, какова дорога-то, ночью голову сломишь...

— Сию минуту! Как звали детей Исаака?

— Исав и Иаков.

— Чем они отличались один от другого?

— Исав был в шерсти...

— Экой, братец мой, ты глупый: разве можно так говорить? В шерсти кто бывает?..

Мальчик упорно молчал, переступая с ноги на ногу.

— Что же ты безмолствуешь? — спросил священник.

Мальчик почесал затылок и пугливо взглянул на учителя, вздохнув глубоким вздохом. Учитель, казалось, хотел проникнуть глазами непосредственно в его голову, чтобы возбудить в ней ответ на заданный вопрос. Ему было едва ли не более жутко, чем мальчику, так как он по выражению лица экзаменатора уже предугадывал, чем окончится для него самого этот экзамен.

— Ну-ко, опиши мне лошадь? — спросил член совета.

— Лошадь имеет красивую голову, гибкую шею и четыре ноги с копытами, подкованными железными подковами, длинный хвост, которым она отмахивается от сводов.

— От слепней! — поправил священник

— Что ж, по-твоему, лошадь так с железными подковами и родится? — спросил экзаменатор.

— Не знаю, — прошептал ученик.

— Этакого ответа одобрить невозможно, — укоризненно заметил священник.

— А что такое квас?

— Напиток.

— А хлеб?

— Наедки!..

Экзаменаторы рассмеялись.

— Это наши бабы так говорят — «наедки»! Кто скажет, — обратился отец Пармен к ученикам, — что такое хлеб?

— Пи-щ-а! — хором отвечали ученики.

— Хорошо!..

— Спросите из арифметики, — обратился член совета к учителю, который немедленно приказал мальчику написать на доске задачу на вычитание. Мальчик не мог разрешить ее и, потупя голову стоял перед экзаменаторами, меж тем как один из сельских начальников успел уже погрузиться в объятия Морфея, всхрапывая на всю избу. Даже сам член совета начинал чувствовать утомление; он перестал спрашивать ученика, предоставив поверку его умственного развития батюшке, которому сильно хотелось добиться решения арифметической задачи. Но мальчик упорно молчал; он был до того сконфужен, что не замечал, как учитель показывал ему два пальца, в которых заключался ответ.

— Плохо, Пименов, плохо! — говорил батюшка, — вот если бы ты учился хорошо, мы тебе дали бы свидетель-

ство, и ты прослужил бы в солдатах только четыре года, а теперь должен прослужить целых шесть...

Мальчик чуть не плакал с горя, что он так долго будет отбывать воинскую повинность.

По окончании экзамена член училищного совета, пошептавшись о чем-то с священником, объявил учителю, что он недоволен результатами его занятий с учениками и просит *оставить* буреломское училище. В ответ на это учитель ни слова не сказал и только вздохнул, уныло понуриив голову.

Вечером учитель отправился в дом отца дьякона проститься, так как он намерен был оставить Буреломы на следующий же день и уже успел приготовить дорожную сумку и палку.

— Что это значит? — взволнованным голосом спрашивал дьякон, — нет ли тут каких интриг? Ведь это ни на что не похоже!

— Теперь уже все кончено! Прощайте, Анемаиса Петровна, — говорил учитель румяной девице в ситцевом платье, — не поминайте лихом...

— Бог с вами, Анатолий Сергеевич! — едва слышно произнесла девушка, прикладывая к глазам платок.

— Клянусь вам, что я ничем не виноват... Сами знаете, я человек подначальный... против рожна трудно прать... До свидания, отец дьякон... Пожалуйста, не вините меня...

— Что вы, что вы! Мы любили вас, как родного... Куда же вы теперь направляетесь?

— В село Старые Пискари... к дяде... там проведу святую неделю...

— А потом?

— На Фоминой я отправляюсь искать себе место на железной дороге...

На другой день, рано утром, учитель с сумкой за плечами вышел из Бурелом.

ПОСЛУШНИК

— Свободный номер есть? — поднимаясь по лестнице в монастырскую гостиницу, спрашивал купец в енотовой шубе.

— Есть, пожалуйста! — отвечал пожилой послушник, снимая с гвоздя увесистый заржавленный ключ такой величины, как будто он приготовлялся отпереть не комнату, а крепость.

— Нам вот вместе с Наумом Иванычем, — продолжал купец, указывая на своего спутника с одутловатым лицом и блуждающими оловянными глазами. — Мы с ним земляки.

— Слушаю. По обещанию пожаловали?

— Нет, по усердию...

— Доброе дело, доброе.

— Наум Иваныч маленько нездоров: с ним делается вроде, как бы сказать, помрачения или забытища... Лекаря советовали ему поступить в умственную больницу, он и хотел было туда отправиться, но на днях привиделся ему сон, чтобы он безотменно съездил в вашу пустынь.

— Понимаю... Вам надо побывать в скиту, у отца Пафнутия...

— Для этого самого мы и приехали. А он принимает?

— Как же! Нездоров только... Недавно были у него две помещицы из-под Орла, да епифанская благочинника с дочерью — относительно женихов; да, не плошь вас, тоже два купца. Один-то из них страдает запоем...

— Не хуже меня, грешного, — едва слышно промолвил Наум Иваныч, с усмешкой взглянув на своего земляка.

Купцы вошли в жарко натопленную горницу с изразцовой лежанкой и двумя деревянными кроватями, над

которыми висели виды пустыни и портреты схимников. Путники расспросили монаха о церковных службах в монастыре и в ожидании вечерни заказали себе самовар.

— Позвольте, господа купцы, побеспокоить вас насчет пачпортов,— таинственно наклоняясь к ним, произнес монах, становя самовар на стол,— сами, чай, изволите знать, какие нонче строгости.

— Как не знать! Ну, ты, отче, ежели такое дело, сначала испей с нами чайку; а мы тем временем приготовим тебе пачпорты. Они у нас в саквояже.

— Слушаю. Я повременю... Сохрани вас мати пресвятая богородица.

Монах скромно присел на табурет близ стола. Взглянув на своего больного земляка, купец заметил, что ему «не по себе», и предложил ему прилечь, что тот и исполнил охотно, говоря шепотом: «О господи! почто наказуешь меня? Боже! буди милостив мне, грешному!»

— Должно быть, очень нездоровы? — с участием спросил монах.

— Временем бывает: весь изобьется, сердечный, страсть глядеть на него... то есть, на себя непохож. Но на людей не мечется... Этим он хорош.

— Верно, от простуды?

— Нет, так... все слабость наша...

Купец начал рыться в саквояже.

— Святой Димитрий Ростовский говорит,— начал монах,— аще кто заболит, должен прочесть «Отче наш» двадцать пять раз и получит исцеление... Значит, за каждую язву Христа по пяти раз.

— Ну, вот тебе, отче, наши пачпорты. Не думай, что мы какие-нибудь побродяги...

— Боже меня сохрани! — воскликнул монах, осеня себя крестным знамением.— Я спросил ваши документы для порядка, потому с нас самих строго взыскивают. Я вам доложу про себя: недавно ездили мы с отцом Вассианом, здешним иеромонахом, в Задонск. Что ж вы думаете? В какую гостиницу ни приедем, не успеем войти в номер, является коридорный с книгой в руках и требует записать имя, звание и откуда прибыли, и по какой надобности — все дочиста! А пачпорты само собой... Уж на что постоялые дворы, где спокон веку ни о каких пачпортах не было и помину, и там в настоящее время завелись такие строгости — боже защити и помилуй! Когда я был

помоложе, господин купец, скажу вам по душе, я сильно сокрушался, что попал сюда в пустынь... меня тянуло все в мир... да!.. Конечно, враг искушал! А теперь, зная, по опыту, что с каждым годом все труднее и труднее становится жить на свете, благодарю денно и ночью царицу небесную, что она меня сподобила укрыться в богоспа-саемой обители...

— Твое имя-то как, отче?

— В мире был Петр, а в монашестве — Амвросий.

— Ты, стало быть, отец Амвросий, как попал сюда?

— Через пачпорт тоже, господин купец...

— Как через пачпорт?

— Вы слышали?.. Есть такая ставленая грамота, господин купец... Она выдается духовным лицам. Для них она такой же документ, как для вас, например, пачпорт или, будем говорить, для чиновника формулярный список, или даже выше...

— Знаю! Что мне рассказываешь...

— Так вот через эту самую грамоту я постригся в монахи. Поистине можно сказать: неисповедимы пути промысла. Вот уж подлинно: на горах станут воды! Дивны дела твоя, господи!

— Однако любопытно знать, каким это манером ставленая грамота заставила тебя покинуть мир?

— Вот извольте послушать. А что, не беспокою я своим разговором вашего землячка-то?

— Нет. Он уж уснул... Он любит это, когда вокруг него балакают.

— Родился я, видите ли, в селе Огольцах, Черниговской губернии, где мой отец был причетником. Восьми лет меня записали в духовное училище. На тринадцатом году лишился я родителя и начал терпеть страшную бедность, так как, кроме себя, содержал мать, брата и четырех сестер одним пономарским доходом. Достигнув риторического класса, вынужден был, вследствие крайней бедности, оставить науку. Немедленно по получении увольнения из семинарии я подал прошение владыке о посвящении меня в сан пономаря. Прошло более полу-года, а резолюции не было. Между тем дошел до того, что не в состоянии был купить даже лаптей. В то время, извольте ли видеть, бедные семинаристы ходили в лаптях. Являюсь к владыке.

— Ты где был?

— В селе Огольцах... ожидал резолюции вашего преосвященства.

— Должно быть, ходил по трактирам?

— Никак нет. Даже куска хлеба не имел.

— Ну, ступай, готовься к посвящению.

Думаю: «Наконец-то господь услышал мою молитву». На следующий день меня посветили в пономари и выдали ставленную грамоту, в которой, между прочим, было прописано, что «должен вести себя так, как апостол Павел начал Тита». Так-с... Наступило время отправляться к месту моего служения. Но денег у меня не было ни копейки. Прихожу к одному знакомому сапожнику, недалеко от архиерейского двора, и слезно умоляю:

— Никитич, помоги, брат! Посветили меня в пономари, а дойти до дому не с чем. Какие были деньжонки, все истратил на консисторских чиновников... Дай хоть три целковых.

Взглянул сапожник на меня искоса, понюхал табаку и говорит:

— Оставь что-нибудь под залог.

— Что ж я тебе оставляю? У меня, кроме худенького тулупчика, ничего нет...

— Ну, а в кредит я не дам, потому ты человек бедный... Что с тебя возьмешь?

— Вот что, Никитич... Если угодно, я отдам тебе под залог мою жизнь... Жизнь свою отдам, говорю.

Вынимаю это ставленную грамоту и подаю сапожнику. Долго рассматривал он ее, опять понюхал табаку, шепнул что-то своей жене, наконец объявляет:

— Под эту грамоту можно дать... Здесь дорога печать... Вот что. Печать тут сурьезное дело.

— Помилуй! без ней я пропал навеки...

— Это верно... Вот тебе три целковых... Посылай за водкой.

— За этим не постою.

Выпили мы полуштоф вина, честь-честью распростились, и я отправился в свое село.

Наступил наш престольный праздник сретенье — 2-го февраля. Приехал домой и отправился я к священнику заявить, что я вот, мол, теперь пономарь и имею право носить стихарь. Священник, человек молодой, поверил моим словам и велел явиться к службе. В заутреню, на

сретенье, дали мне новый, парчовой стихарь, так что все прихожане обратили на меня свои взоры. Волосы у меня были намазаны деревянным маслом пополам с коровьим; кудри вились до плеч. В довершение моего торжества в начале обедни священник благословил меня прочитать «Апостол». Не могу вам изъяснить, господин купец, как я был счастлив тогда. То есть вот как!

— Что ж, хорошо ты прочитал? — спросил купец, самодовольно откидываясь на спину стула и складывая свои руки на животе.

— Голосок у меня был небольшой, но ведь вы знаете: сила божия в немощах совершается... Особливо последние слова «Апостола» так я вывел хорошо: «Меньшая от большая благословляется», у самого даже в ушах зазвенело...

— Это хорошо! Это ладно. Ну, рассказывай!

— После «Херувимской» сделалось со мной вроде, как бы сказать, содрогания. Почувствовал такой сильный озноб, что принужден был выйти из церкви. Я полагаю, это произошло оттого, что я ехал домой в худом одеянии. Вплоть до весны я и пролежал в постели.

Оправился от болезни, и вздумал я жениться. Наш дьякон обещался высватать мне богатую невесту в селе Чистом. Восьмого мая мы с ним отправились туда пешком. В Чистом был престольный праздник и поминный день. Весь причт села Чистого находился в так называемой «блинной», которая помещалась под колокольной и походила на обширную галерею. Когда мы вошли в нее, там шел обед. Во главе сидели два священника; они пригласили нас сесть за стол «помянуть усопших». По случаю большого *приноса* вся блинная была завалена пирогами, курами, ветчиной, блинами, поросятами и т. п. О водке и говорить нечего. Ее уж не пили, а сливали в кувшины, которые держали работники, стоявшие позади духовных и их жен. Узнали о цели нашего путешествия, и один из причетников побегал домой, чтобы приготовить нас встретить надлежащим образом. Но, к сожалению, мой спутник забыл, что мы пришли свататься, а не поминать усопших. В блинной он так напоминался, что, между прочим, после обеда очутился близ церковной караулки лежащим, и притом без шапки. По этому случаю я был вынужден один отправиться в дом невесты. Не успел я приблизиться к гумнам, как мой

будущий тесть вышел ко мне навстречу со штофом в руках и зазвал меня предварительно в сарай, где мы и выпили по стакану. Наконец, вступаем в дом. Там все уже прибрано. На столе белая скатерть, графин водки, нарезанный пшеничный пирог и образ великомученицы Варвары. Мою невесту, изволите видеть, звали Варварой. Смотрю: выводят невесту — девица лет двадцати пяти, вельми мужественная, широкоплечая, высокого роста, но — с горбом... Я так и ахнул... Намеревался было отказаться, но думаю, погожу — пускай объявят приданое... Оказалось следующее: триста рублей деньгами, четыре матеревых платья, две красные штофные шубы, пегая лошадь с лубяными санями, пара уток да воз муки. Такое вдруг, подумайте, приданое! Ошеломило это меня сразу... Вспомнил свое бедственное положение и по скорости изъявил свое согласие... Ударили по рукам. Началась суета, явился священник, нас образовали...

На другой день будущий тесть мой дает мне в задаток тридцать рублей и на паре лошадей отвез меня домой. Я нимало не поскорбел о случившемся, напротив рассуждал про себя так: «Теперь дело в шляпе... Бог даст, и заживу себе не хуже людей»... — только с ума нейдет, господин купец, у меня эта ставленая грамота. Наш приходский священник не раз уже подтверждал мне, чтобы представил я оную благочинному на рассмотрение.

Справил себе приличное одеяние к предстоящей свадьбе и отправился я в город выручать ставленную грамоту. Первым делом являюсь к сапожнику:

— Здравствуй, Никитич! как поживаешь?

— Покудова бог грехам терпит... Давно ли прибыл?

— Сегодня.

— Долгонько что-то тебя не было видно.

— Болен был... а тут еще вздумал жениться.

— Хорошее дело... Что ж, поладили?

— Третьего дня совсем порешили...

— Много берешь приданого?

Я сказал.

— Чудесно! Стало быть, с тебя надо выпить магарыч...

Я послал за водкой и говорю:

— У меня, Никитич, с ума нейдет эта грамота. Все об ней думаю... все думаю.

— Про какую ты грамоту говоришь?

— Да что тебе-то заложил... за три рубля.

— Никакой грамоты я у тебя не брал.

У меня затряслись руки и ноги.

— Что ж ты, Никитич, шутишь со мной или говоришь правду?

— Ты, кажется, довольно меня хорошо знаешь: шутить я не охотник.

— Побойся бога! Развяжи мою душу... За что ты хочешь меня погубить?

— Ну, вот что: я вижу, у твоего тестя шея толста... Доставай пятьдесят рублей — и концы в воду...

— Эге, брат! Ты вот как... Я на тебя управу найду... ведь ты не бессудный!

Так как сапожник был мешанин, то я и отправился в городскую думу, где и заявил о случившемся. Мне посоветовали подать прошение. Городской голова спросил меня:

— Как это ты решился заложить такую вещь?

— Что делать, — говорю, — крайность.

— Ты где квартируешь?

— На постоялом дворе у Кошкина.

— Ступай! Мы снесемся с консисторией.

Думаю себе: «Вот история-то — бежал от волка, попал на меведа».

— Господин голова! сделайте милость, не доносите консистории.

— Вас обоих с сапожником еще проучить надо...

— Помилосердствуйте...

— Нам такие дела скрывать не приходится. Ступай с богом...

В тот же день, вечером, на постоялый двор, где я квартировал, прибегает келейник и спрашивает:

— Здесь остановился пономарь села Огольцов?

— Здесь.

— Иди ко владыке.

Помертвел я от этих слов. Однако, положившись во всем на власть Божию, отправился на архиерейский двор. Келейник доложил. Выходит владыко.

— Ты пономарь Остроумов?

— Так точно, ваше преосвященство.

— Ты знаешь, что написано в ставленной грамоте, которую тебе выдали?

— Как не знать... В ней сказано, что «должен я вести себя так, как апостол Павел научал Тита...»

— А ты что сделал?

Я молчу.

— Как ты дерзнул заложить такую грамоту.

— Виновен, ваше преосвященство... Бедность заставила...

-- Тебя лишить следует сана и послать в род жизни...

— Воззрите милостивым оком... Бедственное было положение, ваше преосвященство.

— Ступай... Благочинному будет указ...

Не прошло и недели, как наш благочинный получает указ о препровождении меня в Залесскую обитель под начал на восемь месяцев и о взыскании с меня трех рублей за ставленую грамоту.

Узнав обо всем этом происшествии, будущий тесть присылает мне письмо, в коем уведомляет, что не согласен выдать за меня дочь и что я должен возвратить взятые у него деньги. Я отвечал, уже из обители, что я от своего условия не отказываюсь и потому деньги возвращать не намерен. Тем пока дело и окончилось.

Время послушания в обители скоро протекло. Колол я там дрова, полол гряды, приносил братии вино и сам пил. Настоятель был самый задушевный человек. Восемь месяцев провел, как у праздника. Продовольствие хорошее: хлеб всегда мягкий, квас запарный, красный; рыба из своих заливных болот: карпия, окунь, опять щука, головель; пиво ячменное, крепкое, сразу ошеломляющее... Бывало, полдня лежишь от него, ровно труп недвижим, не чувствуешь ни рук, ни ног. Думаю: жил бы еще в эком раю, да пришло время отправляться.

Перед самым моим выходом из обители, как настоятель выдал уже мне свидетельство о моем добропорядочном поведении, а братия собрала мне на дорогу денег, получаю я от своей сестры уведомление, что в нашем селе случился пожар: вся поповка сгорела дотла, и от нашего дома остались одни ворота. Сверх всего этого, мой будущий тесть с нетерпением ожидает моего возвращения в Огольцы, дабы начать со мною тяжбу. Прочитав сие письмо, я поспешаю к настоятелю испросить у него совета.

— Вот что, брат Петр,— сказал он мне,— оставайся-ко с нами... Разве не видишь ты, что промыслу не угодно, чтобы ты служил в Огольцах пономарем? Подумай хорошенько: что ожидает тебя впереди? Имущества у тебя

теперь нет никакого, честь твоя затеряна, а твой нареченный тесть еще более повредит тебе... Неужели еще не внятн тебе глас, призывающий тебя на путь спасения?

Я поклонился ему в ноги.

— Видно, говорю, его святая воля! Удаляюсь от мира!..

Тут раздался благовест церковного колокола. Купец разбудил своего земляка и отправился с ним к вечерне.

НАРОДНЫЙ ПЕЧАЛЬНИК

В трактир «Симферополь» входит одетый в лисью шубу пожилой купец и, величественно осматривая посетителей, становится спиной к половому, который начинает раздевать его.

— Чем прикажете угощать, Савелий Титыч? — подобострастно спрашивает последний.

— Вот видишь ли, братец, — подходя к столу и вытирая цветным платком заледеневшие усы, говорит купец, — сейчас подойдет мой приятель, московский издатель газеты «Белиберда». Так ты принеси для него графин листовки, а мне очищенной.

— А чаю прикажете?

— Это уж само собою.

— Слушаю.

— Э! да вот и сам Михаил Иванович! — воскликнул купец, увидав в дверях коренастого мужчину с рябым лицом и подслеповатыми глазами, одетого в дорожную ильковую шубу.

Приятель уселись за стол.

— Ну, Михаил Иванович, рассказывай, как идет твоя газета?

— Не бойко, брат... надо прямо говорить... А все оттого, что я не так за это дело взялся; ухлопал денег тьму, а толку нет ни на волос...

— Кто у тебя редактором-то?

— Подковыркин.

— Из чиновных али из писак?

— Он служит в консистории... Малый юркий, оборотливый... Он мне и газету-то издавать присоветовал. А уж какое объявление составил... ты не читал?

— Нет.

— Зазвонисто написано! Начинается так: «Решившись

выступить в борьбу с китами...» сиречь «Белиберда» будет бороться с невежеством, так как русский народ верит, что мир держится на трех китах...

— Понимаю.

— Словом сказать, дело пошло ходко: в два с половиной месяца у нас набралось около тысячи подписчиков... Ведь мы, как следует, запаслись именами крупных писателей, например: Куроглашенского, Жезаныкина, Щелкоперова и др. Я даже нарочно ездил к ним сам. Да маленько дал маху... Теперь уж не воротись; видно, что с возу упало, то пропало... Дело вот в чем: купил я у Жезаныкина повесть, заплатил за нее семьсот рублей. Думаю себе: подписчики выручат... товар отцепил хороший... Стали мы печатать эту повесть... Не прошло недели, хватъ — в газете «Муравей» поднялся такой гвалт, что хоть уши зажимай. Что же оказывается? Повесть Жезаныкина была когда-то напечатана в «Муравье». Вот тебе и сказ! Я сейчас к автору, а его уж и след простыл. Говорят, уехал в Ташкент. Что тут делать? Однако думаю себе: грех да беда на кого не живут... надо вперед ухо остро держать. В конце декабря один господин приносит в нашу редакцию статью об аквариуме. Подковыркин одобрил ее. Я отдал деньги автору. Не успели мы напечатать и половины этой статьи, как к нам является профессор университета и говорит: «Это что же вы делаете, господа? Кто вам дал право печатать мои сочинения?» — «Как так?» — «Да вы печатаете мои лекции об аквариуме, которые я читаю в университете», — и показывает литографированные записки, где точно говорится об аквариуме то же самое, что в нашей статье. Ну, просто закрывай лавочку, да и только... Дальше — больше: тут пошли скандалы между моими сотрудниками; некоторых из них я прогнал и теперь набиваю газету кое-чем. Жду марта месяца: как подписка окончится, так и шабаш! Прекращу «Белиберду». В настоящее время я намерен заняться другим делом, если господь поможет... За этим нарочно приехал в Петербург.

— Журнал, что ль, хочешь издавать?

— Далеко не родня...

— Хлебной торговлей думаешь заняться?

— Ну, вот еще! Ты знаешь, наша специальность — духовная пища. Хочу пуститься в издание народных книг и лубочных картин.

— Аль выгодная статья?

— Да вот как: хочешь веришь, хочешь нет... я буду получать четыреста процентов на свой капитал. Каждая книжонка мне обойдется одну десятую копейки серебром; а цену за нее я назначу пять копеек; вот и считай!.. Да этого мало: я еще хочу выпросить себе субсидию... Мне Подковыркин составил и докладную записку.

Михаил Иванович вынул из бокового кармана тетрадь и прочитал следующее:

«В настоящее время никто уже не сомневается, что время обновления народной литературы настало. За это обновление должны приняться люди честные, твердо верующие в великое будущее России, люди, преданные идее добра и порядка, пламенной любви к отечеству, глубокой религиозности и безграничной преданности престолу... При этом не следует забывать, что у нашего простого народа груба только внешняя оболочка, а сердце и ум у него девственно чисты и к ним легко может быть открыт доступ чистым помыслам и высоконравственным идеалам...»

— Ишь, как расписывает, бестия,— заметил Савелий Титыч.

— Да уж насчет реклам Подковыркин первый в Москве: одним словом, плут девяносто шестой пробы. Недаром служил в консистории. Слушай дальше: «Могущественным подспорьем для распространения в народе здравых идей являются лубочные картины. То осмеивая и бичуя слабости русского народа, то указывая великие подвиги мужества, терпения и смиренномудрия, лубочные картины могут служить средством ко спасению... Но для того, чтобы достигнуть означенной цели, необходимо немедленно вырвать торговлю народными книгами и лубочными картинами из рук кулаков, людей, безжалостно эксплуатирующих народ, выманивающих у него последнюю трудовую копейку...»

При последних словах приятели разразились громким смехом.

— Ах вы, радетели народные! — качая головою, произнес Савелий Титыч.

— Что ж, брат, делать-то! Видно, такое время: ноне все пекутся о народе,— спокойно отвечал издатель «Белиберды».

Вскоре приятели вышли из трактира.

НЕБЫВАЛЫЙ СЛУЧАЙ

Был погожий осенний вечер. На усеянном звездами небе светила луна. Богатый землевладелец деревни Быковки Герасим Назарыч Сеновалов сидел на балконе своего дома и задумчиво курил сигару. Заслышав шаги в гостиной, двери которой были отворены настежь, он произнес:

— Marie! Посмотри, какая погода! Подлинно, небеса поведают славу божию...

На балконе появилась закутанная в шаль высокая полная женщина с папиросой в руке и медленно уселась на мягкие кресла.

— Не правда ли? — восторженно продолжал Сеновалов, указывая вдаль, — посмотри, как хорош Чапыженский лес при лунном освещении... Прелесть!.. Как жаль, что мне не пришлось его охватить в прошлом году...

Наступило продолжительное молчание; Герасим Назарыч рассеянно барабанил пальцами о перила, не сводя глаз с Чапыженского леса, ускользнувшего из его рук. Где-то вдали сторож прозвонил в чугунную доску.

— Послушай, мой друг, — начала Сеновалова, — что нам делать с Лелей? С каждым днем она тает как свечка... я уверена, что у ней разовьется чахотка...

— В животе и смерти бог волен, — спокойно проговорил Герасим Назарыч, — не наша вина, если и умрет...

— А чья же?

— Прежде всего, конечно, она сама виновата: не увлекайся ветрогоном...

— Но зачем же мы принимали его в свой дом?

— Этого, та chère, я не знаю, — пожимая плечами, сказал Сеновалов, — вопрос этот для меня — темный лес...

Я знаю одно, что вы с дочерью души в нем не чаяли... Аркадий Александрович Пролетов у вас с языка не сходил... «Ах, что это не едет Аркадий Александрович?» «Где-то теперь Аркадий Александрович!» «Послушали бы вы Аркадия Александровича!» и т. д.

— Разве ты сам не был дружен с ним?

— Я был дружен с сорванцом?.. Это забавно! Позвольте, однако, спросить: не хотите ли вы сделать меня, как говорится, козлом отпущения и взвалить всю вину на меня?

— Тебя не обвиняют. У тебя только спрашивают совета...

— К вашим услугам! Так как вы сами заварили эту кашу, то сами и расхлебывайте ее — вот вам мой совет... Вообще же считаю нужным сказать, что по части разных амуров имейте меня отреченна...

— Как это глупо! Никто не думал посвящать тебя в свои сердечные тайны... Да и не о том идет речь. Я только хочу сказать, что не лучше ли было бы — выдать Лелю за Пролетова...

— Вы забыли, сударыня, что на нас лежит священная обязанность не допускать дочь до гибели...

— Но ведь она гибнет же у нас... К тому же ты согласался выдать ее за Пролетова без приданого...

— Прекрасно! Пусть себе и выходит...

— Почему же ты не хочешь дать приданого?

— Я уже твердил тысячу раз, что за сорванца этого не дам ни гроша! Слышите?

— Отчего ж ты не сказал об этом Пролетову раньше?

— Прошу оставить меня в покое... Приданое — моя собственность, которую я могу располагать по своему произволу... вот и все!..

В это время в дверях гостиной показалась маленькая женская фигура, при виде которой Герасим Назарыч мгновенно смолк и принялся насвистывать какой-то импровизированный марш.

— Леля! поди сюда! — обратилась Сеновалова к дочери, — хочешь, я напишу Ермолиным, чтобы они завтра приехали... Ты все сидишь одна... Тебе нужно развлечение, мой друг.

— Я не скучаю, татап, — тихо произнесла девушка, припадая к плечу матери, — у меня слишком много горя, чтобы скучать...

Вслед за этим послышались глухие рыдания.

— Послушай, Герасим Назарыч,— тревожно воскликнула Сеновалова, обращаясь к мужу,— выносить подобные сцены я более не в силах... Надо же когда-нибудь положить им конец...

— Мне они и самому надоели...

— Я положительно занемогла от непрерывных волнений. Вот что: вели приготовить экипаж...

— Куда прикажете?

— Я поеду к Пролетову... Я думаю, он теперь в Москве.

— А я полагаю, ваш Адонис в Одессе... Нечего, сударыня, пустяки-то болтать! Пора взяться за ум! А тебе, Леля, мой отцовский совет: выкинь эту дурь из головы. Ты уж не маленькая. Тебе пора понимать, что жизнь — не роман... Пролетов тебе не партия: во-первых, он тебя не любит: ему нужно твое приданое, а не ты... во-вторых, у него нет ни определенных занятий, никакого положения в свете и никаких средств к жизни...

— Но не вы ли, рара, сами говорили, что он очень умный и развитый господин и что со временем он может сделать себе блестящую карьеру?.. — вдруг заговорила девушка взволнованным голосом и дрожа всем телом, — не вы ли, наконец, говорили Пролетову, что вы назначаете мне в приданое пятнадцать тысяч и два имения?

— Это еще что такое? — возразил Сеновалов, вставая с кресел,— как вы смеее со мной так говорить? Откуда у вас такие идеи взялись?

— Герасим Назарыч, оставь ради самого бога!..— умоляющим голосом заговорила Сеновалова, простирая к нему руки,— Леля и без того убита...

Вблизи раздался звон колокольца, к которому не замедлил присоединиться оглушительный лай собак, и вскоре к балкону подъехал тарантас, из которого вышел толстый мужчина с портфелем под мышкой.

— Что? Небойсь не в пору гость? — с усмешкой проговорил он, подходя к балкону.

— А! милейший Осип Карпович! — воскликнул хозяин, заключая гостя в свои объятия,— насилу-то ты вздумал нас проведать. А я все поджидал тебя к себе на именины.

— Ишь какой прыткий! Я к нему ездил, а он к тебе

ни ногой. Здравствуйте, Марья Ефимовна! жена вам кланяется и пеняет, что не проведаете ее. А это кто же? — указывая на девушку, спросил приезжий.

— Это, брат, моя дочь...

— Какая большая стала... я и не узнал...

— Вольно же тебе так долго не бывать у нас...

— Чаю не хотите ли? — предложила хозяйка.

— Благодарю... Я пил у мирового... Что, брат! Ведь я ездил судиться... Ничего не поделаешь: от моего любезного соседа просто житья нет: накануне яблочного спаса затравил у меня четырех овец, а на днях загнал в мои скирды целый табун лошадей... Каково тебе это покажется...

— У меня у самого недавно увели лошадь, сняли с молотилки ремень и старосту поколотили, — рассказывал Сеновалов, ведя гостя в свой кабинет, — Marie! прикажи нам подать водочки... Как я рад тебя видеть, дружище! А сегодня, как нарочно, такая скука, положительно не знал, куда деваться... Ну что, хлеб убрал?

— Рожь давно всю обмолотил, а пшеница пропала... Ах, да! — воскликнул гость, хватаясь за боковой карман, — совсем было забыл... Тебе письмо... не знаю, от кого... я заезжал на почту, думал, не пришла ли мне из Москвы посылка... Смотрю, на твое имя письмо... я и взял...

— Merci!

Хозяин начал внимательно рассматривать адрес. Он долго вертел письмо в руках, хмурил брови и как будто что-то припоминал, наконец торопливо сунул его в карман и рассеянно обратился к гостю:

— Так с хлебом, говоришь, убрался?

— Одна гречиха не молочена.

— Что же ты не говоришь, от кого получил письмо? — спросила своего мужа хозяйка.

— От вашего Адониса, сударыня...

— Пожалуйста, без насмешек.

— Я говорю правду.

— От Пролетова?

— От него...

— Что ж ты его спрятал?

— Вы, кажется, видите, что я занят, — указывая на гостя, возразил Сеновалов.

— Осип Карпович — свой человек. Он нас извинит...

— Ах, сделайте одолжение,— воздевая руки, проговорил гость.

Сеновалов подал жене письмо, говоря:

— Нельзя ли, чтоб не было лишних при чтении этого письма... Я говорю о дочери.

— Она у себя наверху,— сказала Сеновалова и вскрыла письмо, с автором которого хозяин счел долгом познакомиться гостя, предупредив: «Пожалуйста, между нами».

— Видишь ли,— вполголоса начал он,— познакомимся мы с одним молодым человеком, сыном одного курского чиновника. Надо тебе сказать, что он был красив собою, держал себя весьма прилично, хорошо владел французским языком, недурно пел...

— Пел великолепно! — прервала хозяйка, сосредоточенно устремив взор в пространство.

— Ну, все равно! Одним словом, приличный и, можно сказать, благовоспитанный молодой человек...

— Надо вам еще сказать, Осип Карпович,— прервала Сеновалова,— что его предки были князья...

— Это еще бабушка надвое сказала! — продолжал хозяин.— Фамилия этого молодого человека Пролетов. Служить он нигде не служил, и чем жил — один бог ведает. Мы его принимали к себе радушно: он был такой живой, веселый, умел мастерски рассказывать разные анекдоты, словом с ним было нескучно... Только в последнее время стали мы с женою замечать, что он ухаживает за дочерью... Собственно, я смотрел на это сквозь пальцы; бояться за дочь мне было нечего, так как она получила солидное образование (она окончила курс в одной из женских гимназий). Но вот, наконец, этот молодой человек делает дочери формальное предложение.

— А ведь я слышал что-то подобное,— заметил гость, видимо заинтересованный рассказом,— ай, ай, ай! так вот у вас какие истории.

— Да, сударь мой, нас не хватяй голой рукой. Только этот господин заводит вдруг со мной речь о приданом. Я говорю: «Аркадий Александрович! вам стыдно рассчитывать на состояние невесты: вы молоды, умны и имеете все шансы на блестящую карьеру... Неужели в наш положительный век и любовь-то стала реальная? Неужели несомненно любить девушку без приданого?..»

— Что же он?

— На другой же день его и след простыл...

— Вот тебе и сказ!

— Да! Каков аферист! Можете себе представить положение дочери...

— Понимаю! Понимаю!

— Наконец, наше-то положение!

— Ужасно!

— Но ведь ты сам везде разглашал, что ты за дочерью даешь пятнадцать тысяч и два имения? — возразила Сеновалова, — винить нельзя Пролетова...

— Пожалуйста, не в свое дело не вмешивайтесь, — гневно заметил хозяин, — чего вы не знаете, о том лучше не говорите... Не угодно ли вам прочитать письмо...

— Да, интересно послушать, Марья Ефимовна, — сказал гость.

Хозяйка развернула письмо и вдруг воскликнула:

— А ведь это не от Пролетова... И кто бы мог подумать? Кум Павел Петрович пишет, человек, едва ли написавший три письма во всю свою жизнь... Вы его, Осип Карпович, знаете... Он председателем губернской земской управы...

— Верно, что-нибудь важное... — заметил хозяин.

«Любезный кум! — с сияющей улыбкой начала Сеновалова, — в прошлую сессию в губернском земском собрании ты мне рассказывал о некоем молодом человеке Аркадии Пролетове, который, сделав предложение твоей дочери, а моей крестнице, внезапно скрылся неизвестно куда. Пользуясь случаем, спешу сообщить тебе не совсем приятные известия об этой личности...»

— Боже мой! — завопила Сеновалова, — что с ним?.. Уж не наложил ли на себя руки? Он так любил Лелю... бедный!

«Не далее как вчера в клубе, пробегая в газете один из процессов, я случайно увидел, что в числе подсудимых находился и Аркадий Пролетов...»

— Быть не может!.. Это клевета!

— Читайте, прошу вас! — заревел хозяин, бледнея от гнева.

«Ты можешь себе представить, до какой степени поразила меня эта неожиданная новость. Я сто раз перечитывал означенную фамилию, чтобы убедиться, не ошибаюсь ли я; однако, к стыду и ужасу моему, должен был сознаться, что в числе подсудимых был действительно

Аркадий Пролетов... Для меня непостижимо, что такой солидный человек, как ты, заводишь знакомство со всякою дрянью и тем наносишь бесчестье себе и своему дому. Да, Герасим Назарыч! не ожидал я от тебя такого безрассудства. Жаль мне мою бедную крестницу особенно потому, что в настоящее время о ней ходят в городе оскорбительные слухи... Надо тебе быть настороже: как бы этот Пролетов не впутал тебя в свою историю... Нет ли у тебя его писем, рукописей или книг, боже сохрани!.. Желая, чтобы все устроилось к лучшему. Передай мой поклон кумушке, крестницу поцелуй».

Долгое время никто из собеседников не мог произнести ни одного слова. Они сидели в каком-то оцепенении, вопросительно глядя друг на друга. Наконец, тягостное молчание было прервано восклицанием хозяина:

— Так вот кто был этот господин! А-а-а!

— Да, брат! — вздохнув, заметил гость, — история некрасивая; чего доброго к тебе нагрянут с обыском.

— О боже мой, боже мой! до какого позора я дожил! Дурак! Где я был прежде?

— Послушай, Герасим Назарыч, — прикладывая к глазам платок, начала Сеновалова, — может быть...

— Слышите?.. — грозно перебил муж, сверкая глазами. — Ни слова больше!.. Если вы еще осмелитесь пикнуть в защиту этого негодяя... Я... Эй! где Василий?.. Позвать сюда людей!

Сеновалов быстро встал и принялся ходить из угла в угол. Вошел лакей.

— Сейчас затопить камин!

— Слушаю.

Сеновалов вдруг подошел к стене и сорвал фотографическую карточку Пролетова, говоря:

— Начнем с главного!

При этом он бросил портрет на пол. Хозяйка вскрикнула.

— Сударыня! — обратился к ней муж, — нет ли у вас с дочерью каких-нибудь сувениров от этого прощельги? Сюю же минуту принесите сюда... Что же это такое? Я положительно схожу с ума...

Между тем встревоженный не менее хозяев гость очутился на балконе и, услышав голос своего кучера, шедшего с ключником по направлению к хлебному амбару, подозвал его к себе и вполголоса спросил:

— Ты куда, Иван?

— Насчет овса лошадям, Осип Карпыч.

— Не надо!.. Запрягай сейчас лошадей... Я еду.

— Слушаю... А я было хотел засыпать корму да поужинать... Аль неладно что случилось?

— Черт меня поддернул привезти это письмо! — задумчиво проговорил Осип Карпович. — Понимаешь ли ты, — обратился он к Ивану почти шепотом, — того и гляди, сюда нагрянет становой.

— Во-о-н как! — протянул изумленный кучер, — это, к примеру, насчет чего же, Осип Карпович?

— Не твое дело! Тебе сказано: запрягай лошадей...

Кучер почесал в затылке и проговорил:

— А что я вашей милости хочу доложить? Коли ежели какая ни на есть планида случилась, то нам, Осип Карпыч, не лучше ли перегодить... Право слово... Если, как вы изволите сказать, приедет становой, то как бы он чего-нибудь тоже не подумал на нас... Что, дескать, вдруг так уехали...

— Привез письмецо на радость! — не слушая кучера, размышлял Осип Карпыч. — Что теперь делать?

— Что бог ни даст, до утрава остаться, — говорил Иван, — опять же лошади уморились, сердечные... а дорога дальняя... Чего тут торопиться?

— Ты что, еще вздумал разговаривать? — вдруг вскрикнул гость. — Тебе что сказано? — запрягать? Ну и запрягай...

— Сию минутую...

В это время в доме раздался голос Сеновалова:

— Осип Карпыч! где он? Эй, Василий! поищи Осипа Карпыча.

Вошедши в кабинет, гость вдруг остановился, с изумлением глядя на груды книг, пакетов и рукописей, лежавших на полу перед ярко пылавшим камином. Сам хозяин, успевший переодеться в халат, с озабоченным видом стоял у растворенного шкапа и перелистывал какую-то толстую книгу.

— Где это ты был? — спросил он, увидав гостя, — а я к тебе с просьбой: помоги-ко мне отобрать кое-что... Вот, по совету негодяя Пролетова, я купил книгу под названием: «Мифы классической древности», но не читал ее... Не отправить ли ее в камин вместе с этим хламом... Как ты думаешь?

— На кой она тебе черт. Жги ее! Уж Пролетов не присоветует добра...

— Я сам так-то думаю...

«Мифы» очутились на полу.

— «Сочинения Герберта Спенсера» также куплены по совету Пролетова.

— Жги, пожалуйста! авось убытку не будет...

Спенсер полетел к камину.

— Вообще, братец,— продолжал гость,— я советую тебе оставить одни сонники, оракулы, лечебники, ну там песенники... Тогда можешь смело сказать себе: ныне отпускаешь раба твоего...

— Каков разбойник! — воскликнул хозяин,— знаешь (я вот теперь думаю), почему он так усердно добивался приданого моей дочери?

— Конечно, прокутить его...

— Нет! Он хотел употребить его для своих целей... Понимаешь?..

— Пожалуй! Как бы то ни было, история скверная, брат... Жги поскорей всю эту чепуху, а мне пора домой...

— Как? Ты разве хочешь ехать?

— Да! Сейчас приказал подавать лошадей... Мне жена велела сегодня быть дома.

— И тебе не грех? Столько времени мы с тобой не видались...

— Честный человек, не могу... а где же Марья Ефимовна? Мне хотелось с ней проститься...

— Она наверху... Там с дочерью что-то сделалось... Я уж велел послать за доктором...

— Т-с-с-с... Вот оно до чего доводит наше хлебосольство, радушие...

— Лучше сказать — скука,— заметил хозяин.

— Ну да, и скука! — подхватил Осип Карпыч, держа в руке фуражку,— прощай, брат! Подкрепи тебя бог...

— Спасибо, дружище,— утирая слезы, промолвил хозяин,— спасибо, старый товарищ.

Гость также прослезился. Приятели крепко обнялись.

— Знаешь, как теперь надо жить? — говорил Осип Карпыч хозяину, выходя с ним на балкон.

— Как? — сквозь слезы произнес последний.

— Забиться в свою нору от этих от всех... да и сидеть...

— Верно, брат! Жаль, что я поздно узнал эту святую истину.

Прятели еще раз обнялись и расцеловались. Наконец, зазвенел колокольчик и тарантас, повернув за угол дома, скрылся.

В усадьбе все вскоре успокоилось. Герасим Назарыч долго еще поминал «сорванца», от которого его «бог спас». А кавалерийский поручик — сосед, бывший в отпуску и явившийся с визитом, имел такие красивые глаза и лихие манеры, что заставил понемногу и барышню забыть «небывалый случай».

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание вошли произведения Н. Успенского конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, завоевавшие писателю в свое время большую популярность, а также лучшее из созданного им в шестидесятые — семидесятые годы.

Н. Успенский был одним из первых писателей-разночинцев, выходцев из низов, по слову Горького «разнообразно и размашисто талантливых людей», которые в своих произведениях рассказывали «сурово и поспешно... тяжелую правду жизни» (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, М. 1953, т. 25, стр. 347).

В творчестве Н. Успенского прежде всего нашло отражение бедственное положение народа, оставшегося «и после отмены крепостного права в прежней, безысходной кабале», «черной костью, над которой измывалось поставленное помещиками начальство, выколачивало подати, пороло розгами, рукоприкладствовало и охальничало» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 65).

Вместе с тем он писал и о дворянах-помещиках, упорно цепляющихся за остатки крепостничества; кулаках, торговцах, кабатчиках, жестоко эксплуатирующих бедняков и вытесняющих из деревни дворянина-крепостника, не способного вести хозяйство в условиях развивающихся капиталистических отношений, трясущегося от страха перед «бунтарями».

И хотя в произведениях Н. Успенского почти нет, за исключением отдельных намеков («Старуха», позднее «Мелкопоместная барыня», «Производительные силы», «Егорка-па́стух», «Небывалый случай»), крестьянства протестующего, само содержание его произведений убеждало читателей в непримиримости интересов крестьянства и помещиков, в том, что никакие либерально-«просветительские» меры изменить здесь ничего не могут.

Хорошее знание народной жизни помогло писателю, вопреки легендам о патриархальной, идиллической крестьянской общине увидеть еще в конце пятидесятых годов классовое расслоение деревни. Неумение разобраться в перспективах развития народной жизни не помешало ему правильно оценить бесплодность так называемых земской и судебной реформ, увидеть и слабую сторону модного в начале семидесятых годов призыва взяться «за соху», неподготовленность даже лучших представителей интеллигенции к «слиянию с народом» («Издалека и вблизи»).

При жизни Н. Успенского вышло несколько отдельных изданий его рассказов, очерков и повестей (1861, 1864, 1867, 1871, 1872, 1876, 1883).

Появление первого сборника, включавшего произведения, печатавшиеся в основном в «Современнике» и «Искре» 1858—1861 годов, стало событием в литературной жизни того времени, хотя первая публикация большинства произведений вообще не была отмечена критикой.

Множество откликов на это издание, в которых нашла отражение борьба разных общественных групп в литературе этого периода, объясняется прежде всего, конечно, содержанием творчества писателя. Глубоко прогрессивную в тех условиях постановку в произведениях Н. Успенского важных проблем подчеркивал в своей статье об этом сборнике Н. Г. Чернышевский («Современник», 1861, № 11).

Первые произведения писателя появились в печати в годы, когда «русский мужик сделался самую современною темою для разговора» («Современник», 1857, № 8, «Заметки нового поэта»). Основным достоинством этих произведений Чернышевский считает типичность воссозданных в них картин нищеты, бесправия, невежества, заботности простых людей, подчеркивая, что «резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу». «В этом смысле надобно назвать очень отрядным явлением рассказы г. Успенского,— пишет Чернышевский,— в содержании которых нет ничего отрядного» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. и писем, т. VII, М. 1950, стр. 884).

Вместе с тем он отмечает некоторую односторонность, даже ограниченность позиции Н. Успенского: «Г-н Успенский не находил до сих пор частью своей задачи» изображение людей «энергического ума и характера», способных «сознавать свои потребности, соображать способы к их удовлетворению при данных обстоятельствах и

действовать самостоятельно» (там же, стр. 887). Великий критик как бы подсказывал молодому писателю пути его дальнейшего развития, призывая его поверить в возможность и реальность близкой, по его убеждениям, крестьянской революции.

Правдивое отражение предреформенной действительности в произведениях Н. Успенского отмечалось и в других отзывах демократической критики на издание 1861 года (см., например, «Русский инвалид», 1862, № 8); хотя автор рецензии, напечатанной в прогрессивном журнале «Русское слово», в какой-то мере справедливо упрекая Н. Успенского в том, что он «не умеет отличить глубоко раздирающего стона бедняка от уличного крика пьяницы», делает неверный вывод о «холодном и бесстрастном отношении» писателя «к тому миру, который фотографирует в своих очерках» («Русское слово», 1862, № 1). Нельзя, разумеется, согласиться с этой, ставшей широко распространенной впоследствии оценкой,— стоит лишь вспомнить такие очерки Н. Успенского, как «Старуха», «Зимний вечер», «Хорошее житье» и др.— хотя действительно у него почти «не срывается ни одного высокого тона негодования или жаркого сочувствия».

Либеральная печать в отзывах на издание 1861 года, признавая талант писателя, отмечала лишь «незлобивый юмор» его («Санкт-петербургские ведомости», 1861, № 277). Называя персонажей Н. Успенского — «плутоватых, мелких эксплуататоров, «добродушных», но недалеких помещиков» — пошляками, которые сами, «конечно... не виноваты в своей пошлости», А. С. Суворин, например, стремился прямо противопоставить их «царству злодеев и негодяев, какими являются у Щедрина становые, окружные, председатели палат, исправники» (1861, № 100). П. В. Анненков также утверждал, что юмор Н. Успенского — «без серьезной мысли в основании», что творчество его — это «уравнение людей... в честь веселого божества — смеха». Картины жизни русской деревни в произведениях писателя он вопреки истине определяет как изображение «явлений простонародного русского мира, взятые по мелочи и без связи с общим характером сословия» («Санкт-петербургские ведомости», 1863, № 11). «Литературными цветочками, выросшими... на почве, возделанной г. Чернышевским с братиею», назвала произведения Н. Успенского «Северная пчела» (1862, № 67).

Среди отзывов на издание 1861 года выделялась статья Ф. М. Достоевского. Он также утверждал, что Н. Успенский «подходит к народу правдиво и искренно», но эту правдивость видел в том, что Успенский «любит народ... как он есть». Не слабостью, как революционеры-демократы (а в этом случае — и сам Н. Успенский), а силой считает он покорность и «простодушие» народа.

Вместе с тем вопреки высказывавшемуся уже тогда в критике мнению о равнодушии Н. Успенского к изображаемому Достоевский считал, что внешнее «бесстрашие» писателя — «вовсе не от равнодушия и внутреннего спокойствия». «Сознательный вывод,— писал критик,—он предлагает сделать самому читателю» («Время», 1861, № 12).

Характерно, однако, что уже вскоре, в откликах на второе, дополненное и переработанное издание рассказов Н. Успенского, о равнодушии и бесстрашии его пишут представители разных общественных групп, вкладывая, разумеется, в это понятие разное содержание. Критик «Библиотеки для чтения» пытается, например, «равнодушием... умственной ленью» писателя объяснить своеобразие его позиции, которая якобы «позволяет ему ограничиться готовым, чужим взглядом на жизнь», хотя здесь же отмечает «оригинальную и смелую» манеру его, «знание описываемого быта», «психологическую правду» и т. д. («Библиотека для чтения», 1864, № 3). То, что «принято было... когда-то за новое слово о нашем крестьянстве»,— следствие, утверждает он, «гибельного влияния» «натуральной школы», признавая тем самым критическую направленность творчества Н. Успенского по отношению к современной ему действительности.

Прямо противоположные выводы делал на основе произведений писателя один из сотрудников «Современника» А. Головачев (см. стр. 23).

В том же 1864 году А. Григорьев в статье о Григоровиче утверждал, имея в виду Н. Успенского, что «истощился один из даровитейших представителей «новой литературы» («Эпоха», 1864, № 7), хотя в это время Н. Успенский печатает такие произведения, как «Декалов», «Пропаж», «Колдунья» и др.

Появившийся в 1867 году сборник «Новых рассказов» Н. Успенского совсем не привлек внимания критики, между тем здесь были напечатаны «Саша», «Федор Петрович», «Юрская формация», «Записки сельского хозяина». Представителем литературы шестидесятых годов, одной из основных черт наследства которых В. И. Ленин считал прежде всего горячую вражду «к крепостному праву и *всем его* порождениям в экономической, социальной и юридической области» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 472), оставался писатель и в этих своих лучших очерках, рассказах и повестях, хотя отсутствие цельного мировоззрения, оторванность от прогрессивной литературы и общественной жизни несомненно сказались и здесь.

Однако в новых исторических условиях, когда наиболее передовая часть интеллигенции свои надежды на борьбу с царизмом, на лучшее будущее России прежде всего связывала с крестьянством,

в этих условиях «правды без прикрас» о народе, которую так высоко ценил Чернышевский в творчестве Н. Успенского, было уже недостаточно. Щедрин, например, писавший в том же 1868 году о том, что в народе «следует уже искать типов положительных и деятельных», не смущаясь тем, что «та среда, в которой они обретаются, представляет собою грубую и неприятную на взгляд массу, изнемогающую под игом разнородных темных сил», называл Н. Успенского среди авторов, «которые в разнообразии жизни умеют подмечать только одни, так сказать, избранные стороны... очень скоро исчерпывают небольшой запас своих наблюдений и в конечном результате... бывают вынуждены подражать самим себе» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Пол. собр. соч., т. VIII, М. 1937, стр. 57, 313).

С другой стороны, следует иметь в виду, что именно в эти годы приобретали популярность идеи народничества с его отрицанием капиталистического пути развития России, идеализацией «общины». Содержание многих произведений Н. Успенского противоречило этим догмам народников.

Интересно, что И. С. Тургенев в письме к И. Борису от 28 ноября 1868 года рассматривает «фиаско... насчет продажи сочинений Успенского» как факт глубоко знаменательный, «указатель, куда повернуло общественное мнение». «Россия действительно — не та, — пишет он, — что была десять лет тому назад, и на нашем веку такого крутого перелома еще не было» («Русский архив», 1910, № 4).

Никаких откликов не вызвали в печати и сборники произведений Н. Успенского «Новейшие рассказы» (СПб.—М. 1871) и «Картины из русской жизни» (СПб. 1872). Случайные упоминания о творчестве писателя повторяли уже высказывавшиеся ранее оценки (см., например, «Вестник Европы», 1869, № 12; «Дело», 1870, №№ 1 и 4; 1873, № 4; 1878, № 5 и др.).

Между тем в сборники 1871 и 1872 годов включены такие произведения, как «Издаലെка и вблизи», «Производительные силы», «Деревенский театр», «Следствие», «Старое по-старому», «Егорка-папстух», «Мелкопоместная барыня», «В земской управе». Член Совета Главного управления по делам печати П. Д. Стремоухов писал о «Новейших рассказах»: «Означенная книга заключает в себе ряд рассказов тенденциозного содержания, имеющих целью сопоставления в самом невыгодном для нашего общественного строя свете двух сословий: высшего, а именно помещичьего, как сословия дармоедов, проедающих свое состояние в французских ресторанах и за границей и никакой пользы обществу не приносящих, — и сословия крестьян, как бедствующего от нищеты и голода и

терпящего всякого рода гнет и лишения, несмотря на уничтожение крепостного права и новые суды; как главная причина всех следствий сего последнего проводится та мысль, что крестьяне получили только волю, а не землю и леса, необходимые для их существования (то есть в даровую собственность), высшее же сословие ничем не жертвует для народа, для улучшения положения которого предлагаются лишь такие средства, как учреждение народных театров и школ,— на что, однако же, не дается денег...» Основные произведения сборника, как «направленные на возбуждение презрения к высшему сословию и к изображению положения народа в самом безотрадном свете,— представляют... совокупность рассказов положительно вредного характера» и, по мнению Стремухова, «подлежат преследованию со стороны цензурного комитета» (ЦГИАЛ, ф. 775, оп. 4, ед. хр. 455, л. 2).

Едиственной статьей, посвященной творчеству Н. Успенского, был после 1864 года отзыв Н. К. Михайловского на вышедшее в 1876 году трехтомное издание «Повестей, рассказов и очерков», в которое вошло наряду с произведениями, включавшимися в предшествующие издания, многое из написанного в конце шестидесятых—начале семидесятых годов.

Н. К. Михайловский в своей рецензии пишет об Н. Успенском, которого читатели семидесятых годов «совсем... не знают», как об одном из наиболее талантливых писателей-шестидесятников, посвятивших свое творчество изображению народной жизни («чрезвычайно талантливый художник... может быть, наиболее талантливый и, наверное, наиболее художник из всей группы»). Н. Успенский «дает только частности, отрывки,— пишет критик,— но такую массу отрывков, что картину из них может всякий сложить... он занят всем обездоленным, униженным и оскорбленным». Н. К. Михайловский решительно возражает против установившегося уже в те годы в критике мнения о «будто бы презрительном, насмешливом отношении... к мужику» писателя: «если бы г. Успенский приходил в «веселое» настроение только говоря о... невежестве, заботности, пьянстве» мужика, «тогда это можно бы было поставить ему в вину...— пишет Н. К. Михайловский.— Но когда мы видим, что те же приемы употребляются автором в очерках и умирающего с голода студента и выдаваемой насильно замуж дочери бедного помещика... то становится очевидным, что смех, «веселость» есть здесь просто свойство таланта»; «в его очерках, как и в самой жизни, можно найти разное: и хорошие и дурные стороны» народной жизни («Отечественные записки», 1877, № 2).

Издание 1876 года, по-видимому, не разошлось. В новом четырехтомном издании сочинений Н. Успенского («Повести, рассказы и

очерки», СПб. 1883) первые три тома представляли собой издание 1876 года в новой обложке и с новым титульным листом, лишь в отдельных экземплярах томов издания 1883 года некоторые опечатки издания 1876 года отсутствуют.

И в те годы Н. Успенский по-прежнему оставался «забытым» писателем. Немало способствовало этому и то обстоятельство, что потерявший постепенно все связи с живой жизнью писатель продолжал сотрудничать, например, в ставшем к концу семидесятых годов ультрареакционном «Развлечении» (о факте сотрудничества в «Развлечении» еще в 1876 году свидетельствуют обнаруженные нами в Историческом архиве в Ленинграде гранки «Развлечения» с запрещенным цензурой и не появившимся в печати рассказом «Отец и сын»). Лишь отдельные произведения этого периода, такие, как «Экзамен», «Послушник», «Небывалый случай», выдержали испытание временем, не потеряли интереса для современного читателя.

В год смерти писателя И. А. Бунин в заметке «Талант, выброшенный на улицу», подчеркивал, что судьба Н. Успенского характерна для многих писателей шестидесятых годов. В очерках и сценках Н. Успенского, по его словам, «выступает всегда живая правда, а подчас беспощадная сатира над самыми либеральными принципами и учреждениями» («Колосья», 1889, № 11). В другой статье, появившейся тогда же в «Волжском вестнике», отмечалось, что Н. Успенский «широко рисовал картины капитализации России» (1889, № 269—270).

В статьях Плеханова девяностых годов также содержатся интересные высказывания о творчестве писателя. Произведения Н. Успенского, по его мнению, «не свободны от некоторых преувеличений», но существенно то, что он выступал против поэтизации «общинных инстинктов крестьянина», «останавливался больше на печальных явлениях (на изображении развивающегося в крестьянстве индивидуализма)». Писатель «сочувствовал народу... как «просветитель», — писал критик, — то есть как человек, не чувствующий... надобности в идеализации отсталой массы» (Г. В. Плеханов, Соч., т. 5. М. 1928, стр. 341—345).

Однако в основном Н. Успенский по-прежнему характеризовался в печати того времени как «переоцененный в свое время», поражающий «беспощадным отношением к народу» писатель (см., напр., С. А. Венгеров, Очерки по истории русской литературы, СПб. 1907, стр. 77—78; С. А. Ан — с к и й, Очерки народной литературы, СПб. 1894, стр. 98 и др.). Произведения его почти не переиздавались, и лишь в 1920—1930 годах вышло несколько изданий сочинений Н. Успенского, появились работы о нем советских литературоведов.

До настоящего времени недостаточно разработана библиография литературного наследия писателя (чуть ли не единственной работой в этой области является далеко не полная сводка, опубликованная в издании: Н. Успенский, Сочинения, 1933. Подготовка текста, статья и комментарии К. И. Чуковского). Не вполне ясна и история подготовки прижизненных изданий Н. Успенского, степень участия в них.

Издание 1861 года («Рассказы Н. Успенского», СПб.) осуществлялось, как известно, Некрасовым и вышло в момент, когда Н. Успенский был за границей. Даты цензурного разрешения сборника (22 января 1861 года) и отъезда писателя (январь 1861 года) почти совпадают. Однако сохранились письма Н. Успенского к заведующему конторой «Современника» И. А. Панаеву, в которых он не только просит передать Некрасову, «чтоб он последние... рассказы, отпечатанные в генварской книжке, поместил в... книжку... рассказов» (письмо от 8 марта 1861 года, речь идет о рассказах «Летний день» и «Зимний вечер»), но и выражает удовлетворение по поводу того, что «Некрасов предполагает прислать листы... для поправок»: «Я могу в них много изменить к лучшему... Рассказы мои я поправлю в два-три дня, так что они воротятся в Петербург очень скоро», — пишет он тому же И. А. Панаеву 31 мая 1861 года. Участие автора в издании подтверждается и характером разночтений между текстами сборника и журнальными.

Большой переработке подверглись тексты в сборнике 1864 года («Рассказы Н. В. Успенского», СПб.), цензурная история которого недостаточно ясна и до настоящего времени.

Цензурное разрешение на первую часть датировано 10 января, на вторую — 8 октября и третью — 31 октября 1863 года. Оно было получено, как это нередко делалось в те времена в отношении переизданий, до того, как книга была приготовлена для печати («по билетам для представления в корректурных листах»). Весьма возможно, что, сообщая в неопубликованном письме к Е. П. Ковалевскому от 23 февраля 1863 года о том, что он начинает «свою работу» (архив Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде), Н. Успенский имеет в виду подготовку к изданию сборника 1864 года.

Какие-либо документальные данные, которые позволили бы считать установленным по отношению к изданию 1864 года факт автоцензуры или цензурного вмешательства, неизвестны. Вместе с тем 1863 год был, как известно, годом наступления жесточайшей реакции. Цензура из ведения министерства просвещения была передана в ведение министерства внутренних дел. По «высочайше утвержденным» в мае 1862 года «Временным правилам по цензуре»

предписывалось, в частности, «во всех вообще произведениях печати не допускать нарушения должного уважения к учению и обрядам христианских исповеданий, охранять неприкосновенность верховной власти и ее атрибутов... непоколебимость основных законов, народную нравственность» («Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год», СПб. 1862). Эти цензурные требования могли сказаться и на подготовке издания 1864 года, на что справедливо указывал К. И. Чуковский в изданиях сочинений Н. Успенского 1931 и 1933 годов. По-видимому, это относится в первую очередь к текстам, в которых так или иначе затрагиваются вопросы, связанные с религией, священнослужителями и пр.; именно в ту пору нередко были случаи, когда даже художественные произведения должны были проходить еще одну специальную духовную цензуру.

Вместе с тем сравнительное изучение текстов изданий 1861 и 1864 годов показывает, что переработка произведений в последнем в значительной мере носила творческий характер. Лишь в отношении небольшой части этой правки можно предполагать, что она продиктована соображениями цензурного характера. В ряде случаев даже такая правка приводила к творческой переработке текста (см. рассказ «Декалов», в котором написан был новый конец).

При подготовке изданий 1871, 1872, 1876 и 1883 годов Н. Успенский правил текст того или иного произведения по преимуществу один раз, впервые включая его в то или иное из указанных изданий. Правка в большинстве случаев носила стилистический характер.

Произведения, вошедшие в настоящую книгу, печатаются в хронологическом порядке, по изданию: Н. Успенский, Повести, рассказы и очерки, СПб. 1883. В двух случаях (см. примеч. к «Ночи под светлый день» и «Деревенскому театру») текст этого издания освобожден от цензурных искажений. В предисловии к изданию 1931 года К. И. Чуковский писал, говоря о сборниках 1861 и 1864 годов: «Нам приходилось комбинировать оба издания: пользуясь первым из них, мы заполняли цензурные бреши, пользуясь вторым, мы вносили в текст изменения, которые сделаны автором после 1861 года. В большинстве случаев эти изменения были удачны, но иногда, поддаваясь влиянию несправедливой и придирчивой критики, автор выбрасывал и такие места, без которых рассказ становился банальным и вялым. В таких случаях мы предпочитали придерживаться издания 1861 года». (Н. Успенский, Собр. соч., М.—Л. 1931, стр. V—VI). Такие попытки освободить текст от цензурного вмешательства и «неудачных» поправок самого автора, основанные лишь на предположениях исследователя, не могли не привести в ряде случаев к созданию текстов, являющихся по сути дела

контаминацией разных творческих редакций (см. примеч. к «Змею», «Деревенской газете», «Сельской аптеке» и т. д.).

В настоящем издании в связи с отсутствием документальных данных и невозможностью более или менее точно определить границы цензурного вмешательства в тех случаях, когда оно предполагается, соображения, связанные с историей печатания ряда произведений, изложены в примечаниях.

В примечаниях сообщаются также сведения о первой публикации. При подготовке издания установлено место и время первой публикации таких произведений, как «Колдунья», «Пропажка», «Мелкопоместная барыня», «В земской управе», «Родственное свидание» и др. Однако в отношении трех произведений («Саша», «Катерина» и «Заграничные письма») этого сделать не удалось, и место их в книге определяется по времени первого известного нам появления их в прижизненных сборниках произведений писателя.

Интересно, что некоторые произведения публиковались в «Ремесленной газете» под не учтенным в литературе о Н. Успенском псевдонимом «Молотов», напоминавшим читателю о популярных в начале шестидесятых годов повестях писателя-разночинца Помяловского «Молотов» и «Мещанское счастье».

В отдельных случаях используются в примечаниях воспоминания Н. В. Успенского («Из прошлого», СПб. 1889), так как в них есть автобиографический материал, проливающий свет на творческую историю некоторых произведений. Кроме того, в примечаниях привлекаются связанные с историей создания того или иного произведения «данные... на основании рассказов и писем близко знавших его лиц: его матери, брата, сестер и других родных и знакомых», сообщенные в статье племянника писателя, Д. И. Успенского («Исторический вестник», 1905, № 11).

Приводимые в примечаниях наиболее характерные отзывы критики составляют порой весьма пеструю картину. Однако они позволяют понять, как относились к творчеству Н. Успенского его современники. Сопоставление этих отзывов, отражающих борьбу в литературе пятидесятых — семидесятых годов представителей разных общественных групп, помогает более глубокому и верному пониманию произведений писателя.

С Т А Р У Х А

Впервые опубликовано в «Сыне отечества», 1858, № 18, за подписью: Н. У., под рубрикой «Из русского простонародного быта» и с подзаголовком «Рассказ». Окончательный текст отличается от первоначального сокращениями и разночтениями стилистического характера. При подготовке издания 1861 года, например, значи-

тельно сокращен рассказ старухи о похоронах ее мужа и о том, как «словили» человека, укравшего деньги у скотницы и т. д.

Появление в «Сыне отечества» этого первого произведения Н. Успенского прошло не замеченным критикой. Однако позднее «Старуха» оценивалась современниками как одно из лучших произведений писателя.

Автор библиографической заметки, напечатанной по выходе сборника в 1861 году в разделе «Новые книги» «Отечественных записок», особо отмечал, например, «неподдельный юмор рассказа» и образ купца, «который ничего не говорит, только плюет, дремлет и курит под рассказ старухи» (1861, № 11).

Н. Г. Чернышевский считал, что в этом рассказе наиболее ярко проявилось умение Н. Успенского говорить о своих героях правду «без всяких утаек и прикрас». Трагический рассказ старухи не превращается под пером Н. Успенского, как справедливо отмечает Чернышевский, в «идеальную историю» («сильная привязанность жены к мужу, изверг-приказчик, насильно отнимающий красавицу-жену, вопли жены, страшные сцены ее напрасного сопротивления животному буйству, и так далее и так далее»).

Показывая в своем анализе, что Петр и его семейство «не поперечили приказчику, когда он брал к себе Варвару... едва ли не потому, что ожидали от этой любовной сделки выгод для себя», и сравнивая их в этом отношении с чиновником или помещиком, «который стал бы принуждать возвратиться к нему в дом жену, которая терпеть его не может и отдана за него без согласия», Чернышевский приходит к выводу, что в обществе, где царит «расчетливая безнравственность», распространенность «корыстного потворства» прежде всего следствие определенных социальных условий (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. т. VII, М. 1950, стр. 860—862).

Глубоко справедливо вместе с тем замечание Ф. М. Достоевского, что при чтении этого самого, по его мнению, «значительного из всех двадцати четырех рассказов» сборника 1861 года прежде всего «вас невольно поражает мысль... о глубине сердца народного и о прирожденной широкости его человеческих воззрений» («Время», 1861, № 12). Однако, высоко оценивая образ героини рассказа, «старухи, понимающей, что ее горе надоедливо для слушателя... и даже... считающей, что ей делают огромное одолжение, позволяя ей поплакать о своей великой материнской скорби», Достоевский подчеркивает лишь покорность и безответность рассказчицы.

Между тем сама героиня и оба сына ее принадлежат к тем «забитым людям», о которых Добролюбов писал: «Несмотря на наружное примирение со своим положением, они чувствуют его горечь,

готовы на раздражение и протест» (Н. А. Добролюбов, Полное собр. соч., т. 2, 1935, стр. 404). Достоевский не видит, что вложенный даже в уста действительно «забитой, загнанной» женщины рассказ этот вызывает прежде всего чувство протеста против таких условий жизни, в которых гибнут, уродуются человеческие характеры, разрушается семья.

«Старуха» — один из немногих рассказов Н. Успенского, получивших высокую оценку в статье А. Ф. Головачева. «Тут есть действительно нечто потрясающее, — писал он, — нечто неподдельно трагическое, а между тем дело развивается просто, спокойно и даже перемежается смешными речами и разговорами» («Современник», 1864, № 5).

Высоко ценил этот рассказ Н. Успенского и Г. В. Плеханов (см. примеч. к «Катерине»).

Стр. 26. *Дворник* — хозяин постоянного двора.

Стр. 29. *...восьмой месяц пошел с сердохрестной недели* — то есть с средокрестной (с четвертой недели великого поста).

Стр. 31. *Мурогая* — мрачная.

Стр. 34. *...каким ни было побытом* — любым способом.

Подзатыльник — здесь: сборка у кокошника.

Стр. 36. *Залавок* — глухая лавка с подъемной крышкой у двереи крестьянской избы (иначе — коник) или шкаф, обычно низкий и длинный (иначе — поставец).

Стр. 37. *Талька* — моток ниток известной меры.

Стр. 38. *...дикая... рубашка* — то есть серого цвета.

Стр. 39. *Оскретки* — здесь: огарки.

Стр. 40. *Наклепка* или *нахлеска* — продольная грядка телеги.

П О Р О С Е Н О К

Впервые с подзаголовком «Рассказ вдовы» (снятым в издании 1861 года) напечатано в «Современнике», 1858, № 2, первым в цикле «Очерков простонародного быта». Окончательный текст рассказа отличается от первопечатного рядом различий стилистического характера.

Сразу же после опубликования «Поросенка» «Сын отечества», на страницах которого еще недавно публиковались первые очерки начинающего писателя, отметил в обзоре журналов за январь и февраль наблюдательность, «бойкость в рассказе», «мастерское владение языком» Н. Успенского, рассматривая, впрочем, очерки «Поросенок» и «Хорошее житье» как «очевидное подражание известным рассказам г. Даля» («Сын отечества», 1858, № 15). Между тем

Н. Г. Чернышевский писал позднее, сравнивая также этих писателей и имея в виду прежде всего «простонародные» очерки Даля: «В одной страничке очерков Успенского или рассказов из простонародной жизни Щедрина... о народе сказано больше, чем во всех сочинениях г. Даля» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. и писем, т. VII., М. 1950, стр. 983).

Н. К. Михайловский считал «Поросенка» одним из «замечательно законченных» очерков Н. Успенского («Отечественные записки», 1877, № 2).

Достоевский, отмечая большую обличительную силу этого «прекрасного рассказа», в то же время подчеркивал здесь, как и в своем анализе рассказа «Старуха», лишь черты незлобивости и покорности героини: то обстоятельство, что «баба сама, наконец, считает себя в чем-то виноватою», принимает «все это за необходимость и даже за закон природы», объясняется, по мысли Достоевского, отнюдь не заботостью, как следствием определенных условий жизни народа, о чем писали бы в данном случае «скороспелые», то есть критики революционно-демократического лагеря («Нет! покамест законы... матерьяльное обеспечение... ясность взгляда на вещи... развитие и т. д. и т. д.») («Время», 1861, № 12). Скабичевский, «критикуя» Чернышевского, утверждал, что в таких ранних рассказах Успенского, как «Поросенок», «Обоз» и др., «дело идет... не о правдиво-реальном отношении к народу, а о сплошном глумлении над его бесшабашным идиотизмом» («Русская мысль», 1899, № 4).

ХОРОШЕЕ ЖИТЬЕ

Впервые напечатано в «Современнике», 1858, № 2, с подзаголовком «Рассказ целовальника» (снятым в издании 1861 года), вторым в цикле «Очерков народного быта». Окончательный текст отличается от журнального сокращениями и разночтениями стилистического характера. Так, например, после слов «ты жди» (стр. 61) в журнальном тексте и в издании 1861 года было: «Случаются и такие проезжие: бог благослови, войдет в кабак, помолится и зачнет бороду разглаживать, сосульки очищать; потирается, пожимается, перебросит словечко, другое, глядь стукнул рукавицами, крикнул и был таков. А спроси, зачем он приходил? — погреться. Нешто так-то греются? Ты спроси у наших мужиков, что есть гренье такое? они тебе покажут».

Предположение, что текст этот снят был в соответствии с требованиями цензуры (см. изд. 1933 года), вряд ли основательно, тем более что в издании 1864 года был сделан целый ряд значительных

сокращений (например, в рассказе целовальника о том, как пропившийся мужик предложил ему собаку, чтобы получить «полштоф», и др.).

В своих воспоминаниях Н. Успенский рассказывает, что журналом «Отечественные записки» этот очерк не был принят для печатания, как «слишком народный и непонятный для публики» («Из прошлого», М. 1889, стр. 2).

«Хорошее житье» — один из немногих очерков, первая публикация которых была замечена критикой, хотя «Сын отечества», например, этот «рассказ целовальника о том, какие доходы приносит ему простота мужичков» (курсив мой.— М. Б.), воспринимал вначале как простое подражание Далю (1858, № 15 — ср. стр. 613).

Критик демократического «Русского слова» Всеволод Крестовский отмечал в этом очерке «довольно общие черты крестьянского сословия в его общественном быту». Причины «деморализации» общины крестьян, «ежеминутно приходящих в столкновение с проезжим людом, с нашею городской жизнью и так называемой цивилизованной толпой», критик видит в кабаке, в «наглом грабеже откупного целовальника». «Все происходит бессознательно и тупо,— пишет он далее, излагая содержание очерка,— во всем чувствуется какая-то роковая сила, которую, кажется, могла бы одолеть светлая идея и воля человека, но этой светлой идеи и воли нет как нет» («Русское слово», 1862, № 1).

Эта весьма справедливая оценка «Хорошего житья» прямо противоположна оценке Анненкова, хотя оба критика (правда, с разных позиций) писали в своих статьях о «бесстрастии» писателя. «Как ни возмутительно зрелище разврата, притеснений и дикой жестокости, распространяемых кругом мирской крестьянской сходимости в сообществе с кабаком и целовальником... комический элемент,— утверждает Анненков вопреки объективному содержанию очерка,— облакает в одинаковой степени орудия тирании и их жертвы, не делаясь нигде ни гуще, ни слабее». Но даже и этот критик считает «Хорошее житье» одним из рассказов Н. Успенского, которые, «не переставая быть смешными, разоблачают глубокое страдание или ужасающую испорченность» («Санкт-петербургские ведомости», 1863, № 11).

Высокая оценка «Хорошего житья» Л. Толстым выразилась в том, что очерк был перепечатан с некоторыми сокращениями в его журнале для народного чтения «Ясная поляна» (1862, № 4).

А. Головачев утверждал между тем, что «Хорошее житье» — один из рассказов Н. Успенского, в которых «народ.. всегда глуп, необразован, грязен, подчас зол — и только» («Современник», 1864, № 5), Скабичевский, над которым Плеханов издевался за то, что

тот «вообразил... что способен критиковать Чернышевского», Г. В. Плеханов, Соч., т. 5, стр. 363), также считал «Хорошее житье» одним из «смехотворно отрицательных» очерков Н. Успенского, якобы служивших доказательством «необходимости... крепостного права», так как в них нарисована выразительная картина разложения крестьянской общины: «О каком же тут народном самоуправлении толкуете вы,—имели они (крепостники.—М. Б.) полное право возразить,—...коли вы сами ничего не видите в мирской сходке, кроме взаимного разорения крестьян посредством опития друг друга?» (А. М. Скабичевский, Очерки по истории русской словесности, П. 1907, ср. также статью П. Ткачева «Разбитые иллюзии» в «Деле», 1868, №№ 11—12).

Стр. 60. *...народ все однодворцы, такие забубенные головы...*— Служилые люди низшего разряда, бывшие в XVII веке одновременно и земледельцами и воинами и наделявшиеся мелкими земельными участками (в «один двор»), позднее стали называться однодворцами. Целовальник имеет в виду относительно большую свободу однодворцев по сравнению с крепостными крестьянами (интересно, что в тексте «Ясной поляны» напечатано: «народ все вольный, такне...»). Однодворцы имели право владеть крестьянами; но облагались наравне с ними подушной податью.

Стр. 65. *...ведь ратников скоро обещались распустить по домам.*— Действие рассказа происходит в годы Крымской войны (1853—1856).

Стр. 69. *Малка* — парнишка.

Г Р У Ш К А

Впервые с подзаголовком «Рассказ мещанина» (снятым в издании 1861 года) напечатано в «Современнике», 1858, №5, четвертым в цикле «Очерков престонародного быта». Окончательный текст рассказа отличается от первопечатного рядом сокращений и исправлений стилистического характера.

В первых отзывах этот очерк рассматривался наряду с напечатанными ранее «Поросенком» и «Хорошим житьем» лишь как подражание «известным картинам из русского быта г. Даля». («Сын отечества», 1858, № 44; Санкт-петербургские ведомости, 1858, № 140).

Высоко оценил «маленький и премиленький рассказ из мелкокупеческого быта» Ф. М. Достоевский. В своей рецензии на издание 1861 года он пишет об этом рассказе как об «одном из лучших во всей книге», хотя в соответствии со своей полемической оценкой места писателя в литературе считает, что он — «одна только капля

выжимки из третьестепенных лиц Островского» («Время», 1861, № 12). «Превосходным рассказом из мелкого купеческого быта» считал позднее «Грушку» и А. Головачев («Современник», 1864, № 5).

Критик «Русского слова», подчеркивая правдивое отображение действительности в этом рассказе, называет уродливые понятия рассказчика о любви и браке («самом лучшем и важном акте человеческой жизни») характерными для условий, в которых господствуют «гнетущая сила... самодуров и необузданного произвола во всем» («Русское слово», 1862, № 1).

П. В. Анненков писал в своей статье, имея, вероятно, в виду рассказы «Грушка», «Вечер», «Брусилев» и др., которые он произвольно противопоставлял рассказам о народной жизни: «Покуда формальный юмор г. Успенского, очень чуткий ко всем неловким, пустым или странным движениям предмета, занимается классами общества или лицами без исторического прошлого, без преданий и почвы — гимназистами и студентами, офицерами, выродившимися купцами и мещанами — юмор его на своем месте и выражает их с необычайной меткостью и полнотою» («Санкт-петербургские ведомости», 1863, № 11).

Стр. 76. *Колбать* — плохо шить, медленно работать, копаться.

З М Е Й

Впервые опубликовано в «Современнике», 1858, № 8, пятым в цикле «Очерков народного быта». Текст издания 1861 года отличается от журнального разночтениями стилистического характера.

При подготовке издания 1864 года рассказ подвергся существенной переработке и сокращениям. Так, например, сокращены тексты: «Отец приказал ему искать место. *«Ты, говорит, сын мой, ищи себе место; не то я тебя сгною долой с родительского двора»*¹ (стр. 92); «— Да, плоховато. *Воля, стало быть, божия. Выше бога не будешь»* (стр. 88); «Постоял, покачал головою, сотворил крестное знамение, плюнул и стал размышлять: *«Кто, мол, это такой? Нечистая сила? Нет, господи спаси. Вор? — Опять перекрестился, опять забормотал: — Нечистая сила? Защити, царица небесная. Кто же это? кто? Снова начал молитву читать, креститься, качать головою»* (стр. 98); «Говорит: *«Батюшка! посетил меня, окаянного, бог гневом своим.— Видно, согрешил я пред ним, заступником. За что такая невзгода? За какие грехи?» Навзрыд плакал»* (стр. 101). По-видимому,

¹ Здесь и далее отсутствующее в издании 1864 года выделено курсивом.

нет достаточных оснований считать, что эти сокращения вызваны цензурными требованиями (ср. изд. 1931 и 1933 годов, где лишь два из них введены в основной текст).

Стремлением к большему лаконизму вызвано, очевидно, и сокращение в следующем отрывке: «как Антошка хватил «барыню-сударыню», все бросили работу, подобрали юбки и пустились плясать по выгону, кто вскачь, кто вприсядку. Пьяный десятский нагнул голову, поднял руки вверх и пошел перезванивать на воздухе пальцами, а сам шлепает ногами и кричит: «Наша матушка Росея всему свету голова!» До тех пор бесились, пока приказчик кнутом не разогнал всех до единого. Любил над людьми подсмеяться» (стр. 93). Вместе с тем не исключена возможность, что конец снят в соответствии с цензурными требованиями.

Следует отметить также большие сокращения в отрывке на стр. 105: «Я должен сказать одно словечко о становом. Я у него некогда жил и знал его коротко. Он имел небольшой домик кирпичный, штук до тридцати собак и страсть выезжать на следствие; особливо любил он уголовные дела: так и возрадуется, бывало, как скажут ему, что там-то один другого зарезал или кнутом засек. Звали его Федор Федорыч: низенького роста, руки длинные, толстая шея. Он был человек семейный, разбитной этакой; все знакомые его называли «весельчаком» за то, что он хотя имел девять человек детей малюток, но никогда не унывал, а бесперечь ими даже любовался и говаривал: «Канальи!» Приезжавшим к нему «господам» Федор Федорыч радовался, как братьям родным, и встречал их непременно с хохотом и в халате нараспашку: посадит гостя на стул, соберет в кружок детей своих и начнет:

— Вот, сударь мой, каковы у меня молодцы! Вы посмотрите-ко им в глаза-то! Ведь все будут становыми, подлецы.

Потом заставлял детей поголовно петь песни. Они, словно молодые галчата, разевали рты перед гостем и пели: «Стон детей и женщин крики нам приятнее музыки».

Становой подталкивал гостя под бок. А он слушает, слушает и скажет:

— Ну, Федор Федорыч, какая у вас пропасть детей-то!

— Что за пропасть? Вы вот погодите; дай супруга разоидется: не то будет; как горох посыплется».

Нет никаких оснований утверждать, что в издании 1864 года «цензура выбросила из «Змея» страницу, посвященную взяточнику и «весельчаку» становому» (изд. 1933, стр. 534). Указание на то, что становой — взяточник и невежда, осталось и в этом тексте (см. стр. 105—106); из рассказа бондаря убрано, возможно, лишь то, что не характерно для него.

Теми же мотивами вызвано, очевидно, и другое большое сокращение. После слов «пострадала она, бедная, на своем веку» (стр. 101) в «Современнике» и издании 1861 года было: «Да и Антошку трудно обвинять; может, он есть орудие злых духов, и хоть не рад бродить по ночам, да готов. Конечно, об этом рассуждать не наше дело. Для нас с тобой все мрак и темнота; люди мы грубые, необразованные. Ну, желал бы я теперь знать, что, например, я такое? какая моя участь? Дурак я, вот мое назначение. Прожили век без ума, без разума и умрем с тем же. Никто об нас и не вспомнит. Подумаешь, подумаешь, тошно, право слово. Ежели бы кто сейчас подслушал из ученых наши с тобой чувства касательно Антошки, наверное не растолковал бы, а насмеялся и сказал: «Деревня вы, деревня небритая! Взялись рассуждать об Антошках».

— Рассказывай. Что нам ученые? Они нашему брату зуботычины давать любят. Сия их часть. Но чтобы вникнуть, примерно, как живут такие люди: Сенька с Ванькой? Извини. Дескать, незмай их — обручи набивают.

— Я тебе скажу одно...

— Рассказывай лучше. Что попусту толковать? Скоро полночь, завтра чем свет надобно вставать.

— Ну, слушай же, Сенька, слушай. Расскажу матерью: не стану толковать. Вещь толкованная».

Не исключена, однако, в этом случае и возможность цензурного вмешательства (см., например, слова о том, что «Ученые... зуботычины давать любят», и т. д.).

В одном из первых откликов на издание 1861 года «Змей» рассматривался лишь как «шалость таланта», один из худших рассказов, прочитав который «подумаешь, что г. Успенский считает народ глупым до идиотизма» («Русская речь», 1861, № 100). Автор этого отзыва, А. С. Суворин, не замечает, однако, что в этом рассказе изображены невежество и «глупость до идиотизма» попа и станового, принимающих озорство одного из жителей деревни за действительные каких-то нечистых сил.

Высокую оценку «художнической силы» Успенского дал Ф. М. Достоевский: «Прямо, из разговора парней, безо всяких объяснений... вы узнаете их среду, образ мыслей, воззрения, их возраст и даже темпераменты. Вы с первой строчки чувствуете, что разговор их типически верен, и действительность увлекает вас» («Время», 1861, № 12). Однако нельзя, разумеется, согласиться с утверждением критика, что в этом рассказе «все дорого» для Н. Успенского.

Впервые опубликовано в «Современнике», 1859, № 2, шестым в цикле «Очерков народного быта». Почти без изменений журнальный текст был перепечатан в издании 1861 года.

В тексте издания 1864 года сделан целый ряд сокращений. Так, например, после слов «на печи, на кониках лежат и сидят мужики» (стр. 113) было: «в сарафанах и душегрейках — однодворческие девки, бабы в кичках. Многие раздеты — в одних праздничных рубахах; в избе душно. Крепкий дегтярный запах наполняет и кухню и горницу. В горнице под лавками посажены на яйца гусыни, которые, говорят, не любят дегтярного запаха. Впрочем, они сидят спокойно и только тогда вскрикивают, когда их лучиной дразнит лакей, который хочет добиться того, чтобы гусыни пощипали за икры дворовых девок».

После слов «вот тебе и сказ!» (стр. 110) в издании 1861 года было:

«— Здравствуйте, Наум Федотыч. Куда это вы так торопитесь?»

— Здравствуйте, сударыня.

— Как поживаете?

— Да что, матушка, забыл дома яйца».

После слов «праздник обширный...» (стр. 110) было: «смешно будет не идти».

После слов «Что ж им?» (стр. 114), начиная с издания 1864 года, отсутствует текст: «...народ пшничный.— Желточники! — гневно восклицает третий мужик с полатей».

Можно предположить, что некоторые из сокращений сделаны в соответствии с цензурными требованиями. Однако лишь один случай изъятия в тексте издания 1864 года носит бесспорно цензурный характер. После слов: «Эй, гоните его!..» (стр. 112), здесь отсутствовал текст:

«Живо! эй!

Мужика выгоняют.

— Ишь каналья! мерзавец!.. Ему в солдаты не хочется... Вас, грубиянов, не давить, толку не видать...

— Он вас обругал!..— донос раздается.

Приказчик стоит как врытый. Он вдруг накидывает на себя шинель, захватывает что-то в углу и бежит из дому. Ему вслед мигнул Филимошка, державший сапог в руке».

По сохранившейся в архиве Института русской литературы (ИРЛИ) журнальной корректуре рассказа с пометками цензора Мацкевича видно, что текст, выделенный курсивом, вычеркнут был

цензором еще при публикации в журнале. Сделано это было, очевидно, для того, чтобы убрать указание на незаконность отдачи приказчиком крестьянина в солдаты. В связи с тем, что цензурное вмешательство, документально подтвержденное, повлекло, по-видимому, за собой и дальнейшее сокращение текста, мы считаем необходимым, печатая текст не по журнальной корректуре (как это сделано в издании 1933 года), а в его окончательной редакции, восстановить по корректуре лишь это место.

В своих воспоминаниях писатель рассказывает о том, как на вопрос И. С. Тургенева, где списал «такую чудесную картину «Ночь под светлый день», он объяснил: «Мой отец был сельский священник, и к нему все прихожане в ожидании заутрени под светлый день сходились со всех деревень... В зале обыкновенно помещались мелкопоместные дворяне, приказчики, дворники, в средней комнате — лакеи, сапожники, зажиточные крестьяне, а кухню наполняли мужики, разряженные парни, бабы и девки...» (Н. В. Успенский, Из прошлого, М. 1889, стр. 23; ср. также примеч. к «Декалову»)

«Ночь под светлый день» современники относили к лучшим произведениям писателя. В одной из рецензий на издание 1861 года указывалось: «Что может быть проще и безыскуснее приведенного нами рассказа? Есть ли хоть одно выражение, которое говорило бы о какой-то предвзятой мысли или о вымысле, или звучало бы фальшивой нотой?.. Когда вы читаете рассказ, не кажется ли вам, напротив, что вы накануне праздника путешествуете с автором по селу и заглядываете на минуту то в тот, то в другой дом и все, что он передает вам, слышите и видите сами? И прочтите этот рассказ любому деревенскому жителю, он наверно скажет, что это действительно бывает так...» («Сын отечества», 1861, № 52).

П. В. Анненков в своей статье о Н. Успенском упоминает этот рассказ, говоря о «замечательной способности» писателя «схватывать на лету каждое явление, со всеми мельчайшими подробностями», о его «спокойном юморе и откровенной веселости». «Кто не помнит,— пишет он,— и кто не смеялся над картиной ожидания светлого дня, ночью, на селе, у священника...» («Санкт-петербургские ведомости», 1863, № 11).

Высоко ценил «Ночь под светлый день» Л. Толстой (см. И. Н. Захарьин-Якунин, Встречи и воспоминания, СПб. 1903, стр. 214).

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА

Впервые опубликовано в «Современнике», 1859, № 4, седьмым в цикле «Очерков народного быта». Текст издания 1861 года отличается от журнального незначительными сокращениями.

Существенной переработке рассказ подвергся при включении в издание 1864 года. Так, например, в третьей главе был снят большой эпизод (более девяти страниц), не имеющий прямого отношения к сюжету,— разговор врача, приехавшего на консилиум к помещику, с другим врачом и студентом-медиком. В рассказах студента нашли, по-видимому, отражение наблюдения и настроения самого автора, недавнего студента медико-хирургической академии. Студент-медик говорит о «дурных порядках при гошпиталях и клиниках».

«Ужасная нечистота.. воздух такой!.. в клиниках на все отделение одни стенные часы: так, больной может выпить лекарство не во-время или даже, не видя и не слыша часов, может совсем забыть про лекарство...»

Доктор же цинично возражает ему: «Решительно пустое: часом ли позже принял больной лекарство, или двумя.. для нашего русского мужика, который живет в курной трущобе и ест раз в год мясо, гошпиталь — благодать... излишняя чистота не только не нужна, даже вредна...»

Студент говорит о том, что «фельдшера... лишены всякого уважения к больным: обходятся с ними... отвратительно». Он передает виденную в «гошпитале» сцену: «Один чахоточный солдат спал; он был при смерти... Подошел к нему другой солдат, тоже чахоточный; он толкнул его и заунывным голосом сказал: «Встань, товарищ!» Больной встал. «Говорят, ты нынче умрешь!» Больной глядел на него и будто старался понять смысл его слов. «Тебя поутру ныне всего лишили!.. Посмотри, что у тебя осталось? — сказал солдат, вытягивая из стола ящик,— смотри!» Больной взглянул. «Ничего нету!» — выговорил он...»

Доктор же утверждает, что «этого нельзя искоренить...» «Нам усмотреть за всем невозможно... К тому же прислуга груба; нам ее не просветить. И вы редкого из докторов найдете, который бы во все это вникал: возьмите нашего главного начальника, который вас исключил из медицинского заведения; он человек очень умный, но и он не пускается в эти мелочи!.. У него дела есть поважнее... Раз как-то (не помню за что) я одному фельдшеру дал в зубы...— говорит он далее,— за больного, кажется... Некоторые из докторов, почтенных лиц, мне рапортуют: «Мы находим драку в гошпиталях неудобною...» Говорю: «А как же беспорядки?..» «Это, говорят, не нами заведено, не нами кончится...» Мои вон товарищи молча вошли в моду... Попробуйте с ними заговорить о беспорядках или вроде того, так вы им рта-то клещами не разожмете!..»

На слова студента о том, что «воспитания никакого нет в медицинском заведении...», доктор отвечает:

«— Воспитания... ха-ха-ха... Да где оно, скажите мне? В кор-пусах, в гимназиях, в университетах?»

Возвращаясь к мысли о том, что «молодые даже медики и ординаторы — и те ничего не вынесли из аудиторий... хотелось бы человечности побольше видеть в медиках...», студент говорит:

«Им нет возможности следить *самим* за медициной: они ошупью и неохотно бредут за профессорами... Между тем эти же студенты, благоприятно поставленные к науке, могли бы подвигаться вперед... Им не дают возможности самим делать наблюдения, не дают на это никаких средств (вы верите, что студенты могут делать открытия); наполовину из них не видали, да и не увидят азотной кислоты на факте, химической соли какой-нибудь; не узнают, чем птица отличается по внутреннему устройству от рыбы... Все в шкафах и для показу: боятся — студенты унесут реторту!.. Я б им позволил раскрасить всю лабораторию!.. Пускай я подпал бы под ответственность; но я уверен, что меня не наказали бы за это. Между студентами нет никакого средоточия; они все в разброде, у них апатия ко всему, недоверие к своим товарищам, недоброжелательство и даже что-то дикое проглядывает... Я бы оживил их... они бы у меня задышали! Я бы им дал читать историю, литературу и т. п. Многие из них не знают, где они живут — в человеческом ли обществе, или... Поговорите-ка вы с медицинским студентом. Жалость!»

Стремясь к большей выразительности, автор и в других случаях сокращает текст. Так, в сцене, где описывается разговор помещика, фельдшера и доктора, которого «пригласили в столовую заку-сить» (стр. 123), убраны описания того, как и что ел доктор, как угощал его помещик.

Есть вместе с тем в издании 1864 года сокращения, вызванные, возможно, и цензурными причинами. Например, сокращения в текстах: «Говорят, война подымается. *Видно, отжили мы свои денечки*» (стр. 118); «На стенах висели картины: *сражения, мытарства, видения. В разных местах на притолках и даже на потолку встречались надписи...*» (там же): «— *Что я, бог, что ли? Я вам не раз говорил, что туберкулезных я не лечу: нет спасения*» (стр. 126).

Нет достаточных оснований, однако, считать, что «цензура уничтожила в рассказе всю его основную идею». И в том виде, в каком это произведение печаталось во всех прижизненных изданиях, начиная с 1864 года, оно также содержит в себе «протест против бесчеловечной постановки врачебного дела в деревне» и не является рядом «бесцветных и никчемных эпизодов», в которых якобы цен-

зура «вытравила, строка за строкой, все, что говорится о страданиях, которые приходится претерпевать мужикам, обращающимся в сельскую аптеку, причем страшная своей пошлостью фигура скотоподобного фельдшера, на которой сосредоточен обличительный смысл рассказа, была неузнаваемо подкрашена» (см. изд. 1933 года, стр. 538).

Часть сокращений направлена и в самом деле на то, чтобы сделать менее «скотоподобной» фигуру невежественного лакея-фельдшера, устранен ряд мест, изображающих, как фельдшер во время приема больных разговаривает с приятелем о своих амурных делах, о картежной игре и т. д.

Предположение, что эти сокращения сделаны цензурой (все они введены в издание 1933 года в основной текст), спорно прежде всего потому, что «обличительный смысл рассказа» не «сосредоточен», разумеется, лишь на фигуре фельдшера.

Большая вероятность в предположении о переработке, из-за вмешательства цензуры, сцены на стр. 120: «— У меня,— говорил хворый, худой мужик,— рана на ноге, Андрей Егорыч... Нельзя ли вам, *батюшка*, замолвить словечко приказчику, чтобы погодили маленько меня гонять на работу?

— *Это не по моей части,— объявил фельдшер,— ты проси кого знаешь, а я не слуга.*

— *Сделайте милость, Андрей Егорыч, сделайте божескую милость!*

— *Не учи меня! Я твою болезнь знаю вдоль и поперек; она может продлиться до твоей смерти: скорбут — ты знаешь это? а там дискразия, анемия, анестезия — и конца не будет; а там... одно воспоминание... уж на работу ходить не нужно...*

— *Андрей Егорыч, сами знаете; осень настанет... для ноги-то...*

— *Поди сам поговори приказчику: от тебе ответит. Ты знаком с ним?.. Ты чем болен? — спросил фельдшер у другого мужика.*

— *Палец болит».*

Интересны и более мелкие сокращения в тексте: «на лице ее было и беспокойство и жалкое смирение» (стр. 125) и на стр. 120, после слов «травкой его хочу попить»: «*Робкая мольба к фельдшеру горела в глазах старушки. Она смотрела на него с неизъяснимым уважением*», и т. д.

К теме «Сельской аптеки» Н. Успенский возвращался и позднее, в очерках «В лечебнице. Из виденного и слышанного» («Искра», 1868, № 33) и «Лекарка» (автограф этого написанного в последние годы жизни неопубликованного очерка хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства).

Впервые напечатано в «Современнике», 1859, № 10, восьмым в цикле «Очерков народного быта». Окончательный текст рассказа отличается от журнального различиями стилистического характера.

Нет достаточных оснований считать следствием цензурных требований (ср. изд. 1933 года), например, сокращение того, о чем читатель узнает из слов и поступков самого Карнея. На стр. 128, после слов «его часто секли» было в тексте «Современника» и издания 1861 года: «Да он не боялся казни!»; на той же стр.: «Эй, Карней, на сходку!» *Идет*. На сходке спрашивают; на стр. 129: «Ну, сейчас наказывать за неплатеж податей. *Высекут* — он поддернет штаны». Исправление в словах головы, велевшего освободить Карнея: вместо «а то взаправду мы его до смерти заколотим» — стало «мы его укокошим» (стр. 129), также вряд ли было вызвано необходимостью удовлетворить цензурные требования. И в окончательном тексте есть прямые указания на то, что Карнея секут (раз его чуть не засекали до смерти» — на той же стр.), приводятся и его слова миру: «...В одной деревне одного мужика... совсем уходили», и т. д.

Салтыков-Щедрин считал Карнея «одним из замечательнейших типов, созданных г. Успенским»: «Когда люди делают дело или по крайней мере говорят об деле, то нет ничего несноснее, как замешается тут же какой-нибудь Карней... который пристаёт ко всем по очереди и без очереди, и просит выслушать, и хватает каждого за пуговицу» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., том VI, М. 1941, стр. 268).

ДЕРЕВЕНСКАЯ ГАЗЕТА

Впервые опубликовано в «Современнике», 1860, № 1. Текст издания 1861 года отличается от журнального различиями стилистического характера.

Значительной переработке подвергся текст «Деревенской газеты» при подготовке издания 1864 года, где ряд исправлений и сокращений уточняет основное содержание рассказа, его направленность.

Как недостаточно, по-видимому, оправданное снял Н. Успенский размышление издателя газеты помещика Галкина, который «повторил, что он издает газету, и заключил, оглядывая развалившийся избы мужиков: «А сколько материалу-то, материалу-то!» (стр. 133). Трудно в самом деле предположить, чтобы так думал помещик, решивший издавать «листок от скуки» и заверяющий, что в нем не будет «сатирического» («Боже сохрани! смею ли я подумать... Я, кажется, помещик...»).

Оставляя в тексте программы деревенской газеты декларации, характерные для ее издателя, «либерального» помещика, стремящегося к «прогрессу» («Россия вдруг превратится в Северо-Американские штаты!»), Н. Успенский снимает повторяющийся через две страницы тот же мотив в словах Галкина, которыми тот мысленно отвечает губернатору, «сильно тронутый»: «*О! как я вам благодарен. Да обновится Россия... Да здравствуют Северо-Американские штаты!..* Не знаю, ваше превосходительство...» (стр. 139).

Стремлением освободить текст от всего удвояющего читателя от основного содержания рассказа (а не только необходимостью удовлетворить цензурные требования) можно объяснить, по-видимому, отсутствие, начиная с издания 1864 года, в текстах «Деревенской газеты» эпизода, большая часть которого включалась в издания 1931 и 1933 годов в основной текст. На стр. 139 после слов «надо заняться газетой посерьезней...» было: «Ночь была пасмурная, без месяца. Галкин ехал с одним кучером. Было около часу ночи.

Въезжая в деревню Кукушки, Галкин вдруг увидел фонари; звучали косы, слышались какие-то припевы...

— Что это такое? — спросил Галкин, будто проснувшись.

— А это бабы деревню опаживают,— скороговоркой ответил кучер и принялся погонять лошадей.

Толпа народа с криком бросилась на Галкина...

— Это событие по случаю падежа скота совершается,— рассказывал кучер, въезжая в свою Ивовку.— Собираются ночью бабы со всей деревни, растрепавши волосы, в одних рубахах, берут кто дубину, кто косу, на вдову надевают хомут (без шлеи), запрягают ее в соху, по бокам сохи становятся девки, а править сохою берется кантонист, и после этого все гурьбой идут вокруг деревни. Еще с собой берут пастуха, кошку и собаку и поют: «Смерть, смерть коровья — не губи нашу скотину: мы зароем тебя с кошкой, собакой и кочетом в землю». На дороге им никто не попадайся — убьют!

— Вот этот случай можно описать в газете,— выговорил Галкин».

Уточнен также образ Чаркина. Спившийся человек, один из участников «Деревенской газеты», «барской забавы», Чаркин в первой редакции произносил, например, следующие покаянные речи: «У меня кое-что еще уцелело в душе. Но в сущности учителем быть — я не могу!»; «Когда-то разные идейки бродили в голове, теперь ничего этого не осталось... Замерзло все,— одолела привычка! (Учитель вздохнул.) Я вам скажу откровенно; я сейчас бы отдал половину моей жизни за то, чтобы только не быть учителем... Какой я учитель?..

— Но у вас, Егор Кирилыч, есть сведения; вы в высшем учебном заведении воспитывались; вам грех заглушать все это в себе...

— Разве вы не знаете,— заметил учитель,— чего стоит передать ученику эти сведения? Тут надо много условий... И при моем образе жизни это невозможно совсем.— Одним словом, учитель любил выпить. Общий голос помещиков, среди которых он обращался, решил давно, что он «личность потерянная», с чем учитель был вполне согласен, и в этом ему, конечно, более других надо верить». На стр. 141 после слов «дал ему статью под заглавием «Нищий солдат» были слова его же «и сказал: «Это из давнишних записок: теперь я так не пишу...»

Положению учителя в сельской школе посвящены многие поистине талантливые страницы произведений Н. Успенского разного периода (см. примеч. к «Экзамену»). Однако в комментируемом произведении сам автор счел, по-видимому, приведенные речи учителя противоречащими его образу.

Значительно сокращен и переработан также конец VIII главы.

Вместе с тем некоторые сокращения, сделанные при подготовке издания 1864 года, вызваны были, возможно, соображениями цензурного характера (например, на стр. 145 перед словами: «— Ну, говорите, для чего вы созданы», снято: «В заключение я спросил опять о сотворении человека»). Однако нет полной уверенности и в том, что сокращения подобного рода вызваны не творческими соображениями (например, в диалоге:

«— Отвечай, Петр! что с нами будет на страшном суде?

— Да все помрем, батюшка...

— *Где, на страшном суде?..*», хотя последняя реплика, снятая автором, включалась в изданиях 1930 и 1933 годов в основной текст).

Рецензенты «Сына отечества» и «Санкт-петербургских ведомостей», отмечая, «истинный юмор» и большую наблюдательность Н. Успенского, считали рассказ лучшим из напечатанных в 1860 году, а сцену чтения деревенской газеты — «верхом совершенства», одной из «достойных... кисти Гоголя, живо напоминающих его юмор и остроту, его меткость взгляда и наблюдательность» («Санкт-петербургские ведомости», 1860, № 54 и «Сын отечества», 1861, № 4). Несколько позднее, в рецензии на сборник Н. Успенского 1861 года, «Санкт-петербургские ведомости» назвали «Деревенскую газету» в качестве примера того, как юмор писателя «иногда под видом местных сцен захватывает явления более широкие, более общие» (1861, № 277). Критик «Русской речи» также писал, что в «Деревенской газете» «чрезвычайно ярко выступают на свет божий мнения помещиков, каких у нас еще не перечеть, о предметах первой важности», и высмеивал далее статьи «о воспитании детей» (крестьян-

ских, разумеется), о невежестве крестьян, «сочинения юных дворянчиков». Утверждая, что «рассказы г. Успенского... имеют в фактическом отношении смысл непреложных мемуаров», то есть, подчеркивая достоверность изображаемого, автор статьи критикует в то же время «просветителей» народа, дворянство с принципиально иных позиций, чем Н. Успенский. «Спасение» их он видит в земстве, «в совершенном слиянии дворянских интересов с интересами крестьян» («Русская речь», 1861, № 100).

Однако характерно, что в 1863 году, то есть в период наступления реакции, этот рассказ рассматривался как образец того, как «анекдоты» писателя «получают иногда забавный характер, только достигая крайней степени неправдоподобия, эксцентричности». «Чтение газеты мужиками представляет картину почти нечеловеческого безумия», — утверждает критик на страницах газеты, еще недавно совсем иначе оценивавшей эту сцену («Санкт-Петербургские ведомости», 1863, № 11).

Племянник писателя, Д. И. Успенский, сообщал, что в «Деревенской газете» «Николай Васильевич изобразил знакомое ему в Ефремовском уезде дворянское общество. Один из дворян, попавший в очерк, г. Кочетов, был крайне возмущен против Николая Васильевича. Опасаясь возможности появления подобных очерков в будущем, он обратился к отцу Василию:

— Если вы не остановите сына, то я буду жаловаться...

— Сын он мой, а ум у него свой, — отвечал отец Василий.

Кочетов, конечно, не был удовлетворен таким ответом и еще более волновался. В свою очередь разгорячился и отец Василий, никогда не робевший ни перед кем...

— Кочетов, — сказал отец Василий, — что ты орешь? ведь я не холоп твой.

Николай Васильевич нередко вспоминал этот ответ отца впоследствии («Исторический вестник», 1905, № 11).

Интересно отметить близость отдельных положений «Деревенской газеты» и рассказа «Из дневника неизвестного» Н. Успенского со статьей Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» («Современник», 1859, №№ 5—6), которая была одним из программных выступлений революционной демократии против основных тенденций либеральной печати — славословия начала царствования Александра II, сдобренного мелким «обличительством» (Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. 4, М. 1937, стр. 42—43 и др.).

Стр. 133. *Россия на пути своем к просвещению так рванулась вперед, что недаром Гоголь воскликнул: «Куда ты мчишься?»* — Галкин ссылается на заключительные страницы первого тома

«Мертвых душ», искажая мысль Гоголя, писавшего о великом будущем России. Ср. также эти декларации Галкина с оценкой либерального словословия в статье Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года»: «Уже несколько лет все наши журналы и газеты трубят, что мгновенно, как бы по мановению волшебства, Россия вскочила со сна и во всю мочь побежала по дороге прогресса...» (там же, стр. 41).

Стр. 146. *Экономические крестьяне* — бывшие до 1764 года церковными и монастырскими.

Стр. 148. *Мыт* — понос у животных.

ВЕЧЕР

Впервые напечатано в «Современнике», 1860, № 2. Окончательный текст отличается от журнального многочисленными сокращениями и исправлениями стилистического характера.

Несмотря на то, что «Вечер» напечатан в 1860 году, «есть основания думать, — справедливо замечает К. И. Чуковский, — что написан он несколько раньше, так как итальянская певица Анджиолина Бозио, о пении которой постоянно упоминают персонажи рассказа, к тому времени уже умерла (13 апреля 1859 года).

Всего вернее, что рассказ относится к зиме 1858 года, так как именно в это время зверинец Крейцберга был в Петербурге новинкой» (Н. В. Успенский, Соч., 1933, стр. 545).

«Вечер» — одно из немногих произведений Н. Успенского шестидесятых годов, в которых он обращается к изображению так называемых образованных слоев общества и высмеивает узость их интересов, бесцельность существования. Характерно, что герои «Вечера» — демократическая молодежь, студенты — чувствуют себя чужими в этой среде.

Стр. 162. *Что бы такое мне сказать... нешто о Наполеоне? Но... ложалуй, все испортишь.* — Здесь и на стр. 163 («говорят, Наполеон III новую мерзость сделал... — Вы говорите про Рим?») речь идет об экспансионистской политике Наполеона III в Италии.

...берет ут-диез в «Отелло». — Речь идет об итальянском оперном певце Энрико Тамберлике (1820—1889), с успехом выступавшем в Петербурге в опере России «Отелло».

Стр. 163. *А как вопрос о Суэском перешейке?* — В апреле 1859 года были начаты работы по строительству канала через Суэцкий перешеек. Концессия на эти работы была получена французским предпринимателем дипломатом Лессепсом еще в 1854 году от короля Египта, однако начало работ затянулось из-за противодействия Англии.

Впервые напечатано в «Современнике», 1860, № 3, двенадцатым в цикле «Очерков народного быта». Окончательный текст отличается от журнального отдельными сокращениями и исправлениями стилистического характера.

Н. Г. Чернышевский оценивал этот рассказ очень высоко, считая, что он может помочь понять, «отчего... за малочисленными обидчиками остается сила, а бесчисленные обижаемые находят себя бессильными». Приведя ту часть «Обоза», в которой описан расчет мужиков-возчиков с хозяином постоянного двора, из которого видно, что «тупоумность» мужиков объясняется прежде всего их убеждением, что «хозяина постоянного двора не переспоришь», Чернышевский пишет: «Кажется, если бы г. Успенский написал только эти три-четыре страницы о народе, мы и тогда должны были бы назвать его человеком, которому удалось так глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить перед нами коренную причину ее тяжелого хода, как никому из других беллетристов. Когда вы прочтете эти страницы, вы вспомните, что было кое-что о том же предмете замечаяемо и другими, начиная с знаменитой сцены в «Мертвых душах», когда Чичиков расспрашивает у мужика о дороге в деревню Маниловку. Но то все говорилось мимоходом, и смысл сказанного сглаживался резким выставлением других подробностей народной жизни». И хотя в «простом народе рутинно точно так же тупа, пошла, как во всех других сословиях», Чернышевский предостерегает читателей Н. Успенского от «заключений о ...несостоятельности... надежд» на «улучшение судьбы народа». Критик высказывает веру в то, что народ способен действовать «энергически».

Характерно, что уже тогда Чернышевский, считавший, что «только немногие, очень горячо и небестолково любящие народ, поймут, как достало у г. Успенского решимости выставить перед нами эту черту народа без всякого смягчения», предсказывал вместе с тем, что вряд ли смогут «простить ему этот отрывок квасные патриоты, разряд которых гораздо обширнее, чем воображают разные господа, подсмеивающиеся над квасными патриотами, а сами принадлежащие к их числу» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VII, М. 1950, стр. 870—877).

Правда, в первых откликах либеральной печати на сборник 1861 года рассказ еще оценивается положительно. В № 11 «Отечественных записок», появившемся за несколько дней до выхода в свет «Современника» со статьей Чернышевского, «Обоз» отнесен к тем произведениям Н. Успенского, в которых писателю «дается

неподдельный юмор», где он сумел «легкими штрихами коснуться того, что не поддается самому обстоятельному описанию». «Сын отечества» также считал, что рассказ этот «приложим ко всей Руси» (1861, № 52).

Однако уже в конце 1861 г. Достоевский утверждал, что «Обоз» «написан для того, чтоб посмеяться над мужиками, что они не умели считать». Впадая в противоречие с собственным взглядом на творчество Н. Успенского как на «фотографическую машину», Достоевский вместе с тем считает (рассматривая это, разумеется, как недостаток), что в рассказе наиболее четко сказались убеждения («предзаданные взгляды») писателя: «Не верим мы, да и не можем поверить, чтоб ничего, кроме этого, в действительности, в самом матерьяле-то, не было... конечно, было и другое, но г. Успенский не заметил другого из-под своего взгляда, потому что ему важно было то, о чем он хотел писать» («Время», 1861, № 12).

П. Анненков считал, «Обоз» лишь свидетельством «замечательной способности» Н. Успенского «схватывать на лету каждое явление», его «спокойного юмора и откровенной веселости», оговариваясь, однако, что «отчасти» и в этом рассказе, как и в «Деревенской газете», видно, по его мнению, стремление писателя к «крайней степени неправдоподобия, эксцентричности», которыми достигается «забавный характер» его «анекдотов» («Санкт-петербургские ведомости», 1863, № 11).

Иллюстрацией того, сколь широко распространенным уже вскоре стал взгляд «квасных патриотов» на «Обоз», может служить оценка А. Головачева. Считая «Обоз» одним из лучших очерков, он тем не менее пишет, приведя, как и Чернышевский, сцену, где «мужики рассчитываются за постой», что «несмотря на типичность языка и многие *хорошие* слова, карикатурность сцены бросается в глаза» («Современник», 1864, № 5; ср. также «Дело», 1878, № 5 и стр. 613 наст. изд.).

Н. К. Михайловский называл «Обоз» в качестве примера того, как Н. Успенский, в котором «живет юмористическая жилка, побуждающая его известным, своеобразным манером освещать картины действительности, преувеличивать некоторые ее черты», «пересаливает» в этом преувеличении. Он также писал об «Обозе», как о карикатуре, «однако даже эта карикатура, по его мнению, свидетельствует только о том, что пришел конец образам Савосек-зверей, нуждающихся в кнуте и узде, и Савосек-пейзан с розовыми бантиками на шее. Ведь Савоськи сами друг про друга рассказывают, как один козу на колокольню тащил, другие всемером одну утку стреляли, и проч., а ведь никто же не сомневается, что Савоськи друг другу близки» («Отечественные записки», 1877, № 2).

Сам Успенский вспоминал впоследствии: «Мой «Обоз» стяжал мне неувядаемую славу «знатока народного быта», неоднократно удостоивался чести быть прочитанным на сцене Малого театра Садовским, а в Александринке ему пришлось даже фигурировать в качестве драматической пьески в бенефис Васильева 2-го», который «в таком совершенстве исполнил роль лакея с отмороженным носом, что привел публику в восторг». (Н. В. Успенский, Из прошлого, М. 1889, стр. 100—101).

БРУСИЛОВ

Впервые напечатано в «Современнике», 1860, № 10. Окончательный текст рассказа отличается от журнального незначительными сокращениями и разночтениями стилистического характера.

Племянник писателя Д. И. Успенский сообщает со слов родных, что «Брусилов», как и «Декалов», написан в семинарии: «В «Брусилове» был осмеян один из семинарских преподавателей. Очерк сделался известным самому преподавателю, но последний, говорят, отнесся к автору вполне разумно...— Может быть, писатель будет...— заявил он». Д. И. Успенский оговаривается, однако, что, по всей вероятности, «первоначальная редакция этих очерков была изменена впоследствии» («Исторический вестник», 1905, № 11).

Несомненна автобиографическая основа рассказа. Сам Н. Успенский — бывший бурсак, тоже оставил духовную семинарию, чтобы поступить в Петербургскую медико-хирургическую академию. Тяга в среде семинаристов к естественным наукам была характерна для шестидесятых годов, хотя решались на подобный шаг лишь наиболее «развитые» из них (ср., например, повесть Решетникова «Ставленник»).

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Впервые напечатано в «Современнике», 1861, № 1. Окончательный текст отличается от журнального мелкими разночтениями стилистического характера.

Свидетельством того, сколь неверны были в большинстве своем оценки А. Головачева, является то, что этот небольшой очерк, весьма характерный для творческой манеры писателя (ср. стр. 19), А. Головачев назвал среди произведений Н. Успенского, отличающихся, по его мнению, «большою бесцветностью» и являющихся

примером неудавшейся попытки писателя «уловить речь простолюдина во всей ее тонкости и притом в тех случаях, где речь идет о самых простых, обыденных вещах» («Современник», 1864, № 5).

ИЗ ДНЕВНИКА НЕИЗВЕСТНОГО

Впервые напечатано в «Современнике», 1862, № 1. До появления рассказа в печати он был по рекомендации Некрасова, считавшего его «очень хорошим» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. 10, М. 1952, стр. 465), прочитан Н. Успенским на одном из первых вечеров Литературного фонда в пользу недостаточных учащихся.

При подготовке издания 1864 года Н. Успенский подверг рассказ значительным сокращениям. Так, описание водворения Неизвестного в избе мужика, заканчивающееся в окончательном тексте фразой: «Со мной был самовар, который вскоре шумел на столе» (стр. 188), имело в «Современнике» следующее продолжение:

«— Не угодно ли вам чаю, Егор Трофимыч? — спросил я.

— Если ваша милость не побрезгает, — отвечал мужик.

— Сделайте одолжение... Каков у вас нынче хлеб?

— Да умолотом плох... вот гречишка попрела и овес тоже не добре...

— А другие хлеба? тоже плохи?

— Плохи-с... вот тоже с чего-то скотина началадохнуть, — печально сказал мужик.

— Давно ли?

— Да вот перед Миколой она почала... знамо, кормочку ей нету... А то вон у меня недавно лошадь пала... Сыночек помер...»

В тексте «Современника» в описании посещения крестьянской избы «парень говорил своей матери-старухе» не только, что «нет денег на подушные», но и о том, что «сарай развалился». На стр. 190 после слов «Ученики все читают» в «Современнике» было: «Нередко слышу в семействе хозяина толки о сбруях, снастях, о хлебе...»

Не исключена возможность, что некоторые из этих сокращений сделаны были в соответствии с цензурными требованиями. Вместе с тем следует иметь в виду, что нищета и в окончательном тексте — основная тема в записях дневника Неизвестного, касающихся жизни пореформенной деревни.

Иной характер сокращений на стр. 191 и 193, например после

слов «где вопияло зло из-за рубля» в журнальном тексте было: «Помощь, вероятно, была так кстати, что ко мне пришел седой старик и упал в ноги... Я видел пред собой седую голову, плачущее старое лицо!..» и в июльской записи после слов «Все старому» было: «Средства мои истощаются...», а после «Каждый день бедность» — «и сознание, что нечем помочь...» и т. д. Автор стремился, по-видимому, не сосредоточивать внимание читателя на образе Неизвестного, не совсем ясно, очевидно, ему. Это, кстати, использовано было враждебной критикой сразу же по выходе номера «Современника», в котором был напечатан рассказ. «Северная пчела» в своем очередном обзоре «Наши журналы» выступила с резко враждебным по отношению к Чернышевскому и Н. Успенскому отзывом. С точки зрения критика, герой рассказа, «молодой человек, был пустозвоном... не умел нисколько сойтись с мужиками и смотрел на них в лорнет... даже пустыньских барышень он не умел характеризовать порядочно... даже намек на какое-нибудь человеческое проявление не заметно у него ни в мужиках, ни в барышнях, ни... в самом Неизвестном», однако Чернышевский «сказал бы», утверждает автор фельетона, что «в этом рассказе изображено состояние всего сельского населения России, состояние помещиков» («Северная пчела», 1862, № 67).

А. Головачев, не поняв основную идею рассказа, считал его одним из тех, где Н. Успенский «уже отстает почти вовсе от народа ...и переходит в другую сферу» («Современник», 1864, № 5).

Стр. 189. *Намычка* — расчесанная кудель.

Стр. 191. *И жизнь, как помотришь с холодным вниманьем...* — эти слова из стихотворения Лермонтова «И скучно и грустно» не однажды повторяют в произведениях Н. Успенского герои-дворяне, внешне приобщившиеся к культуре.

Стр. 192. «*Le Nord*» — издававшаяся в Брюсселе газета, субсидировавшаяся крупным русским откупщиком Кокоревым.

Стр. 193. *Что для меня такое — грамотность вводится? Негров хотят освободить? дороги, канал какой-нибудь проводят?* — Здесь названы темы, характерные для периодической печати того времени.

Стр. 195. *Прощай, деревня!.. Лежи больной... вся надежда на твой организм...* — Позднее в своих «Записках сельского хозяина» (см. примеч. к «Производительным силам», «Экзамену»), подчеркивая «нравственное возрождение русского крестьянина, когда «предмет его долгих, мучительных дум, воля, осуществился», писатель утверждал вместе с тем: «Понятно, что крестьянин, воспитанный в рабстве, не мог вдруг сделаться свободным в настоящем значении этого слова». «Вся Россия представляла печальное зре-

лище регресса и застоя,— пишет Н. Успенский,— и вот явилась отмена крепостного труда... больной поставлен в лучшие условия, и началось выздоровление, которое, однако, до тех пор не совершится, пока пораженные органы не заменятся новыми». Только тогда, когда крестьянин не должен будет думать об одном — «не быть раздетым, разутым и голодным», будут «новые люди из крестьян». «От теперешних крестьян, недавно бывших жертвами крепостного состояния, ждать нечего — не воскреснуть им!»

С Т У Д Е Н Т

Впервые опубликовано в «Искре», 1862, № 4 за подписью: В. Печкин. Окончательный текст рассказа отличается от журнального незначительными разночтениями стилистического характера.

Высоко оценил рассказ «Студент» Н. К. Михайловский: «Есть у него...— писал он в своей рецензии на издание 1876 года,— маленький, но прелестный отрывок «Студент». Бедный студент, сын дьячка, умирает в Петербурге... Представим себе, что... та же тема смерти голодного студента предложена трем писателям: Решетникову, Левитову и г. Николаю Успенскому. Решетников развил бы ее с томительными подробностями, описал бы каждый час каждого дня несчастного, и что он ел, и что он думал об еде, и проч. Левитов прибег бы к пафосу, заставил бы, например, сырые стены конуры с ужасом присматриваться к агонии молодого человека и т. п. Г-н Успенский освещает картину юмористической, не знаем уже веселой ли, но невольно заставляющей улыбнуться струей «трех рублей серебром» и советов насчет франтоватой шпаги и мундира. Никакого не может быть сомнения в том, что личное отношение всех трех писателей к сюжету было бы совершенно одинаково, но выразилось бы оно различно, сообразно особенностям таланта каждого из них» («Отечественные записки», 1877, № 2).

Стр. 199. ... *нет, Буссе. Кошанского не надо, да и существует ли такая арифметика?* — Буссе Ф. И. (1794—1859) — педагог, математик, автор учебников арифметики. Говоря о Кошанском, брат студента путает, вероятно, автора учебника риторики Н. Ф. Кошанского (1781—1831) и Коши, французского математика (1789—1857).

Р А Б О Т Н И Ц А

Впервые напечатано в «Искре», 1862, № 45. Окончательный текст отличается от первопечатного мелкими разночтениями стилистического характера.

Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1862, № 11 и 1863, № 1 и 2.

Готовя издание 1864 года, автор подверг текст рассказа существенной правке. Так, заново был написан конец (от слов «Ну! наши приехали! — сказала пономариха» (стр. 229) и до конца). Вместо него в «Отечественных записках» было:

«Дьячок объяснял Декалову:

— Ты говоришь, заблудился... не заблудился!.. Почему... мы с тобой нынче в церкви литургисами... Ведь ты — сын мой? следовательно, не забудь слова: «Видя сатану яко молнию спадшу с неба»... Помнишь, как ученики Христовы спрашивали: «Господи! покажи нам отца!..»

Кроме того, в тексте письма отца к Декалову в семинарию был снят абзац (после слов «за это тебе сторицею воздастся», стр. 222): «Вон наш благочинный — тоже дьячков сын, а посмотри, как ликовствует: триста колодок одних пчел да пять стоялых жеребцов... А все за уважение к начальству бог ему посылает...»

Сокращена одна из сцен в описании жизни Декалова дома: после слов: «Дьячок, чтобы не мешать бабам, отправился на печку» (стр. 226) в журнале было:

«— Я тебя не поучил петь: «Дева днесь...» Завтра поедем по приходу; — сказал он сыну.

Дьячок достал с полатей тревник и, держа пред ним зажженную лучину, говорил:

— Видишь: Христос родился в яслях... по-нашему, в простой комяге; ночью было дело; все волхвы-мудрецы шли к нему на поклонение с золотом и драгоценными подарками... И их вела туда звезда, которая явилась на востоке; а на небе ангелы пели: «Слава в вышних богу... отроче младо родилось в вертепе...»

Так как дьячок не объяснил сыну, что рождение Христа было в такой стране, где не бывает зимы, то Декалову представлялась зимняя ночь и волхвы, шедшие по снежным пустыням...»

На этой же странице сокращен текст речи, которую написал сыну для чтения у помещика дьячок.

Кроме того, переделан был эпизод сборов причта к помещику. Вместо слов «Ступай, беги за другим священником да за дьячками... Причт явился в доме помещика...» (стр. 227) в журнальном тексте было: «Ступай, беги за другим священником да за дьячками... Дьяконица! подай ясу...»

Через час весь причт на шести подводах приближался к бар-

ской конюшне, считая неловким подъезжать прямо к подъездному крыльцу. От конюшни все двинулись пешком к барскому дому, оправляя на дороге волосы, полукафтаныя и сюртуки; а иные только надевали рясы.

— Господа, попротяжней пойте... Дьячки! не тралалакайте, а дело делайте... эту привычку надо бросить... ноги вытирайте почище...

Причт осторожно вошел в переднюю...»

Весьма возможно, что исправления эти вызваны были необходимостью удовлетворить определенные цензурные требования или избегать дополнительной духовной цензуры, так как большинство снятых или переделанных отрывков представляет в несколько сниженном, бытовом виде как эпизоды из священного писания, так и самых священнослужителей.

Вместе с тем допустимо предположение, что писатель увидел перегруженность рассказа цитатами и реминисценциями из священного писания, а также эпизодами, прямо не связанными с основной темой рассказа. К. И. Чуковский, например, ни один из указанных случаев не рассматривает как цензурный, хотя в случаях более мелкой правки такого же характера для издания 1864 года возвращается к тексту «Отечественных записок».

Гораздо более вероятны цензурные соображения в следующих изъятиях: в письме к Декалову, там, где отец его, сообщая, что заболела лошадь, пишет: «потому тревожусь, как бы не издохла» (стр. 221) — в журнальном тексте вместо «тревожусь» было «прошу царицу небесную». То же на стр. 214: текст «Ходи чаще в церковь и проси бога о смягчении своего характера... чтобы он изгнал из тебя эту дурь» был исправлен для издания 1864 года: «Старайся о смягчении своего характера... чтобы вышла из тебя эта дурь...»

Однако и эти случаи нет основания рассматривать как явное, вынужденное ухудшение текста (в изд. 1933 года, например, в последнем случае первая часть фразы печатается по «Отечественным запискам», а вторая — по изданию 1864 года).

Современная Н. Успенскому критика не заметила этого рассказа, глубоко лирического и вместе с тем исполненного обличительного пафоса. Лишь в год смерти писателя автор одной из газетных заметок, Н. Юшков, писал: «...видимо, почивший теперь писатель горячо любил свою родину, свое село, с его свободной жизнью, среди природы и своих сверстников — детей причетников и крестьян. Его рассказы «Декалов» и «Ночь под светлый день» несомненно содержат в себе биографические черты» («Волжский вестник», 1889, № 269). По рассказам о детских годах Н. В. Успенского его брата

Михаила известно, что будущий писатель «косил, пахал, сеял, в ночное с лошадьми ездил...», «общество, в котором он главным образом проводил время, были крестьяне» («Исторический вестник», 1905, № 11; см. также примеч. к очеркам «Ночь под светлый день» и «Брусиллов»).

Н. Успенский был одним из первых писателей, заговоривших в литературе о страшных нравах, царящих в бурсе.

К теме этого рассказа писатель обращался неоднократно (в «Брусиллове», «Святках», а также в более поздних очерках, не включенных в настоящее издание: «Бурсацкие нравы», «Былое», «Из духовного быта», «После каникул» и др.).

Стр. 229. *Пир Валтасара*.— По библейской легенде, во время пира у халдейского царя Валтасара (Балтазара) таинственная рука начертала на стене письмена, предвещавшие ему гибель. В ту же ночь Валтасар был убит. Употребляется в значении: веселое, легкомысленное препровождение времени в момент какого-либо бедствия.

ПРОПАЖА

Впервые опубликовано в «Санкт-петербургских ведомостях», 1863, № 2, 3 января, под рубрикой: «Рассказы из народного быта 1.» (ср. примеч. к «Колдунье»). Текст первой публикации почти совпадает с текстом издания 1864 года и последующих, за исключением одного места. Вместо окончательного текста:

«Старик потащил из угла лыки и сказал:

— Без бога не до порога.

— Да! — отвечал сосед, — видно, что попросишь бога, то и есть» (стр. 233), в газете было:

«Старик потащил из угла лыки и начал:

— Без бога не до порога. Ехали, стало быть, по полю Николай-угодник с Ильей наделяющим; мужик богатый пахал. «Бог помочи тебе, мужичок!» — «Спасибо». — «Что сеешь?» — «Пшеницу». — «Это хорошо, как бог даст, родится». А мужик и говорит: «Не на то сеют, чтобы не родилось, а на то, чтобы родилось». Они и поехали. Илья наделяющий говорит: «Погоди, я ему рожу пшеницу... всю градом побью!» Зашла туча. Николай-угодник пришел к мужику на двор и говорит: «Мужичок! Ничего не сделаешь! поди ты в церковь воду отсытяти и молебен отслужи Илье наделяющему и поставь ему свечку десятириковую, а мне грошовую». Мужик пришел в церковь. Николай-угодник и говорит Илье наделяющему: «Илья наделяющий! вишь, вас как мужичок просит со слезами! и поставил вам свечку десятириковую, а мне грошовую и то я не сердчаю!» — «Ну и я, говорит Илья, сердчать теперь не буду».

— Так вот, стало быть, с чего взято-то! — заключил старик.

— Да! вот поди ты,— сказал сосед,— видно, что попросишь бога, то и есть».

Не исключена возможность, что рассказ старика о том, как святые «серчают» на не угодных им мужиков и мстят им, снят был в соответствии с цензурными требованиями.

«Пропажа» — одно из немногих произведений, рисующих не только тяжелую жизнь, в которой пропача лошади равносильна смерти, но и товарищескую солидарность крестьян. Между тем А. Головачев считал, что этот рассказ подтверждает его мысль о том, что у Н. Успенского народ «всегда глуп, необразован, грязен, подчас зол — и только» («Современник», 1864, № 5).

Стр. 231. *Кочатыг* — шило для плетения лаптей.

КОЛДУНЯ

Впервые опубликовано в «Санкт-петербургских ведомостях», 1863, № 4, 5 января, под рубрикой: «Рассказы из народного быта. 2» (ср. примеч. к «Пропаже»). Окончательный текст рассказа отличается от первопечатного сокращениями и разночтениями стилистического характера.

ФЕДОР ПЕТРОВИЧ

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1866, № 10. Окончательный текст отличается от журнального немногочисленными разночтениями стилистического характера.

В издании 1871 года снят был имевшийся в журнальном тексте подзаголовок «Картины из юрской эпохи», подчеркивавший связь «Федора Петровича» с незадолго до того опубликованной в тех же «Отечественных записках» (1866, № 2) «Юрской формацией», публицистическим произведением, написанным в форме размышлений студента, «проезжающего уездные города, села и деревни с безлюдными улицами, раскрытыми и ветхими лачужками, глядящими мертво и безотрадно», «все еще отыскивающего причин, вследствие которых сложилась уездная жизнь, с ее ужасающею формой и содержанием», «лютою бессодержательностью и грязью». Считая, что «подлежащая исследованию организация более или менее знакома каждому», то есть типична, автор подчеркивает, имея в виду, вероятно, цензурные требования, что «перед нами... исключительно один уезд». Стремление прямо заявить о своем отношении к современной ему действительности (по тем же, вероятно

цензурным, соображениям статья отнесена к 1854 году) и вместе с тем необходимость оглядки на цензуру предопределили, по-видимому, самую форму «Юрской формации» — произведения, перегруженного большим количеством не всегда правомерных намеков и сопоставлений, в котором ясно ощутимо увлечение автора естественными науками, подчас механическое применение их законов к общественной жизни. Он сравнивает окружающую его действительность с юрской эпохой, временем царства пресмыкающихся, «наружные признаки» которых он определяет, как «тупость ощущений, неподвижность, бедность и неразвитие наружных органов», «пожирание слабых сильными». «Обилие гадов» (отметим, что образ этот совпадает с добролюбовским образом в статье «Что такое обломовщина?») в юрскую эпоху «как результат.. насыщенности воздуха углекислотой» писатель сопоставляет с невежеством, «которым дышит весь наш уезд».

Разумеется, в «Юрской формации» сказались не только сильные, но и слабые стороны мировоззрения писателя. Подчеркивая «силу упорства, с какою отстаивает свое бытие... рутину, обычай, всякая социальная форма», автор так и не сумел ответить на вопрос, «докуда будет продолжаться» эта «бесконечная неподвижность и оцепенение», не видя в справедливо отрицаемой им социальной форме» ничего, кроме «летаргической спячки», не зная, каковы пути изменения отрицаемой «социальной формы».

Однако прежде всего это произведение представляет интерес как выражение отношения писателя к пореформенной действительности. «В человеческих обществах,— считает автор статьи,— прогресс должен произвести то, чтобы труд служил источником богатства и жизни каждого трудящегося», между тем как в действительности «разделение труда таково, что один человек и повар, и конюх, и псарь, и земледелец, и столяр, между тем как другой — хороший специалист по части волокитства и отдавания строгих приказаний... можно, не зная, как и на чем растет рожь, получать с этой ржи деньги, жуировать за границей... и т. д. Точно так же наоборот», — пишет далее Н. Успенский, приводя стихи Никитина:

Из земли рыть можно золото,
Самому быть сытым коркою.

Поистине безотраднa картина, сложившаяся в воображении писателя: «Уездная жизнь полна безлюдья и грозного безмолвия. Там и сям в степи можно встретить громадных черепах, недвижно

лежащих в своей непроницаемой для просвещения коре... Где-нибудь увидишь стаю полипов-чиновников и мещан с присасывательными бородавками; каракатицу-станового... разьежающего с распростертыми щупальцами для высасывания чужих соков и с чернильным мешком — мутить правду с кривдой; гоголевского городничего... бегающего по равнинам народного невежества; где-нибудь в степи в садах, среди прудов отдыхает громадный крокодил, не подпускающий к себе никого на расстоянии по крайней мере 5000 десятин земли,— и все живое трепещет его; там, в глубокой лощине, живет самодур аллигатор, не признающий своих детей... и невдалеке, окружив болото, квакают сытые лягушки, как будто толкующие о *mauvais genre* и *jolie toupure*... или вдруг ряд плотоядных черепах, расположившихся на большой дороге,—разжиревших дворников, бывших старост и приказчиков; брюхоногий дыячок, везущий набранные пироги и с почтением глядящий на прочные раковины — постоянные дворы — плотоядных животных).

Именно такова картина «уездной жизни» и в комментируемом очерке. Сам Федор Петрович, «опытный паук», — целовальник из «Хорошего житья» в новых исторических условиях, для которых эта фигура становится все более и более типичной.

«В последнее время,— говорит «оголтелый, отживающий, больной» помещик в «Убежище Монрепо» Салтыкова-Щедрина,— русское общество выделило из себя нечто на манер буржуазии, то есть новый культурный слой, состоящий из кабатчиков, процентщиков, железнодорожников, банковых дельцов и прочих казнокрадов и мироедов... эта праздношатающаяся тля... в каждом углу... сосет, точит, разоряет и вдобавок нахальничает... Помещик, еще недавний и полновластный обладатель сих мест, исчез почти совершенно. Он захужал, струсил и потому или бежал, или сидит, спрятавшись, в ожидании, что вот-вот сейчас побегит. Мужик ничего от него не ждет, буржуа-мирод смотрит так, что только не говорит: а вот я тебя сейчас слопаю» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Собр соч., т. XIII, стр. 111—112; ср. также стр. 108—110).

Образ Федора Петровича вообще очень близок по своему содержанию образам «чумазных» у Щедрина: Деруновых, Колупаевых и Разуваевых. По справедливому замечанию К. И. Чуковского, целовальник Н. Успенского — «кандидат в черносотенцы. Недаром он, почетный церковный староста, помогает полиции ловить дезертиров и призывает уважать царев кабак как учреждение высокой государственной важности, украшенное двуглавым орлом» (Н. В. Успенский, Собр. соч., 1931, стр. 511).

Другой герой, Захар Ильич,— один из тех «либеральных» крепостников, о которых В. И. Ленин писал в статье «Либералы и сво-

бода союзов» (1913), что они «полвека тому назад говорили, что полная отмена привилегий помещиков не есть «лозунг дня» для «масс» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 54).

Стр. 250. «Странник» — издававшийся с 1860 года духовный журнал.

Стр. 267. *Вот вам русский человек! — сказал Захар Ильич... — лучше сказать, байбак...* — Захар Ильич повторяет здесь высказывавшееся в консервативной критике и ставшее широко распространенным в те годы в определенных кругах глубоко ошибочное положение. Обломов — типический образ русского помещика, а не русского человека вообще.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ

Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1867, № 10, с подзаголовком «Картины барской жизни». Окончательный текст отличается от журнального мелкими разночтениями стилистического характера.

Герой очерка Вукол Андронич — типическая фигура крепостника, «оскорбленного новыми порядками». В своих «Записках сельского хозяина» (см. примеч. к «Из дневника неизвестного» и «Экзамену») Н. Успенский так характеризовал положение и роль помещиков-землевладельцев после реформы: «Большая часть из них... проникнуты унынием, даже... отчаянием»; «жизнь без труда, без понятий о своем долге, жизнь, полная довольства, неги, лени — сказалась, наконец, в своих печальных результатах...» «Не воскреснуть... этому классу! Ему еще надобно учиться с азбуки, но время давно прошло, и надо ждать новых людей из их быта, которые бы воспитали в себе понятие о труде, о гражданских нравах и обязанностях... Большой умрет, это ясно... — писал Н. Успенский, имея в виду пережитки крепостничества и все с ними связанное. — И мы должны пожелать даже его скорейшей кончины, так как он связывает своим гнилостным существованием нашу собственную жизнь и его болезнь не позволяет еще природе начать новые постройки». Писатель приходит далее к выводу, что «без полного разрушения невозможно возрождение».

Стр. 299. *...не уступая по своему объему плутарховским параллелям великих мужей* — ироническое сравнение с содержащим большой исторический материал трудом древнегреческого писателя-моралиста Плутарха: «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греческих и римских деятелей.

С Л Е Д С Т В И Е

Впервые напечатано в «Искре», 1867, № 49—50, за подписью: В. Печкин. Бывшее в тексте «Искры» указание на то, что «Петербургские ведомости» (а не «наши газеты», как в окончательном тексте — стр. 307) заботятся «о введении такого кушанья», как «ко-нина, даже дохлая» «в употребление... одним беднякам», имело, вероятно, в виду какие-то конкретные статьи «Санкт-петербургских ведомостей».

О голоде, свирепствовавшем в России в 1867 году, писала в ту пору вся периодическая печать. Ср., например, статью В. А. Слепцова «Записки метафизика» и упоминание в его неоконченном романе «Хороший человек» о лете 1867 года, «когда слухи о голоде, еще с ранней весны ходившие в городе, с каждым днем становились грознее и тревожнее» (В. А. Слепцов, Соч., М. 1957, т. 2, стр. 390).

С А Ш А

Журнальная публикация повести не установлена. В 1867 году она включена была автором в издание: Н. Успенский, Новые рассказы, СПб.— М. 1867.

Н. К. Михайловский в своей рецензии на издание «Повестей, рассказов и очерков» Н. Успенского 1876 года назвал «Сашу» одним из «замечательно законченных очерков» Н. Успенского («Отечественные записки», 1877, № 2). «Удивительно, что г. Скабичевский не заметил,— писал также Плеханов,— некоторых потрясающих и поистине превосходных сцен в длинном рассказе «Саша» (Г. В. Плеханов, Соч., т. 5, стр. 344—345).

По свидетельству Д. И. Успенского, «родные Николая Васильевича хорошо знали несчастную Сашу («Исторический вестник», 1905, № 11).

КАТЕРИНА

Журнальная публикация рассказа не установлена. В 1867 году он был включен автором в сборник «Новые рассказы». Весьма возможно, что писатель работал над ним в то же время, когда и над повестью «Саша».

Г. В. Плеханов считал образ бабы в рассказе «Катерина», как и образ крестьянки-матери в рассказе «Старуха», свидетельством того, что Н. Успенский «сильно сочувствовал» русскому крестьяни-

ну, но сочувствовал «по-своему, то есть как «просветитель»: «Если он видел безобразные черты в характере крестьянина,— пишет критик,— то он... передавал их в своей картине, относя их на счет «обстоятельств», речь о которых так часто идет у Чернышевского» (Г. В. Плеханов, Соч., т. 5, стр. 344—345).

ДЕРЕВЕНСКИЙ ТЕАТР

Впервые опубликовано в «Искре», 1868, № 4, за подписью: В. Печкин. Окончательный текст отличается от первопечатного единичными мелкими разночтениями. Основные действующие лица «Деревенского театра» в этом тексте — помещик, «ближний сосед» и сельский старшина. Между тем внимательное чтение убеждает в том, что при публикации в «Искре» здесь несомненно имело место вмешательство цензуры. Первоначально вместо соседа в тексте было лицо духовного звания: помещик, обращаясь к собеседникам, сетует на то, что «не учат как следует прихожан» (а надо «учить уважать чужую собственность»), что народу «надобно... почаще говорить... проповеди» (это, кстати, в ответ на реплику «соседа», разглаживающего «свою длинную бороду»); о том же свидетельствует и другая реплика помещика, обращенная к «соседу» и старшине: «Остается вразумлять этот народ, и мы (курсив мой.—М. Б.) первые обязаны об этом думать. *Пастырь духовный* должен влиять на мужиков посредством проповедей, *старшина* посредством внушений и строгого надзора за порядком. Я, как помещик...» Характерна также лексика «соседа»: он, например, говорит «седьмица» вместо «неделя» и т. д. В настоящем издании, как и в издании 1933 года, слова «сосед» и «ближний сосед» заменены словом «священник».

Стр. 386. ...*отправлю ее в газету «Весть». Там с удовольствием опечатают.*— Имеется в виду издававшаяся в Петербурге в 1863—1870 гг. реакционно-крепостническая газета «Весть».

ИЗДАЛЕКА И ВБЛИЗИ

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1870, №№ 1, 2 и 3, для которого предназначалось автором еще до окончания работы. 28 октября 1869 года Н. Успенский писал редактору журнала М. М. Стасюлевичу о том, что «недели через две» надеется показать ему «продолжение повести» («Стасюлевич и его современники в их переписке», т. 5, СПб. 1913, стр. 246).

По отзыву Н. К. Михайловского, «Издалека и вблизи» «по замыслу захватывает чрезвычайно интересный мотив современной русской жизни» («Отечественные записки», 1877, № 2), но «для художественной обработки этого мотива требуется... не юмор, а кое-что другое», — пишет он далее, имея в виду прежде всего отсутствие у писателя сочувствия той части интеллигенции семидесятих годов, знаменем которой стало «хождение в народ». Позиция неверия в реальные результаты этого движения, занятая автором «Издалека и вблизи», не могла, разумеется, встретить сочувствия у Н. К. Михайловского, одного из идеологов русского народничества.

Между тем в этой повести нашли отражение существенные стороны русской действительности этого периода. Весьма показательны в этом отношении основные фигуры: одуревший от безделья князь, который пытается «играть» в увлечение хозяйством, в интерес к рациональному, научному ведению его; Новоселов, «изнеженный барич», пробующий «одеть мужицкий армяк», так как ему «надоел незаслуженный комфорт»; хозяйственный помещик-крепостник Карпов, считающий, что воля, которой «добивались» господа прогрессисты, сделала положение народа «безвыходным»; его дети, интеллигентная молодежь, сочувствующая и пытающаяся помочь народу, но не знающая, что для этого нужно делать.

Не менее типичны и такие эпизодические образы, как знакомый читателю и по другим произведениям («Производительные силы», «Федор Петрович», «Деревенский театр») пьяница-помещик, проповедующий, что мужика «только и можно прикрутить, когда ему есть нечего», от которого «только и слышишь ...последние времена пришли»; целовальник, снимающий у помещиков в аренду землю по три рубля, а мужикам раздающий по пяти, знающий, что за мужиками «не пропадет» данное в долг и без расписки («А бог-то?.. у всякого человека совесть есть... на дворе есть какая-нибудь скотинишка»); бобыль Андреяшка, не имеющий ни «подушных, ни пастушных», «каких стало появляться немало, особенно в последнее время», и т. д.

Стр. 394. *Грунтовой сарай* — навес на столбах, под которым посажены плодовые деревья. На лето раскрывается, зимой покрыт и забран досками.

Заказные луга — луга, на которых запрещено было крестьянам косить траву, пасти скот и охотиться.

Стр. 395. *Дюссо и Борель* — модные петербургские рестораны.

Стр. 410. ...о недавних правительственных распоряжениях относительно приходов и церквей. — Вероятно, речь идет о запрещении закреплять за девушками-сиротами священно- и церковно-служи-

тельские места их покойных отцов для передачи этих мест их будущим мужьям» (см. «Санкт-петербургские ведомости», 1867, № 204).

Стр. 415. *Написать такое же многотомное сочинение, как «История российского государства» Карамзина.*— Речь идет о двенадцатитомной «Истории государства российского» (1816—1829) Н. М. Карамзина.

Стр. 416. *...вопрос о пахоте недавно был возбужден в нашей литературе.*— Возможно, что имеются в виду «Исторические письма» (1868—1869) П. Лаврова, развивавшие мысль о долге интеллигенции перед народом.

Стр. 420. *...вы ведь не Рудины... вы люди новые... Зато у нас и другие вопросы... те век целый исполинского дела искали...*— Противопоставление героя дворянской литературы, «лишнего человека», новым людям, разночинцам, характерно для демократической литературы шестидесятых годов (ср., например, статью Добролюбова «Что такое обломовщина?» и образ Агарина («дела себе исполинского ищет...») в «Саше» Некрасова).

Стр. 422. *...Руссо, который в своем «Эмиле» советует добывать насущный хлеб собственными руками...*— В четырехтомном труде «Эмиль, или О воспитании» излагаются педагогические взгляды великого французского просветителя Ж.-Ж. Руссо.

Стр. 426. *...карамзинского Эраста, вспыхнувшего благородною страстью к «Бедной Лизе»*— см. повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792).

Стр. 427. *...Геркуланум и Помпею, за свою излишнюю доверчивость засыпанные огненной лавой Везувия.*— Древние города Италии Геркуланум и Помпея были разрушены и засыпаны пеплом в 79 году при извержении Везувия.

Стр. 431. *...что новенького... — всё об обрусении толкуют. «В ущелии... духовное лицо говорило проповедь абхазцам...».*— В 1810 году Абхазия была присоединена к России. Ко времени написания повести Н. Успенского относится утверждение «Положения о прекращении личной зависимости и поземельном устройстве» Абхазии (1870).

Стр. 432. *Вы еще не в могиле, вы живы...*— последняя строфа стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

Стр. 438. *«Иллюстрация».*— «Иллюстрация. Всемирное обозрение» — еженедельное издание; с 1863 года слилось с «Иллюстрированным листком» и стало выходить под названием «Иллюстрированная газета» (1863—1873).

Стр. 440. *Кокшаров Н. И. (1818—1892)* — известный русский минералог, академик, член академии наук в Риме и Мюнхене и др. *...не будь естественных наук, мы бы долго еще летали в эмпии*

реях... подобно Рудиным и Лаврецам, ударяя по струнам женских сердец.— Здесь так же, как и на стр. 420, люди шестидесятых годов противопоставляются «лишним людям», героям романов И. С. Тургенева «Рудин» (1855) и «Дворянское гнездо» (1858).

Стр. 446. *...авилоняне, что ль, строили памятник, когда было смещение языков.*— По библейскому мифу, когда вавилоняне начали строить башню, которая должна была достичь неба, разгневанный бог «смешал язык их», и они не смогли продолжать постройку, так как перестали понимать друг друга.

Стр. 447. *...в шармеровском фраке* — то есть во фраке от модного петербургского портного Шармера.

Стр. 454. *Верь, ни единый пес не взвыл тоскливее лентяя...*— неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Песня о труде».

Тот же поэт в одном месте говорит: «Роскошны вы, хлеба заповедные...» — Н. Успенский приводит здесь стихотворение Н. А. Некрасова «На родине» (1855).

Стр. 457. *А мы, образованный класс... прикидываемся благожелателями родины, рассуждаем по-потугински, что Россия гвоздя не выдумала, и сидим сложа руки где-нибудь за границей.*— Созонт Потугин — один из героев романа Тургенева «Дым» (1867), создававшегося в годы ожесточенной полемики писателя со славянофильством. В «обличительных» речах этого «совершенного западника» нетрудно увидеть отчасти и возражения самого Тургенева против реакционных теорий о «самобытности» России и «гнилом» Западе. Вместе с тем Потугин — не более чем «взволнованная улитка», по определению Тургенева.

Стр. 473. *Вамбери Арминий (1832—1913)*—известный венгерский путешественник и профессор восточных языков, автор переведенных к концу шестидесятых годов на русский язык книг: «Путешествие по средней Азии в 1863 г. Вамбери с картой» (СПб. 1865) и «Очерки Средней Азии» (М. 1868). Свое путешествие в Персию и Среднюю Азию совершал под видом богомольца-дerviша, присоединившись к партии возвращавшихся из Мекки паломников.

ЕГОРКА-ПАСТУХ

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1871, № 1. Работа над повестью, предназначавшейся для опубликования в «Вестнике Европы», относится к началу 1870 года. 20 марта Н. Успенский сообщил редактору журнала М. М. Стасюлевичу, что «в конце этого года» у него «будет большая повесть, которая уже начата» (вряд ли могли быть названы «большой повестью» «земские сцены» «Старое по-старому», напечатанные в «Вестнике Европы», 1870, № 11),

а в апреле того же года писал Стасюлевичу, что «большая вещь» «может быть готова в конце этого года, но... в таком только случае, если мои денежные дела не будут дурны как теперь», просил его предложить для напечатания кому-нибудь из редакторов газет свой рассказ («лишь бы поскорее выйти из стесненного положения»), а 26 октября сообщал, что «повесть «Пастух» окончена» («Стасюлевич и его современники в их переписке», СПб. 1913, т. 5, стр. 246—247).

Н. К. Михайловский считал «Егорку-пастуха» одним из «замечательно законченных» очерков Н. Успенского («Отечественные записки», 1877, № 2).

Интересно, что в очерках «Сцены в волостном правлении» и «Наши уездные деятели», опубликованных под псевдонимом в «Будильнике» (1871, №№ 8 и 34) и не учтенных в библиографии писателя, Н. Успенский возвращается к одной из тем «Егорки-пастуха», теме полнейшего произвола в решениях волостного правления, уполномоченного разбирать дела между крестьянами. В «Сценах в волостном правлении» в мировые судьи баллотируется помещик, которого привлекает только материальное содержание («две тысячи жалованья на земле не поднимешь»). Разумеется, его выбирают, «как человека благонамеренного... когда-то служившего на Кавказе... опытного», наказывая ему «своего брата не выдавать» и «вожжи не распускать» («Наши земские деятели»).

Стр. 498. *Алырник* — мошенник, бездельник.

Междворник — бобыль, нищий.

Стр. 500. *Пехтерь* — большая, высокая корзина для носки сена и мелкого корма скоту.

Стр. 505. *Пельки* — часть одежды, закрывающая грудь; отворот косоворотки и ее застежка.

Стр. 518. *Чижовка* — арестантская комната, чулан.

МЕЛКОПОМЕСТНАЯ БАРЫНЯ

Впервые опубликовано в «Будильнике», 1871, № 9, за подписью: В. Печкин. Окончательный текст рассказа отличается от первопечатного разночтениями стилистического характера.

В ЗЕМСКОЙ УПРАВЕ

Впервые опубликовано в «Будильнике», 1871, № 37, за подписью: В. Печкин. В издании 1872 года, кроме мелких разночтений, следует отметить сокращение: «Заявление гласного Капустина о

школах и больницах. По его мнению, как то, так и другое, ведет к изнеженности и разврату... крестьяне же наши, по милости бога, находятся в первобытном состоянии...» (стр. 538). Не исключена возможность, что выделенные слова были сняты в соответствии с цензурным требованием.

В связи с так называемой «земской реформой» 1864 года в губерниях и уездах создавались земские собрания как распорядительные органы местного самоуправления в области хозяйственной деятельности и земские управы, исполнительные органы этих собраний. Однако «земство с самого начала было,— как писал позже В. И. Ленин,— осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления... а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченных все тем же чиновничеством» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 32). Вместе с тем реформа эта декларировалась как демократизация самоуправления, основанного якобы на бессловной выборной системе, и вызвала целую волну либерального славословия.

Уже в первых откликах Н. Успенского на эту реформу отчетливо сказалось понимание того, что она не отражает интересов народа, понимание никчемности заседательской суестьи земских деятелей. При выборах, основанных на куральной системе и высоком имущественном цензе, в земствах обеспечивается большинство помещикам; представительство же народа, видящего в земстве лишь новую барскую затею, сводится к пустой формальности,— показывает Н. Успенский и в очерке «Наши уездные деятели» (см. примеч. к «Егорке-пастуху») и в «земских сценах» «Старое по-старому», не во всем удавшихся художественно, но по сути своей представляющих, по меткому определению И. Бунина, «сатиру на земство» («Колосья», 1889, № 11).

По мнению Н. К. Михайловского, в таких произведениях, как «Старое по-старому» и «В земской управе», Н. Успенский «занялся» той частью «праздного, без толку и смысла мыкающего свой век люда, упраздненного крестьянской реформой», которая «впоследствии, как известно, оперилась, пристроившись к последующим реформам, и вообще приободрилась». «Но здесь уж нет места юмору, а сильных, ярких, резких, гневных струн сатиры в литературном инструменте г. Успенского совсем не хватает»,— писал критик, пытаясь объяснить этим отчасти, почему Н. Успенский «ныне забыт» («Отечественные записки», 1877, № 2).

Впервые напечатано в «Ремесленной газете», 1875, №№ 29—30 (20 и 27 сентября). Окончательный текст отличается от первопечатного мелкими разночтениями стилистического характера.

РОДСТВЕННОЕ СВИДАНИЕ

Впервые опубликовано в «Ремесленной газете», 1876, № 41, 13 декабря.

Первая редакция «Родственного свидания», рассказ «Рязановцы», была напечатана за подписью: В. Печкин еще в 1866 году в «Искре» (№ 50). И хотя и сюжет «Родственного свидания» тот же и ряд мест совпадает с «Рязановцами» (начало, отдельные поучения «выбившегося в люди» родственника и др.), по сути дела это новое произведение. С гораздо большим мастерством передана здесь психология черствого, равнодушного и спесивого «богатого родственника». В соответствии с новым замыслом и названием судьба «рязановцев», молодых людей, едущих из Рязани учиться в Петербург и остановившихся по дороге у своего «братца», также перестала быть в центре внимания писателя. Целиком отброшен конец рассказа, который повторяет в какой-то мере мотивы очерка «Студент»:

«Через месяц Прохор Семеныч получил из Петербурга следующее письмо:

«Любезный брат Прохор Семеныч! Экзамен по ветеринарной части я сдал,— мне теперь нужны деньги; не нынче так завтра хозяин выгонит меня вон из своей квартиры. Пришли мне сколько можешь».

Прохор Семеныч тотчас же по прочтении письма отвечал: «Не правду ли я тебя говорил, любезный Андрей, что ты погибнешь в Петербурге... и зачем ты туда ехал? В Петербург надо ехать человеку порядочному, а твое хрюканье ему не нужно... Еще раз повторю тебе, что невыломанность твоя, твое чавканье, фыркание, наконец эта неотесанность рязанская погубят тебя!.. Посылаю тебе пять рублей и больше не рассчитывай на меня... Я стыжусь признать тебя за своего брата... Я, признаюсь, понять не могу, на что ты похож? Я даже своей горничной говорю, что это не брат у меня был, а один юродивый из Рязани, и горничная этому вполне верит и ругает тебя на чем свет стоит, что ты назвался ей моим братом. Прощай и не пиши мне больше.

Р. С. После вашего медвежьего посещения у меня красили пол,

так он был весь исцарапан вашими сапогами, под которыми, вероятно, по прадедовскому обычаю, подбиты были конские гвозди».

Прошло полгода. Прохор Семеныч забыл своего брата и спокойно разъезжал по московским журфиксам, как вдруг снова получил письмо из Петербурга и на этот раз не от родного брата, а от двоюродного, который писал:

«Андрей ваш волею божиею скончался в Обуховской больнице — и, полагать надо, не чавканье и фыркание сгубили его, как вы писали, а нищета, в таких размерах, что и чавкать было нечего...»

Прохор Семеныч задумался. Он в самом деле не подозревал, чтобы его брат мог погибнуть скорее от нищеты, нежели от рязанской необузданности».

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПИСЬМА

Публикация этих очерков в периодической печати не известна. В 1876 году Н. Успенский включил их в трехтомное издание своих произведений. Не исключено, однако, что написаны очерки гораздо раньше, так как это — рассказ писателя о его поездке в 1861 году в Италию и Францию, написанный по свежим еще в памяти впечатлениям, о чем свидетельствует, в частности, сопоставление очерков с письмами Н. Успенского 1861 года К. Случевскому. Письма эти, порой текстуально воспроизведенные в очерках, интересны вместе с тем как дополнение к ним.

То, что в печати очерки появились много лет спустя после их написания, объясняется, по-видимому, тем, что предназначались они для публикации в «Современнике», на средства которого и была совершена Н. Успенским поездка за границу, но не были там помещены, так как вскоре после возвращения из поездки писатель порвал отношения с журналом.

Опубликованные лишь в 1876 году, эти очерки не были оценены современниками писателя. Единственным известным нам откликом является упоминание о них в статье Н. К. Михайловского как об очерках «плохих до невероятности, до смешного» («Отечественные записки», 1877, № 2). Однако совершенно очевидно, что и в этих весьма отрывочных «эскизах» Н. Успенский остается писателем-демократом, критически, хотя и не всегда глубоко всматривавшимся в не знакомую ему дотоле жизнь других народов.

Впервые напечатано в «Ниве», 1878, № 20.

К теме народного образования, положения сельских учителей Н. Успенский неоднократно обращался в своих произведениях. Еще в рассказе «На пути» (1861) писатель рисует страшную картину обучения крестьянских детей в сельской школе, целиком находящейся в руках попов. Позднее, когда работавшему учителем Н. Успенскому было поручено объехать несколько уездов Московской, Тульской и Орловской губерний и дать отчет о положении школьного дела в деревне, он представил такой отчет министру просвещения А. В. Головнину, (тезисы его легли в основу «Записок сельского хозяина»—см. стр. 634 и 641), что министр заявил А. Краевскому: «Кого это вы мне рекомендовали?.. Он говорит, что я совсем не нужен в России!» («Исторический вестник», 1905, № 11).

Этой же теме посвящены и многие другие произведения писателя (ср. «Из дневника неизвестного», «Издадека и вблизи», а также не вошедшие в издание рассказы «Сельский учитель», «Ночлег», «Уездные нравы», «Междворов», «Новое место» и др; см. также «Сельскую школу» в «Ниве», 1912, №№ 24, 25, 26).

«Экзамен» убеждал читателя в том, что и при новых порядках, когда школа перешла в ведение земства, ничего по сути дела не изменилось. Герой рассказа прав, когда пишет своему товарищу, что «самый хороший учитель, при настоящем положении школы, доверенной нашему апатичному земству», не может сказать, «что честно служит родине и общественному благу».

В. И. Ленин, оценивая деятельность земства, ссылаясь как на характерный факт на инструкцию 1871 года инспекторам народных училищ, которая «предоставляет им устранять от должности учителей, признаваемых неблагонадежными, и останавливать всякое решение училищного совета с предоставлением дела на разрешение попечителя», а также на рескрипт от 25 декабря 1873 года Александра II на имя министра народного просвещения, в котором он «выражает опасение, что народная школа при недостатке попечительного наблюдения может быть обращена *в орудие нравственного растления народа, к чему уже и обнаружены некоторые попытки*» и повелевает предводителям дворянства способствовать ближайшим своим участием обеспечению нравственного влияния этих школ (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 35).

Стр. 572. *...учителя... нередко спасающиеся зимой от холода в печке.*— В «Развлечении» была помещена карикатура (1873, № 22) «Помещение сельского учителя в одной из земских школ», на которой изображался лежащий в печке учитель с книжкой в руках.

ПОСЛУШНИК

Впервые напечатано в «Ниве», 1880, № 16. В этом рассказе писатель не только возвращается к одной из основных тем своего творчества — изображению жизни мелкого сельского духовенства, полунищего и невежественного, — но и выразительно рисует паразитизм образа жизни монахов.

Стр. 582. *...вести себя так, как апостол Павел научал Тита.* — Имеется в виду «Послание апостола Павла к Титу» из Нового завета, в котором содержатся наставления, связанные с епископством Тита на острове Крит, в частности: «удаляться споров и распрей о законе, ибо они бесполезны и суетны» и т. д.

НАРОДНЫЙ ПЕЧАЛЬНИК

Впервые напечатано в «Осколках», 1881, № 3, 17 января, за подписью: Чайка. В этом тексте газета, издаваемая «народным печальником», названа в одном случае «Дребедень», а в другом «Белиберда» (в окончательном тексте так в обоих случаях).

Беспринципные издатели, заявляющие о своей преданности «идее добра и порядка, пламенной любви к отечеству, глубокой религиозности и безграничной преданности престолу» и вместе с тем спекулирующие громкими фразами о том, что надо «немедленно вырвать торговлю народными книгами и лубочными картинками из рук кулаков, людей, безжалостно эксплуатирующих народ, выманивающих у него последнюю трудовую копейку», — эти люди были хорошо знакомы самому писателю, продававшему в те годы свои произведения «в лучшем случае за десять целковых». В «Воспоминаниях писателей-самородков о их старших братьях» И. Е. Тарусин писал, имея в виду, вероятно, конец семидесятых годов: «Иногда к Успенскому приходили сами издатели книжек для народа, которые без совести «просвещают» его разными рыцарями да принцами, полканами да царевнами, «Сонниками» да «Оракулами». Помню, двое из них... устроили даже нечто вроде конкуренции» («Русская мысль», 1902, кн. XI).

НЕБЫВАЛЫЙ СЛУЧАЙ

Впервые опубликовано в «Ниве», 1881, № 51, с подзаголовком «Очерк». Окончательный текст отличается от журнального мелкими разночтениями стилистического характера.

«Небывалый случай» напечатан всего через несколько месяцев после того, как был убит Александр II (1 марта 1881 года), и является несомненно своеобразным откликом на это событие.

Н. Успенского, далекого от понимания целей и задач современного ему революционного движения, и в этом очерке прежде всего интересует позиция ненавистного ему барина. Невежественные, не умеющие вести хозяйство («Рожь давно все обмолотили, а пшеница пропала»), затевающие тяжбы друг с другом из-за того, что один загнал в скирды другого табун лошадей, трусливые, считающие всякую литературу, кроме сонников, оракулов и лечебников, опасной («забиться в свою нору от этих, от всех... да и сидеть»),— таковы «богатый землевладелец» Герасим Назарыч Сеновалов и его старый знакомый Осип Карпович. Таков же и председатель губернской земской управы, «человек, едва ли написавший три письма во всю свою жизнь».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Е. Покусаев. Н. В. Успенский.</i>	3
Старуха	25
Поросенок	47
Хорошее житье	58
Грушка	73
Змей	85
Ночь под светлым днем	108
Сельская аптека	115
Бобыль	127
Деревенская газета	130
Вечер	158
Обоз	165
Брусилы	173
Зимний вечер	183
Из дневника неизвестного	187
Студент	195
Работница	201
Декалов	206
Пропажа	230
Колдунья	235
Федор Петрович	240
Производительные силы	277
Следствие	299
Саша	308
Катерина	378
Деревенский театр	381
Издалека и вблизи	392
Егорка-пастух	479
Мелкопоместная барыня	530
В земской управе	535

Святки	540
Родственное свидание	549
Заграничные письма	553
Экзамен	567
Послушник	576
Народный печальник	585
Небывалый случай	588
Примечания	601

Николай Успенский
ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ
И ОЧЕРКИ

Редактор *М. Сергиевская*
Художеств. редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *Э. Евдокимова*
Корректор *Т. Лукьянова.*

Сдано в набор 13/XII 1956 г.
Подписано в печать 17/VI 1957 г.
Бум. 84×108¹/₃₂. 20,5 печ. л.=33,62 усл.-печ. л.
34,4 уч. изд. + 1 вкл. = 34,46. Тираж 75000.
Цена 10 р. 15 к. Зак. № 962.

Гослитиздат.
Москва. Б-66, Ново-Басманная, 19.

Книжно-журнальная ф-ка Главиздата
Министерства культуры УССР,
Киев, Воровского, 24.